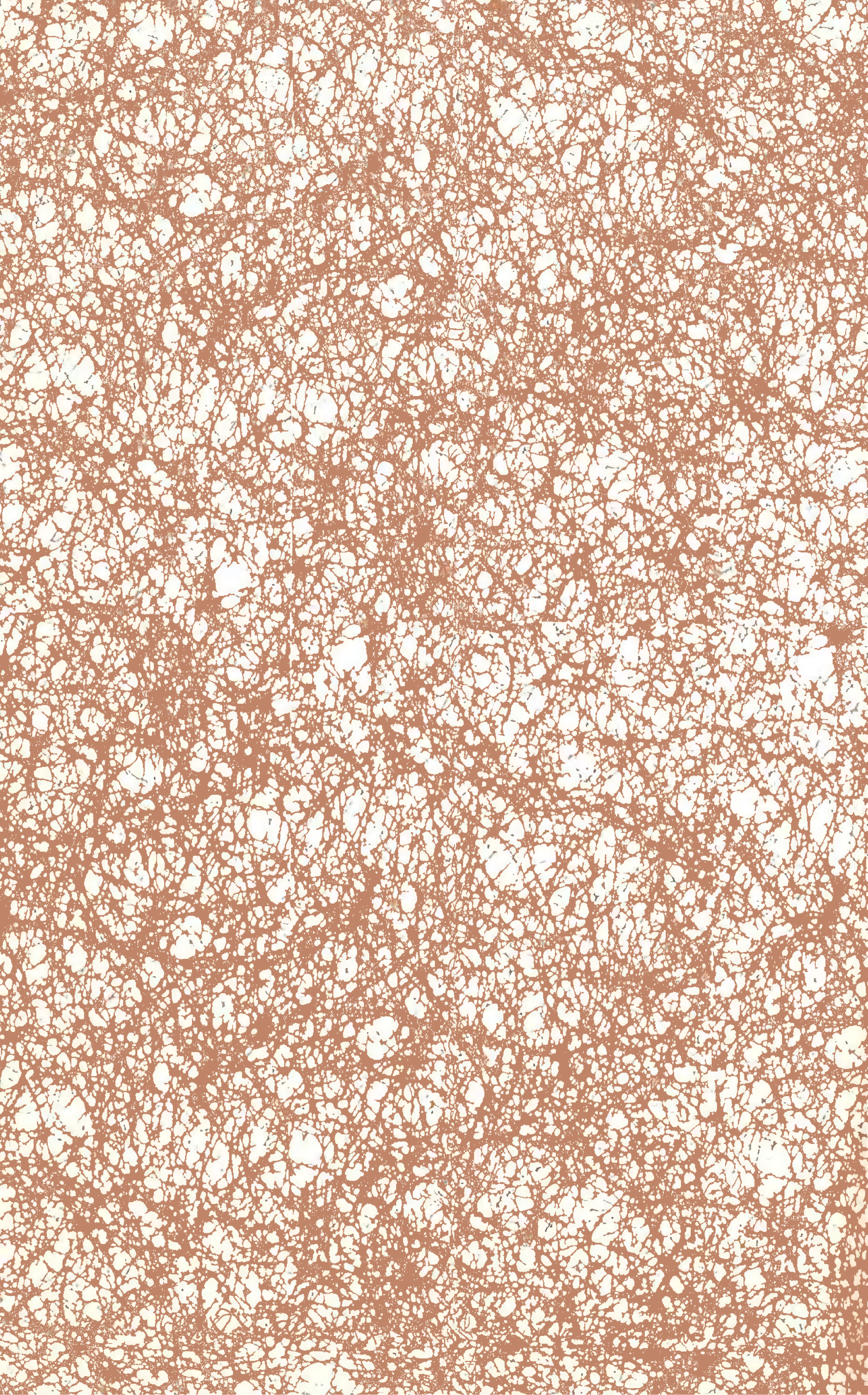
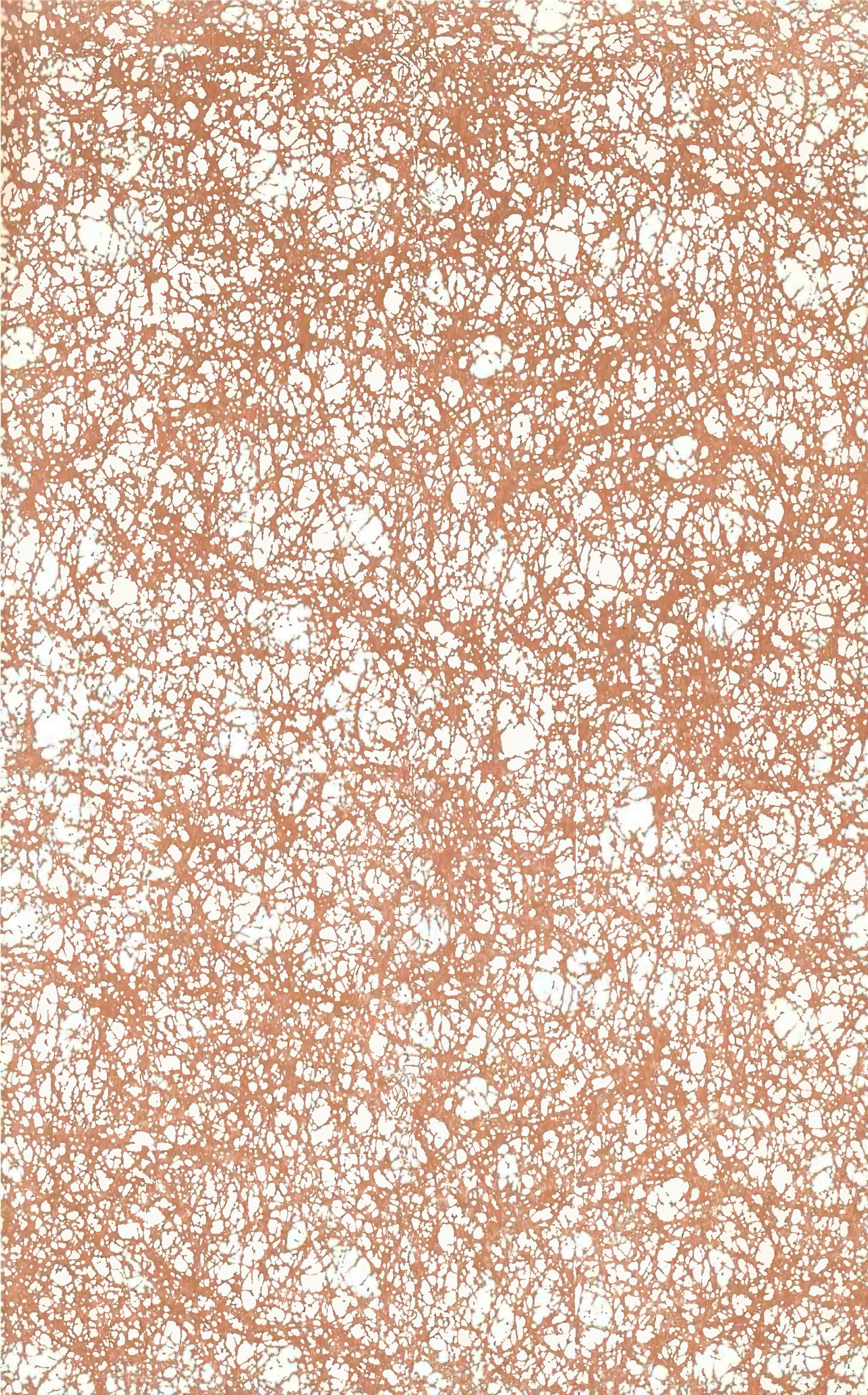
ГОДЫ ТЕХ ВОЙНЫ





Scan Kreyder - 18.07.2014
STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

АНАТОЛИЙ
АНАНЬЕВ

ГОДЫ БЕЗ ВОЙНЫ

РОМАН
В ТРЕХ КНИГАХ В ДВУХ ТОМАХ

Том второй

«ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА ● 1982

Р2
А64

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Председатель редакционного совета
Сергей Баруздин

Первый заместитель председателя
Леонид Теракопян

Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк

Ответственный секретарь
Елена Мовчан

Члены совета:

Ануар Алимжанов, Лев Аннинский,
Альгимантас Бучис, Игорь Захорошко,
Имант Зиедонис, Мирза Ибрагимов,
Юрий Калещук, Алим Кешоков,
Григорий Корабельников, Георгий Ломидзе,
Андрей Лупан, Юстинас Марцинкявичюс,
Рафаэль Мустафин, Леонид Новиченко,
Александр Овчаренко, Борис Панкин,
Вардгес Петросян, Инна Сергеева,
Петр Серебряков, Юрий Суровцев,
Бронислав Холопов, Иван Шамякин,
Игорь Штокман, Камиль Яшен

Художник К. МИСТАКИДИ

А $\frac{4702010200—020}{074(02)—82}$ 561—82 (подписное)

КНИГА ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

В отличие от тех, кто жил только в городе или только в деревне, Лукин, несмотря на сравнительно молодые еще годы, одинаково хорошо знал и городскую и деревенскую жизнь, и различие, какое проводил между ними, заключалось для него лишь в том, что в городе он не находил (по своей привязанности к земле) того дела, где бы он мог развернуться, тогда как в деревне эта возможность сейчас же открывалась перед ним; и потому он жил там, где он чувствовал, что труд приносил ему удовлетворение. Педагогическое образование и опыт комсомольской и партийной работы помогали ему понимать и направлять людей, а знание земли и крестьянского дела на ней, результатом которого был хлеб, роднило с ними. Но, оставаясь по восприятию жизни закоренелым как будто мужиком, он вместе с тем (и с той же мужицкой основательностью) понимал, что главное изменение, затронувшее деревню, коснулось прежде всего ее самостоятельности и что того замкнутого хозяйства, какое она вела прежде, уже нет и не будет; он видел, что происходило то огромное в масштабах государства кооперирование сельского хозяйства и промышленности, когда деревня, не воспроизводя уже своего тягла, лошадей и волов, все более попадала в зависимость от промышленности; у де-

ревенского человека, в сущности, отнималась половина его привычных жизненных забот, и все высвободившиеся силы он вынужден был прилагать ко второй, заменившей ему все, и это не сразу и не легко давалось ему. Лукин чувствовал, что хлебороб как будто начал уходить от земли, и он искал в силу своих возможностей, как можно было приостановить этот процесс.

Как раз в те годы (конец пятидесятых, начало шестидесятых, когда после нескольких неурожайных лет государство вынуждено было докупать хлеб на стороне) деревенская проблема начала особенно привлекать внимание общественности. Всем было ясно, что сельское хозяйство отстает и что с деревней надо что-то делать, чтобы изменить положение в ней. Разными людьми выдвигались самые различные планы и предложения, и из всего того, что делалось для деревни и вокруг нее, Лукин выделял для себя два главных направления. Первое было — средства для капиталовложений. Он видел, что правительство предпринимало те действенные меры, которые в конце концов не могли не привести к положительным результатам. Но в хозяйствах было так много застарелых прорех, что усилий этих казалось недостаточно, и намеченные перемены в деревне шли медленно, не так, как этого хотелось всем. Кое-кто даже склонен был считать, что в решении сельской проблемы пока вовсе нет никаких сдвигов, и люди эти, прежде жившие в деревнях и теперь отдаленные от них (и расстоянием и временем), но по-своему старавшиеся помочь общему делу, садились за сочинения, чтобы выразить через них свое беспокойство. Но по нерешительности или по незнанию, что нужно было селу, они не выдвигали никаких экономических вопросов и не просили у правительства дополнительных капиталовложений для обновления сельскохозяйственного производства; причину отставания они видели в том, что людьми деревни будто бы утрачено теперь чувство хозяина, и тяжесть вины за эту утрату возлагали на технический прогресс как на нечто будто противоестественное и чуждое русскому крестьянству. В нравственную проблему кое-кто охотно подмешивал жалость по старой, ушедшей деревне, и хотя Лукину казалось странным, кому и для чего нужно было это, но главная мысль, высказывавшаяся в книгах, что чувство хозяина будто все же утрачивается деревенским человеком,— мысль эта занимала его. Но в противоположность

тому, что он читал в книгах, он видел решение проблемы не в обращении к прошлому деревни; о прошлом он вспоминал только для того, чтобы лучше представить и понять настоящее. Он говорил себе: «К примеру, как было раньше? Унавозит крестьянин землю, обойдется с ней по-хозяйски и получит с нее. Не обойдется по-хозяйски—не получит. А не получил — взять неоткуда, так что хочешь не хочешь, а не по-хозяйски нельзя». И делал вывод, что благополучие крестьянина зависело от его отношения к земле. Теперь же зависимости такой как будто не было; будет урожай, не будет урожая, все равно никто без хлеба не останется, государство поможет. «Так для чего же пуп надрывать?» — заключал он, к чему непременно должна была привести мужика подобная логика. И выходило так, что то, что делало жизнь деревенского человека устойчивой (забота государства о нем) и что, в сущности, было великим завоеванием, оборачивалось в сознании все того же деревенского человека, к изумлению Лукина, иждивенческим настроением. «Так в чем же причина?» — думал он. Он не был согласен с тем, что все обстояло именно так, будто в деревне уже никто не считает себя хозяином родной земли; люди работают, планы выполняются и перевыполняются; но вместе с тем не был убежден и в том, что чувство хозяина, всегда возникавшее у крестьянина из конкретных предметов окружающего его быта (свой закром, своя скотина во дворе), столь же прочно оставалось жить в нем и теперь, когда эти близкие ему понятия заменились другими, еще более как будто конкретными и значительными — все, что есть в государстве, все мое! Лукину казалось, что мнение, будто деревенский человек изменился и давно уже не т о т и духовно и нравственно, было не совсем точно и что между этим общепринятым мнением и тем, как все на самом деле, есть расстояние, какое надо еще преодолеть. «Ты дай человеку, чтобы он ощутил результат своего труда, да он тебе вдесятеро отплатит»,— говорил он.

II

О взглядах Лукина на развитие деревни (именно с упором на экономическую заинтересованность людей) знали многие в районе. Но пока он возглавлял совхозный партком и у него не было особенных возможностей проводить свои взгляды в жизнь, мало кто всерьез при-

нимал то, что предлагал он. Его упрекали за то, что он не понимал, насколько выросло сознание у деревенских людей, и кое-кто даже пытался обвинить в раскольнических настроениях, будто он намеревался пересмотреть самую суть партийной политики; но после «Районных будней» Овечкина и особенно после того, как введена была денежная оплата труда колхозникам, люди, которые упрекали Лукина, стали говорить о нем: «Умен, черт!» — и смотрели уже с тем нескрываемым интересом, как смотрят иногда на провидца, сумевшего, к изумлению толпы, заглянуть далеко вперед и предугадать ход жизни.

Что Лукин непременно будет выдвинут на какую-нибудь руководящую работу, многие в районе предполагали еще задолго до пленума райкома и со смешанным чувством зависти и желания перемен встретили затем это событие. «Теперь повернет», — сейчас же заговорили о нем, связывая его будущую деятельность прежде всего с его взглядами на развитие деревни. «И пусть поворачивает», — утверждали другие. «Только чтобы по-хозяйски», — гнули свое колхозные председатели, которым важно было именно это, чтобы стоящий у руководства человек по-мужицки понимал их.

Каждый чего-то ждал от нового первого секретаря (разумеется, исходя из нужд своего хозяйства или учреждения), и все вместе разговорами своими создавали вокруг Лукина как раз то благожелательное мнение, без которого нелегко пришлось бы ему приниматься за дело. Он еще только обживал, как он сам говорил о себе, райкомовский кабинет и знакомился с людьми и делами, а многие из ближнего окружения его уже готовы были сейчас же доброжелательно принять любое его предложение.

— На волне, да что там, на гребне! — как бы суммируя все это общественное мнение, говорил ему Илья Никанорович. — Народ-то тебя как принял, а?

— Ты хочешь сказать: аппарат?

— Разве этого мало?

— Аппарат, он при любом начальстве — аппарат, — весело отвечал Лукин.— А народ, он еще скажет свое слово, и ему, брат, дело подавай, а внешнего блеска он уже насмотрелся.

— Учит нас жить, учит, а ничему научить не может. Что задумал, ну уж клади, бей старика.

— Задумка есть, а вот бить пока нечем. Нечем, Илья Никанорович, дорогой. Да и тебя ли бить и за что? Ты свое оттрубил, а мне начинать только.

— Не забегай вперед, вровень, вровень, — вот тебе и вся премудрость.

— Да кто же разрешит вровень?! — все так же весело продолжал Лукин.

Райисполком только еще подбирал ему жилье в Мценске, но дел в райкоме было так много, что он лишь на воскресенье уезжал в совхоз, к семье; все остальные дни безвыездно жил в городе и ночевал в тесной квартире Ильи Никаноровича. Он возвращался с работы иногда в одиннадцать, иногда в двенадцать ночи, когда в доме почти все уже спали, проходил на кухню, где был приготовлен для него ужин (и где дожидался его выспавшийся днем Илья Никанорович), и, закрыв дверь и распахнув окно, с удовольствием усаживался напротив своего болезненного родственника и ел, пил и говорил с тем особенным возбужденным чувством, когда и усталость, и напряжение, и отдых — все одинаково радостно воспринималось им.

Разговоры эти были необходимы ему. Как он ни старался казаться внешне спокойным, но он все еще не мог привыкнуть к своему новому положению, и ему хотелось, чтобы в эти первые дни его возвышения хоть кто-то из близких был рядом с ним. Каждое утро приносило ему новые впечатления; и с каждым новым днем он лишь отчетливее понимал, как много теперь зависело от него в общей жизни района; и точно так же, как вспотевший человек торопится подставить лицо ветру, он невольно тянулся к этому остужающему холодку, каким, казалось ему, веяло от стариковских предостережений Ильи Никаноровича.

— А может и так быть: я — вровень, а кто-то, глядь, уже впереди,— продолжал, однако, возражать Лукин.

Он вставал, подходил к окну. Он был теперь как раз в том серединном возрасте, когда все в нем еще казалось наполненным молодостью, и каждым движением он выдавал в себе здоровье и силу. Серый с прозеленью костюм, тот самый, в каком он был на пленуме, был распахнут на нем, галстук снят, воротничок рубашки расстегнут; раскрасневшийся от чая, от возбуждавших его мыслей и от всех тех перспектив жизни, какие, он чувство-

вал, широко открывались теперь перед ним, он не выглядел в эти минуты так интеллигентно, как выглядел днем, принимая людей; он представлялся Илье Никаноровичу простым душевным деревенским человеком, понятным во всех своих устремлениях, и эти-то простота и бесхитростность как раз и настораживали бывшего редактора районной газеты. «Люди только говорят о прямоте, но более всего не любят именно прямоту», — думал он. И хотя сам он в молодости всегда был прямым и резким, но теперь, когда он давно уже, как и Сухогрудов, был отстранен от дел, и у него было достаточно времени для воспоминаний и обдумывания всех своих жизненных впечатлений, и когда он, главное, оборачиваясь назад, видел, как много мог бы избежать в жизни, будь он чуть поумнее и погибче, он особенно не хотел, чтобы судьба его повторилась в племяннике; и он как мог (как позволяло болезненное состояние) старался внушить свои опасения ему.

— В каждую мелочь не вникай, — говорил он, поглядывая из-за стола на племянника, заслонявшего спиной распахнутое окно.— Мелочи так затянут, что из-за деревьев и леса не увидишь. Только по главным, по магистральным...

— А что главное? — Лукин поворачивался, так как этот вопрос особенно занимал его, и начинал пристально всматриваться в желтое лицо дяди.

Он понимал, что бессмысленно было спрашивать об этом больного и давно отошедшего от дел родственника (бессмысленно еще в том отношении, что Илья Никанорович всегда казался ему человеком отсталым, далеким от современного восприятия мира), но желание услышать что-то такое, что укрепило бы Лукина в его главных убеждениях, было так велико, что он невольно обращался именно с этим вопросом к старику.

— Так что же главное? — Он отходил от окна и вновь усаживался напротив по-своему возбужденного разговором дяди.

— План. План государственных поставок и закупок. Другой оценки твоей работы нет и не будет.

— Согласен: план. Но кто делает этот план? Выращивает зерно, пашет, сеет, убирает?

— Люди.

— Так что же главное? Вернее, кто?

— Это совсем другой вопрос.

— Почему же другой? Это — главный. Люди и только люди.

— Не усидишь ты, Иван...

— Ну, так уж сразу... Жизнь движется, в одну реку дважды войти нельзя. Усижу, Илья Никанорович. Почему бы и не усидеть?

Лукин никогда не рассуждал о народе отвлеченно и был далек от всех тех «философских» споров, какие почти во все времена (да и теперь иногда) нет-нет да и вспыхивали между противостоящими группами людей. Народу в тех спорах обычно отводилась лишь роль белой оболочки, под которую глубоко упрятывались личные интересы — требование свободы, но свободы для своей деятельности, и равноправия, чтобы оправдать свою устремленность к власти и обогащению. Интересы же Лукина были настолько близки интересам любого деревенского человека, что он безо всяких усилий для себя всегда точно знал, что нужно было простым людям для жизни.

— Впрочем, о чем мы спорим, — между тем продолжал он. — Все это, в конце концов, записано в решениях партии.

— А я — с точки зрения практики.

— Тем более, — отвечал Лукин, которого волновало свое, на что он и старался теперь перевести разговор. — Наша беда в том, что мы никак не можем отказаться от традиционного мнения о деревенском человеке, тогда как мнение это ошибочно. Добродетели, пороки... допустим, так, но ведь и деревенский человек, как и городской, живет на земле для того, чтобы утвердить свое «я» на ней. А как? Каким образом? Трудом? Да. Но это не все. Любовью, семьей? Разумеется. Но и это не все. Добром ближнему? И это лишь часть слагаемого. Только одно, на мой взгляд, чувство может удовлетворить мужика — чувство хозяина. В нем объединено все: и труд, и любовь, и всякая иная добродетель. Не собственника, нет, а хозяина — в том большом, современном понимании, что человек и творец и созерцатель своей жизни. Когда еще говорили: не тот пахарь, который пашет, а тот, который любуется своей пахотой.

— Умно говоришь, но между потоком слов и делом всегда есть расстояние, и вот тут-то как раз и поджидает тебя тот порожек, о который больно можешь споткнуться.

— Сколько их было, этих порожков? Прошли. Пройдем и этот. Важно признать одно, что все люди на земле рождаются с одинаковым чувством утвердить себя.

— Иван, мы накануне пятидесятилетия советской власти, о каком чувстве хозяина ты говоришь? Земля наша, все наше, мы за все в ответе и давно пишем и говорим об этом. Это признано всеми, и ты просто будешь смешон.

— Вот именно: говорим и пишем, а на деле? Как на деле? Я не берусь судить обо всем и обо всех, но вот тебе наглядный пример. Копошится человек на своем маленьком приусадебном огороде, и не день-деньской, а урывками, только урывками, и так обиходит свои грядки, что и в доме всего полно и еще и на базар тащит. Если пересчитать его урожай на гектар, цифра такая, что с больших площадей мы и треть того не собираем. А почему? Да потому: там — мое, а тут — наше. Именно, наше, а не мое. А не будь этого психологического различия, психологического барьера — мое, наше, — который, оказывается, на деле куда труднее перешагнуть, чем на словах, да мы бы завалились продуктами. К земле по-хозяйски, и она в ответ с добром. Ну, скажешь, не прав? Так что писать и говорить можно, а истину изменить нельзя.

— Не пойму, не назад ли ты тянешь?

— Ну так сразу уж и назад? Просто не хочу пни за собой оставлять. Если мы, как ты говоришь, уже достигли всего, нам остается только благодушествовать. Но по ходу жизни, мне кажется, благодушествовать нам еще, мягко говоря, рано. Поле расчистили, надо теперь пни убрать — и дальше.

— А не выдумываешь ли ты сам все эти пни, не возводишь ли плетень на пути лавины?

— Во-первых, плетнем лавину не перекрыть,— все так же с улыбкою (и с сознанием того, что он прав в этом разговоре) продолжал Лукин. — А во-вторых, только когда понятие «хозяин», разумеется, в том смысле «хозяин», что каждый советский человек должен отвечать и радеть за все, что делается в государстве, будет принято нами не рассудком, а душой, сердцем и войдет в жизнь так прочно, что станет повседневной и естественной необходимостью, мы вправе будем сказать, что кое-что сделали в жизни. Я не знаю, как и чем достичь этого, но я глубоко убежден, что корень вопроса, по крайней

мере в поднятии сельского хозяйства, лежит именно здесь. Люди — вот главное. В них и только в них дело.

Он не то чтобы спорил с Ильей Никаноровичем, но весь происходивший разговор был важен ему тем, что в старом и больном своем родственнике он вдруг увидел ту уходящую силу, с какой, он чувствовал, еще не раз, может быть, придется столкнуться ему в работе, и он старался теперь уловить те аргументы, какие затем, в другом месте, могли быть выдвинуты против него. Аргументы, он видел, не были вескими, и оттого он с охотой и убежденностью продолжал высказывать свои соображения.

— Нет, нет, непостижимо! — возражал ему Илья Никанорович. — Тебе дано сейчас все, и ты так просто хочешь прошляпить жизнь? Не знаю, не знаю. — Он качал головой и долго затем не мог успокоиться, думая о племяннике.

III

Лишь в середине третьей недели, закончив принимать дела и побывав в обкоме, Лукин наконец выбрал время, чтобы поехать по району. На лугах созревали травы, в некоторых хозяйствах уже начали косить, и надо было посмотреть, как шла работа.

Утром, когда он выезжал, собирался дождь. Но затем, после полудня, когда он вместе с курчавинским председателем стоял на лугу, день так разгулялся, что и луг, и лес, и все, что лежало за ним по взгорью, — все было залито ярким июньским солнцем. И под впечатлением этого солнца, простора и легкости, что удалось ему вырваться из райкомовского кабинета на волю, Лукин испытывал то неодолимое чувство радости, какого он раньше всегда боялся, полагая, что в радости человек глуп, но какое теперь, сколько ни боролся, не мог подавить в себе. Радость его происходила прежде всего от сознания того, что он был удачлив и что, несмотря ни на какие возражения (несмотря, главное, на возражения Ильи Никаноровича), он всегда умел взяться за дело и довести его. «Посмотрим, что ж», — говорил Лукин себе с тем ощущением правоты, будто все задуманное было уже выполнено им и оставалась лишь та малость, за которой люди пока не могли разглядеть того, что уже отчетливо видел он; и на лице его, успевшем чуть загореть от солн-

ца и ветра, не то чтобы были отражены, но, казалось, светились все его возбужденные мысли.

Косить еще не начинали, и трактора с навесными косилками и механизаторы дожидались на обочине луга. По лугу же через всю его середину шагал бригадир, краснощекий, приземистый, с выбившейся рубашкою из-под ремня, и по ходу его движения было видно, что он осматривал луг. И хотя накануне луг этот был осмотрен и признан готовым к покосу, но по старой крестьянской привычке (и с согласия председателя) надо было еще раз пройти по нему, и все теперь ждали, пока бригадир вернется и выскажет свое мнение.

— Ну что? — сейчас же спросил его председатель, как только бригадир подошел к нему.

— Можно.

— Давай тогда, с богом.

— С богом, ребята! — громко повторил бригадир, повернувшись к механизаторам и произнеся эти слова так, как будто по меньшей мере направлял роту в разведку.

И сейчас же один за другим, стрекоча подвесными ножами, двинулись по краю луга трактора. Загон был настолько велик, что, когда трактора достигли противоположного конца луга, они видны были только как копошившиеся над травою темные точки.

— Ну, с сеном будем, — сказал бригадир, посмотрев на председателя.

— И с сеном и с хлебом, — подтвердил курчавинский председатель и оглянулся на Лукина, для которого как раз и была произнесена эта фраза; председатель намекал на дожди, прошедшие в начале июня и погнавшие хлеба в стрелку.

Но Лукин ничего не ответил и продолжал смотреть на луг, на пройденный тракторами загон и на все лежавшее дальше за лугом, что можно было бы уместить в одном понятии — сельский пейзаж средней полосы России. Пейзаж этот не представлял собою как будто ничего особенного — деревенька, видневшаяся за лугом и лесом, но для Лукина, как и для всякого русского человека, пейзаж этот имел ту почти необъяснимую притягательную силу, которая как раз и заставляла его теперь смотреть и смотреть на лес, луг и на избы, вызывавшие в душе его чувство любви и сопричастности ко всему, что было и будет на этой земле. В нем как бы сливались сейчас в одном счастливом возбуждении и сознание сво-

сй удачливости и это впечатление от покоса, деревни и леса, и он, охотно отдаваясь этому своему состоянию, в то же время думал, что, должно быть, нехорошо и не к добру, что он так счастлив.

Он слышал слова председателя и понимал, к чему относились они; но если курчавинский председатель имел в виду только свое хозяйство, которое, впрочем, было у него огромным (из пяти объединившихся колхозов), то Лукин переносил это «с сеном и с хлебом» на весь район, и ему казалось, что и погода, и люди, и сам он со своею удачливостью — все было за него; за него были и этот бригадир, что стоял рядом, и механизаторы, что вели трактора (они теперь приближались, и он ясно как будто различал их сосредоточенные в работе лица), и председатель, на которого Лукин хотя и не оглядывался, но в то же время отчетливо как будто видел перед собой его суховатое, умное и строгое лицо.

— Да, будем, — наконец проговорил Лукин, отвечая больше себе, чем курчавинскому председателю. — Ну, а теперь пора.

И, словно боясь, что кто-то подслушает его счастливые мысли, быстро пошел к машине.

Уже открыв дверцу своей черной райкомовской «Волги», он на минуту задержался и, повернувшись к курчавинскому председателю, сказал:

— Все у вас хорошо, я доволен, но вечером все же соберите актив, я подъеду, надо поговорить с людьми.

— К девяти? К десяти?

— Все равно. Я буду рядом.

И Лукин кивнул в сторону Поляновки.

Он помнил о своем обещании заехать к Сухогрудову и сейчас, оказавшись поблизости, решил выполнить его. Но предстоящая встреча и разговор с бывшим тестем уже не вызывали у Лукина прежнего интереса: за две недели, пока он принимал дела и знакомился с людьми, взгляды его на общее положение дел в районе так утвердились, что ему казалось, что ничего нового и интересного бывший тесть уже не сможет предложить ему. «Другое время, другое восприятие жизни, и другими, разумеется, должны быть методы руководства»,— думал Лукин. Он выводил это главным образом из своих споров с больным и отошедшим от дел Ильей Никаноровичем и еще из той своей внутренней убежденности, словно он уже точно знал, что и как нужно было делать ему

как первому секретарю райкома. «Что ж, имелась и у вас возможность, а сейчас — что же советовать?» — как будто говорил он Сухогрудову, в то время как машина везла его в Поляновку. Он все еще находился под впечатлением, какое он увозил с луга, и от этого впечатления и от постоянной деловой настроенности, какая со дня избрания его секретарем ни на час, казалось, не отпускала его, он еще менее как будто был расположен теперь вспоминать о прошлых родственных связях с Сухогрудовым.

Если что и тревожило его из того прошлого, так это сын, Юрий, перед которым Лукин чувствовал себя виноватым; все же остальное было для него лишь тем неприятным событием, которое, как замытая капля соуса на рубашке: и была будто не видна и в то же время вызывала опасение, что следы проступят и испортят все.

Но вместе с тем чем ближе Лукин подъезжал к знакомой ему (еще по временам, когда он с Галиной бывал здесь) Поляновке, в душе его все отчетливее происходила та перемена настроения, когда одни мысли и чувства, что были у него на лугу, заменялись другими, тем самым беспокойством, что следы могут проступить и испортить все. Он ворочался на сиденье, изменял положение рук, как будто вдруг неудобно стало ему в машине, но как он ни старался этими внешними движениями приостановить то, что происходило в душе, беспокойство разрасталось, словно он предчувствовал, что что-то нехорошее поджидало его в сухогрудовском доме. А что было этим нехорошим, он не знал и думал, что волновался только потому, что разговор мог зайти о сыне Юрии, с которым, он уже слышал от Ильи Никаноровича, что-то неладное приключилось в Москве. «Но что может приключиться с ним?» — тут же говорил себе он, этою ложною фразой пытаясь прикрыть все свое застарелое беспокойство о сыне, какое чем счастливее Лукин чувствовал себя в новой семье (чем счастливее, он видел, были его дети от этого брака), тем острее испытывал к Юрию. Он не принадлежал к тем людям, которые, мотаясь по свету и приживая детей, с легкостью затем забывали о них; в крестьянской душе Лукина, с детства привыкшего воспринимать жизнь не в том ее голом рационализме, чтобы лишь брать и брать от нее, но в том, чтобы все живое и неживое, но одухотворенное трудом и смыслом, получало тепло человеческих рук, в душе Лукина одинаково

ко всем своим детям жило отцовское чувство, и Юрий, несмотря на все старания Галины упрятать его, всегда оставался частицей его жизни.

«Да что же могло приключиться с ним?» — снова подумал он, принимаясь вспоминать, что и когда слышал о Юрии. Ему хотелось свести в одно все свои разрозненные сведения о сыне (сведения от Ильи Никаноровича, который и сам никогда толком не знал ничего), но он чувствовал, что в цепи этой не было того главного звена, с помощью которого как раз и можно было соединить все и прояснить дело. Этого главного звена всегда не хватало Лукину, и звеном таким, он знал, являлся старик Сухогрудов. «Да потому только я и еду к нему», — наконец проговорил Лукин и сейчас же покраснел оттого, что все, прежде прикрывавшее цель его поездки в дом к бывшему тестю, вдруг, как одежда с плеч, спало и обнажило истину; и оттого, что он не только от жены, но и от себя для чего-то всегда скрывал эту истину, он еще более покраснел, будто уже был уличен в чем-то.

Едва только впереди показалась Поляновка, он попросил шофера остановить машину и вышел на обочину для того будто, чтобы посмотреть, как шла в рост пшеница, но взгляд его, скользнув по сочной зелени озимого клина, сейчас же устремился к избам деревни, открывавшейся ему сразу за оврагом.

Деревня была — двенадцать дворов, и он не узнал Поляновку; он увидел лишь, что деревня эта была умирающей, одной из тех отслуживших свое по России деревень, существование которых (в связи с укрупнением хозяйств и насыщением их техникой) все более становилось бессмысленным. Как секретарь райкома и как человек, вполне осознающий необходимость этих происходящих перемен, Лукин должен был бы с равнодушием встретить то, что он увидел; но те несколько минут, пока он стоял у края пшеничного поля, он смотрел на Поляновку с тихой, сжимавшей сердце тоской, как всякий русский человек смотрит на умирающую деревню. И ему не то чтобы жалко было ее, жалко тот деревенский мир нужды и забот, какой он знал с детства; и не то чтобы он именно теперь глубоко и ясно понимал, что вместе с тем деревенским миром уходило из жизни нечто большее, чем только как опадают с деревьев листья; в памяти Лукина живо всплыли годы, когда он был счастлив с Га-

линой здесь, и он вдруг ясно почувствовал, как что-то оголенное и тревожное из того прошлого властно входило и волновало его.

IV

В характере людей так ли, иначе ли, но всегда отражается характер того времени, в какое они живут.

Время, когда Лукин был счастлив с Галиной, были те трудные для жизни народа послевоенные годы, когда не хватало всего — хлеба, жилья, строительных материалов — и когда, особенно по деревням, гимнастерки, шинели и ватники, не успевшие еще выветриться от пота войны и окопной гари, не только не снимались с плеч, но и летом и зимой оставались главною, так как нечем было заменить их, одеждою и для большинства мужчин и для большинства женщин и детей. Война с огромного пространства полей, лесов, речек и переправ, со всей своей солдатской тягою к жизни была как бы перенесена в заводские корпуса, на колхозные дворы и полевые станы, в залы самых различных проектных мастерских, и продолжалась уже иная, тихая как будто, без орудийных раскатов, лязга танковых гусениц, без пуль и осколков битва, в которой, однако, были и своя передовая линия, и свой (трудовой) фронт, и свои (трудовые) победы. Это было тоже сражение за жизнь и благополучие, когда сотни городов и сел надо было возродить из пепла; и хотя, сколько помнит история, каждый раз на безмерном народном горе как на дрожжах сейчас же поднимались и начинали суетиться, добывая чины, разного рода деятели, не столько помогавшие, сколько угодничеством своим мешавшие общему делу, — основная масса народа, взвалив на себя всю тяжесть восстановления, терпеливо и с упорством, как и во все напряженные дни войны, тянула воз к цели.

Для Лукина те годы были лишь началом его самостоятельной жизни. Он был рядовым участником событий тех лет, и вся тяжесть нужды, забот и коротких, как деревенское лето, радостей, все, что составляло цель и смысл каждой отдельной семьи и всего общества, было целью и смыслом жизни Лукина. Он видел, что, несмотря на лишения и на то, что у людей не было порой главного — хлеба, работа не прекращалась ни на полях, ни на стройках, как будто в народе вдруг обнаружилась

вторая жила. Жила эта была — общенациональный подъем духа после тяжелейшей победоносной войны; каждый сознавал, что положена на лопатки не просто фашистская Германия, а вся противостоявшая нам военная мощь Европы; и так как Лукин жил в русской деревне (почти в самом центре России) и в окружении русских людей, общенациональный подъем духа он невольно переносил на русский народ, который, казалось, как будто вдруг очнувшись и засучив рукава, с удвоенною энергией и силой (и по всем направлениям!) принялся налаживать свою жизнь. Подновлялись избы, рубились коровники, выдвигались в руководство думающие люди, и вся эта стихия возрождения, чем жил и сам Лукин, с естественностью молодого человека, не умевшего еще в те годы как следует философски взглянуть на жизнь, переносилась им на всех людей, окружавших его.

В Галине, как только он встретился с ней, он сейчас же почувствовал, что как будто все устремление времени было сосредоточено в ней. В ее постоянном желании деятельности (желании перемен), веселом, всегда как будто светящемся улыбкою лице, во всех движениях ее необыкновенно энергичной и в то же время нежной, женственной (со всеми изгибами и выпуклостями, скрывать которые еще не было модно тогда) фигуры — во всем он видел именно это сконцентрированное будто проявление народной жизни. И хотя Галина всегда только с шумом начинала все и ничего не доводила до конца, и это никак не согласовывалось с общим течением жизни, как тысячи молодых людей, ослепленных любовью, Лукин замечал в ней только то, что хотел видеть, и не видел того, как было на самом деле. В Мценске, когда он только женился на ней, она вдруг решила, что ей нужно было изучать языки, и она бегала по всем школам, договариваясь с преподавателями, восторгаясь ими и отвергая их и втягивая во все мужа, хотя, в конце концов, дело кончилось тем, что через месяц все было забыто и словари и учебники были упрятаны на антресоли тлеть и пылиться на них. В Поляновке, как только они приехали туда, чтобы провести лето в деревенском доме отчима Галины, ей сейчас же пришла в голову идея выпустить стихотворный номер колхозной стенной газеты, и хотя из этого точно так же ничего не получилось и не могло получиться, но в течение почти трех недель все в доме, в том числе и Лукин и вовлеченная во все Степанида, красневшая

и смущавшаяся при каждом произносившемся ею слове, — все было подчинено подбору и складыванию рифм. Потом она задумала организовать библиотеку при местном клубе (тогда еще в Поляновке был клуб, перевезенный позднее на центральную усадьбу, в Курчавино) и, собрав активисток, принялась ходить по дворам колхозников и уговаривать их отнести имевшиеся у них книги в будущую библиотеку. Намерение было хорошим, но книг и охотников отдавать их оказалось мало, и дело опять, в сущности, было закончено ничем; но шума и разговоров вокруг всего было так много и так, казалось, очевидно было желание Галины делать добро людям, что у всякого, кто сталкивался с ней в это лето, создавалось впечатление о ее постоянной и неуемной деятельности; для Лукина же эта деятельность Галины была тем главным, что он находил удивительным и прекрасным в ней.

Но как он ни был увлечен ею, та линия жизни (та перспектива, открывавшаяся Лукину за выборной комсомольской должностью), где он мог подняться и достичь положения, всегда оставалась для него неизменной, и потому, сколь ни тяжело было ему расставаться с Галиной, он не поехал за нею в Москву. «Может, оно и к лучшему, — позднее думал он, оглядываясь на свое прошлое и начиная понимать, чего больше было в Галине: обыкновенной ли суеты или деловой устремленности. — Что же за все хвататься, одно дело в руках, но чтобы оно было делом!» Ему нужно было утешение, и он находил его в этих словах. Но, несмотря на все очевидное различие в характерах его и Галины и несмотря на всю ее суету, противоречившую как будто крестьянской уравновешенности Лукина, он постоянно затем испытывал ощущение, словно ему не хватало именно ее суеты, движения, спешки; он чувствовал себя так, будто все еще оставался в том мире понятий семьи, чести и долга, с каким впервые (в детстве) встретился в деревне; и он как будто держался за этот свой мир, тогда как Галина звала к чему-то новому, что шло от эпохи, от больших городов, от той как бы лежавшей всегда за кордоном для мужика шумной столичной жизни, которая была и красивой и непонятной и постоянно и необъяснимо притягивала его. Он как бы оставался на пристани, в то время как пароход, наполненный людьми, цветами и музыкой, отчаливал от нее. Минуту назад он мог еще ступить на палубу и слиться с этой нарядной и весело голосившей

толпой, и вся прелесть предстоящего путешествия по океану, как она должна была открываться всем, открылась бы и ему; но он не решился подняться на палубу, так не хотелось ему отрываться от твердой под ногами земли, и затем переживал оттого, что в душе его было неопределенно, и он думал, что́ он приобрел и что́ потерял по своему глупому мужицкому упрямству. Под ногами его была твердая земля, но для полноты жизни, он чувствовал, было как будто недостаточно этого, и он снова и снова как бы видел перед собою тот отплывавший пароход с цветами и музыкой, где все было разрисовано совсем иными красками, чем то обыденное, что окружало его в спокойной и счастливой как будто новой семейной жизни.

V

Вторая женитьба Лукина, как и большинство вторых браков, была не по любви.

В доме старой школьной учительницы, где он поселился, когда его избрали секретарем совхозного парткома, собирались по вечерам гости — та небольшая часть деревенской молодежи, какую принято обычно называть сельской интеллигенцией, но у какой, несмотря на всю внешнюю подражательность, всегда бывает больше деревенского, чем городского. Как только набиралось достаточное количество гостей, самовар сейчас же отодвигался на край стола и хозяйка, полная, седая, с неподвижными добрыми глазами женщина, знавшая в жизни только одну дорогу — от дома к школе и от школы к дому, доставала из комода потертые карты лото и мешочек с кубиками и тем учительским тоном, каким обычно вызывают к доске учеников (тоном, задававшимся ею всей школе), спрашивала: «Ну, кто сегодня кричит?» Кричать же чаще всего предлагали ей, и она, положив мешочек с кубиками на колени и близоруко наклоняясь над столом так, что грудь ее, казалось, наплывала на скатерть огромными мягкими полукружьями, методично начинала: «Барабанные палочки!» Что означало одиннадцать. «Дамские туфельки!» Что надо было понимать: семьдесят семь. Или: «Туда-сюда, куда хочешь!» И все должны были закрывать цифру шестьдесят девять. В большинстве случаев, когда Лукин возвращался с работы, он заставал именно эту картину в доме, его сейчас

же усаживали за стол, и, хотел он этого или не хотел, он невольно втягивался в общую атмосферу вечера. Иногда лото заменялось картами, играли в «акульку» (у кого останется дама пик) и проигравшему независимо от того, был ли это мужчина или женщина, углем на лбу рисовали крестик. Особенно весело становилось всем, когда черная метка вдруг оказывалась на лбу Лукина.

— Нет, нет, секретарь, не стирать! — кричали ему.

— Да это же игра, — утешала хозяйка, содрогаясь всем своим грузным телом от веселья, распиравшего ее.

Непременной участницей всех этих вечеров была молодая учительница Никифорова. Звали ее Зинаидой Александровной, иногда, в кругу друзей, Зиночкой, и она более других и своим поведением и образом мыслей была похожа на хозяйку дома. Она улыбалась только тогда, когда уже нельзя было не улыбаться, и сидела обычно молчаливо, раз и навсегда как будто запомнив лишь одно правило, что «язык мой — враг мой» и что не для того дана голова человеку, чтобы только вырабатывать в ней и выплескивать всякие глупости, но для того, чтобы слушать, наблюдать и аккумулировать все лучшее, что окружает нас; она, в сущности, была одной из тех глубоко преданных своей профессии школьных учительниц, которые считают, что едва ли есть еще более важное в государстве дело, чем учеба детей, и в силу этой своей убежденности не только каждое желание, но каждое движение своей души соизмеряют лишь с наивысшими критериями добра и нравственной чистоты. Они обычно бывают строже к себе, чем к ученикам, и все, что, по их мнению, может служить поучительным примером, часто так гиперболизируется ими, что доводится до глупости и опошления; но вместе с тем учительницы эти нужны обществу точно так же, как нужна бывает совесть или боль человеку, чтобы вовремя остановиться и посмотреть, что сделано им в жизни. Зинаида всегда носила одну и ту же прическу, заплетая в косу и укладывая улиткой на затылке свои густые русые волосы, и делала это не потому, что так было модно и было к лицу ей; ей казалось, что все лучшее в женщине, что нравственно должно возвышать ее, заключалось именно в этой никогда не стареющей классической прическе, и она носила ее так, так гордо держала голову на высокой и красивой шее, что невольно вызывала у всех уважение к себе. Постепенно (и не без помощи хозяйки дома) она выработала и опреде-

ленный вкус к одежде и надевала платья только такого покроя, какие лишь одни могли соответствовать, как и прическа, ее положению учительницы. Строгость ее нарядов и строгость поведения — все это естественно сочеталось в ней, и она, казалось, никогда не стремилась выглядеть броской, а добивалась лишь одного — чтобы внешний облик ее сейчас же мог всякому сказать, каких взглядов на жизнь придерживается она. Красотой в ее понимании было лишь то, что представлялось ей глубоко традиционным для русской женщины, и, может быть, потому она так любила иногда празднично накинуть на плечи белый вязаный шарф. Шарф был шерстяной, был той редкой работы, когда можно было с удовольствием разглядывать каждый отдельный рисунок на нем и с тем же приятным чувством видеть его на покатых плечах Зины; волнистые края его нежно поднимались к самым корешкам ее туго натянутых в прическе волос, и всякий раз что-то как будто необыкновенно солнечное излучалось от соприкосновения тонких ворсинок шарфа с мягкими и красивыми мочками ушей. Лучились круглые, как завитки волос, золотые сережки, но впечатление создавалось именно это, что от с о п р и к о с н о в е н и я, и оттого лицо Зины не только никогда не выглядело унылым, но, напротив, казалось будто подсвеченным какими-то радостными огоньками жизни. И несмотря на весь свой заданный аскетизм, какой она всегда старалась подчеркнуть в себе, за спокойным выражением серых открытых глаз, за каждой черточкой ее по-крестьянски округлого, но совсем не с крестьянской белизною лица чувствовалось, что лежало иное, буйное желание жизни. Она притягивала к себе именно этой внутренней силой, которая так ли, иначе ли, но должна была проявиться в ней, и вместо того, чтобы быть незаметной, была, в сущности, на виду; и она понимала это и, как всякая другая женщина на ее месте, с еще большей настойчивостью, как только в доме появился Лукин (и особенно когда заметила, что Лукин обратил на нее внимание), продолжала делать то, что выделяло ее.

Но еще прежде, чем Зина поняла, что Лукин нравится ей (и что он может стать ее мужем), и прежде, чем сам Лукин начал замечать за собой, что он волнуется, встречая в компании гостей или на улице Зину, заметила и поняла это хозяйка дома. «Что еще лучшего можно пожелать ей? Надо поженить их», — сказала она себе, воз-

буждаясь тем зудом сводничества, какой часто и необъяснимо иногда охватывает пожилых женщин. Не искушенная в этом тонком деле, но чутьем угадывавшая, что могло более повлиять на Лукина, она при всяком удобном случае, как только разговор заходил о Зине, непременно произносила теперь, что для семейной жизни нет и невозможно найти лучшей девушки, чем Зина. «Уж мне-то поверьте, я-то вижу, другая и фартучек школьный не успеет снять, а в голове уж такое: все дозволено, все нипочем! Что из такой выйдет в жизни? А Зина — девушка редкая, на нее и посмотреть одно удовольствие, а что для семейной жизни — слов нет». И это сочетание, что и «посмотреть одно удовольствие» и что «для семейной жизни — слов нет», постепенно и все больше откладывалось на душе Лукина и вызывало интерес к Зине. Он искал основательности, и он чувствовал, что основательность эта была в ней; он видел, что она была красива, была строга и что самые разные и развязные люди (какими он встречал их в поле или на совхозном дворе) вдруг как бы менялись и становились другими, сдержанными и серьезными, как только попадали в общество Зины. Отчего это происходило, он не знал; но он и сам часто ловил себя на том, что он сдержан и строг при ней и что не может позволить себе той обычной своей естественной простоты в общении с людьми, без чего он не мог бы считаться своим среди рабочего люда поселка. Он чувствовал, что в Зине жила та сила, которая действовала на людей, как действует чистый паркетный пол, на который совестно бросить окурок, и сила эта притягивала его. Ему казалось, что с Зиной у него должна быть совсем иная жизнь, чем была с Галиной; и чем он яснее представлял себе эту новую жизнь, тем отчетливее сознавал, что э т о и было для него как раз то главное, что он искал в жизни. «С ней, только с ней, это судьба», — думал он. Но чем больше он думал об этом, тем больше робел и тем труднее, он чувствовал, было ему сделать предложение ей. Он боялся сказать ей, что был женат (боялся возмущения и отказа), и так и не сказал ничего о Галине и сыне Юрии ни перед свадьбой, ни после, когда все первые волнения супружеской близости были позади и семейная жизнь и для него и для Зины вошла в то свое привычное, как у всех людей, русло, когда уже совсем иные заботы, чем до супружества, беспокоили и занимали их.

Он привыкал к Зине точно так же, как человек, прежде всегда живший в тесноте и неудобстве, привыкает к светлой и просторной комнате, в которой и уютно, и много воздуха, и можно пройтись от угла к углу, не задев стула и не помешав никому; и это ощущение какого-то будто душевного простора, вдруг открывшегося ему, о существовании которого он и не подозревал прежде, и соразмерности жизни, о чем по крестьянским своим привязанностям всегда только мечтал, не находя возможности, как добиться ее для себя, — все это и месяц, и год, и два спустя после свадьбы, когда уже родились и первая и вторая дочери, продолжало странно удивлять и радовать его. Он как будто влюблялся в жену, чем дольше жил с ней и узнавал ее. Зина никогда не вмешивалась в его дела и не говорила, что он то-то и то-то провел не так, как надо бы, что в таком-то и таком-то случае был не прав или несправедлив и что, прежде чем начинать что-либо, следует обдумать и обговорить все, как это принято делать теперь во всех дружно живущих семьях, в которых и муж и жена, одинаково занятые общественным трудом, с заинтересованностью и уважением друг к другу обычно делятся своими общими наблюдениями жизни; она лишь только замечала, когда он бывал более уставшим или менее уставшим, и с чуткостью, присущей умной женщине, старалась лишь создать ту атмосферу в доме (приучая к этому и своих подрастающих дочерей), чтобы усталость эта была снята с мужа и чтобы ничто не могло нарушить раз и навсегда как будто избранного ею ритма семейной жизни. Но Лукину казалось, что она знала все, когда ладилось и когда и что не ладилось у него на партийной работе, и постепенно испытывал то ощущение, будто она присутствовала в его делах, и, сидя в своем рабочем кабинете, иногда даже вдруг оглядывался, словно Зина стояла позади и своим спокойным и открытым взглядом смотрела на него. Он не думал, что это была та самая сила, которая заставляла его (и других вместе с ним) вести себя сдержанно при ней; но он ясно как будто чувствовал, что это была именно та сила (сила чистого паркетного пола), которая всегда властно действует на людей, и, ценя эту силу и подчиняясь ей, он вместе с тем чем ощутимее чувствовал ее на себе, тем внимательнее приглядывался к Зине (в разные минуты жизни с ней), стараясь понять это непонятное, что привлекало и казалось ему загадоч-

ным в ней. Иногда вдруг, отложив газету, он начинал смотреть на нее, сидевшую за столом и проверявшую ученические тетради. Ничего как будто особенного не было и не могло быть в том, что она делала (каждый вечер она принималась за эту свою работу); плечи ее были накрыты шарфом, лицо освещено светом настольной лампы, и между шарфом и мочками ушей привычно оживляющими завитками искрились еще в девичестве приобретенные сережки; но вместе с тем во всей ее осанке, как она сидела, царственно прямо держа спину и только чуть наклоняя голову, когда надо было подчеркнуть или поправить что-то, в сосредоточенности и расчетливости движений и в чем-то еще неуловимом, что соединялось лишь в общем впечатлении, будто она и в самом деле выполняла какое-то очень важное дело, от которого нельзя было отрывать ее,— во всем, казалось Лукину, было что-то еще неразбуженное, что-то глубоко русское, он сейчас же вставал, подходил к ней и неожиданно и беспричинно как будто обнимал ее.

— Ты что? — удивленно смотрела она на него.

— Ничего, ничего, работай, я так. — И он затем снова отходил к дивану и брался за газету.

И все же он иногда спрашивал себя: «Счастлив ли я с ней?» И хотя отвечал: «Да, счастлив», но уже в том, что вопрос этот возникал перед ним, было что-то такое, что заставляло сомневаться в этом.

Люди вполне счастливые не думают, счастливы ли они; они просто живут и не замечают своего счастья.

Может быть, если бы Лукин не знал другой жизни, чем та, какою он жил с Зиной; если бы всей своей комсомольской, а затем партийной работой не был включен в тот общий захватывающий трудовой ритм, когда все в стране было приведено в движение в поисках совершенных форм руководства производством и всякое даже незначительное начинание сейчас же подхватывалось, поощрялось и, не успев развиться, заслонялось новым и новым, будоража и увлекая умы и сердца людей; и если бы все эти устремления времени он не ощутил с такой отчетливой близостью в Галине с ее неутомимой жизнедеятельной суетой и переменою дел и настроения (со временем он помнил в ней только это, что она постоянно стремилась к чему-то), он был бы вполне доволен тем, как он жил теперь с Зиной. Но он знал другое, и ему не хватало беспокойства, которого не было в Зине; и, при-

сматриваясь к ней, он постепенно начал понимать, что нет и не было в ней никакой неразбуженной силы, не было ничего загадочного, а было только страстное поклонение раз избранным канонам жизни; каноны эти были впечатляющи, в них было все то нравственно высокое и чистое, что не могло не вызывать уважения; но в них было и другое — та ограничивающая деятельность деревенского человека черта жизни, за которую нельзя было как будто без риска быть осмеянным, как считала Зина, переступать никому. У нее никогда не возникало желания сделать что-то большее, чем то, что она делала каждый день, и ее вполне удовлетворял этот замкнутый круг ее интересов. Она старалась держать в этом кругу и Лукина, и то состояние раздвоенности, когда на работе, в поле, с людьми он продолжал оставаться все тем же прежним веселым и простоватым секретарем парткома, каким все знали его, а дома, как только переступал порог, сейчас же чувствовал, что будто попадал совсем в иной мир, где всему, даже шутейному, придавалось значение важности, — это состояние раздвоенности, прежде почти не замечавшееся им, начинало тяготить его. Он сопоставлял, как бы мог жить с Галиной и как жил теперь, и то ощущение пристани и отплывающего парохода с шумной толпой, цветами и музыкой на палубе, ощущение утраченной возможности жить той жизнью, от которой он так глупо и бессмысленно отказался тогда, как нечто навязчивое, как репьи на одежде с заросшего бурьяном пустыря, через который, спрямляя дорогу, случалось не раз ходить Лукину к старым хлебным амбарам, — именно это липкое и навязчивое, что надо было отдирать от себя, наслаивалось и неприятно и тревожно беспокоило его.

Особенно остро он почувствовал, что что-то неверное совершил в жизни, когда однажды в Мценске, это было в то лето, когда Галина с Арсением, счастливая своим новым замужеством, гостила у отчима, увидел ее. Он увидел ее вечером, как раз в тот день, когда она с отчимом и мужем вернулась из Спасского-Лутовинова (и с Бежина луга, где Арсений на виду у тестя на конной косилке прошел загон), и та всегда волновавшая Лукина живость в ней, и прическа, и одежда, сейчас же выдававшая в ней не просто городскую, но столичную женщину (что в те годы было особенно разительно), сразу же было замечено им, и слежавшееся было уже чувство

к ней вновь и с болью всколыхнулось в нем. Но он не подошел и не заговорил с ней; он только издали, из-за толпы людей наблюдал, как она вместе с Арсением проходила по противоположной стороне улицы; но, вернувшись на другой день к себе в совхозный поселок, Лукин двое суток не ночевал дома. Забравшись на отдаленный полевой стан, где работала бригада косарей-механизаторов, он с утра и до вечера лежал в тени под вагончиком, а на ночь уходил к незавершенному стогу сена, оставаясь один на один с мрачными своими мыслями, с ночной тишиной и звездным небом, на которое смотрел, то видя и синеву и звезды, то не видя ничего, кроме того, о чём думал и что хотелось видеть ему. Но как ни мучительно было его состояние и сколько ни думал он о своей судьбе, он ничего не мог придумать лучшего, чем вернуться в семью и жить с ней; и, усталый и опустошенный, придя домой на третий день, он впервые вдруг остановился у порога и долго и внимательно смотрел на Зину и на девочек, своих дочерей, которые словно в каком-то странном предчувствии недоброго прижимались с двух сторон плечиками и головками к матери.

Ни в тот вечер, ни позднее он так и не сказал жене, что было с ним; сама же Зина не стала расспрашивать его, и через день-два в семье восстановилось как будто то же согласие, какое было прежде. Но оттого, может быть, что Лукин сознавал себя виноватым перед ней, он чувствовал, что было все же что-то нарушено в его отношениях с Зиной, и, чтобы загладить свою вину, он, к удивлению Зины, вдруг к лучшему как будто переменился к ней. «Раз уж нельзя бросить, так надо жить и поддерживать жизнь», — говорил он себе, стараясь пробудить в душе то чувство, какое, казалось ему, всегда прежде испытывал к Зине, но какого, в сущности, не было в нем. Когда он теперь обнимал ее, он делал это не потому, что ему хотелось сделать это, но лишь от сознания, что он должен поддерживать в ней убеждение, что любит ее; когда говорил ей что-либо ласковое — точно так же делал от сознания, что должен сказать ей это (что так нужно для семейного согласия, без которого невозможно быть вместе), и все внимание его в такие минуты сосредоточивалось лишь на том, чтобы Зина не догадалась, как ложны его слова и чувства. Он уже не находил в ней ни основательности, ни красоты, хотя в доме всегда было уютно, чисто и приготовлено все для него; он видел

только какую-то будто рабскую ее привязанность к себе и, тяготясь этой привязанностью, думал, что стало бы с ней, если бы он вдруг оставил ее. Беспокоила же его не та сторона дела, на какие средства Зина будет жить без него; он думал, как надломлена будет ее душа и что никакими объяснениями нельзя будет восстановить этого надлома; и когда теперь, отложив газету, смотрел на нее, он вспоминал бегавшую по тротуару маленькую серую собачку, которую хозяин, пожелав избавиться от нее, выбросил на улицу. Робко повиливавшая хвостом, придавленная, испуганная, не понимавшая, что произошло с ней, и не умевшая ничего сказать о себе людям, она лишь заглядывала им в лица, и в растерянных глазах ее, во всем выражении лохматой ее мордочки ясно прочитывалось: «Чем я не угодила вам, люди, и за что так жестоко вы наказали меня?!» Было это в Мценске, и Лукин тогда, нагнувшись, погладил собачку и накормил ее; и то ощущение жалости, какое испытывал тогда к маленькому беззащитному существу, странно и необъяснимо теперь распространялось в нем на Зину, и он чувствовал, что никогда не сможет поступить с ней так, как тот хозяин с собачкой; и от этой жалости к Зине он постепенно начал проникаться каким-то новым будто чувством привязанности и любви к ней (и к дочерям) и, чтобы сохранить это облегчавшее ему семейную жизнь чувство, как можно реже во все последние годы старался встречаться с бывшим своим тестем и избегать разговоров с ним.

Беспокоила же Лукина, казалось, только судьба сына Юрия, и оттого, несмотря на все свое внутреннее сопротивление, он все же ждал и желал встречи с бывшим тестем и волновался теперь, выйдя из машины к краю пшеничного поля и видя перед собою поредевшие избы Поляновки.

VI

Приезд Лукина был настолько неожиданным для домашних Сухогрудова, что, как это обычно бывает в таких случаях, все в доме сейчас же всколыхнулось, заволновалось, пришло в движение, и Степанида, первая увидевшая Лукина и узнавшая его, с бледным, чем-то вроде напуганным лицом уже шептала на кухне Ксении, что это явился тот самый первый муж Галины, от которого у нее сын Юрий, и Ксения, а из-за ее плеча и Степанида смотрели сквозь раскрытое окно на Лукина, стоявшего во

дворе, под солнцем. В свежем, еще не помятом костюме и в рубашке с галстуком он представлялся пожилым женщинам стройным и красивым молодым человеком и производил на них то же впечатление (благодаря незаметным и ненавязчивым будто усилиям Зины), какое производил на всех, словно и в самом деле был не деревенским человеком, а всегда жил в городе и вкус к одежде и строгость к себе были естественно и с детства привиты ему.

— Да неужто он, ты не ошиблась? — говорила Ксения, в то же время с беспокойством оглядывая себя, в каком она платье и можно ли выйти в нем к гостю.

— Как же я могу ошибиться? Он, он! — восклицала Степанида, своим нерасторопным, застоявшимся за домашними делами умом стараясь соединить в одно целое все последние разговоры о Лукине, какие в связи с приездом Галины почти каждый день возникали и велись между женскою половиною дома; она так волновалась за племянницу и за ее сына Юрия, как будто не Галине, а самой Степаниде предстояло пережить эту неожиданную встречу со своим прошлым. — А Галя-то, Галя... ничего не знает,— продолжала она.

С утра еще ушедшая в Курчавино навестить сына, жившего у тетки Ульяны и пристроенного работать на ферме, Галина к обеду вот-вот должна была вернуться; и предчувствие чего-то интересного, что должно произойти, как только она вернется и увидит бывшего своего мужа, как и Степаниду, охватывало и Ксению.

Сухогрудов же, только что совершивший свою предобеденную прогулку вдоль пшеничного поля к березовому колку, тоже был теперь во дворе и разговаривал с Лукиным. Он стоял от Лукина на том расстоянии, когда мог видеть всего его от черных остроносых туфель до весело взъерошенных ветром волос на голове и когда Лукин (чего по старости своей уже не в состоянии был учесть Сухогрудов) точно так же хорошо видел с ног до головы бывшего своего тестя. Лукин был одет, что называется, с иголочки, как и положено, наверное, было быть одетым ему; Сухогрудов же был во всем домашнем, в полинялых брюках, синей, с полинялым воротником рубашке и в подстеженной, несмотря на июньскую жару, длиннополой, без рукавов поддевке, и в одежде его так отчетливо проглядывало то стариковское, что сейчас же поразило Лукина. «Как проступила в нем старость»,—

подумал он, подавляя в себе то состояние неловкости, что сам он молод, здоров и занимает тот пост в райкоме, какой когда-то занимал этот стоявший теперь перед ним старик. Но Сухогрудов, уверенный, что в нем еще достаточно сил для деятельности (и при виде Лукина особенно ощутивший эти силы в себе), не только не замечал, как невыгодно выглядел перед Лукиным, но, напротив, оттого, что бывший зять все же приехал за советом, чувствовал себя еще увереннее перед ним, чем на пленуме, когда поздравлял с успехом его. «Значит, нужен еще»,— возбужденно подумал он, всем своим морщинистым лицом строго и жестко, однако, глядя на Лукина.

— Приехал-таки, не забыл? Ну что ж, рад, рад и готов к разговору. Все эти дни думал, даже записал кое-что. Так прошу, что же стоять на солнце.— И, жестом пригласив Лукина и не сомневаясь, что Лукин сейчас же пойдет за ним, тяжеловатой старческой походкой направился к дощатому крыльцу дома.

Поднявшись на крыльцо и проходя мимо кухонной двери, за которой еще шептались Степанида и Ксения, и не оборачиваясь и не замечая их, он продолжал повторять про себя: «Нужен!.. Что ж, это неплохо, что нужен», видя всю цель приезда Лукина только в том, что сейчас должен состояться деловой разговор с ним. Он вел бывшего зятя в ту знакомую ему комнату, которая считалась в сухогрудовском доме одновременно и гостиной и кабинетом, и так как все самые значительные мысли о народе и жизни возникали и обдумывались старым Сухогрудовым именно в этой комнате, он вошел в нее так, словно в крепость, в которой ничто не могло уязвить его. От разговора с Лукиным он не ждал для себя никаких перемен; но сознание, что теперь будет у него бóльшая возможность влиять на общий ход дел в районе (что Лукин молод, а молодость всегда нуждается в совете и поддержке), вызывало в нем как раз это чувство, что все же что-то менялось для него в жизни и что впереди открывалось поле для деятельности; и, возбужденно думая пока лишь об этом, что было главным для него, он еще не воспринимал Лукина как бывшего зятя, а видел в нем только секретаря, то есть человека, наделенного теперь той властью, какою в свое время был наделен сам Сухогрудов, и чувство ревности и соперничества, всегда прежде подавлявшееся им, делало его теперь раздраженным и резким.

— Прошу, — кивнув Лукину на кресло, произнес он, но не как хозяин дома гостю, а тем не забытым еще своим суховато-сдержанным тоном, словно все происходило сейчас в служебном кабинете и он обращался к сотруднику, которого пригласил, чтобы разъяснить, что намерен поручить ему. — Прошу: в то, в это, — повторил он, заметив, что Лукин колеблется, в какое лучше — в центре ли комнаты или у окна, чтобы не быть на свету, сесть ему.

— Ты извини, я не в том параде, — затем, когда Лукин уже устроился в кресле, проговорил Сухогрудов, уловив его взгляд на себе. — Подожди минуту, переоблачусь.

— Ну что вы...

— Нет, нет! Я сейчас. — И он вышел, оставив Лукина одного в комнате.

В противоположность Сухогрудову Лукин не только не был настроен на деловой разговор, но еще более, чем несколько минут назад, когда от края пшеничного поля смотрел на Поляновку, всеми мыслями был обращен к прошлому, к тому лету, когда с Галиною жил здесь. Дом с тех пор был обновлен и перестроен, и Лукин еще издали, подъезжая, заметил это; но теперь, сидя в комнате, разглядывая ее и видя в ней знакомые шкафы и стулья, испытывал то чувство, будто, несмотря на перестройку и обновление, в доме еще сохранялось что-то от той суетной жизни, по какой все эти годы после развода с Галиной он тосковал как о чем-то важном и недостающем ему. Он заметил, что потеет (от того напряжения, в каком находился), и, достав платок, старательно вытерев им лицо и шею, встал, прошелся по комнате и подошел к окну. Он хотел освободиться от воспоминаний, которые угнетали его; но увиденное за окном только сильнее растревожило их, и он тут же отвернулся от берез, росших в соседнем (с вывезенною уже избою) дворе. Березы были точно такими же, какими были тогда, в то лето, и Лукин не мог смотреть на них. Отойдя от окна и еще раз пройдясь по комнате (все с той же целью — освободиться от воспоминаний), он сел в кресло и сейчас же почувствовал, что лицо и шея его опять влажны от проступившего пота.

«Да что со мной?» — подумал он с тем ясным ощущением, что он и в самом деле будто не понимал, что же так особенно волновало его. Что Галина с сыном гостила

в эти дни у отчима, он не знал, но всем своим душевным состоянием, как это необъяснимо и часто случается с людьми, чувствовал, что как будто должен был сейчас встретиться либо с ней, либо с Юрием, и все напряжение происходило как раз от этого предположения, что они здесь и что он не может не увидеть их. Когда он входил в дом, он заметил только двух женщин (за кухонной дверью), одну из которых не знал—это была Ксения, другую знал — это была Степанида, памятная Лукину тем, что из всех тогдашних родственников по линии Галины более других жалела и понимала его. Он кивком поздоровался с ней, проходя мимо, и точно так же поздоровался с Ксенией, заметив лишь, что что-то будто настораживающее было в выражении их глаз, как они смотрели на него. Но в ту минуту он не придал этому значения; теперь же было ему очевидно, что они знали что-то, чего еще не знал он, и этим что-то, казалось ему, были Галина и Юрий. Повернув голову к неплотно прикрытой двери, он прислушивался к звукам, доносившимся из-за нее, стараясь уловить, что подтвердило бы его предположение; и хотя никаких подтверждений не было, он по-прежнему думал, что они здесь, и, несмотря на все свое всегдашнее желание увидеть Юрия (и увидеть Галину), впервые вдруг с ясностью почувствовал, что встреча с ними была не нужна ему, что он не смог бы ничего сказать им и только бы краснел и испытывал неловкость перед ними. «Да их и нет здесь», — все из того же желания освободиться от воспоминаний опять про себя решил он и, расстегнув воротник рубашки, слегка ослабил галстук, как будто мешавший свободно дышать ему; он боялся не самой встречи с бывшей женой и сыном, а того, что не удержится и сделает для них что-то такое, после чего трудно будет ему смотреть в глаза Зине и дочерям, перед которыми, он понимал, было у него больше обязательств, чем перед Галиной и Юрием.

«Что я здесь потерял? Зачем я здесь?» Но в то время как он говорил себе это, он то и дело оборачивался и продолжал прислушиваться и к тому, что делалось за дверью, и к своим мыслям.

VII

— Ну вот, можно и начинать, — сказал Сухогрудов, входя в комнату и представая перед Лукиным совсем

как будто другим человеком, чем только что был перед ним.

Он был теперь в темно-синем костюме, светлой в полоску рубашке и галстуке, во всем том, в чем был на пленуме райкома, когда избирали Лукина, и в преобразившемся выражении морщинистого лица его уже не было заметно той старческой усталости, какая так поразила Лукина в первую минуту встречи. Подстариковски нависшими густыми бровями видны были живо смотревшие на Лукина глаза, и возбужденный блеск этих глаз (возбужденный предстоящим деловым разговором, в котором Сухогрудов уже заранее предполагал, что будет неопровержим от продуманности и основательности своих убеждений), блеск этот, так знакомый по прежним встречам Лукину, как сигнал к торможению, сейчас же словно приостановил все движение только что волновавших его мыслей; но несколько мгновений он все же продолжал еще всматриваться в бывшего тестя, ища теперь в нем подтверждение своим догадкам о Галине и Юрии. «Здесь они? Нет? Похоже, нет», — торопливо пробегало в его голове, в то время как Сухогрудов, усаживаясь в кресле напротив, тяжело, из-под бровей, оглядывал его. Старику Сухогрудову хотелось только уяснить себе: действительно ли слушать или спорить с ним приехал Лукин? И, готовый и к тому и к другому, лишь прищуривал глаза с той простоватой мужицкой хитрецою, какая, несмотря на его теперешний торжественный вид (и несмотря на интеллигентность, стоявшую за всей его прежней райкомовской деятельностью), выдавала в нем простого деревенского человека.

— Не придавила еще... райкомовская шапка Мономаха? — начал он с этой тяжеловатой, как он любил, и не без определенного смысла шутки. Он сидел так, что хорошо видел все напряженно-влажное от пота молодое лицо Лукина; сам же был в тени, и только гладко выбритая щека с двумя глубокими желтоватыми складками, уходившими под свободно облегавший шею воротник рубашки, была освещена скользящим оконным светом.

— Надо еще поносить ее, — старался поддержать начатый как будто шуткою разговор, ответил Лукин.

— Ничего, сначала набекрень, потом по уши, а потом — и еще глубже. И чем глубже, тем тяжелее. Все, все пройдешь. Все еще у тебя впереди.— И на тонких губах его появилось то выражение как будто улыбки и

вместе с тем как будто усмешки, что всегда неприятно действует на людей и что теперь неприятно затронуло Лукина.

— А может, и не надо глубже, зачем глаза закрывать? — возразил он.

— Может, и не надо, но ведь и не все зависит от нас, — с той же неопределенной то ли улыбкой, то ли усмешкой глядя на Лукина, согласился Сухогрудов. — На что откроешь, а на что и закроешь. С народом работать, не с муравьями, у которых все расписано как по бумажке: этот делает это, а тот — то. Народ, он только в слове красиво един, а на деле — один покладист, другой взбрыкнет, а третий гнет свое, хоть ты кол теши ему на голове, а спрос с тебя и только с тебя: обеспечь план — и все тут. — Он чувствовал, что нить разговора была у него, и от иронии, с какою начал разговор, незаметно переходил к тому серьезному и главному, что составляло смысл всей его (в отдалении от дел) поляновской жизни. — План спрашивали всегда и будут спрашивать.

— Но разве план — самоцель?

— Самоцель не самоцель — не старайся бежать впереди прогресса. Все мы планируем свою жизнь. И всегда планировали. И мужик планировал, прикидывал, по крайней мере, что к чему, так чего же ты хочешь от государства? И планировать будем и выполнять — жизнь заставит. А вот не кажется ли тебе, что дошла наконец очередь и до деревни — поднимать ее? Погоди, не спеши, — тут же перебил он, заметив, что Лукин собирался что-то возразить ему. — Там! — И Сухогрудов чуть приподнял указательный палец. — Там думают так: поднимать не самодеятельно, как мы ее поднимали всегда, а с государственными возможностями и подходом к делу. Наверное, пришла пора вкладывать в деревню, и вкладывать основательно, и, если откровенно, гложет меня, старика, одна мысль: а готовы ли мы освоить те капиталовложения, какие выделили и будут еще выделять нам, деревне?

— В каком смысле?

— В прямом. Сумеем ли мы по-хозяйски распорядиться тем, что дадут нам? Не разучились ли мы хозяйствовать и не начнем ли затыкать дыры и прорехи, тогда как время, мне кажется, требует от нас перестраивать все, все! Вопрос или не вопрос?

После недавних разговоров с Ильей Никаноровичем Лукин не ожидал, что Сухогрудов сможет, кроме общеизвестных стариковских истин и предостережений, сказать еще что-то интересное и дельное, и был удивлен, услышав это неожиданное признание от него; удивлен прежде всего совпадением мыслей: как думал сам Лукин и как по тому же вопросу думал старик Сухогрудов. Лукин сейчас же почувствовал, что за годы, пока не общался с Сухогрудовым, старик не то чтобы переменился, но что во взглядах его на положение дел в деревне произошли изменения и что изменения эти были так разительны, что невольно вызывали теперь удивление Лукина; он даже чуть подался вперед, чтобы лучше слышать бывшего тестя, и напряжение (от чего он потел) отпускало его, и лицо обретало то ровное выражение, какого во все эти предшествовавшие минуты встречи недоставало ему. Он не заметил, как от одних мыслей и чувств, только что угнетавших его, переключился к другим, деловым, которые были важнее и глубже сидели в нем, и, как часто бывает при таких резких поворотах настроения, ему вдруг тоже захотелось и с тем же откровением, какое он уловил в словах Сухогрудова, поделиться своими давно вынашивавшимися взглядами на деревенский вопрос; он ждал только, когда можно будет вступить в разговор.

— Я вполне согласен с вами, — наконец выбрав минуту, вставил Лукин, в то время как в глазах и на просохшем от пота лице его живо отразилось это новое волнение, охватившее его. При всем понимании, что взгляды его и Сухогрудова совпадали, он продолжал, однако (из прежних своих инстинктивных соображений), видеть в нем некоего своего противника и был возбужден теперь тем, что хотел как можно понятнее объяснить Сухогрудову, в чем, как ему казалось, заключалась главная причина отставания деревни. — Чувство хозяина — великое чувство, — торопливо продолжал он. — Разумеется, хозяина не в том узком смысле, что только — свой амбар, а всего, всего, что мы делаем. — Он, в сущности, лишь повторял то, о чем не раз говорил Илье Никаноровичу; но произносил все с тем ощущением, будто говорит впервые, и потому слова его звучали напористо и красиво. — Корень вопроса в этом и только в этом, но вот подход к нему, к сожалению, разный.

— Подход может быть только один — партийный.

— Да, но он разный, — продолжал свое Лукин, подвигаясь на край кресла, как будто хотел еще ближе быть к Сухогрудову и видеть его. — Конечно, я понимаю, не просто было объединить мужицкие хлебные амбары в единый государственный элеватор.

— Коллективизацию имеешь в виду?

— Да. Но если та механическая сторона прошла быстро и давно закончилась, элеваторы стоят, то сторона моральная, нравственная — это не такое простое и короткое дело.

— Зачем же так глубоко забирать? — заметил Сухогрудов.

— А почему бы и не забирать глубоко? Почему? — переспросил Лукин с тем чувством, что готов был сейчас же поспорить с любым мнением. — Тот хлебный амбар как раз и рождал у мужика чувство хозяина.

— И собственника.

— Согласен, и собственника, но и хозяина. Хозяина! Амбар мы у него забрали, но рождает ли в нем это же чувство станционный элеватор? Подумали мы об этом?.. И в нравственной оболочке мужика образовалась пустота. Как и чем заполнить ее? Убеждениями? Сомневаюсь, чтобы это одно могло дать положительные результаты, и нам надо безо всякой боязни для себя сказать, что вопрос этот далеко еще не решен так, как мы привыкли считать, что он решен.

В то время как Лукин говорил это, Сухогрудов молча и внимательно смотрел на него; и в то время как Лукину казалось, что он открывает истину, известную лишь ему одному, для Сухогрудова все это не только не было открытием, но было теми давними и не раз приходившими ему мыслями, которые он в силу разных жизненных обстоятельств никогда не высказывал никому; и именно потому, что не высказывал, а Лукин так легко и свободно позволял себе это, в сознании Сухогрудова рождалось резкое желание возразить ему. «Учить?! Да ты еще и под стол не ходил, когда я знал все это» — было в его прищуренном взгляде, во всем холодном выражении лица и в позе, как он сидел, постукивая старчески костлявыми пальцами по деревянному подлокотнику кресла. Он был в том ложном положении, в каком давно уже не ощущал себя (он должен был говорить не то, что думал, а то, что всегда раньше приходилось отстаивать ему), и сознание, что он не может быть те-

перь иным, чем был (сознание, что не может же перечеркнуть свою прошлую жизнь), делало его решительным и жестким.

— Я не теоретик и не люблю рассуждений,— резко прервал он Лукина. — Если хочешь знать настоящее мое мнение, что нужно деревенскому человеку, — ему нужно, чтобы все у него было для жизни. И поработать, и погулять, и пообщаться, и чтобы на столе все, тогда и в душе — никаких пустот. Вот тебе и теория и практика. — И он, как бы желая подчеркнуть, что разговор на эту тему исчерпан, поднял ладонь и задержал ее перед собой.

VIII

Наступило то неприятное молчание, когда, как это часто бывает, только что понимавшие друг друга и казавшиеся себе единомышленниками собеседники вдруг видят, что взгляды их разны и что поток слов (и чувств, вложенных в эти слова) — все было напрасно, как холостой выстрел по цели, по которой надо было стрелять полным зарядом. Лукин не то чтобы был уязвлен, но он сейчас же понял, что он был как бы остановлен на середине пути и что цель, к какой двигался всем ходом своих рассуждений (всем разговором своим), была как бы вдруг и с небрежностью брошена ему под ноги, словно ему хотели сказать, чтобы он не бил попусту обувь на каменистой тропе, когда рядом асфальтированная дорога и площадка, на которую надо выйти, вот она, здесь, и хорошо и отовсюду видна всем. Он не мог возразить Сухогрудову на его слова, так как был согласен с ним в том смысле, что нужно было деревенскому человеку (как, впрочем, и всякому другому) для полноты жизни; но он вместе с тем ясно сознавал, что разнило его с бывшим тестем: что Сухогрудов уже стоял на площадке, а он, Лукин, искал только подступы к ней; что Сухогрудов признавал эту площадку, что она уже есть и что оставалась только самая малость, чтобы освоить ее, тогда как Лукин, напротив, полагал, что она пока лишь обозначена в общих контурах и что нужно еще приложить усилия, чтобы прояснить и уточнить все; он чувствовал, что будто вновь натолкнулся на ту стену общественного мнения, брешь в которой, казалось ему, была уже пробита временем, и, как человек, впол-

не осознавший, что не может быть понят здесь, сейчас же замкнул все свои открывшиеся было душевные клапаны и с удивлением, но совсем другим, чем в начале разговора, смотрел на холодно-спокойное морщинистое лицо Сухогрудова.

«Но ведь и не тебе решать, — думал он, — в этом все дело».

«Да, решать не мне, но и ты вряд ли уйдешь дальше, чем будет позволено тебе жизнью», — молчаливо, взглядом говорил ему в ответ Сухогрудов.

Он был удовлетворен, что так решительно и одной, в сущности, фразой поставил молодого секретаря райкома на свое место; но то, как сделал это, было, он понимал, тем недозволенным и в свое время широко распространенным демагогическим приемом, какой не раз применяли против самого Сухогрудова и какой он применил теперь против Лукина; и, хорошо зная состояние бессилия, в каком оказывается в таких случаях человек, смотрел на Лукина не с торжеством, а с жалостью, как на новичка-тракториста, который хотел, но не сумел вспахать поле. «Так-то вот учить, не лыком шиты и не с завязанными глазами жизнь прошли», — говорил в Сухогрудове голос, какой всякий раз поднимался в нем от сознания своего превосходства над собеседником. «Да я только щупаю, не ломаю, чего скис, чего так скис?» — в то же время говорил другой голос, какой прежде, в былые годы, Сухогрудов сейчас же заглушил бы в себе, но чего не мог сделать теперь и по своей давней привязанности к Лукину как к человеку крепкому и устремленному, и по той доброте, какая как признак старости все чаще теперь проявлялась в нем. Лицо его постепенно как будто отходило, теплело, и в смягченном выражении отчетливо проступала именно эта доброта, которая бывает всегда так приятна в старых людях.

— Не перейти ли нам к конкретным делам, если, разумеется, они вас интересуют? — неожиданно для себя и с той интонацией, будто он извинялся и хотел исправиться, предложил он, переходя на «вы» с Лукиным.— Партийное дело — дело конкретное, да и не мне говорить вам об этом. Давайте-ка лучше взглянем сюда.— И, встав и приглашая за собою Лукина, он подошел к столу, на котором лежала развернутая карта земель района.— Что главное для хлебороба? Земля. Состоя-

ние земли, ее плодородие,— уже стоя перед картою, продолжал он.— Во что вкладывать средства, кому и сколько дать техники и кто лучше сможет использовать ее — вот над чем надо думать.— И он начал неторопливо излагать тот свой план размещения капиталовложений, включавший и мелиоративные работы, о чем говорилось на пленуме райкома, который, когда Сухогрудов работал над ним, представлялся ему интересным и значительным, но который теперь, после только что состоявшегося короткого разговора с Лукиным (главное, от впечатления, какое произвел на Сухогрудова этот разговор), уже не казался ни интересным, ни значительным.

Сухогрудов предлагал, в сущности, то, что он уже делал, возглавляя райком, когда всячески укреплял и без того сильные хозяйства, создавая так называемые маяки, по которым должны были равняться все другие, отстающие колхозы (и он поминутно называл свой любимый зеленолужский колхоз-миллионер, где председателем был его выдвиженец Парфен Калинкин). В плане его все было бы правильно и логично, если бы не то обстоятельство, что маяки создавались, но что всем остальным, отстающим, предлагалось тянуться до них, исходя лишь из тех общих возможностей, какие были для всех хозяйств района, и это, на что Сухогрудов прежде обычно закрывал глаза, оправдывая все фразой: «Нужен пример, пусть тянутся!» — теперь, как что-то оголенное, выпирало из всего его плана и смущало его. Он чувствовал, что он предлагал что-то устаревшее, что уже не могло быть принято (что-то вроде залатывания дыр и прорех, против чего сам же возражал в начале разговора); но ничего другого, кроме э т о г о, что было так основательно, как ему казалось, продумано им, он предложить не мог и только то и дело, замолкая, оглядывался на Лукина, стараясь уловить по выражению его лица, о чем тот думал. В душе Сухогрудов понимал, что для поднятия сельского хозяйства нужны были какие-то кардинальные меры (то, что позднее будет названо индустриализацией сельскохозяйственного производства); но в сознании его не могло родиться ничего, что бы вышло за рамки устоявшихся форм работы и жизни, и он, продолжая еще убеждать Лукина, сознавал всю бессмысленность того, что делал; но остановиться все же не мог, потому что не мог показать себя слабым

перед Лукиным, которого тоже считал в душе своим выдвиженцем.

Состояние же Лукина в эти минуты было еще сложнее и запутаннее. Когда он, поднявшись с кресла, подошел к столу, он еще думал, что сможет что-то интересное узнать от старого Сухогрудова, не год и не два (и неплохо, как считалось тогда) руководившего районом; но как только понял, что предлагалось ему: предлагалась все та же система паровозов и вагонов (то есть ведущих и ведомых хозяйств), которая хотя и не объявлялась еще устаревшей, но уже изживала себя,— интерес к сухогрудовскому плану у Лукина сейчас же пропал, и он лишь из уважения, что неприлично было уходить недослушав, продолжал стоять за спиной бывшего тестя и делать вид, что слушает его. То различие между ним и собой: что Сухогрудов уже взошел на площадку и осваивал ее, а он, Лукин, лишь искал пути к ней; что Сухогрудов исходил из того умственного заключения, что он признавал как завершившееся то, что, в сущности, не было еще завершено в нравственном сознании мужика, а Лукин воспринимал все в том истинном, как казалось ему, свете, как было на самом деле все в жизни,— различие это особенно остро ощущалось им. «А говорят, нет проблемы отцов и детей. Да вот же она, вот, я понимаю его, а он не понимает, не хочет и не может понять»,— мысленно говорил он себе, в то время как на самом деле все обстояло не так, как он думал. И его и Сухогрудова беспокоили, в сущности, одни и те же проблемы, но только старик не знал, как решить их, и предлагал лишь то, что было знакомо ему и проверено им, а Лукин был убежден, что знает все, и снова и снова говорил себе: «Одному больше, другому меньше... Да в том ли дело? Надо восстановить чувство хозяина — единое, большое, масштабное, чтобы оно было у каждого и составляло суть его жизни. И надо искать, как восстановить это чувство»,— и ему сейчас особенно казалось, что мысль эта была не только нова, но была его собственной мыслью, открытием, и что он начинал что-то смелое, что должно было, если применить это к делу, сейчас же положительно сказаться на всем. Но он, не замечая того, не только не был оригинален в своих суждениях о некоем нравственном отставании мужика, но теперь еще более повторял лишь то мнение, усилившееся к середине шестидесятых годов

(что надо спасать русскую деревню!), исходной точкой которого было известное беспокойство за состояние сельского хозяйства, но заключительной стороной — неверные, лишь мешавшие делу выводы. Люди, часто не связанные с сельской жизнью, предлагали рассматривать деревенский вопрос прежде всего как совокупность нравственных проблем, и в своих высказываниях и публикациях о деревне из лучших, разумеется, намерений так опоэтизировали разные стороны прежней крестьянской жизни (что связано с национальной историей любого народа), так выбеливали то, что столетиями было сопряжено с тяжелым, изнурительным трудом на земле, что у многих и по-разному настроенных людей невольно стало возникать одно и то же чувство, будто и в самом деле что-то огромное и важное утрачено теперь в нравственной жизни народа; они предлагали искать в прошлом то, что нужно было для решения сегодняшних проблем, и, как ни казалось Лукину, что в своих рассуждениях о чувстве хозяина он шел от жизни, а не от наносных настроений, поиски его одинаково лежали не в том главном направлении, на каком можно было достичь цели. Он ошибался, как ошибались сотни других, примыкавших к этому общественному мнению, и точно так же, как они, не только не видел, что ошибается, но не признавал даже самой возможности ошибки, тогда как в эти же годы и несмотря на это общественное мнение, и в самом народе и в глубинах партийного и государственного аппарата начали появляться люди, которые думали уже иначе, и не заботясь о том, против или не против какого мнения выступают они, принимались за разработку действенных мер по поднятию деревни.

Отбросив ту гордость, которая не позволяет признавать, что есть кто-то умнее тебя, люди эти присматривались и изучали опыт ведения сельского хозяйства в других странах и сопоставляли с тем, что было у себя, и, уловив главную в этом вопросе тенденцию века — тенденцию на индустриализацию,— выдвигали программу еще большего укрупнения и большей специализации хозяйств и строительства, казалось, немыслимых по масштабам животноводческих комплексов, агрохимцентров и комбинатов по производству кормов. Но нужно было еще поверить в эту программу; и нужны были десятилетия, чтобы освоить ее и чтобы изменилась сама

суть крестьянского труда; и тогда точно так же, как в сознании мокшинского механизатора Павла Лукьянова, в сознании каждого деревенского человека естественно и без всяких внешних толчков и усилий должно было появиться то удовлетворение работой и жизнью, какое прежде всегда было объединено в нем в одном чувстве хозяина. Предстояло снести еще сотни деревень и переселить людей в благоустроенные поселки, и объем этих работ был настолько велик, что трудно было даже поверить, что все это осуществимо в жизни. И путь этот никому не представлялся легким. Впереди были и ошибки и неудачи, которые еще предстояло преодолеть людям и предстояло преодолеть Лукину, так горячо взявшемуся теперь за дело, которое он только думал, что хорошо знает, но которое, в сущности, еще нужно было изучать и осваивать ему. Но так как он был только в начале пути, он был самоуверен и, не умея скрывать на лице своего иронического отношения к тому, о чем слушал, больше смотрел не на карту, лежавшую перед ним на столе, а на затылок и морщинистую (со стариковски красноватою кожей) шею Сухогрудова, который склонялся над картой и столом.

IX

Придя утром в Курчавино к Ульяне и не застав у нее сына, Галина отправилась затем вместе с теткой (прихворнувшей, как она сказала, в этот день) на ферму, где должен был работать Юрий.

Прежде Галина знала почти всех, кто жил в Курчавине; теперь же ей казалось, что, кроме тетки Ульяны, она никого не знала и что все так странно изменилось здесь, но изменилось лишь то, что свезены были сюда избы из соседних деревень, был выстроен в центре деревни сельский универмаг, как аквариум, просвечивавшийся сквозь стекла до самых прилавков, и выстроены были клуб и правление колхоза, окна которого широко, непривычно и весело смотрели на деревенскую улицу, — ей казалось, что все так изменилось, что она не узнавала того, что раньше было хорошо знакомо ей. После московского многолюдья, хотя она уже вторую неделю гостила у отчима, она никак не могла привыкнуть к тишине деревенской жизни, и ей казалось, что здесь, где раньше (по ее памяти) все было шумно, оживленно и весело, про-

исходило запустение, какое она ясно как будто видела и сознавала, но какого не замечали и не чувствовали все другие вокруг нее. Запустением веяло и от перестроенного и обновленного дома отчима, и от разговоров и одних и тех же каждодневных хозяйских дел, чем были заняты Степанида и Ксения, и от тетки Ульяны, старушечьи юбки и кофты которой были все какого-то одного неприглядного цвета и одного (непонятно какого) покроя, и от ее мужа, колхозного столяра, которого, сколько Галина приходила к ним, видела в одной и той же линялой косоворотке, влажно прилипавшей к начавшим уже сутулиться мужицким плечам; ей не нравилось (после Москвы) все в этой как будто однообразной и скучной деревенской жизни, из какой она когда-то вышла сама, но какую теперь не мыслила для себя. На душе ее было так опустошенно, что и вокруг себя она видела ту же пустоту и боялась за Юрия, что и он должен был мучиться всей этой непривычной для себя переменою жизни.

Когда Галина выезжала из Москвы, она не думала, что отчим особенно обрадуется ее приезду, но все же надеялась (по той прежней любви, какую, она знала, всегда питал к ней отчим), что не только будет принята, но и понята и прощена им. Теперь же, чем дольше жила у него, тем яснее становилось ей, что она, как выроненное у порога полено, через которое нельзя пройти не споткнувшись, только мешает отчиму и раздражает его. Ее поразило, как он изменился за то время, пока она не была у него; и она видела в нем те странности, каких не замечала прежде: что он, спрашивая, не ждал и не слушал ответа, что всякий разговор о чем-либо житейском, что особенно важно было для Галины, сейчас же вызывал на лице его неприятное выражение, будто он прикасался к чему-то липкому, что нужно будет потом отмывать от рук; она с удивлением отмечала про себя, что в то время как он должен был как будто жить свободною, как пенсионер, жизнью, он постоянно был занят так, словно решал что-то важное для человечества. Она видела в нем то, что не видели ни Ксения, ни Степанида; но при первой же попытке поговорить с ними об отчиме поняла, что поведение его было для них той необходимой нормою жизни, без чего отчим не был бы для них тем, кого они должны были ценить и боготворить. «Неужели и тогда было все так? — думала она, ужа-

саясь тому, что открывалось ей в доме отчима. — Он же болен, он заговаривается, его надо лечить! И Дементий ничего не знает...» Но, несмотря на то, что она думала так, она не только не предпринимала что-либо, чтобы исправить положение, но продолжала глубоко и затаенно обижаться на отчима, что он оставался безразличным к ней и ее горю — сыну Юрию.

— В колхоз его, в колхоз, к Ульяне! — сухим, старческим голосом почти прокричал он, как только (было это в первый же день приезда) возник разговор, куда пристроить Юрия.

— Может быть...

— Ничего не может быть! Трудом учить! Трудом! Трудом! Трудом! — И он окинул Юрия тем скользящим из-под бровей взглядом, как будто смотрел на что-то лишнее, чего не должно было быть в комнате.

Затем, когда Юрия отвели к Ульяне, старый Сухогрудов за всю неделю ни разу не вспомнил о нем, и Галина тяжело переживала это. Ее угнетало равнодушие отчима, и оттого она еще более, чем в Москве, жила напряженной, стиснутой в себе жизнью. Она старалась не встречаться с отчимом и виделась с ним только за завтраком, обедом и ужином (и то лишь потому, что он требовал, чтобы собирались все, когда подавалось на стол), и в доме все эти дни стояла та атмосфера натянутой струны, когда вот-вот должно было что-то лопнуть, и это неприятно чувствовали и Ксения и Степанида, занимавшие в этом невидимом как будто противоборстве между Галиной и отчимом сторону отчима. И Ксения и особенно Степанида знали, что отчим любил Галину, и им казалось, что он только выдерживал теперь гордость по отношению к ней, на что имел и право и основание, но что Галина была не права, состязаясь с отчимом в гордости. Они все толковали по-своему, исходя из своих житейских представлений, как они прожили жизнь; но Галина, чувствовавшая это их отношение к себе и не понимавшая, отчего оно происходит, была недовольна ими. «Одна батрачит, другая верховодит, и обе рады-радешеньки», — думала она о них, замечая то различие (то главенствующее в доме положение Ксении), какое было между ними. Но если к Степаниде Галина еще могла относиться по-родственному снисходительно и прощать ей, то к Ксении испытывала вполне определенное чувство как к человеку чужому,

кого не знала и не хотела знать. «Зачем он взял ее? — упрекала она отчима. — Неужели не видно, что она решила устроиться в жизни и ни мне, ни Дементию теперь нечего делать здесь?..» Она переносила тяжесть обиды с отчима на Ксению, и то, что было в радость отчиму — как Ксения, вся еще дышащая здоровьем, округлая и довольная жизнью и нежившаяся в своих большеватых ей байковых халатах, выходила к столу, — было не то что неприятно Галине, но она видела в этом что-то оскорблявшее ее, оскорблявшее отчима, Степаниду и все, что до появления Ксении в доме было чтимо и свято здесь. Галина не могла бы объяснить толком, что именно было чтимо и свято, но она чувствовала, что перечеркнуто было в доме теперь то, что в сознании ее связывалось с памятью о матери, и этого она не могла простить Ксении.

Она жалела, что послушала брата и приехала сюда; но всякий раз, едва начинала думать, что лучше уехать, чем жить так, как она жила здесь, она сейчас же вспоминала, что было с Юрием (и с ней!) в Москве, и ясно видела, что вернулась бы только к тому, от чего уехала; и от этой мысли, что Юрий ее опять попадет в компанию, из которой она бессильна будет вырвать его, что все может повториться с ним — и арест и осуждение — и что этого нового позора она уже не в состоянии будет перенести, все холодело в ней, и она не только не предпринимала ничего, чтобы уехать из дома отчима, но искала повод и оправдание для себя, чтобы еще остаться и пожить здесь. Но ей не хотелось возвращаться в Москву еще и потому, что неприятно было встречаться с молодой женой Арсения. Как ни считала Галина, что все у нее с Арсением кончено, и как ни старалась убедить себя, что он волен делать все что захочет, но сознавать, что он был счастлив с молодой женой, в то время как она не то чтобы была несчастна, но была в горе и не знала, что делать с сыном, — сознавать это было тяжело; и особенно тяжело было с этим своим горем постоянно находиться на виду у бывшего своего мужа и его молодой жены. «Все против меня, — думала Галина, — все, все, хотя что и кому я сделала плохого?» Ей казалось, что она была так чиста во всем и так благородны были всегда ее мысли, преисполненные добра к людям, что все свои невзгоды и горести она никак не могла соединить в одно с этим своим ясным чув-

ством — как хотела бы она жить сама и жили бы все другие вокруг нее.

Она не готовила обеды, не мыла полы, не убирала в комнатах и не полола на огороде, и Степаниде и Ксении жизнь ее представлялась праздной (чему они, в общем-то, радовались, говоря между собою, что пусть отдохнет здесь, а намотаться еще у себя успеет); но для самой Галины не только ничего праздного не было в этой ее деревенской жизни, но она уставала за день, казалось, еще сильнее, чем на работе; и происходило это оттого, что там, в Москве, в суете служебных дел она забывала о себе, а здесь с утра до вечера оставалась наедине со своими мыслями, и так как больше всего думала о сыне, то уходила в Курчавино, чтобы повидать его.

X

Когда в этот день вместе с Ульяною Галина подходила к ферме, она уже знала о сыне все, что только можно было узнать о нем от тетки, любившей (в противоположность брату Акиму) рассудить обо всем. По мнению тетки, не имевшей своих детей, на Юрия было больше наговорено, чем было на самом деле, и главным аргументом в этой ее оценке было то, что скотник Кузьмич, к которому как раз и был определен в помощники Юрий, говорил о нем только: «А че, парень как парень, в министры — не знаю, а телят пасти — ума хватит». Ульяна, разумеется, по-своему, пересказывала эти слова, и по ее выходило, что хотя Кузьмич и не хвалил Юрия, но и не жаловался на него, и потому не о чем было волноваться Галине.

— Оно и Москва, видать, не каждому впрок,— говорила Ульяна, в то время как они подходили к жердевой ограде, за которой видны были резвившиеся на траве телята.

— Да тут уж и не знаешь, кого винить: Москву ли, себя ли.

— И то верно. А то ведь и так бывает: не столько дела, сколько сраму, — продолжала Ульяна. — Одна тут у нас заперла своего в семенном амбаре и кричит: «Ага, застала, осрамлю, осрамлю на весь белый свет!» А сошлись люди, открыли, а там только и есть что ее благоверный. «Дура ты, дура», — он-то говорит ей... Да

вон и Кузьмич, сейчас узнаем все, — привычно перескочив с одного на другое, затем произнесла она и кивком указала на скотника, выходившего из ворот.

Ульяна была в том хорошем настроении, в каком она бывала почти всегда, и вся сегодняшняя хворь ее заключалась лишь в том, что она, знавшая, что колхозных дел никогда не переделать, но что и свои запускать нельзя, решила в этот день остаться дома, чтобы прополоть и окучить зараставшую на огороде картошку; и хотя с приходом Галины замысел ее был нарушен, она не только не была недовольна этим, но, напротив, была рада племяннице и с охотою шла с ней на ферму и разговаривала с ней. Она была моложе Акима и моложе Степаниды; была в том возрасте, когда уже ничего больше не ждала от жизни, но и не хотела еще терять ничего из того, что эта самая жизнь дала ей, и одинаково весело смотрела и на телят в загоне, носившихся по траве и щипавших ее, и на луг и поле, лежавшие впереди по взгорью, и на лес и поднимавшееся над ним к зениту солнце, и на Галину, все время старавшуюся косынкой прикрыть лицо от этого солнца, и на скотный двор и Кузьмича, который, поняв, как видно, что женщины направлялись к нему, остановился и ждал, пока они подойдут ближе. Запах с полей и запах скотного двора, вид зелени, неба и утоптанного копытами полукружья земли у ворот — все это было естественно для Ульяны, было едино с ее общим настроением, так что она не то чтобы радовалась этому нежаркому солнечному дню, какие бывают только после дождей и лишь в начале лета как предвестники урожайного года, но, казалось, была неотделима от этого дня, зелени и солнца. Пальцы ее рук были припухшими, как у всех бывших доярок, но Ульяна не прятала их, и они вместе с однотонной широкой юбкой, что была надета на ней, серой однотонной кофтой и всем загорелым морщинистым лицом составляли как бы самую суть всей той деревенской жизни (того и ныне еще поэтизирующегося тяжелого крестьянского труда), над чем думали и старый Сухогрудов, и молодой Лукин, и все то огромное количество людей, которые, склонившись пока над столами и планами, уже в иных красках видели будущее русской деревни; но для Ульяны не могло не быть хорошо то, что было в ней и вокруг нее и составляло смысл ее бытия, и по доброте своей она хотела, чтобы

так же хорошо было все и у Галины, оторвавшейся от деревни и намучившейся в Москве.

— Половину кишок под этим, под рейхстагом оставил, а все скрипит, все скрипит,— говорила она о Кузьмиче, уже совсем подходя к нему.

Но Галина почти не слушала ее, и настроение было у нее совсем иное, чем у тетки. Она видела все, что видела Ульяна, и чувствовала, что день был по-летнему хорош, светел и ясен и что все так лезло из земли, наливалось жизнью (все — было для Галины трава, густо росшая по сторонам тропинки, по которой она шла); но вместе с тем это все, что начиналось у ног и было впереди и вокруг (и тетка с беспрерывными рассуждениями своими),— все было как бы отдалено от Галины и жило само собой, вне связи с тем внутренним миром, какой она несла в себе, и ей, в сущности, было безразлично, что окружало ее, как бывает безразлично человеку, идущему по коридору учреждения, зеленый или красный ковер у него под ногами, когда все мысли устремлены на то, как будет решено его дело; мысли Галины, когда она теперь подходила к ферме, были о сыне, и она испытывала то же почти чувство, какое испытывала в Москве, когда ходила навестить отбывавшего наказание Юрия. Нетерпеливо быстрым взглядом она окидывала скотный двор и старалась заглянуть в раскрытые ворота коровника, чтобы увидеть Юрия; но сына нигде не было видно, и взгляд ее падал на Кузьмича, который всем своим видом — одутловатыми в коленях брюками и курткой с застарелыми пятнами просохшего пота — не то чтобы вызывал ощущение неряшливости, но настораживал Галину (как раз этой своей неряшливостью), что такой стоял над ее сыном. «Трудом учить, трудом!» — вспоминались ей слова отчима. «Каким? Этим?» — спрашивала она себя, не сводя глаз с Кузьмича, к которому вслед за теткой подходила.

— Ты что телят-то в загоне держишь? — начала Ульяна совсем не с того, с чего, как ожидала Галина, надо было начинать разговор со скотником.

— А ты че, указывать пришла? Че, в зоотехники перевели?

— Не мели пустое, сам не видишь, что ли?

— А я самовольничать не привык. За самовольство в армии знаешь че бывает?

— Да ты в армии аль в колхозе?

— А че в колхозе? Че, уже и начальства нет?

— Ладно, хватит дурить, мы по делу,— прервала его Ульяна.

Ей очевидно было, что он не выпустил телят на луг не потому, что не получил распоряжения, а по лени, как бы не переработать лишнего; и так как она знала (как и все в Курчавине), что переговорить Кузьмича нельзя, что на все у него сейчас же найдется ответ, велела позвать Юрия.

— Позвать можно, отчего не позвать,— согласился Кузьмич, не предпринимая, однако, ничего, чтобы пригласить Юрия. И он затем повернулся к Галине с тем выражением, будто еще и от нее хотел услышать подтверждение тому, о чем просили его.

Он знал Галину и то дурное, что говорили теперь о ней и ее сыне в Курчавине. Но он делал вид, что ничего не знает («Ваньку валял», — как потом сказала о нем Ульяна, добавив, что он отродясь такой и что горбатого только могила исправит), и поглядывал на Галину, то отводя, то вновь вскидывая на нее сощуренные будто от солнца глаза. «Ну, кланяйся, кланяйся, чего же? — вместе с тем всем своим молчаливо-выжидающим видом говорил он. — Как бы хорошо ни было у вас там в столицах, а за правдой-то сюда, к нам, в деревню!» И он неторопливо, как солдат на походе, разминая в пальцах сигарету и прикуривая, продолжал все так же внимательно и выжидающе вскидывать глаза на Галину.

— Позвать можно, только для чего звать-то? — как будто и в самом деле не понимал ничего, спросил он.

— Да мать же пришла, да ты ослеп, что ли? — возмутилась Ульяна.

— Эна-а... мать?! Ну так че звать, вон он и сам едет, — сказал он, движением руки предложив женщинам оглянуться и посмотреть, что было позади них.

Позади них въезжал на скотный двор на телеге Юрий. Он вез жерди для ремонта ограды, за которыми еще утром послал его Кузьмич, и неуклюже дергал вожжами и покрикивал на серого, с отлежалым желтым боком мерина, тянувшего телегу. Увидев мать, несколько мгновений Юрий удивленно смотрел на нее; потом, спрыгнув на землю и передав вожжи Кузьмичу, шагнул было к ней и остановился, видя, что она кинулась к нему.

— Юра, Юрочка, ну как ты здесь, как ты? — торопливо, будто могли остановить ее, заговорила Галина, бе-



рясь руками за худые плечи сына, вглядываясь ему в лицо, притягивая и целуя его. — Как ты здесь? Я уж вся изболелась за тебя, — то отстраняя от себя голову сына, чтобы заглянуть в глаза, то опять притягивая, прижимая и гладя его, продолжала она. Ей еще более, чем в Москве, когда она ходила в милицию навестить его, хотелось уловить по выражению его глаз, что он рад ей и принимает ее ласку и заботу о нем; ей хотелось ощутить ту душевную связь между собой и сыном, кото-

рой, в сущности, давно уже не было между ними, но которая в сознании Галины еще жила и волновала и обнадеживала ее. Ей казалось, что Юрий все еще был мальчиком и что именно лаской она могла пробудить в нем ответное чувство; но Юрий, считавший себя взрослым, чем больше нежности проявляла теперь Галина к нему, тем решительнее отстранялся от нее, чувствуя себя неловко, особенно при Кузьмиче, что так по-детски обращались с ним.

— Да все в порядке, — отвечал он. — Ну видишь: все в порядке.

— И с лошадью... Как же ты с лошадью?

— А че... с лошадью? — подражая Кузьмичу, так же просто, будто ничего обычнее не было для него, чем работать с лошадью, проговорил он.

Кузьмич прямо посреди двора принялся разгружать жерди. Ульяна, оставив Галину и Юрия одних, чтобы не мешать им, подошла к скотнику.

— Ну злыдень, ну злыдень! — с упреком набросилась она на него, на что Кузьмич даже не обернулся, словно никакой стороной не касалось его то, что Ульяна говорила о нем.

Между тем Галина и Юрий отошли в тень, под стену коровника, и после первого восторженного чувства, что она увидела сына, Галина уже как будто более спокойно вглядывалась в его лицо, смотрела на его руки и на всю худую фигуру сына, силясь понять, хорошо ли, плохо ли было ему здесь, среди всей этой неприглядной и словно остановившейся, как ей казалось, в своем развитии деревенской жизни. То чувство запустения, какое преследовало ее в Поляновке и было усилено здесь и видом безлюдной (в этот час) курчавинской улицы, видом скотного двора и скотника в одутловатых (в коленках) брюках, видом телеги, серого мерина и серых покосившихся стен и ворот коровника (то есть всего того, что было самым запущенным участком в хозяйстве и не могло и не отражало главного, что составляло жизнь деревни), она переносила на Юрия, и ей казалось, что надо было спасать его, что надо было делать что-то, чтобы забрать отсюда, увезти и устроить где-то в другом месте, где было бы не унизительно, а достойно ему. В сознании ее, как это часто случалось с Галиной, что-то словно озарялось и подталкивало к деятельности; но так как она совершенно не представляла, что она могла предпри-

нять теперь, вся эта ее энергия выливалась лишь в ласку, с какою она снова и снова приступала к сыну. Успевшее загореть лицо ее казалось молодым, так живо видна была на нем вся напряженная работа ее души, и она опять суетилась, не понимая, что это было неестественно, ложно и не нужно во встрече с сыном.

Но, несмотря на всю эту свою душевную суету и скованность, она все же не могла не заметить перемены, какая произошла с Юрием. Хотя он был все так же худ, как он был в Москве, но не только не выглядел болезненно, но, напротив, казался здоровым и жизнерадостным, и в глазах его не было той прежней мрачной отчужденности, которая так пугала Галину в сыне. Она видела, что пребывание здесь было на пользу ему, и в ней (вопреки опасениям) рядом с тревожным чувством постепенно рождалось другое, которое успокаивало ее. Она не думала, ч т о было на пользу ему: работа ли на свежем воздухе, общение ли с Кузьмичом, который уже не представлялся ей недобрым, как только что (как не представлялось неприглядным и серым все то, что было вокруг на скотном дворе), — и не знала главного, что Юрий ее больше спал по углам на сене, чем работал, и все здоровье его происходило от этого сна и еще от парного молока и сливок, чем поила его тетка Ульяна; но когда Галина прощалась с сыном, все опасения ее за Юрия, что ему плохо здесь и что надо его немедленно увозить отсюда, были не только забыты ею, но как будто не поднимались и не волновали ее. Она видела, что он посвежел, что у него был здоровый цвет лица, и это было главным, что заслоняло все остальные подробности перед ней.

Она пробыла с сыном около часа; но точно так же, как и в Москве во время свидания с ним, так памятного Галине, она ни о чем серьезном не успела поговорить с ним и, прощаясь с сыном, неприятно чувствовала это; и чувствовала это особенно потом, когда ей хотелось восстановить в памяти, как ее сын жил и работал в Курчавине.

— Как ты посвежел, Юра, ты очень посвежел, — говорила она сыну, в то время как Ульяна уже торопила ее. — Тебе нравится здесь? Нет, ты скажи, тебе нравится здесь? — настаивала она.

— Да че не нравится, да все в порядке, — отвечал Юрий, опять (и незаметно для себя) подражая Кузьмичу.

— Ну будь умным, я так рада за тебя!

— Да постараюсь, да че я, я все делаю. — И он оглянулся на Кузьмича, боясь, как бы тот не выдал его.

Но Кузьмич, сидевший на разгруженных жердях, куривший и обжигавший сигаретою губы, лишь смотрел на эту свою сигарету и как будто не прислушивался ни к чему, но на сощуренном лице его было: «Врет-то, врет, заливает (что относилось к Юрию); простофиля, ну простофиля, а еще из столицы (что относилось к Галине); ничего, возьмусь еще за тебя, со мной, брат, не то что с твоей мамочкой (что опять уже относилось к Юрию)». Примяв затем каблуком окурок, он встал и принялся молча распрягать мерина.

XI

— Вот уже и чекать стал, ты заметила? Как они быстро перенимают все, — говорила Ульяна, когда ферма была уже далеко позади них.

— Да. Но посвежел как! Как он посвежел! — Это важно было для Галины и занимало ее.

Она еще задержалась у тетки, пила с нею чай, а когда вышла от нее, была так удовлетворена и так спокойна, особенно за сына, с которым, казалось ей, все теперь должно было наладиться и пойти, как у людей, что не замечавшаяся ею прежде красота летнего деревенского дня (красота пшеничного поля, через которое она шла теперь по тропинке, ежегодно протаптывавшейся вопреки запретам курчавинского председателя поляновскими колхозниками) словно вливалась в нее, радовала и составляла одно целое с ее настроением и мыслями. «Нет, не все еще так плохо на земле, есть еще что-то, что выше нас, есть справедливость, и надо только не упираться, а идти и идти навстречу этой справедливости» — нечто в этом роде, что было неопределенным, но было важным сейчас для Галины, приходило ей в голову. Сняв косынку, она весело помахивала ею, и светлые волосы ее, полукружьем облегавшие шею и плечи, то вдруг будто встряхивались, подхватываемые ветерком с поля, то опять лишь гладко закрывали мочки ее ушей с маленькими и светившимися серебряными сердечками. Она выглядела молодой, красивой и острее, чем когда-либо, чувствовала это; она чувствовала свою красоту так же, как сильный человек чувствует силу, и в

живо отражавшем все душевное настроение лице ее, в движениях рук, во всей еще только чуть начавшей полнеть фигуре было и в самом деле что-то особенно привлекательное, что-то от матери, во что когда-то влюбился (и что затем продолжал любить уже в Галине) отчим.

«Хорошо здесь», — думала она, как думает всякий праздно наблюдающий природу человек, когда ясно и счастливо у него на душе: и она не только не замечала этой своей перемены в настроении, но ей странным бы показалось, если бы вдруг ей сказали, что утром она была другой и что все здесь представлялось ей дурным, скучным и запустелым. В душе ее вместо прежней пустоты поднималась какая-то новая цель жизни; что это была за цель, она не знала, но она точно знала, что она что-то должна была сделать и что в том, что она будет делать, заключалось что-то важное и благородное; и от этого предчувствия дела как раз и было у нее ясно и счастливо на душе. Все московское прошлое было как бы отдалено от нее; точно так же как она, отходя от Курчавина и приближаясь к Поляновке, была где-то посередине между этими деревнями, она чувствовала себя посередине между прошлым и тем, что только еще ожидало ее в жизни, и удалялась от одного и приближалась к другому.

Но вся прелесть этого часто из ничего как будто возникавшего в ней целостного настроения сейчас же, едва показались впереди избы Поляновки, была нарушена в ней, и только что так плавно звучавшая в душе ее музыка вдруг, как в старой пластинке, начала прерываться и прокручиваться на одной неприятно повторявшейся ноте: отчим, Степанида, Ксения, отчим, Степанида, Ксения! Все ее отношения с отчимом, неприязнь к Степаниде и особенно к Ксении — все с живостью предстало перед ней; она остановилась у края оврага и с минуту, прежде чем спуститься по тропинке и пройти через него, всматривалась в дом отчима, весело выделявшийся среди других изб этой умиравшей деревни. Она заметила у ворот дома черную «Волгу» и подумала, что кто-то, наверное, приехал к отчиму; но затем, когда увидела, что Степанида, давно и с нетерпением ожидавшая возвращения племянницы и не раз уже выбегавшая в огород, чтобы посмотреть, не идет ли она, — что Степанида с огорода машет рукой и зовет ее, Галина почувствовала, что, может быть, случилось что-то более серьезное, чем только приезд гостя. «Да он же стар, он болен!» — сейчас же мелькнуло в ее голове,

и она, забыв о своих волнениях и думая теперь только об этом, что могло случиться с отчимом, почти бегом спустилась в овраг и поднялась к Степаниде.

— Ты что так долго? А мы тебя ждем, мы ждем, — торопливо начала Степанида, волнуясь и во все глаза глядя на племянницу.

— А что случилось?

— Иван приехал.

— Какой Иван? — Что говорила Степанида, не совпадало с тем, о чем думала Галина и что напугало ее, и потому она не сразу поняла, кто был Иван и что заключалось в том, что он приехал. — Какой Иван? — переспросила она.

— Ну, твой, ну... Юрин отец.

— О господи! — И Галина опустила приподнятые было от волнения плечи. — Напугала как! А я уж решила... — Но она не сказала, что напугало ее; ей важно было, что с отчимом ничего не случилось, и побледневшее лицо ее (не столько, может быть, от волнения, сколько от быстрого подъема по крутому склону оврага) вновь начало наливаться спокойствием и жизнью.— Зачем он приехал? Кто его звал сюда? — затем спросила она, уже как будто успокоенная, в то время как по отраженному блеску глаз ее, с любопытством обращенных к Степаниде, было видно, что в душе ее произошло движение, противоположное этому безразличию, с каким спрашивала она.

— Тут все яснее ясного: на тебя посмотреть да на сына, — возразила Степанида, для которой (как и для Ксении) приезд Лукина мог иметь только один смысл, этот, на который она намекала.

— А как он узнал, что я здесь?

— Кто захочет, тот все узнает. Узнал вот и прикатил.

— И напрасно. Сына я ему все равно не покажу, да и мне... что он мне? — Но уже вместе с тем как она говорила это, в тоне голоса ее ясно чувствовалось то другое, что поднималось в ней от сознания, что он помнил о ней и приехал к ней. — О чем я буду говорить с ним?

— О том и поговоришь: отец он Юрию или не отец? Ну пойдем, пойдем, обед стынет, да и заждались уж, — поторопила Степанида.

Но на крыльце дома, прежде чем войти, женщины остановились.

— Как хоть он выглядит? Постарел? — спросила Галина, краснея оттого, что спрашивала это.

— Нет, ну, такой стал, такой стал! — не умея сказать большего и вкладывая все свое впечатление о Лукине в эти слова, ответила Степанида. — Да они в кабинете сейчас, — затем добавила она, поняв (по тому, как Галина осмотрела себя), что племяннице не хотелось в таком виде появляться перед бывшим своим мужем.— Двери закрыли, говорят что-то, говорят. Пойдем, успеешь все.

XII

Ксения была так же возбуждена, как и Степанида, и, встретив Галину в коридоре, сейчас же бросилась к ней и заговорила:

— Наконец-то, боже мой, наконец! — Как будто не только никогда не было между ними никаких натянутых отношений, но всегда были мир и согласие, какие лишь могут быть между матерью и дочерью, когда мать еще достаточно молода, а дочь на выданье и вся щепетильность предстоящего сватовства (и предстоящего счастья дочери) с одинаковой живостью и волнением (и будто наперекор всей мужской половине дома) понимаются ими. — Он давно здесь, он ждет, боже мой, как хорошо, что наконец-то... Тебе надо переодеться, да иди же, иди, — говорила она растерянно стоявшей перед нею Галине.

— Иди, иди, Галя, успеешь, — тут же суетилась Степанида.

Женщины вели себя так, словно в доме находился не гость, а жених и словно от того, как будет выглядеть Галина (как сумеет принарядить себя), будет зависеть исход дела. Они не говорили ей этого, но по их лицам, словам и жестам она сейчас же поняла, о чем они думали и что ожидали от предстоящего ее свидания с бывшим мужем, отцом Юрия. «Они с ума сошли, — было первым, что решила Галина. — Теперь?! После стольких лет?! Они с ума сошли!» Но в то время как она сказала себе это, она вдруг ясно поняла, что э т о не только было возможно, но было как раз тем, что она уже давно и томительно ожидала от жизни. Она вдруг почувствовала, что наступила для нее минута, когда все утраченное может вернуться к ней, и что из всех возникавших и угасавших (после развода с Арсением) вариантов замужества у нее этот, как возвращение после скитаний в отчий

дом, был самым желанным и надежным; и хотя она продолжала еще мысленно говорить Степаниде и Ксении, что «они с ума сошли!» — не только чувствовала всю созданную ими атмосферу сватовства, но жила ею и была точно так же, как они, убеждена, что Лукин приехал в Поляновку лишь из-за нее и что как она раньше не подумала, что все это непременно должно было случиться здесь. Ей казалось, что перед ней как будто вдруг открылась дверь к счастью и она вот-вот должна войти в нее. Она не думала, что она скажет бывшему мужу и что он скажет ей; ей ясно было только одно — что он здесь и что важно не то, *что* он скажет, а то, *что* решила она, и ей хотелось лишь поскорее начать дело. «Просто и само собой решилось все с Юрием! Просто и само собой решится все здесь»,— подумала она, и впечатление ее от встречи с сыном и разговора с Ульяной и то радостное предчувствие *дела*, какое испытала она, идя через пшеничное поле,— все представлялось ей лишь началом *этого*, что должно было произойти с ней теперь.

— Господи, да я сейчас, — проговорила она, одновременно отвечая и Степаниде и Ксении. — Ну а вы? Вы-то что? — добавила она, быстро окинув взглядом, как были одеты Степанида и Ксения.

По мнению Галины, они не были еще готовы к встрече с Лукиным. Но по мнению самих Степаниды и Ксении, они давно уже были одеты во все лучшее, что имелось у них, и, оставшись теперь одни, сейчас же переглянулись тем понимающим друг друга взглядом, когда им не то чтобы ясно было беспокойство Галины, но что они рады были этому беспокойству. Степанида была в темно-коричневой шерстяной юбке и коричневой же в белый горошек кофте, и все это, прежде когда-то бывшее в меру ей, теперь, как и то, что повседневно носила она, неуклюже висело на ее плоской, без груди и бедер, сухощавой фигуре. Как что-то лишнее она держала перед собою большие загорелые руки с широкими по-крестьянски ладонями; волосы ее, редкие и седые, были тщательно причесаны и собраны в маленький, с детский кулачок, клубок на затылке, и от этой приглаженности ее волос все как будто уложенное складками старушечье лицо ее было, казалось, выдвинуто вперед и со всех сторон открыто постороннему взгляду; оно выглядело большим, крупным, с крупными и белыми, не загоревшими под косынкою ушами и казалось некрасивым и грубым; но во

нем выражении этого лица как будто светилось что-то такое, что было зажжено от одного огня и светилось в глазах и на лице Галины, только что ушедшей к себе, и на лице и в глазах Ксении, стоявшей здесь. «Хоть бы все было хорошо, я так рада за нее, так рада!» — говорило выражение Степаниды. «Я знаю, все будет хорошо, и я тоже рада, я очень рада» — как будто в ответ Степаниде было на круглом лице Ксении.

В том, что происходило теперь в доме (но происходило пока лишь между женщинами и более в воображении их), Ксения видела для себя возможность наладить отношения с Галиной и выказать свое расположение к ней; и, радуясь положенному уже началу, готова была еще и еще проявить к ней то материнское чувство, о каком она знала, что оно существует, но какого не только у нее не было к Галине, но никогда не было и к своим дочерям. «Они-то пристроены, — думала она о своих дочерях, — а Галя, Галя... я должна позаботиться о ней!» И ей казалось, что она как раз и проявляла сейчас ту заботу к Галине, о какой думала, что надо было проявить к ней... В наряде ее было не меньше нелепостей, чем в наряде Степаниды; но держалась Ксения увереннее, чем Степанида, с тем привычным для себя превосходством, какое все домашние всегда чувствовали в ней. Она перебрала весь гардероб (что она делала всякий раз, прежде чем появиться на людях, когда еще была помоложе, была замужем за директором совхоза и считала себя первой среди совхозной интеллигенции дамой в поселке), прежде чем надеть это платье густого свекольного цвета, какое было теперь на ней. Платье это шилось давно и было, как и все на Степаниде, мешковато на Ксении; но веселый покрой этого платья с гофрированной отделкой на груди и понизу, с широким отложным воротником, широким поясом и такими же широкими хлястиками на рукавах — все это в сочетании с цветом, румяно ложившимся на ее и без того еще румяное, полное и округлое лицо, было, как представлялось Ксении, как раз тем, что молодило ее и делало ее интеллигентной. Любившая халаты и привыкшая к ним, она чувствовала себя стесненно в платье; но она делала вид, что ей было уютно и хорошо в нем, и всем полным улыбавшимся лицом выражала это.

И Степанида и Ксения были еще в фартуках, так как, кроме той заботы, что им надо было показать себя перед бывшим мужем Галины и создать впечатление у него,

надо было еще приготовить обед и накрыть стол; и в этом втором деле они были более естественны, более остроумны и сами собой, и все их старание и деревенское хлебосольство были затем по достоинству оценены не только Лукиным, но и обычно молчаливым и безразличным ко всему старым Сухогрудовым.

Они могли приготовить обед только из того, что было у них под рукой. Но под рукой у них было — два зарубленных молоденьких петушка, сметана, сливки, квашеная капуста с яблоками в погребе, прошлогодняя еще морковь в песке, свежий лук и еще кое-какая ранняя зелень для приправы, какую сейчас же Степанида, сбегав на огород, нарвала и принесла на кухню; и были еще — тертая в сахаре смородина, подававшаяся обычно только старому Сухогрудову и только по утрам как лекарство, было загустевшее в стеклянных банках яблочное домашнее варенье и черствый, еще третьего дня принесенный Степанидою из курчавинского сельмага хлеб, печенный по-городскому, в жестяных формах. Всего этого, как объявила Ксения, было недостаточно, чтобы принять гостя; но так как ничего другого придумать было нельзя, посовещавшись коротко между собою, женщины принялись за дело. Распотрошенные и облитые сметаною петушки вместе с круглой, только очищенной, но не нарезанной картошкой были поставлены в духовку газовой плиты, горевшей от привозного балонного газа, и Ксения, считавшая себя мастерицею этого блюда, сама следила, как томились и зарумянивались петушки и картошка, и то и дело поливала их, чтобы сочнее были, натапливавшимся от них жиром. И картошка и петушки покрывались коричневою хрустящею корочкой (особенно кончики крылышек), и Ксения, чувствуя, что все получалось у нее, была в настроении, улыбалась и успевала руководить Степанидой, накрывавшей стол.

— Ты на два блюда, на два, — говорила она, входя в столовую, в то время как Степанида устанавливала приготовленный ею морковный салат. Морковь была мелко натерта, подбелена сметаной и посыпана сверху моченым изюмом и должна была представлять собою тот деликатес, чем женщины хотели удивить Лукина. — Не много ли ты сметаны положила? — Салат этот был давним и любимым изобретением самой Ксении, и она не могла удержаться, чтобы не спросить, что беспокоило ее.

Квашеная капуста была полита подсолнечным маслом и выставлена в центр стола, а справа и слева от нее уложены на тарелках моченые яблоки, на клетчатой скатерти перед каждым стулом была положена салфетка, поставлены приборы: тарелки, фужеры, рюмки; в хрустальной салатнице была принесена и тертая в сахаре смородина, чтобы если кто захочет сладкого к птице, как объявила Ксения, то — пожалуйста, что еще может быть лучше и вкуснее, чем эта домашнего приготовления смородина. Тут же лежал и репчатый лук и стояла тарелка с хлебом; а когда решалось, что гость будет пить, Ксения сказала:

— Только не коньяк, нет, я знаю, теперь у них у всех все больше водка в моде. — Она была убеждена (по высказываниям своего первого мужа, что если уж пить, так лучше водку), что самым приятным для всех мужчин была водка, и она тут же поставила хранившуюся у нее бутылку «столичной» на стол.

Все это к приходу Галины было уже готово, и по всему дому — кухне, коридору, столовой — аппетитно распространялся запах жареных кур, картофеля, запах солений, свежего лука и зелени, принесенных с огорода.

Ксения, как только Галина отправилась переодеться, сняла фартук и еще раз придирчиво перед зеркалом осмотрела себя; Степанида, знавшая, что во время обеда придется прислуживать ей, осталась в фартуке, и обе женщины, довольные, что дело так хорошо складывалось у них, прошли из коридора в столовую, где все уже было готово к торжеству, и оставалось только позвать мужчин, продолжавших еще о чем-то говорить в кабинете.

В столовой было светло, створки оконных рам были растворены, и летний воздух со двора шевелил свисавшие к полу тюлевые занавески. Солнце, клонившееся к вечеру, было теперь напротив окон, и желтый свет от него, цедившийся сквозь тюль и расплывавшийся пятном по стене и полу, как раз и наполнял комнату. И в этом свете тарелки, фужеры, рюмки — все, что было на столе, все смотрелось как-то по-особому, переливаясь искрами в хрустале и отражаясь на мельхиоровых ножах, вилках и ложках. Ножи, вилки и ложки эти были привезены Ксенией в сухогрудовский дом, были ее гордостью, и она теперь, с озабоченным как будто видом обходя стол, невольно смотрела на это свое богатство и перекладывала

по-своему там, где, казалось ей, положено было Степаниде не так, как полагалось по хорошему тону; и пока она делала это, вошла Галина и остановилась у двери.

На лицах Степаниды и Ксении, как только они увидели Галину, сейчас же отразилось удивление, которое было вызвано видом ее. То, что было модно в Москве, не было еще модно здесь, в деревне; здесь еще полагали, что неприлично появиться женщине в юбке выше колен. Но Галина была именно в такой, выше колен, юбке (по московскому образцу сочли бы неприличным, если бы она была одета не так). У нее были красивые ноги, и она знала это; и ноги эти, обтянутые теперь, несмотря на жару, тонким капроном (что должно было придать большее совершенство им), были все на виду и вызывали у Степаниды и Ксении то возражение, что лучше было бы, если бы эта красота лишь чувствовалась, но не была бы так откровенно выставлена. «Что он может подумать, Галя!» — одинаково было на их удивленных лицах. Но, несмотря на это, они все же не могли не признать, что Галина с м о т р е л а с ь и что оголенность ее ног еще не означала, что она была оголена вся; она лишь хотела подчеркнуть, что было еще молодым и привлекательным в ней, и Ксения сейчас же поняла это; и сейчас же, как будто от восторга заморгав, кинулась к Галине и торопливо начала говорить ей.

— Прекрасно, Галя, прекрасно! Да как ты можешь не понравиться ему?! Как он вообще посмел уйти от тебя?!

По себе зная, что привлекательность женщины часто зависит не столько от одежды, сколько от настроения и уверенности, что все красиво и хорошо на ней, Ксения старалась поддержать теперь Галину; и в то время как хвалила ее, постепенно сама уверялась, что и в самом деле все на Галине было прекрасно: и синяя юбка, и кофта голубоватого оттенка, сквозь которую видны были кружева нижней рубашки, и рассыпанные вокруг шеи светлые волосы, и даже те самые серебряные сердечки, какие Ксения видела на Галине всегда, но какие теперь, казалось ей, были особенно кстати и украшали ее.

Степаниде тоже хотелось что-то сказать племяннице. Но то, что она могла сказать ей, было неуместно, а то, что было уместно (что говорила Галине Ксения), не укладывалось в простоватом уме Степаниды в слова и фразы. Она не умела говорить не то, что думала, и потому те-

ь лишь молча улыбалась, глядя всем своим морщинистым, добрым и открытым лицом на Галину.

В конце концов настроение Ксении передалось и ей, и все трое, составлявшие женскую половину сухогрудовского дома, еще и еще раз оглядев себя и стол и согласившись, что все было готово к торжеству, решили, что пора звать мужчин; и Ксения как хозяйка, тотчас настраиваясь на заискивающе-уважительный тон, каким она собиралась говорить с Лукиным, чтобы не испортить дела, пошла пригласить гостя и мужа к столу.

XIII

Она вошла в тот момент, когда между Лукиным и старым Сухогрудовым было уже почти все переговорено, и они сидели в креслах друг перед другом — лицо Сухогрудова в тени, лицо Лукина на свету — и перебрасывались теми обычными как будто фразами, которые, им казалось, что-то еще заключали в себе, но были, в сущности, безынтересны им, так как не затрагивали тех главных вопросов, какие волновали их. Они думали об одном и том же — что нужно для поднятия жизни в деревне, — но подход к делу был настолько различен, что им обоим было очевидно, что они не понимали друг друга; но из вежливости ни Лукин, ни Сухогрудов не хотели вслух признать это и, как пассажиры, оказавшиеся в одном купе, ожидали лишь остановки, когда можно будет спокойно разойтись им.

— Да, с кем на ты, с кем на вы, каждого надо знать, — говорил Сухогрудов, имея в виду теперешнюю ознакомительную поездку Лукина по району.— И что ни человек, то тебе и... держава!

— Так оно и должно быть.

— А руководить? Как?! Ведь это все держать надо. — Он протянул перед собою сухую, старческую ладонь и сжал ее. — Держать! А то живо поползет все, кто куда хочет. — И он нервно и вопросительно остановил взгляд на Ксении, вошедшей в кабинет и помешавшей ему.

Он не вникал в хозяйственные интересы женщин. То, что они делали в доме, ему казалось, должно было делаться им самим собой. Но при всем этом как будто непонимании своем к жене и сестре он заметил теперь, что жена была не в халате, а в том любимом ею свекольном платье, которое он уже не помнил, когда она в последний

раз надевала. «Что она? Да стоит ли гость того?» — быстро перекинув взгляд с Ксении на Лукина и с Лукина опять на Ксению, подумал он. Но как он ни был далек от домашних дел (и как ни казалось его домашним, что он стар и нерасторопен умом), по выражению лица жены он сейчас же понял, для чего она нарядилась и что вообще затевалось всеми там, за дверью, откуда, он давно уже слышал, доносились звуки и запахи готовившегося застолья. «Нашли топор под лавкой, хватились», — подумал он с той мрачной холодностью, как он относился ко всякому делу, начинавшемуся без согласия его. Он всегда бывал недоволен в таких случаях и теперь был недоволен вдвойне: и тем, что разговор с Лукиным не удовлетворил его и он не хотел оказывать бывшему зятю особого гостеприимства, и еще тем, что сводничество, затевавшееся женщинами, было, он видел, во-первых, бессмысленным, и, во-вторых, глубоко противным ему; он чувствовал всю нехорошую сторону этого дела, и готовое уже вырваться раздражение его, какое, чем старше он становился, тем труднее было сдерживать в себе, невольно должно было обратиться теперь против Ксении. Лицо Сухогрудова побледнело, и на тонких старческих губах появилась та усмешка, что он сознает себя выше этого, что происходит вокруг него, какая затем не только во все время обеда, но и после отъезда Лукина долго еще была как бы прикреплена к его лицу.

Он встал и, обращаясь к Лукину тем тоном, по которому нельзя было определить, как он относился к жене, проговорил:

— Прошу: моя жена Ксения Александровна.

Лукин тоже поднялся и, назвав себя, пожал руку Ксении.

— Да, да, тот самый, — глядя на жену, добавил Сухогрудов, не разъясняя, что означало «тот самый», но видя по глазам ее, что ей более чем понятен смысл того, что он говорит ей. — К столу? Все готово?

— Да, милости просим, — светясь вся, подтвердила Ксения, не отрывая от Лукина взгляда.

Она заметила недовольство мужа, но это не смутило ее. Она знала, что всякое недовольство его заканчивалось лишь тем, что он замолкал и уходил к себе и что это никому и никак не мешало; и была убеждена, что не должно было помешать и теперь. Привыкшая считать

(как и Сухогрудов в своей сфере деятельности), что все в доме вращается вокруг нее, она особенно чувствовала себя теперь в центре надвигавшегося события, исход которого, она понимала, мог зависеть только от того, как она поведет все; и она видела по выражению лица Лукина, что начало уже удалось ей.

— Чем богаты, все на столе. Все ждет, — повторила она.

— Ну, раз на столе, так на столе. Как смотришь? — обернулся он к Лукину.

— Не против.

— И прекрасно. Но только... я сожалею, что сразу не сказал тебе об этом, — сказал он, жестом остановив уже направившегося было к двери вслед за Ксенией Лукина. — Галя здесь. С сыном. Ты извини, — добавил он, еще острее, чем минуту назад, почувствовав всю неловкость того положения, в каком был теперь сам и в каком особенно оказался Лукин, еще продолжавший как будто улыбаться, но весь уже изменившийся в лице. — Я не хотел, это случайность. Ты извини.

XIV

Вся ложность положения Лукина, ложность положения Галины, ее отчима, Ксении и Степаниды, как после сдернутого покрывала, когда все вдруг увидели то голое и неприличное, что скрывалось под ним, была почувствована всеми сразу же, как только, сойдясь в столовой, начали рассаживаться вокруг накрытого к обеду стола, подчиняясь звонко и не умолкавше звучавшему голосу Ксении. Она видела, что все были стеснены и всем было неловко; и сама испытывала это; но по тому принципу, что мосты к отступлению сожжены, что вино откупорено и надо пить, всеми силами старалась соединить то, что было, и все чувствовали это, несоединимо; она старалась угодить каждому (особенно Лукину, который молодым и щегольским видом своим вызывал у нее восхищение), но она переигрывала в этом своем усердии хозяйки стола и дома, и все только острее чувствовали от ее как будто приветливой суеты, как ложно, неприлично и не нужно было то, для чего они собрались здесь.

В темно-синем костюме, светлой в полоску рубашке и галстуке, переодевшийся только для встречи и разго-

вора с Лукиным, перед которым не хотелось старому Сухогрудову выглядеть по-домашнему просто, он видел теперь, что он был как будто приобщен ко всему затеянному женщинами сватовству, и это не нравилось ему. В то время как Ксения усаживала Галину рядом с Лукиным, он смотрел на них с тем нескрываемым на лице отвращением, словно он уже видел не то, что происходило перед ним, а последствие этого, ту порочную близость, которая, он знал, как она будет принята и осуждена всеми в районе. Живший постоянно в сфере тех возвышенных мыслей, которые, как звенья в цепи, вырабатывались в нем и приподнимали и сковывали его, он особенно видел, как было мелко, ничтожно и плоско это, к чему он был причастен теперь. Он противился, и густые стариковские брови его были насуплены; но именно потому, что он был раздражен, был мрачен, он думал обо всем собранно и ясно. «Локоть хочешь укусить? Нет, милая моя, нет, поздно», — думал он о Галине. Он не мог простить ей, что она долго не приезжала к нему, что почти ничего не писала о своих делах и разошлась с Арсением и что еще прежде, давно (но что, однако, живо было в старческой памяти Сухогрудова), разошлась с Лукиным; не мог простить ей отчужденности, с какою, он чувствовал, все эти дни она относилась к нему, и невольно искал в ней теперь то, что подтвердило бы, что она дурна и не стоит того, чтобы думать о ней. Но вместе с тем как он видел, что она была в короткой юбке, и осуждал ее, и видел, что она не только не стеснялась, что ее усаживали рядом с когда-то отвергнутым ею мужем, но, напротив, казалось, была счастлива, что такая возможность предоставлялась ей, вместе с тем как ему мучительно было сознавать, что за всю неделю пребывания в отцовском доме Галина еще ни разу не была так весело возбуждена, как теперь, — он чувствовал, что это дурное, что он старался подчеркнуть в ней, наталкивалось в душе его на что-то другое, что не позволяло так плохо думать о дочери. Он не мог отделаться от мысли, что когда-то любил ее; и он знал, что, если она попросит, он сейчас же сделает для нее все, чтобы наладить ей жизнь (ведь есть же у него еще связи в Мценске!); но он с болью видел, что она не только не нуждалась в нем, но даже не замечала, что он здесь, не смотрела на него, а вся была поглощена своей целью, которая старому Сухогрудову представ-

лялась бессмысленной, недостижимой и возмущала и оскорбляла его. «И это в моем доме?! Кто позволил? Кто разрешил?» — было в нахмуренных глазах его. Он готов был сказать это, но он не говорил этого, понимая, что если скажет, то перерубит то последнее, что еще связывало его с дочерью.

Нахмуренно смотрел он и на Лукина. «Какой ты секретарь! Мальчишка, еще азы учить, а туда же, брат королю и кум богу!» — так же зло, как о Галине, думал Сухогрудов о Лукине. И так же, как в Галине, старался найти в нем то дурное, что позволило бы неприязненно думать о нем. Но кроме того, что Лукин смущался и держался стеснительно и неловко, ничего другого Сухогрудов не мог заметить за ним и мысленно возвращался к подробностям разговора с ним, по которому он ясно видел, за что можно было осудить Лукина. «Элеваторы... чувство хозяина... с бабой сладить не мог!» Он знал, что не Лукин бросил Галину, а она его, уехав в Москву и оставшись там; но сейчас ему хотелось думать иначе, и он понимал, что все можно повернуть т а к и обвинить бывшего зятя. Он чувствовал, что не только это, но и все другое, что прежде казалось достоинством в Лукине и за что он уважал и ценил (и продвигал!) его, можно было точно так же повернуть против него, усмотрев во всем ложь и умение сделать карьеру, и мысль эта, вдруг возникнув, так овладела старым Сухогрудовым, что как он ни старался затем опровергнуть ее, не мог сделать ни в этот день, ни позднее, когда обращался в размышлениях к этому дню. Он всегда ценил Лукина за то, что тот умел слушать и воспринимать, что говорили ему; но в этот раз он увидел Лукина другим, возражавшим и не слушавшим, и искал, чем можно было объяснить это. «Тогда — продвигался по службе, теперь — достиг положения, так вот ты каков!» — решил наконец Сухогрудов. Что предлагавшийся им план был устаревшим, был неприемлемым (и что, главное, сам Сухогрудов понимал это), это теперь не бралось им в расчет; об этом было забыто; но не забыто было безразличие, с каким отнесся к плану Лукин, и причина этого безразличия была теперь вполне очевидна Сухогрудову, и он не сознавал только одного — что если бы не это дурное, что думал о бывшем зяте, нашел бы что-либо другое, потому что ему необходимо было так дурно сейчас думать о нем. И по той простой

логике, что если возможно одно, то возможно и другое, он решил, что и приезд Лукина в Поляновку имел свой второй смысл. Сухогрудов выводил это из того, как был одет Лукин; и это давало старику повод полагать, что торжество в доме (сводничество, как переводил для себя он) готовилось заранее, всеми и за его спиной; и он нахмуренно смотрел уже на Ксению и Степаниду, суетившихся вокруг стола и не знавших, как лучше угодить гостю. «Прыти, прыти сколько!» — раздраженно думал он о них. Ему хотелось встать и разогнать всех, но он не делал этого, а только сжимал плотнее свои тонкие побледневшие губы и подыскивал, что бы колкое сказать либо Лукину, либо Галине, либо Степаниде, либо Ксении.

«А знает ли она, что ты женат? Да, да, знает ли, что у тебя семья, дети?» Он выжидал лишь время, чтобы с той насмешливой интонацией, как он умел делать это, высказать все бывшему зятю и дочери.

Но в то время как Сухогрудов верно разгадал замысел женщин, он был совершенно далек от того, что чувствовал и о чем думал Лукин. В ту же минуту, как только Лукин услышал, что Галина с сыном здесь, в доме, предположение, что он увидит их, и мысли, связанные с этим (и воспоминания, охватившие еще на обочине пшеничного поля, откуда смотрел на Поляновку), все сейчас же поднялось в голове Лукина, и он не то чтобы уже не понимал, что затем говорили ему Сухогрудов и Ксения, но слышал их, видел перед собой, а думал о другом — как увидит Галину и Юрия и что скажет им; он как будто вдруг потерял ориентацию и не находил (среди трех сосен!), в какой стороне был выход; и в то время как ему хотелось быть собранным, чувствовал, что мысли расплывались и что из всего нынешнего и прошлого, что занимало его, ясно было в сознании лишь то, что когда-то связывало его с Галиной. «Ну да, я же знал, что она здесь, — вместе с тем просто и ясно сказал он себе, как будто ничего неожиданного не было в том, что должно было случиться сейчас. — Увижу ее, увижу наконец сына и поговорю с ними!» Ему хотелось, чтобы все было просто и чтобы он не испытывал потом вины перед дочерьми и женой; но он волновался, входя в столовую, и волнение было так сильно, что он, казалось ему, по-настоящему увидел Галину только после того, как она, протянув руку, что-

бы поздороваться, подошла так близко, что наполненное непонятным счастьем лицо ее оказалось рядом, перед глазами. Он увидел, что она была молода и была так же красива, как прежде; и вопреки опасениям Степаниды, Ксении и Сухогрудова не только не нашел в общем виде ее ничего неприличного, но, напротив, сразу же уловил то, что, как и предчувствовала Галина, не могло остаться незамеченным им.

Он сейчас же отметил про себя, что она была одета с тем вкусом, каким всегда отличаются женщины одного круга от другого (женщины городские от деревенских); отметил ту показавшуюся ему изысканной простоту в ее одежде и прическе, что в понимании его, как в понимании всякого провинциального человека — и это было еще характерно тогда! — не могло не соединиться сейчас же со словами «Москва» и «столица» и понятием всей той жизни, какая стояла за этими словами. То, что он всегда считал потерянным, было перед ним; перед ним была та самая палуба парохода с цветами, шумом и музыкой, на которой каждый раз, в воспоминаниях, уплывала от него Галина, и он чувствовал, что не только мог сейчас войти на эту палубу, но что одной ногой уже стоял на ней, и волнение моря (волнение той жизни, от которой добровольно и так поспешно отказался когда-то) ясно передавалось ему через эту палубу. И хотя Галина была сдержанна, не суетилась, и, казалось, не торопила события, вся живость ее души, бесконечность ее энергии, деятельности, все было как бы на виду у Лукина, и он чувствовал это в Галине так же хорошо, как он всегда раньше чувствовал это в ней. Когда он переводил взгляд на ее волосы, он видел, что они были такими же красивыми, какими он помнил их; так же красиво поблескивали в ушах ее сережки, и красивыми были лицо, шея, плечи, грудь, руки, все, все, что когда-то было близко и доступно ему и могло стать близким и доступным теперь; и от сознания, что прошлое могло вернуться, он еще более не мог сосредоточиться и лишь бессмысленно и глупо улыбался и краснел от этой своей улыбки и оттого, что и старик Сухогрудов, и Ксения, и Степанида — все в доме представлялись ему добрыми и понимавшими его.

Он не чувствовал той ложности своего положения, как видели и понимали это Сухогрудов, Степанида,

Ксения и отчасти Галина; ложным казалось ему не то, что он был здесь и что так принимали его, а другое, что ожидало его после, когда все закончится и он должен будет уехать отсюда. Он знал, что, несмотря на все свое теперешнее желание войти на палубу (желание быть с Галиной), он вновь не сможет оторвать от земли ту ногу, какой еще прочно стоял на ней; и именно в этом он видел и свою вину перед Галиной и ложность своего положения перед всем собравшимся за столом семейством Сухогрудовых.

XV

— Кушайте, кушайте,— звонко и с той неестественностью, какую не только все другие, но и сама Ксения должна была чувствовать в себе, говорила она, привстав над столом, наклоняясь и подавая Лукину морковный салат в белой с золотым ободочком фарфоровой салатнице, которым ей особенно хотелось покормить гостя. Было только что выпито по рюмке, и все еще морщились, ища глазами, чем бы поскорее заесть то, что, все делали вид, было приятно им, но что на самом деле было неприятно, горько и вызывало ощущение ожога.— Ну, Акиму ладно, ему нельзя, а вы, Иван Афанасьевич, вы-то что ж так? — продолжала она, видя, что отпито Лукиным было только несколько глотков и что рюмка с водкою уже была поставлена им на стол.— У нас положено до дна, до дна!

Она знала (по опыту всех своих прежних застолий, какие приходилось собирать ей, особенно когда жив был еще первый муж), что всякая натянутая обстановка между гостями бывает натянутой только до первых двух-трех рюмок и что после того, как гости выпьют, становится шумно, весело и торжество идет само собой, как пущенные с горы сани, когда и ветер и снег в лицо и не надо ни смотреть, ни управлять ничем; но вначале сани эти надо подтолкнуть, надо приложить усилие, чтобы все двинулось и закрутилось само собой, и она как умела (как подсказывало ей положение хозяйки) приглашала гостя и выпить вместе со всеми, и закусить, и чувствовать себя как дома.

— Бирюк ты, бирюк, и что только я за тебя пошла,— вместе с тем говорила она мужу веселым, лас-

ковым тоном, на какой, она знала, никак нельзя было обидеться ему.

Но он не отвечал, а только молча и нахмуренно продолжал смотреть на то, что делалось за столом. Лишь когда Степанида пошла на кухню, чтобы подать зажаренных петушков с картофелем и Ксения вышла за ней проследить, как все будет уложено на блюде, Сухогрудов вдруг как будто оживился и, дрогнув густыми старческими бровями, спросил Лукина:

— Уже перебрался в Мценск или нет?

— Нет.

— Квартиру не могут подобрать?

— Почему? Но ее подновить надо. А пока ночую у Ильи Никанорыча.

— Зачем же старика теснить?

— А что делать?

— Как он хоть поживает там, как здоровье его? — Сухогрудову хотелось сказать другое, то колкое, что было приготовлено им не столько для Лукина, сколько для Галины; но как он ни был настроен скептически, как ни был недоволен и раздражен, вместо колкости (что знает ли она, что у Лукина жена и дети!) говорил то, что не могло оскорбить ее.

— Ничего, тьфу-тьфу, как говорится.

— Рад за него, какой был редактор! И людей и землю — все знал в районе. Районщик. Районщик! — повторил Сухогрудов так, словно и в самом деле что-то очень важное было заключено в этом слове.

— Я не люблю это слово,— сейчас же возразил ему Лукин.

— Почему?

— Да разве вы не чувствуете, сколько в нем пренебрежения к деревенскому делу, сколько унизительного чего-то? Нет, я бы не хотел, чтобы меня в старости называли так.

— Называют не по выбору, как мы хотим, а по жизни, кто что сделал.

— Тогда что ж, выходит — землю пахать унизительно? Районщик? Нашли же словечко, прилепили ярлык. И кому? Тем, кто подает им на стол. Я бы вообще запретил пропускать это слово в печать: рай-он-щик! — В кабинете у Сухогрудова Лукин не позволял себе так резко говорить со стариком; но теперь, в присутствии

Галины, что-то словно подталкивало его к этой категоричности и жесткости. Он не оборачивался к Галине, но он знал, что она смотрит на него, и у него словно прибавлялось от этого сил и смелости для разговора.— Мы терпеливы и прощаем всем и все. Привыкли терпеть и прощать, и в этом беда наша.

«Да, да, только ты один и знаешь это. Мальчишка! Ты поживи еще да поработай!» — было в напряженно-холодном взгляде Сухогрудова, в то время как он слушал бывшего своего любимца и зятя.

Степанида, шедшая впереди Ксении, несла в руках перед собою блюдо с жареными петушками и картофелем. Ксения, опередив ее, принялась освобождать середину стола, чтобы установить блюдо, и все вокруг сейчас же снова заполнилось ее суетливыми движениями и голосом. Грудку, где было белое мясо, и крылышки с коричневыми хрустящими кончиками она положила на тарелку Лукину; точно такую же грудку и крылышки от второго петушка подала мужу и, предлагая затем кому картофель, выглядевший так же аппетитно, как и петушки, кому тертую в сахаре смородину («На вкус, на вкус»,— приговаривая при этом), звонко и с той же ложной интонацией, которая, впрочем, уже не замечалась ни ею, ни всеми остальными, сидевшими за столом, просила наполнить рюмки. Ей казалось, что торжество было запущено и что теперь оставалось только поддерживать разговор; и она бездумно, не зная, о чем говорили мужчины, и не считаясь с тем, что должно было интересовать Галину, а испытывая лишь желание поскорее включиться в общее течение торжества, перебивая и заглушая всех, начала говорить с Галиною о Москве.

— Вот уж где не была, так не была,— наконец заключила она, имея в виду Большой театр, как будто во всех других московских театрах бывала не раз и хорошо знала их.— Занавес, лепка, балконы, золото, кресла в малиновом бархате — да тут и не захочешь, а графиней почувствуешь себя.— Разговор этот о театре был начат ею случайно, как и все другое, о чем говорила во время застолья Ксения; но ей казалось, что она возвышала этим Галину и давала понять бывшему ее мужу, что дочь ее (она мысленно уже называла Галину дочерью) москвичка, что ведет соответственный образ жизни, которому можно только позавидовать, так

много прекрасных сторон собрано в нем.— Ты расскажи, Галя, это же интересно,— просила она.

«Театр, графиня... О чем мелет?» — недовольно, что прервали его, подумал о жене Сухогрудов.

— Театр как театр,— ответила Галина, которой было не до театра; теперь, когда она видела смущенное лицо Лукина, она еще более понимала, что цель ее была достижима и возможна.

— Ты же ходила, Галя,— настаивала Ксения.

— Ходила, но в жизни столько всего, что я уж и забыла. Да и зря так думать, что у москвичей только и дел что бегать по театрам.

— Ну как же, Галя, как же?! Вы закусывайте! Яблочки моченые, лучок,— тут же говорила Ксения, соединяя в одно и то возвышенное, что виделось ей за словом «театр», и то житейское, что заключалось в словах «моченые яблоки» и «лучок» и было естественнее, ближе и понятнее ей.

Она продолжала еще и еще — о том несущественном, что было не интересно и не нужно никому; но все слушали, смеялись и отвечали ей, не желая разрушать веселого настроения хозяйки. Только Сухогрудов сидел молча и неподвижно и терпеливо, казалось, ждал, когда можно будет начать разговор ему.

— А ведь ты в рубашке родился,— как только утихла Ксения, сказал он, подняв взгляд на Лукина. Он опять говорил не то, что хотелось, и от слов его, хотя и не было ничего как будто осудительного в них, веяло холодностью.— И дать есть у тебя что (Сухогрудов имел в виду те средства, какие теперь выделялись государством на развитие сельского хозяйства) и что взять тоже будет (намекал на дожди, обильно прошедшие в начале мая). И в обкоме у тебя авторитет, и перед народом. Ну, за твои успехи,— добавил он затем, чтобы сгладить впечатление, какое должны были произвести его слова на Лукина.

Лукин почувствовал, что было что-то нехорошее в том, что сказал Сухогрудов, но рюмки уже поднялись над столом и он не смог возразить старику.

— Да, я думаю, урожай будет. И неплохой — согласился он, чтобы только сказать что-то. — Луга — смотреть приятно, а хлеба?!

— Но ведь и год на год не приходится.

— Само собой, — опять подтвердил Лукин.

— Да когда мы были без хлеба, боже мой, о чем вы, люди давно уже забыли об этом, — решительно вмешалась Ксения. Она всякий раз входила в разговор, словно брала вожжи у кучера; и всякий раз дергала не той вожжой, куда надо было повернуть воз.— Будет, не будет урожая — хлеб будет. Да и в хлебе ли дело! — И она снова начала о Москве, старалась вовлечь в разговор Галину, но, в сущности, не давая ничего произнести ей; и даже когда выходила на кухню, продолжала оттуда говорить Лукину (о Москве и Галине), что, казалось ей, важно было услышать ему.

XVI

После обеда был подан чай, а после чая все встали из-за стола, и Лукин, потный и красный, подошел к распахнутому окну, чтобы остыть и подышать воздухом. Его мучил вопрос: уйти ли ему сейчас, распрощавшись со всеми и не поговорив с Галиной о том, о чем, он чувствовал, надо было поговорить с ней (и не повидав сына, появления которого с волнением ожидал во все время обеда), или остаться, что было, он понимал, не совсем удобно ему; и пока решал, как поступить, Сухогрудов, устроившийся в кресле в глубине комнаты, через несколько минут уже по-стариковски дремал, наклонив голову и отключившись от всего, что занимало его, а Степанида и Ксения, переглянувшись, удалились на кухню, чтобы оставить одних Галину и Лукина.

— Ну? Видишь? Он только затем и приехал, — сейчас же радостным шепотом объявила Ксения, схватив руку Степаниды; она не могла не сказать это, потому что не могла поверить, чтобы усилия ее были напрасны.

— Ой, Ксеня, Ксеня. — Степанида сомнительно покачала головой.

— Я же вижу, ты что, только затем и приехал!

«Так уйти мне или остаться?» — снова спросил себя Лукин, продолжая стоять у окна и чувствуя по той свежести, какая вливалась в комнату, что наступал вечер и что от полей, луга, от всей не успевшей еще подсохнуть после дождей земли поднималась сырость. И трава и земля — все остывало, отпотевало, и Лукин не то чтобы думал, что было хорошо, что выпадала теперь роса и что это к урожаю, но всей крестьянской натурой своей чувствовал это обилие влаги и жизни. Он не оборачивался и

не видел, что старик Сухогрудов задремал в кресле. Состояние молодости и состояние старости так различны, что ему и в голову не приходило, что бывший тесть его, столь энергичный всегда, позволил бы себе задремать. Не слышал Лукин и того, как удалились на кухню Степанида и Ксения, и заметил только, что вдруг стало тихо в комнате, и обернулся, встревоженный этой тишиной. И как только обернулся, сразу понял, что оставлен наедине с Галиной и что та минута, какую ждал во все время обеда, наступила и надо говорить что-то. Но то ясно представлявшееся ему, что он хотел спросить у бывшей своей жены, вдруг будто отступило, исчезло, и он лишь смотрел на Галину, как он часто мысленно смотрел на пароход с шумом, людьми и музыкой, на котором отплывала она, и ничего не говорил ей.

— Что же ты молчишь? — Галина подошла к нему.— Постарела и не нравлюсь тебе? — Она не думала минуту назад, что так будет говорить с ним; но по привычке своей все сложное превращать в простое и по тому бессознательному, как это бывает у женщин, чувству, что так надо, так будет лучше, она начала разговор именно в этом наступательном тоне, словно не только никогда не считала себя виноватой перед ним, но будто у нее всегда было за что упрекнуть его.— Ты женат? У тебя дети?

— Да.

— И ты счастлив с ними?

— Зачем ты спрашиваешь это? — ответил он, краснея оттого, что он, в сущности, говорил ей, как он живет с семьей.

— Я думала, ты приехал ко мне и хочешь сказать что-то,— сказала она.— Говори, что же ты? Говори. Мне не перед кем краснеть, я одна. С твоим сыном. С Юрием,— добавила она.

— Как одна? — переспросил Лукин.

— Так. Одна. С Арсением разошлась.— Она ближе подошла к Лукину, вглядываясь в него.— А Юра весь в тебя, весь до черточки,— сказала она.

Точно так же, как игрок, держащий в руках козырной туз, в нужный момент бросает его на стол и выигрывает партию, Галина вдруг поняла, что козырным тузом у нее в ее теперешнем сложном деле был ее сын, Юрий. Она сейчас же почувствовала, что из всех прежних нитей, связывавших Лукина с ней, прочнее всех была именно эта — сын. Она только что в этот день видела сына,

и впечатление, оставшееся от встречи с ним, давало ей основание с гордостью теперь думать о нем. «Да, я помню, ты хотел помочь мне воспитать его, но я не приняла твоей помощи и воспитала сама, и, как увидишь, неплохо» — выражали ее глаза, в то время как она смотрела на Лукина. Она не хотела знать, что то, что она делала — разбивала чужую семью,— имело определенное название и осуждалось людьми; ей важно было, что она имела право на Лукина, и этого было достаточно для нее, чтобы держаться уверенно и отстаивать свое право. Все лежавшее между тем днем, когда она не попрощавшись уехала от Лукина в Москву, и этим, когда стояла теперь перед ним,— все представлялось ей таким незначительным, что она удивилась бы, если бы вдруг сказали, что надо в чем-то простить ее; она только стремилась к лучшему, и если он не понял этого тогда, то хотя бы должен понять ее теперь; и она смотрела на Лукина с той лучезарной ясностью, как будто лишь хотела слегка упрекнуть, что как это он не может увидеть того, что очевидно и просто ей и всем остальным.

— Было трудно, ты, наверное, слышал, было не так все просто.— Она продолжала как будто о сыне, но говорила уже и о себе, давая понять Лукину, что то, что связано с сыном (со сложностями его воспитания), связано с ней и неотделимо от нее.— Мальчики всегда трудно растут, особенно если они характером в отца.

— Ты считаешь?..

— Да, да, не легкий,— сейчас же перебила она, продолжая еще говорить наступательно с ним, но уже чувствуя, что наступательность была на грани, что надо переменить тон, сказать что-то такое, что приоткрыло бы перед Лукиным тот край занавески, за которым он увидел бы, что она упрекает только потому, что любит его, и что если бы все обстояло иначе, не было бы теперь между ними этого прямого и откровенного разговора.— Не легкий,— повторила она,— но я не сказала: плохой! Я этого не сказала. Боже мой, о чем мы с тобой говорим, боже, о чем говорим?! — И, поймав взгляд Лукина, всем своим душевным беспокойством вдруг поняла, что она близка к цели.

Цель ее была — вернуть к себе Лукина и решить таким образом те свои проблемы, от которых, ей казалось, она уже устала в жизни. Цель ее была — устроить свое благополучие. Но вместе со всем этим простым, ясным и

очевидным, чего хотела добиться она (и что шло от разума, а не увлеченности, как это бывало в молодости), она чувствовала, что Лукин был тем единственным человеком, с кем возможно было ее счастье. Все прежние представления ее о совершенстве мужчины, когда она то искала глубины духовного мира в будущем своем муже, то, напротив, считала, что и умение подать себя есть тоже проявление культуры,— все ее представления о совершенстве были теперь соединены в Лукине, и она с замиранием думала, как она раньше не разглядела в нем этого и оттолкнула от себя. «Дурой была, какой была дурой!» — повторила она слова отчима, сказанные ей тогда в раздражении. Она как будто смотрела сейчас только в глаза Лукину: но она видела все молодое, с деревенским загаром лицо его, говорившее ей о здоровье и силе, видела расстегнутый воротник рубашки, расслабленный галстук и видела руки, которые он держал сложенными так, будто радостно удивлялся чему-то и, не имея возможности сказать о своем удивлении, жестом выражал его. И жест этот так о многом говорил Галине, что ей казалось, будто она снова была молодой, красивой и что, главное, не только она, но что это видит и признает в ней Лукин. «Боже мой, я все сделаю, все, все, на все готова, лишь бы только быть с ним и видеть его»,— торопливо думала она, выдавая лицом эту пробудившуюся в ней силу к жизни.

— Я хочу сказать тебе, чтобы ты знал: я очень жалею о прошлом,— сказала она.

— Я знал это.

— Ты знал?!

— Да.

— Но ты-то, ты?..

— Я тоже очень жалел. Жалел,— повторил Лукин, стараясь подчеркнуть, что все было в прошлом, в то время как глаза его, смотревшие на Галину, говорили другое, что он жалеет обо всем и теперь и только в силу определенных обстоятельств (какие должны быть понятны Галине) не может сказать ей этого.

«Да говори же, говори»,— взглядом просила Галина.

Она торопила события и готова была шепнуть ему, что́ он должен сказать ей; но за спиной ее тяжело заворочался в кресле отчим, и она и Лукин тут же вместе оглянулись на него. Для Галины это сонное движение отчима было равнозначно тому, что перед глазами ее

был разрушен дом, так красиво и добротно построенный ею, и на лице ее не то чтобы отразилось недовольство, но вспыхнуло что-то злое, относившееся к старику: что она не забудет и не простит ему этого. Для Лукина же сонное движение старика имело совсем иное значение и произвело то отрезвляющее действие, как если бы на него вылили ведро холодной воды. Он вдруг увидел, что он был не один с Галиной и что все сказанное им и ею (и еще более — не сказанное, но что, казалось ему, было сказанным) было услышано бывшим тестем и определенным образом воспринято им. Лукин вдруг как-бы со стороны увидел всю двойственность своего положения и ужаснулся тому, что он делал. Он вспомнил о Зине, о дочерях, как они провожали его в эту поездку по району и как Зина, поправляя на груди его галстук, говорила: «Следи за собой, знаешь, как люди сейчас внимательны, все замечают»,— и будничный голос ее, будничное выражение лица (как смотрят обычно замужние женщины, убежденные в верности своего мужа) — все, все это, так живо вспомнившееся ему, неприятно, тяжело, грузом опустилось на душу. «Что я делаю? Я хочу освободиться от нее? Уйти, бросить, как тот хозяин свою собачонку...» — подумал он о Зине. Он знал, что, если уйдет от нее, она не поймет, почему он сделал это; он представил себе состояние Зины и мучительно понял, что не сможет причинить ей эту боль. «В чем она виновата? Почему я должен так поступить с ней?» Он продолжал еще как будто смотреть на старика Сухогрудова, ворочавшегося в кресле, но видел перед собой спокойное, будничное лицо Зины, в котором, он находил теперь, было что-то такое для него, чего не хотелось терять ему. «Нет, нет, это нехорошо, что я делаю. Я не должен делать этого»,— снова подумал он, уже отвернувшись от Сухогрудова и глядя в окно. Галина стояла рядом, и он слышал, как она дышит; но прежнего желания повернуться к ней и посмотреть на нее у Лукина не было; не было ни палубы, ни музыки, ни всей той воображенной жизни, к которой еще минуту назад так хотелось прикоснуться ему; все было разбито, развалено, приглушено, и он только болезненно пытался вспомнить, что еще нужно было ему спросить у Галины. Он, в сущности, не поговорил с ней о сыне и не увидел его; но он не мог вспомнить этого и, сознавая лишь, что нельзя больше оставаться здесь, что надо идти, думал, как было удобнее сделать это.

— Да мне пора,— сказал он, как-то вдруг, сразу взглянув на часы и повернувшись к Галине.— Да, да, пора,— подтвердил он, видя, как она странно посмотрела на него.

— Так быстро? Мы еще ни о чем не успели поговорить с тобой.

— О чем говорить, Галя, когда все в прошлом.

— В прошлом?!

— Да.

— Ты считаешь, все в прошлом? — переспросила она. Ей надо было сказать что-то другое, но она забыла, что у нее есть козырной туз — сын! — и что самый момент теперь пустить его в дело, и только смотрела на Лукина своими еще ясными, еще переполненными надежд глазами и умоляла остаться его.

— Нет, нет, не могу,— отвечая не на тот вопрос, какой она задала, а на тот, какой он читал в ее взгляде, поспешно проговорил Лукин.— Я действительно не могу, Галя, ты извини,— затем сказал он, желая успокоить ее. Он взял ее руку, чтобы попрощаться, и задержал ее.— Ты извини, так будет лучше.— И то, чего он не мог высказать словами, он старался пожатием руки передать ей.

— Но мы еще должны встретиться с тобой и поговорить. Ты не будешь возражать? — Галине важно было узнать это.

— Конечно, Галя. Но мне пора, пора.

Он повернулся, намереваясь проститься со стариком Сухогрудовым, но она задержала его.

— Не надо,— сказала она.— Он спит. Он всегда теперь после обеда спит в этом кресле.

— А где же Степанида, где Ксения Александровна?

— Они на кухне.

— Надо зайти к ним.

Но прежде чем выйти из комнаты, он кивком попрощался с Сухогрудовым и затем молча прошел на кухню.

— Все было так прекрасно, так обильно и вкусно, что я хочу поблагодарить вас,— весело начал он, увидев Степаниду и Ксению и инстинктивно почувствовав, что нельзя ему не быть веселым перед этими добрыми и гостеприимными женщинами, которые не слышали его разговора с Галиной и не могли ничего знать о нем.— Но я должен извиниться, мне пора ехать.

— Ну что же вы так, вы нас обижаете, Иван Афа-

насьич,— сейчас же возразила Ксения, мгновенно сообразив, что что-то, наверное, не получилось у Галины с ним и что надо помочь ей.— Уже вечер, еще чаю попьем, да и на ночь можно, дом большой, всем места хватит. Или, может быть, что-нибудь не так?..

— Что вы, все было отлично.

— Так и оставайтесь, мы будем рады. Галя, Галя, что же ты так отпускаешь гостя! — Голос Ксении звучал так же ложно, как он звучал во все время обеда; но только теперь вся ложность была настолько оголена и так очевидна, что всем неловко было слушать ее.— Галя, что же ты?!

— Нет, нет, не могу, спасибо, но не могу.— Лукин уже не улыбался и, чтобы не продолжать разговора, точно так же, как он только что кивнул старику Сухогрудову, прощально кивнул теперь женщинам и направился к выходу.

Женщины — все три — вышли за ним проводить его. Ксения и Степанида остановились на крыльце и переглянулись. «Что же он так?» — было в глазах Ксении. «А как судить его, как?» — было в глазах Степаниды.

Но Галина, несмотря на поспешный отъезд Лукина, не считала, что ничего не вышло у нее. В то время как она смотрела (от середины двора, где она остановилась), как Лукин, выйдя за жердевые ворота, садился в машину, она сильнее, чем во все прошедшие минуты встречи, чувствовала, как она была близка к цели. Она не думала, отчего была в ней эта уверенность; но то, что, прощаясь с ней во дворе, Лукин опять задержал ее руку, так много сказало ей, что она не могла думать иначе, чем она думала теперь о себе и о нем.

XVII

Распорядок жизни в сухогрудовском доме был настолько устойчив, что приезд Лукина и волнения, связанные с приездом, не могли изменить этого распорядка. Особенно это относилось к старому Сухогрудову.

Проснувшись от послеобеденного сна и обнаружив, что Лукина нет, он сказал только: «Ну и скатертью дорога, и хорошо, и пусть едет» — и ушел в кабинет, чтобы появиться затем лишь у вечернего самовара. Увидев же вечером, что все за столом были в сборе, что с Галиной ничего не произошло и что сводничество не состоялось

(да и не могло состояться, когда он в доме, как полагал он), он стал думать о Лукине и своем разговоре с ним. «Чувство хозяина, элеваторы, да, да, что-то он там еще городил?» — с насмешкою спрашивал он себя, в то время как хорошо помнил все подробности этого разговора. В старческом сознании его опять началась та привычная для него работа, как будто он должен был подготовиться к новой и жесткой встрече с Лукиным. Для него опять потянулись те обычные дни, когда он, перемежая завтраки и обеды с прогулками и послеобеденным сном, продолжал заниматься той своей, в сущности, бессмысленной деятельностью, от которой ждал, что она еще что-то принесет ему. Не славу, нет; он не думал о славе; он, казалось, заботился только о том, как извлечь из опыта своей прошлой работы пользу людям, и цель эта — быть полезным — побуждала его к деятельности. Он был уверен, что его позовут, что не могут не позвать, и готовился к этому. «Зачем же всем им второй раз проходить то, что прошел я? — думал он, имея в виду прежде всего молодого Лукина.— Я прошел, и я могу вести всех дальше!» И он снова, как прежде, часами просиживал за столом, всматриваясь в развернутую перед собой карту района, и хотя внешний распорядок жизни его как будто не был нарушен, мысли, приходившие теперь, после разговора с Лукиным, были иными, как если бы он вдруг, взглянув в очередной раз на поле, с детства знакомое ему, увидел, что оно было совсем не таким, каким он всегда прежде видел его.

Поле это было — народная жизнь, которую он хорошо знал, в которой вырос и от которой никогда не отделял себя; и он рассматривал теперь эту народную жизнь не в той приближенности, как раньше, когда был непосредственным участником дел и когда от его решений зависели судьбы людей и надо было быть осмотрительным ему, но видел все в том временном пространстве, когда в потоке людских и государственных устремлений легко можно было различить те отдельные и важные направления, которые в силу разных обстоятельств как бы выбивались из общего русла и уводили в сторону. Все рассуждения Лукина о чувстве хозяина были непонятны и неприемлемы для Сухогрудова потому, что затворничеством своим он как бы отделил себя от всех тех многочисленных и разнообразных источников общественного мнения, какие влияли теперь на Лукина;

но вопрос о чувстве хозяина — вопрос этот всегда занимал Сухогрудова и был для него тем камнем преткновения, который он обычно обходил и не решался трогать. Но в то время как он не решался трогать этот камень, молодые, пришедшие за ним, он видел, безо всяких оговорок и опасений надорваться брались за него и пытались сдвинуть его. Особенно старик Сухогрудов почувствовал это в разговоре с Лукиным; и разговор этот не давал теперь покоя ему. «Но я-то и видел больше и знаю больше, так для чего же им надрываться и мучить себя, когда я могу помочь им»,— рассудил он. И, разрешив таким образом перешагнуть себе через ту душевную скованность, которая всегда только мешала ему, он вдруг ясно для себя увидел, в чем было дело. «Мы бичуем собственничество, но так разогнались в этом важном для нас деле, что перешагнули черту, за которой кончается собственничество и начинает жить обычное житейское чувство хозяина!» Он увидел ту опасность нахлебничества, какая уже начала проявляться в деревне, когда люди отказывались от всякого домашнего хозяйства (и от приусадебного огорода), так как это представлялось им собственничеством, и, вместо того чтобы что-то еще подавать на общественный стол, садились за него и, в сущности, полностью переходили на обеспечение государства. Он как бы в перспективе увидел, что еще только-только выбрасывало ростки над землей, но могло, если не принять мер, превратиться в такое положение, когда не в город, а из города мужик будет возить молоко, яйца, мясо к себе в деревню; он видел в этом государственную проблему и думал, что отбить у человека охоту заниматься домашним хозяйством (что всегда было и будет подспорьем для семьи) не так уж трудно, но что потребуются затем годы, чтобы привить ему снова это желание. «Так что же это, если не нахлебничество?» — думал он. Он чувствовал, что надо было если выступать теперь, то выступать по этому коренному вопросу, и весь был поглощен разработкой его.

Он старался записать то, что он думал; но всякий раз, как только начинал делать это, сейчас же замечал, что то, что было логично и складно в уме, было нелогично и нескладно на бумаге и что исчезало что-то такое, что он ясно понимал и чувствовал, но что, он видел, невозможно было передать словами, чтобы так же ясно чувствовали и понимали другие. На бумаге (вместо жиз-

ии) получался сухой документ, который не только не представлялся бесспорным, но был, казалось Сухогрудову, и не ко времени, и уязвим, и неточен. Разрешив себе мыслить по-новому, он еще не мог разрешить себе так же свободно излагать на бумаге эти свои новые мысли и, не вполне сознавая, что мешало ему, мучительно старался преодолеть стоящий перед ним барьер, был сосредоточен и, как всегда, не замечал, что происходило вокруг него в доме и занимало Степаниду и Ксению.

Они не думали о жизни в том плане, как думал об этом старик Сухогрудов; для них важны были не общие положения — куда что движется и почему? — а то конкретное, с чем они сталкивались ежедневно и что составляло круг их повседневных домашних забот. И в этом кругу были свои проблемы, которые требовали разрешения. Из трех остававшихся еще в Поляновке коров две этой весной были отведены в Курчавино и проданы, и перед Степанидой и Ксенией возникал вопрос, где они будут покупать молоко и сливки, если последняя корова, держать которую было хлопотно и невыгодно, как уверяла хозяйка, тоже будет отведена и продана. Пора было кастрировать кабанчика, которого выкармливала Степанида, но тот человек, Матвей Захарыч, которого всегда приглашали на это дело (и о котором все в деревне говорили, что у него легкая рука), жил, как и большинство бывших поляновских колхозников, на центральной усадьбе, и сколько ни ходила к нему Степанида, не могла договориться с ним и привести его. Заваливался сарай, и надо было чинить его; надо было заменить прогнившие перекладины в погребе и вкопать новые стойки ворот; надо было выносить и проветривать ковры, поедавшиеся молью, и еще, и еще — множество дел, требовавших сильных мужских рук, которых не было в доме; но никто не хотел наниматься, и Степанида и Ксения (по женскому разумению своему) приходили к выводу, что жить становилось все труднее и труднее, что народ разленился, заелся и что не только за рубль, как бывало раньше, но и за три не дозовешься никого даже на самое пустячное дело. «Да где это видано, чтобы человек заработать не хотел?!» — было главным, что поражало их. На деньги, которые они имели,— и от Дементия, помогавшего им, и от дочери Ксении, жившей с мужем на Севере и присылавшей переводы матери, — они не могли сделать того, что нужно было в хозяйстве, и огорчались

и говорили об этом. Но огорчения эти были больше на словах и не нарушали спокойного течения их жизни. С приездом же Галины и особенно после встречи ее с Лукиным спокойствие это было не то чтобы нарушено, но какая-то словно новая полоса забот охватила Степаниду и Ксению.

Вместе с Галиной в дом к ним вдруг как бы вошла частица совсем другсй, незнакомой им жизни и заслонила перед ними все их домашние дела. Они увидели, что они были более устроены в жизни, чем она, и почувствовали, что должны помочь ей; и были особенно омрачены, поняв после поспешного отъезда Лукина, что дело, какое им так хотелось, чтобы сладилось у Галины с ним, не было слажено. Весь следующий день Ксения лежала с примочкой на голове, и Степанида одна молча и придавленно управлялась по дому, и это душевное состояние женщин осложнялось еще тем, что Галина не только, казалось, не замечала, как переживали они, но держалась еще более отчужденно с ними, будто и в самом деле в чем-то обвиняла их. Но на самом деле она ни в чем не обвиняла их; она думала о себе, о том, как жила все эти годы, бросаясь то к одному, то к другому, ища счастья и не находя его, тогда как счастье ее было здесь, в бывшем ее муже и во всей той жизни, от которой так безрассудно она уехала когда-то. Она чувствовала, что могла вернуть все, и ее занимал только вопрос, как сделать это. Просидев почти безвыходно три дня в своей комнате, она затем сходила в Курчавино к сыну, а вернувшись от него, заявила, что должна поехать в Мценск и пожить там.

— Раз хочешь, так и поезжай,— сейчас же согласился отчим, не видя в этой затее ее ничего предосудительного.

Чуть погодя он уже не помнил об этом разговоре и утром был удивлен, когда Галина зашла проститься к нему.

— Как? Почему ты едешь? — спросил он.— Надолго? — Как будто это было важно для него.

— Дня на три, на неделю.

— Ну поезжай, поезжай!

Он еще с минуту смотрел на нее тем остановившимся взглядом, словно хотел что-то вспомнить и спросить у нее; но он ни о чем не спросил и сел за стол, чтобы в очередной раз начать записывать то, что он обдумывал

в эти дни. И как только он пододвинул к себе стопку белой бумаги, вся старческая фигура его успокоилась, замерла и на продолговатом сухом лице появилось то выражение сосредоточенности, какое как раз и представлялось Галине странным и пугало ее. Но теперь она не заметила этого выражения. Точно так же, как отчиму было не до нее, ей было не до отчима, и, выходя от него, она думала, что надо еще проститься со Степанидой и Ксенией, с которыми неприятно было прощаться ей. Она видела, что они знали, для чего она собралась в Мценск, были обижены на нее и не вполне одобряли это ее решение. Особенно Ксения, которая уже не суетилась так, как в день приезда Лукина, и разговаривала с Галиной сдержанно и только о том, что считала нужным назидательного сказать ей.

— Холодильник там отключен, так ты включи его,— говорила она, передавая Галине ключи от своей мценской квартиры.— Если что прибрать, Шуре позвони, поможет. Она все сделает, ты только позвони, да и познакомишься с ней.

XVIII

Галина отправлялась в Мценск устроить свое благополучие. Как всегда, когда она затевала что-либо новое в налаживании своей семейной жизни, она бывала убеждена, что только это новое и может принести ей успокоение и счастье, и все в ней начинало подчиняться не разуму, а чувству, подсказывавшему ей, как надо вести себя; с ней и теперь как будто происходило только то, что не раз уже бывало с ней; но вместе с тем она отчетливо сознавала, что на этот раз все было для нее по-другому, было тем главным, к чему она стремилась всю жизнь и что невозможно было сейчас упустить ей. Лукин оставил у нее впечатление красивого и умного мужчины, каким она не думала увидеть его; и она была удивлена этим и снова влюблена в него. В воображении ее повторялись подробности ее встречи и разговора с ним—те подробности (как он, прощаясь, задержал ее руку), из которых она могла делать лишь тот вывод, что еще имела власть над ним и что надо воспользоваться ей этой властью. Она думала только вернуть себе своего мужа, и возможность этого счастья, казавшегося близким ей, заслоняла в ней все иные мысли о возможном несчастье дру-

гой семьи; в ней независимо от нее просыпалось и брало верх то эгоистическое начало, когда, как это бывает в таких случаях у большинства людей, кажется, что то, что хорошо для меня, непременно должно быть хорошо и для других, и Галина, подчиняясь лишь этому естественному в ней теперь чувству (чувству сохранения жизни), искренне полагала, что то, что она делала, было не только справедливо и нужно ей, но справедливо и нужно для общей вокруг жизни. «Я пошла не по той дороге, но я вернулась и хочу идти по той, по которой положено мне идти, так что же осудительного может быть здесь?» — как будто говорила она себе, в то время как мысль эта было теперешнее состояние ее души. Она радовалась тому, что происходило с ней, но вместе с тем была так серьезна, как не бывала никогда прежде. Лицо ее как будто проигрывало от этой серьезности, но вместе с тем в это новое выражение ее лица вплетались те черточки, которые сейчас же говорили о целостности и основательности ее намерений; и вся красота ее была уже не в том, как она одета и как выглядят ее светлые волосы, модным полукружьем спадавшие к плечам, а в глубине и чистоте того чувства, какое она так бережно несла теперь Лукину.

Она приехала в Мценск под вечер и через час уже сидела в приемной Лукина, дожидаясь, пока он останется один и можно будет войти к нему.

Она не знала, что скажет ему, и не думала, что как только он увидит ее, все тут же решится между ними; ей только хотелось, чтобы все сейчас же решилось, и она была так убеждена, что невозможно отвергнуть то, что она испытывала к нему, что она слышала, как билось ее сердце, как будто то, что не раз бывало с ней в молодости, с какою-то обновленною силой повторялось в ней теперь и волновало ее. «Да что же все так тянется? — недоумевала она.— Разве он не знает, что я здесь? Он знает, он же знает, как он может?!». И она недовольно оглядывала тех, кто входил к Лукину и выходил от него. Она ненавидела всех этих людей, которые, казалось ей, отнимали у нее счастье и мешали ей соединиться с Лукиным; но когда секретарь наконец сказал ей, что она может войти, она вдруг почувствовала, что ей трудно сделать это, что между ней и Лукиным есть другая преграда (есть ее московская жизнь!), которую не так-то просто было забыть и отбросить ей. «Как я могла вообразить?!

Как он может простить мне?!» Но секретарь, стоявший у приоткрытых дверей, ждал, чтобы она вошла, и она, невольно уже подчиняясь этому его молчаливому приглашению, поднялась и пошла, неслышно для себя ступая онемевшими ногами по жесткому паркетному полу приемной и кабинета.

Внимание ее было так напряжено, что сколько она потом ни пыталась вспомнить, что было с ней в эти первые минуты, когда она вошла к Лукину, она с удивлением отмечала, что в памяти ее был провал и вместо подробностей — что сказала она, что ответил он и как затем усадил в кресло и сам сел напротив нее,— вместо этих подробностей возникало только ощущение, будто она пережила тогда самые тяжелые и лучшие минуты своей жизни. В то время как она чувствовала, что не могла жить без Лукина, и понимала, что была виновата перед ним; в то время как ей очевидна была вся невозможность того, что так хотелось, чтобы было возможным, и она сознавала, что нельзя было ей приезжать сюда; в то время как в душе ее шла эта работа мысли и сердца, наполнявшая ее силой, какую принято называть любовью, но какая воспринималась ею только как страх перед тем, что то, что она несла, могло быть не принято и разбито,— вся эта борьба желаний и страха, сковывавшая ее в словах и движениях, так щедро излучалась из ее глаз и от всего вспыхнувшего лица, что нельзя было не заметить этого ее волнения, которое должно было многое сказать Лукину. Он сейчас же почувствовал в ней то, что всегда прежде любил в ней,— ту ее взрывную энергию, у которой не было конца, а было лишь постоянно возобновлявшееся начало; было то, что в народе называют пустым звоном, но что для Лукина, помнившего только, как шумно Галина начинала все, и не помнившего, что из всех ее начинаний ничего не было доведено ею до конца, для Лукина было наполнено значением красоты и одухотворенности жизни. Он слушал Галину и смотрел на нее, не отводя глаз, словно боялся, что больше не увидит ее; и в то время как она говорила ему о сыне (ту правду, какую и сама не знала, как решилась рассказать ему), смысл ее слов почти не доходил до него; с ним происходило точно то же, что и в Поляновке, когда он вдруг узнал, что увидит ее, и он точно так же не мог сосредоточиться сейчас ни на чем, кроме того, что он понимал только, что она здесь. Он опять чувствовал в ней частицу

той деятельной столичной жизни, какой всегда не хватало ему; и хотя в рассказе Галины жизнь та не содержала как будто ничего деятельного и тем более возвышенного, что непременно будто должно содержаться в ней по представлениям всякого отдаленно живущего от Москвы человека (была только жалкая история с Юрием!), Лукину казалось, что между тем, что Галина рассказывала, и тем, что он всегда думал о ее столичной жизни, не было и не могло быть связи. То, что она говорила, было неприятно и грустно; но то, что он воображенно видел в ней, было светло, ясно и притягивало его. Перед ним как будто открывалась какая-то новая перспектива жизни, невольно связывавшаяся им с возможностью проявить себя на работе; но чувство, какое он испытывал при этом, было чувство прыгуна, затоптавшегося перед планкой, которую подняли так высоко, что он знал, что не преодолеет ее, но от которой уже не мог отойти, не совершив попытки, потому что все (все — была для него Галина) смотрят и ждут, чтобы он разбежался и прыгнул.

«Да, да, я всегда чувствовал, что было что-то нехорошо с сыном»,— думал он, в то время как Галина продолжала говорить ему.

Она не знала, почему заговорила с ним о сыне, и не думала, что надо было ей именно теперь бросить на стол свой главный козырь, чтобы выиграть партию; но она сделала именно это, что не решилась сделать в Поляновке, и чем дольше и правдивее теперь говорила о сыне, тем свободнее чувствовала себя перед Лукиным. Она говорила о том, что волновало ее, не заботясь как будто, какое впечатление произведет это на Лукина; но в то время как она рассказывала о проделках Юрия, она говорила и о себе, сколько пришлось перенести ей, и роль страдалицы, в какую невольно облекала себя, была для нее, и она видела это, выигрышной, потому что оправдывала ее. Она заметила в глазах Лукина сочувствие и воспринимала это его сочувствие как мостик, по которому пролегала ее дорога к нему, и всеми силами старалась укрепить этот мостик и говорила, говорила, боясь, что, как только остановится, все сейчас же рухнет и у нее уже не останется больше надежд на него.

— Ты не можешь представить себе, как я намучилась с ним,— то и дело повторяла она с той естественностью, как будто и в самом деле разговор шел не о Юрии, а о

ней.— А что было этой весной? Ты думаешь, почему я здесь? Почему я приехала сюда? — И после этих вопросов, которые, казалось ей, уже сами по себе означали многое, она пересказала Лукину ту историю с холодильником, арестом и осуждением Юрия (и с угрозой высылки его из Москвы за тунеядство), весь ужас которой, как можно было понять из ее слов, состоял не столько в том, что что-то неладное случилось с Юрием и что надо что-то срочное предпринять, чтобы помочь парню исправиться, сколько в том, как невыносимо болезненно было пережить ей это. И если бы Лукин не был возбужден и слушал Галину, из ее рассказа он сделал бы только тот вывод, что она не знает ничего о своем сыне.

— Когда же все это началось с ним? — спросил он, полагая, что он пропустил то важное, что надо было понять ему.

— Не знаю, Ваня, не знаю,— сейчас же откровенно ответила она.— Я все делала, чтобы он учился, рос, а получилось... я не знаю, у меня нет слов. Ни сил, ни слов, ничего.

— Да, я понимаю,— сказал Лукин.— Но почему ты не написала мне об этом раньше?

— Как же я могла тебе написать?! — удивленно переспросила Галина.

Она невольно задала тот главный вопрос, который для Лукина означал, что у него семья и что если бы не было у него семьи и он был бы так же свободен, как она, то она непременно написала бы ему и позвала его. Он понял это по выражению ее глаз, тону голоса, по всему ее напряженному виду, как она посмотрела на него, и покраснел, будто и в самом деле был в чем-то виноват перед ней. «Да, но я бы объяснил все Зине, она бы поняла все»,— сейчас же про себя решил он. Но он только сильнее покраснел, зная, что не смог бы ничего объяснить жене. Не находя, что ответить Галине, он встал и озадаченно прошелся по кабинету. То, что в течение многих лет представлялось ему вполне совместимым — возможность быть одинаковым к дочерям и к сыну, — он увидел теперь, что было не только несовместимым, но были две совершенно разные семьи, требовавшие каждая, чтобы он либо принадлежал весь, либо уходил и не прикасался ни к чему. Он вдруг ясно понял, что он должен сделать выбор между нынешней своей женой и Галиной, и чувствовал, что это было нехорошо и не в его

силах и что точно так же, как жалко ему Галину и сына, жалко Зинаиду и дочерей, которых он не мог подумать, как бы он бросил теперь. По чувству, какое поднималось в нем, он тянулся к Галине; но по разуму (по тому последствию, что могло разразиться, если он бросит семью), по разуму он не мог разрешить себе этого, что хотелось ему. Он считал, что надо прервать теперь разговор с Галиной; но, остановившись перед ней, сказал не то, что могло прервать этот разговор, а другое, что могло только продолжить его.

— Так он в Курчавине сейчас? — спросил он.

— Да,—ответила Галина, которой передавались волнение и нерешительность Лукина.

— Это, конечно, не выход.

— Но хоть что-то.

— Нет, это не выход,— повторил он.— Надо подумать, как помочь ему.— Но он не знал, чем он мог помочь Юрию, и снова зашагал по кабинету, заставляя себя думать о сыне, но думая о своем, что должен сделать выбор, но что это нехорошо и что было бы лучше, если бы никакого выбора не стояло перед ним.

— Я вижу, ты волнуешься,— сказала Галина, прерывая это мучительное состояние его.— Ты извини, что я пришла к тебе со своими болячками. Мне казалось... ах, да что тут?! Юра при деле, все уладится.

— Нет, нет, я должен помочь ему.

— Как хочешь, Ваня,— ответила Галина.

Она стояла перед Лукиным, и чувствовалось, что собиралась уходить.

— Ты уходишь? — спросил он.

— Да.

— Я провожу тебя.— Но в то время как он говорил это, он ясно понимал, что этого нельзя было делать ему.

XIX

Половину дороги они шли молча. Но они не замечали, что идут молча, так занимало их то, о чем они думали.

«Что же тут плохого, если я решил проводить ее? Я только провожу, и все, и сейчас же уйду, и ничего плохого и предосудительного тут нет»,— говорил себе Лукин, оправдываясь и убеждая себя, что ни перед кем и ни в чем не надо оправдываться ему. Но, будучи совершенно далеким от той ныне вновь многими пропове-

дуемой простоты нравов, когда кажется, что переспать с чужой женой или с чужим мужем все равно что выпить стакан воды, Лукин чувствовал, что уже в том, что он шел с Галиной, было что-то такое, чего нельзя, нехорошо и предосудительно было делать ему. Но, чувствуя, что он делал что-то предосудительное, он вместе с тем продолжал идти, говоря себе, что было бы еще более нехорошо и предосудительно, если бы он остался и не пошел с ней. Он думал как будто о пустячном деле, которое, в сущности, не заслуживало того, чтобы так много думать о нем; но то, что стояло за этим пустяком и что имело для Лукина совсем иное значение, чем только то, что он проводит или не проводит ее, заглушало в нем все здравые мысли и заставляло волноваться его. В душе его шла та борьба, когда он должен был решить для себя, переступить или не переступить ему через ту черту, через которую нельзя безнаказанно, без определенного общественного осуждения, переступать никому, и он чувствовал себя так, словно одной рукой старался еще удержать то, что было ненадежно и могло рухнуть (что было теперешней его семейной жизнью, в которой он был как будто сам по себе, Зинаида с дочерьми — сами по себе), а другой пытался достать то, что было близко, было привлекательным и манившим его, но обо что, он понимал, можно было не только обжечь руку, но обжечься всему и потерять и работу и положение, достигнутое им.

Он думал, что то, как он жил, не было счастьем, а было только общепринятым порядком жизни. Но порядок этот, которого он придерживался, позволял ему открыто смотреть на мир и проявлять себя в нем. Сойдясь же с Галиной, он понимал, что вынужден будет отступить от этого порядка и лишиться многого, что было дорого ему, и он колебался, что считать счастьем: то, что он имел, или то, что только полагал, что будет иметь, но что было еще как бы туманом скрыто от него? Его, в сущности, занимал тот вопрос жизни, какой в разные времена и не одно поколение людей безуспешно пыталось решить для себя; но Лукину казалось, что опыт прошлого не имел к нему отношения, а все, что он переживал, все было впервые и было потому трудным и неразрешимым для него.

Несколько раз, вдруг спохватившись, что он молчит, он спрашивал у Галины про Юрия (что было как бы в продолжение того разговора, какой он вел с ней в кабинете), но то, что отвечала Галина, он почти не воспри-

нимал, и не смотрел на нее, и не видел, в каком состоянии была она. Он только чувствовал, что с нею как будто происходило что-то такое же, что и с ним, и что должно было решить и ее и его участь, и боялся поднять на нее глаза, опасаясь, что то, что увидит на ее лице, сейчас же решит все. «Что же я делаю? Для чего я иду? — вместе с тем продолжал думать он.— Если хочу помочь сыну, то я могу сделать это и по-другому, необязательно идти к ней!» Но когда он остановился у подъезда дома, где жила Галина, на вопрос ее, не зайдет ли он, чтобы еще поговорить о сыне, он, не задумываясь, ответил:

— Зайду, почему же?

— По старой памяти чаем напою.

— Не откажусь, а почему?..

Он только не спросил, здесь ли отчим или в Поляновке; но Галина, как будто услышавшая этот его вопрос (она поднималась по ступенькам впереди него), повернулась и сказала:

— Я одна. Все в Поляновке.

Она сказала это так просто и естественно (чему позднее сама всегда удивлялась), словно все то, что она делала — зазывала бывшего мужа к себе,— не только не имело никакой с ее стороны заданной цели, но было тем, что бывает между друзьями, которым приятно час-другой побыть вместе. Она открыла дверь и, переступив порог, с той же естественностью и простотой проговорила:

— Ты только извини, здесь пыльно и не убрано. Здесь никто не жил, все было на замке.— И, оставив у дверей туфли, пошла, мягко ступая босыми (в чулках) ногами, через коридор в комнату, к окну, чтобы открыть его.

Как всегда, у Галины не было ничего продумано и приготовлено, чем бы она могла угостить теперь Лукина. Но она поняла это, только когда вошла на кухню и увидела, что холодильник отключен и дверка его открыта и что на полке в шкафу, где обычно рядком стояли пакеты с конфетами, печеньем и сахаром (как было еще при матери), было все пусто и застелено вырезанной зубчиками по краю цветной клеенкой. Она вдруг поняла всю нелепость своего положения и изумилась тому, как она могла допустить это; но э т о, что должно было смутить ее, она сейчас же сообразила, можно повернуть в свою пользу, как будто она никого не ждала сегодня; и она, вернувшись в комнату к Лукину, весело объявила:

— Ну вот, нахвалилась, а угостить нечем. Даже, по-моему, и сахара у них здесь нет.

— Давай сходим куда-нибудь поужинать?

— Ты так хочешь?

— Как ты скажешь.

— Потом. Чуть посидим, потом,— предложила она, усаживаясь напротив Лукина в кресле.

Она подобрала под себя ноги, не думая, для чего сделала это, лишь чувствуя, что надо создать какую-то атмосферу домашности и теплоты. Было уже около десяти вечера, в комнатах горел свет. Красивые ноги свои Галина прикрыла юбкой, и можно было теперь только угадывать их очертания. Голову она держала чуть наклоненно и так озорно, весело и лукаво смотрела на озадаченно притихшего Лукина, как будто вот-вот ей исполнилось двадцать и все, что было прожито ею, еще лишь предстояло, и в лучшем варианте, прожить ей. Она вновь чувствовала, что она близка к цели, и все возбужденное состояние ее души опять было отражено и на лице, и в глазах, и во всей по-домашнему уютной позе, как она сидела перед бывшим своим мужем, которого хотела вернуть себе. Она снова видела, что он был красив; но вместе с тем как она видела э т о, что он был красив, был молод, она ясно сознавала, что он был для нее еще и тем человеком, за которым она могла спокойно и счастливо прожить жизнь. Теперь, когда она знала (по своей одинокой с сыном жизни в Москве), как важно было быть обеспеченной, она не думала, чтобы что-то плохое скрывалось в этом ее желании; напротив, она была убеждена, что смысл замужества для всякой женщины только в том и должен состоять, чтобы быть обеспеченной, и готова была теперь на все, даже оставить Москву, чтобы получить то, что так хотелось получить ей. Но что она могла дать взамен? Тепло, любовь, ласку? И ей казалось, что этого было так много в ней для Лукина, что он не может не быть счастливым с ней.

То, что в комнате было пыльно и что большинство предметов было накрыто старыми занавесками, газетами и целлофановой пленкой (что Сухогрудовы делали всякий раз, чтобы сохранить мебель и вещи, когда уезжали на лето в Поляновку), не беспокоило Галину и не смущало ее точно так же, как и то, что нечем было ей угостить Лукина; она чувствовала, что главным для него было не это, а была она, и ей радостно было созна-

вать и чувствовать это. Щеки ее горели, и что-то, казалось, золотистое (от люстры, зажженной под потолком) было вплетено в ее светлые волосы; она рукой убрала их со щеки, приоткрыв ухо и маленькое серебряное сердечко в нем, на которое внимательно посмотрел Лукин.

— Ты, наверное, доволен своей работой,— между тем начала Галина, не заметив как будто этого его взгляда. Она инстинктивно почувствовала, что надо было теперь говорить с ним не о сыне, не о себе, а надо было говорить о нем самом, о его работе, о чем он сам всегда прежде любил говорить с ней.— Ты молодец, добился своего, у тебя такой кабинет...

— Нет, Галя, я кабинета не добивался.

— Да, да, конечно, ты извини, я не так сказала,— сейчас же поправилась она.— Но ты теперь можешь осуществить все свои планы и замыслы, я же помню, сколько их было у тебя, — сказала она, помня, в сущности, только то, что планы и замыслы у Лукина были и что он не раз высказывал их ей, но не помня, в чем заключался смысл этих планов и замыслов и почему нельзя было осуществить их. «Какое-то переустройство, что-то в отношении земли, людей, деревни»,— возникало в сознании Галины, в то время как она старалась продолжить этот начатый ею разговор, который был не то чтобы интересен Лукину, но был для него теперь тем спасательным кругом, за который нельзя было не ухватиться ему; он понял это и, отвечая сперва вяло, неохотно, все более затем начал втягиваться, как он выразился, в т е м у, и беспокоивший его вопрос, для чего он здесь и хорошо ли или нехорошо, что он здесь, незаметно как бы отступил от него и заслонился этим разговором.

Он почувствовал в Галине то, чего ему всегда недоставало в Зинаиде, с которой он уже не помнил, когда говорил о своих делах; почувствовал тот интерес и внимание к себе, каким, ему казалось, никто дома не окружал его, и, подогреваемый этим интересом и вниманием, начал пересказывать те свои взгляды на положение дел в районе и на развитие сельского хозяйства вообще, о чем говорил только с Ильей Никаноровичем и Сухогрудовым. Но теперь все у Лукина получалось собраннее, яснее, четче, он чувствовал это, радовался этому и не замечал, что, в сущности, подавал себя Галине. Он делал это бессознательно, по одному только понятию, что так надо, и говорил, говорил, как прекрасно было бы,

если бы в деревенском человеке укрепилось масштабное, перешагнувшее за собственный плетень и разделительную колхозную межу чувство хозяина. То, что Галина слушала его, он видел; но то, что она ничего не понимала из его слов, не замечал; лишь в какую-то минуту вдруг словно что-то подтолкнуло его, он остановился, почувствовав, что то, что он говорил, было не нужно ни ей, ни ему и что совсем не для этого они сошлись сегодня в этой комнате. Он вдруг понял это так ясно, и так живо все прежние тревожные мысли — хорошо ли, нехорошо ли было, что он здесь? — вернулись к нему, что он сейчас же, как было уже не раз в этот вечер с ним, покраснел от сознания ложности своего положения перед Галиной.

— Я утомил тебя, Галя, ты прости, но я живу этим. Это моя жизнь,— сказал он, оправдываясь и желая исправить положение.

— Ну что ты! Ты так красиво говорил, я ничего не поняла, но ты так красиво говорил,— поспешно перебила его Галина.

Она встала, решив для чего-то подойти к нему, и Лукин тоже поднялся навстречу ей. Они стояли теперь друг против друга, и Лукин видел по глазам Галины (точно так же и Галина видела по глазам бывшего своего мужа), что все, что было между ними до этой минуты, было лишь преддверием к тому, что должно произойти теперь. Но это, что должно произойти, было так желанно и так унизительно Лукину (унизительно последствием, какого, он знал, нельзя будет избежать ему), что он не решался первым сделать то движение, которое сейчас же подсказало бы Галине, что́ он испытывал к ней. Но он не делал и другого, чтобы сказать, что не может допустить близости с ней, что есть обстоятельства, которые выше его и не позволяют ему допустить это; он лишь напряженно смотрел на Галину каким-то вдруг обезжизненным будто лицом, словно ему предлагали совершить преступление, на которое он когда-то дал согласие, но которое теперь, когда надо было делать, было так очевидно нехорошо и осуждаемо всеми, что он не мог совершить его. «Все это ложно, что я думал о сыне. Я обманывал себя и думал о ней, только о ней, и только ее всегда не хватало мне,— думал он, продолжая смотреть на Галину и не решаясь ничего сказать ей.— Но что же я делаю? А Зина? А девочки мои?» — думал он, в то вре-

мя как понимал, что означало для Галины то, что он молчал перед ней.

— Ты что-то хочешь сказать мне,— сказала Галина, кладя ему на плечи свои никогда не знавшие тяжелой работы мягкие руки.— Говори, ну говори! — И она сделала то движение руками, как будто она хотела разбудить его.— Говори,— повторила она.

Она вдруг решительно обняла его и губами прижалась к его губам. Потом торопливо начала целовать в щеки, глаза, губы, притягивая его голову и полушепотом повторяя: «Дорогой, милый, дорогой». Затем, снова обняв, уже всей грудью прижалась к нему, с замиранием ожидая, когда висевшие как плети руки Лукина поднимутся и обнимут ее. И когда она почувствовала, как ладони его прикоснулись к ее спине, что-то теплое и приятное стало как будто наполнять ее грудь, сердце и разливаться по телу, расслабляя все в ней после пережитых напряженных минут и дней. Не было ни Арсения, ни сына, ни отчима, ни Степаниды и Ксении; не было ничего, что было с Галиной прежде, а существовала только эта минута, от которой, она чувствовала, пойдет новый для нее отсчет жизни.

XX

После этой проведенной у Галины ночи Лукин уже не мог не бывать у нее. Илье Никаноровичу, с беспокойством пришедшему к нему, сказал, что не хочет больше стеснять его и что будет пока ездить домой, в совхоз, хотя далеко и неудобно это. Но перед женой (что не приезжал к ней) оправдывался тем, что дел в райкоме уйма, что идет сенокос и надо бывать ему в колхозах и совхозах, чтобы следить за всем и знать все. Он вдруг открыл для себя, что вполне можно жить этой раздвоенной жизнью: на работе, при людях держаться так же уверенно, как он держался всегда прежде, и разговаривать с женой тем же спокойным тоном, как он обычно говорил с ней, и в то же время чувствовать себя счастливым с Галиной, словно и в самом деле не существовало никаких преград для счастья с ней. Он по-прежнему говорил с ней о Юрии и предлагал съездить к нему в Курчавино и повидать его; но хорошее намерение это оставалось только намерением, и ни он сам, ни Галина не предпринимали ничего, чтобы что-то сделать для сына. Оба они понима-

ли (хотя и не высказывали друг другу этого), что Юрий был бы теперь только помехой им; они так наслаждались своей близостью, как будто спешили наверстать то, что, им казалось, было упущено ими, и вся их теперешняя совместная жизнь была для них как один радостный звук, за которым они не могли слышать ничего другого.

Иногда, как и прежде, Лукин справлялся, как ремонтировалась выделенная ему горисполкомом квартира, ездил смотреть ее и высказывал пожелания, что еще следовало бы доделать в ней, но не торопил строителей. Почувствовав во время очередного разговора с женой беспокойство в ее голосе, он в первую же после этого разговора субботу поехал к ней и весь воскресный день провел с семьей, подчеркнуто внимательно относясь к дочерям и Зине, как это обычно бывает с людьми виноватыми и желающими загладить вину, и на вопрос Зины, что с ним, не задумываясь, ответил, что весел потому, что давно не видел их, рад им и любит их. И это так правдиво получилось у него, что, если бы он и в самом деле любил их, не мог бы выглядеть более искренним, чем то, как выглядел теперь. Он вернулся в Мценск с тем настроением, что все было как будто улажено у него и не было причин для волнений. Он видел, что и в райкоме тоже как будто все шло хорошо: созывались бюро, заслушивались вопросы, принимались решения, и он был активен, смел, требователен, и люди тянулись к нему и слушали его. Но по той истине — по той простой и распространенной среди народа поговорке, что шила в мешке не утаишь, связь его с Галиной, то есть то самое, что хотелось Лукину, чтобы скрыто было от людей,— связь эта не могла оставаться тайной. Через неделю уже весь подъезд в доме говорил о ней, и через Шуру все было передано Ксении и Степаниде в Поляновку и Илье Никаноровичу, который в тот же день, решив по-родственному поговорить с Лукиным, так разволновался, что был отвезен в больницу и уложен в ней. Слух об этой связи Лукина непременно должен был дойти и до Зины, а в райкоме члены бюро уже начали поговаривать между собой, что надо бы остановить первого, и заговорщицкое настроение их невольно передавалось Лукину. Но он понял, отчего происходило это заговорщицкое настроение их, только после того, как заметил, что Борисенков как будто следил за ним, появляясь у подъезда как раз в тот

утренний час, когда Лукин выходил от Галины. «Зачем он здесь? Что ему надо?» — раздраженно думал Лукин. Но разгадать, что было нужно Борисенкову, было так нетрудно, что весь рабочий день у Лукина бывал после такой встречи испорчен, и вечером с Галиной он уже только притворялся, что был счастлив с ней, тогда как мысль, что он должен будет расплачиваться за это свое счастье, мысль эта ни на минуту не покидала его. Он чувствовал, что он так усложнил себе жизнь, что как о чем-то недосягаемо светлом думал теперь о тех днях, когда не встречался с Галиной и было у него легко, правдиво и честно на душе.

Самым мучительным было для него сознавать, что он вынужден будет с позором уйти из райкома; что те самые люди, которые так аплодировали ему, когда избирали его, которых он каждый день принимал теперь в кабинете и которые, он чувствовал, готовы были сейчас же выполнить любое его указание,— люди эти будут заслушивать его дело, и надо будет смотреть им в глаза и отвечать им; он так ясно представил всю эту унизительную для себя процедуру, что невольно что-то будто тяжелое, злое накапливалось в нем и поднималось против Галины. Он уходил от нее рано, когда она еще бывала в постели. По-девичьи боязливо подтянув к подбородку одеяло, но так, что круглые женские плечи ее с бретельками от рубашки были все на виду, она обычно следила, как он повязывал галстук, надевал пиджак, и затем подставляла щеку, когда он, уходя, целовал ее. Но он уже не уносил с собой (как это бывало в первые недели) ни запаха ее волос, ни белизны ее тела, ни тепла ее постели, так радостно возбуждавших в нем чувство близости с ней; он как бы просыпался теперь ото сна, в какой добровольно погрузил себя, чтобы испытать то прекрасное, что хотелось испытать ему; но, увидев, что прекрасным было все только издали, но что вблизи все это были только обязанности, сковывавшие его, он искал теперь, как ему было выйти из этого положения. «То, что я мог сделать для деревни, что знал, что было продумано мной, не будет теперь выполнено»,— думал он. Он готов был отказаться от Зины, от дочерей, от Галины и Юрия; от всего, что представлялось сейчас лишним и ненужным ему; но лишиться работы, на которой так хотелось ему проявить себя, было для него все равно что лишиться жизни, и он болезненно переживал это.

Днем, когда он не видел Галину, ему казалось, что он легко может порвать с ней, и он то и дело, как магнитофонную кассету, мысленно прокручивал предстоящий разговор с ней об этом; но вечером, когда приходил к ней, вся решимость сейчас же исчезала, он чувствовал, что не может поступить с ней так, как надо бы, считал он, поступить, и все более лишь ставил себя в положение человека, которому после каждого сделанного шага добавляли на плечи новый груз. Лукин пригибался под этим грузом, но, вместо того чтобы остановиться и сбросить его, продолжал идти и делать то, что было бессмысленно, пагубно, но от чего нельзя было отказаться, так как остановка только приблизила бы развязку, но не облегчила бы ее.

О сыне же было забыто ими, как будто его и вовсе не было у них.

XXI

Но жизнь этого существа, как о нем говорил старый Сухогрудов, жизнь Юрия шла своим чередом, как она могла только идти у брошенного и забытого родителями подростка.

Он требовал присмотра, гла́за, как все дети в его переходном возрасте; но ни в Москве, ни здесь, в Курчавине, не было за ним этого глаза, и тетка Ульяна, никогда не имевшая своих детей и не знавшая потому, как обращаться с ними, делала для Юрия только то, что, ей казалось, было нужно,— ублажала его. Но она любила порассуждать о воспитании и рассуждала об этом важном государственном деле точно так же, как и Галина и те, кто все дурное, проявлявшееся в подростках, спешил сейчас же приписать влиянию времени, общества, улицы и еще всему тому, к чему сами как будто не имели никакого отношения и не могли ничего изменить т а м, и Галине казалось, что Юрий ее был трудновоспитуемым потому, что был заражен идеей сильной личности. Что порочного было заложено в этой идее, она толком не знала; но она часто слышала (из разговоров определенного круга людей, которым всегда надо что-то отрицать и ругать в обществе), что идея эта осуждалась, что было в ней что-то, что отрицательно сказывалось на жизни общества, особенно на детях, от которых, как утверждалось все теми же людьми, нельзя никогда скрывать прав-

ду (хотя что подразумевалось под этим словом, всегда было загадкой; было тем, что каждому должно было казаться — нельзя произносить вслух!), и Галина, ничего не понимавшая во всех этих разговорах, но видевшая, что поступки сына можно отнести на счет этого осуждавшегося общественного явления, Галина с тем чувством правоты, как это делали все другие родители, похожие на нее, с легкостью снимала с себя вину и перекладывала ее на школу и улицу. «Одно хулиганье,— говорила она,— да где же тут вырасти порядочному человеку? Куда смотрят школа, государство? Ведь должен же быть какой-то порядок?!» Она делала то, что в народе имеет определенное название,—перекладывала с больной головы на здоровую, тогда как вся трудность ее заключалась в ней самой и в том образе жизни, какой она вела. Не было ничего запутанного, сложного, связанного с социальной перестройкой общества, а была только та родительская беззаботность, которая во все времена приносила лишь эти плоды душевного уродства, распущенности и грубой, ожесточенной вседозволенности.

Но что было для Юрия — сильная личность и что означало для него — улица?

Пока у Галины с Арсением было согласие и пока Арсений, с охотою усыновивший ее сына, занимался им и следил за ним, все у мальчика и в школе и дома было благополучно. Но как только этого согласия не стало в семье, как только Юрий почувствовал, что мать была занята собой, отец — тоже собой и он, тринадцатилетний школьник, мог тоже бесконтрольно и безнаказанно делать то, что было проще, доступнее и более хотелось делать ему (табуниться с ребятами во дворе, чем учить уроки), он невольно втягивался в эту полную как будто привлекательной свободы, но, по существу, развязности и распущенности дворовую, уличную жизнь. Дурное влияние не приходило откуда-то со стороны и по злому умыслу; оно рождалось у самих же этих подростков, вынужденных, как и Юрий, из-за родительской беспечности днями околачиваться на улице. Подростки эти собирались вместе, и им надо было проявить себя; надо было на что-то тратить время и силу, и они тратили ее на озорство, сходившее им с рук, потом на то, что было уже посерьезнее, было дерзким и непотребным, но именно оттого более привлекательным для них. И с естественностью, как это делают обычно взрослые (и что называ-

ют философией, наукой, подыскивая под всякое свое дело определенное теоретическое обоснование), с той же естественностью, но только не так осознанно, как взрослые, искали подростки, чем бы можно было оправдать свое озорство; и так как понятие об истории и литературе, какое дала им школа, все же было у них и так как самым приемлемым для их проделок было — сильная личность (что к тому же, они слышали, осуждалось как будто взрослыми), было сейчас же подхвачено всей этой бездельно шатавшейся подростковой толпой и провозглашено своим законом и флагом. Прикрываясь понятием сильной личности, можно было кого угодно избить, что угодно украсть, сломать, вырвать телефонную трубку у автомата; можно было делать все, чем можно взять верх, и авторитет каждого из такой толпы был тем выше, чем больше и значительнее проявлялась «сильная личность» в нем. И хотя Юрий не был из числа тех, кто имел этот авторитет, он только тянулся, чтобы заслужить его, но постепенно в детской душе его все ожесточалось, матерело, и окружавшую жизнь (как и жизнь разошедшихся отца и матери) он уже воспринимал только как площадку, с которой можно лишь брать все и не следует ничего класть взамен; надо только стать сильной личностью, к чему как будто и стремился изо дня в день Юрий.

Он бросил школу и по той цепочке, по какой все порочные люди всегда находят друг друга и бывают затем связаны между собой, примкнул к более взрослым, но так же иждивенчески бездомно, как и он, привыкшим проводить время на улице, к той компании людей (что было еще не худшим вариантом), которые, именуя себя грузчиками, не то чтобы работали, но постоянно околачивались возле мебельных магазинов, где можно, услужив на пятак, получить трешку или червонец и сейчас же весело и беззаботно пропить все. Юрий вдруг как бы открыл для себя эту возможность в многолюдной, многомиллионной Москве, как обетованный остров посреди океана, где для жизни было все, что надо было ему; а надо было ему так немного, чтобы только было на что погулять с друзьями, и он весь был нацелен на эту жизнь, где он по-своему имел и «авторитет», и «вес», и «имя». И как ни пыталась Галина оторвать его от этой жизни (от этой компании его), все усилия ее до поездки сюда, к отчиму в Поляновку, не только оказывались безрезультатными, но лишь усугубляли дело, а не исправляли его.

Постепенно, как у большинства подобного рода людей, избирающих для себя этот, в сущности, противоестественный для человеческого достоинства образ жизни, у Юрия выработался тот свой взгляд на будущее, смысл которого заключался в том, что будущее это никак не воспринималось им; он не думал, что с ним будет завтра, послезавтра, год и два спустя, когда он войдет в ту пору зрелости, когда надо будет обзаводиться семьей и жить, как живут все люди; утром, когда он появлялся возле мебельного магазина, все мысли его были только о том, чтобы зашибить трояк или пятерку, а зашибив, сейчас же внимание его сосредоточивалось на том, чтобы купить «столичной» и пристроиться где-нибудь за грудою тары и ящиков и к вечеру хоть как-то добраться домой; вся философия его (несмотря на рассуждения о сильной личности) начиналась и заканчивалась лишь потребностью текущей минуты, и потому, когда его отрывали от этой нацеленности его, он начинал ненавидеть все, что было вокруг, и пускал в ход свои костлявые еще мальчишеские пальцы, стараясь как можно больнее ущипнуть того, кто оказывался рядом. Свое душевное раздражение он превращал в физическую боль для других и испытывал при этом удовлетворение, какое, в чем оно заключалось, объяснить бы не мог, но хорошо чувствовал и понимал, что оно было. Он не боялся ни матери, ни Арсения, которого считал отцом и с которого — он только не знал как — можно было вытягивать деньги; но что вытягивать их было нужно, мысль эта, одобренная дружками, давно уже и навязчиво не давала покоя Юрию.

Он считал нормою жить за счет других и не умел и не хотел работать; и скотник Кузьмич, когда Юрий попал к нему, окрестив своего подручного «вша тунеяцкая», бывалым солдатским умом своим сейчас же разгадал, в чем было зло.

XXII

Исправить же это зло, по деревенским понятиям Кузьмича, можно было только силой, которую он и собирался применить к Юрию.

Но в первые дни, пока еще Галина приходила к сыну, Кузьмич давал возможность отоспаться и окрепнуть ему. «Пущай, че тут, пущай пока»,— снисходительно говорил он. Но при первой же попытке заставить Юрия делать

то серьезное, что положено было делать ему, натолкнулся на такое молчаливое и упорное нежелание, что считавший, что повидал мир (что сломал, как он выражался, такую войну!), Кузьмич вдруг почувствовал себя беспомощным перед этим щуплым, в чем только душа, светловолосым и чуждым ему недеревенскими привычками своими подростком. «Выдрать бы, да и весь бы сказ,— думал он,— так ведь и не выдерешь, не то время. Тут, брат, такая мадама прибежит!» Он представлял, какой крик подняла бы Галина, тронь он хоть пальцем ее сына, и вместо силы, какую хотел применить к нему (и что было единственным, что исцелило бы Юрия), лишь часами высказывал те свои нравоучения, которые только еще более вызывали у Юрия отвращение к деревенской работе и жизни.

— Кто ты есть, вот ты мне че скажи, кто ты есть на земле? — говорил Кузьмич, сидя в тени, дымя сигаретой, издали поглядывая на телят, которых он, поскольку не было указания выпускать их на луг, держал в загоне, и время от времени вскидывая глаза на Юрия.— Ты есть вша тунеяцкая, вот кто ты есть. Ты есть та вша, которую надо р-раз — и к ногтю, а ты еще хлеб жуешь и землю топчешь, которую и топтать-то не положено тебе,— говорил он.— Раньше сызмальства пороли. Может, сызмальства и не надо, но в свой срок — будь добр, подставляй задницу, если хочешь человеком стать. Че смотришь? Че так-то смотришь? Да я же насквозь тебя вижу, да еще и на три аршина под землей. Че в тебе есть, я уже прошел, знаю, а че во мне, придешь и ты к этому, да локоть-то он вот, а укуси попробуй. Слушал бы ты, че старшие-то говорят, — заключал он, обжигая пальцы сигаретой, сплевывая и каблуком прижимая окурок.—Ну, бери вилы, пошли. Бери, бери, пошли, че глаза-то таращить!

Для Кузьмича Юрий был не просто лодырем, но был представителем тех никогда не занимавшихся сельской работой людей, о которых (по дурной и все еще трудно изживавшейся традиции) было у него свое определенное мнение. Ему казалось, что хотя люди эти и были обеспеченнее его, но не имели того умудренного тысячелетним крестьянским трудом понятия о жизни, какое имел он, и он смотрел на них так, как смотрят обычно на погорельцев, у которых из всего, что горбом и потом было накоплено ими за жизнь, только и осталось что рубаха

на теле. «Голыш голышом душой, ни себе радости, ни людям пользы»,— думал он, только больше утверждаясь в этом своем мнении, что все, что отрывается от земли, непременно должно переродиться и засохнуть и что дело не в том, кто как одет (при этих словах он сейчас же вспоминал мать Юрия, Галину), а в том, кто что делает и что потом люди скажут о нем. Сам он представлялся себе безупречным, хотя и упрекали его в колхозе, и было за что; но по тому принципу, что в чужом глазу соломинку разглядел, а в своем и бревна не увидел, Кузьмич был настолько убежден в правоте того, что думал о Юрии и вообще о назначении человека на земле, что все учености, казалось ему, были ничто в сравнении с тем, что знал и понимал он. И превосходство это, так как Юрий не мог ничего ответить ему, нравилось Кузьмичу; ему так нравилось поучать, что, когда Юрия по недостатку рабочих рук решено было отозвать с фермы и перевести на другую работу (на транспорт, как значилось в председательской записке), Кузьмич хотел было пойти в правление и возразить, чтобы не трогали парня, но потом только махнул рукой, что означало, что ему в конце концов все равно, что делается на свете, потому что ума, как он думал, людям не прибавишь.

В эти дни с мценской товарной станции начали возить в Курчавино строительные материалы и оборудование для межколхозного комбикормового завода, и Юрий был послан сопровождающим к машине, выделенной для этих перевозок. Он не то чтобы должен был помогать шоферу, чего, естественно, потребовать от него было нельзя; обязанностью его было только сидеть на прицепе и следить, чтобы ничего не потерялось в дороге, и работа эта, когда никто и ничему не поучал его, была более по душе Юрию. Бóльшую часть времени, пока машина находилась в дороге (да и при погрузке и выгрузке), он был предоставлен сам себе; и он с мучительной тоской думал о тех своих московских возможностях жизни, от которых, как от материнской груди, отняли его.

Здесь, в Курчавине, не было для Юрия того обетованного островка жизни, какой был для него в Москве; здесь было только то, что, по его понятиям, было скукой; было тем, что он глубоко презирал,— работой, работой, от утра и до вечера работой. Деревня днем настолько пустела, что праздношатающихся почти невозможно было встретить в ней. Та небольшая ватага мальчишек, которая на

лугу, за школой, гоняла футбольный мяч, ни с какой стороны не привлекала Юрия; кино и танцы в клубе, куда сходились по вечерам и молодежь и взрослые, были так чужды и непривычны Юрию, что он лишь исподлобья смотрел на всю эту веселившуюся толпу деревенских людей, не понимая ни смысла, ни значения их веселья, и, дичась, не находил, о чем с ними можно было поговорить ему. Он не признавал этой жизни, в которой, впрочем, как и в городской, не все было одинаково благородно и правильно (и где были и свои обетованные островки и свои искатели и жители подобных островков), он признавал только то, что было привычно ему в Москве, где остались у него друзья, сообщники и наставники, и на все деревенское смотрел сквозь призму этого своего восприятия мира. Но, неуютно чувствуя себя в этой чуждой ему среде, он опасался пускать в ход пальцы и не щипал никого и не высказывал никому своих затаенных мыслей. Тетка Ульяна, как только вечером встречала его, сейчас же начинала хлопотать вокруг него, охая и повторяя то и дело, как он устал за день, и Юрий под этим предлогом, что он устал, наевшись всего, что было приготовлено теткой, уединялся, чтобы не слушать никаких нравоучительных разговоров. Еще менее занимался Юрием муж Ульяны. Приходивший из столярной мастерской с гудевшими от работы руками, он только спрашивал (в промежутке между тем, как Ульяна убирала от него тарелку из-под съеденных щей и подавала кашу, залитую маслом): «Племяш-то как там?» — и, чувствуя по ответу жены, что с племяшом все как будто в порядке, и зная по опыту своей крестьянской жизни, что ничто так не исцеляет человека, как сознание необходимости труда на земле (не поработаешь на ней — и не возьмешь с нее, как внушали ему с детства!), он, потягиваясь и позевывая, уходил со спокойной душой и совестью спать, чтобы утром со свежими силами выйти для продолжения своего круга жизни.

— Привыкнет, куда денется,— говорил он о племяннике.— Все, что есть доброго в человеке, земля пробудит, только ты прикоснись к ней.

То, что он говорил, было правильно; но он только не знал одного — что Юрий не прикасался к земле, а скользил по ней, отбывая лишь тот свой срок в деревне, какой, он понимал, мать отвела ему для исправления. Ни синева рассветного неба, ни утренние запахи трав, ни белесо-

вато-зеленые овсы по взгорьям, на которые смотрел он, проезжая мимо них, ни вид речек, деревень, покосов и леса — ничто не трогало Юрия и не вызывало в нем того чувства, что это было красиво, было русской землей с ее тысячелетней и трудной историей; он не понимал и не воспринимал этой красоты жизни, и ему казалось, что не было на земле ничего более достойного и наполненного смыслом, чем те вонючие, заплеванные и загаженные уголки за грудою тары и ящиков, где с привычным бульканьем разливалась по стаканам водка (всем поровну, по мерке: на глаз ли, под ноготь ли, смотря кто брался верховодить) и где все для Юрия было близким, понятным, было тем, что представлялось ему миром свободы и дела. И этот свой заящичный мир, который он ставил выше всего, он не мог и не хотел менять ни на что другое. «Когда-то же надо ей выходить на работу,— думал он о матери.— Уедет она, и я уеду с ней».

Но мать не торопилась возвращаться в Москву; она жила в Мценске и уже не навещала Юрия. Что удерживало ее там, он не знал; но он так тяготился своей деревенской жизнью, что ему все чаще и чаще приходила в голову мысль: а не уехать ли одному, без матери? Особенно мысль эта укреплялась в нем, когда он смотрел (пока грузилась машина) на проносившиеся мимо товарных тупиков пассажирские поезда. Он встречал и провожал эти поезда таким взглядом, словно в них была заключена его жизнь, и в юношеском сознании его постепенно начал вырабатываться план побега. Как будто желая проведать деда, тетку и бабушку, Юрий заехал в Поляновку и, порывшись в материном чемодане, нашел ключ от московской квартиры и взял его. Потом попросил у тетки Ульяны денег взаймы, объяснив ей, что хотел бы кое-что купить для себя в Мценске, и, когда все это было готово, стал поджидать случай, когда удобнее всего будет уехать ему. Он знал, что ни тетки и дед в Поляновке, ни мать в Мценске не подумают о нем и не хватятся его; нужно только отпроситься у бригадира и обмануть Ульяну, сказав ей, что едет к матери, и тогда никто ни в чем не заподозрит его. Но что он будет делать в Москве, Юрий не думал; его тянул только тот заящичный мир с дружками и водкой, где, ему казалось, была настоящая жизнь, и, кроме нее, кроме этого пятна перед собой, он не видел и не желал видеть ничего.

Он торопился, но осуществить свой замысел смог, только когда началась уборка хлебов. Он садился в поезд ранним воскресным утром, бессонно проведя на вокзале ночь, и в то время как на душе не должно было как будто быть беспокойства и он говорил себе: «Да что же, на хлеб не заработаю, что ли? Да уж как-нибудь»,— временами вдруг что-то как будто начинало давить его, и он воровски оглядывался на спавших вокруг пассажиров. Он так и не смог до самой Москвы сомкнуть глаз, и впервые какая-то неясная тревога угнетала его.

XXIII

Несмотря на дела частные, какие всегда происходили и будут происходить в отдельных семьях (у Галины ли с Лукиным, у Наташи и Арсения, у Дементия, Виталины, Дорогомилина, старого Сухогрудова или профессора Лусо и тех, кто так ли, иначе ли связан с их домами и деятельностью), есть общенародная, государственная жизнь, где все частное растворено и подчинено одной общей цели. Цель эта — всеобщее благополучие, и движение к ней лежит через цепь событий, к которым привлекается внимание всех людей. Для москвичей весной этого года событием таким было прибытие с официальным визитом в Советский Союз президента Французской Республики генерала Шарля де Голля.

Мало кто предполагал в те дни, особенно из людей простых, неосведомленных, что этим приглашением французского президента и переговорами с ним на высшем, как писали газеты, уровне закладывалась Советским правительством та, в сущности, новая и долговременная политика дружеских контактов и связей между государствами, которая уже спустя десять лет приведет мир к тому, что в Хельсинки высокими представителями европейских держав, Соединенных Штатов Америки и Канады будет подписан документ необычайной важности для судеб европейских народов — Заключительный Акт по безопасности и сотрудничеству в Европе; и будут наконец окончательно закреплены итоги второй мировой войны и признаны справедливыми и нерушимыми установившиеся между государствами границы. Страдания сотен тысяч людей, еще в окопах, в холоде и голоде мечтавших об этом дне, когда народы и страны поймут, что можно жить в согласии и дружбе, и приближавших этот

день,— страдания эти и надежды как бы сгустятся все в одном хрустально сияющем зале хельсинкского дворца, украшенном флагами, где в лучах осветительных ламп и под прицелами теле- и кинокамер премьеры и президенты, люди, облеченные доверием и властью, важные и торжественные, окруженные каждый притихшей толпой своих доверенных лиц, членов правительств и дипломатов, будут один за другим склоняться над Актом и подписывать его; и в громе аплодисментов, что разразится по окончании церемонии, в том громе ясно будут слышны всем и орудийные раскаты ушедшей уже в прошлое войны, и ежегодно повторяющиеся залпы победных салютов. И народам и государствам останется только прислушаться к этому Акту и выполнить его; останется только внять здравому смыслу и жить в мире и дружбе; но... и ближняя и дальняя история свидетельствует, что в мире немало подписывалось хороших документов и произносилось речей, но являлись затем на свет чингисханы и наполеоны, рождались захватнические идеи, и огромные массы вооруженных людей, разрушая все, то направлялись с востока на запад, то с запада на восток. Как будет теперь? Будет ли извлечен государствами и народами урок? Но... шла еще только весна 1966 года, и идея хельсинкского Заключительного Акта еще лишь зрела в кабинетах Кремля, и встречей с французским президентом делался первый шаг к цели. Те, кому надлежало вести переговоры, представляли всю сложность их; настроение же простых людей, не представлявших этой сложности, было таково, что все ждали положительных результатов и находили, что Франция всегда была традиционно близка к России и что это хорошо, что у французов вновь обнаружился здравый смысл в понимании расстановки сил и взаимоотношений в Европе.

Почти в самый канун прибытия французского президента, 12 июня 1966 года, в стране проходили выборы в Верховный Совет СССР, 9-го, 10-го и 11-го были выслушаны предвыборные речи партийных и государственных руководителей, произнесенные ими в Большом театре и в Кремлевском Дворце съездов перед избирателями, и Москва, еще не успевшая остыть от этих событий и буднично преобразиться, уже 20-го вновь выглядела торжественной и нарядной. К Ленинскому проспекту, по которому должен был проехать правительственный кортеж с генералом Шарлем де Голлем, уже с утра начали сте-

каться москвичи, желавшие поприветствовать высокого гостя, и особенно много народа собралось у Каменного моста, где кортеж сворачивал в Кремль. Здесь было тесно, шумно, и среди этой тесноты, стесняемый с разных сторон теплыми и потными телами, стоял профессор Лусо, радостным лицом своим как бы говоривший всем, что непременно важно увидеть ему французского президента. «Не Наполеон, разумеется, но все же, все же»,— думал он о знаменитом французском генерале. Лусо был более, чем когда-либо, оживлен, был восторженно глуп, и стоявшие за спиной его коллеги по институту, среди которых был и Арсений с женой, только весело улыбались, следя более не за тем, что происходило вокруг, а за своим деканом, и шутили и подсмеивались над ним.

Арсений и Наташа были оттеснены настолько, что ничего не могли видеть, что происходило на дороге; они только чувствовали по тому волнению, какое прокатывалось по толпе и передавалось им, что все вот-вот начнется и что эскорт мотоциклистов и первые машины уже въезжают с улицы Димитрова на перекресток и мост. Но всякий раз волнение это оказывалось ложным, и снова лишь продолжали тянуться длинные минуты ожидания. Никто не знал толком, когда проедет де Голль, и все только суетились и разговаривали об этом.

— Господи, для чего мы пришли сюда? — говорила Наташа, которой не то чтобы не хотелось посмотреть на генерала де Голля и весь правительственный кортеж, который будет проезжать по мосту; все это, она соглашалась, должно было быть интересно; но, видя во всем этом лишь театральную сторону и не понимая главного, чему посвящался визит и что стояло за всей этой необходимой государственной формой торжества, она готова была уйти, чтобы не томиться в духоте, на солнце, среди шумного скопища людей. Она не чувствовала себя здесь первой (что она недавно испытала на вечере у Лусо и что все еще приятно волновало ее) и была теперь недовольна и возмущена.— Что мы стоим? Зачем? Ну, увидим, не увидим — что от этого изменится? — продолжала она.

— Да теперь уж вот-вот, подождем,— возражал ей Арсений.

Он пришел сюда потому, что не мог не пойти, когда шли все; и взял с собой Наташу потому, что не хотел оставлять одну дома. Но признать это было неприятно

Арсению, и он старался убедить себя, что, как и всем, ему тоже для чего-то важно увидеть де Голля. Но что было важным, что он мог увидеть здесь, было так неясно Арсению, что он даже не пытался разобраться в этом; он только чувствовал, что тут было какое-то противоречие, которое не совмещалось с его общим взглядом на жизнь и историю. Он со школьных еще лет твердо усвоил (и сейчас сам учил этому студентов), что история делается не отдельными личностями, а народом; и ему странно было видеть теперь, как тот самый народ, что призван делать историю (и творит ее!), тот самый народ с нетерпением, как на что-то необыкновенное, жаждет взглянуть на де Голля. Вольно или невольно, но людьми, он чувствовал, как бы признавалось то — роль личности,— что, в сущности, отвергалось исторической наукой; и он испытывал неловкость оттого, что он понимал это. Ему точно так же, как и Наташе, неинтересно было стоять здесь и хотелось уйти; но он то и дело упирался взглядом в спину и соломенную шляпу Лусо и думал, что будет, пожалуй, неприлично, если, не дождавшись окончания всего, уйдет отсюда.

Но до окончания было еще далеко; все еще только начиналось, и во Внуковском аэропорту президент Франции генерал Шарль де Голль еще только обходил строй почетного караула, выстроенный на площадке в честь его. Рядом с де Голлем шел Алексей Николаевич Косыгин, а позади них, в дистанции шага, двигались сопровождавшие их военные от французской и советской сторон. Дальше, за спинами этих военных, был виден весь дипломатический корпус, члены правительства, разные политические и общественные деятели, журналисты и радио- и фотокорреспонденты, суетно перемещавшиеся по площадке, без которых невозможно теперь представить никакого торжества. На флагштоках величественно перекатывались крупными волнами державные флаги двух государств, СССР и Франции, и уменьшенные копии этих флагов — полотняные и бумажные флажки — были как бы рассыпаны всюду по толпе людей, пришедших встретить высокого гостя. Объективы теле- и кинокамер и взгляды всех — все было обращено к этим двум, представлявшим каждый свои народы государственным деятелям, которые все еще продвигались вдоль строя почетного караула, и было заметно, что де Голль не торопился закончить церемонию. Всегда думавший только о

величии Франции, как он сам писал о себе, и делавший как будто все, как ему казалось, чтобы восстановить это былое величие, генерал с видимым удовольствием как бы впитывал в себя весь этот почет, предназначавшийся народу его страны. Высокий, худощавый и достаточно еще стройный старик в характерной своей генеральской фуражке, делавшей его еще выше, чем он был на самом деле, с лицом, тщательно и утонченно подгримированным, чтобы не так ясно видна была его старость, де Голль несколько раз останавливался и вглядывался в молодцеватые лица стоявших перед ним солдат. Для чего он делал это, что хотел прочитать в глазах этих деревенских и городских русских парней, надевших (в свой срок) военные мундиры, было неясно; но что генерала явно интересовало что-то, было замечено всеми. «Как приглядывается-то, как приглядывается»,— раздавалось вокруг. «Тайну русского характера все пытаются разгадать, да никак не могут»,— иронически ответил кто-то. Но де Голль не слышал этих слов. Как и многих других крупных государственных деятелей Европы, переживших войну и участвовавших в ней и, несомненно, хорошо знавших, как трудно было противостоять фашистской Германии в то время, его все еще интересовал вопрос: как смогли русские выдержать такую войну и победить в ней? Он чувствовал (несмотря на сознание своего величия и величия Франции), что не он, не Франция, не Черчилль и Англия и иные страны, но только этот народ (эти солдаты, в лица которых он всматривался и которые были для него народом), этот народ направлял и делал историю двадцатого века. Сознавать это было неприятно де Голлю, и он никогда позднее не высказывал этих своих мыслей; но что эти мысли были у него, было так очевидно теперь выражено на его сухощавом, морщинистом и, несмотря на грим, старом лице.

В памяти его, как, впрочем, и большинства тех, кто встречал теперь генерала и должен был вести переговоры с ним, было еще свежо впечатление, когда он в первый раз приезжал в Советский Союз. Было это в дни войны. Стараясь утвердить себя и Францию как равную среди стран коалиции, боровшихся с фашизмом, и не находя нужного понимания и поддержки у ближайших своих партнеров — Англии и Соединенных Штатов, — де Голль принужден был обратиться к Москве за содейст-

вием и помощью. Ему, пытавшемуся тогда возглавить Сопротивление, но, в сущности, не признававшему того главного, что делалось французскими коммунистами, ему мучительно было принять это решение. Но он не думал теперь о тех подробностях, какие заставили его тогда приехать в Москву к Сталину; и как что-то тяжелое, серое, каменно давящее, в чем он тоже не хотел разбираться теперь, хранилось в его душе воспоминание о залитой дождями холодной осенней Москве той военной поры. Он, по существу, и не видел ее; он смотрел на нее лишь сквозь дождливо-запотевшее окно отведенного ему кабинета, и вид, какой открывался ему,— крыши столпившихся в сумерках зданий незнакомого, чужого города — вид этот не располагал к легким мыслям. Мрачный, со скрещенными на груди руками (в той позе, как, по описаниям, смотрел Наполеон из Кремля на сожженную им Москву), де Голль попросил, чтобы никто в эти минуты не входил к нему. Его занимал вопрос: как он, привыкший хладнокровием и логикой брать любые политические барьеры, не мог в полной мере добиться того (выгод для Франции), что, он полагал, можно было добиться ему здесь, в Москве? Он видел, что в разговорах со Сталиным он столкнулся с таким хладнокровием и такой логикой, как будто столкнулся со всем огромным пространством России и населяющими ее народами; и он многие годы затем пытался понять и объяснить себе это. И хотя теперь Сталина уже не было в живых и документы, которые после теперешних переговоров предстояло подписать де Голлю, были почти все предварительно согласованы в различных дипломатических инстанциях, сознание, что противостоять ему на этих переговорах будет еще более могущественная, окрепшая Россия, волновало французского генерала. Он старался скрыть волнение; но он не мог сделать этого ни в минуты, когда исполнялись гимны Франции и СССР, ни когда принимал рапорт начальника почетного караула, ни позднее, когда, прочитав перед микрофонами и телекамерами приветственную речь, садился в машину, чтобы проследовать по весело вышедшей встретить его Москве.

За кольцевой дорогой, как только кортеж пересек ее и въехал в Москву, по обе стороны шоссе, чем ближе к центру подвигалась колонна, тем больше было видно людей и флагов. Торжественность эта размягчала де Гол-

ля, и он (он ехал вместе с Алексеем Николаевичем Косыгиным в открытой машине) то и дело поворачивал то вправо, то влево свою старчески красивую, гордую голову и, с улыбкой наклоняя ее, приветствовал москвичей. И по толпе сейчас же возникало ответное движение, сопровождавшееся различными приветственными возгласами и пожеланиями.

— Е-едут! Е-е-дут! — катилось впереди эскорта и колонны.

Когда же крики эти в очередной раз всколыхнули людей, стоявших вокруг Лусо, когда то, что так хотелось увидеть профессору,— машина с Шарлем де Голлем уже въезжала на мост и надо было быть в первом ряду встречающих,— Лусо вдруг заметил, что он был (как и Наташа с Арсением) оттеснен и затерт в общей массе напиравших отовсюду и сжимавших его людей. Мгновенно сообразив, что так можно прозевать все, он энергично принялся работать локтями, забыв о возрасте и положении, и когда наконец потный, растрепанный, с красным лицом и развернутою на голове шляпой вырвался в переднюю шеренгу, машина с де Голлем была прямо напротив него.

— Viva! Viva! — сейчас же закричал Лусо, стараясь для чего-то выказать то французское, что, казалось ему, всегда жило в нем; и он так смотрел при этом на де Голля, как будто видел перед собой Наполеона.— Viva! Viva! — еще громче закричал он, совершенно высовываясь из-за плеча дружинника, чтобы обратить на себя внимание де Голля.

Но в то время как за шумом толпы де Голль не слышал ничего, эти странно патриотические выкрики удивили и рассмешили тех, кто был рядом с Лусо. Он почувствовал это и, повернувшись, сейчас же понял, чему улыбались люди.

— Viva, черт побери,— тут же произнес он, уже невольно выражая теперь то русское, что сидело в нем и было в делах и поступках.— Чертов старик! — Он еще недовольно скосил глаза на машину с де Голлем, чувствуя уже настроение толпы.— Даже головы не повернул.— И, переведя все на шутку, Лусо принялся поправлять на себе галстук и шляпу.

Хвост дипломатических машин еще перекатывался по мосту, когда все начали расходиться по своим делам.

XXIV

Утром 21-го в Кремле начались переговоры с французским президентом. Во второй половине дня де Голль знакомился с Москвой, а вечером был с супругой в Большом театре на балете Прокофьева «Ромео и Джульетта».

Но еще за неделю до этого события в деканате исторического факультета кто-то предложил (в порядке культурного мероприятия) коллективно сходить в Большой театр. Так как попасть в любой московский театр для москвича проблема, предложение было принято; был тут же подключен к делу — к добыванию билетов! — местком, и 21-го, как раз в этот день, когда на спектакле должны были быть де Голль с супругой, по совпадению, которое, впрочем, никому не казалось странным, почти все преподаватели исторического факультета вместе с Игорем Константиновичем Лусо были в театре.

Здесь оказались все те (кроме Дружниковых и Тимонина, уехавшего в колхоз освещать сенокос), кто был на вечере у Игоря Константиновича, и Наташа, как только вместе с Арсением вошла в фойе, сейчас же почувствовала (по тем приветливым улыбкам, как она была встречена этими уже знакомыми ей людьми), что весь тот понравившийся ей вечер у Лусо был теперь как бы перенесен сюда и продолжался здесь.

— Как это прекрасно, что вы пришли, как мило, Арсений, с вашей стороны, что вы привели ее,— подойдя к Наташе и Арсению, проговорила Мария Павловна в той своей подражательной манере, как должны были, по мнению ее, говорить между собою люди, представлявшие во все времена цвет общества.— Нет, нет, я не могу равнодушно смотреть на ваше платье, оно ослепительно, оно чудесно! — Заметно отечное, старое лицо Марии Павловны приятно улыбалось, и она не столько смотрела, сколько старалась показать, что смотрит на платье Наташи и любуется им. Как и на вечере у Лусо, Марии Павловне надо было теперь чем-то занять себя, и самым лучшим, казалось ей, было для нее взять покровительство над молодой женой Арсения и руководить ею.

Наташа, не ожидавшая, что так много знакомых встретит здесь, была в том же наряде (и с тою же прической, открывавшей ее маленькие красивые уши), как она была у Лусо, и в первые минуты она испытывала

чувство неловкости оттого, что все могли подумать, что кроме этого платья, что на ней, у нее не было больше ничего другого, в чем бы еще она могла появиться здесь. Но беспокойство это, как только Мария Павловна заговорила с ней, сейчас же прошло у Наташи. Она с живостью заметила, что снова на всех производила впечатление, и перед глазами ее, как перед глазами всякого счастливо чувствующего себя человека, постепенно начала подниматься та дымка розового тумана, сквозь которую невозможно было увидеть ничего дурного (увидеть все таким, какое оно есть на самом деле), и мир, и жизнь, и новые знакомые Наташи — все представлялось ей прекрасным, полным достоинства, ума и блеска. Но она и в самом деле выглядела очаровательной в своем безукоризненно сшитом (густого вишневого тона) платье, которое было изящно и строго на ней и оживлялось лишь драгоценными дополнениями — сережками с красными рубинами и кольцом на руке с точно таким же камнем, как будто сыпавшим искорками при свете высоких хрустальных люстр. Но, кроме того, вокруг Наташи было теперь больше пространства, она была более на виду и потому смотрелась лучше, чем в комнатах на вечере у Лусо.

— Вы находите? — спросила она у Марии Павловны, отвечая на ее восхищение.

— Ну что вы, поверьте мне, — подтвердила Мария Павловна, беря Наташу под руку.— Вашему мужу можно только позавидовать.— И она повела Наташу по кругу, продолжая, но уже неслышно для Арсения, говорить с ней.

То, что Наташа была красива в этом своем наряде; то, что она производила на всех впечатление и к ней подходили и улыбались ей; то, что самому Арсению всегда нравилось в ней — ее умение держаться и говорить,— складывалось теперь в нем в одно счастливое понятие, что он дал ей возможность быть такой. И он был рад, что он мог для нее сделать это. Ее природная красота и красота, стоившая ему денег, которые он не задумываясь тратил на нее,— все это, сложенное вместе, как раз и составляло для него ту бесценную ценность, какою он обладал. И ценность эта была так дорога ему, что когда теперь Наташа вместе с Марией Павловной отходили от него, он смотрел на жену с тем беспокойством, как будто ее хотели отнять у него. «Может быть, я рев-

ную ее? — подумал он.— Но к кому? Да и глупо и нехорошо это». Но вместе с тем, как только Мария Павловна и Наташа слились с общей толпой вращавшихся вокруг центра людей, своими маленькими, круглыми и бесцветными, как они выглядели за толстыми стеклами очков, глазами Арсений торопливо принялся искать среди этой толпы того молодого человека с густыми и модно подбритыми висками — племянника профессора Лусо, который т а м, на вечере, то и дело странно оказывался возле Наташи. Арсений искал глазами Тимонина, о котором имел то свое определенное мнение, что считал его человеком дурным и опасным; и тем неприятнее было теперь думать, что этот профессорский племянник (этот человек с дурными намерениями) мог сейчас снова стоять рядом с его женой. «Нет, нет, зачем же я отпустил ее? Ей тоже должно быть неприятно э т о, надо пойти к ней и помочь ей»,— продолжал думать он, отыскивая уже глазами Марию Павловну и Наташу. Он чувствовал, что в новую его жизнь (в его жизнь с Наташей) как будто вклинивалось что-то, что воспринималось им как роковая сила, заставившая когда-то отца его залезть под полку-нары; и точно так же, как он боялся всю жизнь этой силы и не знал, как противостоять ей, он еще больше боялся ее теперь; он не представлял, как и откуда возникала эта сила и с какой стороны могла придавить его; но он ясно пока видел, что сила эта была в Тимонине, и, невольно опять начиная искать его глазами, морщился от сознания, что сейчас увидит его. Он не знал, что Тимонина не было в театре, что он был далеко от Москвы, на пойменных лугах Мокши; но вечер для Арсения был уже испорчен этим — что он опасался каждую минуту увидеть его.

По мере того как подходили сослуживцы и друзья профессора Лусо, в фойе театра, в левой стороне его, постепенно составлялся из этих людей как бы свой островок жизни. Островок этот, в свою очередь, был разбит на две половины, в одной из которых были женщины, хорошо знавшие друг друга и любившие поговорить между собой, а в другой — мужчины, которых обычно не упрекают в том, что они любят поговорить, но которые (в этом отношении) отличались теперь от своих дам только тем, что касались высоких материй. У женщин в центре кружка была жена доцента Мещерякова Надежда Аркадьевна — женщина еще довольно молодая, обес-

печенная и завистливая, она ясно давала понять всем, что бросает вызов Наташе и готова соперничать с ней. По манере одеваться, по вкусу к жизни, по тому, что муж ее считался в институте западником, то есть человеком передовых в ее понимании взглядов, чем она гордилась и что исповедовала сама, приобретая в дом и на себя только все заграничное, и еще по тому, как умела подать себя, она невольно признавалась первой среди всего этого знакомого ей круга женщин. Но на вечере у Лусо она вдруг увидела, что у нее появилась соперница — Наташа. Что было привлекательного в этой «выскочке», как Надежда Аркадьевна сейчас же мысленно окрестила ее, и отчего к ней потянулись люди, она не знала; но здесь, в театре, словно предчувствуя, что снова увидит Наташу, Надежда Аркадьевна приготовилась к тому, чтобы на этот раз не остаться в тени. То платье, какое было на ней, было ярче и дороже, чем то, какое было на Наташе, и все должны были видеть это; оно было модного серого с густым фиолетовым оттенком цвета; было с блестками и вырезом, почти до плеч оголявшим ее полную шею, было вечерним и стоило денег; но, несмотря на всю эту свою стоимость, сколько было затрачено на него, оно было так заметно, что его нельзя было надеть дважды. Но в этом-то как раз и заключался весь смысл для Надежды Аркадьевны, что она могла позволить себе это. На грудь и платье спускалась удлиненная ниточка жемчуга, что тоже говорило о достатке; пальцы ее были в перстнях, и маленькая театральная сумочка тоже отражала весь тот блеск, которым все было как будто заполнено в ней и вокруг нее. У нее было это богатство, и ей казалось, что она затмевала Наташу. Но у Наташи было свое богатство — молодость, которую нельзя было затмить жемчугами; и потому она не только не замечала, что кто-то соперничает с ней, но была так счастлива и так далека от этого, что все вокруг представлялось ей добрым, милым и расположенным к ней.

— Я так рада видеть вас,— сказала Наташа Мещеряковой, когда Мария Павловна подвела ее к ней.— Да, да, только это можно сказать о вашем платье,— затем подтвердила она, когда Мария Павловна, только что хвалившая платье Наташи, начала восторгаться нарядом Мещеряковой.— И вам оно очень к лицу с вашими темными волосами,— продолжала Наташа просто и ес-

тественно, как с подругою на работе, обезоруживая, в сущности, Мещерякову и отдавая ей как будто то первенство, какого та добивалась, но еще более выигрывая его как раз этой своей простотой и естественностью, от чего здесь давно уже отвыкли все, но умели еще ценить в других.

«Как тонко играет»,— думала Мещерякова, глядя на Наташу, вынужденно улыбаясь и скрывая за этой улыбкой все то нехорошее, что поднималось в ней. В ней поднималось то жестокое чувство, когда ей оскорбительно было не только то, что Наташа посмела появиться в этом обществе и соперничать с ней, но что Наташа вообще существовала в жизни. «Надо поставить ее на место, да, да, я сумею сделать это»,— говорила она себе, продолжая улыбаться и жестко, несовместимо с этой улыбкою смотреть на Наташу.

Но Наташа, приобретавшая себе врага в Мещеряковой, не только не думала (по наивности и доброте, с какою сама воспринимала всех этих окружавших ее людей), что кто-то мог затаить против нее что-то нехорошее, и не только не предпринимала ничего, чтобы оградить себя от этого зла, но со счастливым выражением продолжала усугублять дело. Розовый туман, стоявший перед ее глазами от ее счастливого возбуждения, не давал ей видеть то, что она должна была видеть; и до конца вечера она так и оставалась в счастливом неведении того, что задумывалось против нее и рано ли, поздно ли, но должно было больно уколоть ее.

В центре кружка мужчин, как и положено было быть, стоял доцент Карнаухов, сейчас же выделявшийся среди всех утонченно-интеллигентным видом своим. Против того, как он был на вечере у Лусо, он был только в другом галстуке, более темном и более подходившем к тонким и черным линиям его бакенбард. Он держал вечерний выпуск «Известий» и возмущенно говорил что-то. Его всегдашний противник, доцент Мещеряков, стоял тут же, но не вступал в разговор. То, что он всегда решительно отстаивал в институте (или в кругу знакомых) и что было для Мещерякова принципиально важным, имевшим научную, как ему казалось, основу, он не позволял себе открыто отстаивать на людях, где, он чувствовал, он не мог быть понят и поддержан; но он все преподносил так, словно не хотел ставить себя в положение человека, выносящего сор из избы (тот сор, по которому

сейчас же можно определить, что происходит в избе), и выдвигал это как правило игры, которому невольно подчинялся и Карнаухов. Они были теперь как будто совсем другими людьми по отношению друг к другу, чем были на вечере у Лусо; но на гладком и полном лице Мещерякова нет-нет и возникала усмешка, какою он все же не мог не комментировать то, что говорил Карнаухов.

Когда Арсений подошел к ним, разговор был в разгаре. Карнаухов только что прочитал опубликованный в газете отчет о пребывании де Голля в Москве и переговорах с ним и был возмущен речью французского президента, произнесенной им на встрече с Промысловым после знакомства с Москвой.

— Ведь ему, в сущности, показали лучшее, что у нас есть,— возмущенно говорил Карнаухов, высказывая то, что он действительно думал и что в речи де Голля было неприемлемо для него; но утонченным видом своим он опять производил то впечатление, будто подделывался под простонародное мнение (что осуждалось, но что было модно среди определенного круга людей), и все потому с недоверием слушали его.— Я могу признать, что он умен, да я и признаю это,— говорил Карнаухов.— Но, позволь, хоть ты и генерал и француз, но и нас не считай за дураков. Едут-то они все как будто с улыбкой, а без того, чтобы не уколоть, нет, без этого не могут. Арсений, Арсений, ну-ка, ты человек нейтральный, — сказал Карнаухов, чуть оглянувшись на Мещерякова, как будто нарушал правило игры.— Ты человек справедливый,— поправился он,— так вот послушай и скажи свое мнение. Вот, слушай.— И, развернув газету, Карнаухов уже во второй раз принялся читать: — «Я пришел к выводу, что Париж и Москва стоят перед одной и той же проблемой — улучшения благосостояния человека, как Франция и Россия стоят перед одной и той же проблемой — проблемой мира». Ну, каково? — спросил он, закончив читать и отстраняя от себя газету.— Как тебе этот де Голль? А ведь ему показали лучшее, что есть в Москве!

Арсений пожал плечами, потому что ему трудно было перейти от тех своих личных мыслей, какие занимали его, к этим общим, какие занимали Карнаухова.

— Я так не могу, надо прочитать все,— наконец проговорил он.

— А все можно не читать. Главное здесь, в этой фразе: «Я пришел к выводу...» Он пришел к выводу, побы-

вав на Ленинских горах, в МГУ, на Ломоносовском, Комсомольском, Кутузовском проспектах, на Красной площади!

— Но в целом-то мысль его верна,— заметил кто-то стоявший за спиной Карнаухова.— Благосостояние надо улучшать, что же тут плохого, и за мир надо бороться. Все, что он предлагает, все правильно.

— Правильно! Нам подложили мину, нас, как говорится, мордой, мордой... а нам все правильно! Одного я никак не могу понять, — обращаясь уже только к Арсению, заговорил Карнаухов,— как это мы, русские люди, глухи к слову? Бегло прочитать — все вроде правильно и даже пафосно, как тут не ударить в ладоши. А ведь он, в сущности, прямо говорит нам, что нам нечем гордиться. Он перечеркнул наши достижения, нашу жизнь и сделал это, видите ли, с таким французским изяществом, что мы должны не иначе как аплодировать. Но что касается меня, нет, я аплодировать этому не собираюсь. Пусть разберется у себя в Париже, а нас нечего поучать, мы тут у себя как-нибудь сами поймем что и к чему.

— Я думаю, ты преувеличиваешь,— сказал Арсений, произнеся эту фразу, потому, что он всегда произносил ее Карнаухову.

— Нет, позволь! «Я пришел к выводу...» Как это понимать? Видите ли, он «пришел к выводу...», но к какому?

— Ты преувеличиваешь.

— Ну, конечно, я преувеличиваю, конечно, нам непременно надо, чтобы нас кто-нибудь поучал, унижал и чтобы непременно заморский, заграничный, и мы с вожделением готовы смотреть ему в рот.

— Пошли, все уже входят,— сказал Арсений, перебивая его.

— Что? Третий звонок? — Карнаухов всполошенно оглянулся на опустевшее уже фойе.— Да, да, пошли, а то дамы наши... Но, я этого понять не смогу, ты представляешь...— И он снова, пока входили в партер, в третий раз повторил Арсению то, что не устраивало его в речи де Голля.

XXV

Еще не приглушался свет люстр и на балконах и в партере слышалось шуршание платьев и костюмов уса-

живавшихся людей, когда вдруг как будто что-то прокатилось по залу, и все, полуобернувшись, стали смотреть в противоположную от сцены сторону. Повернулся и Арсений, плотнее придвинув к глазам свои тяжелые (с толстыми стеклами) роговые очки, чтобы лучше видеть, и в это время в центральной ложе, украшенной государственными флагами СССР и Франции, появились де Голль и Косыгин, пропускавшие впереди себя жен.

Выглядевший особенно моложавым и свежим, де Голль легким движением руки и улыбкой поприветствовал зал. Он был удовлетворен тем, как начались переговоры, был доволен осмотром Москвы и речью, произнесенной в исполкоме Моссовета, которая составлялась в Париже и произвела здесь, в Москве, то нужное, как ему казалось, впечатление, какого он ждал и добивался от нее; он был доволен всем, как складывалась его поездка, и когда зал, поднявшись, зааплодировал ему и Косыгину, с тем сознанием величия, словно аплодировали только ему, де Голль поклонился на три стороны и затем, как будто подчиняясь воле людей, стоя продолжал смотреть в зал перед собой. Он был не в Париже, и тем приятнее была ему эта людская признательность, какою московская публика одаривала его. Жизнь его была на исходе, но он чувствовал, что он был на вершине своей трудной славы, и он оттуда, с высоты, спокойно как будто и величественно смотрел, как жизнь, точно так же, как она плескалась перед ним в молодости, весело, заманчиво и шумно плескалась теперь вокруг него. Мог ли он отдать свою славу, чтобы юношей вновь войти в эту жизнь? Нет, он не ставил перед собою так вопрос; слава его была слишком дорога ему, но те, кто наблюдал за ним сквозь стекла биноклей, видели, что глаза его были полны тревоги, той, старческой, за которой сейчас же прочитывается, что всякому страшно покидать этот мир надежд и волнений.

Зал еще продолжал аплодировать, когда в центральной ложе вслед за Косыгиным и де Голлем появились министры иностранных дел СССР и Франции, другие члены правительств, послы, дипломаты, среди которых был и Кудасов.

— А вон и Кудасов наш,— сказал Лусо как можно спокойнее, помня еще то свое «viva», как он кричал из толпы де Голлю, и не желая больше ставить себя в это смешное и ложное положение.— Вон он, наш Кудасов,

вон, видите? — повторил он, невольно передавая направо и налево по ряду, где сидели его сослуживцы и друзья, свое радостное возбуждение.

— Разумеется, он! Он, конечно же! — кто-то сейчас же поддержал профессора.

— Этот человек спас Эльзу Триоле.

— Что Эльза, когда он... рядом с де Голлем!

— Работает. Мы смотрим, а он — работает...

Арсений слышал, как фразы эти, словно звуки от ударов по клавишам, возникали вокруг него. Но мелодии, какую они должны были составлять, то есть той общей мысли, какой были бы подчинены эти фразы, уловить не мог и потому видел все иными, чем Лусо и остальные, глазами. Арсения занимали свои проблемы, решение которых никак не зависело от того, увидит он или не увидит сейчас де Голля, и он понимал это. Он понимал, что он был в театре, что театр — не жизнь, а лишь условное представление ее и что потому все, что происходит здесь, все условно и имеет только ту цель, чтобы всей этой сияющей позолотой, хрусталем и бархатом заслонить от людей их настоящую жизнь. «Ну что, что Кудасов там? — было в сознании Арсения.— Разве он может что-нибудь изменить в том деле (выдаче ордеров на квартиры), которое важно для меня? Разве он может взять за руку Тимонина и остановить его в его дурных намерениях? Нет, у него свои заботы, и то, что он решает там, не изменит ничего для меня здесь. Так чем же я должен восторгаться? Чем?» И он беспокойно пробегал взглядом по рядам в поисках Тимонина. «Нет, нет, я должен видеть его»,— говорил он себе, чувствуя, что его как будто хотят втянуть в эту условную жизнь (в то состояние, когда он должен будет забыть о своих проблемах и жить только этой минутой торжества, блеска и радости), и противясь этому; и то, что всем другим представлялось теперь целостным, что было соединено для всех в одном ясном выражении — атмосфера театра! — для Арсения было разделено на части и оттого казалось бессмысленным; он видел не здание, а кирпичи, снятые с его стен, и только пожимал плечами, не находя ничего прекрасного и возвышенного в них.

С тех пор, как он принял к себе Наташу, он не только не стал спокойнее, не только не убавилось, как ожидал, забот у него, но, напротив, их было теперь столько, что он никак не мог собрать их воедино, чтобы осмыс-

лить свое новое положение. Та чистота жизни, о какой он мечтал, связывая ее со своей женитьбой на Наташе,— та грезившаяся ему чистота, он видел, была так же отдалена от него теперь, как была отдалена раньше; и это, в чем он каждый день убеждал себя (что жизнь его изменилась и что он уже живет новой жизнью), было лишь как старый костюм, принесенный из чистки. Но Арсений не позволял себе признать это; он только думал, что могло быть так, и лишь чуть притрагивался к краю занавески, за которой скрывалось все, но сейчас же отдергивал руку; и, чувствуя затем себя виноватым, что хотел подсмотреть, был еще мягче, нежнее и доверчивее к Наташе. Он оберегал ее от своих сомнений и, несмотря на все теперешнее свое беспокойство, был так же подчеркнуто нежен к ней и готов был выполнить любое ее желание.

— Ты видишь Кудасова? Вон, справа от де Голля, в глубине, — сознавая, что надо что-то сказать Наташе, восторженно смотревшей туда, куда смотрели все (на де Голля и его супругу), сказал он.— Вон, во-он в глубине.

— Кудасов? — переспросила Наташа.

— Да.

— Кто он?

— Ну, помнишь на вечере у Лусо...

— Там де Голль! Де Голль!—торопливо перебила его Наташа, очарованная тем, чем были очарованы все.

Почти сразу же после аплодисментов были исполнены государственные гимны, и затем, когда публика вновь уселась на своих местах, началось представление. Дирижировал в спектакле Рождественский, в главных ролях были Стручкова и Лиепа. Но фамилии эти ничего не говорили Арсению. Будучи москвичом и человеком интеллигентным, он как будто должен был быть и театралом; но он не любил театра и не выносил в нем прежде всего этой условности жизни, какую обостренно чувствовал теперь. Те очищенные страсти, какие преподносились ему со сцены (как луковица перед тем, как употребить ее), он видел, никоим образом не могли быть жизнью; преувеличенные или преуменьшенные, они казались Арсению уродством, какого он принять не мог, и по этому отношению своему к театру не запоминал ни артистов, ни дирижеров, представлявшихся ему на одно лицо. «Да, да, лишь блеклое отражение»,— думал он теперь, в то время как тяжелый бархатный занавес, медленно раз-

двигавшийся под звуки музыки, открывал перед ним ту нереальную, сказочную красоту неба, земли и всей плазменно насыщенной блнками атмосферы сцены, где должны были разгореться столь же нереальные страсти, выражаемые изгибами полуоголенных тел, прыжками, перемещениями, взмахами рук, ног, головы, то покорно бросаемой на грудь, то в ужасе откидываемой на спину. Все это были иероглифы, по которым публике предлагалось понять, что и в какую минуту переживало то или иное действующее лицо; ей предлагалось войти в этот мир разыгрывавшихся страстей, чтобы, постигая их, очищаться ими, и по напряженным лицам мужчин и женщин (как все смотрели на сцену), по той застывшей как будто тишине в рядах (как все слушали музыку) можно было, если бы Арсений со стороны посмотрел на все, сделать лишь тот вывод, что между публикой, артистами и музыкой было то простое и возвышенное, что в эти мгновенья объединяло их. Но для Арсения единства этого не было; то чувство любви, какое он испытывал к Наташе, казалось ему, было совсем иным, чем то, какое испытывали на сцене Ромео и Джульетта; Арсению казалось, что его чувство к Наташе сейчас же потерялось бы и исчезло, если бы он стал выражать его прыжками, как это делал Ромео, и точно так же исчезло бы и чувство Наташи к нему, если бы она вместо обычной, нормальной жизни с ним вдруг принялась бы кружиться перед ним на одной ноге и заламывать руки. «Нет, все в жизни не так, все проще, правдивее и глубже»,— думал он, с тяжелым безразличием глядя на сцену. Он опять видел не здание, а лишь кирпичи с его стен, и они не производили на него впечатления. Зал, музыка, плазменное свечение сцены и балерина, порхающая в этом свечении,— все было разъединено для Арсения и жило отдельной жизнью; и, вместо того, чтобы объединить все, он лишь еще более расчленял все на части, на отдельные положения человеческих тел, из которых, как ему казалось, как раз и состояло все искусство балета. «Да, да, тридцать три буквы — и бесчисленное разнообразие слов,— думал он.— Сорок, пятьдесят известных положений тел (известных фигур) — и бесконечная лента балета. Новизны нет, есть только изменение последовательности! Да, да, все в этом — только изменение последовательности!» И мысль эта, что в балете нет новизны, волновала Арсения тем, что хотя и отдаленно, но

напоминала ему, что точно так же и в жизни,— никакой новизны не было для него в том, что он женился на Наташе.

«Та же потребность — побогаче одеться; та же забывчивость (к мужу!), что я сотни раз наблюдал в Галине; все, все точно то же, что было, и моя жизнь, ее, другого, третьего — все есть только вариант известных человеческих отношений. Недиалектично, знаю, но так»,— думал он, в то время как на сцене он замечал только, что поминутно то убывало, то прибывало количество прыгающих балерин. И как будто в такт этим количественным изменениям Наташа, державшая свою руку в его, вдруг начинала пожимать его пальцы (от волнения, по ходу спектакля возникавшего в ней), и Арсений принужден был отвечать ей точно такими же пожатиями, как будто понимал ее, был согласен с ней и поддерживал ее.

В перерыве его снова подхватил и увел Мещеряков, и досматривал Арсений спектакль с тем мучительным чувством, что не мог дождаться, когда же наконец театральный занавес, сомкнувшись, прервет не столько то плазменно светящееся, что происходило на сцене, сколько эти его тяжелые мысли, от которых хотелось освободиться ему.

— Мне показалось, ты был мрачен вчера,— утром на следующий день сказала ему Наташа.—Все было так прекрасно, но ты был мрачен,— повторила затем, делая ударение на этом слове «мрачен».— Я не могу так, у нас должно быть одинаковое настроение, ты пойми, я тоже начинаю переживать,— сказала она ту неправду, которая теперь казалась ей правдой.— Может быть, тебе плохо со мной?

Та первоначальная цель, для чего Наташа выходила замуж — окружить вниманием и заботой Арсения,— была не то чтобы забыта ею, но была теперь понимаема ею так, что забота и внимание должны были быть не вокруг него, а вокруг нее. И это, казалось ей, было так естественно, так разумелось само собой, что она искренне удивилась бы, если бы ей вдруг сказали, что совсем еще недавно она думала иначе; и она инстинктивно торопилась восстановить сейчас это свое право женщины в доме, без признания которого невозможно бывает никакое семейное счастье.

— Да, я был немного мрачен, но не в тебе дело, нет, ты ничего не думай,— ответил ей Арсений, глядя сквозь толстые стекла очков на нее своими круглыми, маленькими, бесцветными глазами.

— А в чем?

— Все у нас неустроенно, и я ничего не могу поделать.

— Но нас никто не тревожит сейчас, мы одни.

— Сейчас — да, а завтра, послезавтра?

— Завтра и послезавтра — дадут ордер. Дадут же его в конце концов! Нет, я так не могу, когда у нас разное настроение.— И она вновь вернула его к теме, занимавшей ее.

XXVI

Чем больше Наташа осваивалась со своей новой жизнью (со своим замужеством), тем яснее сознавала, что выбор, сделанный ею, был правильным и что счастье, о котором так часто спорят, в чем оно заключается, заключалось для нее теперь именно в этой новизне ее жизни. Она чувствовала, что она как будто из одного слоя общества была перенесена в другой, высший (в круг знакомых Арсения), и слой этот такое произвел на нее впечатление, что вся ее прошлая жизнь (как жили ее мать, отец и как она сама жила вместе с ними), та ее жизнь представлялась ей настолько мелкой и простонародной, что ей страшно иногда становилось оттого, что она могла бы так и остаться на том уровне родительских интересов, главным в которых было не то, что двигало жизнь теперь, а то, что было в прошлом — война, болезненно помнившаяся еще в народе. Все знакомые отца — бывшие его однополчане — были людьми добрыми, и она ничего осудительного не могла сказать о них; но люди, с которыми Наташа встретилась на вечере у Лусо и вместе с которыми затем была в Большом театре,— люди эти были другими, были очаровательными, и она не могла без восторга думать и говорить о них. «Я так счастлива, так счастлива»,— писала она матери после встречи и знакомства с ними; и точно так же, как она не могла сказать, из чего состояло это ее счастье, она не могла написать ничего конкретного, кроме этих общих фраз, выражавших ее настроение.

Чтобы как-то развеять Арсения, она доставала биле-

ты и уводила его в театр, совсем не представляя себе, что это не только не приносило мужу радости или удовлетворения, но, напротив, лишь усложняло ему жизнь. Ему надо было готовиться к лекциям и просматривать курсовые и дипломные работы студентов; надо было продолжать свою докторскую диссертацию, главы из которой были приняты к публикации в историческом журнале; надо было еще и еще делать разные дела по институту, на которые требовалось время; но времени этого у него не было теперь, и он, не желая хоть чем-либо огорчить молодую жену, не говорил ей о своих заботах и только думал, как ему выйти из этого положения. «Да уж получить бы квартиру, что ли»,— мысленно повторял он, связывая с этим свои надежды на будущее.

В первые дни после отъезда Галины с сыном он еще был насторожен и опасался, что они вот-вот вернутся и произойдет что-то; но прошел месяц (и шел уже второй), а их все не было, и Арсений вдруг понял, что они у отчима в Поляновке и что вполне могут до осени пробыть там, и успокоился, подумав о Галине, что хоть в э т о м нашлось еще благородство в ней. «В конце концов я бы мог предложить ей размен, но я целиком оставляю ей свою квартиру»,— решительно сказал он себе.

Но, кроме этих забот по институту и опасений, что с возвращением Галины и Юрия все же может произойти что-то, что отравит ему и Наташе жизнь, и кроме того приступа ревности, возникшего на вечере у Лусо и мучительно повторившегося затем в Большом театре, было еще одно обстоятельство, которое беспокоило Арсения. Он не мог забыть, как отец Наташи, отставной полковник Сергей Иванович, не поговорив с ним, не выслушав его, выгнал из дома, и хотя в конце концов главным для Арсения было то, что Наташа была с ним и что уже ничто не в силах было изменить э т о, но все же сознавать, что родители ее (отец, главное, отец!) не приняли его, было неприятно Арсению. Он понимал, что счастье Наташи, как бы ни утверждала она, что отец не прав и что пока он не признает это и не повинится, она не пойдет к нему, — счастье ее не могло быть полным; что после всех этих первых впечатлений ее замужней жизни наступит день, когда она вдруг остановится, посмотрит вокруг себя и вспомнит об отце; и тогда все покажется ей другим, и разрыв с отцом тяжелым укором ляжет ей на душу. «Как же я могу допустить это? Душа

ее должна быть чиста!» — думал он, живо припоминая, как она плакала, придя с похорон бабушки, где она видела отца, но не подошла к нему и не заговорила с ним, и припоминая, как переживала, не пойдя (хотя он предлагал ей сделать это) на вокзал проводить уезжавших в Мокшу отца с матерью. Он видел и понимал это, и понимал, как важно ему помириться с ее родителями. Но как было сделать это, придумать не мог, и лишь с той же тревогой, как он ожидал возвращения Галины и Юрия, ожидал приезда в Москву и Наташиных родителей — Юлии и Сергея Ивановича.

Что Наташа переписывалась с матерью, он знал. Но он не говорил с ней об этом. Он только чувствовал, что, как грозовые тучи, стягивались над ним в узел житейские проблемы и угнетали его.

XXVII

Хотя принято считать, что Москву и москвичей трудно удивить чем-либо, но вместе с тем в каждой отдельной группе людей, объединенных служебными или личными интересами (особенно в среде литературной, артистической или научной), время от времени вдруг сенсационно объявляется об открытии какого-нибудь очередного гения. И хотя гений затем оказывается человеком вполне заурядным, а то и вовсе ноль без палочки, как потом с разочарованием говорят о нем, но обман обычно быстро забывается и на всякое новое открытие, как на наживку, опять все спешат со своими похвалами и объятиями. Для людей, близких по взглядам к Карнаухову, таким открытием стало имя аспиранта Никитина, который в первых числах августа приехал в Москву, чтобы потолкаться, как сам он определил цель своего визита, по редакциям и пообщаться в определенных кругах с нужными людьми. Рукопись — плод своего многолетнего сидения за столом, — которую он привез с собой и подавал как научное открытие, была в редакциях отвергнута именно в силу того, что не представляла научной ценности; в ней только неуклюже пересказывались широко известные положения о русской иконописной школе; но тот факт, что ее не публиковали, Никитин всюду где только можно было старался представить так, словно в журналах боялись правдивости и остроты, с какою он якобы написал об этой самой

русской иконописной школе; и он складывал таким образом вокруг рукописи и вокруг своего имени то выгодное для себя общественное мнение (опять же — среди определенного круга людей), из которого можно было сделать только тот вывод, что он пострадал за свою смелость, остроту и правду. О том, что на самом деле представляла собой рукопись, было быстро забыто всеми; но что она не была напечатана — продолжали еще говорить, и с тем многозначительным умолчанием, что лишь усиливали интерес к ней; но в конце концов и об этом было забыто и осталось для всех только, что молодой ученый страдал за свою гениальность. Никитин ходил в ореоле непризнанного гения, и ореол этот открыл ему двери во многие московские дома. «Ну что Москва, что Москва,— сейчас же заговорили в тех самых кругах, близких по взглядам к Карнаухову (что было не истиной, но лишь модой произносить вслух). — Если и есть еще гении среди русских людей, то их надо искать только в провинции. Никитин — вот вам, пожалуйста, что же еще?..» И Никитин, эта вдруг объявившаяся в столице провинциальная знаменитость, стал нарасхват приглашаться в разного рода кружки охочей до сенсаций околотворческой московской публики. На одной из таких встреч он был представлен Карнаухову, и разговор между этими двумя сейчас же понявшими друг друга людьми закончился тем, что Карнаухов решил устроить у себя на подмосковной даче прием в честь молодого провинциального гения.

Прием был назначен на воскресенье, и приглашено было только небольшое общество избранных людей, которых Карнаухов считал своими единомышленниками. Не было Лусо, не было Мещеряковых. Но Дружниковы, так как ни Григорий, ни Лия никогда не оспаривали мнений Карнаухова (хотя, впрочем, особенно и не поддерживали его) и были к тому же людьми веселыми, умевшими поладить со всеми в компании,— Дружниковы были приглашены одними из первых; и приглашены были также (на правах близких друзей) Арсений с Наташею и Геннадий Тимонин как писатель, набивающий себе руку на деревенской тематике. К тому времени он уже о т п и с а л с я, как он сказал, по сенокосным делам в своей газете и готовился к новому б р о с к у, но уже на косовицу хлебов, начавшуюся в центральных областях России. Может быть, если бы Тимонин заранее

знал, что на приеме у Карнаухова он увидит Наташу, которая так понравилась ему на вечере у дяди-профессора, он пришел бы один и соответственно подготовился бы к этому; но он не знал этого и пришел с Ольгой Дорогомилиной, приволочившейся за ним в Москву как будто только за тем, чтобы устроить для себя в издательстве новый перевод с английского, но на самом деле с тайной надеждой остаться здесь и соединиться с ним.

— Она что, переводчица? С английского переводит? — с удивлением спросил Карнаухов, когда Тимонин по телефону ответил ему на приглашение, что придет не один.— Ты кого хочешь подсунуть мне?

— Да она наш человек, поверь мне, наш.

— С английского-то?!

— Я тебе говорю — наш!

— Ну веди, черт с тобой,— согласился Карнаухов.

День был нежаркий, был один из тех примечательных для Подмосковья летних дней, когда высоко по небу тянулись облака, то открывавшие, то закрывавшие солнце, и по траве и лесу от этой перемены тепла и прохлады прокатывался ветерок, освежавший тела и лица людей. От полян, еще пестревших белыми и желтыми цветами, пахло поспевающей земляникой; от леса же, особенно тех затененных уголков, где все еще держалась весенняя сырость, веяло чем-то прелым, что принято называть грибным духом, и к полудню, к тому часу как сходиться гостям, запахи эти были так густы и так значительна была после Москвы вся распахнувшаяся красота подмосковного лета, что у всех невольно поднималось в душе то привычное для горожан чувство (как проста и ясна крестьянская жизнь!), когда всем казалось, что они готовы сейчас же сменить свои московские квартиры на деревенские избы. И все говорили об этом, пока отдалялись от платформы, где они вышли из электрички, и углублялись по тропинке в лес, к поселку, где Карнаухов с женой и тещей, уже накрывавшей к обеду стол, ожидали на даче их.

Гости были одеты по-разному, не так изысканно, как они появлялись в клубах и на званых вечерах, но и не столь упрощенно, чтобы что-то загородное, будничное можно было заметить на них. Свой модный пиджак с разрезами по бокам Никитин нес переброшенным через руку, и ослепительной белизны рубашка его с расстегнутым воротом и расслабленным галстуком (в том по-

ложении, как он чувствовал себя, ему казалось, что не только позволительна была ему эта вольность, но что вольность эта должна была говорить всем, что он пренебрежителен к себе потому, что глубок умом),— эта ослепительной белизны заграничная нейлоновая рубашка сейчас же заставляла всех обратить внимание на него, и он шел так, будто и в самом деле был тем непризнанным гением, за кого принимали его. В поведении его за время московской жизни появилась какая-то неуловимо новая черта (в отличие от того, каким его всегда видели в дорогомилинской гостиной), и он говорил и держался теперь так, словно был более москвичом и столичным человеком, чем те, кто принимал его.

— Туда ли идем мы? — время от времени, останавливаясь, спрашивал он.

— Туда, туда, прямо по тропинке,— сейчас же весело кричала ему Лия, успевавшая, как всегда, и вставить нужное слово в разговор мужчин, и отклониться в сторону от тропинки, чтобы сорвать привлекший ее внимание цветок, и, схватив за руку Наташу, вдруг прошептать ей что-то, чему обе затем смеялись, заставляя всех оглядываться на них.

У всех, казалось, было то праздничное настроение, какое только может быть у людей, вдруг выбравшихся из квартир на лоно природы и знавших, что им предстоит весь день пробыть среди этих полян, орешника, сосен, елей и белых островков берез, так ситцево оживлявших все вокруг, за которыми уже видны были (и побогаче и победнее, и одноэтажные и двухэтажные) дачные строения.

Дача Карнаухова, доставшаяся ему вместе с женой и тещей, представляла собою двухэтажный бревенчатый дом, срубленный финнами по русскому образцу. Он был поставлен еще отцом Надежды Николаевны, погибшим затем в войну, и главной достопримечательностью этой дачи было то, что было точно известно расстояние от нее до Боровицких ворот Кремля. Отец Надежды работал в Кремле и ездил на «эмке» (что было для того времени большой редкостью); и Карнаухов, не имевший отношения к ее отцу и тому делу, какое тот выполнял в Кремле, любил, однако, не без гордости напомнить иногда гостям, что от его дачи до Кремля тридцать три километра. «Да, да, по спидометру, я перепроверял»,— обычно подтверждал он. И он с улыбкою думал теперь об

этом, ожидая гостей. Сквозь открытые окна кухни просачивался в сад аппетитный запах жареного лука, картофеля и еще чего-то сдобного; но в самом саду и по тому участку леса, где прохаживался Карнаухов, поблескивая своими начищенными модными остроносыми туфлями,— в саду и по лесу стоял густой запах скошенной накануне и подсыхавшей теперь травы. Косили к приходу гостей, и запах этот по замыслу Карнаухова должен был напомнить им об их крестьянском детстве. «Кто бы что ни говорил, а есть все же что-то первозданное в этом аромате подсыхающих трав», — думал он, глядя направо и налево от себя (от асфальтированной дорожки, по которой вышагивал) на валки не тронутого еще граблями после косы сена.

Он был одет, как всегда, с той утонченностью, когда нельзя было выделить на нем что-либо отдельно — рубашку ли, пиджак или галстук; все было в тон, сидело на нем прекрасно и как бы соединялось в единое целое с тонкими линиями его худого лица́ и линиями узких черных бакенбард, уходивших как будто под самый воротник кремовой рубашки. То противоречивое и ложное — как он бывал одет и что и как говорил,—что всегда отмечалось всеми, было теперь на фоне леса, сада, скошенной травы и бревенчатого дома еще более заметным в нем. Но сам он старался внушить себе, что он был здесь хозяин и что все э т о, что должно напомнить гостям о простоте деревенской жизни,— все настолько близко ему, что он и дня не смог бы прожить без этого ощущения красоты природы и слитности своей с ней. Но впечатление, какое так хотелось ему произвести на гостей и какое он производил на самом деле (если бы они теперь вдруг со стороны посмотрели на него), впечатление это было противоположно его желанию; он не только не казался хозяином, но, напротив, выглядел явно человеком временным здесь, лишним, искусственно перенесенным от холодного блеска хрустальных люстр и покрытых лаком паркетных полов в этот мир зелени и жизни, мир леса, солнца и ветра, вдруг порывами налетавшего на его белое городское лицо и белые руки и прохладою освежавшего их. «Да, именно, что-то первозданное, и не перебраться ли и в самом деле сюда на лето?» — думал он, в то время как за забором уже слышался шум голосов подходивших к воротам людей.

— О-о, милости прошу! Прошу, прошу, прошу,—

сейчас же весело заговорил Карнаухов, поздоровавшись за руку с Никитиным и здороваясь затем с Лией, Наташей, Григорием и Арсением и пропуская их. — Мать! Мать! — затем громко закричал он, подражая тому обычаю (обычаю ложной народности), как в некоторых семьях мужья называют своих жен.— Мать, принимай гостей!

XXVIII

Вскоре подошли еще двое весело настроенных молодых мужчин (с женами), один из которых, Самородов, назвался издателем (хотя где, в каком издательстве и в качестве кого работал, было так неопределенно, что, как ни переспрашивали его, никто толком не мог ничего узнать), а другой, Михаил Черепанов, был представлен всем как знаток русских хороводов и собиратель частушек (хотя точно так же непонятно было, каким образом он, лишь на день-два выезжавший из Москвы, во множестве затем поставлял свою народную продукцию в заводские клубы для художественной самодеятельности); потом подошли еще художник и литературовед, и они составили тот кружок, в центре которого непременно должен был стать Никитин.

Соответственно преподнесенный гостям, Никитин понимал, что чем меньше он будет говорить теперь слов (и, главное, чем глубокомысленнее будут его фразы!), тем большее он произведет впечатление на всех, какое ждут от него; и он собирал все свое усилие, чтобы произносить только то, что, он видел, все хотели, чтобы было произнесено им.

— Есть ли что-либо более красивое и более благодатное, чем русская земля,— сказал он, медленно оглядывая обращенные на него лица людей. Он чувствовал, что был в роли старика Казанцева в дорогомилинской гостиной, и роль эта нравилась ему и вызывала в нем возбужденное беспокойство, словно он и в самом деле представлял собою явление значительное и нужное в обществе. — А как мы обращаемся с этой нашей землей? Мы губим ее. Беспощадно и безжалостно губим с нашей русской расточительностью, с нашей национальной щедростью.— И он сделал ударение на словах «русской» и «национальной». — Красота такая, что на нее бы только смотреть, дышать бы только ею,— продолжал он с

тем глубокомысленным выражением, словно высказывал что-то особенное, что было запрещено или, по крайней мере, не принято говорить вслух о русской земле. В воображении же своем, чтобы правдивее звучали его слова, он силился восстановить ту картину (тот открывшийся ему пятачок русской земли), какую, когда ехал сюда, в Москву, увидел утром, проснувшись, из окна вагона. По окаймленной березняком низине шла женщина в ватнике, с граблями и косою на плече и узелком с пищею в руках. Ноги ее, как в молоке, были в белом утреннем тумане, а ватник и платок — волглыми от этой утренней сырости. Она шла на целый день и на ту мужскую работу, которую, как видно, некому было выполнить за нее; но то дело, какое предстояло ей делать — косить и сгребать (и с которым Никитин не был знаком, как оно тяжело, так как никогда не держал в руках ни косы, ни граблей), дело это, заслоненное для аспиранта видом березняка и низины, заполненной туманом, который местами уже редел, открывая сочную зелень травы, и заслоненное тем общим предчувствием появления солнца, что недоступно было (в силу совсем иных душевных привязанностей) понять Никитину, но что он все же, несмотря ни на что, ясно как будто понимал,— дело этой женщины, как и весь крестьянский труд, было заслонено перед ним именно красотою берез, тумана, луга и неба; он чувствовал только эту красоту, перенося ее на жизнь вообще, как будто жизнь только и могла состоять из этой созерцательности. Но, в сущности, Никитин лишь красиво восклицал, и у него не было слов, чтобы выразить всю истинную красоту того, что он видел.— А мы роем и перерываем эту красоту. Это же ужасно, что тут у вас, под Коломенским, делается! Поле, на котором останавливались войска Юрия Долгорукого, это историческое поле варварски перерыто! Метро... Ну хорошо, метро проводить надо, но не в ущерб же нашей отечественной истории. Не в ущерб же! — И он опять медленно обвел взглядом лица тех, кто слушал его. Поле под Коломенским (и церковь Вознесения и все, что вокруг этой церкви, давно превращенное в музей и охранявшееся законом) — поле это никогда прежде не интересовало Никитина; будучи в Пензе, он не вспоминал о нем; но здесь, в Москве, он живо уловил, что кое-кто (кто жил в центре и не нуждался в открытии новой линии метрополитена) был недоволен, что перерывали это поле, и Ни-

китин спешил теперь присоединиться к тем вставшим против течения «ценителям русской старины».— Должны же мы понимать, что мы делаем, что губим! Нам не простят этого. Это история. История! — несколько раз повторил он.

То, что он говорил, казалось ему значительным и было бы тотчас понято и принято всеми в дорогомилинской гостиной; но на тех, кто был теперь у Карнаухова и для кого все эти сентенции были этапом пройденным, а хотелось услышать что-то более новое и серьезное, что радостно поволновало бы их гуманитарно-патриотические устремления,— для всех этих людей слова Никитина имели пока лишь тот смысл, что он еще не говорил главного, а только подходил к теме.

— Ты кого нам преподнес? — чуть отведя в сторону Карнаухова, спросил его Дружников.— Он производит весьма странное впечатление.

— Да он просто нас всех принимает за дураков,— присоединился к нему Арсений, тоже сперва слушавший Никитина, но затем разочарованно отошедший от него.

— Не торопитесь с выводами,— возразил Карнаухов.— Человек этот еще покажет себя.

— Ты ослеплен своим идеалом, и только,— в свою очередь возразил Арсений.

— Не спеши, единственно прошу. У него отвергнута книга.

— Какая? Где?

— Этого я не могу сказать, я не читал, но говорят, очень острая.

— На тему?..

— Н-ну, вы хотите, чтобы я разжевал да и в рот положил вам. Сами, сами, друзья мои! — И Карнаухов снова присоединился к Никитину, чтобы слушать его.

Но, несмотря на ожидание, что будет еще что-то сказано им, ничего значительного не было (да и не могло быть!) сказано Никитиным. Он только в разных вариантах повторил ту свою надоевшую всем в дорогомилинской гостиной (но впервые прозвучавшую здесь) мысль о пагубности научных открытий и науки вообще, ведущей якобы человечество к гибели, но и это его высказывание вызвало лишь удивление и недоумение у тех, кто слушал его. От него постепенно начали отходить и забывать о нем; и все же до появления Тимонина и Ольги Дорогомилиной (которые могли сейчас же раскрыть

весь секрет, кем он был в Пензе) он еще держался уверенно и старался не замечать того, что происходило вокруг него; но с их появлением сразу же сник, словно до неприличия раздели его, и начал, уединяясь, мрачно искать выхода из этого своего положения, в каком оскорбительно было быть ему.

XXIX

— О-о! Никитин! И ты здесь?! Ты-то как здесь? — войдя в просторную остекленную веранду, где все уже ожидали, когда их пригласят к столу, воскликнул Тимонин, увидев знакомого аспиранта.— Ты-то как сюда попал? Ну черт, ну черт!—И он весело и решительно хлопнул Никитина по плечу.— Уж не тобой ли Карнаухов грозился нас угостить сегодня, а? — Тимонин был весел потому, что был с Ольгой Дорогомилиной (и потому, что в эти первые суетные минуты еще не видел Наташу, которая стояла с Лией и, разговаривая с ней, сейчас же покраснела, услышав его голос и посмотрев в его сторону); и так как Тимонину всегда было безразлично, что в ту или иную минуту испытывали другие, как безразлично было теперь, что испытывал пензенский аспирант, слушая его, Тимонин навязывал это свое веселье всему обществу. — Ярый противник науки, мрачный предсказатель катастроф, н-ну, а наука-то движется себе и движется вперед, и не видно, чтобы что-то серьезное угрожало человечеству, по крайней мере на эти ближайшие часы, пока мы здесь, а, Никитин? — шутливо продолжил он.

Он не был похож сейчас на того Тимонина, каким знали его в дорогомилинской гостиной. Там, в провинции, чтобы быть принятым и обласканным всеми, надо было подлаживаться под то общество людей и поддерживать их высказывания независимо от того, нравились или не нравились эти высказывания ему; здесь же надо было подлаживаться под э т о т круг людей, с которыми Тимонин виделся постоянно и от расположения которых к нему зависело многое в его жизни, и потому надо было высмеивать то провинциальное, что не принималось и не могло быть принято здесь; и Тимонин делал это с той легкостью и так искусно, что в Пензе он казался всем естественным в том своем качестве, в каком выступал перед ними, а здесь, в московских домах, естест-

венным в этом — что и как говорил и как держался теперь. Руки его постоянно были в движении, и огромные, с камнями серебряные запонки, уже до смешного знакомые всем (Тимонин менял рубашки, но не менял запонки и даже шутил по этому поводу, что не может без них, как не может без часов или расчески, чтобы держать в порядке свои модно удлиненные волосы), запонки эти как будто искорками при свете солнца брызгали от его рук.

— Так вы знакомы? — спросил Карнаухов у Тимонина, удивленно и недоверчиво глядя на него и глядя на смутившегося Никитина.

— Разумеется, кто же не знает его? Его знает вся Пенза (что равнозначно было для Тимонина — вся дорогомилинская гостиная)! Но я рад тебя видеть здесь, Никитин,— затем сказал он.— И еще более рад, друзья, представить всем вам мою хорошую знакомую, между прочим, хранительницу и покровительницу всех пензенских муз, как видите, тоже из Пензы,— для чего-то добавил он,— Ольгу Дорогомилину.— И он, повернувшись, пропустил вперед себя невысокую и худенькую молодую женщину в короткой кожаной юбке и кофте желтого цвета, без рукавов; шею ее закрывали прямо и редко спадавшие черные волосы, из-под которых, казалось, выглядывало ее маленькое заостренное личико.

Она улыбнулась, но совсем не так, как у себя в гостиной, где все прислушивались к ней и одобряли любое ее мнение; она сейчас же поняла разницу, что она была не дома и что все эти люди, с кем знакомил ее теперь Тимонин, были единомышленниками в искусстве, которых Ольга не то чтобы категорически осуждала, но просто по общему складу своих мыслей и душевных привязанностей не могла понять и принять их. Но как человек более осведомленный, чем Никитин, в том, что считалось модным и что не модным среди московской литературной (но вернее было бы — окололитературной) публики и ч т о имело влияние и ч т о не имело на продвижение и оценку рукописей и книг, Ольга понимала, что ей надо было понравиться здесь, и оттого как ни противно было ей, протягивая руку и называя себя, улыбаться всем, она делала это с тем старанием скрыть свои чувства, что только Никитин, мрачно и от угла наблюдавший за ней, видел, как ложно, искусственно было все в Ольге. Привычно холодное выражение лица ее, так

поразившее еще недавно Сергея Ивановича и вполне сочетавшееся с провинциально роскошною (под барскую старину) обстановкой ее пензенской квартиры с бронзовыми бра и ледяными хрусталиками люстр, с бархатисто-вишневыми обоями и позолоченным оттиском трехпалых подсвечников и свечей по ним, с павловским креслом, китайским ковром, колоннами и гарднеровскими статуэтками на них,— то холодное выражение было как бы растворено теперь на ее лице обилием солнечного света, улыбок, праздничностью нарядов и видом белых городских лиц, чем наполнена была вся эта просторная, с распахнутыми окнами, остекленная веранда карнаухóвской дачи.

Но как ни старалась Ольга понравиться этому кругу людей, она видела, что ее с трудом принимали здесь. Потому ли, что Никитин был уже скомпрометирован и отношение к нему, так как Ольга тоже была из Пензы, переносилось на нее или в силу определенной привычки их замечать только себя и говорить только о себе, но Ольга чувствовала себя неуютно и почти все застолье просидела молча возле Тимонина. «Да так и должно, наверное, быть,— между тем, чтобы утешить себя, думала она.— Они все свои». И ей казалось, что как будто ей не за что было обижаться на этих людей, что, окажись кто-либо из них в ее гостиной, она точно так же, наверное, не замечала бы этого человека и что тому было бы, наверное, так же неуютно, как неуютно было ей теперь. Она прислушивалась к общему разговору и отмечала про себя, что то, о чем говорили все эти собравшиеся у Карнаухова люди (и что вполне можно было бы объединить в понятии: созерцательное отношение к жизни), не было для нее ни новым, ни интересным; как всем им высказывания Никитина показались пройденным этапом, Ольге представлялось, что э т о, что так возбужденно занимало всех (и что в сути своей отличалось от утверждений Никитина только утонченностью формулировок), было давно-давно переговорено, пережито и забыто ею; она видела, что все здесь было точно так же мелко, было игрой, как и в ее пензенской гостиной, и она делала для себя вывод, что следует лишь повнимательней присмотреться ей, следует только поточней уловить ту главную ноту, на какой играют здесь, как она сейчас же сможет занять то положение, какое так хотелось, чтобы уже теперь было у нее. «Они умны все

не больше, чем умен наш Никитин»,— думала она, время от времени укоризненно поглядывая на аспиранта, как будто говоря ему: «Чего-чего, а уж этого я никогда не забуду вам!» И она живо представляла, как она преподнесет эту сегодняшнюю историю (разумеется, с Никитиным, но не с ней) Казанцеву, Рукавишникову и всем остальным в своей гостиной. Но деловые размышления эти, как они не занимали Ольгу, то и дело прерывались совсем иным обстоятельством, более важным для нее, касавшимся ее отношений с Тимониным.

Всегда так тепло принимавшая его в своей гостиной (и принимавшая у себя в постели и потому имевшая, как считала, права на него), она теперь вдруг после всех его (ночных!) заверений в любви к ней увидела, что она, в сущности, была не нужна ему; она увидела, что он смотрел на Наташу и все время обращался к ней; и, главное, увидела, что Наташа была моложе, интереснее, была москвичкой и потому была под рукой, и обстоятельство это сейчас же подсказало Ольге, что она не могла соперничать с Наташей. «Так вот в чем дело?! Там, в Пензе,— ко мне, а здесь, в Москве,— другая?! — мертвенно бледнея своим заостренным личиком, подумала она, вспомнив, как он нерешительно приглашал ее в Москву. — Негодяй! Негодяй!» — злобно и оскорбленно затем несколько раз повторила она. Теперь, когда она бросила мужа (из-за Тимонина же, как она думала теперь), приехала в Москву и сняла комнату, он наносил ей э т о т удар, должный раздавить ее; и перед ней так преувеличенно ясно встало все это ее оскорбительное положение, что она уже не могла видеть ничего, что происходило вокруг. С бледным и злобным лицом, выражение которого она не в состоянии была изменить (уже после того, как все вышли из-за стола и парами и тройками разбрелись по саду и лесу, не замечая покоса, не восторгаясь запахом трав, то есть всем тем, что Карнаухову хотелось, чтобы было восторженно замечено всеми на его даче), Ольга несколько раз подходила к Тимонину, чтобы напомнить о себе и увести его от Наташи и Лии; но всякий раз он, только ответив незначительной и мягкой репликой ей, брал затем под руку Наташу и Лию (или только Наташу) и продолжал прохаживаться по дорожке сада с тем веселым и увлеченным видом, будто был один с дамою и никто не мог видеть его.

Ольга была оскорблена, и все, что оставалось ей в утешение — взгляды, какими она окидывала Наташу. «Ничего, и тебя ждет то же,— говорили эти ее насмешливые, презрительные и не замечавшиеся оживленною Наташей взгляды.— Но что, собственно, произошло? — вместе с тем пыталась убедить себя Ольга.— Произошло только то, что я знала, что произойдет. Разве я верила ему? Я никогда не верила ему». И она с этой ложной, вдруг как будто открывшейся в ней легкостью говорила себе, что еще в самом начале ее отношений с Тимониным было ясно, чего он хотел от нее. «Я знала, я сама хотела»,— говорила она, стараясь заслониться этим признанием, по которому выходило, что все, что было между нею и им, было только от ее желания и что если бы она хоть на минуту могла тогда представить, что увидит сегодня, никогда бы не допустила его к себе. Но именно потому, что допустила и что это, что должно было быть оценено им, не признавалось и затаптывалось теперь, было невыносимо Ольге. Она не могла видеть, что он был с другой, и, чтобы не мучиться, молча и тихо вышла за ворота с одной только мыслью, что не простит ему этого.

XXX

Но для Тимонина то, что Ольга собиралась «не простить» ему, не только не имело того мрачного смысла, какой вкладывала во все Дорогомилина (бросившая, как она говорила, мужа из-за него), но представлялось лишь тем приятным пустячком, какие существуют в жизни для того, чтобы весело, не обременяясь и ни к чему не обязывая себя, проводить время. Он видел в Наташе точно то же — молодую замужнюю женщину,— что он видел в Ольге, когда впервые встретился с ней; и по тем понятиям своим, что с замужними женщинами всегда проще и безопаснее иметь дело и всегда «верняк», как любил говорить, повторяя это расхожее среди его друзей словечко,— по этим понятиям своим он полагал, что точно так же, как Ольга (как все другие, с кем он бывал близок), должна была быть доступна и Наташа ему, стоило только соответственно повести себя. Вопроса, какой он должен был бы задать себе: хорошо ли, плохо ли то, что он делал? — вопроса этого он не задавал себе; он видел, что большинство тех самых (около-

творческих!) молодых людей, с которыми он общался, делали то же, что и он, и он не слышал, чтобы кто-то громко и принародно осудил их; он видел, что все было в порядке вещей, а главное, доставляло удовольствие ему и уже по одному этому не могло быть дурным и осуждаться. Мужья? Но мужья только для того и существуют, искренне полагал он, чтобы содержать тех самых жен, с которыми он хотел иметь дело.

Чуть огорчившись, как только увидел Наташу, и пожалев, что пришел с Ольгой, которую вполне мог оставить в Москве, он затем не только забыл об Ольге, но, казалось, забыл обо всех, кто был на даче у Карнаухова, и, пользуясь тем, что Арсения постоянно втягивали в какую-нибудь мужскую компанию, ни на шаг не отходил от Наташи, подавая себя ей в том лучшем свете — модною прической, низко подбритыми висками и умным выражением лица, сейчас же должным сказать всем, что он писатель, — в каком он был способен подать себя.

— Вы знаете, я очень скучал по вас,— наконец сказал он Наташе, когда отошла Лия и он остался наедине с ней.— Тот вечер у моего дяди, помните? Так и стоит все перед глазами...— И в то время как он говорил это, он так смотрел на Наташу, словно в этом светлом, свободно облегавшем ее летнем платье, также укороченном и высоко от колен открывавшем ее еще по-девичьи красивые ноги, она была еще привлекательнее, чем в том наряде, в каком он встретил ее на вечере у Лусо. Он видел, что она была хороша вся: и своими формами, и молодостью, и лицом, шеей, глазами, в которых всякую минуту было то волнение, какое переживала она; он видел в ней то, что не только привлекало его, но чем хотелось обладать ему сейчас же, не откладывая ни на день, в этот вечер, и он чувствовал (по многочисленному опыту своих прежних связей), что это было возможно и что надо только помочь ей преодолеть тот нравственный барьер верности мужу, какой всегда так трудно бывает в первый раз преодолеть женщине.

Только что говоривший (пока рядом стояла Лия) о разных пустых и забавных случаях, происходивших будто бы с ним во время этой его пензенской поездки по сенокосным делам; только что шутливо как будто высмеивавший свой журналистский профессионализм, в котором главным было, что он почти всегда писал противо-

положное тому, что на самом деле видел в жизни, и из чего следовало, что фантазия (его писательская фантазия) всегда ярче и богаче любой жизненной правды, он вдруг, словно только и ждал этого момента, сейчас же от шуток перешел к тому серьезному тону, какой, как он помнил еще по первой встрече с Наташей, был более по душе ей. Он задал ей вопрос, как она жила все это время, пока он не видел ее, который, если посмотреть просто, был как будто в ряду обычных, как спрашивают друг друга при встречах знакомые люди; но Тимонин произнес его так, что Наташа не могла не почувствовать, что в нем заключалось что-то большее, чем только обычный интерес к ней.

— Ну так скажите же, как протекала ваша молодая замужняя жизнь? — повторил он, решительно беря Наташу за оголенную выше локтя руку и направляя ее по тому заранее уже выбранному им маршруту по саду и лесу, где он, казалось ему, менее был бы на глазах у всех с ней.

«Как я жила? — подумала Наташа, краснея от этого прикосновения его руки и не отстраняясь.— Что я скажу, как я жила?» И, несмотря на желание сказать что-то, чувствовала, что не может ничего ответить ему. То, что составляло суть ее счастливого замужества (из чего, собственно, складывалось это ее счастье), было так розово-неясно ей, и так не хотелось ей раскладывать это розово-неясное на составные части, которые бы сейчас же разрушили все (разрушили бы этот мир свободы замужества, когда после родительской опеки и стесненности в деньгах она вдруг ощутила себя хозяйкой и ей было доступно и разрешено все),— нет, она не могла вот так, сразу, выразить Тимонину эту свою возбужденность жизнью, как она не могла сделать этого во всех многочисленных письмах к матери. Тем более она не могла сделать этого теперь, когда была в гостях у Карнаухова, где, ей казалось, собрано было все то же блестящее общество людей, как и у Лусо и в Большом театре, и она видела, что ее не только не обходили вниманием, но что Тимонин был еще более, чем при первой встрече, предупредителен и вежлив с ней. «Да что же ответить ему, как я жила?» — между тем торопливо спрашивала себя Наташа, чувствуя, что надо уже говорить что-то. То неудобство жизни, когда еще Галина и Юрий были в Москве, и все те переживания, связанные со ссорой с отцом,

с болезнью матери, похоронами бабушки и отъездом родителей в Мокшу,— все представлялось Наташе сейчас таким далеким и незначительным, что она не только не хотела говорить об этом Тимонину, но ей самой не хотелось вспоминать и думать о том. «Та жизнь и эта — так далеки друг от друга,— думала она.— Что было там? Что в том прошлом может интересовать его, когда здесь все так мило, так возвышенно и столько достоинства, красоты и правды!» Но в то время как ей приходила в голову эта простая и так радовавшая ее мысль, она чувствовала, что и ее нельзя было отчего-то высказать Тимонину. Ей казалось (в сравнении с тем, о чем все говорили здесь), что события ее жизни так мелки, так мелки, что они не могут никого интересовать. Ну и что из того, что по предложению Арсения она ушла из библиотеки и теперь не работала нигде? И что из того, что не встречалась теперь (обретя эти новые знакомства) с прежними своими подругами? Что из того, что ходила теперь по магазинам, стараясь устроить свою с Арсением жизнь так же уютно, под старину, как жили Лусо или Дружниковы? Все это было совсем не то, что надо было сказать Тимонину.

— Вы счастливы, и вы не хотите сказать мне этого,— выждав, сколько удобно было выждать ему, сказал он, чтобы помочь Наташе преодолеть то смущение, какое, он видел, было вызвано в ней его вопросом.— Или вы несчастны? И этого тоже не хотите сказать мне? — добавил он, чуть приостанавливаясь и заглядывая ей в лицо.— Нет, если бы вы даже сказали мне это, я не поверил бы. Мне кажется,— еще более вглядываясь в нее и говоря этим взглядом, что она красива, что он восхищен ею и что такое прелестное создание, как она, не может быть хоть в чем-то (хоть от мужа!) испытывать стеснение,— мне кажется, вы не можете решить про себя, счастливы вы или нет. Так бывает, мы часто не знаем, когда мы счастливы, когда нет.

— Как же можно не знать, счастлив ты или нет? — изумленно спросила Наташа, сейчас же подхватив этот разговор, в котором не было для нее того стесненного положения, того тупика, из которого только что так трудно было выйти ей.

— Можно. И это вполне естественно и объяснимо.

— И вы можете объяснить?

— Во всяком случае попробую,— сказал Тимонин.

Он видел, что они подошли к самому краю сада и что надо было поворачивать и идти обратно на люди; но, чтобы не идти обратно на люди, он встал перед Наташею так, что путь этот был заслонен им, и в этом естественном как будто для себя положении он начал то свое путаное объяснение, что́ следует считать счастьем и что́ не следует считать таковым, из которого ясно было только одно — что люди, подобные Арсению, то есть мужу Наташи, счастливы тем, что они несчастны, что, отдаваясь работе, не берут ничего от жизни взамен, но что есть люди другого порядка, подобные ему, Тимонину (или Наташе, как он заметил тут же), для которых счастье всегда только в том, что они счастливы, то есть не только отдаются работе, но и пользуются всеми теми радостями жизни, какие есть в ней и созданы в конце концов для чего-то; он говорил то, что в той ли, иной ли форме должен был сказать ей, чтобы убедить, что дверь, куда он приглашал войти ее, была только с виду тяжела и массивна, но что открыть ее было просто, если без страха и предубеждения притронуться к ней.

— Я могу уважать, это другое дело, но я никогда не смогу понять тех, кто заживо запирает себя в науке или литературе. Я не понимаю их точно так же, как монахов, хотя, правда, их сейчас нет, во всяком случае так полагаю, что их у нас нет,— поправился он.— Но были. Были! Как эти монахи или монашенки в самом расцвете жизненных сил вдруг заточают себя в каких-то мрачных кельях?! И если бы я не писал о деревне, о мужике нашем, которого я люблю и понимаю, и если бы это было то время, я непременно выбрал бы для себя предметом исследования эту тему. Так вот, а вы говорите, понимаем мы или не понимаем, что такое счастье,— далеко еще не собираясь заканчивать разговора, сказал он.

— Но ведь и монашки могут быть счастливы, — возразила Наташа.

— Да. Но тем, что они несчастны. И это, если хотите, утешение, не больше,— добавил он, видя по взволнованному выражению лица Наташи, что она как будто не вполне понимала его.— Может быть, я не так убедительно объяснил все,— затем сказал он, сейчас же подумав про себя, что можно повторить все и что, повторяя, более откровенно высказать то, что так хотелось ему внушить ей.

Но волнение Наташи происходило вовсе не оттого, что она не понимала Тимонина; она понимала его, но так, что разговор был о ком-то, был разговором в о о б щ е и не имел отношения к ней; ей просто любопытно было позволить себе столь утонченно поговорить с чужим мужчиной об э т о м, а беспокойство шло от другого — что она чувствовала, что было неловко, что она стояла с ним в конце сада, отделившись от всех. Она видела, что это было нехорошо, что можно было превратно истолковать это, и, краснея, подыскивала слова, как сказать увлеченно говорившему ей Тимонину, что надо уйти отсюда. Ей казалось, что он не замечал неловкости и что словами своими она могла на что-то дурное намекнуть ему; и потому ей трудно было произнести их.

— Мы так отделились от всех,— все же наконец сказала она, живя уже только этим своим беспокойством и не воспринимая того, что он говорил ей.

— Ну и что? Пустяки,— прервал он Наташу и, перехватив ее устремленный (за его спину) взгляд, повернулся и увидел Арсения, шагавшего через сад по дорожке к ним.— Да сущие пустяки все,— по инерции еще произнес Тимонин то, чем он только что хотел успокоить ее, и когда снова обернулся на Арсения, увидел, что того опять кто-то перехватил и занял разговором.— Но я не возражаю, пожалуйста.— И он отступил перед Наташею на шаг в сторону, открывая дорогу ей и снова беря ее под руку.

XXXI

Арсения перехватил Карнаухов, давно уже обеспокоенный мрачным видом его.

— Послушай, да ты чем недоволен? — спросил он, по-свойски повернув Арсения за плечо к себе.— Этот Никитин!.. Я раскусил его. Чем ты недоволен? Ты мне не нравишься сегодня.

— Я всем доволен, с чего ты взял? — убирая его руку с плеча, возразил Арсений.

— Нет, ты недоволен. Я вижу. И я хочу знать на правах друга, что тебе не понравилось здесь, у меня?

— Все.

— Как «все»?

— Все. Все,— решительно подтвердил Арсений, хотя этим «все» было только то, что всякий раз, когда он

отыскивал глазами Наташу, он видел рядом с нею Тимонина, который был (еще по ухаживаниям за Галиной) неприятен ему и при виде которого теперь (при виде того, как он липнул к Наташе) впервые поднималось в душе Арсения то тяжелое чувство, которое подталкивало его к действию и заставляло бледнеть перед тем, что он собирался сделать.

Он уже не сомневался в намерениях Тимонина, как было у Лусо; но оттого, что не сомневался, что не надо было искать подтверждений этому, что так болезненно беспокоило его, было еще мучительнее переживать Арсению. Он говорил себе, что надо сейчас же защитить Наташу; но в сознании его это оборачивалось тем, что надо защитить себя, и потому так решительно возникала в нем мысль, что он должен предпринять что-то. Но он только бледнел и по не осознававшейся им привычке всегда все злое подавлять в себе лишь обостреннее прислушивался к тому, что говорилось вокруг. Говорилось, что русский народ талантлив, но что он любит пить; но что, несмотря на то, что любит пить, он все-таки великий народ. Для Черепанова, знатока русских хороводов и собирателя частушек, величие это состояло именно в хороводах и частушках, благодаря которым он кормился, получая соответствующие гонорары за свое собирательское дело, и исчезновение их, то есть этих, в сущности, неуместных при нынешней технической насыщенности умилительно-патриархальных, когда-то скрашивавших крепостную крестьянскую жизнь хороводов представлялось ему не только равнозначным исчезновению самобытной русской культуры, но стиранию всяких национальных граней. Литературовед, объединившись с издателем и художником, чьи так называемые русские пейзажи с березами, выписанными в виде геометрических фигур, никогда и нигде не выставлялись,— литературовед сообща с ними все время старался свести разговор к Антону-горемыке и перекидывал весьма странные мостики то от того времени к себе, то от себя к тому времени, будто и в самом деле могла существовать какая-то связь между ним и тем временем. «Какое величие, какие хороводы, какое исчезновение?!» — спрашивал себя Арсений с тем удивлением, как будто и в самом деле все это впервые говорилось при нем. Но раньше он просто не прислушивался так обостренно к этим разговорам; теперь же, в раздражении, воспринял все преувеличенно

и; говоря Карнаухову «все», имел в виду теперь именно это, что так неприятно, странно и удивительно было здесь слышать ему.

— Я давно замечал, что ты идешь по какой-то не той дороге, но я никогда не думал, чтобы ты так глубоко погряз во всем этом,— сказал Арсений Карнаухову, в то время как Наташа с Тимониным проходили недалеко от него и он, не оглядываясь, чувствовал это; и тем важнее было ему сказать что-то резкое Карнаухову, чтобы не думать о них.

— В чем же это я погряз, как ты выразился? — спросил Карнаухов.

— Зачем объяснять, что ты сам хорошо знаешь. Могу словами Достоевского?

— Изволь.

— Хотя и по памяти, но точно, можешь проверить: «...все эти всеславянства и национальности — все это слишком старо, чтобы быть новым. Национальность, если хотите, никогда и не являлась у нас иначе, как в виде клубной барской затеи, и вдобавок еще московской». Национальность в том понимании, как все вы трактуете ее здесь,— уточнил Арсений.— Да можно ли серьезно говорить о какой-либо национальности или национальной культуре, не признавая при этом общего и постоянного движения народов к прогрессу? И какую услугу вы делаете этому своему народу, который так рьяно взялись опекать здесь?

— Ну-ну,— как бы желая, чтобы Арсений сказал еще что-то, после чего можно обрушиться на него, проговорил Карнаухов.

— Вы хотите вернуть русских людей назад, в курную избу, а они, видите ли, упираются, не идут, ищут и делают для себя другую, новую жизнь, и вам это не нравится, вы возмущены и готовы кричать где только можно, что пересыхает сам источник национальной культуры! Вы хотите пользоваться электричеством, но вас коробит вид линий электропередачи — как же, нарушена красота полей, девственность! Вы хотите ездить на электричках и в метро, но вас до глубины души возмущает — для чего перекрывать Енисей, Ангару, Волгу?! Так предложите лучшее. Предложите!

— Я у себя в доме и потому не хочу спорить с тобой, хотя мог бы с не меньшей убедительностью ответить тебе,— сказал Карнаухов с той значительностью в голо-

се, как будто и в самом деле мог легко опровергнуть Арсения.— Всегда прежде мы понимали друг друга, и мне жаль, что ты произнес эти слова.

— Я сказал лишь то, что готов повторить в любую минуту.

— Тем более жаль. Но я отношу это за счет твоего дурного сегодняшнего настроения.

— И напрасно.

— Нет. Когда ты пришел, ты уже был не в духе, я видел это,— возразил Карнаухов.— Если ты от Мещерякова ко мне, то этого не надо было делать. Если же что-то случилось, то скажи, — настоятельно закончил он.

— Ты не прав, я пришел не от Мещерякова и с хорошим настроением.

— Тогда, значит, я ошибаюсь, извини. Но я не хочу, чтобы мы поссорились у меня в доме. Извини.

— Я не беру слов назад.

— Все равно извини. Я должен занять гостей.— И Карнаухов с холодным, бледным и напряженным лицом (из чего можно было заключить, что он был более чем недоволен Арсением) отошел от него.

«Да, занимай, занимай»,— про себя и зло повторил Арсений и, несмотря на то что хорошо знал, что Тимонин с Наташею прошли за его спиной к даче, повернулся и стал искать их глазами в той стороне сада, где только что перед разговором с Карнауховым видел их.

Все, что теперь делал Арсений, было частью того, чем он хотел защитить себя; и по той логике, какая бывает обычно у раздраженных людей — соединять несоединимое,— объединял в одно те не имевшие, в сущности, никакого отношения друг к другу события, которые для него все стояли в одном ряду и предназначались, как ему казалось, только для того, чтобы омрачать ему жизнь. Он не хотел признаться Карнаухову, что был не в духе, когда пришел к нему; но в действительности же был не в духе, и причиной беспокойства было неожиданное появление Юрия, которого он вдруг вчера, вернувшись зачем-то из института (когда Наташи не было в доме), застал в квартире возле дверей своей комнаты. Юрий небольшим, загнутым, расплющенным и раздвоенным с одного конца ломиком, каким обычно дергают гвозди и распаковывают ящики, пытался открыть дверь.

— Ты что делаешь? — спросил Арсений, не сразу поняв, что намеревался сделать его бывший, усыновленный им сын.— Тебе чего надо у меня?

— Ничего.

— Зачем же дверь ломать?

— Так,— ответил Юрий, держа перед собою орудие своего труда и глядя в лицо Арсению с той нагловатой усмешкою, за которой сейчас же было видно, что он замышлял что-то дурное, чего даже не хотел теперь скрывать от отца.

— Что?! Украл у матери холодильник, теперь ко мне? Но у меня, кроме книг, ничего!.. Дай-ка сюда эту штуку.— И Арсений почти вырвал тяжелый и холодный ломик из рук Юрия.— Не смей, слышишь, не смей! — затем сказал он, полагая, что этого будет достаточно, чтобы образумить сына.

Он положил затем ломик на край стола, когда вошел в комнату, и теперь, в связи с разговором с Карнаухо-вым, вспомнил о ломике и о том, что ничего не сказал о нем Наташе. «Да где же они? — между тем думал он, продолжая отыскивать глазами жену, но употребляя это множественное «они», так как не представлял уже, что мог увидеть ее без Тимонина.— Надо подойти к ним и сказать что-то ему, чтобы... чтобы...» — но он не закончил фразы и остановился, пораженный той мыслью,—как защитить себя! — какая пришла ему. Он вспомнил всю неприятно-холодную тяжесть ломика и то свое чувство, с каким держал этот предмет насилия; но он видел теперь, что этот предмет насилия вполне можно употребить как предмет защиты, подняв и обрушив его на голову оскорбителя. «Ужасно, но это единственное»,— подумал он. И он уже не мог отойти от этой страшной мысли, возбудившей его. Лицо его так мертвенно побледнело, каким никогда никто не видел его; и во всех черточках этого побледневшего интеллигентного лица вдруг ясно проступила та страшная решимость, то есть то, что в народе называют безумием, когда Арсений, будь у него в руках ломик, двинулся бы на Тимонина с одной только этой целью обрушить металлическую тяжесть ломика на него, чтобы защитить себя и Наташу. Он даже приподнял руку и посмотрел на нее. Но ломика в руке не было. «Нет, этого нельзя, это ужасно, ужасно»,— тут же сказал он себе. И, вместо того чтобы искать Наташу, направился к скамейке, стоявшей в саду, и сел на нее.

Но когда всех позвали к чаю, он уже был как будто спокоен и даже несколько раз улыбнулся, отвечая Дружникову на его шутки; но после чая сказался больным, холодно попрощался с Карнауховым и, позвав Наташу, ушел с нею задолго до того, как был окончен этот торжественный дачный прием.

XXXII

То, что происходило в душе Арсения, Наташа не знала; и при всем старании, если бы захотела этого, все равно не смогла бы понять его, так счастливо было у нее самой на душе и так чисты, по крайней мере по отношению к мужу, казалось ей, были ее мысли. Но Арсений, который по опыту жизни мог бы вполне понять Наташу, не понимал ее потому, что поглощен был своими ревнивыми чувствами, и то страшное дело, как он мог защитить себя,— то страшное дело продолжало еще воображенными подробностями волновать его. Он вышел из ворот карнауховской дачи с тем ощущением, словно из темного и мрачного елового леса, где обилие стволов и ветвей угнетало его, ступил на просторное поле, вдруг открывшееся перед ним, и с облегчением вздохнул, оглянувшись на то, что оставлял за спиной; и та болезненная как будто бледность, как выглядел он, прощаясь с Карнауховым, постепенно сходила с его лица, оно преображалось и обретало спокойное и доброе выражение.

«Надо решительно отказаться от этих встреч»,— думал Арсений, в то время как Наташа весело говорила ему о своих впечатлениях. Ей все понравилось у Карнауховых, так как она снова, как ей казалось, была принята всеми, и то недовольство ею, почти неприязнь к ней, какую временами испытывал Арсений, находя в ее поведении то, что он всегда осуждал в Галине,— недовольство это теперь, когда Наташа была рядом и он видел, как она была счастливо возбуждена успехом (тем своим успехом, какой, как она думала, должен был радовать мужа, что она нравилась всем), недовольство это постепенно приглушалось в нем, и минутами начинало казаться ему, что он был не прав, думая плохо о ней. Да разве могло быть хоть что-либо недоброе в этой не запятнанной еще пороками, от которых он оберегал ее, просветленно-чистой ее душе? «Я буду счастлив с ней, как я

мог сомневаться, когда столько непосредственности и красоты жизни в этом маленьком существе»,— думал он.

Но вместе с тем как он воображал себе эту свою будущую жизнь с ней (как он вообще любил представлять свой идеал супружества, о котором и сам толком не знал, из чего должен состоять он), вместе с тем как он (что тоже было уже привычно ему) все более проникался настроением, исходившим от Наташи и заражавшим его, он продолжал думать о Тимонине и глубоко презирал этого человека уже не за то, что видел его возле Наташи, а за что-то другое и большее, как он полагал теперь, чем только за *это дурное*, что было так очевидно в нем. И он хотел сказать об этом Наташе. Но он видел, что слова его могли быть восприняты ею по-иному, именно в том значении, какого он не хотел придавать им теперь, и это останавливало его. «И все-таки надо, надо сказать ей»,— думал он, опять и опять побуждаемый (при всем этом своем обновленном взгляде на Тимонина) той первоначальной целью, тем чувством ревности, какое продолжало мучительно беспокоить его. Ему трудно было признать то, в чем он собирался упрекнуть Наташу, и потому вместо упрека лишь вопросительно смотрел на нее, на что она, удивляясь, отвечала:

— Я в чем-нибудь провинилась?

Она была виновата перед ним; но ей так не хотелось, чтобы он знал, что она была виновата, что она невольно делала это удивленное лицо, чтобы успокоить его. «Но что же плохого, если он поговорил со мной?» — вместе с тем спрашивала она себя, стараясь этой простой и ясной как будто фразой оправдать себя. Но она видела, что фраза только звучала оправдательно, но что оправдаться ею было нельзя, потому что разговор ее с Тимониным, и она более чем сознавала это, был не из тех обычных, какие возникают, чтобы провести время. Еще у Лусо она заметила, что Тимонин неспроста подошел к ней и что, главное, ей приятно было это, что он подошел к ней; но тогда она только чуть поволновалась и забыла о нем, а теперь, чувствовала, что не сможет забыть, и как раз это, что знала, что не сможет забыть, счастливо возбуждало ее. Но *это-то* и хотелось скрыть ей от мужа. «Разве я что-нибудь допустила? — думала Наташа.— Я ничего не допустила. Я люблю его (Арсения), а не его»;— говорила она, чтобы успокоить себя, но только

более возбуждаясь и выдавая эту свою возбужденность за общее хорошее настроение.

Пока они шли к электричке, ждали ее и ехали затем до Москвы, успело стемнеть, и они уже по вечерним улицам добирались домой.

— Как я устала,— сейчас же проговорила Наташа, как только очутилась в комнате, произнеся точно те же слова и точно так же, как произносила их ее мать, когда поздно откуда-нибудь возвращалась с отцом.— Помоги, пожалуйста, снять туфли.— И она затем принялась читать письмо от матери, вынутое Арсением из почтового ящика вместе с газетами, пока она вызывала лифт.

— Ну что она пишет? — спросил Арсений.

— Да все хорошо,— не вдаваясь в подробности, которых в счастливом состоянии своем она сама не могла воспринять, сказала она.— Все хорошо,— повторила она.— В деревне, ты знаешь, я сама люблю жить в деревне,— уже не под влиянием письма матери, а от впечатлений дня, проведенного на даче у Карнауховых, проговорила она, хотя всегда прежде, как только отец ее вместе с нею и матерью после отставки поселился в Москве, утверждала, что никогда и ни на что не поменяет столицу.

— Когда домой собираются, не пишет? — пропустив ее слова о деревне, снова спросил Арсений.

— Нет. Да куда им торопиться?

— Ну все же.

— Если ты волнуешься за то,—сказала Наташа, для которой ссора с отцом и вся та история, как она ушла из дома (от этого счастливого восприятия жизни, как она чувствовала себя в замужестве), давно уже не имели того драматического смысла, из-за чего нужно было переживать ей,— то напрасно. Все уладится. Мать все давно уже уладила,— прибавила она, поняв еще из первых писем матери, что все будет самым лучшим образом улажено ею.— Но день-то какой был сегодня, день! — сказала Наташа, уже переодевшись и в рубашке забираясь в постель и укладываясь в ней.— Правда, хорошо было? — спросила она, на что, в сущности, ей не надо было ответа.— Я бы хотела, чтобы у нас было все так. Я бы очень хотела... господи, как хорошо! — сворачиваясь в тот детский клубок, как она любила спать, сказала она с той удовлетворенностью жизнью, какая особенно, когда Арсений слышал ее, радовала его.



Он улыбнулся, искоса посмотрев на ее рассыпанные по подушке волосы и на все молодое и казавшееся ему красивым лицо, но того привычного желания сейчас же лечь к ней не почувствовал в себе. Несмотря на то что ему тоже надо было ложиться и надо было тушить свет, он еще для чего-то потоптался по комнате и затем, как будто вспомнив что-то, подошел к столу и посмотрел на ломик, отобранный им у Юрия и лежавший со вчерашнего дня здесь. Он взял этот ломик, неприятно почувст-

вовав холодную тяжесть его, и оглянулся на Наташу, которая, отвернувшись к стене, уже засыпала своим молодым, крепким сном счастливого человека, и, поняв, что она не видит, что он делал, опять весь обратился к ломику. Но он уже не думал теперь, был ли это предмет насилия или защиты; та металлическая тяжесть, какую он так ясно ощущал в руке, подсказывала ему только, как он сам мог употребить этот предмет; и то страшное дело, в котором главным противником Арсения был Тимонин,— то страшное дело всеми воображенными подробностями опять встало перед ним. «Так, пожалуй, и совершают люди преступления»,— подумал он, кладя ломик на прежнее место, но продолжая смотреть на него так, будто, несмотря на сознание того, что страшное дело всего лишь мысль, болезненное воображение и что на самом деле ничего этого нет и не может быть с ним в жизни, несмотря на это понимание, продолжая смотреть на ломик так, словно предчувствовал, что будто все же связывало его что-то теперь с этим предметом.

XXXIII

В середине ночи, после того как бессонно проворочавшись более двух часов и отыскав наконец положение, в каком он мог заснуть, Арсений был вдруг разбужен какой-то тенью, угрожающе будто нависшей над ним. В первое мгновенье он подумал, что это только показалось ему; но внимательно всмотревшись своими близорукими, как только мог видеть без очков, глазами, он вдруг отчетливо увидел чье-то лицо, смотревшее на него, и руку и какой-то, вроде знакомого уже ему ломика, предмет, занесенный над ним. «Что это?»—не столько подумал, сколько сейчас же ощутил всем своим похолодевшим телом Арсений. Не вполне соображая, что и для чего нужно делать ему, но ясно помня (из всех своих вчерашних впечатлений) о ломике, который лежал перед ним на столе, как можно применить его, с проворством, к какому он никогда, казалось, не был способен, он протянул руку, взял этот тяжелый предмет и, кинувшись на откачнувшуюся перед ним тень, обрушил всю тяжесть руки и ломика на нее. «Ну вот,— сейчас же сказал он себе, пока что-то рухнувшее перед ним еще ворочалось на полу,— ее больше нет, я уничтожил ее!» Он сказал

это прежде, чем произошло все последующее, что заставило ужаснуться его, и в этих произнесенных в первые секунды словах было то главное, что только одно могло оправдать его: что он как будто выступил против силы (когда-то заставившей отца его залезть под полку-нары), которой боялся всю жизнь, но с которой теперь одним этим ударом было решительно покончено им. «Все, ее больше нет, я свободен, ее больше нет»,— вгорячах еще повторил он.

То, что не давало Арсению жить, как он хотел и как считал, что должны жить все люди, и что было противно всем его жизненным убеждениям, он всегда связывал с этой неотвратимой, неуправляемой злой силой. Она попеременно выступала для него в образе то отчима Галины, особенно когда тот был у власти и все в районе подчинялось ему, то брата своей бывшей жены, Дементия, который всякий раз уже одним появлением своим подавлял Арсения, то самой Галины, как он в последнее время воспринимал ее, и в образе усыновленного им Юрия; то тех инстанций, которые все еще одни не сдавали, другие не могли принять выстроенный кооперативный дом, и выдача ордеров на квартиры, то есть то дело, какое так жизненно важно было для Арсения, откладывалось и откладывалось со дня на день; то теперь в образе Тимонина, который стал тем последним звеном в общей цепи событий, когда Арсений уже не мог больше терпеть над собой эту страшную и слепую, противостоящую ему силу и готов был выступить против нее; и он теперь, весь еще возбужденный тем, что совершил, с каким-то злым и радостным чувством продолжал еще держать поднятым перед собой ломик.

— Ты что там делаешь? Кто там? — услышал он голос Наташи, которая, проснувшись, тянулась к настольной лампе, чтобы включить ее.— Кто это? Что?! — после того, как был зажжен свет, спросила она, увидев спросонья только, что Арсений стоял посреди комнаты, с чем-то тяжелым в руке и что у ног его, скорчившись, лежал человек, лица которого невозможно было разглядеть ей.

От головы и плеча этого человека расползалось по полу черное пятно крови.

— Ты что сделал? Кто это? — в ужасе переспросила Наташа, застыв в том положении (с протянутой еще к настольной лампе рукой), как она увидела все.

— Я убил его.

— Кого? За что? Ты что говоришь?!

— Не знаю, но я убил его,— снова и решительно повторил Арсений и, переступив через лежавшего на полу человека, направился к столу взять очки, без которых он чувствовал себя беспомощным.

— Да вот они, вот,— пододвигая к его трясущейся руке очки, сказала Наташа.

Надев очки, но все еще не выпуская ломика, Арсений наклонился над скорченно вздрагивавшим на полу человеком, повернул его голову к себе и по открывшемуся лицу сейчас же узнал Юрия. Глаза Юрия были открыты и были как будто мертвы; но в этом своем мертвом остекленении они так смотрели на Арсения, что он в ужасе откачнулся от этого взгляда и, чтобы не потерять равновесия, уперся было рукой в пол, но угодил ладонью как раз в то теплое и липкое пятно крови, какое расплывалось из-под Юрия. Ужас застывших мальчишеских глаз, и бледно заострившееся лицо, и ощущение липкой крови, от которой Арсений тут же отдернул руку, и, главное, сознание, что это был его сын, так подействовало на Арсения, что он позднее помнил только, что почувствовал тошноту и что падает как раз в это теплое и вязкое пятно крови. Он упал, обмазавшись этой кровью, потеряв сознание и не успев даже подумать, как случилось, что он убил сына. Но случилось же только то, что непременно должно было случиться с Юрием, убежавшим из Курчавина и приехавшим в Москву. Ему понадобились деньги, и достать их проще всего было у отца. Сначала Юрий решил сделать это днем — забраться в комнату и пошарить по ящикам стола и в карманах отцовских пиджаков; но когда не получилось днем, решил повторить ночью и, достав еще один такой же ломик (что было просто сделать ему), какой был отобран у него Арсением, в четвертом часу утра открыл им дверь и проник в комнату. Но прежде чем начать свое дело, решил посмотреть, крепко ли спит отец, и Арсений как раз увидел его в этом наклоненном положении и с ломиком в руке.

Как только Арсений упал, Наташа соскочила с постели и, подбежав и увидев его и Юрия окровавленными, в ужасе схватилась руками за грудь, потом только из того инстинктивного чувства, что надо было что-то предпринимать, с криком: «Помогите!» — выскочила на лестничную клетку, чтобы позвать людей.

В ночной рубашке, обезумевшая, совершенно потерявшая себя, она принялась колотить руками в первую же попавшуюся ей на глаза дверь, отчаянно крича:

— Помогите! Помогите!

Спустя два дня, когда стало известно, что Юрий скончался в больнице и что с Арсением, заключенным в подследственную тюрьму, свидание не разрешено ей, Наташа (она жила теперь у подруги Любы), пришедшая наконец в себя после пережитого потрясения, отправила матери в Мокшу ту самую телеграмму, по которой отец ее, Сергей Иванович, похоронивший Юлию (и в еще худшем состоянии, чем он уезжал из Москвы), выехал в Москву.

Что ожидало его в Москве, он не знал; но всю ночь в поезде он не то чтобы не мог заснуть, но просто не входил в купе и не ложился, а стоял в коридоре у окна и с тяжелым, как будто давившим его предчувствием (что было, он полагал, от похорон Юлии) смотрел, как над подмосковными полями, деревнями и лесом поднималось летнее серое утро.

XXXIV

Дело, какое поручено было возглавить Дорогомилину — строительство песчаногорского птицекомбината,— было так запущено, что его надо было в ы т я г и в а т ь, как говорили ему, характеризуя состояние дел этим уютно прижившимся теперь у нас в разных сферах деятельности словом, и Дорогомилин, долгое время работавший в аппарате обкома, не только был хорошо знаком с этим словом, но и с тем, что означало оно для того, кого направляли в ы т я г и в а т ь что-то,— Дорогомилин, приняв стройку, был вынужден прилагать те усилия, какие одни только могли поправить дело. Ему был хорошо известен весь тот ступенчатый механизм — с какой ступеньки начинать и требовать что! — при помощи которого можно было наладить бесперебойное снабжение стройки кирпичом, бетоном и другими строительными материалами, и механизм этот, как ни трудно было привести его в действие (как ни трудно было заставить тех, кто составлял этот механизм, обратить внимание на нужды сельской стройки), механизм этот от нажатия извест-

ных Дорогомилину пружин был все же приведен им в движение, и замороженно стоявшие по неделям стены будущих производственных корпусов начали заметно тянуться вверх, под стропила, как говорили вокруг. Чтобы еще больше поднять настроение людей (но, в сущности, лишь по-хозяйски отнесясь к делу), Дорогомилин рецил одновременно со строительством основных объектов начать закладку жилого поселка, и это потребовало от него новых усилий. Он был теперь постоянно занят — не телефонными разговорами и чтением бумаг, как это было в обкоме, не подготовкой текстов постановлений, а исполнением тех самых формулировок, какие еще недавно составлял сам и в которых так очевидны были ему теперь неточности и просчеты. И Песчаногорье уже не представлялось серым, сухим и унылым полем, неприятно застланным с утра до ночи красноватой строительной пылью, но сама эта пыль, поднимавшаяся над стройкой, вызывала в нем радостное чувство удовлетворенности, что, несмотря ни на что, он все же вытягивал то, что было поручено вытянуть ему.

Но самым главным, что побуждало Дорогомилина к этой энергичной деятельности, было не только то, что он, как начальник строительства, должен был все выполнить добротно и в срок; он чувствовал себя участником того огромного дела в переустройстве сельскохозяйственного производства, которое вопреки вдруг возродившемуся отчего-то мнению, что будто русского мужика только не надо трогать и тогда он завалит всех хлебом и мясом,— вопреки этому вдруг отчего-то возродившемуся мнению, начало осуществляться в стране. Оно было продиктовано жизнью, то есть теми растущими потребностями городов и промышленных центров и в продуктах питания, удовлетворить которые уже невозможно было только за счет «петушков» и «курочек», выращивавшихся на примитивных колхозных фермах или в частных дворах; нужно было наладить производство (именно п р о и з в о д с т в о, как говорили теперь сельские специалисты, употребляя это новое понятие взамен устаревшего — в ы р а щ и в а н и е) этих «петушков» и «курочек» таким образом, чтобы точно так же по заданному плану, как выпускают готовую продукцию заводы и фабрики, ежедневно и в нужном количестве поставлялась бы в продажу продукция обновленной, индустриализированной деревни. И хотя Дорогомилин, может

быть, не представлял себе во всем объеме этой проблемы, как она уже вставала перед страной, но и в той мере, как понимал ее, было достаточно, чтобы сознавать себя в центре этого огромного государственного дела.

Но в то время как на работе все шло у него хорошо, в обкоме были довольны им («оправдал доверие, ничего не скажешь, оправдал»,— говорили о нем), семейные обстоятельства были так плохи, что составляли самую мучительную сторону жизни Дорогомилина. Ему не хватало не только Ольги, не только Веры Николаевны, этой в большинстве молчаливой с ним, старой, привыкшей к определенному стилю жизни женщины, его тещи, с которой он так и не сумел, как ему казалось, наладить отношений, и не только Евдокии, которая будила его по утрам и подавала завтрак, но не хватало того гостиного мира, тех собиравшихся в его доме людей, которых он хотя и презирал, но которые, как он думал теперь, были все же людьми искусства, были тем обществом, без какого невозможна была бы, как убеждала его Ольга, творческая связь поколений; и он, всегда в душе смеявшийся над этой ее фразой, теперь, в отдалении от Песчаногорья, вглядываясь в то прошлое и видя его уже не таким, как все было на самом деле, испытывал чувство, будто его не то чтобы обманули, но что по глупости и незнанию он обманулся сам, долгое время называя оригинал копией и не признавая его. Он думал обо всем этом болезненно, не находя возможности соединить то, что было для него миром жены и миром интересов и дел, занимавших его; и он так ясно чувствовал это пространство между двумя мирами, в каком он был теперь, что ему казалось, что вокруг возвышались только голые стены этого раздвигавшегося пространства, куда он, так всегда ценивший семью, проваливался все глубже и глубже, не видя, за что можно было бы ухватиться ему.

И все же, как ни очевидна была эта безнадежность, он не допускал мысли, что все было кончено между ним и Ольгой. Несмотря на ее нежелание говорить с ним, несмотря на записку, в которой она сообщила, что не считает возможным быть женою «птицекомбинатчика», как она назвала его, и что для нее смешно и унизительно это; и несмотря на еще и еще множество других поступков, ясно как будто говоривших, что она не хочет

жить с ним, он видел, что она не делала главного — не подавала на развод, — и заключал из этого для себя, что все может еще перемениться и что нужно только время, чтобы все вошло в свои берега. Когда он, бывая в Пензе по вызову ли обкома, по иным ли каким своим делам, заходил домой, он обращал внимание на то, что в доме начиналось запустение, что в гостиной уже не собиралось столько народу по вечерам, как бывало прежде, и что те, кто все же приходил, были малоразговорчивы, были в том как будто дурном, вялом, безжизненном настроении, как пчелы в улье, лишенном матки; и, не зная истинной причины, отчего происходило все, то есть тех замыслов Ольги (уехать в Москву и соединиться с Тимониным), о которых она не говорила даже матери, полагал, что все было из-за него, и возвращался в Песчаногорье всякий раз с надеждой, что Ольга заметит это и позовет его.

Но время шло, а положение Дорогомилина по-прежнему оставалось неопределенным, и он только не хотел признать это и всячески старался поддержать и среди бывших своих обкомовских сотрудников и в кругу новых знакомых, с кем работал теперь в Песчаногорье, то привычное о себе мнение, что и в личной жизни у него все так же благополучно, как и в общественной. Для чего это надо было ему, он не знал, но он чувствовал, что это было надо, что в этом было что-то престижное, из чего люди заключают, насколько порядочен и основателен тот или иной человек.

XXXV

В начале августа Дорогомилин должен был в составе делегации советских специалистов выехать в Венгрию, чтобы ознакомиться там с работой птицекомплексов Агард и Баболна, и поездка эта, чем ближе подвигалось время отъезда, тем сильнее занимала его, но не столько своей деловой стороной, ч т о он мог увидеть в Венгрии (что одна только Баболна давала сто пятьдесят миллионов готовой птицы в год!), сколько тем, что в Москве, пока будут оформляться выездные документы, он сможет уладить свои семейные и иные дела. Он знал, что Ольга уже больше месяца как была в Москве (по

издательским, как она сказала дома, вопросам), и он рассчитывал найти ее и поговорить с ней.

Но, попав в Москву, он не то чтобы не смог выбрать время, чтобы встретиться с Ольгой, но вся та деловая сторона столичной жизни, как только Дорогомилин соприкоснулся с ней, произвела на него такое сильное впечатление, что своя семейная неурядица показалась делом настолько мелочным, ничтожным в сравнении со всем тем, что поразило его, что как только он начинал теперь думать об этом своем семейном деле, испытывал чувство, подобное тому, как если бы по рассеянности (или по старости, как это иногда случается с людьми) вышел к столу с незастегнутой ширинкой. Всего-то бы — провести рукой и застегнуть пуговицу, но делать это на людях было неудобно, надо было искать положение, чтобы выглядеть так же прилично, как все, и Дорогомилин именно искал это положение, чтобы не было никому заметно то мучительное, что занимало его. Выполнив все требовавшиеся формальности и получив паспорт с визой, билет и два свободных дня — субботу и воскресенье,— которые как раз и можно было потратить на поиски Ольги, он, вместо того чтобы искать ее, сел в электричку и уехал в Одинцово, небольшой подмосковный городок, где жил его двоюродный брат, известный в московских кругах юрист Николай Николаевич Кошелев со своим редким по теперешним временам многочисленным и дружным семейством.

Семейство его состояло из девяти человек: он с женой, тесть, теща, пятеро детей, старший из которых, Матвей Николаевич, как теперь в шутку все в доме называли его, поступал в этом году в институт, а четверо других — две девочки и два мальчика — были еще школьниками, были теми как будто беззаботно росшими веселыми и шумными детьми, которые, как это бывает обычно, приносили пока больше хлопот, чем радостей; но ни сам Николай Николаевич, ни его жена Лора, ни старики, у которых имелась своя комната в доме, как ни трудно приходилось иногда им, не только не жаловались на эти связанные с детьми трудности, но не могли бы представить себе иной жизни, чем эта, какою жили теперь. Работал Николай Николаевич в Москве, и хотя не раз возникала у него возможность переехать туда, он не решился сделать этого сперва потому, что предлагавшиеся квартиры, он видел, были тесны для его все разра-

ставшегося семейства (да и стариков нельзя было оставить, так как невозможно было бы Ларисе одной управиться с детьми), но потом, по мере того как увеличивалось в городе машин, как наполнялись гарью и шумом улицы, не переезжал уже потому, что чистый одинцовский воздух и тишина того окраинного переулка, где стоял приобретенный им уже после войны огромный каменный дом с участком леса и сада, представлялся ему тем единственно сохранившимся как будто среди асфальта, стекла и бетона островком живой (по его же выражению) жизни, где можно было еще дышать, ходить по траве, видеть росу, слышать пение птиц и знать, что есть день и есть ночь, а не только однообразный, холодный свет фонарей, с вечера и до утра заливавший проспекты и площади столицы. Он любил этот свой дом; любил точно так же, как любил жизнь с ее бесконечными сложностями, поиском истин и совершенства, без чего невозможно, как говорил он, никакое движение: как любил, уйдя в летний сад и покачиваясь в плетеном кресле, полистать воскресные выпуски газет, остановив взгляд на тех страницах, где печатались происшествия, фельетоны и всякого рода иная развлекательная как будто информация, по которой он, как юрист, при помощи различных своих умопостроений определял для себя современное нравственное состояние общества; как он любил сырники по утрам, готовившиеся и подававшиеся тещей, и любил ощущение дороги, когда, позавтракав, мчался по Минскому шоссе в своем бежевом «Москвиче» на работу; как он любил ходить по лесным полянам в шортах, открывавших его иссиня-белые по весне ноги в стоптанных сандалиях, столько раз намокавших и высыхавших, что им, казалось, уже не грозило быть более сношенными, и в столь же древней соломенной шляпе, под которой все меньше и меньше оставалось на голове волос; он любил дом точно так же, как и все, что окружало его и было привычным, и, может быть, именно потому, как ни сложна была его адвокатская деятельность, требовавшая определенного напряжения сил, в свои пятьдесят два года он оставался таким же спокойным, уравновешенным и веселым человеком, каким был в двадцать, тридцать и сорок лет.

Известность же свою в юридических кругах он приобрел после одного из крупных и шумных (в начале пятидесятых годов) судебных процессов, на котором вы-

ступил в роли защитника. Вскоре после процесса он был избран членом Президиума коллегии адвокатов, положение его в обществе укрепилось, и так как он, как и большинство юристов, имел склонность к журналистской деятельности, он постепенно начал выступать в периодической печати со статьями на моральные и нравственно-этические темы. Статьи эти приносили ему и дополнительную известность и деньги, которые были необходимы, чтобы содержать в достатке многочисленное семейство, и хотя свою журналистскую деятельность он шутливо называл «мое хобби», на самом деле нравственные вопросы глубоко занимали его. И чем больше он вникал в них (чем больше публиковал статей, повторявших пока лишь известные положения), тем очевиднее становилось ему, что что-то главное, что надо было сказать людям, ускользало от него. Прислушавшись к тем раздававшимся (в те годы) из разных слоев общества голосам, что от людей нельзя скрывать всей правды, что умолчание правды есть преступление, должное непременно (и нехорошо!) сказаться на будущих поколениях, но не уяснив, что же следует вкладывать в это понятие п р а в д ы, он вдруг решительно выступил в одной из своих брошюр в защиту этого, в сущности, никогда и никем не опровергавшегося тезиса, и ему сейчас же был печатно задан вопрос: о какой правде он ведет речь? О правде, размывающей историю, или правде, утверждающей ее? Правде, к примеру, Бородина или правде дворцовых интриг и планов разных пфулей и бенигсенов, поставивших в свое время русское войско в самое невыгодное положение перед армиями Наполеона? Оскорбившись, что его не захотели понять, но затем поразмыслив, Кошелев пришел к выводу, что вопрос этот был вполне справедливо задан ему и что на него надо было отвечать; но он чувствовал, что однозначно ответить на него нельзя, и как раз в эти дни, когда мучительно обдумывал, как же все-таки он должен ответить своим публичным оппонентам, вдруг, выйдя августовским утром на крыльцо, увидел перед собой неуклюжую и долговязую фигуру Семена Дорогомилина.

— Кого вижу, вот так номер, кого вижу! — сейчас же воскликнул он, сверху, с крыльца, глядя на загоревшее (на стройке) и мрачное (от семейных неурядиц) лицо брата.— Один? Надолго? Ну рад, рад, хотя... мог бы и позвонить,— не давая ответить Дорогоми-

лину и спускаясь к нему, чтобы обнять его, сказал Кошелев.

Он был в тех самых шортах, сандалиях и шляпе, как он любил ходить на прогулку, и был весел после хорошего сна и завтрака. Он намеревался, пройдясь по полянам, сесть за письменный стол и начать наконец эту свою ответную брошюру, которая никак пока не давалась ему, но теперь, при виде брата, не то чтобы сейчас же забыл о своем деле, но по известной поговорке, что на ловца и зверь бежит, мгновенно увидел в этом неожиданном появлении Дорогомилина ту для себя возможность уточнить свои мысли (то есть утвердиться в том, в чем он еще колебался и чего недоставало ему, чтобы начать брошюру), что можно было сделать только лишь в разговоре с братом, с которым можно было быть породственному откровенным и от которого в то же время можно было услышать вполне определенное как от знающего обкомовского работника мнение. «Как ты вовремя, как я рад»,— продолжал еще восклицать Кошелев, не произнося вслух этих слов, но выражением глаз стараясь передать их брату.

— То-то Лора вчера говорит: забыл нас что-то Семен, а ты, ну, легок на помине, скажу, ну, легок,— еще держа руку на плече брата, сказал он.— Из Пензы? Один? Надолго? — И он опять спросил то, о чем минутою раньше уже спрашивал Дорогомилина и на что не дал возможности ответить ему.—На совещание? На семинар?

— Нет. Еду в Венгрию.

— Как в Венгрию? — удивился Кошелев, хорошо знавший, что по той должности, какую Дорогомилин занимал в обкоме, его не должны были как будто послать за границу.— Ну так и хорошо, так и прекрасно, и поезжай,— вместе с тем проговорил он.— Но что же мы стоим здесь, у порога? Давай в дом, ты не представляешь, как я рад видеть тебя, и у меня есть о чем поговорить и посоветоваться с тобой,— сказал он, в то время как уже заметил, что брат был как будто расстроен чем-то.— Завтракал? Нет? — еще спросил он, пропуская вперед брата.

XXXVI

Очутившись в той большой комнате, где Кошелевы обычно принимали гостей, поздоровавшись с Лорой и детьми, которым он дал по плитке шоколада, купленно-

го им в последний момент на Белорусском вокзале, и сев затем в предложенное ему кресло (напротив брата и Лоры, успевших уже устроиться на стульях перед ним), Дорогомилин сейчас же ощутил ту как будто неуловимо из чего и как складывающуюся домашнюю атмосферу жизни, какой всегда недоставало ему у себя дома и какой он завидовал, бывая здесь, у брата. Ему казалось, что брат сумел поставить себя в семье, но что он, Семен, не сумел сделать этого; и в том состоянии ссоры с Ольгой, в каком он был все эти последние месяцы, особенно остро почувствовал теперь это различие между собой и братом Николаем. «Вот так, наверное, и надо жить: проще, проще»,— невольно и про себя произнес он то, что всякий раз говорил себе, бывая у брата и видя только эту внешнюю сторону его жизни, то есть то привлекательное, что было лишь результатом усилий, из чего складывается благополучие и счастье, но не сами те усилия, от которых зависит все. Он восторгался семейной жизнью Кошелевых точно так же, как прохожие восторгаются иногда красиво одетым ухоженным ребенком, которого мать ведет за ручку по саду, забывая, что и за этим ребенком (как и за всяким другим) немало было стирано пеленок, немало было проведено у его кроватки бессонных ночей, было разных тревог, огорчений, радостей и прочего и прочего, что остается невидимым за этой минутою торжества матери, когда она как бы выставляет (вольно или невольно) плоды своего труда на обозрение людям. Кошелевы как будто не выставляли этих плодов своего труда, но жавшиеся возле матери девочки, которыми любовался теперь Дорогомилин, проникаясь их веселым настроением и улыбаясь им, казались такими ухоженными, такими счастливыми (тем своим счастьем, что они любимы всеми), что на них нельзя было смотреть иначе чем так, как он смотрел на них.

Точно то же впечатление производили и мальчики, только что, до прихода Дорогомилина, занимавшиеся чем-то у окна и теперь смотревшие на своего дядю из Пензы, который отчего-то, что было непонятно им, редко бывал у них, но о котором (из разговоров родителей) они знали, что он там, у себя дома, большой человек! Оба мальчика — Владимир и Александр —были, как и отец, в шортах и светлых разного оттенка рубашках, сшитых Лорой, как и платьица, что были на девочках, и еще мно-

гое из того, что она носила сама и носил муж; она не была портнихой и ни у кого не училась этому мастерству, но была из тех любительниц этого дела, у которых благодаря их стараниям обычно получается не хуже, а иногда лучше, чем у мастериц; и хотя Лора хорошо знала о себе это, но все же теперь, перехватив взгляд Дорогомилина и по-своему поняв его (поняв, что интересовало его в ее детях), торопливо взглянула на Владимира, Александра и девочек, так ли все было на них, и не проступала ли в их одежде ее домашняя самодеятельность. Ей хотелось посторонним взглядом посмотреть на них, но как она ни старалась увидеть то, что насторожило бы ее, она увидела только то, что видела всегда и что представлялось ей приличным и красиво сидевшим на них. Она снова обернулась к Дорогомилину и, уловив по выражению его глаз, что он любуется ее детьми (и что ими действительно нельзя было не любоваться!), вдруг, как будто застеснявшись чего-то хорошего, что она хотела сделать незаметно, но что открылось и было теперь видно всем, краснея, притянула к себе девочек и, одинаково выказывая любовь к ним, поочередно поцеловала их в темные причесанные головки.

— Идите играть, идите,— сказала она, и лицо ее еще сильнее залилось тем светлым румянцем, какой происходил не столько от неловкости, что она была теперь в центре внимания, сколько от радости, поднимавшейся в ней от сознания того, что, несмотря на всю неожиданность появления Дорогомилина, она не только не была застигнута врасплох (как это бывает у ленивых и неряшливых хозяек), но что все выглядело у нее (все — было для нее ее дети) ничуть не хуже, чем если бы она знала о приезде деверя и готовилась к встрече с ним.

«Вот истинное назначение женщины,— подумал Дорогомилин, в то время как он смотрел уже не на девочек, а на то, как мать ласково целовала их.— Как они должны быть счастливы все!» И он сейчас же представил Ольгу и свой образ жизни с ней. «Да, да, вот истинное назначение»,— повторил он, чувствуя, что, несмотря на всю свою любовь к Ольге и то понимание, с каким теперь, не видя ее, относился к ней, был весь на стороне Лоры и точно так же, как и Лора, но только от этой своей мысли, что он как будто предавал жену, весь ото лба, от корешков волос до шеи залился тем же светлым

румянцем смущения. Он знал, что красота Ольги давалась ей тем, что она постоянно следила за собой; она не позволяла себе есть то, от чего могла пополнеть, каждое утро взвешивалась на весах, которые она держала в спальне, и употребляла всевозможные кремы для укрепления волос (отчего, наверное, они как раз и выпадали) и белизны, если было модно, или смуглости кожи; он знал это за Ольгой и чувствовал всю искусственность ее красоты. Но то, что с таким трудом давалось Ольге, он видел, было как будто безо всяких усилий у Лоры, было как бы естественным состоянием ее жизни, и потому в красоте ее чувствовалось больше женственности, чем в красоте Ольги. Лора не то чтобы была худа, но просто не была так полна, чтобы нельзя было различить всех изгибов ее стройного и молодого еще тела; лицо ее было всегда смуглым, а волосы так густы, что, казалось, их трудно было собрать в пучок и заколоть на затылке; и все же они всегда были аккуратно подобраны и заколоты и придавали ее голове ту особенную, классическую форму, когда все в женщине представляется красиво соразмерным: и плечи, и шея, и грудь, и руки, которые Лора теперь, отпустив девочек, держала перед собой на коленях. «Да, назначение именно в этом»,— еще раз повторил он, отводя взгляд от Лоры и еще заметнее краснея, но уже не оттого, что близко и понятно было ему ее материнство, но от другого, что он всегда испытывал при виде ее: что и он, как и двоюродный брат Николай, мог бы быть вполне счастливым с ней.

XXXVII

После коротких взаимных вопросов, как здоровье, как жизнь, как дела и т. п., Дорогомилин, несмотря на возражения, что уже завтракал в гостинице, был приглашен к столу, и мясной пирог, чай со сливками и варенье, поданные ему, веселая возбужденность Николая Николаевича, еще находившегося под тем своим впечатлением, что «на ловца и зверь бежит» (что вот этой-то встречи с братом и не хватало, чтобы засесть за брошюру!), стеснительная суетливость Лоры, которая в отличие от мужа и заметила и догадалась, отчего так деверь смотрел на нее, и вся продолжала еще как бы светиться тем румянцем смущения, который только более молодил ее гладкое и красивое лицо, и основательность и серьез-

ность стариков (тестя и тещи Николая Николаевича), вышедших посмотреть на гостя и перебросить словом с ним, лишь усилили в Дорогомилине то чувство теплоты, уюта и расположения, какое он с удовольствием теперь испытывал в семье брата. Он снова подумал, что здесь не было тех ложных гостиных отношений, какие создавала в его доме Ольга, а было, казалось, только то простое, естественное, что напоминало Дорогомилину родительский дом; и напоминало то крестьянское, от чего он, несмотря как будто на всю приближенность свою (по работе) к сельской жизни, был, в сущности, более отдален, чем его брат Николай. И дело заключалось не в ситцевых занавесках и тех скобленных ножами дубовых столах, некрашеных скамьях и табуретках, что одно только (по какой-то давней и странной традиции) может как будто характеризовать крестьянский быт и чего, разумеется, не было в доме Кошелевых, и не в коврах и картинах (как бы в противоположность крестьянскому), которых у Кошелевых было не меньше, чем у Дорогомилина, и не в фарфоре, хрустале и нарядах, что выпирает иногда в обеспеченных семьях; все заключалось в другом — в той соразмерности всего, что можно было видеть и чувствовать и нельзя было объяснить и разложить на составные части. Николай Николаевич никогда не думал о себе, что он примерный семьянин (как не думали об этом Лора и все остальные члены семьи), и не делил свою жизнь на ту, которая была бы для себя, и ту, которая была бы для людей, то есть по которой могло бы складываться о нем общественное мнение; он не д е л а л, как это принято говорить теперь, жизнь, а жил ею, глядя на все вокруг себя тем простым взглядом, что все разумное, справедливое надо поддерживать, а неразумное, злое пресекать, суть которого он никогда не пытался философски сформулировать для себя (тем более сформулировать это в своих брошюрах), но именно эта неписаная философия жизни как раз и делала его человеком мягким, открытым и доброжелательным к людям. То, что Дорогомилину представлялось чем-то особенным, что должно было как будто быть в брате, умевшем так поставить семью, было на самом деле так просто, так просто, что невозможно было поверить, чтобы все заключалось именно в этом; и Дорогомилин, как и брат, хорошо знавший эту философию жизни, не верил все же, чтобы вся мудрость состояла только в э т о м и чтобы не

было чего-то более сложного, чем бы руководствовался брат в делах и поступках.

— Не могу понять: столько детей и так у тебя все складно,— как-то, не выдержав, сказал Дорогомилин брату.

— Детей народить — невелика хитрость.

— Нет, Николай, я удивляюсь тебе, — подтвердил Дорогомилин.

— А ты-то что отстаешь? Ольга не хочет?

— Но она же литератор,— сейчас же возразил он.

Николай Николаевич только пожал плечами, ничего не ответил, и Дорогомилин понял, что аргумент его не был принят; и он впервые после того разговора усомнился в правоте Ольги. «А не обкрадываем ли мы себя?» — подумал он, и сомнение то теперь, когда он так чувствовал семейную атмосферу брата, вновь беспокойно шевельнулось в нем. В то время как Лора вставала, чтобы подать что-то на стол или убрать с него, он смотрел на нее, но не на лицо, плечи и волосы, а на то, что было на уровне его глаз (было ниже ее груди), и сейчас же смущенно краснел от той мысли, какая приходила ему, что она пятерых детей родила Николаю. И он тут же вспоминал Ольгу с ее суховатыми бедрами (и всей той предусмотрительностью, чтобы не зачать, как говорила она, словно чем-то ледяным окатывая его всякий раз перед супружеской близостью), и несмотря на то, что Дорогомилин сознавал, что нехорошо было думать так, как он думал теперь о своей жене и жене брата, он никак не мог отделаться от мысли, как бы он жил не с Ольгой, а с Лорой и как бы все раскрепощенно и естественно было у него с ней в этой жизни. Он слышал, что говорили ему Николай Николаевич, Лора, старики, но позднее, когда пытался припомнить, о чем шел разговор, не мог ничего воспроизвести в памяти; лишь когда Лора, а потом и старики вышли из кухни и Дорогомилин остался один с братом, к нему наконец вернулось то спокойствие, когда он, помрачнев и остыв лицом, стал рассудительно отвечать брату.

— Ну что Ольга?! Что Ольга?! — лишь на этот вопрос о жене вспыльчиво проговорил Дорогомилин, и Николай Николаевич, догадывавшийся о семейных неурядицах брата, больше не спрашивал его о жене.— Живет, пишет, печатает. Ты вот обо мне спроси.— И с той насмешкою, с какой еще минуту назад Дорогомилин не ду-

мал говорить о себе, он рассказал, как из аппарата обкома был б р о ш е н на строительство птицекомбината, чтобы в ы т я г и в а т ь его.

— Это что, повышение или понижение? — поинтересовался Николай Николаевич.

— А я, знаешь, как-то не думал об этом,— сейчас же ответил Дорогомилин, для которого вопрос этот и в самом деле существовал только в той связи, что еще прежде ему задала его Ольга.— По крайней мере у меня теперь конкретное дело,— вместо того, чтобы сказать, как он сказал Ольге, что так неправомерно и нельзя ставить вопрос, уклончиво проговорил он.

— Важно, разумеется, что пост. Это важно,— согласился Николай Николаевич.— Но вы-то там у себя, на конкретных делах, вы-то хоть следите за нашей нравственной перепалкой? — затем спросил он, подчеркнуто произнеся это «нравственной», чтобы начать ту самую беседу с братом, какую давно уже хотелось повести ему.— Читал, как всепублично отхлестали меня?

— Нет. За что же?

— За правду,— просто и спокойно сказал Николай Николаевич.

— За какую правду?

— Вот-вот, видишь, и ты говоришь: за какую? А разве есть правда, которую можно назвать неправдой? Или неправда, которую можно назвать правдой? Правда одна, только то, что есть правда, и тут невозможно никакое деление. Правда, высказанная наполовину, это ложь,— сказал Кошелев, сосредоточенно соединяя брови, как делал это, когда ему надо было на несколько ходов вперед продумать то, что он хотел сказать. Он сидел перед Дорогомилиным во всей той одежде — сандалиях, шортах и со шляпою, которую держал на голых коленях, в какой собирался пойти на прогулку; но при всем этом внешнем впечатлении, что он как будто и теперь торопился куда-то, по выражению лица его было видно, что он основательно намеревался поговорить с братом.— Как ты смотришь на эту проблему? — спросил он.

— То есть в каком смысле?

— В прямóм, разумеется.

— Ну, прежде всего ты неправильно понял мой вопрос,— ответил Дорогомилин, охотно вступая в разговор, который, во-первых, отвлекал его от неприятных дум,

и, во-вторых, надо же было как-то провести время у брата, и этот ни к чему не обязывающий общий разговор вполне удовлетворял Дорогомилина.— Я имел в виду: значительная или незначительная правда, стоило или не стоило из-за нее копья ломать?

— Нет, дело в принципе,— возразил Николай Николаевич.— Я, например, убежден, что людям всегда надо говорить правду всю как она есть: и в плане сегодняшнего дня и, разумеется, в историческом плане.

— А кто у нас запрещает это?

— Но мне публично задают вопрос, какую правду я имею в виду, — продолжал свое Николай Николаевич.— И теперь я уже сам себя спрашиваю: что же выходит, что всякие исторические события подразделяются на ту правду, о которой следует говорить, и ту, о которой не следует, на ту, которая нужна народу, и ту, которая не нужна? А кто это должен определять? Народ? Как, позволительно узнать? Каким образом? Вот ты больше меня общаешься с народом, можно сказать, там у самых корней, так вот скажи, как народ смотрит на это дело? Как смотрят на все это простые люди?

— Народ? — с улыбкою переспросил Дорогомилин.— Народ работает, и если хочешь, никакого дела нет ему до ваших схоластических споров. Да ему и неинтересно это. Для народа правда только одна — жизнь! Или она хороша, или она плоха; или есть у человека достаток, или его нет, и тогда народ старается, чтобы достаток этот был. И если он удовлетворен жизнью, он готов сделать все, чтобы защитить ее.

— Но жизнь-то надо направлять, от чего-то отталкиваться, что-то принимать, что-то отрицать, а значит, знать и учитывать все. Все! — повторил Кошелев, в то время как на кухню снова вошла Лора, вся правда которой теперь, кажется, состояла только в том, чтобы как можно лучше приготовить обед для семьи и гостя.

XXXVIII

Николай Николаевич с братом перешли в большую комнату, чтобы продолжить разговор. Но разговор их, в сущности, был уже нарушен той чувствовавшейся в доме суетой, как это бывает обычно в больших семьях при появлении гостя, которая происходила от возбужденного состояния и детей и взрослых, желавших угодить

гостю и побыть с ним. В комнате то и дело оказывались то девочки, то мальчики, заходившие как будто за чем-то своим, но с очевидным намерением побыть с дядей и что-то смешное или доброе услышать от него. Лора же без конца совещалась с матерью, выбирая, что приготовить и подать к столу, чтобы деверь остался довольным, и несколько раз на этот свой совет вызывала Николая Николаевича, который, однако, говорил им только, что все, что они задумали, было хорошо и надо было делать (хорошо в том смысле, что сам он был огражден от участия в этом деле); в конце концов, чтобы не стеснять женщин и не стеснять себя их хозяйской суетою, он решил, что лучше всего было пригласить брата на прогулку.

— Ну так как? Не пожалеешь,— сказал он брату.

И спустя четверть часа Дорогомилин вслед за Николаем Николаевичем, размашисто шагавшим впереди, уже подходил к тем самым полянам — излюбленному месту прогулок брата,— которые и в самом деле выглядели так живописно со всеми своими свежесметанными стожками сена, что не только не напоминали о близости Москвы или вообще какого-либо большого или маленького города, но, напротив, создавали впечатление, будто весь тот современный суетный мир с его техникой, всевозможными унификациями и скоростями был лишь странно приснившимся нереальным сном, но что та крестьянская жизнь, как она тысячелетиями протекала на этой земле, протекала и теперь, не меняясь и не утрачивая своей притягательной силы. И сила эта сейчас же заставила и Кошелева и Дорогомилина остановиться и посмотреть на стожки.

— Н-ну? — сказал Кошелев, довольный тем, что привел сюда брата.— Каково? — добавил он затем, как будто показывал результат своего труда.

— Ты чем хочешь удивить меня? — спросил Дорогомилин.

— Но... все же?

— Если бы мы на таком уровне — граблями да вилами — вели наше сельское хозяйство, мы давно бы уже по миру пошли,— сказал Дорогомилин, улыбаясь и чувствуя, что отвечает не на то, о чем спрашивают его.— Нас теперь радует другое.

— Я понимаю,— согласился Николай Николаевич.— Но обрати внимание: что там? — И он показал в сторо-

ну Москвы, лежавшей где-то за лесом.— И что здесь? И я не могу отказаться ни от того, что там,— он снова показал в сторону Москвы,— ни от этого, что здесь.

— Ну и что?

— Там — я работаю, здесь — отдыхаю душой.

— Для тебя так, а для другого наоборот — здесь работа, а там отдых. Естественно, объяснимо и просто, если хочешь.

— Просто, да и не просто,— сказал Николай Николаевич, как бы оставляя еще за собой право вернуться к этому разговору.

Они двинулись дальше, уже по открытому пространству, и справа и слева от них, то расступаясь перед ними, то будто опять сходясь, стоял в полуденном безветрии лес с орешником и подлеском. Все вокруг было залито теплым августовским солнцем, Николай Николаевич снял рубашку, чтобы немного позагорать, как пояснил он, и Дорогомилин, так как брат по-прежнему шел впереди, видел теперь его голую спину, сплошь покрытую крупными старческими веснушками. «Берут годы»,— подумал Дорогомилин, в то время как брат Николай, приостановившись и обернувшись, вдруг и решительно опять заговорил о том своем деле, которое, как видно, во все время пути продолжало молча занимать его.

— Так ты все-таки скажи мне,— сказал он,— правомерно ли так ставить вопрос — о какой правде идет речь? — или неправомерно?

— Если бы ты попросил меня рассчитать котлован под фундамент,— ответил Дорогомилин с той уклончивостью, как если бы говорил не с близким себе человеком, а с кем-то посторонним, по служебным делам пришедшим к нему,— я бы не задумываясь сделал это. Но ты просишь такое, в чем я не компетентен помочь тебе.

— А кто же тогда компетентен? — возразил Николай Николаевич.— Давай порассуждаем.— Он свернул с тропинки и, пройдя шагов двадцать к лесу, сел в тени на поваленное сухое дерево и надел рубашку.— Садись,— предложил он Дорогомилину.— Так давай порассуждаем. Мне важно, как ты смотришь на это дело,— сказал он, нажимая на слово «ты» и как бы подчеркивая этим, что, во-первых, говорит все же с братом и, во-вторых, с человеком, так ли, иначе ли, но близко стоящим к партийному руководству.

— Как я смотрю... но как я могу смотреть? — в свою очередь возразил Дорогомилин.— Я знаю, что партия всегда учила и учит говорить людям правду, и я вижу, так оно и есть. А твои рассуждения — это седьмая вода на киселе. Ведь ничего конкретного у тебя нет, только понятия и фразы.

— Ну нет, изволь, пожалуйста,— сейчас же суетно начал Николай Николаевич и стал приводить тот самый пример, какой приводился в статье, критиковавшей его. — В чем, скажем так, правда восемьсот двенадцатого года? В Бородинском сражении? Или в том, почему мы вынуждены были бежать до Бородина, чтобы наконец там дать сражение? Только ли в конечном результате или же и в причинах? — И в то время, как Дорогомилин собрался было уже что-то ответить, Николай Николаевич вновь и запальчиво перебил его: — В этом ли нашем русском патриотизме, что мы сожгли Москву, как нас уверяют теперь (хотя я сомневаюсь, чтобы мы, именно мы сделали это!), или, наконец, в том, почему все же случилось так, что Наполеона допустили к Москве и позволили ему сжечь ее? Я знаю, что ты ответишь,— тут же сказал Николай Николаевич.— Что есть одна правда — правда Бородина. Но так ли, подумай, так ли только? — И, говоря это, он так напряженно смотрел на брата, что как будто готов был вот-вот вскочить и бежать куда-то.

— А что тебя так волнует двенадцатый год? — спросил Дорогомилин.

— Но ты же хотел конкретное.

— Не хитри, Николай. Передо мной-то не хитри,— сказал Дорогомилин с той улыбкою, что он наконец понял, чего хотел от него брат.— Тебе нужен не двенадцатый, а сорок первый и сорок пятый, так с этого бы и начинал и не морочил мне голову. А то: правда, правда... Чувствую, что что-то тут зашито, а что?.. Так вот что я скажу тебе на все твои зигзаги: правда одна, и не в том, что фашисты топтались у стен Москвы, а в том, что мы взяли рейхстаг и Гитлер был вынужден сжечь себя и пустить пепел по ветру. Нет, не перебивай,— предупредительно подняв руку, попросил Дорогомилин.— Я слушал тебя, теперь слушай ты. Ты хотел знать мое мнение? — с тем ощущением, что он говорит не только от себя, но выражает общенародный, общепартийный взгляд на все дело, продолжил он.— Пожалуйста. Я не одобряю ваш спор. Как фронтовику и как русскому че-

ловеку вообще мне непонятно, для чего и зачем возник этот спор. Для чего нам изображать войну так, будто мы только и делали что подсиживали друг друга (в большом ли, малом — все равно!), а не сражались с немцами? Да и так ли было все? Нет. Ты же знаешь, и враг был, что называется, и мы, несмотря ни на что, дошли до Берлина. А все наслоения, которые сейчас этак щекочут общественное мнение,— все эти наслоения уйдут, и в памяти народной, как и в истории, останется только одно — победа.

— А правильно ли и хорошо это?

— Правильно ли, хорошо ли, да от нас просто не зависит. Какой же народ позволит, чтобы усилия его были сведены на нет? Ты посмотри, что делается на Западе? Там так пишут о войне, что не только свои куцые и сомнительные победы, но и даже поражения пытаются представить в самом выгодном для них свете. А мы, что же, победы наши должны обращать в поражения? Не понимаю и никогда не пойму этого. И народ не поймет. Так что конечная и главная правда — правда Бородина, правда народных усилий, а не дворцовых интриг и бездарных распоряжений. Схоластичен ваш спор, Николай, и он отпадет, как сухой лист, и сгниет в почве.

— Что касается Запада, да, но у них там свои цели,— сказал Николай Николаевич, который не мог так сразу согласиться с братом, хотя и чувствовал в душе, что брат прав и что нельзя не согласиться с ним.

XXXIX

Пора было идти домой, и Николай Николаевич сказал об этом.

Но и сам он и Дорогомилин продолжали еще некоторое время сидеть, молчаливо поглядывая на поляну, лес и небо, открывавшиеся им. На поляне то появлялись люди — одни шли от города к прудам, другие уже от прудов к городу,— то поляна опять пустела и только видны были на ней те самые стожки сена, которые столько чувств, как снова заметил Николай Николаевич, пробуждали в нем и на которые с совершенным спокойствием смотрел Дорогомилин.

— Нет, что бы там ни говорили, а природа — великое дело,— наконец растроганно заключил Кошелев.— И глазом и сердцем — всем отдыхаешь.

— Великое дело: и хлеб растить и спутник запустить. Да и что теперь не великое? Ты процессы еще ведешь? — спросил Дорогомилин.

— Как же, хлеб мой.

— И много? Дел-то?

— Нет, я бы не сказал. Нет, не очень.

К вопросу о правде уже не возвращались: Николай Николаевич — потому что не видел возможности спорить с братом и чувствовал, что надо было еще обдумать все (он только заметил про себя, что между статьей, критиковавшей его, и словами брата было что-то общее, к чему нельзя было не прислушаться); Дорогомилин же — потому что вопрос этот (вопрос о правде) ни теперь, ни прежде (так как все было для него ясно в нем) не занимал его; его занимало свое — Ольга, о которой он ни на минуту еще, казалось, не забывал во все это утро, пока был с братом.

Ему снова приходило в голову, что, может быть, все же надо было найти Ольгу и поговорить с ней, и он перебирал в памяти тех общих знакомых, у кого она могла остановиться в Москве. Впереди было еще воскресенье, и можно было успеть сделать это. Но на это надо было решиться, надо было преодолеть то препятствие, которого он не видел, но которое всякий раз, как только он готов был сказать себе: «Да, надо поехать», сейчас же возникало перед ним и останавливало его. Препятствием этим была обычная человеческая гордость, которая не давала унизиться ему (то есть сделать насильственно то, что должно было, как он полагал, разуметься само собой); и тем непреодолимее это препятствие казалось ему теперь, когда он все еще как бы видел перед собой просветленное лицо Лоры и чувствовал всю семейную атмосферу брата. «Или ему повезло, или он все же как-то сумел организовать в доме»,— опять и невольно подумал Дорогомилин о брате. Ему захотелось спросить брата об этом, но все то же препятствие не позволило сделать и это, и он только продолжал (в согласии лишь со своей логикой) соединять и сравнивать то, что, в сущности, было несравнимо, несоединимо и имело совсем иные начала и корни.

Но, как это часто бывает, в то время как Дорогомилин был как будто всецело занят своими мыслями и с безразличием смотрел на стожки, лес, поляну и людей, проходивших по ней, он сейчас же и еще издали заме-

тил, едва только молодой человек с мольбертом (и девушкой рядом) вступил на поляну, что было что-то знакомое в нем. «Кто?» — подумал Дорогомилин, вглядываясь и чувствуя (чем ближе подходил молодой человек), что ошибки не было и что, несмотря на всю невероятность, он все же видел теперь хорошо знакомого себе человека.

— Да это же Митя! Гаврилов! — не совсем еще различая лицо Мити, но уже ясно сознавая, что это он, воскликнул Дорогомилин и встал, чтобы пойти навстречу ему.— Митя! Митя! Дмитрий! — взмахивая рукою, крича и оставляя позади себя удивленно и озадаченно смотревшего на все брата, кинулся Дорогомилин навстречу Мите.— Митя! Дмитрий! — И пока Митя, остановившись и повернув свое широкое, с белесоватыми бровями лицо, смотрел на Дорогомилина, тот продолжал торопливо приближаться к нему.— Ты как здесь? Откуда? Каким образом? — сейчас же обрушил он этот перечень вопросов с той своей отеческой интонацией, как он обычно разговаривал с Митей (и с тем ложным теперь чувством озабоченности, что был виноват перед ним за то, что за суетою дел и семейною неурядицей забыл о нем).— И Анна? И вы? — добавил Дорогомилин, узнав Лукашову, которую также хорошо помнил по Ольгиной гостиной.

Несколько мгновений все молча оглядывали друг друга, и Дорогомилин, к удивлению своему, заметил, что Митя был как будто не таким, каким был в Пензе, и что еще более другою, чем он помнил ее, была Лукашова. Митя казался повзрослевшим, но Лукашова, напротив, помолодевшею; и по выражению глаз их, как они посмотрели один на другого, Дорогомилин сейчас же догадался, что между ними должно было быть что-то порочное, что так сблизило теперь их. Он понял это по тому, что сразу же ощутил, что той прежней власти над Митею, какую всегда (по отеческой заботе) имел над ним,— власти той у него теперь не было, но что она была, он заметил, у Лукашовой. «Когда, как я просмотрел это?» — болезненно подумал Дорогомилин, сейчас же представив всю порочную сторону дела (по тем урывочным сведениям, что он знал о похождениях Лукашовой), и покраснел (и за Митю и за Лукашову), как будто и в самом деле застал их за тем занятием, за каким стыдно было ему застать их.

— Как ты здесь, Митя? Что вы здесь делаете? — снова и торопливо спросил он, стараясь выйти из этого своего состояния неловкости, в какое поставил себя. Отойти от них было уже нельзя ему, а молчание лишь усиливало это общее чувство неловкости.— Где остановились? Надолго? — Он смотрел уже только на Митю, ожидая ответа от него.

— Нет,— сказал Митя, все стеснение которого заключалось не в том, что Дорогомилин застал его с Анной. Стеснение его происходило оттого, что он, принимая от Дорогомилина попечительские заботы, никогда не считал его (по разности убеждений) соучастником своего главного дела—картины, над которой он теперь, вдохновляемый Лукашовой, работал еще с большим усилием, чем прежде; и в то время как он чувствовал себя обязанным Дорогомилину и не хотел огорчать его, еще сильнее (и именно от присутствия Анны, внимательно и поддерживающе смотревшей на него) испытывал желание проявить самостоятельность, то есть дать понять Дорогомилину, что он, Митя Гаврилов, уже не мальчик и что не будет отчитываться ни перед кем.— Нет,— повторил он.— Я тут кое-какие эскизы хочу сделать для своей картины.— И он покосился на мольберт, тяжело висевший на его плече.

— С этих левитановских стожков? — удивился Дорогомилин.

— Нет. Тут за лесом старая церковь...

— Опять мертвецы, кресты, могилы, кладбище?!

— Я делаю то, что мне нужно для картины,— сдержанно, но с той скрытой убежденностью, что он не позволит вмешиваться в свои дела, подтвердил Митя.

— Ты взял отпуск?

— Да.

— У кого остановился?

— Мы устроились в Одинцове у моей знакомой,— сказала Лукашова, выдвигаясь и желая заслонить Митю; и по той смелости, с какою сделала это, по выражению лица и тону голоса, как произнесла «мы», Дорогомилин еще яснее почувствовал, что предположение его о порочной связи ее с Митей было не то чтобы верно, но было так очевидно, что он поморщился оттого, что никаких сомнений на этот счет уже не оставалось у него. Но Лукашова без какой-либо тени смущения, лишь еще больше поражая этим Дорогомилина, продолжала гово-

рить ему: — Мы привезли Митины рисунки, и на той неделе их будет смотреть художник Сергеевский.

— Кто такой Сергеевский?

— Вы не знаете? Очень известный художник.

— Митя,— сказал Дорогомилин, не в силах побороть в себе того неприятного чувства, что он не одобряет его связи с Лукашовой.— Я же обещал тебе устроить все, как же ты не подождал? — И он был так убежден в искренности своих слов (хотя минуту назад не помнил и не думал о Мите), что ему казалось, что он вправе был теперь упрекнуть Митю.— Как же ты не подождал? — повторил он, показывая этим свое отношение к Лукашовой.

— Семен Игнатьич, — возразила Анна без той робости (и той заискивающей заинтересованности), как она обычно вела себя в гостиной, но с той новой для нее наступательной интонацией, какая только еще сильнее утверждала Дорогомилина в его предположении.— Он бы еще год ждал, потом еще, еще, но он же талантлив! Ему нужен выход, он не может ждать.

— И вы в состоянии предоставить ему этот выход?

— Да.

— Каким образом, позвольте узнать? — спросил он, уже не скрывая своего недоброжелательного отношения к Лукашовой и неприятно видя в ней в эти секунды какое-то отдаленное и худшее повторение Ольги.

— Это не ваша забота.

— Аня! — Митя резко повернулся к ней, взглядом досказывая то, о чем просил ее.

— Почему?! — сейчас же возразила она.— Пусть Семен Игнатьич знает. Это уже наша с Митей забота,— подтвердила она, с новой и непривычной для себя гордостью глядя на Дорогомилина.

— Вы что же, поженились? — спросил он.

— Да.

— Митя, это правда?

Митя ответил не сразу; опустив глаза, он смотрел себе под ноги. Только когда Дорогомилин повторно спросил, он подтвердил:

— Да. Ну мы пошли, Семен Игнатьич,— тут же сказал он. — Извините нас, мы пошли. Пойдем, Аня. — И, сутулясь, как провинившийся мальчик, пошел по тропинке впереди Лукашовой, не оборачиваясь на Дорогомилина.

— Митя, Дмитрий, да ты погоди,— остановил его Дорогомилин.— Дай-ка твой адрес. Я дней через десять вернусь, и, если ты еще будешь в Москве, я найду тебя. Дай, дай адрес,— повторил он, вспомнив о Коростелеве (хотя это и не было приятно ему) и о том, что тот и обещал и мог помочь Мите.— Ну, говори,— сказал он Мите, раскрывая блокнот и готовя ручку.

XL

— Кто это был? — спросил Николай Николаевич, подошедший к Дорогомилину, когда тот, уже записав адрес и отпустив Митю и Лукашову, стоял и смотрел, как удалялись они.— У тебя здесь знакомые?

— Нет. Наши, пензенские.

— Художник? — потому, что он заметил мольберт на плече молодого человека, спросил Николай Николаевич.— Сюда и московские наезжают,— сказал он, все еще находясь в том растроганном состоянии от стожков сена, на которые он опять показал рукой.— Где в городе найдешь такое?

— Если бы это! — сказал Дорогомилин, оглядываясь на стожки, на которые показывал брат.— Он ищет кресты, могилы, мертвецов для натуры.

— Уж не тот ли это сирота-художник, о котором ты так расписал мне?

— Не расписал, а писал,— поправил Дорогомилин.— И я не думаю, чтобы можно было улыбаться по этому поводу.

— Да я и не улыбаюсь, с чего взял? — возразил Николай Николаевич.— Я просто подумал, что вот опять у нас повод вернуться к разговору о войне, и разговор, мне кажется, пойдет не в твою пользу,— сказал он, довольно улыбаясь.— Ты утверждаешь, что главное есть только общие усилия народа, а я вижу, что, кроме этих общих усилий, есть еще у каждого из нас своя, личная жизнь.—И он затем всю обратную дорогу, пока шли к дому, развивал перед Дорогомилиным свою излюбленную теорию о двух линиях жизни, суть которой была заключена в том, что общественная и личная линии (по всей логике вещей, как он говорил) должны бы смыкаться или, по крайней мере, двигаться параллельно, но что, несмотря на очевидность такой логики, линии эти большей частью не только не смыкаются в повседневной жиз-

ни, но идут вразрез одна к другой, и как пример, должный подтвердить его мысль, он приводил теперь судьбу Мити. И в ходе этих рассуждений он вдруг почувствовал, что тот мучивший его вопрос — что написать в ответной брошюре? — вопрос тот, в сущности, был прост и состоял не из крайностей, какие предлагалось принять или отвергнуть ему; суть была в сбалансированности всего, в серединности позиции, когда учитывалось о д н о и не отрицалось д р у г о е; и он, еще до прихода брата склонявшийся к этой серединной позиции, все более находил ее теперь не просто приемлемой, но единственно верной, когда, по существу, не надо было ни с кем спорить и все как будто было ясно, но на самом деле было бестелесно, нежизненно, бесплодно. Но Николай Николаевич как находке радовался этой позиции и был удовлетворен и весел; и, когда подходил к дому, уже говорил о грибах и грибном соусе, который, он знал, должен быть приготовлен и подан к обеду.— Может быть, ты и прав,— наконец сказал он брату, сощуренно и весело глядя на него.— Есть что-то схоластическое в наших спорах. Но ведь и без этих споров нельзя. Жизнь не может не воплощаться в определенные нравственные и философские понятия. Должен же в каких-то формах накапливаться духовный опыт народа, а? Да ты посмотри, нас ждут! О, и Матвея вижу на крыльце, сдал, наверное. Ну да сейчас узнаем.— И он прибавил шаг, всем своим настроением уже втягиваясь в привычную ему семейную атмосферу дома.

Спустя четверть часа все уже сидели за столом и обедали, и по разговору, проходившему между взрослыми и детьми, Дорогомилин чувствовал, что ни один из тех общих вопросов, какие брат выяснял с ним во время прогулки, нельзя было ни с какой стороны приложить к семейству Кошелевых; и что их нельзя было приложить и к себе; и всегда прежде не соглашавшийся с братом относительно двух линий жизни, он теперь по-иному думал об этом высказывании его. Но он только по-своему определял эти две линии, видя в одной из них тот схоластический спор по поводу всевозможных понятий, который всегда (и ложно!) воспринимается как общественный пульс жизни (или как интеллектуальная высота его!), и в другой — то, что как раз составляет суть жиз-

ни, или, говоря иначе, составляет повседневные заботы людей и приносит радость или огорчения им. «Он будет доказывать в своей новой брошюре, что́ надо считать правдой,— думал Дорогомилин, глядя на брата,— тогда как вся правда для него в том, что сын его Матвей поступает в Институт международных отношений. Он живет этою правдой и счастлив ею, но отчего-то полагает, что для всех других должна быть какая-то иная правда». И он смотрел на брата тем непривычным для себя взглядом, как будто вновь открывал его для себя.

— Так, значит, туговато, говоришь, приходится вам, москвичам? — между тем весело (и как будто в подтверждение всех теперешних размышлений Дорогомилина) спрашивал Николай Николаевич у сына.

— Он его по-английски — пожалуйста! Он его по-французски— пожалуйста! Да как, папа, как! Без запинки,— восторженно отвечал Матвей, в третий уже раз пересказывая то, что поразило его, когда он сегодня сдавал вступительный экзамен по иностранному языку. Он говорил о Борисе Лукьянове, о котором знал только, что тот из деревни; и это-то, что из деревни и что так хорошо был подготовлен по иностранным языкам (и, главное, благодаря этому имел больше шансов пройти в институт, чем Матвей),— это-то и казалось поразительным и возбуждало теперь общий интерес.

— Вот вам и уровень преподавания: что в Москве, что в деревне. А ведь раньше было, если ты окончил московскую школу...— начал было Николай Николаевич.

Но Лора перебила его:

— Ты не прав, Коля, все учатся по одной программе.

— Учатся по одной, но учат — разные.

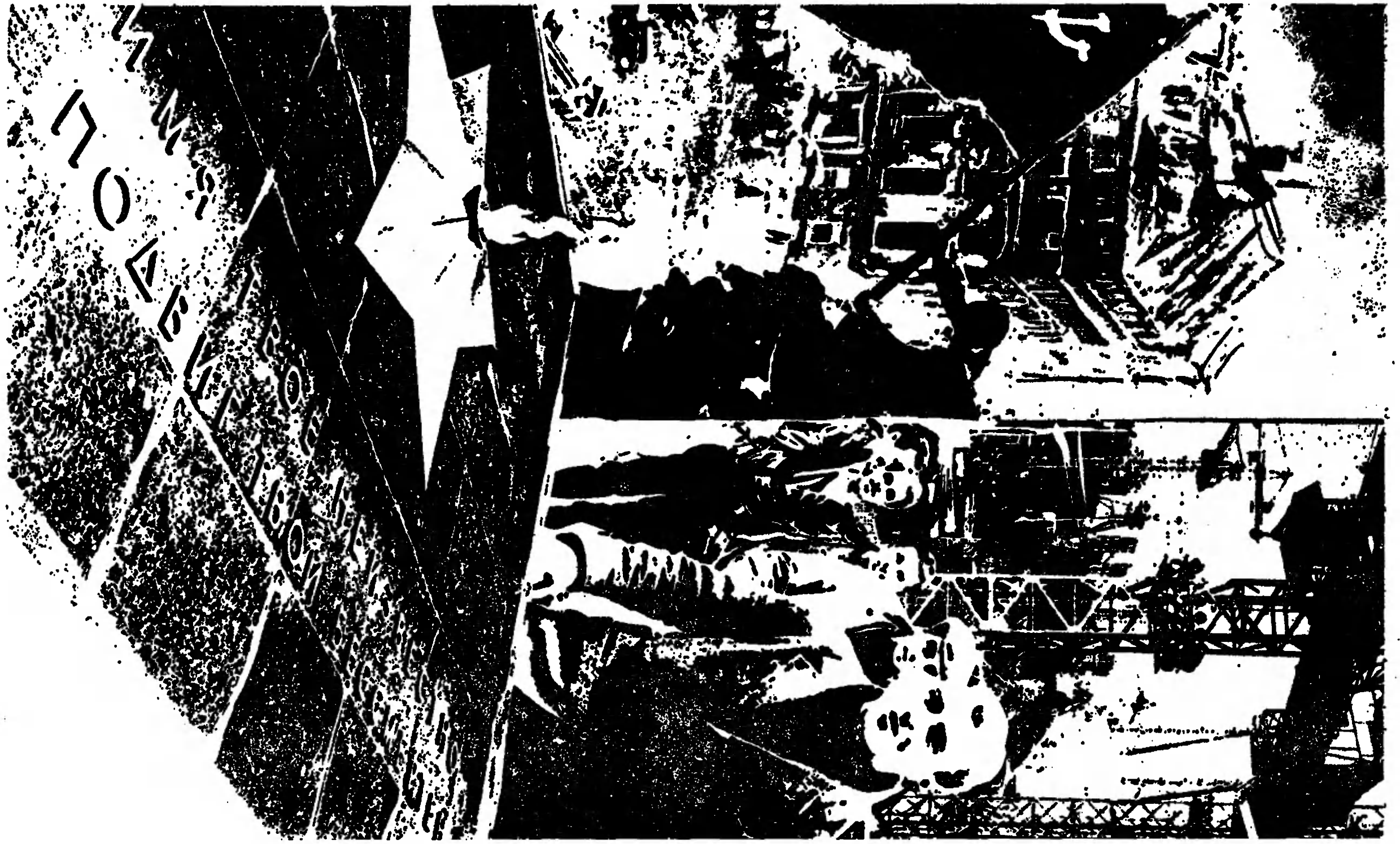
— Нет, ты не прав, нет, нет, Коля.

— Ну, может быть, в какой-то степени и да. Везде можно быть дураком и можно стать умным, смотря как сам возьмешься за дело,— согласился Николай Николаевич (по той самой серединной позиции, какую он принял для написания брошюры и какая так удобна и кстати оказалась теперь).— Так что же тебя ожидает, Матвей, дипломатическая карьера или международная журналистская деятельность? — задал он тот вопрос, который, в сущности, задавать было еще рано, но который занимал уже теперь все семейство Кошелевых, так как им казалось, что сын их в том ли, ином ли случае, но выдвигался в государственную сферу деятельности; и до

конца обеда все уже только и говорили об этих открывавшихся возможностях перед Матвеем.

О Дорогомилине было как будто забыто. Но он не испытывал неловкости. К нему опять вернулось то чувство зависти к семейной жизни брата, какое еще утром заставляло краснеть и смущаться его, и он старался не смотреть на Лору; но он поминутно чувствовал, что она была за столом, и та мысль, как бы он (вместо брата) жил с ней,— мысль эта постепенно вытесняла в нем все другое, что могло занимать его; и хотя он, как и утром, вполне понимал, что нехорошо было думать так, как он думал (то есть желать того, чего он желал), он не в силах был остановить в себе это. Он видел жизнь, какой не было у него, и он чувствовал себя обделенным без этой жизни.

Конец второй книги


TOKYO

КНИГА ТРЕТЬЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Приехав в Москву и не увидев дочери, которая не пришла на вокзал встретить его, несмотря на то, что Сергей Иванович дал телеграмму из Каменки на адрес до востребования, на какой писала ей мать, он весь день затем просидел дома, каждую минуту ожидая ее. Лишь под вечер, перебрав все возможные варианты, что могло случиться с ней, и утомившись от этих своих дум и одиночества (и утомившись еще оттого, что все в доме напоминало о прежней спокойной и наполненной жизни), поехал к Старцеву, чтобы поговорить и посоветоваться с ним.

— Сергей, ты? Алена, Аленушка, посмотри, кто к нам,— тем веселым, жизнерадостным тоном, как он всегда встречал у себя Сергея Ивановича (и обращаясь одновременно и к нему и к жене Лене, которая слышно было, как шла через комнаты), проговорил Кирилл Старцев. В тускло освещенной и узкой, как принято было строить тогда, прихожей он увидел вначале только лицо и только общие очертания ссутуленной фигуры Сергея Ивановича; но принимаясь обнимать его, натолкнулся ладонью на пустой рукав и остановился от неожиданности. Не поверив себе, еще раз провел ладонью по

тому месту, где был пустой рукав, и изумленно воскликнул: — Когда? Где?

— Смешно сказать,— усмехнулся Сергей Иванович, как усмехаются над своим несчастьем люди, не успевшие еще пережить его.— Потерял. Да и не только руку.

— Когда, где, каким образом? — повторил Старцев.

— Это не в двух словах,— ответил Сергей Иванович.

Он снял плащ, поздоровался с Леной и, войдя в сопровождении ее и Кирилла в комнату, сел в предложенное ему кресло, в котором всегда любил посидеть, приходя к ним. Кирилл и Лена смотрели на его пустой рукав, и он чувствовал себя неловко от этого. Им надо было объяснить, что было с рукой; надо было рассказать о том, о чем трудно было говорить Сергею Ивановичу, и он медлил и хмурился (и прикрывал ладонью пустой рукав), словно перемогал боль.

— Колхозное добро спасал,— наконец сказал он, чтобы не вдаваться в подробности.— Спасал,— повторил он,— а и добра не спас и жену потерял.

— Как потерял? Умерла? — переспросил Кирилл и оглянулся на жену, как будто она должна была подтвердить, правильно ли он понял Сергея Ивановича.

— Да,— сказал Сергей Иванович.

— Юля?! Умерла Юля?! — сейчас же вырвалось у Лены.— Боже, Юля...— И она только продолжала смотреть на пустой рукав Сергея Ивановича и так же, как и Кирилл, не спрашивала, от чего умерла Юлия.

Все помолчали.

— Да-а,— затем протянул Кирилл. — Новость. — И принялся ходить взад-вперед перед бывшим фронтовым другом.

Для Кирилла с его удачливостью и с его восприятием жизни (в силу именно этой удачливости) всегда было непостижимо, как при одних и тех же условиях, какие есть для всех людей, некоторые умудряются не жить и радоваться жизни, а отыскивать для себя ситуации, из которых, кроме мрачных углов, ничего нельзя разглядеть. «Вот он, этот самый вариант»,— подумал он, привычно и по стереотипу, как это делали теперь все, стараясь обобщить все и уже из общего, как оно могло только представляться ему, вывести частное, то есть то, что случилось с Сергеем Ивановичем. Кирилл не мог сказать о себе, что он приспосабливался к жизни; но все сознание его было приспособлено к тому, чтобы при

столкновении с любым делом сейчас же проводить параллели независимо от того, возможны или невозможны они, и параллели эти — между большим и малым, историческим и личным — так надежно как будто всегда объясняли ему все, что он уже не испытывал нужды в глубоких размышлениях. Он как будто вполне понимал теперь Сергея Ивановича и сочувствовал ему; но вместе с тем всем ходом своих мыслей не только не принимал, но и не мог принять того, что он, осуждая в людях, называл «опустить руки»; он давно уже, как это казалось ему сейчас (и как это обычно кажется людям, полагающим, что они всегда искренни перед собой), еще со дня похорон Елизаветы Григорьевны, матери Сергея Ивановича, заметил за своим другом, что с ним происходило именно что-то наподобие «опустить руки»; и он теперь видел, что был прав, и готов был с тем назидательным оттенком, как привычно было разговаривать ему, высказать все Сергею Ивановичу. Но вместо этого он только говорил:

— Я не могу поверить, Сергей, это невероятно, как же так, как так! — И то останавливался перед Сергеем Ивановичем, то продолжал вышагивать перед ним.

То же выражение жалости и участия к Сергею Ивановичу, какое было у Кирилла, было и у Лены, все еще стоявшей на том месте у двери, где она остановилась, войдя вслед за мужчинами в комнату. Она была моложе Юлии, жила иными интересами, чем та, и редко встречалась с ней; но встречи эти, когда они происходили, оставляли то теплое впечатление, после которого она говорила: «Какая приятная женщина эта Юля». Приятность же заключалась только в том, что Юля никогда не позволяла себе произносить двусмысленности и не осуждала ничего в чужом доме; и качество это, казалось Лене, так редко в наше время встречалось в людях, что нельзя было не замечать и не ценить его. «Как мило у вас все»,— как будто услышала она вдруг голос Юлии (как та всякий раз говорила, приходя к ним). «Она всегда хотела что-то устроить у себя так же,— вспомнила Лена.— Теперь уж не устроит». И с той же раскрытостью глаз смотрела на Сергея Ивановича. Она знала от Юлии же, к которой ходила в больницу, о замужестве Наташи и о том, чем сопровождалось это замужество; и хотя по женской сообразительности своей не могла сейчас соединить смерть Юлии, пустой рукав Сергея

Ивановича и замужество Наташи в одно целое, из чего можно было бы заключить все, но чувствовала, что связь между всем этим была и что на совести Сергея Ивановича должно было лежать что-то тяжелое в этом деле. Она в отличие от мужа была ближе к тому, что было правдой; но еще более не решалась ни спросить, ни сказать что-либо Сергею Ивановичу, и только во взгляде, чем дольше смотрела на него, отчетливее проступало выражение, что она не только сочувствует ему и жалеет его, но знает, что он виноват, и осуждает его. «Как мило у вас все»,— вместе с тем опять услышала она голос Юлии и даже обернулась, как будто могла увидеть ее.

— Мы все ходим по веревочке,— между тем, остановившись перед Сергеем Ивановичем и уже не вышагивая перед ним, говорил Кирилл.— Случиться может. Все случиться может, но ведь и от нас зависит по крайней мере, держать равновесие или не держать его.— Что было понятно самому Кириллу, было продолжением его мыслей, и было непонятно, для чего и к чему говорилось Сергею Ивановичу, который, видя, как все приняли Старцевы, чувствовал, что надежда поговорить и развеяться здесь, у них, обернулась для него лишь тем, что он должен будет снова и с большей глубиной пережить свое несчастье; и оттого как защитное средство возникало в нем желание возразить им, и он думал, как сделать это.

В то время как он смотрел на Кирилла, он почти не слушал его, а силился только вспомнить, в чем тот был причастен к его горю. Причастен же Кирилл был лишь в том, что Сергей Иванович видел в его кабинете Арсения; но это ясное (как все представлялось Сергею Ивановичу в день, когда он выгонял Арсения) было теперь так неясно, что он только смутно сознавал, что должен в чем-то упрекнуть Кирилла. «Но в чем? — думал он и, не находя в чем, переводил взгляд на Лену, к которой, как ему казалось, тоже было у него что-то, что надо было сказать ей.— Что-то они с Юлей... вместе... против меня...» — припоминал и не мог припомнить он; и еще поспешнее, чем от Кирилла, отворачивался от нее — не столько оттого, что не мог припомнить, сколько от выражения ее глаз, ясно говоривших ему, о чем она думала. Он видел, что она (в отличие от Кирилла) знала что-то такое, что, идя сюда, Сергей Иванович не предполагал, чтобы она могла знать, и что давало ей право так с упреком теперь смотреть на него; и упрек этот смущал Сергея

Ивановича и перебивал в нем все мысли; в какое-то мгновение он даже ощутил, что потеет, и, достав носовой платок, принялся им вытирать лоб и шею.

— Так что же делать, если так все случилось,— непривычно оправдывающе сказал он, как только Кирилл, говоривший то общее, что было понятно только ему, на минуту остановился.— Надо жить.

— Вот именно, это верно, это единственное,—подхватил Кирилл, на которого слово ж и т ь всегда действовало так магически, что сейчас же преображало в нем все. Лицо его словно посветлело, в то время как он теперь смотрел на Сергея Ивановича. Сказав Лене: «Гостя-то покормить надо. Ты ужинал, нет?» — что относилось уже к Сергею Ивановичу, он затем с той потребностью руководить всем и умением всякий раз войти в событие так, что оно начинало вращаться вокруг него (как это было и в день похорон Елизаветы Григорьевны), и со смутным желанием того, что надо развеять друга (и что у него есть чем развеять его), предложил Сергею Ивановичу посмотреть свой домашний кабинет, заново в это лето оборудованный им.— Ну-ка, ну-ка, одобришь, нет? — говорил он, поднимая Сергея Ивановича и приглашая его.

II

За время, пока Сергей Иванович был в деревне, в жизни Кирилла Старцева произошло событие, которому он все еще радовался не в силах до конца осознать и пережить его. Его назначили заведующим районо и затем (по тому только непонятно как установившемуся правилу, что когда человек идет на повышение, его сейчас же замечают все) ввели в правление Общества дружбы СССР с одной из освободившихся от колониальной зависимости стран Юго-Восточной Азии; и повышение это и значимость, с какою уже стал смотреть на себя Кирилл, лишь подтолкнули его ускорить дело с переоборудованием кабинета, которое задумано им было еще года полтора назад и было более делом для любителя, чем делом, какое вызывается необходимостью жизни.

В тот год, как и всегда по Москве, ходили странные поветрия, называемые иногда модой или стилем, которые, как болезнь, захватывают людей, и Старцев, как

тысячи других, чувствовавший, что некуда приложить ему те физические силы, какие в нем были и требовали приложения (сколько он ни отдавался школе), заболевал то одной, то другой болезнью этого рода, и переоборудование кабинета было для него не чем иным, как очередным желанием не отстать от людей. Он решил отделать стены кабинета деревом, как было, он видел, у двух знакомых ему директоров школ (у одного было под орех, у другого под красное дерево). И тот и другой использовали для этого дверцы старых и добротных шкафов, которыми все еще завалены были комиссионные магазины (в связи с тем же поветрием, когда старое и основательное модно стало заменять новым, прессованным и хлипким); шкафы скупались по дешевой цене и брались только дверцы от них, и эти-то дверцы, подобранные и прикрепленные в определенном порядке и определенным образом к стенам, создавали впечатление богатства (а еще и для здоровья, как говорилось при этом), о каком мечтают если не все люди, то, по крайней мере, бóльшая часть человечества, которая лишена возможности иметь это. Кирилл со свойственной ему увлеченностью так взялся за дело, что за месяц все в кабинете его преобразилось и приобрело нужный, с оттенком роскоши вид, которым нельзя было не восторгаться и не созерцать его. Он часами теперь просиживал в кабинете — то за письменным столом, за которым, кроме как почитать Сухомлинского или Макаренко, нечего было делать ему, то в кресле, отвалясь на спинку, и почесывая свою белую, мягкую, начавшую уже жиреть грудь, и с удовольствием созерцая и прислушиваясь как бы к запаху дерева, которым давно уже не пахло от этих дверок от старых шкафов; но Кириллу казалось, что пахло, и он сам себе казался как будто человеком иным, вдруг вставшим на ступень выше в общественном положении (что связывалось как раз с повышением его), и оставалось только написать кандидатскую диссертацию в этом кабинете, ту самую диссертацию о значении творчества Макаренко в становлении советской педагогики, каких было написано уже сотни и о каких прежде, когда это не касалось самого Кирилла, он говорил: «Для чего пересказывать идеи, которые прекрасно существуют в подлиннике?» — а теперь, когда коснулось его, высказывал противоположные, и правильные, мысли. Но он еще не начинал эту диссертацию, а был только, как он говорил об

этом, на дальних подступах к ней, то есть на тех дальних, от которых не было видно еще ничего, кроме общего серого фона земли и слившегося с ним неба.

С тем вполне восстановившимся цветом лица после минутных переживаний, в которых неприятным было не столько само известие, что умерла Юлия, принесенное Сергеем Ивановичем, сколько то, что все это не вязалось с общим хорошим настроением Кирилла,— он первым вошел в кабинет и, потянувшись и включив свет, сделал распахивающее движение руками, к которому не надо было добавлять слов, чтобы объяснить его. Но Кирилл все же произнес:

— Н-ну, что скажешь?

«Да брось ты свои мрачные мысли, все равно ничего не исправишь, а посмотри лучше, как хороша жизнь, если кое-что уметь в ней. Я умею и счастлив, и можешь уметь ты и каждый» — было в глазах Кирилла. Он смотрел на Сергея Ивановича, но видел весь свой кабинет в тех мельчайших подробностях, которые как раз и создавали все впечатление. Люстра, горевшая под потолком и представлявшая собою два схваченных деревянным ободом блюда (хотя обод этот был не деревянным, а под дерево, вернее под орех, как и весь кабинет), более освещала только пол и потолок, а на стены падал лишь тот матово-приглушенный свет, при котором все самодельное, что должно было выпирать при ярком освещении, было стушевано и незаметно, а видно было только, что — под орех, и что — богато, и что — нельзя бы никогда подумать, чтобы можно было иметь подобный кабинет в такой обыкновенной трехкомнатной квартире. У дальней стены стояли два книжных шкафа, которые оттого, что были темного цвета, выделялись только корешками книг на общем тяжелом фоне. Напротив них было кресло со стандартною зеленою обивкой, и другое кресло и журнальный столик были у стены, из которой (по самому центру ее) выпирало односвечовое бра с пятью хрусталиками, свисавшими с него. Бра это по замыслу Кирилла должно было центрировать все и придавать всему, как последний штрих, сделанный художником на картине, ту живость, которая излишня и непозволительна в кабинетах служебных, но необходима в домашних — и для настроения и для впечатления достатка; и на это-то бра, как только оно было зажжено,

более всего обратил внимание Сергей Иванович. Оно напомнило ему то, о чем за последними событиями было как будто позабыто им, но что вместе с тем было неотделимо от этих последних событий — ампутации руки и смерти Юлии. Точно так же, как эти хрусталики, светились осколки разбитой вазы, когда Сергей Иванович думал теперь о своей жизни, и точно так же светились люстры и бра в дорогомилинской гостиной, которая живо сейчас встала перед ним во всех тех неприятных подробностях, как они помнились ему.

Кирилл ждал, что он скажет, и смотрел на него. Но Сергей Иванович не торопился ничего говорить. Как и в день, когда был у Дорогомилиных, он искал ответа на тот же вопрос, на какой не мог ответить себе тогда; но оттого ли, что события те были теперь отдалены и можно было рассудочно посмотреть на них, или оттого, что ему только казалось, что он не помнил о тех событиях, тогда как на самом деле ни разу не забывал о них,— из всех прошлых путаных линий, как он думал о Семене Дорогомилине и его гостиной, он выделял для себя сейчас две главные и выводил свои суждения из них. Линии эти представлялись ему следующим образом. Одна, первая,—было то, что объединялось в понятии обычной, нормальной жизни, то есть той жизни, какою он жил сам и в которой были свои определенные представления, что хорошо, что плохо, чему следует подражать и от чего отказываться, и была святость цели, принимавшаяся не столько разумом, сколько душой и хранившаяся ею; вторая же — было то, что составляло лишь внешний блеск хрустальных люстр, ковров, мебели, картин, сервизов, статуэток и блюд, и было тем, что в сознании простых людей обычно связывается с представлениями о барстве; это была та праздная жизнь праздных людей, которая, как лодка, привязанная к пароходу, всегда сопутствует трудовой народной жизни, и Сергей Иванович, признавая возможность и неизменность ее, считал, что нельзя было Дорогомилину совершать отступничество в пользу ее. Ему казалось, что Дорогомилин перешагнул через ту святость цели (вынесенную всеми из прошедшей войны), перешагивать через которую было не то чтобы преступно, но было предательством каких-то общих и главных интересов жизни. «Да, он совершил это,— подумал Сергей Иванович с той неожиданной для себя ясностью, как все теперь вдруг увиделось ему, и посмотрел на

Кирилла.— И он туда же. Что происходит, что делается с людьми?»

— Для чего тебе все это? — затем спросил он у Старцева.

— Как для чего? Чтобы жить и себя уважать,— просто и определенно ответил тот.— Ты посмотри, посмотри.— Он вскинул руки и снова как бы распахнул ими перед собою пространство кабинета.— В этом вкус жизни. Да и стоит гроши. Стоит, в сущности, работа, ну и хлопоты, но зато какая прелесть! — И стал рассказывать Сергею Ивановичу (как говорил всем, кому показывал кабинет), каким образом покупались и привозились все эти дверцы от старых шкафов. Почти с каждой дверцею была связана какая-либо история, которая живо еще как будто помнилась Кириллом, хотя и была уже более придуманной и не отражала того, как все происходило на самом деле; но в рассказе Кирилла не только не чувствовалось этой придуманности, но он и сам, казалось, был искренне убежден, что все так и было на самом деле, как он говорил.

III

Перебив себя на середине слова, Кирилл предложил сесть в кресла, и бра, оказавшееся между ним и Сергеем Ивановичем, одинаково освещало их лица тонким, переливчатым светом. Кириллу был приятен этот свет, как приятно было все, что стояло в кабинете, и от этого чувства довольства собой и жизнью (и тем, что он был не из тех, кого события застают врасплох) выбритые щеки его светились сытым румянцем, седые виски казались биографией, и то выражение соединенной молодости и мудрости, без которого давно уже никто из близких не мог представить себе его, снова играло на его лице. Он весь был во власти своих представлений о жизни, и в то время как Сергей Иванович, осуждавший его за отступничество, угрюмо смотрел на него, мысли, рождавшиеся в голове Кирилла, были так естественно веселы, что, казалось, их ничем нельзя было омрачить. Но Сергей Иванович не замечал этой веселости и мрачно думал, что Кирилл тратил не на то свои усилия, на что надо бы тратить ему (то есть на отделку кабинета, как Дорогомилин на содержание гостиной); и он выводил суждения из этого факта, тогда как жизнь и Кирилла и Дорогоми-

лина была сложнее и состояла далеко не из одних только этих интересов. Но Сергею Ивановичу некогда было вникать, из чего она состояла; он видел лишь, что вместо фронтовых воспоминаний, как бывало всегда раньше, когда он приходил сюда, он принужден теперь выслушивать какие-то мелкие и никчемные историйки. «„Иван Иванович позвонил, я поехал..." — ну и что, что Иван Иванович позвонил, а ты поехал,— повторяя эти отрывки фраз за Кириллом, думал Сергей Иванович.— А у Семена Дорогомилина в доме черт знает что, а моя дочь находит где-то старика и бежит к нему, и рушится семья, рушится все, ни святынь больше, ни понятий порядочности, и никому ни до чего нет дела»,— думал он, продолжая взглядывать на Кирилла, в то время как Кирилл точно так же осуждал Сергея Ивановича за отступничество (от прежней деятельной жизни) и, как и Сергей Иванович, полагал, что именно он, Кирилл, сохраняет еще в себе ту (надо понимать — фронтовую) правду жизни. «Опустил руки — и вот результат, а нужно ли было опускать их? Меняются только высоты, а суть одна, надо постоянно штурмовать их»,— думал он. Но он не говорил этого Сергею Ивановичу, чувствуя, что что-то будто разделяло теперь их.

— Нет, ты извини,— наконец сказал Кирилл, которому неприятно было чувствовать это свое ложное перед Сергеем Ивановичем положение.— Давай подумаем, чем я могу помочь тебе.

— А чем ты можешь помочь? Ничем.

— Так уж и ничем,— возразил Кирилл.— Во-первых, Никитишна и приберет и сготовит. Дочь-то приходит? — И тут же пожалел, что спросил об этом. На лице Сергея Ивановича мгновенно отразилась та душевная боль, которая была вызвана этим вопросом, и боль эта передалась Кириллу.— Ну хорошо, хорошо,— опережая Сергея Ивановича и не давая ничего ответить ему, торопливо произнес Кирилл и, поднявшись с кресла, принялся (так же беспокойно, как только что в комнате) шагать взад-вперед по кабинету. Несколько раз он останавливался перед журнальным столиком и, наклоняясь над ним, поправлял хрусталики бра, хотя ничего не нужно было поправлять там; но Кириллу не хотелось поддаваться тому мрачному настроению, в каком был Сергей Иванович, и хрусталики отвлекали и успокаивали его.— Ну хорошо, — снова сказал он, встав перед Сергеем Ивановичем и

скрестив на груди руки (в той позе, какою Наполеон выражал свое величие, но какая для всякого простого человека есть только удобство положения рук для разговора и для сокрытия своих чувств от собеседника).— Тебе надо устроиться на работу. В коллектив тебе надо. Ты учти, люди жалуются на занятость и суету только потому, что не знают, что такое состояние покоя. Покой страшен, да-да, и это не моя фантазия, не мои выдумки.

— О чем говоришь? — И Сергей Иванович поднял перед собой пустой рукав.

— А кто предлагает тебе лопату? Разве нет ничего другого? В Комитете ветеранов войны, скажем.

— Кто же там ждет меня?

— Под лежачий камень вода не течет. У меня там есть кое-кто, да и сам ты! А твои фронтовые воспоминания, которые так хорошо получались у тебя,— напористо продолжал Кирилл, которому искренне хотелось поскорее пройти через этот перевал уговаривания и выйти к тем своим привычным берегам жизни, где все ясно, соразмерно и солнечно и где для каждого точно так же может быть все соразмерно и солнечно, если уметь жить и иметь вкус к жизни.

— Воспоминания... Кому они нужны? — И Сергей Иванович усмехнулся, невольно оглядывая кабинет и затем переводя взгляд на Кирилла, в той же все позе (позе Наполеона) стоявшего перед ним.— Я вижу, наше прошлое никого уже не интересует.

— Это что за новость?

— Мы дрались, умирали, ну и что? Кому нужны эти частности, когда все переменилось, другие интересы, другая жизнь,— прислушиваясь уже только к своему течению мыслей (и к тому чувству утраты, в котором соединены были теперь и потеря семьи и общий сдвиг народной жизни), продолжал свое Сергей Иванович.— Частности волнуют только нас, а для всех остальных все меряется только категорией победы.

— Ново, ново!

— Нет, я чувствую бессмысленность этого дела и не смогу уже сесть за него.

— Философ, ты просто философ,— начал было Кирилл, в то время как в дверях появилась Лена и прервала этот разговор.

— Чай на столе, прошу,— сказала она, гостеприимно улыбнувшись Сергею Ивановичу и мужу.

Она успела переодеться, пока они сидели в кабинете, и была теперь как будто другой, прибранной, помолодевшей. На ней было светлое с отделкою платье, цвет которого по теневой стороне отливал как бы шоколадным оттенком, но со стороны люстры и бра был, казалось, того приятного бежевого тона, какой большинство женщин (за безликость его) не любят, но который так к лицу был не по годам худой, стройной (и все еще казавшейся всем со спины девушкой) Лене. Волосы ее были прибраны, как она сама говорила об этом, а-ля Сенчина, и все изнеженное, с мелкими, но четкими чертами лицо ее было открыто. Она не хотела выглядеть празднично, и то, что было надето на ней, было повседневным, в чем она ходила на работу и по магазинам, но по тому чувству, какое есть у всякой женщины — в то время как она смотрела на себя в зеркало, она заметила, что излишне нарядна (для теперешней домашней обстановки, когда Сергей Иванович был в помятом костюме, в каком он приехал в Москву, а Кирилл в спортивных брюках и в рубашке с засученными рукавами и расстегнутым воротом); и она поверх платья повязала льняной фартук, который, впрочем, тоже надевался ею более для гостей, чтобы соответственно выглядеть перед ними, чем нужен бывал для дела. Этот фартук она теперь, продолжая улыбаться Сергею Ивановичу и Кириллу, неторопливо снимала с себя. «Ну так как у нас, как кабинет?» — в то же время выражали ее глаза. Как ни тяжело было воспринято ею известие о смерти Юлии, но тот общий ритм жизни, какой задавался в доме Кириллом, и та общая атмосфера достатка, довольства, согласия и любви (основанные, правда, не на том, на чем достаток и согласие эти были основаны в семье Дружниковых, а на другом, когда возможность всего есть результат приложения рук),— эта общая атмосфера, как и Кириллу, не позволяла ей глубоко проникнуться чужим горем. Хотя она не говорила себе, что надо жить, что только в этом спасение, и не думала, как Кирилл, что лучше всего теперь отвлечь Сергея Ивановича от его мрачных дум, но была готова сделать именно это и, не сговариваясь с мужем, находилась в том же настроении, как и он. Но тяжелый взгляд Сергея Ивановича смутил ее, и улыбка, в то время как она сворачивала и комкала в руках фартук, медленно начала сходить с ее лица.

— Ну что же вы, мальчики? — еще повторила она тем

своим первоначальным тоном, который должен был сказать о ее настроении; но она уже неуверенно, что было что-то не так в ее словах, посмотрела на мужа.

— Пойдем, приглашают,— сказал Кирилл.

Сергей Иванович вышел из кабинета первым. За ним должны были идти Кирилл и Лена. Но они задержались, и сейчас же послышался торопливый шепот Кирилла: «О Наташе ни-ни, мы ничего не знаем». Сергей Иванович приостановился и хотел было спросить, что означает это его «мы ничего не знаем»; но едва только повернул голову, как прямо перед собой увидел румяное лицо, на котором не было никаких следов озабоченности, а было лишь то привычное выражение чистоты и легкости жизни, с каким Кирилл, как это он старался внушить всем (и самому себе), смотрел на все.

— Ты извини за шутку,— тут же начал он, беря Сергея Ивановича под локоть,— но каждый философ либо хром, либо горбат.— И он покосился на пустой рукав его.— Но вся прелесть жизни заключается в том, что жизнь эта вопреки философиям всегда и во все времена течет своим руслом. Течет, и никто и ничего не может сделать, чтобы остановить ее. Ну, Аленушка, рассаживай нас,— сказал затем, обращаясь к жене, которая вслед за ним и Сергеем Ивановичем вошла на кухню.

IV

Общая жизнь людей, сложенная из миллионов различных судеб, всегда может рассматриваться (в зависимости от того, для каких целей бывает нужно это) с двух точек зрения: с точки зрения целостности движения, как видят все со своих высот ученые, пытающиеся вывести общие законы бытия, и с точки зрения отдельного человека, который уже со ступенек только своих радостей или огорчений, но с той же потребностью обобщить все смотрит на вещи. Общая жизнь с точки зрения целостности движения была (в лето и осень 1966 года) таковой, что в глубинах партийного и государственного аппаратов разрабатывались мероприятия — и в сфере международных отношений и по делам внутренним,— которые на десятилетия затем станут программными и займут умонастроения сотен тысяч людей; но во внешнем проявлении вся эта глубинная работа не была так ощутима, как она чувствовалась членами комитетов и комис-

сий, и воспринималась простыми людьми так, как она воспринималась Кириллом, то есть вне прямой связи дел общих с заботами каждой отдельной семьи. Приезд де Голля, например, был для Кирилла только тем событием, о котором пошумели и забыли, тогда как жизнь и до приезда французского президента и после шла для всех тем же чередом и в том же русле, как она шла всегда. Точно так же смотрел Кирилл и на визит в СССР премьер-министра Индии Индиры Ганди, и на приезд в Москву господина У Тана, возглавлявшего в то время Организацию Объединенных Наций, и на подписание странами Варшавского договора Декларации об укреплении мира и безопасности в Европе, и на собрание общественности Москвы в Большом Кремлевском дворце (в поддержку борящегося Вьетнама), участником которого он был. Ему казалось, что делалось только то, что должно было делаться (и что делалось всегда в том обозримом пространстве времени, от которого он начал видеть и понимать); открывался ли съезд журналистов, проходивший в эту осень в Москве, или созывалась сессия Верховного Совета, или начинал работу какой-либо научный конгресс — все это лежало в том же ряду событий, которые, казалось, только в дни, когда происходили, привлекали внимание и представлялись значительными, но Кирилл, в сущности, не замечал того, что он и не должен был замечать: что жизнь людей направлялась и что усилия в верхах не всегда могли иметь сиюминутную и зримую отдачу. Но отдача эта была уже в том для Кирилла, что он спокойно мог отделывать свой домашний кабинет и с уверенностью смотреть на общее течение жизни. «Мне это нравится, я так хочу»,— говорил он себе, тогда как это его «хочу» предоставлялось ему благодаря только общим обстоятельствам жизни.

Но в то время как одни судьбы более или менее соединялись с общим движением, другие (как семейные дела Галины, Арсения, Наташи), казалось многим, не только не имели никакой связи с этим общим движением, но и не могли иметь в силу уже того положения, что истоком их (как считали эти многие) было не социальное, а нравственное начало. «Да он всегда был неуживчив и не знал, чего хочет»,— сказал Лусо об Арсении, отводя глаза, как только стало известно в институте о поступке его. Слова были произнесены первые попавшиеся, но по смыслу, заключенному в них, Лусо сейчас

же почувствовал, что можно было таким образом обвинить только Арсения и не затронуть интересы коллектива, то есть интересы самого Лусо (как он думал о себе и о коллективе); и он стал припоминать затем случаи, когда Арсений кому-то что-то возразил или отказался от чего-то, что должно было только подтвердить это дурное мнение о нем. Лусо, опуская глаза, говорил противоположное тому, что обычно говорил об Арсении прежде; и, как это всегда бывает в таких случаях, большинство на факультете лишь повторяло э т о, что говорилось начальством. Мнение, какое было у всех об Арсении, было забыто, а всплыли на поверхность лишь его развод с Галиной и женитьба на Наташе; и по этому-то разводу и женитьбе выводился теперь его моральный, вернее, аморальный облик. Лишь немногие были не согласны с таким мнением, но эти немногие выражали свое несогласие только тем, что молчали или пожимали плечами, и точно так же, как и согласные, выстроившись все по одну сторону черты, за которой не могли быть затронуты ничьи интересы, выжидательно наблюдали, чем закончится дело. «Мы знали, мы чувствовали»,— между тем, выражая уже будто мнение коллектива, говорил Лусо. Он знал, что желающих занять его место — место декана — было среди коллег вполне достаточно и что были среди них и такие, которые не прочь подставить ножку, чтобы самим выдвинуться вперед; и чем больше он теперь думал над этим, тем энергичнее, как единственно спасительное для себя, поддерживал мнение о неуживчивом и дурном характере Арсения. «Может быть, здесь даже что-то патологическое»,— добавлял он, чтобы совсем отделить Арсения от той нормальной и (единственно правильной, как он полагал) жизни, какою жил сам и жили, казалось ему, все другие вокруг него.

Известный адвокат Кошелев, никоим образом не связанный ни с профессором Лусо, ни с его коллегами по институту и взявшийся за дело Арсения из того только профессионального интереса, что в этом деле было на чем проявить себя и подкрепить тем свою адвокатскую славу, первое, что сказал после ознакомления с делом, что ключ к пониманию всего лежит в нравственных истоках. «Вот то, что извечно заключено в чувствах человека,— со свойственным ему внешним спокойствием, за которым, однако, ясно слышно было волнующее предчувствие открытия, сказал он.— Заключено в любви, в

ненависти, в этих понятиях, которые человечество исследует на протяжении всей своей истории и в исследовании которых, в сущности, ни на сантиметр еще не продвинулось вперед». И он сначала вышагивал по своему адвокатскому кабинету, потирая руки, а затем вышагивал дома, удивляя жену и детей необычно возбужденным настроением, и предстоящий процесс по делу Арсения (в том первоначальном виде, как он рисовался Николаю Николаевичу после поверхностного ознакомления с делом) — процесс этот виделся ему как оголенный срез именно этих человеческих чувств, до которых без определенного сознания болезненности их нельзя притрагиваться никому. «Такое могло случиться и сто и двести лет назад, в любом веке»,— думал он, снова и снова находя весь главный интерес дела именно в том, что сталкивался с категорией людских поступков, которые одинаково могут совершаться в любых социальных условиях; и он был настолько убежден в этом (припоминая известные в прошлом процессы в различных странах), что если и думал о конкретных обстоятельствах дела, что можно было в нем назвать социальною причиной, то лишь в той связи, что обстоятельства эти доказывали ему, что он прав и что иначе и нельзя подходить к делу. Он видел поступок Арсения в очищенном виде, в каком поступок этот мог быть оправдан, и видел себя, как преподнесет этот поступок (то есть убийство, в чем и заключена была изюминка) в этом именно очищенном виде и убедит всех. «Но так ли все верно?» — говорил в нем второй голос, приглушаемый этой предстоящей минутою торжества; и этот второй голос, как ни был он подавляем в сознании Кошелева, заставлял его снова вчитываться в дело Арсения и производил то лекарственное действие, как глоток воды на взволнованного, разгорячившегося человека. «И все-таки тут дело нравственного порядка, и только нравственного»,— говорил себе Кошелев, в то время как та цепочка социальных проблем, за которую он должен был взяться, он профессиональным чутьем чувствовал, могла только осложнить и запутать все.

Еще менее и родные и знакомые видели в поступках Галины связь их с общим движением жизни и всю семейную неустроенность ее относили только за счет ее дурного характера и воспитания, хотя каким образом старик Сухогрудов с его строгостью взглядов на все мог дать

ей дурное воспитание, было неясно. Он только продолжал говорить: «Чего ей не живется», как говорил о ней всегда; и скептически бросил: «Дожилась!» — когда дошли до него известия о связи ее с Лукиным и гибели Юрия. Точно так же, чего не живется ей, говорил о Галине ее брат Дементий, и почти его же словами отозвалась о ней Виталина, когда провожала мужа на похороны Юрия в Москву. Для Виталины, о которой тоже можно было сказать, чего не живется ей в ее доме и с ее достатком (главное, с таким мужем, как Дементий, которым восхищались все),— для Виталины важным здесь было то, что она стала замечать, что в муже ее проявлялись точно те же нехорошие черты характера, какие были у Галины. «Брат и сестра»,— думала она, и вопрос этот мучил ее. Вопрос этот был для нее вопросом жизни, на который надо было ответить; но вместо ответа она с ужасом чувствовала, что только сильнее увязает во всей этой по-своему неустроенной для нее жизни и что тех протестующих сил, какие всегда прежде поднимались в ней, становилось все меньше и на смену им приходило безволие, покорство и сознание того, что ни изменить, ни поправить уже ничего нельзя. Она путем своих умозаключений приходила к той же философии смирения, какую проповедовала ее тетка Евгения; и философия эта, как ни грустно было признать это, давала ей успокоение. Она чувствовала, что жизнь общая была подчинена как будто одним законам и руководствовалась только той целью общего блага, которое для Виталины, как и для сотен тысяч других, как она, было лишь отвлеченным понятием и не ощущалось предметно, тогда как жизнь личная, то есть жизнь семьи, протекала совсем по другим как будто законам и должна была определяться благом иным, более благом для себя, чем для общества. «Но все зависит от человека»,— думала она то самое, что вытекало только из нравственного понимания вопроса.

«Как они ненавидели его, как они все жестоки и злы»,— было главным и непреодолимым в сознании Наташи после всего того, что произошло с Арсением и с ней. Ей тем более не приходило в голову, что духовный мир человека, то есть нравственность его, всегда есть зеркало социальной жизни; она представляла себе зло лишь в том конкретном понимании, что оно составляет суть отдельных людей (для нее суть Галины, Юрия и

суть следователя, который вел теперь дело Арсения); и она готова была употребить все свои силы для доказательства того, кто были о н и, то есть Галина, Юрий (и следователь), и кто был о н, то есть Арсений. «Он не виноват»,— говорила она себе, и говорила следователю, и говорила подруге, у которой, дожидаясь приезда матери, жила эти дни.

V

После ночи, почти в беспамятстве проведенной у соседей, утром, когда соседям надо было идти на работу, Наташа (в том состоянии оглушенности, когда ужас совершившегося представлялся ей еще только в самом факте, что была кровь, было убийство, а не в последствиях его) должна была уйти к себе; ей надо было продолжать жить самой и не отягчать жизнь другим, и с этим смутным сознанием, ч т о ей надо было делать, и с бледным, без единой краски жизни лицом она подошла к двери своей квартиры. Но она не открыла дверь и не вошла в нее. Боязнь, что увидит кровь и что вся страшная картина ночи сейчас же повторится перед ней и она, не выдержав, с криком: «Помогите!» — снова бросится на лестничную клетку, выставляя напоказ весь ужас своего положения, заставила отстраниться от двери и выйти на улицу. Она уходила от дома торопливо, не оглядываясь и с чувством погони, будто что-то позорное шло за ней и грозилось открыться людям. «Как же он мог, как он мог?!» — думала она, и только после того, как дом ее у Никитских ворот скрылся из виду, и она дважды на переходах, не разбирая ничего впереди себя, чуть не попала под машину, и на нее накричали, и какая-то женщина, присмотревшись к ней, отвела ее в сквер, к скамейке,— она впервые под впечатлением движущихся машин, людей и общего, всегда производимого улицею шума осмысленно посмотрела вокруг себя. «У меня горе, и никому нет дела до него»,— подумала она. И она вдруг почувствовала, что среди всего этого огромного мира людей и машин, частицей которого она всегда сознавала себя, среди всей прежде светлой и радостной для нее жизни была теперь одна, и все совершившееся с ней и Арсением невольно начало сходиться в ней на той одной точке — что будет с ней? — на которой так ли, иначе ли, но должно было сойтись для нее.



Мысли ее то переносились к тому, как посмотрят на все отец и мать, особенно отец, который, как это казалось ей, так и не принял ее замужества, и лицо ее покрывалось пятнами стыда, какой уже теперь, как если бы она стояла перед ними, болезненно сознавался ею; то вдруг это же сознание стыда и ужаса охватывало ее, как только она представляла себе, как она теперь встретится со всеми теми людьми (друзьями дома Лусо), которые так восхищались ею и поздравляли ее и которыми в еще

большей степени восторгалась она, увидев вдруг себя в ином, высшем слое общества (что должно было быть теперь потерянным для нее); то мысли переносили ее к Арсению, и крупные, как капли росы, слезы начинали течь по ее щекам, не замечаемые и не чувствуемые ею.

Она не знала, сколько просидела, но естественное чувство голода и потребность поделиться горем с кем-то, кто мог бы понять ее и посочувствовать ей, то естественное чувство жизни (то есть необходимость деятельности и необходимость ясности и определенности для себя), которое в молодом и здоровом организме ее брало верх надо всем, что она думала о себе, заставило ее подняться и пойти — сначала к Старцевым (из тех только соображений, что Старцев был однополчанином отца и другом семьи, о котором отец всегда говорил, что на него можно положиться), но затем, остановившись на половине пути, свернула к давней своей подруге (по студенческим годам), к которой, пока все бывало у Наташи хорошо, она не заходила и вспоминала о ней лишь в тревожные или трудные для себя дни. Подруга эта была — Люба Сергейчикова; была одной из тех тихих, застенчивых, скромных людей, которые никому и никогда сами не набиваются в друзья и не проявляют своей жизненной энергии так бурно, чтобы она была напоказ и видна всем, но живут той заключенной в себе глубинной жизнью (и потому не существующей как будто для других), в которой по-своему, в ином и более сложном проявлении возникают и угасают все обычные человеческие чувства. Люба всегда казалась Наташе инертной и скучной и привлекала в трудные минуты только тем, что не поучала, как это сейчас же брались делать все другие, умевшие, как им казалось, живо и с легкостью рассудить все, а только с участием слушала и сопереживала тому, что рассказывалось ей, с тем выражением искренности на лице, которое нельзя было не заметить и которое располагало к ней собеседника. Находясь на вершине своего счастья с Арсением, Наташа не помнила и не вспомнила бы о ней; но теперь из всех прежде как будто более близких своих подруг (более интеллигентных, как надо было понимать мысли ее) она выбрала именно Сергейчикову и шла к ней, не спрашивая себя, почему и хорошо и нужно ли это, но сознавая лишь, что это было единственно возможным выбором для нее.

Но было еще одно обстоятельство, которое верно подсказывало Наташе, что ей надо было идти именно к Любе. В представлении Наташи Люба была человеком несчастным — в том смысле, что еще несколько лет назад, выйдя замуж, тут же затем разошлась с мужем и жила с тех пор одна, без отца и без матери, которых похоронила еще до замужества; и это-то, что прежде отталкивало Наташу (по тому лишь неписаному правилу, что неудачников всегда сторонятся), теперь, напротив, привлекало именно этим хотя и отдаленным как будто, но единством судьбы, схожестью положений (что и Наташа, по существу, оставалась теперь без мужа), и что в силу этого единства и будет найдено понимание и сочувствие.

Под впечатлением этих успокаивающих мыслей и от солнца, тепло и весело пригревавшего улицы, от движения и суеты, которую Наташа видела и чувствовала поминутно, то садясь в троллейбус, то выходя из него, то просто шагая по тротуару вдоль недавно построенных и потому белых еще зданий с балконами и уже развешанным по этим балконам бельем — под впечатлением этого повседневного, что, несмотря ни на какие невзгоды личного или общественного порядка, всегда было, есть и будет представлять собою течение народной жизни и возбуждать в людях только то чувство, что жизнь эта неистребима и вечна на земле, в ней поднимались те силы для жизни, которые независимо и вопреки ее воле оживляли ее. Лицо ее было открыто, и открыты были ее маленькие и красивые уши с сережками, которыми всегда так любовался Арсений. Рубины в сережках поблескивали точно тем же игривым блеском, как они светились в памятный для нее вечер, когда она была в гостях у Лусо (впервые в том обществе, так поразившем ее изяществом туалетов, манерою держаться и возвышенностью разговоров), и вся она, не замечая за собою, шла прямой и размягченной (какую успела перенять как моду или как знак принадлежности к т о м у обществу) походкой, так что когда Люба, оказавшаяся в этот час дома, открыла на ее звонок дверь, мало что говорило в Наташе о том непоправимом и страшном, что в этот день было пережито ею. Во всяком случае, в первые минуты встречи Люба ничего не заметила в ней. Удивившись слегка, как она удивлялась всегда появлению Наташи, и не прибегая к тем ложным объятиям и поцелуям, которые

прежде распространены были только среди пожилых, преимущественно женщин, но теперь употреблялись всеми и всюду, а сказав лишь те приветственные слова, простые, непритязательные, в которых нет и не может быть лжи (в силу именно их простоты), она провела Наташу в комнату и только уже здесь, в комнате, приглядевшись к ней (но более по тому чувству, что она знала, что Наташа не могла прийти просто так к ней), сказала, всматриваясь в ее глаза:

— С тобой что-то случилось.— И затем, усадив ее и сама сев напротив нее, еще раз проговорила: — С тобой что-то случилось, Ната. (Так она называла Наташу.)

Она сказала это с тревогой, и в простоватом и некрасивом на первый взгляд лице ее с крупными и неправильными чертами, не то чтобы сейчас же выдававшими ее происхождение (то есть то, что и теперь еще принято называть «из простонародья» и что все и всегда отмечали при взгляде на Митю Гаврилова), но говорившими о непритязательности и простоте ее жизни (ее духовных запросов, как понималось это Наташей), было столько участия, что успокоенная было Наташа вновь вспомнила весь ужас своего положения, и ей так жалко стало себя, что вместо ответа она только почувствовала, что вот-вот разрыдается; и усилие, чтобы не разрыдаться, и невозможность удержать готовые пролиться слезы — все было в застывшем выражении ее глаз.

— Да что с тобой, Ната? — повторила Люба.— Ты вся дрожишь.— И в то время как произносила эти слова, увидела на щеках ее слезы.

Не зная, что было с Наташей, но поняв по этим ее слезам, что случилось что-то непоправимое, Люба сейчас же принялась утешать ее; но не словами и не тем желанием заглянуть в глаза, как это делают обычно, спеша выказать свое сочувствие; она подошла к Наташе и, как мать, обняв за плечи и голову, прижала к себе и молча, сверху вниз глядя на трясущиеся Наташины плечи, короткими и нежными движениями гладила их. В крупных глазах Любы тоже вот-вот должны были появиться слезы. «Ну довольно, хватит»,— говорили эти ее глаза; и говорили руки, продолжавшие обнимать и гладить плечи Наташи.

VI

Причиной Наташиных слез могло быть как будто только одно — ее горе (как и поняла это Люба); но на самом деле причиной этой было не столько горе, сколько то воображенное последствие, которое вдруг здесь, у подруги, с совершенной ясностью открылось Наташе.

Она увидела ту бедность (по сравнению с гостиной Лусо, дачей Карнаухова и даже с тем, как Наташа сама жила с отцом и матерью), какая была в квартире Любы и составляла существо ее жизни (бедность не только внешнюю — в стульях, занавесках и покрывалах,— но прежде всего как будто духовную, происходившую будто от всей этой внешней обстановки). Бедность эта, прежде не бросавшаяся так в глаза Наташе, с такой ясностью теперь вдруг предстала перед ней, выпиравшая изо всех углов (и в одежде Любы), что Наташа не то чтобы ужаснулась этой убогости и скромности всего, сколько в воображении своем сейчас же представила, что точно то же теперь, без Арсения, должно было ожидать и ее. От той жизни, какую она увидела, введенная Арсением в круг его знакомых, вернее в круг знакомых Лусо, она должна была вернуться к этой, какою, как она с грустью увидела, жила ее неудачливая подруга (и жили отец, мать и все знакомые отца и матери, как думала об этом Наташа), и сила протеста, та горечь за себя, что все так несчастливо складывалось для нее, перехватывали дыхание и вызывали как раз эти слезы. Ей казалось, что она плакала по Арсению, что ей жалко было не столько себя, как его, что все так случилось с ним; ей казалось, что она плакала от любви к нему, ради которой готова была на все, тогда как слезы ее были слезами утраты, что все то высшее и прекрасное, что, едва приоткрывшись ей, поманив ее, было теперь отнято, и что единственным звеном, через которое могло еще вернуться все, был Арсений. Как только Наташа, протерев глаза, начинала смотреть на Любу и на всю бедную обстановку ее комнаты, слезы опять заволакивали все перед ней, плечи вздрагивали, и она не могла удержаться, чтобы не плакать. «Почему это со мной, за что, за что?» — говорила она, принимая сочувствие подруги и плача еще сильнее от этого сочувствия.

Несмотря на все свое горе, Наташа была одета в то как будто рядовое для нее, но нарядное для Любы пла-

тье, которое сейчас же выдавало весь достаток, в каком она жила; и она была в тех самых золотых с рубинами сережках (подарок Арсения), в каких, вернувшись в тот страшный теперь для себя вечер от Карнауховых, не снимая их, легла спать; и сережки эти отсвечивали сейчас все тем же освежавшим ее лицо блеском, как было это и на торжествах у Лусо, и в гостях у Карнаухова, и в Большом театре, где Мещерякова ревностно оглядывала ее. На Любе же было светлое, в мелкую голубоватую клетку платье с рукавами-фонариками, каких давно уже не носили, потому что модным было уже иметь не прямые, а покатые плечи; волосы ее (в противоположность Наташиной прическе) были завиты химическою завивкой, что тоже было немодно и о чем знала Наташа и не знала, как видно, Люба. У Любы не было ни перстней на пальцах, ни сережек в ушах, а было во всем облике ее только именно то «из простонародья», что приобретается не для красоты, а для удобства и сообразуется лишь с рационалистическим, как сказали бы социологи, взглядом на жизнь, тогда как рационализм этот есть не рационализм взгляда на жизнь, а лишь выражение определенного достатка. Того достатка, которого одни стесняются, другие не замечают, третьи всю жизнь страдают, что не могут добиться большего. Но Люба, с детства привыкшая к этой своей жизни, не стеснялась ее. Напротив, она даже как будто была довольна своей жизнью. В районной библиотеке, где она работала, она либо сидела за столиком, перебирая и обновляя картотеку, либо ходила вдоль стеллажей с обтрепанными корешками книг и в том сгущенном запахе тлеющих бумаги и клея, каким всегда бывают наполнены книжные хранилища, либо точно так же несуетливо, смиренно чистила и перемывала все то (как того обычно требуют старые вещи), чем была наполнена ее однокомнатная, доставшаяся ей от родителей квартира. Что делалось в ее душе, какие страсти поднимались и угасали в ней, каков был тот ее воображенный мир (в противоположность действительности), который удовлетворял ее и придавал ей это спокойствие, никто не знал; разочаровавшись однажды в том, с чем столкнула ее жизнь (главным образом в муже, который, когда это надо было ему, говорил нежности, но тут же становился чужим, далеким и лживым), она ушла душою в этот мир воображений, какой щедро дополнялся в ней книгами, и мир этот, в

котором можно было по своему усмотрению перемещать, соединять и разобщать все, мир этот, как грудь кормилицы, подменившей мать, давал ей силы и пищу. Она была как будто несчастна, но по-своему была счастливым человеком; была из тех молодых женщин, которые в прежние времена и не из любви к богу, а лишь от невозможности противостоять грубостям жизни уходили в монастыри и которые теперь, так как монастырей не было и осудительно и смешно было заточать себя в них, жили как будто обычной среди людей, но замкнутой в себе и, в сущности, все той же отрешенной монашеской жизнью.

Успокоив Наташу своим бессловесно передаваемым сочувствием и чуть не расплакавшись сама от вида Наташиных слез и передававшихся (точно так же бессловесно) переживаний Наташи, Люба затем с недоуменным ужасом выслушала все то, о чем Наташа сперва неохотно, но потом с удивившей ее самою откровенностью рассказала о себе. Главное, что поразило Любу, было то страшное дело, которое сделал Арсений, ударив железным ломиком по голове сына (разумеется, не своего, а приемного, как пояснила Наташа). Люба не могла поверить в это; кровь, само действие, напоминающее убийство, было так дико, чуждо и неестественно для нее, что она неотрывно смотрела на Наташу, говоря этим взглядом своим ей: «Не может этого быть, ты преувеличиваешь».

— Но он жив? — затем спросила она о Юрии.

— Не знаю.

— Как же ты не знаешь, когда это важно,— сказала она.

«Да, вот он, мир, вот они — люди! — вместе с тем это второе, что на протяжении всего Наташиного рассказа занимало Любу, было теперь выводом для нее.— Вот то, что стоит за всеми их красивыми словами о добре, справедливости и любви»,— думала она, соотнося это, что было в действительности, с тем своим глубинным и истинным, как ей казалось, пониманием добра, справедливости и любви; и из соотношения этих двух крайностей выводила для себя весь ужас Наташиного положения.

— Что же теперь будет? — спросила она, словно не она Наташе, а Наташа должна была ответить ей на все.

— Я не знаю, Люба. Я ничего не знаю,— ответила Наташа, которая и в самом деле не знала, что будет с нею и Арсением.

Она только чувствовала, что ей было легче оттого, что она рассказала все подруге, и краски жизни вновь как будто появились на ее лице; но слезы, те крупные слезы, которые только что так обильно текли по ее щекам,— слезы эти опять беспричинно будто то и дело набухали в ее глазах. Они были от той же пугавшей ее мысли, чтó впереди ожидало ее. Не зная еще, что матери уже не было в живых и что отец потерял руку, она думала, что ничего не позволит себе брать от них; но сама она, она понимала, сможет лишь, как и Люба, обеспечить только этот скромный достаток с этими же скромными (в соответствии с достатком) духовными запросами, тогда как рядом будет течь другая, с иными и высшими интересами жизнь. Наташа как бы впервые открывала для себя, что то школьное представление, какое внушали ей, что все люди равны, было неверно, что есть только возможности равенства, но что самого равенства нет (она только не расшифровывала по молодой своей нелогичности восприятия мира, отчего не было равенства; что неравенство это есть результат разности труда и отдачи от этого труда и что по характерам, склонностям и трудолюбию неравенство было и будет); она исходила только из того эгоистического чувства, не осознавшегося, впрочем, ею, что плохо будет ей, что п р е к р а с н о е отбиралось у нее, и что это было несправедливо, что не было повода с ее стороны, чтобы так обойтись с ней, и слезы сами собой опять и опять, скапливаясь, готовы были пролиться по ее щекам.

— Ну вот, ну опять,— говорила Люба, вытирая платочком эти ее слезы.— Еще, может, все обойдется,— затем сказала она.

Она предложила Наташе остаться и пожить у нее, пока все прояснится (и пока приедут Наташины родители, которых надо было, по мнению Любы, завтра же известить и вызвать), и повела подругу на кухню, чтобы вместе, как с теплотой сказала она, приготовить что-то на ужин и почаевничать (что было выражением Любиных родителей и было теперь выражением самой Любы).

— Ну, картошку пожарим? Или омлет? — преодолевая в себе то настроение, какое передалось от Наташи, и тоном и самими словами пытаясь взбодрить и себя и ее, сказала Люба.— Ну? Или — у меня есть любительская, свежая, сделаем бутерброды?

— Мне все равно.

— Да ты уж не переживай так, еще ничего не известно. Завтра пойдешь и узнаешь. Хочешь, я с тобой? Я отпрошусь,— сказала она.

VII

Они поджарили картошку на сливочном масле, и вкусный вид и запах этой разложенной по тарелкам жареной картошки и дымный запах подгоревшего масла, вытекавший в открытую створку окна, и втекавший в нее же вечерний воздух двора, казавшийся им, хотя это было ложно, свежестью, и красновато-белесый свет от подвеса, из экономии зажженного Любой только теперь, когда стало смеркаться, и весь общий вид кухни, этой маленькой (в шесть с половиной квадратных метров) кухни с подвесной полкою, с газовой плитой, мойкой и столом и табуретками с пластиковым покрытием и на тонких ножках (коих наштамповано было уже на всю старую и новую Москву),— вид этой кухни, еда и разговор, который (стараясь уже не о Наташином горе) поддерживала Люба, постепенно делали то свое естественное дело, когда и у Наташи и у Любы теплее становилось на душе, и они говорили и говорили то о модах, то о жизни, как умеют говорить между собою только женщины, сводя всякое явление к тому, что можно купить и чего нельзя, что есть в магазинах (разумеется, немодное и ненужное) и чего не сыщешь ни при каких обстоятельствах (вследствие именно моды и нужды в этих вещах). Они говорили о разном и вспоминали прошлое, что случалось с ними в студенческие годы и было болезненным и важным тогда и вызывало только улыбки теперь на их повеселевших лицах; но вместе с тем, как ни уходили они от того главного (то есть от Наташиного несчастья), о чем трудно было говорить им, мало-помалу и сам собою как будто разговор вернулся на этот свой первоначальный круг, и Люба, ничего не знавшая о жизни Наташи, но хотевшая понять подругу и уяснить все, начала расспрашивать ее о Галине.

— Ты хоть знаешь, что она из себя представляет? — говорила Люба.

— Нет. Она некрасива и, по-моему, зла.

— И все? — была удивлена Люба.

Точно так же оказалось, что Наташа ничего не знала и о Юрии, и Люба, не умевшая никогда скрывать своих

чувств и не скрывавшая и теперь своего изумления, воскликнула:

— Как же ты жила? Ты что, по воздуху летала, не встречалась, не видела, не чувствовала ничего?!

— Но он же был разведен с нею.

— Разведен, хм, разведен, но ты-то куда смотрела, ты-то,— говорила Люба.

Несмотря на всю свою замкнутую как будто и отрешенную от всего жизнь, было видно, что она более понимала эту самую жизнь, чем понимала ее Наташа. В ней чувствовалась та практичность, которая приобретается людьми не путем умственных построений, но возникает из трудностей жизни, и какой, естественно, бывают лишены те, за кого думают и делают обычно другие, как это было с Наташей, о которой, когда она жила с отцом и матерью, думали и делали за нее все они, а когда вышла за Арсения, ограждалась им от грубостей и сложностей жизни. В Любиных рассуждениях, как ни казалась она сама себе отдалившеюся от житейских (надо понимать, семейных) дел, интерес этого житейского был выражен так ясно, что для Наташи было поразительно, как все то, о чем спрашивала ее и что говорила ей Люба, не могло прийти ей самой в голову. «Да, надо было присмотреться, последить, узнать, да, да, надо было руководить событиями»,— соглашалась она с Любой.

— Но откуда ты все это знаешь, Люба? — вместе с тем спрашивала ее Наташа.

— Господи, да это все знают. Ты как будто только на свет родилась.

— Ты думаешь, все было бы по-другому?

— Я не сомневаюсь,— убежденно ответила Люба.

Было неясно только, как при таком понимании всего Люба не могла устроить свою жизнь. Но вопрос этот не возникал в сознании Наташи. В сознании ее все вращалось только вокруг того, что было с ней, и ей казалось, что было бы неестественно, если бы разговор теперь шел не о ней. Ей не приходило этого вопроса, что и у Любы могла быть своя жизнь и свои интересы в ней и что надо было спросить ее о ее жизни. Но Наташа не спрашивала и во всем этом разговоре с подругою была как бы выдвинута вперед как предмет внимания, тогда как Люба составляла собою ту общую массу людей, судьба которых интересна лишь тем, что о н и есть об-

щий фон жизни. Для Наташи это было естественно потому, что она привыкла, чтобы все занимались ею; для Любы это же естественным казалось потому, что ей привычно было другое — что она занималась всеми; и потому обе были довольны и долго еще, уже перейдя в комнату, постелив постели, раздевшись и погасив свет, продолжали говорить о Наташином деле.

На другой день, выспавшиеся и приодетые (Люба по телефону отпросилась с работы), подруги пошли (по этому же Наташиному делу) узнать, что было с Арсением, возможно ли было встретиться с ним, каково было состояние Юрия и вообще чтобы иметь то определенное представление обо всем, как на том настаивала Люба, без чего было нельзя оставаться Наташе; и от этих Любиных рассуждений и предположения, что все должно было быть несомненно лучше, чем о том болезненно вообразила себе Наташа, Наташа испытывала только то затаенное чувство тревоги, что делала не то, что нужно, которое вдруг заставляло ее как бы отключаться от разговора с Любой и думать о своем. Но внешне она оставалась спокойной, так что следователь, когда Наташа вошла к нему и объявила, что она жена Арсения Иванцова,— следователь с удивлением, видя ее молодое, свежее и даже будто веселое лицо, посмотрел на нее. Он пригласил ее сесть и, сказав, что еще накануне ожидал ее, приступил к тому первому официальному допросу, к которому Наташа не была готова; она растерялась и не знала, что отвечать, и чувствовала только, что следователь говорит с ней недоброжелательно. Недоброжелательность его происходила от возмутившего его вида Наташи (в то время как муж ее совершил убийство); но у Наташи, не умевшей понимать ни людей, ни обстоятельства, во все время, пока шел допрос (и пока Люба, оставшаяся в коридоре, за дверью дожидалась ее), было одно только ощущение — ощущение власти, которая есть над людьми. Не по смыслу слов, сказанных следователем, но по интонации, как слова эти были произнесены им, она поняла, что Юрий скончался, что Арсений обвинен в убийстве и что не может быть и речи, чтобы ей встретиться с ним. Она вдруг поняла ту серьезность, как все обстояло на самом деле, от которой что-то будто надорвалось и остановилось в ее душе, и ужас этого надорвавшегося стоял в ее глазах и мешал говорить и слушать следователя.

— Как же вы ничего не знаете? — возмущенно упрекал ее следователь, которому странным и непонятным казалось поведение ее.— Ведь от ваших показаний зависит судьба вашего мужа,— говорил он.

— Ну что? Ну? — сейчас же спросила Наташу Люба, как только та вышла из кабинета следователя.

— Он умер,— сказала Наташа.

— Кто? Мальчик тот? Как же теперь?..

Это «как же теперь?» Наташа сама задавала себе. Она смотрела на Любу и отвечала как будто ей, но видела перед собой не ее, а кабинет со столом в центре и стульями вдоль стен, из которого она вышла. Кабинет этот произвел на нее впечатление нежилой, пустой комнаты. Ни шкафов, ни занавесок, ни кресел, и это впечатление пустоты (вместе с тем, что Наташа узнала и пережила в кабинете) соединялось теперь в ней с отнятой у нее радостью жизни и властью, холодом обдававшей ее. Она не то чтобы поняла (по той простой поговорке, что Москва слезам не верит), что здесь нельзя было употребить тех известных каждой женщине средств разжалобить человека, по которым обычно достигается цель, то есть что нельзя было слезами вымолить ничего, но почувствовала это так же верно, как верно поняла, что Арсения будут судить и осудят. И потому она не плакала, слез не было, а в открытых глазах ее стоял только тот ужас чего-то надорвавшегося в душе ее, что, напугав и захватив, не отпускало уже. Она как бы вдруг переменилась с этой минуты, повзрослела, как сказал бы о ней сторонний наблюдатель, и по-новому видела весь ужас своего положения. Положение это представлялось ей теперь не то чтобы безысходным, но требовавшим определенных и четких усилий, чтобы восстановить все; и она с тем смутным сознанием, что она может помочь Арсению, собирала душевные силы в себе, чтобы сделать это. По совету Любы она отправила телеграмму матери, а затем, не выходя никуда, провела у подруги те несколько запомнившихся ей долгих суток, когда ей казалось, что все уже кончено для нее, что жизнь для нее остановилась и что мир людей, так прекрасно открывшийся ей этот мир — был ли он вообще или был только красивым и поманившим сновидением? Она почти не разговаривала с Любой и только лежала на тахте, повернувшись лицом к стене, и Люба, понимавшая ее, не донимала ее ни советами, ни расспросами, а только тихо,

как она умела, ухаживала за ней, невольно и не злорадно, из того только чувства самоутешения, какое есть в каждом человеке, думая о том, что, несмотря на свое одиночество, она была в лучшем положении, чем Наташа.

Поздним августовским утром, было это накануне приезда отца, Наташа пошла на почту узнать, есть ли что от матери, и по пути, так как это было удобно и было необходимо (чтобы взять белье и сменные вещи), решила прежде заехать к себе на Никитский, как ни трудно ей было сделать это.

VIII

В этот день хоронили Юрия.

Тех, кто хоронил его, было немного; были только Галина, вызванная телеграммой (по адресу, сообщенному Арсением), отчим ее, Шура с мужем Николаем и Дементий, прилетевший уже после того, как старик Сухогрудов поговорил с ним по телефону из Москвы; все остальные же — был тот простой люд (частью прохожие, частью жильцы дома), который всегда любит поглазеть на события, не касающиеся его. Но похороны Юрия были не просто похоронами; из дома выносили гроб с телом сына, убитого отцом, и каждому (гроб несли не заколоченным, а открытым) хотелось посмотреть на несчастного мальчика и на мать, шедшую сейчас же за гробом. То, что при жизни Юрия большинство в доме уже возмущалось им, было забыто, и все теперь только жалели его, и еще больше жалели те, кто ничего не знал ни о его жизни, ни об Арсении с Галиной, как все складывалось в их семье. «Убить сына?!» — как шорох катилось по толпе впереди гроба. «Мальчик-то — ребенок! Дитя, совсем дитя еще»,— говорили те, кто успел уже взглянуть на сухощавую голову покойника с редкими и светлыми, как у матери, и по-школьному аккуратно причесанными теперь волосами. Юрий вызывал у всех то сочувствие, какого недоставало ему в жизни, и сочувствие это вместе со взглядами, переводившимися с него на мать, переносились и на Галину, которая вся в черном и со светлыми из-под черного шарфа волосами (и с тем летним деревенским загаром, так хорошо взявшимся по всему лицу еще в Поляновке, а затем в Мценске) шла за тем, что недавно было ее сыном, радовало и огорчало ее и что

теперь было жестоко и без ее согласия отчуждено от нее. Она не плакала, но шла тяжело, не видя, куда ступает, и две женщины-соседки под руки поддерживали ее.

Гроб с трудом разворачивали на лестничных клетках, и впереди всех, подпирая его плечом и руками (и подавая команды по ходу), двигался Дементий. Шея его, стянутая воротником рубашки и галстуком, то и дело багрово наливалась, когда наклоненный гроб вдруг всей тяжестью начинал напирать на него, он протягивал руку к стене, чтобы не пошатнуться, и торопливо произносил: «Осторожно, не уронить!» — те самые слова, какие всегда произносят, вынося покойника. Рядом с ним суетился Николай, муж Шуры, с красным, отечным лицом; он как будто никак не мог приловчиться, с какой стороны взяться ему, и, нагибаясь, проскальзывал под гробом то на правую, то на левую сторону его. Шура осталась со стариком Сухогрудовым, чтобы на лифте спустить его, и была вся поглощена этим своим делом, которое — следить за отчимом — наказала ей Ксения, и лишь Галина шла с отсутствующим как будто выражением, словно не понимала, что происходит с ней и вокруг нее. Внимание ее было сосредоточено на чем-то том, что было заключено в ней самой; и этим была ее жизнь, так счастливо сперва соединившая ее с Лукиным, а затем так жестоко наказавшая ее. За что было это наказание, она не знала и каждую минуту ждала Лукина, что он приедет (по оставленной ею записке в Мценске) и объяснит все. Она ждала его всю ночь, пока сидела у гроба, и несколько раз, когда слезы особенно начинали подступать и душить ее, выкрикивала в отчаянии не имя сына, а: «Ваня, Ва-аня!» — зовя того, кто один только, как она думала, мог понять ее и разделить с ней ее горе. Она и теперь смотрела не на гроб, а поверх него, отыскивая Лукина, и когда вдруг до нее доходило, что его нет, ноги ее подкашивались и она погружалась в то полуобморочное состояние, которое для всех других, смотревших на нее, было лишь высшим выражением материнского горя. «Как она несчастна,— говорили о ней.— Шутка ли, один сын». «И молода как»,— замечали другие. И эти другие, которые менее всего были посвящены в суть дела, видели, что Галина была не столько несчастна, как была хороша собой, была женщиной в той поре, когда можно было еще любоваться ею. То траурное, что было надето

на ней, было так красиво и шло ей, и загар, приглушаемый теперь бледностью, так выделялся на ее лице и так выдавал в ней не успевшую еще остыть радость жизни, какую испытала она, соединившись с Лукиным, что для многих было сомнительно, чтобы похороны сына были для нее горем. «Как под венец»,— сказал кто-то, но Галина не слышала этих слов. Она продолжала отыскивать взглядом Лукина, которого не было здесь, и в этом мучительном состоянии (но со своим горем и своим желанием жить) и увидела ее Наташа.

Но еще прежде Наташа увидела похоронную процессию, выходившую из подъезда на улицу. Она не знала тех, кто выносил гроб, но по охватившему ее предчувствию, когда еще издали обратила внимание на толпу, сейчас же поняла, что хоронили Юрия. Она еще более поняла это, как только взглянула на Галину, вышедшую вслед за гробом, и, узнав ее, инстинктивно отступила назад, чтобы не быть самой узнанной ею, и затем пятилась еще и еще, отходя за толпу, к стене, и не отрывая глаз от Галины и гроба. Гроб с телом Юрия вызывал в ней чувство вины, боли и ужаса, что как раз и заставляло ее пятиться, но Галина, о которой у Наташи всегда было только одно мнение, что та дурна собой и зла (как и сказано было Любе),— Галина, величественно, как это показалось Наташе, выступавшая в своем горе, производила совсем иное впечатление. Наташа впервые вдруг открыла для себя, что Галина красива, и впервые увидела в ней соперницу. Вместо того чтобы подумать, как тяжело было Галине хоронить сына, вместо сознания общего несчастья, какое должно было как будто объединить их, она подумала именно об этом, что было нехорошо, она понимала и не могла подавить в себе; и тем с большим напряжением следила за гробом (и за Галиной), будто с ними должно было случиться что-то. «Уронят, уронят»,— заглушая одни мысли другими, думала она, в то время как муж Шуры Николай неловко перехватывал руками, приподнимая гроб к борту машины. Но гроб не уронили; и не произошло ничего, что нарушило бы общую картину похорон. Те, кто ехал провожать, сели в машину по бокам покойника, борт закрыли, и через минуту у подъезда уже почти никого не было. Люди пошли по своим делам, втягиваясь каждый в свой мир печалей и радостей, и лишь для Наташи все увиденное ею продолжало жить и мучительно волновать ее.

Как и после ночи, проведенной у соседки, она не вошла к себе в квартиру; не зашла она и на почту, где ожидала ее телеграмма отца, а вернулась к Любе (которой в эти часы не было дома) и одна в пустой и не казавшейся уже убогой и бедной комнате снова и снова как бы прокручивала в сознании своем то, что одно только теперь могло быть важным для нее. Она вспоминала то следователя, то эти увиденные ею сегодня похороны и растерянно смотрела вокруг себя; и весь прежде целостный мир, так всегда радовавший ее, был не то чтобы разрушен в ней, но разделен на части, которые она пыталась и не могла соединить вместе. Между тем, каким она знала Арсения, и тем, что он совершил, лежало пространство; пространство это было между Галиной прежней и Галиной этой, какою Наташа увидела ее сейчас (и продолжала еще неприятно испытывать чувство соперничества и ревности к ней); пространство было, главное, между желанием жить счастливо, как вполне могли бы жить все люди (как об этом думала Наташа), и тем, что счастья этого не было у людей; не было в силу каких-то тех причин, о которых Наташа ничего не знала; и она только, как и Арсений, успевший хоть и смутно, но передать ей свою философию жизни, чувствовала, что разрушительная сила эта не зависит ни от политики, ни от законов и социальных перемен, а действует постоянно и вбирает в себя все злое, что, как и добро, составляет естество человека. «Ну почему бы не жить всем в любви и счастье? — думала она, как сотни других думали до нее и будут думать после нее (об этом главном вопросе жизни, который человечество за все время своего существования так и не смогло решить для себя).— Почему непременно нужно делать так, чтобы неприятно было кому-то? Для чего он (Юрий) ночью пришел к нам? Что ему было надо?» — думала она, переключаясь от общих фраз к этому конкретному, что волновало ее. Она задавала себе еще и еще «почему», на которые не было ответа, и не затрагивала лишь самою себя: почему она пришла к Арсению? Ее поступки (как и всякий человек думает о себе) не могли быть дурными; ее счастье — это е е, и его нельзя осудить; счастье же других — это лишь согласие с ее счастьем, и Наташа, думая так, не только не замечала ничего предосудительного в своих суждениях, но, напротив, была убеждена, что ничего более справедливого не могло быть на свете. Она опять мыс-

ленно возвращалась к картине похорон, как эта картина запомнилась ей, и, видя вновь перед собой Галину, как та вся в черном выступала за гробом, испытывала к ней уже не ревность, а какое-то более нехорошее и сильное чувство. «Нет, я не отдам его тебе,— вдруг и решительно сказала Наташа.— Он не виноват»,— затем добавила она (фразу, которую потом будет повторять всем). Ей казалось, что вся теперешняя ее решимость идет от любви к Арсению, тогда как на самом деле в ней пробуждалась потребность утвердить себя не любовью, а силой, что в разное время пробуждается в каждом человеке, она чувствовала эту силу в себе, и впервые (и незаметно для нее самой) на лице ее проступали черты женской безотчетной жестокости.

IX

Останавливается только внимание человека на чем-то или на ком-то, но общая жизнь людей точно так же, как не имеет обратного хода, ни на мгновенье и ни перед чем не останавливается. Как ни тяжело было Галине пережить этот день, главное, пережить минуты, когда она, войдя в зал крематория, последний раз подошла к сыну, чтобы проститься с ним, и как ни казалось ей, что вместе с опускавшимся в провал телом сына отрывалось и уходило от нее то, что составляло смысл ее жизни (как ей представлялось теперь),— вместе с отчимом, братом, Николаем и Шурой она вернулась домой и вместе с ними села за стол, не вполне сознавая, для чего надо было после похорон есть и пить, но безвольно подчиняясь тому, что делали все. Остававшейся в доме соседкой был сварен борщ из свежей капусты и были приготовлены отварное мясо с картошкой и подслащенный рис с изюмом. Все это, разлитое и разложенное по тарелкам и блюдам, аппетитно смотрелось, было вкусным и в сочетании с бутылками столичной, рюмками и видом самой соседки в фартуке, разомлевшей у плиты и как бы показывавшей всем теперь свои порозовевшие щеки, создавало впечатление жизни; и в то время как собравшиеся должны были как будто (на поминках) говорить о покойном, все, казалось, только и были заняты тем, чтобы поскорее забыть о нем. Хорошо о Юрии говорить было нечего, а отзываться дурно не было принято, и после первых же выпитых рюмок за упокой его души раз-

говор между гостями и родственниками пошел в самых различных направлениях. Мужчины, сосредоточившись вокруг Дементия, начали расспрашивать его о Севере и возможностях заработать там. Шура же со своим недержанием слов и привычкою все центрировать возле себя (и позабывшая уже, что ей велено было присматривать за отчимом) принялась рассказывать той самой соседке, которая сварила борщ и приготовила мясо, как было все у нее (то есть в квартире Шуры) в Мценске, как зелено и нешумно было на улицах ее города и как это вообще люди не понимают преимущества маленьких городов перед большими.

— Я не хочу сказать о Москве, конечно, Москва есть Москва, но я так привыкла к нашему Мценску,— говорила она, не давая ничего вставить соседке (и подражая во всем матери, Ксении, которая, как думала об этом Шура, умела занять гостей).

И лишь Галина с отчимом не принимали никакого участия в этом общем и оживленном будто бы разговоре.

Галина сидела в голове стола, и когда обращались к ней, только поднимала глаза и не понимала, что хотели от нее. Отчим же, привыкший (дома) к послеобеденным снам, перешел в кресло и, казалось, дремал в нем. Старческое лицо его было как будто спокойным, но Дементий, время от времени бросавший на него взгляды, видел, что в душе отца происходила какая-то тяжелая и принудительная работа. Он видел, что отца мучительно занимало что-то, что (в представлении Дементия) было не столько связано с похоронами и горем, как вытекало из этих похорон и горя и наталкивало на определенные размышления; это были те общие мысли о существе жизни, которые, сколько Дементий знал отца, всегда в трудные минуты занимали его. «Неблагополучие мое есть неблагополучие общества, потому что неблагополучие общества есть не что иное, как отраженная сумма неблагополучий отдельных людей»,— так нравоучительно (и возвышенно) любил иногда сказать себе старый Сухогрудов (и о чем отдаленно и перефразированно вспомнилось теперь Дементию). «А не лучше ли подумать бы о Галине? Нельзя же ее одну оставить в Москве,— сейчас же возразил он отцу, задав вместе с тем себе этот вопрос, на который так ли, иначе ли, но, он чувствовал, придется отвечать ему.— Да и ей что бы не жить? С Лукиным, с чертом-дьяволом, раз выбрала, а

то... ни себе счастья, ни другим... радости»,— сказал он уже о сестре, придерживаясь той своей упрощенной схемы, по которой, если бы Галина вовремя прислушалась к нему или отцу, ни у кого не было бы сейчас этих хлопот и волнений. Он находил в несчастье сестры только то, что этого несчастья могло бы не быть; и точно так же думал о Галине отчим, мнение которого (несмотря на жалость и любовь к ней) еще более соединено было теперь в слове «дура» и в том прибавлении к нему, что если своего ума нет, то хоть пользовалась бы отцовским. «Обвиняй, не обвиняй, а дело совершено,— думал он, вскидывая жесткий прищуренный взгляд на нее.— Осудят одного, выбросят с кресла другого, ну а ты... с чем? Пустота». И в то время как отворачивал от нее глаза, по тем провалам памяти, которые все чаще теперь, с годами, обнаруживались у старого Сухогрудова, забывал о ней (и о поминках) и переносился как раз в ту область размышлений о существе жизни, о которой, глядя на него, и догадывался Дементий.

Поводом же для этих размышлений было событие, на которое никто из родственников не обратил внимания. Накануне похорон, пока еще все ждали приезда Дементия и не забирали гроб с телом Юрия из морга, старик Сухогрудов решил навестить одного из своих прежних знакомых — Петра Горюнова, бывшего работника обкома, который занимал теперь здесь, в Москве, немалую должность. Никакой определенной цели у Сухогрудова к нему не было, а просто по памяти, что Горюнов в свое время поддержал одно из начинаний Мценского райкома, хотелось, во-первых, повидаться с ним и, во-вторых, подышать той атмосферой перемен (по отношению к деревне), которая так чувствовалась всеми в Мценске и Поляновке и о которой хотелось узнать, как все было здесь, наверху, то есть насколько серьезно и в государственных масштабах планировалось дело. Сухогрудову хотелось не из своих соображений, не из соображений Лукина, а из первых, как говорится, рук получить сведения о том, какие возможности открывались теперь перед сельскими районами; но, просидев около часа у Горюнова и выйдя из его кабинета, он чувствовал себя так, словно не только не узнал ничего нового, но был еще более запутан в тех своих представлениях, что важно и нужно было сейчас деревне. К внешней стороне, как Горюнов принял его, у Сухогрудова не было претензий; со-

блюдено было как будто все вплоть до чая и сушек (тех особенных, какие всегда подаются в высоких кабинетах); но как только разговор заходил о том важном, что хотел узнать Сухогрудов, он видел, что Горюнов был как будто стеснен чем-то. Был как будто стеснен теми обстоятельствами, которые (как о том хорошо знал старый Сухогрудов) происходят либо оттого, что под тобой качается стул, либо оттого, что вдруг, в то время как все будто согласовано со всеми и должно быть утверждено, наверху останавливается кем-то и происходит заминка, дело повисает в воздухе, и никто и ничего определенного уже не может сказать о нем. Это-то второе и настораживало Сухогрудова и вызывало те странные сомнения, которые он как раз и старался сейчас (на поминках) объяснить себе.

Но он не находил объяснения и переключался на другое, тоже связанное с визитом к Горюнову, что еще более занимало его. Он заметил, что Горюнов был как-то неестественно возбужден и что возбуждение это было не от личного успеха, а от какой-то той общей вокруг деятельности, от которой ожидалось как будто что-то грандиозное. Грандиозным этим были сводки о намолоте и заготовке хлебов, поступавшие с полей, по которым было видно, что страна в этом году вырастила и убрала рекордный урожай зерновых, что только Россия дала уже более двух с половиной миллиардов пудов хлеба (что было впервые) и более миллиарда пудов давал Казахстан; но все это еще не было обнародовано, а только подсчитывалось и готовилось к публикации, и только ожидались еще (по этому поводу) поощрения, награждения и торжества в Москве; грандиозным было именно это, о чем Сухогрудов еще не знал, и потому он подумал о том времени, когда он сам начинал партийную карьеру (и когда многое не по неопытности, а по нужде возлагалось на ничем не оплачивавшийся людской энтузиазм). «Так что же изменилось, если мы опять начинаем бить в ладоши не в конце пути, а в начале его?» — задал он себе вопрос, который прозвучал для него так: «Для чего надо было отстранять меня, если все идет, как шло прежде?» И он впервые и живо представил себе все прошлое в виде повозки, которая налегке и весело тронулась в путь и затем, как это нередко случается, начала по ступицы увязать в грязи на размякшей дороге; то справа, то слева к повозке подводили пристяжных, то приходи-

лось всем слезать и вместе с лошадьми вытягивать ее, и старый Сухогрудов почти физически чувствовал напряжение прожитых лет; он знал ту дистанцию, которая всегда есть между замыслом и свершением, между предполагаемыми возможностями и возможностями действительными, и ему казалось, что нынешняя возбужденность, с какою приступают теперь к очередному преобразованию деревни (та самая возбужденность, какую он так ясно заметил в Горюнове), точно так же упрется в ряд не предвиденных пока еще проблем, которые придется решать, а иначе говоря — искать пристяжных или просить народ опять навалиться всем и вытянуть воз. Сухогрудову казалось, что прошлое должно было повториться, и тем болезненнее было для него, что он отстранен и не может никому передать свой опыт.

То, чем он жил в Поляновке, что все эти годы привязывало его к земле, к людям и заставляло приглядываться ко всем малейшим переменам жизни и реагировать на них, он как бы привез теперь с собой в Москву, и похороны внука, что должно было как будто волновать его, было оттеснено в сознании его этими общими соображениями жизни. Похороны были делом преходящим, личным, то есть затрагивали только интересы одной (его) семьи, тогда как то, о чем Сухогрудов думал, выйдя от Горюнова, касалось всей жизни, то есть делом общенародным, от которого зависело благополучие всех людей, и потому представлялось главным.

«Вот так, сидишь теперь вся в черном, а кто тебе виноват? Кто виноват?» — говорил Сухогрудов в те минуты, когда из провала памяти, в который погружался, он вдруг выплывал на поверхность и видел стол с закусками и рюмками и Галину за ним, видел сына в окружении мужчин, все еще продолжавших оживленно говорить о чем-то, и видел вторую свою (по Ксении) падчерицу, Шуру, которая по обыкновению своему, начав что-то, не могла остановиться. Он морщился, видя это, и лишь с большей назидательностью мысленно бросал Галине: «По асфальту хотела, ног не замарать?! Нет, вы еще узнаете, что такое тянуть воз, вы еще позовете меня»,— затем снова продолжал он, переключившись на то, что было важнее и мучительнее для него, и отвечая уже не только Горюнову, но и Лукину и всем, кто, как ему казалось, направлял теперь движение жизни и не хотел помнить о нем.

X

— Ну так что, отец, надо что-то решить с Галей,— сказал Дементий, усаживаясь на стуле напротив отца, в то время как поминки были уже закончены, все разошлись, Галина одетая лежала в бывшей комнате сына, а Шура с той самой приглашенной соседкой, которая сварила борщ и приготовила мясо, убирали со стола и возились на кухне. Николай, захмелевший более чем нужно, был с ними и мешал им.— Так что будем делать, отец? — повторил Дементий, потянувшись вперед занемевшими как будто без движения руками и упершись бородою в грудь.

Он казался себе усталым, но не оттого, что весь день был на ногах и все еще переживал за сестру; усталость его была от другого — он занимался не тем делом, каким надо было заниматься ему, и, понимая, что неприлично теперь выказывать э т о, старался подменить свое равнодушие к сестре этим видимым интересом, какой сейчас (при отце) проявлял к ней. Он ждал как будто, что скажет отец, и смотрел на него, тогда как на самом деле интересовался не ответом, а приглядывался к тому жесткому (на лице отца) выражению, которое говорило, что в душе отца все еще продолжали ворочаться какие-то свои глобальные мысли; Дементий понял отца точно так же, как понимал себя, и отвернулся от него словно бы на голос Шуры, который послышался из кухни.

— Разобьешь, я тебе говорю, разобьешь! — звучал этот самый голос, непривычный для Дементия и точно так же непривычный и неприятный для старого Сухогрудова и заставивший его тоже покоситься на дверь.

«А что ты предлагаешь?» — затем было в стариковских глазах Сухогрудова, когда он перевел взгляд на сына.

— Не знаю, но что-то же надо делать,— сейчас же отозвался Дементий (из тех своих соображений, что вопрос этот лучше бы решить сейчас, чтобы не думать о нем и освободить себя для других важных дел).

— Что, отцовский совет понадобился?

— Твой совет, ты знаешь, всегда был дорог... нам,— сказал Дементий, чтобы успокоить отца.— Но ведь мы сейчас говорим о Галине, о Гале, пойми,— добавил он, намекая отцу на его прежнее (и всегдашнее) расположение к ней.— В конце концов, я могу увезти ее на вре-

мя к себе в Тюмень.— И минуту назад не думавший сказать это, Дементий вдруг увидел, что это было лучшее, что можно было сделать для сестры.— Как ты посмотришь на это? — однако спросил он у отца.

— Мало своих хомутов? Хочешь еще? Учить хочешь?

— Ее не учить, ее спасать надо.

— Мы вечно кого-то или что-то спасаем, как же, непременно, иначе не можем,— спокойно как будто и холодно сказал старый Сухогрудов, непонятно для Дементия связывая это, о чем шел разговор, с теми своими общими размышлениями о жизни, какие только что занимали его.— Но если ты решил взять ее,— затем произнес он, почувствовав, что был несправедлив к сыну,— что ж, могу только одобрить это твое решение.

— А что делать? — Дементий развел руками.— Москва хороша для тех, кто приспособлен к ней.— И он прищуренно посмотрел в ту сторону, где лежала Галина. И хотя у него было многое, что сказать о Москве и приспособленности жизни в ней, но по тому инстинктивному чувству, что нехорошо было перед отцом осуждать столицу (нехорошо, главное, потому, что неискренность этого осуждения отец сейчас же заметил бы), перевел разговор на другое — на Арсения, следствие по делу которого не было завершено и, по мнению Дементия, можно было еще определенным образом и решительно вмешаться в него.

— Не думаю,— все с тем же спокойствием возразил старый Сухогрудов.— Будет суд. Суд и разберет все.

— Но Галя — это же беспомощное существо,— в свою очередь возразил Дементий.

— Беспомощное?! — И Сухогрудов-отец усмехнулся одними своими тонкими и бесцветными уже губами.

Он не был согласен с сыном. В его деятельно-возбужденном сознании после того, как он узнал о связи Галины с Лукиным (той преступной, по выражению его, связи, которая началась в Поляновке) и узнал о подробностях смерти Юрия (в том пересказе, как все было изложено ему следователем, с которым в первый же день по приезде в Москву он встретился и поговорил), сложилась та простая, ясная ему и по-своему целостная карта событий, по которой он видел, что нельзя было оправдать ни Галину, ни Лукина, ни Арсения. Но в то время как Лукин и Арсений чаще представлялись старому Су-

хогрудову лишь глупыми карасями, которые, разглядев наживку и кинувшись заглотнуть ее, оказались на берегу, к Галине он предъявлял совсем иные требования и был более чем недоволен ею. Те опасения насчет ее образа жизни, какие часто занимали его в Поляновке, то есть все то поверхностное, из чего он, позволявший себе лишь до определенной ступеньки проникать в дела ближних, делал свои обобщения,— опасения те, он видел, были как будто подтверждены, и в оскорбленной отцовской душе его происходило теперь то действие, словно пружина любви, которую он с такими усилиями всю жизнь сжимал в себе, расправлялась и поднимала на поверхность иное и холодное чувство в нем к падчерице. Но он не хотел, чтобы сын знал это.

— Беспомощное? — лишь повторил он, однако усмешкой и тоном выдавая себя сыну.

— Ты несправедлив к ней, отец,— заметил Дементий.

— Так ли, не так ли, не в этом дело. Распорядись-ка лучше, чтобы дали прилечь мне,— сказал старый Сухогрудов, живо и с привычкою, как он умел делать это, как бы смахнув с тонких губ своих то, что позволяло читать его мысли.— Я устал.— И он закрыл глаза, чтобы не говорить с сыном.

Ему хотелось уединиться, но возможности такой, как в Поляновке, не было здесь, и он тяготился этим. Ему казалось, что он непозволительно долго для себя топчется на месте, отдавшись домашним делам, тогда как рядом был тракт, по которому двигалась жизнь и по которому он сам должен был шагать впереди жизни; но сделать это (вернуться к своему привычному ритму) он мог, только оставшись наедине, и он тяжело напускал над глазами брови, ожидая, когда эта возможность предоставится ему. «Надо будет завтра зайти к Горюнову,— вместе с тем, перебивая себя, думал он.— Может, *все это* только впечатление?» И в то время как Дементий, Шура и Николай, суетясь и перешептываясь, готовили место, где прилечь ему, он погружался в ту сферу своих государственных размышлений, где он был для себя и Наполеон и солдат и планировал и осуществлял то, что представлялось важным для общего блага людей. Он как бы старался заполнить тот пробел в жизни, какой, он чувствовал, образовался в результате отстранения от всей прошлой деятельности его; и он испытывал удовлетворение от этой своей умственной работы,

словно и в самом деле исправлял то, что не так и против его воли было в свое время совершено им.

Его уложили на раздвинутом диване, и Дементий, молча постояв перед ним и отойдя от него, недовольно покачал головой. Вид отца не понравился ему. Не понравились не морщины, которые теперь, в сумраке, при не включенном еще свете, особенно выделялись на его лице, а не понравился землистый цвет этих морщин, ясно как будто говоривших о болезненном затухании жизни. «Как же он постарел с тех пор»,— подумал Дементий, как и в первую минуту, когда, прилетев из Тюмени, увидел его.

— Так и не смог пережить своей отставки,— затем, уже сидя с Николаем и Шурой на кухне, сказал он о том, что еще сильнее, чем старость, поразило его в отце.— Дома-то он как? — спросил он, обращаясь более к Шуре, чем к Николаю.— Чем он занимается?

— Да он, по-моему, никого не любит,— сейчас же отозвалась Шура и принялась со старанием пересказывать Дементию те свои суждения об отчиме, которые она с такой же бойкостью и не раз высказывала матери.— Че ему переживать? О чем думать, когда у него все есть? Дом в городе, дом в деревне и в доме все, господи, че думать? А он думает, думает...

— Старость,— перебил ее Дементий.— Старость,— повторил он, понимая, что нетактично было прерывать разговор, но не желая говорить с ней об отце. — Пойдука пройдусь перед сном.— И, встав и отводя глаза от Шуры и Николая, направился к выходу.

XI

Дементий по-своему понимал отца и по-своему не принимал то, что видел в нем; и по тому естественному чувству, как всякий человек старается отгородиться от дурного, проводил черту между привычками отца и своими, находя одни, отцовские, предосудительными и отжившими, а другие, свои, наполненными содержанием и нужными. «Он все еще не может понять, что он устарел со своими взглядами»,— думал Дементий, выражая не столько свое личное отношение к отцу, сколько то общее мнение, по которому осуждалось еще недавнее прошлое (то есть излишняя и в разных масштабах концентрация власти) и приветствовалось новое (то есть та демократизация, которую торопились теперь восстановить во всех

слоях общества и к которой надо было еще привыкать, как пользоваться ею). Но сколько Дементий ни отгораживал себя от отца и как ни убеждал, что то, что есть в отце, есть наслоение времени и что к нему не может быть возврата, чувствовал все же, что что-то (именно в нехорошем) роднило его с отцом, что между теми заботами об общем благе, которые в отце были доведены до крайности и мучали его, и подобными же заботами об общем благе, к которым у Дементия был уже свой вкус, имелось что-то единое, что нельзя было обойти или не замечать. Он видел в отце как бы то, к чему должен был прийти в старости, и это-то смущало Дементия и вызывало в нем резкое желание отделить себя от отца.

«Это ужасно,— думал он,— не видеть, что ты уже не нужен обществу (в то время как ужасным должно было быть другое — именно видеть, что ты уже не нужен обществу). Это бессмысленно,— продолжал про себя Дементий,— столько лет ждать, что тебя снова позовут, и так мучать себя (в то время как для отца это было не мучением, а единственной возможностью деятельности). Неужели и я в старости буду таким? Нет, раз я понимаю, стало быть, не буду. Отработаю свое и уступлю, уйду, это естественно, так было и будет»,— рассуждал он, в то время как он даже не подозревал, что точно так же в молодости судил обо всем отец, но что затем, с годами, все это забылось, прошло и остались только чувства незаменимости и ревности к тому, что идет на смену; на смену же шел он, Дементий, со своими обновленными взглядами и своим как будто не похожим на отцовское удовлетворением работой и жизнью. «Нет, это совсем другое»,— думал он о себе, в то время как приятно было ему сознавать, что судьба огромной стройки зависела от него, что сотни людей и механизмов, уже расставленных по всей трассе будущего газопровода, подчинены ему. Он как бы за спиною чувствовал и этот размах работ, и все те зримые и незримые каналы и нити, по которым осуществлял он руководство; и как он теперь ни осуждал отца (и как ни тяжело было переживать за сестру), чувствовал, что и похороны, и поминки, и даже этот разговор с отцом, так возбудивший Дементия,— все было второстепенным в сравнении с тем главным, что жизнью, как полагал он, было возложено на него. «Нет, нет, это совсем другое»,— повторял он, утверждая, по существу, в себе то, что решительно отвергал в отце.

Он ходил в этот вечер долго (с этими непривычными для себя размышлениями), то направляясь вниз по улице Горького к Манежной площади, то поворачивая обратно к площади Маяковского, и когда вернулся домой, было уже около двенадцати и все спали. Не спал только отец. Он сидел на диване (на той самой постели, которая была приготовлена ему), свесив к полу босые ноги, свет от ночника падал на его спину, голову, скользя по редким уже седым волосам, и все старческое, прежде скрытое под костюмом, было так обнажено в нем, что Дементий на минуту остановился, увидев его.

— Ты не спишь? — удивленно спросил он.— Ты почему не спишь? — И, чувствуя себя неловко перед истощенной фигурой отца за нехорошие мысли о нем, стараясь подавить эту неловкость и не находя, как подавить ее, подошел к отцу и присел рядом.— Тебе нездоровится? Ты болен?

— Нет, я здоров. Больны вы. Да, вы,— подтвердил старый Сухогрудов с той резкостью, словно говорил не сыну, а кому-то в райкоме, кто был неугоден и неприятен ему.— Все обмельчало. Все, все! — И он поднял глаза, чтобы посмотреть на выражение лица сына, когда тот будет отвечать ему.

— А-а, ты вон о чем,— протянул Дементий, сейчас же почувствовав в отце то, что только что осуждал в нем.— Изводишь себя, а к чему? Не по-твоему живут люди? А почему они должны жить по-твоему? — просто и ясно спросил он, поняв только после того, как произнесены были эти слова, что их не следовало говорить отцу.— Почему? — однако повторил он с той же наступательностью, как начал разговор.

— Дело не в моей жизни,— возразил старый Сухогрудов.— Раз не дано, так не дано.— И чтобы показать, что не хочет говорить с сыном на эту тему, потянулся к подушке взбить ее.

— Я помогу,— тут же вызвался Дементий, поднимаясь и опережая отца.

— Сам в состоянии.— И старый Сухогрудов решительно отвел руку сына.

Дементию надо было уходить, но он как будто чувствовал, что что-то должно было еще произойти, и продолжал сидеть и смотреть на отца, которому тоже надо было ложиться, и он собрался уже сделать это, но, управившись с подушкой, точно так же, как и сын, про-

должал выжидать чего-то. Было видно, что он хотел еще что-то сказать сыну, но или не решался, или не находил слов, чтобы выразить мысль, и в глазах его было беспокойство, которое как раз и передавалось Дементию и удерживало его. Дементий не знал, что собирался сказать ему отец, но чувствовал, что важное что-то, и тем с большим напряжением смотрел на отца, чем дольше молчал тот и чем заметнее было на его лице желание сказать что-то. «Как же он все-таки стар»,— вместе с тем думал он об отце.

— Ждешь? — Отец повернулся к нему.

— Да.

— Я доволен тобой, помни это. О переменах твоих,— он предупредительно поднял ладонь, прося не перебивать его,— знаю. И от Галины и по письму твоему, и одобряю. Но сам-то ты как?

— В каком смысле?

— Тянешь? Под силу?

— Твоя кровь,— сказал Дементий, чтобы польстить отцу.

— Кровь? Этого мало. Этого очень мало по нынешним временам. И университеты и дипломы — учатся все. Но существует еще такое понятие — связи, которые я должен был бы передать тебе, а у меня нет этих связей.

— Но, отец...

— Было время, когда корабль только отправлялся в путь и все каюты были пусты. Но ты вошел на этот корабль жизни, когда он на полном ходу и когда все если и не отлажено еще в нем, то, по крайней мере, забито. Нужна голова, нужны руки, но и нужны связи, чтобы достичь чего-то,— снова подтвердил Сухогрудов-отец (с той сдержанностью, будто он делал одолжение, говоря это).— Я тоже вступал, когда все было на полном ходу, и знаю что к чему. Ты прости, что я не смог вовремя помочь тебе.

— Ты никогда прежде не говорил об этом.

— Я много о чем не говорил. И, может быть, никогда уже не скажу. Но тобой я доволен, знай это, и все, спать.— Он по-стариковски, с усилием поднял ноги и лег на спину, уставившись в какую-то точку, которую еще хотелось рассмотреть ему.— Спать, спать,— чуть выждав, снова произнес он.

Дементию было что возразить отцу, но он только вглядывался сверху в его худое, изрезанное морщинами

лицо, и та мысль, что отец уже не жилец на свете, прежде как-то не приходившая Дементию в голову, неожиданно ясно предстала перед ним, что он даже откачнулся как от чего-то нехорошего, что надвигалось на него; и вместе с этим страшным чувством, что может потерять отца, впервые подумал о нем так, будто вместе с отцом должна была уйти целая эпоха жизни, эпоха, которую теперь во многом и без разбора осуждали, но которая (судя по переживаниям отца) имела свою притягательную силу и была по-своему нужна и справедлива. «Он был убежден, что делает добро, как убеждены мы. Но у нас свое понятие о добре и справедливости и своя мера всему, как будет своя и у тех, кто придет за нами. Что они примут и что отвергнут?» И хотя суждение это само по себе не было новым и неожиданным для Дементия, но теперь, когда он смотрел на отца, на его казавшуюся маленькой голову, проваленную в подушке, суждение это представлялось той высшей объективностью, когда о каждом поколении людей можно сказать, что оно по-своему право перед историей. «Да, он делал то, что считал важным и нужным»,— думал Дементий в согласии с этой самой объективностью, по которой можно было если не оправдать, то хотя бы понять отца; и он чувствовал, что со смертью отца из жизни выпадет то, что обеднит ее. «Но что же я раньше времени хороню его! — наконец спохватился Дементий. — Это... от крематория, от поминок». И, чтобы не выдать волнения, ничего не сказав отцу, пошел от него.

XII

Та бесконечно суетная московская жизнь, какой обычно гордятся столичные люди, несмотря на сходство и различие миллионов отдельных судеб и на обилие событий, ежедневно, ежечасно и ежеминутно происходящих на предприятиях и в семьях, несмотря на несчастья одних и на то, что в противоположность несчастным семьям в эти же дни, часы и минуты есть семьи счастливые,— в эту осень 1966 года жизнь в Москве протекала точно так же в суете и заботах, как и во все предыдущие времена, сообразуясь с общими целями людей и государства.

В первых числах сентября в Москве проводилось заседание Советского Комитета защиты мира. Со стороны

Троицких ворот Кремля к Дому Дружбы советских людей с народами зарубежных стран, стоявшему на проспекте Калинина, то и дело подъезжали машины и подвозили членов комитета и приглашенных. У каждого из подъезжавших были свои интересы в жизни — и служебные и личные,— занимавшие их; но на лицах всех, как только люди поднимались по мраморной, застланной ковровою дорожкою лестнице в фойе, появлялось одно и то же выражение сопричастности с теми извечными вопросами войны и мира, которые всякому отдельному человеку всегда кажутся простыми — из-за чего воевать? из-за чего убивать друг друга? — но, несмотря на эту очевидную простоту, обычно сложно и кроваво решаются человечеством. И хотя теперь не гремели как будто выстрелы непосредственно в Европе, но общая обстановка в мире (по наблюдениям многих) была таковой, что происходило будто новое сползание человечества к войне; и это-то сползание и настораживало общественность.

По угрожающим речам Моше Даяна, раздававшимся в Тель-Авиве и проникавшим в печать, всем было очевидно, что на Ближнем Востоке назревал новый конфликт между Израилем и арабами. Неспокойно было в Африке и еще более неспокойно в Юго-Восточной Азии, где американцы, не успев выйти из одной грязной войны, как ее оценивали в самих же Соединенных Штатах (так называемой корейской), втягивались в другую и столь же грязную во Вьетнаме, где рвались теперь бомбы, лилась кровь, то есть совершалось то противоестественное, как об этом еще в прошлом веке писал Лев Толстой, человеческому разуму дело, которое, сколько ни объясняют его и как ни пытаются остановить люди, с упорной настойчивостью продолжает совершаться. Вместо того чтобы соединить усилия всех на мирном труде и развивать науку и промышленность в тех направлениях, которые облегчили бы участь народам и принесли бы им удовлетворение и счастье, усилия эти энергичнее, чем во все прошлые века, направляются на создание новых видов оружия массового истребления (хотя и того, которое уже накоплено в арсеналах, вполне достаточно, чтобы дважды все живое уничтожить на земле); человечество, в сущности, подпиливает сук, на котором сидит, и остановить это безумие, как подсказывает разум, может только общая воля людей. Те, кто подъезжал теперь к Дому

Дружбы, понимали это и участием своим в торжествах как раз и намеревались выразить эту общую волю.

Только что введенный в состав комитета (по тому правилу, о котором в народе говорят: деньги к деньгам, слава к славе), Кирилл Старцев был впервые на подобном заседании и, как новичок, боящийся опоздать, но еще больше боящийся прийти раньше, чем принято, пришел в то время, когда до начала оставалось около получаса и фойе лишь наполнялось народом. Вокруг Старцева, в то время как он осматривался возле себя, раздавались приветственные голоса, слышались хлопки рук, объятия, и по всему заполненному торжественно одетыми людьми пространству от колонн и окон с одной стороны до колонн и окон с другой шел всегдашний кулуарный разговор, из которого, если внимательней прислушаться к нему, всегда можно сделать более точный вывод о настроении общества, чем по речам, которые затем этими же людьми будут произноситься с трибуны.

— Вы хотите... относительно европейской жизни и нашей? — сейчас же услышал Старцев, едва подошел к первой (на пути его) группе людей, окруживших известного дипломата.— Главная ошибка состоит в том, что мы сравниваем жизнь людей определенного круга, то есть людей обеспеченных, с которыми встречаемся за границей, с жизнью нашего простого народа, и потому сравнение такое всегда будет не в нашу пользу.— Это был Кудасов, говоривший, как всегда, с той уверенностью, что никто не может знать больше, чем знает он. После недавнего визита генерала Шарля де Голля в Москву, памятного для Кудасова тем, что он был в группе сопровождавших (от советской стороны) французского президента, он выезжал снова в Париж, и теперь, вернувшись и приступив к чтению лекций в Институте международных отношений, был в том превосходном настроении (в том состоянии отрепетированности ума, как нож, только что заточенный для разделки мяса), как он обычно чувствовал себя, возвращаясь из-за рубежа.

В светлом, не по московскому шаблону костюме, с гладкою прической, веснушчатым лицом и крупными на круглой голове ушами, особенно заметными от прилизанности волос, Кудасов выглядел так, что невольно привлекал внимание. К нему подходили и те, кто знал его,

и те, кто не знал, чтобы послушать, о чем рассказывает дипломат, и присмотреться к той его особенной — Christian Dior,— как будто усвоенной в Париже манере держаться и произносить слова, ударяя на каждом из них.

— Да, именно, сравниваем несравнимое и не даем себе труда подумать,— говорил он, поворачиваясь своим открытым лицом то к одному, то к другому и не скрывая того удовлетворения, что ему приятно было быть здесь. Ему нравился этот бывший морозовский особняк тем, что все в нем сохранялось под старину — и гардины, и люстры, и мебель — и было, казалось, пропитано какою-то будто основательностью жизни, которую Кудасов видел в непременной связи времен, событий и поколений. Привыкший к определенного рода встречам и причислявший себя не к тем, кто принужден идти в середине колонны, а к тем, кому выпала честь возглавлять ее, он особенно ценил это чувство основательности и всегда с охотою приходил сюда, где собирались самые различные форумы в защиту мира, то есть делалось то важное государственное дело, которое, по мнению Кудасова, нельзя было уложить только в понятие «дипломатическое»; слова, произносившиеся здесь, были выражением чувств двухсоттридцатимиллионного советского народа, и с этим должны были считаться правительства и народы других стран.

Но для Кирилла Старцева не совсем понятно было то, о чем говорил дипломат, и он, чуть постояв и послушав, перешел к другой группе людей, где обсуждались последние события во Вьетнаме.

— Конечно, какая же это война, это истребление,— говорил тот, что был в центре и подтверждал, как видно, только что сказанное до него.— По мирным объектам, по дамбам!

Кто-то заметил:

— Малой кровью.

— Для себя. А чужую — рекой.

— А что вы хотите? Вся их история и политика в этом: для себя за счет других.

В следующей группе людей, к которой подошел Старцев, он услышал:

— То, что они делают у себя, это в конце концов их дело. Если народ может терпеть эту их пресловутую «культурную революцию»...

— Которая, если хотите, теперь узаконена,— вставил кто-то, ссылаясь на только что опубликованное сообщение, в котором говорилось, что на открывшемся 1 сентября 1966 года в Пекине пленуме ЦК КПК, на котором председательствовал Мао Цзэдун, было принято постановление о так называемой великой пролетарской культурной революции, суть которой, как показало время, состояла в том, чтобы руками несмышленой молодежи, вооруженной цитатниками и дубинками, разгромить те партийные силы в стране, которые выступали за социалистическое развитие и не были согласны с великодержавным курсом Мао. Методы же, которыми проводилась «культурная революция», были страшными. Крупнейшие государственные деятели, ученые, писатели подвергались самым изощренным публичным унижениям, их вешали, отрубали им головы или направляли на трудовое перевоспитание, что было равнозначно каторге. Улицы всех крупнейших городов Китая вновь и вновь оклеивались дацзыбао (призывными листовками), в которых хунвейбины (та самая бесчинствующая молодежь) требовали новых разоблачений и жертв. Эти недоучившиеся студенты и школьники, которым взамен учебников выдали цитатники Мао, разрешавшие им все, тысячной толпой, как стадо, пробегали по своим жертвам, и на мостовой после их ног оставались лишь распластанные в крови трупы, вокруг которых затем разводились костры и сжигались книги. Об этом рассказывали очевидцы, приезжавшие из Китая; об этом писали газеты, сравнивая то, что происходило там, с памятными для человечества годами, когда в Германии к власти приходил фашизм; об этом читал, слышал и знал Кирилл Старцев и потому с особенным интересом вслушивался теперь в то, что говорилось возле него.

— Они компрометируют все наше коммунистическое движение.

— Нет, коммунистическое движение скомпрометировать нельзя, — возразил человек, которого называли Николаем Николаевичем и о котором Кирилл Старцев точно так же ничего не знал и принял его за дипломата.— Можно изменить этому движению, отколоться от него, но... скомпрометировать нельзя. Я вижу другую опасность во всем этом деле. Распространение маоизма как очередного безумия. Молодежь, она везде молодежь, ее можно направить на любое дело, и в этом отношении

маоизм, проникающий в Европу, опасен и страшен. Он может породить массовый, безотчетный, юношеский,— уточнил он,— терроризм.

— Да, из детей можно вырастить и созидателей и убийц.

— Вот именно! — воскликнул Кошелев, тогда как Кириллу Старцеву еще прежде него хотелось сказать это.

XIII

Но в это время через фойе шли члены президиума, и всем надо было потесниться, чтобы пропустить их. Старцев был оттеснен к колонне, и оттуда, приподнимаясь (из-за плеч и голов) на носках и так, чтобы не привлечь к себе внимание, смотрел на тех, кто проходил теперь мимо и был предметом общего и невольного любопытства. Чуть опережая других, с веселым, открытым и добрым русским лицом шагал председатель Советского Комитета защиты мира поэт Николай Тихонов. Ему было под семьдесят, но по общему виду его, как он держался, и по живости движений, как шел, взмахивая руками, нельзя было ему дать этих лет, и Старцев, никогда прежде не видевший его, а только читавший книги,— Старцев не сразу, несмотря на реплики, раздававшиеся вокруг: «Тихонов-то! Молодец, как держится!» — поверил, что это был тот самый известный поэт, перенесший блокаду Ленинграда. «Что же в нем поэтического? — подумал он, полагая по тому распространенному, особенно среди этого слоя интеллигенции, к которому принадлежал Старцев, обывательскому мнению, что поэт непременно должен чем-то внешне отличаться от обыкновенных людей, что сейчас же сказало бы всем, что он поэт, в то время как Тихонов, напротив, всем видом своим как бы говорил, что он не отделяет себя от других.— А эти, что с ним, кто они?» И Старцев перевел взгляд на секретаря комитета, шедшего с папкой в руке, и на двух других, шагавших тут же, один из которых был академик Федоров, известный тем, что участвовал в знаменитом папанинском дрейфе, а второй — политический обозреватель «Правды» Жуков. Они о чем-то говорили между собой, что занимало их, и Старцев внимательно и со спины проводил их взглядом.

Едва прошли эти, как по фойе вновь, словно холодок, прокатилось волнение, и Старцев, только что освободив-

шийся от тесноты, в которой был, увидел шедших как будто прямо на него военных. Это были прославленные советские полководцы, герои войны, и заметнее всех среди них возвышалась статная еще фигура маршала Конева. И маршал и генералы вдруг остановились, чтобы пропустить кого-то, и этим, кого они пропускали (и кто сейчас же был узнан всеми), была Николаева-Терешкова. Все обернулись на нее, и ей надо было быть естественной под взглядами этих людей, для которых всякая малейшая фальшь (если она не своя) всегда чувствительна и которые никому еще (кроме самих себя) не прощали этой фальши. Естественность для Николаевой-Терешковой была в том, чтобы не выказать своего стеснения, и она, не вполне еще привыкшая к почестям, какие оказывались ей как первой женщине-космонавту, и не успевшая еще как следует (и, может быть, к лучшему) освоиться с той вновь теперь входившей в моду светской галантностью, когда все немедленно встают и расступаются перед женщиной,— она чуть приостановилась, будто желая подчеркнуть, что видит и признательна маршалу, и, улыбнувшись на его улыбку и невольно и естественно как бы даря эту улыбку всем, кто смотрел на нее, шагнула в освободившееся пространство и, не оборачиваясь уже ни на кого, как показалось Старцеву, прошла в комнату для президиума. Но Кирилл, как он рассказывал потом, успел все же заметить, что лицо у нее было молодым и было красивым, что укороченно-красиво были подстрижены у нее волосы и что в наряде, как она была одета, было что-то и от строгого вкуса, и от кокетливости, без которой любая женщина суха и неинтересна; он успел разглядеть в ней ту женственность, которая невольно и сейчас же привлекла его, и он долго затем, когда спины военных уже заслонили ее, продолжал смотреть в ту сторону, где шла она.

Затем появились несколько министров, вокруг которых сейчас же заговорили, и появился патриарх Алексий в белой накидке на голове и с массивным золотым крестом над нею, сопровождаемый служителем, который тоже был в накидке с крестом, только меньшим; подходили еще ученые, художники, артисты, которых легко можно было отличить по одежде, и разные другие деятели, несомненно имевшие, как думал о них Старцев, заслуги перед народом и государством. Он видел их впервые, и то чувство значимости, что был теперь как бы

равным среди них, всех этих влиятельных, сильных, облеченных доверием и властью людей,— чувство значимости, что и он теперь приобщен к власти, шевельнувшееся было в нем, когда только поднимался в фойе, целиком захватывало его. В то время как для Кудасова сила собравшихся здесь заключалась в том, что они, имея за собой мнение двухсоттридцатимиллионного советского народа, могли заставить считаться с этим мнением правительства и народы других стран, то есть в то время как Кудасов переносил все в сферу международных отношений, Старцев, только что познавший радость и выгоды служебного продвижения и смотревший на мир еще сквозь призму этого продвижения, видел силу этих же людей в другом, что они более, чем на внешние, влияли на обстоятельства внутренней жизни. «Да, они могут все»,— думал он, переходя по фойе от одной группы людей к другой и прислушиваясь к их разговорам. Любивший всегда встать впереди, где бы ни появлялся, и умевший, как он сам думал о себе, подойти к любому и заговорить с ним, Старцев был теперь сдержан и лишь присматривался, смутно пока еще сознавая, что люди эти в будущем могут пригодиться ему. «Да, да, они могут все»,— повторял он, чувствуя, однако, неловкость оттого, что все как будто видят, что он новичок и не имеет знакомых. Он искал, чем бы занять себя, чтобы сравняться со всеми, и сейчас же и с радостью двинулся навстречу знакомому из Комитета ветеранов войны, как только увидел его.

— Ну так как жизнь? — спросил он, подойдя и пожав своему знакомому руку.— Как дома? Как на службе? — И так как на эту любезность, он понимал, можно было ответить, а можно и не отвечать, торопливо начал искать, на что бы еще перевести разговор. Для себя просить ему было нечего, но он вспомнил, что обещал Сергею Ивановичу подыскать должность при Комитете ветеранов, и здесь, казалось Старцеву, было самое время поговорить об этом.— Да,— сказал он,— у меня дело к тебе. — И стал рассказывать о Сергее Ивановиче, чтобы похлопотать за него. Это было некстати и неинтересно тому, кому он говорил, но для Старцева очевидным было только, что он был теперь, как все, и занят и делал дело; и он старался лишь продлить это свое состояние занятости.— Разумеется, человек заслуженный,— говорил он,— полковник в отставке.

XIV

Как и на всяком совещании перед открытием, когда начали входить в зал, одни сразу же устремились к передним рядам, среди которых был и Старцев, чтобы занять места перед трибуной и быть на виду у президиума, другие столпились у последних, где было свое преимущество и при желании, если понадобится кому, можно во время заседания встать и незаметно, не тревожа соседей, выйти из зала. Кудасову не хотелось проходить вперед, он искал место поскромнее, и в то время, как осматривался вокруг себя, увидел бритую голову профессора Лусо, которая глянцевито сияла в свете висевшей над рядами хрустальной люстры. «Ага, вот к кому»,— подумал Кудасов и направился к профессору, с которым со времени того застолья, когда отмечалось шестидесятилетие его, ни разу не виделся и чувствовал, что надо было посидеть и поговорить с ним.

— Свободно? — спросил он, привычно поздоровавшись с профессором и кивнув на свободное возле него место.

— Разумеется,— с готовностью отозвался Игорь Константинович, радостно возбуждаясь при виде друга-дипломата, знакомством и связью с которым он дорожил и при случае, как было теперь, не прочь был перед всеми показать ее.— Каков же ты был, каков был,— затем сказал он, как только Кудасов устроился возле него.— В ложе, и... с кем! — Ему казалось, что приятнее всего было сейчас напомнить Кудасову о Большом театре.— Смотрелся, н-ну, скажу тебе, смотрелся,— говорил он, словно в тот вечер точно так же, как это представлялось Игорю Константиновичу теперь, главным действующим лицом был не де Голль, а Кудасов.

— О-о, так давно,— протянул Кудасов.

— Ну-ну! — Что надо было понимать не просто как несогласие, но как признание известной (дипломатической) скромности друга.

Они еще перебросились несколькими фразами, в то время как в президиуме тоже все заполнилось людьми и заседание началось. Оно проводилось, как подумал Кудасов, слушая докладчика, в поддержку той Декларации об укреплении мира и безопасности в Европе, которая была подписана 5 июля 1966 года государствами — участниками Варшавского Договора, то есть предста-

вителями Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Польши, Румынии, Советского Союза и Чехословакии (документ этот публиковался в печати), и в поддержку резолюции, которая была принята на собрании представителей общественности Москвы по поводу американской агрессии во Вьетнаме (собрание проходило в Кремлевском Дворце съездов, и Кудасов был хорошо осведомлен о нем). Как дипломат, он более чем кто-либо другой в зале понимал, насколько важно было теперь всякое мероприятие в защиту мира (важно в помощь тем усилиям, которые прилагались дипломатией); но, может быть, как раз потому, что все, что говорилось с трибуны, было известно ему, внимание его рассеивалось, и, вместо того чтобы слушать, он начинал думать о вещах посторонних, которые в последнее время все чаще занимали его.

Он видел (теперь, когда должен был полностью перейти на преподавательскую работу), что новая жизнь его, московская, оседлая, как он с иронией говорил о ней, не была столь же наполненной событиями, как дипломатическая. Он продолжал еще следить, как складывались политические и иные отношения между странами, оценивать и выдвигать прогнозы, чего и с какой стороны (в смысле нападок на миролюбивую политику Советского Союза) в ближайшее время надо ожидать; но вся эта привычная деятельность ума была, в сущности, уже бессмысленной для него, потому что соображения, какие он высказывал, носили только консультативный характер. Он чувствовал, что под многолетней службой его подводилась черта, как она подводится под деятельностью каждого человека, когда иссякают возможности его активной жизни; и как он ни убеждал себя, что всякая пора жизни по-своему хороша и значительна и что надо только привыкнуть к ней, но привыкнуть к тому, что ты лишен главных своих интересов, он чувствовал, было нельзя, и он не мог не думать об этом. Он как бы стоял перед дверью, которая вела в старость; но до двери было еще расстояние, которое предлагалось (именно на преподавательской работе) пройти ему, и он заставлял себя смотреть на это расстояние и не смотреть на дверь. Он заставлял себя готовиться к лекциям, и то, что читал, было как будто интересно и нужно студентам; но сам он не только не испытывал удовлетворения от этого своего нового занятия (как всякий практик, переведенный в

теоретики), но понимал лишь, что это было совсем не тем делом, каким надо было заниматься ему. «Я смогу научить их тому, что было, а кто научит тому, что будет?» — говорил он себе, словно доводом этим можно было оправдать что-то. Его не устраивала перспектива такой жизни, и он с любопытством, будто хотел уяснить что-то, поглядывал на Лусо.

— Да, хотел спросить тебя,— наклоняясь к нему и стараясь как можно тише, чтобы не помешать другим слушать докладчика, проговорил Кудасов, задавая, однако, не тот вопрос, о котором думал, а другой, возникший сейчас же по ходу, пока наклонялся.— Как ты относишься к новейшим открытиям?

— К каким? В каком смысле? — спросил Игорь Константинович, для которого вопрос этот был и неожиданным, и странным, и удивил его.

— Используешь в лекциях?

— Смотря какие открытия. А так — есть программа.

— И за ней, как за китайской стеной?

— А ты как хотел? Чтобы каждый свое? Только разреши.

— Не складывается ли у тебя впечатление, что мы пишем и печатаем массу умных вещей, но все это ложится на полки, а жизнь, как она вращалась, так и вращается.

— Я не понимаю тебя,— сказал Игорь Константинович.— Но так было всегда,— затем добавил он.

— А жизнь постоянно должна получать ускорение.— Но досказать свою мысль Кудасов уже не смог. Сидевший впереди мужчина, внимательно, как видно, слушавший докладчика, повернулся и с таким укором посмотрел на Кудасова и Лусо, что им неловко было уже после этого продолжать разговор.— Хорошо, потом,— только еще проговорил Кудасов и, поняв по доносившимся от трибуны словам, что докладчик еще только на середине своей речи и закончит не скоро, опять погрузился в размышления.

Вопрос об ускорении жизни был его давним и излюбленным вопросом и заключался не в том, чтобы догнать Европу или Америку, как это ставилось в официальных инстанциях; из опыта своих дипломатических общений он знал, что по высказываниям, как мы понимали жизнь и какой хотели бы видеть ее (и какой хотело бы видеть ее все человечество, для себя добавлял он), мы были

впереди, и без определенной доли лжи, предвзятости и подтасовки понятий нельзя было противостоять нам; но между высказываниями и воплощением этих высказываний, как это казалось Кудасову, чувствовался разрыв, который с точки зрения жизни был, очевидно, и объясним и естествен, но с точки зрения Кудасова, как он понимал все, был недопустим и вреден. Ему казалось, что идеи, должные давать ускорение жизни, иногда отрывались и уходили вперед настолько, что их не было видно и они забывались; и все, что должно было двигаться за ними, стояло на месте. Издалека (из Парижа), откуда он наблюдал это, он полагал, что нужно было лишь осознать, что проблема такая есть, чтобы решить ее; но, столкнувшись в институте с тем упорным консерватизмом, который всегда так удивительно живуч бывает в преподавательских кругах, он почувствовал, что все гораздо серьезнее и имеет свои корни. «Но если так обстоит дело в среде ученых, то каково же все должно быть в промышленности, в сельском хозяйстве и во всех других сферах жизни?» — думал он. Он как бы интуитивно нащупывал ту проблему — расхождение между словом и делом,— на которую затем будет обращено внимание всех людей; но он был первым, кто начинал понимать это, и с озабоченностью хозяина, после долгой отлучки вернувшегося домой и нашедшего, что не все в нем соответствовало теперь тому, как должно быть (хотя ничего не передвигалось с тех пор, как он, уезжая, видел все), именно с озабоченностью хозяина обдумывал, как переставить и устроить все; и он поглядывал на Лусо с тем чувством, будто в нем видел теперь своего противника. «Влез в костюм — и кажется уже, что другого и лучшего нет, вот в чем дело, а мы ждем ускорения»,— думал он, адресуя эти слова Лусо.

— Послушай, как ты считаешь? — точно так же неожиданно, как только что сделал это Кудасов, спросил Игорь Константинович, наклонившись к нему.— Я думаю, правильно, что рядом с именами Сталина, Рузвельта и Черчилля называют сейчас имя де Голля. Историю подправлять нельзя, и он заслуживает этого.

— Как деятель войны?

— Да, как фигура того периода.

— А по-моему, тот период нельзя связывать только с этими именами.

— Но де Голль!

— А что де Голль?

И разговор их опять был прерван мужчиной, сидевшим впереди них.

XV

— Какой нетерпимый. Ты не знаешь, кто он? — спросил Кудасов, как только был объявлен перерыв и он вместе с Лусо вышел в фойе.

— Этот, что оглядывался?

— Да.

— Не знаю,— ответил Лусо. И в то время как отвечал, увидел человека (среди выходивших из зала), который был неприятен ему. Человек этот поздоровался и прошел дальше, и Лусо, словно бы оправдываясь перед Кудасовым за нехорошие мысли об этом человеке, пренебрежительно сказал о нем: — Некий Кошелев, адвокат.

— А что он?

— Ты понимаешь.— И Лусо, хотя везде в фойе было много народу, взяв под руку Кудасова, отвел его в сторону от того места, где стояли.— Ты понимаешь,— снова проговорил он, подбирая слова, чтобы объяснить, не роняя престижа института, в чем было дело. И он затем коротко, сбивчиво и невнятно (как он сам представлял себе это) рассказал о деле Арсения.

— Да, история.— Кудасов покачал головой.— А Кошелев что же, оправдать берется?

— Оправдать — не знаю, а коллектив взбудоражил.

— Оправдать убийство нельзя. Оправдать убийцу значит обвинить общество.

— А общество в данном случае?..

— Все мы,— с усмешкою подтвердил Кудасов.

— А спрос? С меня?

— Если все пороки общества ты добровольно возьмешь на себя,— сказал Кудасов, не убирая усмешки с лица и незаметно для себя опять входя в то свое состояние отрепетированности ума (в каком он пришел сюда), когда более начинал следить не за сутью, а за формой, как лучше подать мысль.— Ты думаешь, он копает под тебя? У тебя есть основание так полагать? — И в то время как Лусо не мог вразумительно ответить на это, Кудасов заметил: — Всякий адвокат, если он не враг себе, не станет выворачивать нижнее белье руководства на

обозрение всем. Коллектив виноват, в нем зло и пороки. И смело, и убедительно, и красиво, да и всегда мы так делали и будем делать. Посмотри-ка, посмотри,— затем сказал он, заставляя профессора повернуться и посмотреть туда, куда смотрели все и где патриах Алексий разговаривал с Николаевой-Терешковой.— Как считаешь, о чем? — чтобы переменить разговор, спросил он.

Но разговор их и без того не мог быть продолжен, потому что сначала к Кудасову подошли знакомые дипломаты и он представил их профессору Лусо, затем уже к Лусо подошли его знакомые, которых он представил Кудасову, и тот общий интерес, каким были захвачены все, то есть интерес к тем событиям, о которых с новейшими фактами об американской агрессии во Вьетнаме было рассказано в докладе,—интерес этот захватил и Кудасова и Лусо. Ожидалось, что выступит кто-то из бойцов самообороны Вьетнама, гостивших в эти дни (по приглашению комсомола) в Москве, и всеми оживленно комментировалось это предстоящее выступление; ожидалось, что на трибуну поднимется патриарх Алексий, и говорилось (в связи с этим) о слоге, как Алексий всегда произносил свои речи, и по всему фойе стоял тот обычный гул веселого и умного разговора, начиненного остротами (как это всегда бывало в обществах), что нельзя было не включиться в него; нельзя было не почувствовать и той театральной торжественности, которая исходила от колонн и хрустальной люстры, и только не было традиционного движения по кругу, как это происходит в театрах между актами. Большинство оставалось там, где застал их разговор, а прохаживались лишь те — от группы к группе,— кому хотелось услышать что-нибудь такое, что всегда интересно бывает услышать от людей, занимающих положение. Для Кудасова же интерес был только в том, чтобы вести разговор, и так как создать вокруг себя группу слушающих на этот раз не удалось ему, он взял Лусо под руку и принялся ходить с ним вдоль колонн. Он чувствовал себя виноватым перед другом-профессором (за высказывание по делу Арсения, какое позволил себе) и чувствовал, что надо было исправить положение; но исправить можно было только умным и изящным разговором, и Кудасов невольно вернулся к той своей теме — ускорению жизни,— о которой только что говорил в зале. Но начал не с того конкретного, с чем столкнулся у себя в институте; конкретное

слишком связывало и было приземленным, и он принялся рассуждать обо всем так и с той вольностью предположений и выводов, как он видел эту проблему из Парижа и судил о возможности решить ее.

— С одной стороны, возвышенные идеи нужны,— говорил он, умно играя всем своим белым и усыпанным веснушками лицом,— а с другой — надо, к сожалению, считаться с возможностями самой жизни. Если машина еще не способна подняться в воздух, то прежде следует приделать ей крылья и дать соответствующий мотор, а потом уже звать перелететь через гору.— И он точно то же говорил во второй перерыв, водя профессора по фойе вдоль колонн и не давая ему возразить и вставить свое.

Кудасов был в том привычном для себя расположении духа (как он всегда возвращался из-за рубежа), когда он чувствовал потребность произвести впечатление, но не чувствовал потребности дела.

Лусо же, напротив, был весь озабочен именно делом и не был расположен вести отвлеченный разговор. Он делал лишь вид, что слушает Кудасова (из всегдашнего почтения к нему), тогда как все мысли его объединялись вокруг того, что он называл для себя «делом Арсения». Кудасов как бы приоткрыл ему ту сторону этого дела, по которой ясно было, что более всего мог пострадать именно сам Лусо. «Да, да, теперь мне все понятно: обвинить коллектив! А коллектив — это я»,— думал он, в то время как Кудасов водил его вдоль колонн и говорил ему что-то. Лусо не мог отделаться от мысли, что за убийство непременно должен быть кто-то обвинен — если не убийца, то коллектив (то есть он!), и он невольно искал среди тех, на кого смотрел, адвоката Кошелева, и, как только замечал его, глаза сужались и в душе поднималось чувство, будто никогда еще не было у него врага более опасного, чем Кошелев. «Так, так, значит — коллектив!» — повторял про себя Лусо.

Ему надо было обезопасить себя, а чтобы обезопасить, надо было привести в действие те определенные силы, то есть ту с в о ю Москву (как она была у Дружниковых и еще более была у Лусо), в которой редко давали утонуть тому, кто принадлежал к ней. Надо было поднять, насторожить и проинформировать тех людей, занимавших посты, которые не то чтобы были зависимы от Лусо, но просто давно и прочно (по условиям жизни) были переплетены между собою сетью взаимных услуг

и не только могли, но обязаны были, как полагал Лусо, помочь ему в его затруднении; и он перебирал, к кому можно было зайти с визитом, кого пригласить к себе, а на кого-то, возможно, повлиять через третье лицо. «Не подсказать ли племяннику,— вспомнил он о Геннадии Тимонине.— Может быть, что-нибудь через печать... о выпускниках будто, или (и он назвал про себя фамилию одного из заместителей республиканского министра, знакомого ему) не сходить ли к нему?» И с живостью представил разговор, какой мог бы состояться с этим государственным человеком.

Лусо преувеличивал свою опасность и думал о мерах, которые собирался предпринять; но он не замечал, что преувеличивает, и готов был хоть теперь начать действовать. То, что происходило в зале, о чем говорили выступавшие, и обращение, которое затем было принято всеми, было важным, значительным, но оттого, что могло повлиять только на общий ход жизни людей, не волновало профессора; он голосовал за обращение не потому, что внимательно выслушал его и был согласен с ним, а лишь потому, что увидел, что все подняли руки, тогда как занимало его совсем другое, свое, то, о чем он думал и что, он понимал, могло повлиять не вообще на ход жизни человечества, а на его (Лусо) престиж и благополучие. Сразу же после заседания, которое он досиживал, как он выразился потом, он поехал не в институт и не домой, как намечал прежде, а к тому самому заместителю республиканского министра, на которого возлагал главные надежды, и был раздосадован, когда в приемной сказали, что заместитель министра в отъезде и что раньше чем через неделю-полторы нельзя будет увидеть его. «Вот так всегда,— желчно подумал Лусо,— когда не надо, все на местах, а когда надо, никого не найдешь». И он невесело (из-под козырька министерского здания) посмотрел на всю протяженность улицы, по которой предстояло (к своему институту) идти ему.

XVI

В тот день, когда доцент Карнаухов устраивал у себя на даче прием (и когда в ночь после приема в квартире Арсения произошла та самая история, которая заставила заговорить весь институт и так напугала теперь Лусо), Мещерякова не было в Москве. Он выезжал в

Воронеж к брату, чтобы установить надгробную плиту на могиле отца с матерью. Плиту заказывал брат, и она не понравилась Мещерякову. Она была вытесана так безвкусно—двугорбый кусок белого, почти без прожилок мрамора с надписями на отшлифованной стороне его,— что первое, что было сказано Мещеряковым, едва он взглянул на плиту: «Я не понимаю тебя, Михаил (так звали брата), как ты мог согласиться на это?» Но так как работа была уже оплачена и принята и так как повторный заказ потребовал бы новых хлопот и денег и, главное, как пояснил брат, дело опять бы затянулось на неопределенный срок — все это заставило Мещерякова согласиться с братом. Плита была установлена, он еще день погостил у брата и вернулся домой с тем нехорошим чувством, как если бы и в самом деле поскупился и сэкономил на том, на чем нельзя, стыдно и противоестественно было экономить. «У него семья, я понимаю,— думал он о брате,— но я мог бы взять все на себя». И он упрекал себя за то, что согласился с братом.

Но дома ожидала его новость, которая заставила сейчас же забыть о брате.

— Как?! Этого не может быть! — воскликнул он, выслушав жену Надежду Аркадьевну, пришедшую на вокзал встретить его.— Арсений?! Я не могу поверить в это.

— Но это так, он сидит, и квартира опечатана,— сказала она с тем чувством торжества, что она знала, что все так кончится.

Ей важно было в этом деле то, что наказана была Наташа, то есть та выскочка, как окрестила ее Надежда Аркадьевна, которую так ли, иначе ли, но следовало наказать за дерзость. Надежда Аркадьевна не могла забыть ей ни вечера у Лусо, ни Большого театра, где Наташа, имевшая преимущество только в том, что была молода, была в центре внимания. «Вот так, мой дорогой» — говорили глаза Мещеряковой, в то время как она смотрела на мужа. Но тот главный камень, который она должна будет бросить в Наташу, не был еще приготовлен ею; она еще только присматривалась, с какой стороны взять его, и мысль о том, что тихого и робкого Арсения подтолкнула к убийству Наташа,— мысль эта еще лишь зарождалась в оскорбленной душе Надежды Аркадьевны. Вся возбужденная теперь, она, казалось, радовалась не тому, что приехал муж, а новости, которую рассказала ему.

— Да, представь себе, да,— повторяла она, в дорогих перстнях и сережках идя рядом с мужем.

— Но у него моя докторская диссертация,— сказал Мещеряков.— Я дал почитать ему.

— А второй экземпляр?

— Он не выправлен.

— Господи, выправишь заново и лучше.— Она не допускала мысли, чтобы мужу ее трудно было сделать это.— Да и куда она денется?

— В самом деле, куда? — согласился Мещеряков и больше не упоминал о рукописи. Но ни в этот день, ни во все последующие не мог забыть о ней. Ему неприятно было думать, что диссертация, а главное, записка к ней могли попасть в чужие руки и быть прочитаны кем-то, он чувствовал, что этого нельзя было допустить, и ходил на квартиру к Арсению (один со всего факультета) и к прокурору, прося разрешить встретиться с Арсением, и был озадачен, услышав, что, пока идет следствие, никто не вправе удовлетворить его просьбу.

Он и прежде давал читать свои научные работы Арсению и делал это для того, чтобы не перешагнуть за круг, за которым острота его убеждений могла перейти в нечто большее и недопустимое. Он не разделял умеренных взглядов Арсения, но признавал за ним способность чувствовать, что и где можно печатать и говорить, и пользовался ею. То, что для Арсения было привычным состоянием его жизни и не составляло трудов сказать другу, для Мещерякова было тем, чего недоставало ему. Он только просил Арсения, чтобы «между нами», и Арсений прочитывал, высказывал суждения и забывал, что прочитывал и о чем говорил. Это было удобно Мещерякову, было для него той домашней цензурой, когда не было видно действия, но виден был результат; это было той его маленькой тайной, которую он тщательно скрывал от всех и которая была важна для него. Но он опасался теперь не того, что тайна могла открыться. В диссертации его было столько спорных положений, что ее нельзя было давать читать всем, и в записке к Арсению он как раз написал об этом. «Ты знаешь,— было в записке,— я всегда упрекал и упрекаю наш русский народ в консерватизме, он неистребим, этот консерватизм, и все-таки я не хотел бы, чтобы эта моя мысль оскорбительно прозвучала для него (то есть для народа); присмотрись к тем положениям, которые мне кажутся осо-

бенно острыми». И дальше шел перечень страниц, на которых высказывались эти положения. «Зачем было писать эту глупейшую записку?» — рассудительно говорил он теперь, представляя последствия, которые ожидали его. Арсений подсказал бы только, как выправить эти места, не нарушая общего замысла диссертации, в сущности готовой уже к защите; но если записка и рукопись (в том настораживающем плане, как это указывалось в записке) будут прочтены на кафедре, работу перечеркнут и все придется начинать заново. «Как же все так получилось?» — снова и снова спрашивал он себя с чувством досады и сожаления, что поступок Арсения разбивал все жизненные планы его. Арсения было жаль, но более жаль было себя; с Арсением, как это казалось Мещерякову, было все определено, он сам выбрал себе участь; но Мещерякову надо было еще жить и отстаивать себя в этой жизни, и он думал теперь, как лучше было ему выйти из этой неожиданной для него трудности.

XVII

Кроме этой маленькой тайны (что он консультировался у Арсения), была у Мещерякова и другая, более глубокая и важная для него. Хотя он был убежденным западником в искусстве, но он не примыкал к тому течению западничества, которое, как и во все времена, было распространено среди определенного круга московской интеллигенции. Он только чувствовал, что у него есть единомышленники, и только создавал впечатление, что в контакте с ними, тогда как на самом деле старался держаться как можно дальше от них, и не столько из осторожности быть уличенным в чем-то недозволенном, сколько из боязни потерять самостоятельность, которой он дорожил и которая давала ему право рассуждать обо всем так, с тем оттенком народной справедливости, как он считал нужным делать это. И в то время как он пользовался славою западника (и всем, что принадлежность к этому течению давала ему), взгляды его разнились с общим течением и были ближе к тем главным проблемам жизни, которые, как и теперь, всегда стояли перед обществом. Он говорил о свободе не в том смысле, чтобы оправдать свои пристрастия и получить возможность безграничной деятельности для себя, как это выдвига-

лось другими, а в том, чтобы не навязывались народу (под каким бы национальным соусом ни подавалось это) отжившие формы труда, быта и отношений между людьми и чтобы поощрялось не только то и не столько потому, что о н о есть исконно русское, но и потому, что о н о есть высшее достижение цивилизованного мира. Он говорил о той свободе, при которой движение жизни не тормозилось бы оглядками на прошлое и хороводы и песни времен крепостничества, представляемые теперь как неподражаемые образцы народного творчества, не сковывали бы русского человека в его нравственном развитии; ему хотелось, чтобы той всегдашней разницы в культуре труда и быта, которая, он видел как историк, была между Западом и Востоком,— чтобы разницы той не было теперь; и он, не замечая того, в сущности, лишь торопил те события, которые естественно и сами собой происходили вокруг него, тогда как в общем течении западничества, к которому он примыкал, он чувствовал, ставились иные и отличные от его взглядов цели.

Но расходясь в главном, он сходился с ними в другом, в мелочах, которые окружали его. Ему казалось, что не того качества была отечественная обувь, не того качества выпускались машины, мебель, трико и не того качества даже как будто выпекался хлеб; в общем, все, казалось ему, было не того качества, как это же самое было на Западе. И хотя он во многом был прав и многие в душе были согласны с ним, но говорить так было не принято, было непатриотично, и потому большинство на факультете относилось к Мещерякову настороженно, именно как к западнику, человеку крайних и непопулярных взглядов. Жизнь его, как он старался показать ее, представала перед всеми лишь с той внешней стороны, из которой можно было заключить, что она проста и однозначна, тогда как на самом деле она состояла из тех противоречивых начал, в одном из которых было все то, что есть в каждом русском человеке, то есть желание с ленцой и нерасторопностью взяться за дело (и желание того сытого барства, которое всегда прежде мужик видел только издалека), и в другом — то, что как раз и составляло внешнюю (для людей) сторону, по которой все судили о ней. Он любил более ходить в пижаме и мог появиться к завтраку непричесанным; и непричесанным и в пижаме мог с утра и до вечера просидеть в своем домашнем кабинете, обложившись книгами и не проч-

тя ни страницы в них, а затем, потянувшись, сказать, что как ни осудительна обломовщина, но не столь национально, сколь приятно это состояние жизни; но он сейчас же как будто преображался, едва надевал костюм и галстук, и особенно когда возникала необходимость защитить свои убеждения. Невысокий, сложенный неуклюже, он с не свойственной полному человеку живостью начинал двигаться и говорить, жестикулируя и забивая словами собеседника, так что трудно было противостоять ему; и то, что говорил, было продумано, остро и ядовито.

Хозяйскими же делами, как и заведено в русских семьях, занималась у Мещеряковых Надежда Аркадьевна. Выросшая в московском интеллигентном доме, она любила, чтобы все было сорганизовано возле нее, и, не умея сама, как взяться за это, с охотой, как только вышла замуж, переняла тот образ жизни, который между знакомыми ее назывался западным (что надо было толковать как передовой или модный) и который позволял ей (благодаря заработкам мужа, публиковавшего свои труды), не притрагиваясь, в сущности, ни к чему, вести дом. По западному образцу она не хотела иметь детей и не имела их (хотя как это было соотнести с тем фактом, что на Западе точно так же не уменьшалось, а увеличивалось во всех странах население!); по западному образцу, как считала Надежда Аркадьевна, положено было держать приходящую домработницу, и она держала эту приходящую прислугу — Груню, которая, приходя, прежде пила с вареньем чай, а затем мыла и вытирала только то, что было на виду и в центре комнат, и не трогала ничего по углам; но Надежда Аркадьевна, видевшая, что так делалось и у других, перестала замечать это и на вопрос, как она управляется по дому, всегда с гордостью отвечала: «У меня приходящая, и я довольна ею». Как и замужние подруги ее, она рылась в западных изданиях, отыскивая образцы, как лучше расставить мебель, подобрать сочетание цветов или форму гардин, и хотя очевидным было, что то, что хорошо для тех условий жизни, то есть для Запада, не могло так же хорошо быть для этих, в каких жила Надежда Аркадьевна в Москве (уже потому, что не было мастеров, которые сделали бы это), она с энергией, если нравилось что, бралась переоборудовать все в квартире и приглашала для этого тех своих знакомых работников, с которыми

у нее были свои, особые отношения и которые, приходя, каждый раз делали не то, что она просила, а то, что было удобнее и легче сделать им. «Ах, горе мне с вами»,— говорила она, рассчитываясь с ними. Она приглашала их даже тогда, когда требовалось просто забить гвоздь. «Лукич,— просила она, звоня по телефону этому самому работнику, с которым имела дело и которому покровительствовала,— зайди, есть дело». И Лукич собирался и шел к ней. Но приходил не один, а приводил с собою напарников, которые безмолвно затем топтались за его спиной.

— Гвоздь мне надо прибить,— говорила она Лукичу и напарникам, приглашая их пройти в комнату. И в то время как они, не снимая ботинок и пыльно следя на паркете, направлялись за ней, суетясь и путаясь в своем длинном домашнем халате (и вся в перстнях и сережках, как она всегда появлялась перед людьми), она катилась впереди них, сдвигая по пути стулья и кресла, которые не столько мешали, сколько могли быть испачканы грубою одеждою Лукича и напарников.—Вот здесь.— И она указывала место на стене, где нужно было, чтобы у нее был гвоздь.

Лукич ставил перед собою ящик с инструментами и принимался смотреть на стену с тем выражением, словно он затруднялся сказать, можно или нельзя выполнить то, о чем просили его. Он тянул время и набивал себе цену, тогда как Надежда Аркадьевна, не понимавшая смысла этой паузы, торопила его:

— Что же ты, Лукич?

— Надо подумать,— отвечал тот.

Она боялась, что он откажется, и крутилась тут же, то предлагая поддержать стремянку, то наклоняясь и включая в розетку поданный ей от дрели шнур, и в бестолковости этой работы не замечала, как отворачивались и раздвигались полы ее халата и видны были ноги в кружевах тонкого заграничного белья. Лукич переглядывался с напарниками, но сейчас же делал вид, что не замечает ничего, так как важны были ему не кружева и ноги ее, а деньги, которыми из нравственных, разумеется, соображений (как она затем всегда объясняла мужу) она позволяла себе по-барски сорить.

— Я не обидела вас, Лукич, так ты скажи,— говорила она, заплатив им в несчетно раз больше, чем стоила их работа.

То, что муж ее (в научных трудах) предлагал для общего блага и что было, как он полагал, делом долгим, требовавшим определенных (от всех) усилий, Надежда Аркадьевна переносила на домашнюю обстановку и была всегда занята и растрачивала безо всякой видимой нужды мужнины средства. Главным же результатом ее деятельности была лишь та постоянная и неестественная канитель в доме, цель которой заключалась не в служении обществу, а в том только, чтобы в обществе этом отстаивать для себя право на это бесцельное существование; и Надежда Аркадьевна энергичнее, чем муж, всякий раз бралась защитить это право. Не вникавшая в суть тех главных расхождений с общим течением западничества, благодаря которым муж ее мог жить и уважать себя в жизни, а видевшая только то, что объединяло его (и ее) с этим течением, она долго не могла объяснить себе, отчего муж ее не заводил нужных знакомств.

— Ты мог бы иметь больше,— говорила она, чтобы повлиять на него.— Ты столько теряешь, столько теряешь! — И, не дождавшись в конце концов, когда муж начнет предпринимать что-то, решила сама исправить это его упущение.

XVIII

Она решила свести мужа с тем г л а в н ы м и в л и я т е л ь н ы м (по слухам, распространявшимся о нем) западником, неким искусствоведом Куркиным, который, если судить о нем по занимаемой должности, был никем, потому что никогда и нигде официально не работал, а только числился членом одного из творческих союзов, но если судить по тому шуму, какой время от времени возникал вокруг его имени, то можно было предположить, что имел и мог многое. Он публиковал те противоречивые статьи об искусстве (с одним только всегда ясным намеком, что всякая власть есть вред для искусства), в которых друзья его находили, что они остры, принципиальны и умны (как сами они не то чтобы не смели, но не умели печатно так сказать о своем), а недруги только разводили руками, не понимая, что этот Куркин отстаивает, что отрицает и почему дано ему право оценивать то, чего он сам никогда не делал и не умел делать, то есть нарисовать простейший пейзаж, но предполагалось, что знал и умел больше, чем умели и

знали это художники. Кроме того, за Куркиным ходила слава, что у него будто есть наверху рука, и по совпадению ли событий или действительно от движения той всемогущей руки, но ряд назначений, в которых был заинтересован и сам Куркин и о которых просили его, связывался с его именем. С определенной улыбкой на губах он сказал (как передавался этот эпизод): «Что за вопрос? Будет» — и ходил затем, когда вышло нужное решение, с видом человека, которому доступно то, чего, может быть, не было доступно даже Наполеону. Эта-то возможность, в которую всякий порядочный человек не мог поверить и тем более воспользоваться ею, захватила Мещерякову как раз той своей стороною дела, что, не прикладывая тех лошадиных, как она выражалась, усилий, от которых инфаркты и прочее, то есть тех усилий, благодаря которым создаются ценности, можно было продвинуться мужу ее на ступеньку, на две и на три выше, чем он был теперь, и чего давно уже, как полагала она, заслуживал. «Поскольку у Куркина рука там,— рассуждала она, усвоив только это о нем и не желая слышать и знать ничего другого,— и поскольку взгляды их (то есть Куркина и мужа) совпадали (в чем она ни на минуту не сомневалась), почему бы этому Куркину не проявить желание и не помочь моему Илюше?» Она первой почувствовала, что место декана (в связи именно с делом Арсения) могло освободиться, и надо было, чтобы занял его ее муж, доцент Мещеряков. «Надо только подтолкнуть все»,— думала она и встрече и знакомству с Куркиным придавала главное значение в этой своей затее. Познакомить же и свести ее и ее мужа с Куркиным бралась Лия, у которой приятелей было, как она сама говорила о том, половина Москвы и в самых разных по приверженности своей кружках и кланах.

Нужен был только повод, и повод этот представился вскоре же после разговора Надежды Аркадьевны с Лией. На Крутицком валу открывалась в эти дни выставка картин московских художников, и, как всегда бывает в таких случаях, одни художники, чьи картины были взяты, были рады и счастливы, а другие, чьи картины были отвергнуты, считали себя обойденными и, как всегда, говорили о себе, что справедливости нет, что их не понимают и что модернизм (то слово, за которое всегда готова спрятаться любая бездарность) есть зов времени и потребность по-своему выразить себя (то есть та

странная потребность изображать человека в бесформенных кляксах, кубах и квадратах, которую ум человеческий, если он здоров, никогда не примет и не может принять за искусство). Недовольных было достаточно и достаточно было всяких высказываний, суть которых в конце концов уже не воспринималась, а воспринималось только, что кто-то и в чем-то был против и потому, что против, не был допущен к участию в выставке, а поскольку не был допущен, вызывал тот нездоровый интерес у определенного круга людей, которым всегда хочется быть там, где кто-то против чего-то. Интерес этот на сей раз складывался вокруг молодого, энергичного, еще не сделавшего ничего, но всюду где можно заявлявшего о себе художника Ермакова (известного более по фронтовым рисункам отца). Ермаков этот (по унаследованной от отца же квартире) имел те возможности для жизни и работы — и кабинет с библиотекой, и гостиную, и светлую, с верхней остекленной фрамугой мастерскую,— каких не имели еще даже многие уже известные художники Москвы, и в этой своей квартире как бы в противовес официальной выставке организовал свою, но составленную, как он объявил друзьям, не только из своих картин. «Я модернист, но вы придите, придите»,— говорил он, намекая на что-то, что должно было поразить всех. И многих действительно поражало то, что они видели у него. «Странно, но посмотреть стоит»,— высказывались затем эти люди, и точно так же, как на Крутицком валу для всех, работала эта, у Ермакова, выставка для избранных и вызывала толки и интерес.

Лия, дважды побывавшая с мужем на Крутицком валу и оставшаяся довольной впечатлением, какое произвели на нее картины, выставленные там, была затем приглашена к Ермакову и, узнав от подруги, приглашавшей ее, что будет у Ермакова и Афанасий Юрьевич Куркин, сейчас же позвонила Мещеряковой, чтобы предупредить и позвать ее.

— Что ты говоришь! Неужели?! — воскликнула в трубку Надежда Аркадьевна.

— Важно, что будет, а там — как сложится.

— Да, да, важно, что будет,— тем же радостным тоном и так, будто Лия стояла перед ней, повторила Надежда Аркадьевна.

Был воскресный день; и было то послеобеденное время — время ленного переваривания пищи,— когда На-

дежде Аркадьевне с округлявшей уже ее полнотой не то чтобы хотелось прилечь, но тянуло к дивану, к креслу, к телевизору, по которому не важно что, но передавали, тянуло к покою; но она почувствовала, что надо было теперь пожертвовать своим желанием, и это возбуждало ее.

Муж ее в пижаме и тапочках на босу ногу, как он утром еще выходил к столу, сидел у себя в кабинете в кресле и дочитывал статью. Мысли его ленно крутились вокруг того, что он читал, и потому он только слышал, что жене кто-то позвонил и что она с кем-то восторженно (что было привычно ему) говорила. Но он не прислушивался и не разбирал того, о чем она говорила, так как, несмотря на всю свою послеобеденную леность, мысли, какими он был занят, были теми важными мыслями, которые всегда занимали его, но которые теперь, именно в связи с прочитанной статьей, особенно ясно виделись ему. В статье хвалилась какая-то книга, герой которой так напоминал тургеневского Пунина, то есть того русского человека, который наделен всеми и всякими талантами и не наделен только одним — способностью проявить эти таланты без тепличных на то условий и потому вынужденный всю жизнь г р е т ь с я возле благодетеля и заглядывать ему в рот,— герой этот, механически перенесенный в обстановку нынешней жизни, признавался автором статьи как характер народный, достойный подражания. Мещерякову странным казалось это. Тем более странным, что автор статьи (по тем всегда в обилии ходящим по Москве слухам), известно было, принадлежал к той группе людей, которые именовали себя почвенниками и присваивали себе на том основании единоличное право говорить от имени народа и представлять его. «За кого они нас принимают («нас» было для Мещерякова народ)? За дураков, что ли?» — думал он; и главная мысль его состояла теперь в том, что он сомневался, чтобы эти так называемые почвенники пеклись о народе. «Даже князья, даже графы, которым выгодно было иметь у себя под рукою такого русского мужика, как Пунины или Каратаевы,— говорил себе Мещеряков,— но даже они, эти князья и графы, когда брались за перо, не могли печатно признать подобный характер народным, что-то удерживало их, совесть или что-то еще, что заставляло их видеть нечто другое в народном характере,— так что же происходит теперь? Кому, для чего и зачем нужно это? Этот пассивный тип,

способный только на то, чтобы вновь обречь себя на крепостничество? Всякое печатное слово имеет обратное действие — понимают ли о н и это, понимают ли?» — думал Мещеряков, все убеждения которого были не просто отрицание того, что он прочитал (и что, как он видел, старались теперь некоторые навязать народу), но в противодействии этому, в желании пробуждать и активизировать силы народа. «За кого же о н и нас принимают?» — продолжал он, нехотя вновь беря в руки статью и заглядывая в нее, в то время как Надежда Аркадьевна, закончившая свой разговор с Лией, вошла в кабинет и восторженным возгласом перебила эти его мысли:

— Мы приглашены, Илюша, собирайся и едем на выставку.

— На какую еще выставку?

— Это интересно, это не для всех, только что звонила Дружникова, и я согласилась,— сказала Надежда Аркадьевна, в согласии со своими мыслями недоуменно глядя на мужа.— Я дала согласие, Илюша, я сказала, что мы поедем, и она заедет за нами.

— И напрасно.

— Ты увидишь, ты не пожалеешь, и это важно для тебя.

— Для меня важно теперь только одно: докторская...

— Что ты все — докторская, докторская... Собирайся, я дала слово, я иду одеваться.— И она пошла в свою комнату, обдумывая на ходу, что надеть, чтобы произвести то нужное (на Куркина) впечатление, которое одно только, как она полагала, могло решить дело.

В четвертом часу — Мещеряков уже в костюме и галстуке прохаживался по прихожей и разговаривал с Лией, расспрашивая ее о новостях (в научном мире), коих всегда у нее, как и друзей, было множество,— Надежда Аркадьевна еще собиралась и прикладывала к себе то одно, то другое платье и примеряла драгоценности к ним. Все то, что должно было быть наведено на ее лице, было наведено и, как ей это казалось, должно было молодить ее; но оно только делало ее лицо кукольно-безликим и производило нужное впечатление лишь на самою ее, когда она смотрелась в зеркало.

— Ну, можно так? — наконец выйдя к мужу и Лии и светясь вся этим своим кукольно-безликим лицом, сказала она.

— Все отлично,— поддержала ее Лия, обратившая внимание не на весь ее почти вечерний (что было некстати) наряд, а лишь на удлиненную ниточку жемчуга, которая, как и на торжествах у Лусо, красиво облегала ее шею.

— А что Григорий? — уже в «Москвиче» спросил Мещеряков у Лии о ее муже.— Не захотел?

— Ой, он занят, у него какие-то срочные дела. Он теперь так занят, так занят,— начала она (по той своей привычке, что она любила, ведя машину, разговаривать за рулем).

XIX

Родион Ермаков, голубоглазый, высокий, статный неженатый молодой человек, всегда сопровождаемый какою-нибудь новою, на которых он никогда не женился, невестою и сопутствуемый теперь некоею Соней, сиявшей от счастья быть рядом с ним (гением, каковым, видимо, она признавала его), встречал гостей и проводил их через гостиную в ту самую отцовскую мастерскую с остекленною фрамугою наверху, где выставлены были рисунки и картины для осмотра. Впечатление, какое Родион обычно производил на всех — и знакомых и незнакомых его,— было тем впечатлением, когда все признавали в нем и такт и большую внутреннюю культуру, чего недоставало будто бы всей теперешней молодежи. Такт этот, в сущности, и так называемая внутренняя культура его были на самом деле только хорошо отрепетированной игрой, только тем, что надо было показать и что (по столичной своей жизни), Родион знал, обычно неотразимо действует на людей. Две тетки его, бывшие в доме (и бывшие, как он говорил о них, у него под пятой), участвовали во всем этом сегодняшнем торжестве только тем, что подавали вино и чай гостям, которых выборочно Родион приглашал после осмотра картин на этот чай и разговор в старинный отцовский кабинет с библиотекой. Соня в своей укороченной почти до бесстыдства, как сказали бы теперь, юбке, но выглядевшей по тем временам и современно и модно,— Соня эта с красивыми в бесцветном капроне ногами, с красивою, делавшею ее лицо задумчивым и умным, прическою неотступно всюду ходила за Родионом, и по выражению ее еще почти детского лица было видно, что она была горда

своим положением очередной (чего она, естественно, не подозревала) невесты и будущей хозяйки дома.

В просторной и светлой мастерской, куда Родион вместе с Соней провели Лию и Мещеряковых, было уже человек пятнадцать гостей — те самые мужья с женами, которых Лия всех знала и с которыми сейчас же начала знакомить Надежду Аркадьевну и ее мужа. Все то, что было выставлено — картины и рисунки,— предполагалось, что никуда не денется и будет осмотрено, но прежде и главное было познакомить Мещеряковых со всеми (и прежде всего имелось в виду с Афанасием Юрьевичем Куркиным).

— Вон видишь, это и есть Куркин,— сказала она Надежде Аркадьевне, когда тем, кто был ближе (был в первой половине зала), Мещеряковы были уже представлены и оставалось только пройти в глубину (пройти мимо картин и рисунков, которые сейчас же привлекли внимание Мещерякова).

Куркин был виден со спины и разговаривал с кем-то. Тот, с кем он говорил, был Митя Гаврилов, простое, деревенского типа лицо которого сейчас же бросалось в глаза всем и диссонировало с гладкими, чисто выбритыми и холеными, как у большинства городских людей, лицами. Митя молчал, Куркин что-то заканчивал говорить ему, и за спиною Мити, прислушиваясь к разговору, стояла Анна Лукашова — все с той же своей модной худобою, но с непривычным (для тех, кто прежде знал ее) выражением лица, в котором не только не было ничего заискивающего, но было лишь то напряженное внимание, будто слова Куркина что-то важное должны были решить для нее. Рисунки же, расставленные между модернистскими, состоявшими из разноцветных клякс, квадратов и кубов картинами хозяина мастерской, были те самые эскизы Мити, которые он готовил к своему будущему полотну истории человеческих войн. Тут же, как было предложено Ермаковым, стояло и само белое полотно, то есть тот огромных размеров холст в подрамнике, на котором еще не было сделано ни одного мазка, и холст этот, как сфокусированные лучи солнца на бумажке, заставляющие дымиться ее, поминутно отвлекал внимание всех на себя.

— Посмотри-ка сюда, Илюша, посмотри же,— дергая за рукав мужа и отрывая его от Митиных мертвецов и от полотна, на котором еще ничего не было, и стараясь

направить взгляд мужа на Куркина, говорила Надежда Аркадьевна.— Это нужный тебе человек, Лия сейчас познакомит нас, ты будь с ним помягче, это очень нужный, я потом тебе все расскажу,— в то время как Лия направилась уже к Куркину, пригласив за собою Мещеряковых, торопливо еще продолжала Надежда Аркадьевна.

Куркин встретил Лию и Мещеряковых тем быстрым поворотом головы, по которому люди, умеющие делать и делающие это, знают, что происходит это только оттого, что их не занимает тот разговор (и тот собеседник), с которым они стоят, и с готовностью ждут повода, чтобы прервать с ним и уйти от него.

— Кого вижу! — уже во второй раз и основательнее поворачиваясь к ней всем своим тяжелым лицом, тяжелым взглядом, тяжелым, отвислым подбородком, сказал Афанасий Юрьевич, давая понять Мите, что разговор с ним окончен.— Все хорошеем, все хорошеем,— добавил он, тяжело и неприятно (и привычно для тех, кто знал его) улыбнувшись и стрельнув глазами на Мещеряковых и опять на Лию, как бы спрашивая ее, кто эти люди.— Хорошеем. А где же ваш милый супружек? — спросил он, снова и неприятно для Мещеряковых взглянув на них.

— В делах. Он у меня теперь такой деловой. Да, хочу представить: мои добрые друзья.— И Лия, сказав о должности, научном звании и общественном положении Мещерякова, назвав при это несколько печатных трудов его, представила сначала Надежду Аркадьевну, а затем ее мужа.

— Очень приятно,— сказал Куркин, что всегда говорят при этом.— Слышал, знаю,— добавил он, вместо того чтобы сказать, что да, читал, и как бы подчеркивая этим, что есть пространство между ними, о котором Мещеряков должен знать и без позволения на то не переступать его.— Вы осмотрели выставку?

— Нет, мы только пришли,— ответила за мужа Надежда Аркадьевна.

— Так посмотрите,— с улыбкою, которую всякий мог толковать, как было кому угодно, сказал он.— Посмотрите,— повторил он, движением головы говоря, что готов удалиться и предоставить им эту возможность. Его кто-то позвал, и он, еще раз сделав то же движение головой, оставил Мещеряковых и Лию осматривать выставку.

— Какой милый, галантный,— сейчас же сказала Надежда Аркадьевна, сияя не столько своим кукольно-безликим лицом, сколько ниточкою жемчуга на шее.

Лия не ответила. Мещеряков тоже, только странно взглянув на жену, медленно направился вдоль выставленных картин и рисунков, с недоумением и брезгливостью, которую он не мог подавить в себе, останавливаясь и разглядывая их.

Он останавливался более не возле картин Ермакова, точнее клякс, квадратов и кубов, заключенных в красивые багетные рамки, что, ясно было ему, было не искусством, а шарлатанством, рассчитанным, как он сейчас же решил про себя, на дураков (на тех дураков, которые, как свидетельствовал о том великий сказочник, признавали на голом короле одежду), а возле рисунков Мити, которые все были о мертвецах, гробах, могилах и орудиях убийства (и со следами крови) из разных эпох, но которые при всей омерзительности впечатления, оставляемого ими, он видел, были выполнены в том реалистическом плане (или манере, или еще как-либо, как сказали бы теоретики), что о них нельзя было сказать, что это шарлатанство или что-то сенсационное, но что это есть искусство, вызванное каким-то необычным, может быть, даже больным воображением художника. «Странно,— думал Мещеряков, переходя от одного мертвеца к другому и к виду братских могил, то есть к тем зарисовкам, где особенно выразительно была показана насильственность смерти, принятой этими людьми,— что может стоять за всем этим? Кто, с какой целью и для чего рисовал это? Это же труд, адский труд»,— думал он. Для чего Ермакову нужно было выставлять э т о — мысль такая придет Мещерякову позже; но теперь его все более тянуло посмотреть на художника, взявшегося нарисовать эти страшные рисунки, и поговорить с ним; Мещерякову, пожалуй, единственному, кто был здесь, представлялось, что существовал какой-то хотя, может быть, и болезненный, но смысл в этой выставленной галерее мертвецов и окровавленного оружия, и он, несмотря на настояния жены идти к чаю (пойти к Куркину, как надо было толковать), куда Родион Ермаков уже пригласил их, пошел к Мите, чтобы поговорить с ним.

— Вы извините,— сказал он Мите, представившись ему (и представившись Лукашовой, которая стояла тут же и, как он понял, кем-то близким доводилась Мите),—

но я потрясен вашими рисунками. Потрясен, во-первых, мастерством, во-вторых, темой. Откуда у вас эта мистика, у вас, молодого человека? — сказал он.

— Это не мистика,— возразил Митя.

— Тогда что же?

— Эскизы к моей будущей картине,— неохотно ответил Митя, очевидно повторяя то, о чем уже не раз говорил здесь и чего, как видно, не понимали или не хотели понять те, кто спрашивал. И он с недоверием посмотрел на Мещерякова.

Но Мещеряков снова спросил его:

— Что же может выражать собой подобная картина?

— Страх и ужас.

— Страх и ужас чего?

— Того, что люди делают над людьми, нападая и убивая друг друга. Ужас войн и отвращение к этому бессмысленному, бесчеловечному и жестокому делу.— Как ни казалось Мите, что то, что он говорил, было бесполезно и не нужно и что слова опять могли только повиснуть в воздухе, но что-то все-таки заставляло его отвечать Мещерякову, и этим ч т о - т о была та неподдельная заинтересованность, с какою Мещеряков обращался к нему.

— Я историк, и я вижу: мечи и секиры на ваших рисунках взяты как будто прямо с Куликова поля, ружья и пушки — из Бородинского сражения, а пулеметы, винтовки и автоматы...

— Да. Но не только в том значении, как вы полагаете,— прерывая его, сказал Митя.— Если у вас есть время и если вы действительно хотите послушать, я могу рассказать вам о своем замысле.— И, видя по Мещерякову, что тот готов послушать его, начал рассказывать, как он хотел ужаснуть людей земли теми их злодеяниями, происходящими от бесконечных войн, которых можно просто, по здравому рассудку поняв их, избежать.

Митя ясно представлял себе то, о чем говорил. Но для убедительности, он чувствовал, надо было рассказать о себе, то есть о той своей родословной, насколько всякий деревенский человек может помнить ее, по которой выходило, что каждое поколение мужчин в его семье (как и во всякой другой деревенской семье, добавлял он) непременно участвовало в войне и непременно либо кто-то погибал, оставляя сирот, либо приходил инвалидом, лишним ртом и только обременял семейство. «Пра-

дед в Крымскую, дед в германскую, отец в Отечественную»,— говорил Митя, что, по его мнению, было не главным, а только поясняло все, но что для Мещерякова, впервые как бы с этой точки зрения посмотревшего на народную жизнь (на историю, как он всегда в сравнении любил смотреть на нее),— для Мещерякова важным в Митином замысле показалось именно это, что на долю каждого поколения русских людей выпадала война. Слушая общие рассуждения Мити о безумстве войн и о том, что если это безумство открыть людям, то люди перестанут совершать его, Мещеряков думал, что слова эти были лишь оболочкой, скорлупой, скрывавшей сердцевину, которую Митя лишь по молодости своей и неопытности не может сформулировать для себя. Ему казалось, что он будто присутствовал при постижении какой-то той исторической сконцентрированности трудностей народной жизни, которая рано ли, поздно ли, но должна была в ком-то пробудиться с огромною силой боли и которая пробуждалась теперь в Мите.

— Вы где-нибудь учились? — спросил он у Мити (имея в виду мастерство его).

— Нет.

— Дайте мне ваши координаты,— затем сказал он, не представляя еще, для чего просит их, а испытывая только интерес к Мите.— Вы сейчас живете в Москве?

— Под Москвой, в Одинцове, временно,— торопливо вставила Лукашова, более, чем Митя, уловившая этот интерес его.

— Давайте и одинцовский и пензенский,— добавил Мещеряков и, сунув в карман поданный ему Лукашовой листок с адресом, наклонил голову в знак того, что прощается, и отошел от них, оставив и ее и Митю с тем недоуменным, когда они посмотрели друг на друга, вопросом, в котором было: «Вроде похвалил, вроде взял адрес, а что дальше?»

XX

Войдя в тот кабинет с библиотекою, куда Ермаков приглашал только избранных и только на чай, как он с улыбкою говорил это, и где Надежда Аркадьевна, сидевшая с Лиею, давно уже и с беспокойством ждала мужа, Мещеряков услышал следующие слова, произнесенные Куркиным:

— Я говорю ему (речь шла о Мите): молодой человек, две тысячи лет назад миру уже сказано было «не убий», сказано Иисусом Христом, но мир убивал и будет убивать. Будет убивать даже в том случае, если новый Христос, объявившись, опять скажет: «Не убий!» Уж не считаете ли вы себя этим новоявленным Иисусом? — И Куркин своим тяжелым, похожим на танк лицом сделал то выражение, которое должно было сказать всем, как он относился к Мите и его затее. В сущности же, при первом же взгляде на Митины работы Афанасий Юрьевич понял, что о них не то чтобы нельзя было что-то сказать в печати (он все мерил тем, что могло и что не могло быть гласным и в соответствии с этим могло или не могло прибавить той шумоватой, разумеется с допустимыми возможностями, славы, ради которой и делалось все им и, как поплавок, держало на поверхности его),— сказать в печати о Митиных работах было можно, но э т о было не тем, на что в силу своей репутации он должен был и мог откликнуться.— И что, вы думаете, ответил мне этот юнец? — продолжал Куркин.— «Как вам будет угодно»,— сказал он. Но ведь это, извините, равносильно признать себя Христом! — Тяжелые брови его поднялись, и в открытых глазах еще яснее проступило все его отношение к Мите.

— Вот что из таланта может сделать провинция,— заметил кто-то.

— Да, представьте себе, да,— сейчас же согласился Афанасий Юрьевич, повернувшись лицом к говорившему и мельком и пронизывающе (во время этого поворота) бросив взгляд на вошедшего Мещерякова.

Куркину дано было понять тотчас же после знакомства с Мещеряковым, что доцент хочет сблизиться с ним. Цель сближения не была ясна ни Афанасию Юрьевичу, ни тому, кто сказал ему это; но вместе с тем было очевидно, что Мещерякову что-то надо, и потому Куркин таким пронизывающим взглядом встретил его. Куркин называл себя человеком дела и не признавал полезными тех, кому хотелось только стоять против течения; такими, впрочем, он считал всех, кто так ли, иначе ли примыкал к нему; и потому точно так же подумал теперь о Мещерякове, увидев в нем лишь одного из поклонников своего авторитета, хотя взгляды Мещерякова на это так называемое движение западничества не только разнились с главною целью Куркина, состоявшей в том,

чтобы благодаря этому движению постоянно держаться на виду, но были прямо противоположны этой цели и заключали в себе желание блага не для себя, а для народа. Куркин не понимал этого и отводил Мещерякову лишь ту обычную роль хлопальщика в ладоши — своим высказываниям, делам и авторитету,— в соответствии с которой и ждал теперь (прежде чем будет объявлена просьба) этих именно действий от него.

— Ну-с, осмотрели? — сказал он, тяжело и в упор глядя на Мещерякова, который, вне всякого сомнения, должен был поддержать только что изложенное Куркиным.

— Вы знаете, у меня иное мнение,— ответил Мещеряков, странно и необъяснимо, как он всегда думал потом, ощутив в себе желание возразить Куркину, как всегда возражал своему коллеге по институту доценту Карнаухову, с которым расходился во взглядах и на историю, и на понятие народной жизни, и на то, что́ надо пробуждать и активизировать в самой этой жизни.— Надо подумать, я не определил, не понял еще,— сказал он, в то время как именно в эти минуты ясно увидел, ч т о представлял собою Митя со своим замыслом, ч т о было сам он, Мещеряков, со своими взглядами на историю и жизнь, ч т о было Куркин и так называемое движение западничества и ч т о было почвенники, представителей которых не было здесь, за чаем, но которые живо и во всей своей совокупности всплыли в воображении Мещерякова. Он, как это часто бывает при прояснениях мысли, долго и кропотливо обдумывавшейся прежде, вдруг понял, что те западники, которые (как он) за народ, и те почвенники, которые за народ, сходятся в главных своих целях, но что те западники, которые д л я с е б я (каким был Куркин), и те почвенники, которые точно так же д л я с е б я, тоже сходятся в своих приемах и целях; он понял, что нет ни так называемых западников, ни так называемых почвенников и спора и расхождений между ними, а есть только те, кто за народ, и те, кто для себя, и все дело в этом, а споры и расхождения — это лишь та видимость борьбы, в которой всегда должны быть лидеры и паства, коей несть числа, и борьба эта как раз и создает впечатление остроты жизни и держит на поверхности тех, кто иным, то есть настоящим, трудом не способен достичь положения и славы. Мещеряков так ясно понял это, что на мгнове-

нье оторопел, от этой своей ясности мысли, и по лицу его пробежала та краска смущения, которая и Куркиным и всеми другими, кто был с ним, в том числе и женой и Лией, была воспринята как выражение неловкости за произнесенные слова.

— Никогда не следует поддаваться первому впечатлению,— поучительно заметил Афанасий Юрьевич, снисходя к оплошности доцента, вернее допуская самою возможность этой оплошности (в силу именно различия между ним, Куркиным, и всеми остальными).— Присаживайтесь. У вас милая жена,— затем добавил он, вводя в краску теперь уже Надежду Аркадьевну и усиливая в ней то движение крови, которое люди обычно называют волнением и которое для Надежды Аркадьевны было волнением приятным, подвигавшим ее в надеждах к цели.

Две тетки Ермакова, словно горничные, не представленные никому, равно как и никто не был представлен им, обслуживали гостей. Одна из них, та, что постарше, сидела за самоваром, разумеется электрическим, в углу кабинета и тем, кто подходил к ней, наливала чай в стаканы с подстаканниками так по-русски, как думала она, сначала заварку, потом кипяток, что все это с ее стороны делалось будто для того только, чтобы дать понять гостям, что, несмотря на все их разговоры о западничестве, она знала, какими были их корни. «Перебеситесь, пересуетитесь и все поймете, все встанет на свои места» — было в ее старческих глазах, в то время как она, не глядя ни на кого отдельно, смотрела на всех и видела всех. Вторая тетка Родиона, та, что помоложе, приносила в тонких хрустальных фужерах красное грузинское вино на подносе. Она не предлагала каждому, а оставляла поднос с фужерами на столе и уходила — без улыбки, без какого-либо выражения на лице, что тоже, должно быть, было ее отношением к происходившему в доме. Но еще менее, казалось, чем тетки, был участником торжества Родион со своею Сонею, неотступно везде ходившей за ним в короткой, отчего ноги ее казались почти голыми, юбке. Он не вступал в разговор и то появлялся в кабинете, то исчезал из него, чтобы побыть с теми, кто находился в мастерской и осматривал картины; и так как цель его состояла не в том, чтобы услышать похвалу своим работам (и еще менее работам Мити Гаврилова), что добавило бы известности к его из-

вестной уже славе, он не заискивал ни перед кем; цель его была — чтобы по Москве пошел слушок, что у такого-то молодого художника что-то интересное выставлено на дому, на что идут посмотреть, и чтобы слушок этот, дойдя до организаторов выставки на Крутицком валу, возмутил бы их спокойствие и заставил бы пожалеть о том своем решении, когда они отвергли работы его, художника Родиона Ермакова. Цель эта, казалось Родиону, не зависела от того, о чем говорили в кабинете или в зале; цель эта, казалось ему, была достигнута уже тем, что Афанасий Юрьевич Куркин был здесь, у него, и что это-то и станет известным и придаст вес всему.

Ермаков в очередной раз вместе с Сонею вышел из кабинета, и Афанасий Юрьевич, чувствуя на себе внимание всех и небольшими глотками отпивая красное грузинское вино из фужера (и отвернувшись и забыв уже как будто о Мещерякове), отвечал кому-то на один из тех отвлеченных вопросов о возможностях и границах искусства, какие обычно глубокомысленно задаются одними людьми, причисляющими себя к сфере искусства, другим, точно так же причисляющим себя к этой же сфере, и на какие никто и никогда не дал еще вразумительного ответа уже в силу того, что искусство, как и жизнь, бесконечно и всякий раз повторяется в том обновленном и усложненном виде, как обновляется и усложняется жизнь. Афанасий Юрьевич, для которого тема эта была не просто темой для разговора, а пространством, как для Колумба океан, по которому можно было плыть и плыть и открывать Индию не там, где она есть,— Афанасий Юрьевич сейчас же отдался этому плаванию, видя перед собой именно это пространство и распуская паруса мыслей. Надежда Аркадьевна, Лия и все, кто был в кабинете,— все со вниманием слушали его. Но Мещеряков, всегда с трудом подпадавший под влияние чужих мыслей и все еще находившийся под впечатлением разговора с Митей и выставленных им мертвецов, могил и оружия со следами человеческой крови,— Мещеряков не мог остановить в себе той умственной работы, которая, соединяясь с жалостью к Мите как к сконцентрированному выражению трудностей народной жизни, оборачивалась в сознании его неожиданными и поражавшими его простотой и ясностью выводами. Он вдруг понял, что и Куркин, и Карнаухов, и сам он,

доцент Мещеряков, всегда искавший ответы на жизненные вопросы в изучении истории европейских народов, искали и ищут эти ответы не там, где надо искать их; он (как он никогда позже уже не мог с такой отчетливостью представить себе) понял, что за всей этой интеллектуальной суетою во все времена люди, подобные Куркину, Карнаухову и ему, Мещерякову, не то чтобы не хотели, но не могли разглядеть и понять всей глубины того, в каких трудных положениях и в разные годы оказывался русский народ; и он выводил это теперь из Митиной биографии, поразившей его тем, что мужское поколение в деревенских семьях выбивалось войнами, и из всех его этих рисунков — мертвецов, могил и оружия,— через выразительную силу которых как раз и передавалась эта главная боль народа. «При чем Иисус и при чем христианство? — думал он, удивленно и вместе с тем осудительно вскидывая взгляд на Куркина.— Здесь совсем другое. Здесь боль народа, которую он (Митя) не может сформулировать, но он выражает ее, слепо, бессознательно, в такой именно форме, но выражает ее»,— говорил себе Мещеряков.

XXI

— Афанасий Юрьевич,— выбрав, когда ей можно было войти в разговор, сказала Лия, спросив с простодушным любопытством своим, которого не замечала в себе,— я слышала, есть какой-то новый клуб — «Человек будущего». Что это такое, вы не знаете?

— Клубов теперь пруд пруди,— с той усмешкою, как он всегда отвечал на то, что (как это должны были видеть другие) не только хорошо знал, но к чему имел определенное ироническое отношение, ответил он. Он был в светлых брюках и бархатном, что только что входило в моду, пиджаке густого до черноты красного цвета и такого же цвета однотонном галстуке и сидел к окну так, что лицо было затенено и почти сливалось с цветом костюма и галстука.— Клубы, кружки, салоны — чего стоят только «Проблемы бессмертия», или «Русские йоги», или «Макет будущего устройства общества»! — И он перечислил еще несколько подобного рода кружков, которые то вдруг возникали, то по бессмысленности своей точно так же вдруг переставали существовать и которые Куркин не то чтобы не признавал (тут надо было еще соображать), но по которым, как он считал,

следует судить о состоянии общества.— Сплошь Сперанские и сплошь Магницкие,— сказал он, намекая на тот определенный период либерализма в России, который, чем он закончился, известно было всем.— Сплошь, а нужен всего-то один-единственный,— с усмешкою же заключил он; то, что он хотел сказать этим (точно так же, как и своими статьями, значение и смысл которых, несмотря на аплодисменты одних и неприятие других, никто и никода не мог понять до конца), было как будто умным, настолько умным, что никто ничего не мог уяснить из этого.

По отношению к Мещерякову Афанасий Юрьевич держался теперь спокойно, потому что по неприязни, откровенно высказанной ему, знал, что никакой просьбы со стороны доцента уже не последует. Точно так же и Мещеряков, не посвященный в планы жены и не имевший потому никаких просьб к этому известному искусствоведу-западнику, еще более был спокоен по отношению к нему. Он только не был согласен с Куркиным в оценке Митиных работ и мысленно продолжал возражать ему, и слова о Сперанских и Магницких (которыми теперь «пруд пруди») — слова эти, услышанные в том отрыве, как только мог Мещеряков, занятый своим, услышать их, попали в ту самую точку его размышлений, в которой могли отозваться лишь тем одним значением, которое он сейчас же и высказал Куркину:

— Да, вы правы. Мыслителей много, а дела нет. Мы ищем, а вон приехал мужичок из деревни, из Пензы,— поправился он,— и утер нам всем нос.

— Вы о чем? — Афанасий Юрьевич внимательно и недовольно посмотрел на него.— Это у вас там, в институте, отцы убивают сыновей,— с той мерой ехидства, которая должна была раздавить Мещерякова, затем сказал он.— Вряд ли вас кто-нибудь поймет, вас и ваших коллег.— И, уничтожив таким образом, как он думал, своего противника, с чувством победителя отвернулся от него и, приподняв фужер с недопитым вином, начал произносить один за другим те остроумные и смешные грузинские тосты, которые, несмотря на многократное повторение, всегда слушаются с интересом и которые теперь вновь привлекли к Куркину внимание.

Некоторое время продолжала слушать и улыбаться ему и Надежда Аркадьевна, хотя вся прелесть встречи была уже испорчена для нее; испорчена ее мужем — не-

хорошо, глупо и бестактно, как думала она, и она, сославшись на головную боль, попросила мужа (и Лию) увезти ее домой.

— Ты что наделал? — сейчас же сказала она мужу, как только Лия, высадив их из своего «Москвича» и не заходя к ним в дом, оставила одних.— Ты хоть понимаешь, что ты натворил?

— Что? Что не согласился с Куркиным? Но с ним и нельзя было согласиться. Он, если хочешь знать мое мнение...

— При чем тут твое мнение? Он наш друг.

— Кто, этот Афанасий Юрьевич?

— Да.

— Какой он нам друг, с какой стороны? Я удивляюсь тебе, Надя.

— Он... Он... Он мог бы сделать тебя деканом,— наконец сказала она то, что для нее самой было ясным, простым и убедительным, и она не могла представить, чтобы можно было что-либо возразить против этого.— Он... Он...

— Каким деканом? Где? Как? — Мещеряков даже на мгновенье приостановился — так неожиданно было для него то, что он услышал от жены.

— Ты спрашиваешь — где? — сказала Надежда Аркадьевна, стоя уже посреди комнаты и полными белыми руками снимая ниточку жемчуга с шеи.— Разве ты сам не видишь? Ты думаешь, Лусо усидит после Арсеньева скандала? Его уйдут, милый мой, это видят и знают все, его уйдут,— подтвердила она, нажимая на это слово,— и кто тогда займет его место?

— Но для этого надо прежде защитить докторскую,— возразил он жене.

— Ах, была бы и докторская, было бы все, если бы ты не был сегодня таким дураком. Мне стыдно, я в ужасе, в какое положение ты поставил меня. Ты хоть об этом подумал? Ведь это был Куркин!

— Не говори мне о нем. И вообще, какое тебе дело, кто станет деканом? Тебе-то что? — повторил он с тем видимым раздражением, по которому можно было понять, что вопрос этот — кто станет деканом? — вопрос этот был не безразличен ему и давно занимал его; занимал еще прежде, чем случилось это Арсеньево дело.— Как женщина ты хороша, я ценю тебя, но когда ты лезешь в дела служебные...

— Я?! Лезу?!

— Да-да.

— Ну, знаешь, я не навязывалась тебе, пожалуйста, ты свободен. Ты давно хочешь этого, я вижу, так пожалуйста, пожалуйста, ты свободен.— И она, сделав то холодно-неприступное выражение, с каким обычно, когда бывала недовольна мужем, уходила от него, и с ниточкою жемчуга теперь в руках гордо направилась в спальню, тряхнув головой, чтобы волосы, освобожденные от шпилек и заколок, пышнее рассыпались по ее круглым плечам.

— И хорошо, и пожалуйста,— бросил ей вслед Мещеряков и тоже пошел к себе в кабинет.

Ссора эта была для семейной жизни Мещеряковых той обычною ссорой, какие вспыхивали часто и заканчивались лишь тем, что примирение, наступавшее почти тут же (или час, или четверть часа спустя), только полнее позволяло им выказать свои чувства любви друг к другу; те чувства, которые были хотя и ложными (и ложность сознавалась каждым из них), но которые, может быть, в силу именно этой ложности выказывались со столь подчеркнутой искренностью, что делали и возможной и даже приятной их совместную жизнь. И оба они теперь, разойдясь и понимая несерьезность и обыденность ссоры, принялись со спокойствием как будто — Надежда Аркадьевна переоблачаться в свой домашний туалет, а муж в свой. Но возле встроенного шкафа, где висели его вещи, он на минуту остановился, припоминая что-то. И этим «что-то» была та привычная ему неприятная мысль, что в ссорах его с женой всегда участвовало (незримо и не ведая о том) какое-то третье лицо. «Как глупо, однако. До чего же, однако, глупо»,— подумал он. Но на этот раз третьим лицом был Куркин, сейчас же возникший перед глазами Мещерякова в своем бархатном пиджаке и с тяжелою усмешкою на лице, и то инстинктивное чувство неприязни, теперь усиленное ссорою с женой, вновь поднялось и охватило Мещерякова. «Куркин?.. Что может понимать этот самодовольный и самовлюбленный тип, этот твой Куркин?» — сказал Мещеряков, обращая эти слова к жене, и с живостью вспомнил то, что думал о Куркине там, у Ермакова, и думал о себе, о Карнаухове и обо всех западниках и почвенниках, кто в чем сходился и в чем расходился и что было главным и не главным в спорах и расхожде-

ниях, и вспомнил свои суждения о Мите и его работах. Машинально, только от нервной возбужденности своей, он принялся шарить по карманам своего пиджака, отыскивая листок с адресом, который Лукашова передала ему, и, найдя его, с этим листком в руке и с побледневшим лицом, не представляя, что скажет жене, решительно пошел к ней в спальню.

— Вот кем я буду заниматься, вот, а не твоими лусо, куркиными и карнауховыми. Вот, вот, знай это и больше не смей вмешиваться в мои дела,— распахнув дверь спальни и потрясая этим своим листком в воздухе, резко заговорил он.— Не смей, слышишь? — с каким-то будто бешенством, вдруг обнаружившимся в нем, почти выкрикнул он и, хлопнув дверью, с новым уже чувством к жене вернулся в кабинет.

XXII

На следующий день после того, как цель его домашней выставки была достигнута и Афанасий Юрьевич Куркин посетил ее (важно было именно — не оценка, а что п о с е т и л), Родион Ермаков сказал Мите Гаврилову и его жене Анне, чтобы они собрали свои рисунки и очистили мастерскую.

— Большего я не могу для вас сделать, извините,— сказал он тем своим тоном, будто он, заплатив им за какие-то услуги их и видя, что они еще ждут чего-то, решил напомнить, что и без того получено лишнее.— Не могу. Да и самому пора браться за дела,— сказал он, и Митя и Анна уже через час с пакетами и холстом ехали в электричке к себе в Одинцово, где они жили не у знакомой Анны, как она о том сказала Семену Дорогомилину еще летом при встрече с ним, а снимали комнату в одном из тех частных больших в Подмосковье домов, которые потому только и строятся большими, чтобы можно было, особенно в летний, дачный сезон, подзаработать на них.

Митя с Анною Лукашовой, ничего, в сущности, кроме новых эскизов и зарисовок к будущей картине не делая, вернее не работая нигде и ниоткуда не получая денег, проживали здесь, в Москве, те свои небольшие средства, которые были выручены Митею за проданный им баптистской общине дом в деревне; и чем меньше оставалось у них этих средств, чем очевиднее было, что надо

искать работу, чтобы обеспечивать свое существование (в Пензу оба они не хотели возвращаться), тем упорнее ни Митя, ни Анна, верившая в несомненные способности приобретенного ею мужа, из которого она хотела вылепить гения, не предпринимали ничего, чтобы устроиться где-то, а продолжали лишь по тем доступным Анне каналам, которые как раз и привели ее к Родиону Ермакову, искать тех, кто признал бы талант Мити и сделал бы для него что-то. Что должно было быть этим «что-то», ни Митя, ни Лукашова не представляли ясно себе; этим «что-то» была для них лишь та неопределенная надежда, какую испытывает, наверное, всякий, пробующий силы в искусстве или литературе, думая, что, как только будет открыт и признан, сейчас же все блага жизни сами собою предоставятся ему; они жили этой надеждой, в то время как со дня своего приезда в Москву не только не приблизились к цели, но лишь более теперь были отдалены от нее. Тот первый художник Сергеевский, к которому через посредство знакомых ей лиц обратилась Анна (так как все хлопоты по устройству Митиной судьбы она взяла на себя и действовала столь энергично, что сама удивлялась этой энергии, происходившей в ней, как она думала, от любви), был хотя и известным в московских кругах художником, но, не примыкая ни к одному из тех кружков и групп, коих всегда было и есть множество в искусстве и литературе, не имел того влияния, то есть веса, с помощью которого мог бы хоть как-то продвинуть Митино дело. В противоположность Ермакову Сергеевский не устроил никакой домашней выставки Митиных работ у себя, а сделал то простое, что одно только и нужно было сделать,— свел его с той группой так называемых народных художников, которым ближе была тема утрат и страданий и которые, как справедливо было предположить, могли более понять и оценить рисунки и замысел Митиной картины.

Это были художники того круга, к которому по взглядам и понятиям жизни принадлежал Карнаухов; и по обычной случайности, каких ежедневно происходят тысячи, Карнаухов в тот день оказался как раз среди этих художников и видел Митины рисунки. Но ни он, ни художники не поняли Митиных работ и не признали в нем художника, но зло и с той откровенностью, как умеют это люди, признающие только себя и свое дело, высмея-

ли Митю и отвернулись от него. Главным, чего они не могли понять, а вернее простить Мите, было то, что они увидели в нем как бы свое искаженное отражение. «Если мы и обращаемся к прошлому,— было приговором их,— то, во всяком случае, не к мертвецам». И Мите оставалось только точно так же зло ответить им: «Живые только потому и живы, что есть э т и мертвецы».

Он чувствовал себя оскорбленным, и из всего, что еще говорилось ему и вокруг него, пока он собирал рисунки, в памяти осталось лишь несколько фраз, которые, как он потом ни толковал их, не в силах был понять их значения. Не в силах потому, что для него, смотревшего тогда на мир искусства всего лишь глазами завсегдатая дорогомилинской гостиной, привыкшего только к блеску люстр и разговорам в ней и не знавшего, что есть другие подобные гостиные, с другими вкусами, взглядами и теоретическим обоснованием этих взглядов (но, главное, по той не совсем еще утраченной целостности своего понимания жизни и места художника в ней), не мог представить, чтобы как-то иначе, чем это понимал он, можно было понимать и толковать цели искусства. «Мы возвращаемся к прошлому, чтобы оживить его,— говорилось вокруг Мити (хотя для чего надо было именно оживлять, то есть тянуть жизнь назад, было непонятно и можно было возразить против этого).— Ведь так можно до абсурда довести нашу идею (хотя идея Мити, очевидно было, заключалась в другом)». «Он всех нас поставит в тупик»,— говорилось кем-то другим, что̀ было хорошо слышно Мите и было также неясно, о каком тупике шла речь. Митя ушел расстроенным и огорченным, и Сергеевский, взявшийся проводить его, по-дружески обняв за плечи, сказал ему:

— Чтобы иметь возможность что-то свое сказать в искусстве, друг мой, надо прежде достаточно убедительно сказать то, чего хотят от тебя.— И он подчеркнуто повторил это свое «хотят».

— Но чего хотят, я должен знать по крайней мере, чего хотят,— возразил тогда Митя.

И этот же вопрос он задавал себе теперь, вернувшись вместе с Анною от Ермакова. «Они только берут адреса,— подумал он, вспомнив, что и Дорогомилин брал у него адрес, а потом забыл и не пришел.— Как-то же надо, наверное, отделаться».

XXIII

Комната их была той обычной (для дачников) комнатой, в которой есть окно, выходящее в хозяйский сад, где теперь зрели в соку и солнце яблоки, есть ситцевые в горошек занавески, сквозь которые, когда задернуть их, можно видеть и что в саду и что в комнате, есть кровать с хозяйским матрасом, подушками, одеялом и простынями, стол со стульями и та обычная для Подмосковья сырость, исходившая от стен и углов не топившегося теперь этого огромного кирпичного дома, которая как будто бывает незаметна и даже приятна в теплые дни, но угнетающе действует, когда льют дожди и небо тучами низко нависает над крышами. Митя с Анною по молодости своей и по тому открывшемуся им наслаждению от совместной жизни не замечали этой исходившей от углов сырости и не обращали внимания на нее; их грело тепло их цели, к которой они оба стремились и которая, как ни отдалялась она от них, продолжала согревать их. Любовь между ними давно уже была не той, прелесть которой есть снятие чулок, постель и сближение тел; все это было, но не оно объединяло и сближало их; между ними как бы сама собою (что естественно и только так, само собою происходит всегда) установилась та любовь, то есть те отношения, которые в обиходе называются семейными и смысл которых не в удовлетворении чувства (без чего точно так же нет и не может быть семьи), но в обоюдном понимании и признании той главной жизненной цели, к которой всякий здравый человек всегда чувствует призванным себя, хотя и не всегда ясно осознает ее. Лукашова теперь не только не стеснялась того, что она старше Мити, и не только не боялась, что он заметит это, заметит ее морщинки, которые она прежде всегда видела на своем лице; морщинок этих теперь не было у нее; загорелое и гладкое лицо ее было полно той молодости жизни, которая, несмотря на неудачи, постигавшие ее и ее мужа (в смысле признания художника в нем),— лицо ее было так полно жизни, что по одному взгляду на него можно было сказать, что Анна была счастлива.

Вопреки предположениям врачей (по прежней жизни ее, по абортам, которые делала она), что она не сможет иметь детей, вопреки тем своим опасениям *этого* же, что Мите, как и всякому мужчине, захочется иметь детей;



которых она не сможет дать ему, и что он, разочаровавшись в ней, разлюбит, бросит и уйдет от нее,— именно в эти дни, когда она добилась-таки устройства выставки его картин в доме Ермакова, она вдруг поняла, что беременна. Она поняла это не по тем признакам, как это описывается в большинстве книг, что что-то затеплилось и задвигалось где-то там, внутри, под сердцем и тому подобное, но поняла это по-другому, по тому верному признаку настроения, по которому всякая любящая женщи-

на сейчас же чувствует, что случилось с ней именно то, что одно только есть для нее смысл любви и смысл жизни. Она прислушивалась к себе, стараясь уловить те физические признаки, которые подтвердили бы то, что она уже понимала душой (хотя признаков этих не было и еще не могло быть), и все мысли ее были заняты тем, как она скажет обо всем этом Мите. Она была напугана, робела и была счастлива тем, что происходило с ней, и за этим ее счастьем, робостью и бережливостью, что она как будто уже не принадлежала только себе, она не могла с той остротой и болью, как Митя, воспринимать его неудачи. Слишком разны и слишком несовместимы были для нее эти два чувства; неудачи, напротив, только усиливали в ней желание добиться, чтобы Митю поняли и признали наконец. Ни на мгновенье она не позволяла себе усомниться в том, что ошиблась в Мите, и он оставался для нее все тем же устремленным и великим, каким она уже вообразила его себе, и еще более, казалось, была убеждена, что рано или поздно, но он станет (разумеется, благодаря ее усилиям) тем, кем она хотела, чтобы он стал.

«Но что же теперь, что дальше?» — было тем вопросом, какой естественно должен был встать перед ней и перед Митей, когда они вернулись от Ермакова. Рисунки Мити лежали нераспакованными перед ним на столе, белый холст был приставлен к стене и невольно как бы представлял собою то оголенное пространство жизни, перед которым (должные вступить в него) оказались теперь он и Анна, и в деревенском лице Мити (что Анне хорошо было видно) ясно как будто отсвечивало это белое, оголенное пространство холста. На коленях у Мити лежали его большие и казавшиеся всегда неуклюжими руки, те самые руки, умевшие все, которым не было теперь применения. Анна понимала это, и ей хотелось пожалеть Митю. Ей хотелось подойти, обнять и сказать ему те ласковые слова, какие всегда были у нее к нему (были выражением ее души); но в это же время, как она хотела сделать это, что-то более основательное, чем это желание ее, подсказывало ей, что ей не следует делать этого. И этим основательным было понимание ею состояния Мити, что всякая жалость, как бы нежно ни была выражена она, будет для него только напоминанием о его провале. «Как он молча и стойко переносит все»,— подумала она, переживая за него и любуясь им

в эту минуту. И она по тому чувству сохранения, которому неведомо когда и как учатся люди, стала не ласкаться, а решила приняться за то простое женское дело (приготовить поесть что-то себе и мужу), которое бессловесно, но ясно должно было сказать Мите, что все случившееся у Ермакова есть только то, чего следовало ожидать там, и что ничего еще не потеряно в жизни, что жизнь продолжается и что, может быть, именно теперь только и начнется главное, ради чего она с ним, понимающая и любящая его.

Заниматься кухней для Лукашовой всегда было делом, которое вызывало у нее отвращение, и она полагала, что отвращение это будет у нее всегда, как бы и с кем бы ни жила она. Но теперь, когда она жила с Митей, она не только не испытывала того прежнего чувства, и сложность искусства приготовить обед или завтрак (к чему приспособлены бывают, как она думала, только женщины, подобные ее матери),— искусство это не только не представлялось ей сложным или невыполнимым, но доставляло удовольствие быть хозяйкой, кормить и угождать мужу.

— У меня есть блинная мука и сметана в холодильнике,— сказала она,— мы сейчас устроим себе царский ужин.— И, несмотря на то, что Митя ничего не ответил ей и даже как будто не посмотрел в ее сторону, она поняла, что надо было делать именно это, что она сказала, и она с живостью, повязав фартук и переложив Митины рисунки со стола, принялась за дело.

XXIV

Когда они затем, поужинав, сидели на крыльце, сбитом из досок и представлявшем собою тот черный вход в дом (со стороны сада), который специально на лето открывался хозяевами для квартирантов и дачников, было уже около восьми вечера, солнце спускалось за лес, и лучи его, скользя по макушкам берез, сосен и елей, проникали в сад и неестественным будто светом пронизывали его. Хозяйка с подоткнутым подолом, с ведром, в котором была разведена известь, и кистью в руке ходила по саду и подбеливала стволы яблонь. Что-то деревенское было во всей этой приусадебной красоте для Мити и Анны. Но Митя, когда он отрывался от подобревших теперь, после еды, и все еще мучивших его мрач-

ных дум, видел, что все это (и хозяйка и сад), так напоминавшее деревню, в то же время имело что-то такое, что не соединялось с деревенской жизнью, и он старался понять, в чем было это различие: в том ли, как хозяйка работала, поминутно стряхивая кисть над ведром, в самом ли том деле, в подбеливании, которое в деревнях делается весной, а не в середине лета, или в той тщательной выровненности линий, как были посажены яблони, в симметричности, которую не понимал и не признавал Митя. Но он ничего не говорил Анне, и Анна тоже ничего не говорила ему, вновь вся занятая сознанием своего счастья. К ней опять вернулась та радостная возбужденность, которая происходила в ней от ее беременности, и вопрос — сказать ли Мите об этом теперь или позднее,— вопрос этот, с разною силой желания занимавший ее днем, был снова тем главным, вокруг чего собирались ее мысли. Она не то чтобы не решалась открыть Мите э т о, что должно было, как ей казалось, обрадовать его, но она не могла сделать этого по настроению, какое она чувствовала в муже. Ее удерживало то обстоятельство, которое она, как и всякая женщина, готовящаяся стать матерью, понимала не умом, не сердцем, а каким-то иным и высшим чувством (что она дает жизнь), что событие это должно быть не просто радостным, но что даже известие о нем должно войти в мир в радостной обстановке. То желание счастья своему ребенку, которое затем развивается в родителях иногда до таких ненужных высот, что от материнской или отцовской любви только страдает или рушится это счастье, было теперь в Анне в том зачаточном состоянии, когда ей неожиданно, ново и приятно было сознавать его. Она смотрела на угловатое, со светлыми бровями и ресницами лицо Мити, представлявшееся ей мужественным и красивым, и от переполненности чувств к нему и от робости, происходившей от этих же чувств, и желания одарить мужа еще большим счастьем, к чему она чувствовала способной себя, она думала о том, чем она могла теперь помочь ему. Та возможность заработать, которая как у фоторепортера была у нее, была настолько мизерной здесь, в Москве, что нельзя было даже представить, чтобы прожить с мужем вдвоем на этот заработок; и ей впервые вдруг пришло в голову, что надо попробовать писать ей. Ведь говорили же ей, что есть что-то поэтическое в комментариях, какие она давала

к своим снимкам. «Я напишу о нем,— подумала она.— Да, я напишу им, напишу (им — были редакции, в которые она понесет то, что будет написано ею о Мите)». И сознание этого найденного для себя дела (и своей беременности и любви к Мите) как раз и было теперь тем, что радовало ее. «Как много было того, что я не должна была делать, и как просто и хорошо это, что я буду делать теперь,— думала она, скрывая от Мити это свое радостное чувство и опуская глаза, словно шторку в комнате, за которой она переодевалась.— Да, да, было много того, что было ненужно, ложно и чего уже нет теперь. Знает ли он? Догадывается ли он?» — было в открытых, добрых, полных любви и нежности глазах ее, которые она, боясь выдать себя и тем разрушить целостность своего счастья, робела поднять на мужа.

— Думаешь, она белит для дела? — вдруг сказал Митя, после того как долго наблюдал за хозяйкой (и сочетая эти слова не столько с делом хозяйки, сколько с теми своими мыслями, о которых он не говорил Анне).— Она белит для красоты, а думает, что белит для дела.

— Ты так считаешь? — спросила Анна, чувства которой сейчас же подсказали ей, что что-то иное скрыто за этим высказыванием Мити.

— А ты разве сама не видишь? Все, что делается без пользы, всегда безвкусно, некрасиво и бессмысленно,— добавил он, все еще отвечая как будто Анне, но, в сущности, отвечая тому художнику Сергеевскому, который сказал Мите, что надо прежде сделать в искусстве то, чего от тебя хотят, чтобы иметь затем возможность выразить себя. «Они хотят заставить меня подбеливать яблони среди лета,— подумал он.— Но где эта известь и где эти яблони?»

К Мите уже не первый раз приходило это сомнение, что он делает что-то не то, что надо бы делать ему. Он чувствовал, что втягивался будто в какую-то орбиту пустых и ненужных дел (как он теперь, из отдаления, смотрел на дорогомилинскую гостиную), конечная цель которых не только не совпадала с той, какую ставил перед собой он, но была даже как будто противоположной ей. «Что они хотят, чтобы я сделал?» — думал он, стараясь уяснить себе эту их конечную цель; и он невольно приходил к отрицанию того, во что верил, что было замыслом его картины и чему он хотел посвятить жизнь. Он

смутно, бессознательно подвигался к той простой формуле, что насилие всегда порождает насилие, а добро порождает добро, которая только одна и может быть мерилом искусства, но которую именно в силу, может быть, ее простоты и ясности не принимают и предают забвению. Если бы он был человеком образованным и посетил хотя бы треть тех многочисленных картинных галерей и музеев мира, в которых экспонаты добра в течение уже веков постоянно и планомерно заслоняются экспонатами насилия и безвкусицы; если бы он знал и видел все то неисчислимое и продолжающее умножаться количество картин, подобных груде черепов и подвешенных один над другим гробов, должных вселять ужас, но вызывающих лишь отвращение — и к искусству и к жизни; если бы посмотрел на все эти заключенные в рамки сцены извращений и насилия: раскроенные человеческие черепа с небоскребами вместо мозгов, женские рты, поглощающие океанские пароходы, глобусы на макушках атомных грибов и голые человеческие тела во всех тех непотребных позах надругательства над тем человечным, что есть существо жизни и что громкоголосым хором искусствоведов (определенного толка и словно сговорившихся трубить в одну трубу) провозглашается как беспокойство за не т у д а и не к т о м у идущий мир; если бы он видел и знал, что то, что он хотел изобразить в своей картине (и что, ему тоже казалось, было протестом насилию), давно и в более ужасающих формах изображено другими и обернулось не добром, а злом и насилием в людях,— он не испытывал бы теперь этого смутного беспокойства. Он точно бы знал, что и как надо делать, чтобы достичь цели. Он понял бы по тому примеру с Анной, в которой он лишь малою долей тепла, какую он дал ей, возродил жизнь, и что не мертвецами и ужасами насилия, а примером красоты и добра художник должен двигать и утверждать жизнь. Но Митя не видел этих картин и даже отдаленно не мог представить себе того размаха, какого достигло это так называемое (деляческое!) искусство, в котором на передний план выдвинуты не боль за человеческие судьбы, не желание помочь людям, а злорадство над безысходностью их, над беспомощностью всякого живого существа перед насилием. Но что может дать людям чувство безысходности? У одних оно вызовет страх, у других — желание власти. Власть, жестокость и столь же жестокое проти-

востояние этой жестокости! И ни красоты, ни преград— все дозволено. Митя не мог думать так и не думал так; но он подходил к этой мысли издалека и трудно, как слепец, тычущий палкой в стену, чтобы найти выход, и так как выхода не было и Митя не мог охватить мысленно того, чего не знал, он только недоуменно повторял себе: «Так чего же они хотят от меня? Надо же сказать, чего они хотят».

— Ты знаешь,— сказал он Анне, взволнованно повернувшись к ней.— Наверное, я не художник. Кому нужно то, что я делаю? Никому.

— Ты что, Митя, ты что! — возразила Анна, которая, полагая, что она любит Митю, любила в нем прежде всего того воображенного великого художника, каким она хотела сделать его.— Этот Ермаков и ногтя твоего не стоит.

— Но он известен... со своими квадратами и кляксами,— с усмешкою добавил Митя.— Он может позволить себе принять или не принять меня. Ты видела его картины? Их намалюет каждый ребенок.

— Я согласна, но все же, как бы он плох ни был, он может помочь тебе.

— Ты видела его картины? Что в них?

— Холод, я так понимаю, а в твоих душа, боль.

— Чего стоит эта моя душа, эта боль, если на них нет дорогого костюма?

— Я не понимаю тебя, Митя. Я боюсь за тебя.

— А ты не бойся. Я так. Тяжело, вот и все. Тяжело.— И, встав, он пошел по саду, как будто надо было ему ближе посмотреть работу хозяйки.

XXV

У каждого слоя общества есть свои проблемы, кажущиеся важными и требующими решения. В то время как люди, подобные Лусо, Карнаухову, Мещерякову, Куркину, прилагали усилия, чтобы уяснить, что заключено в понятиях «народ» и «благо для народа» (обеспечивая тем самым пока что блага для себя), другие, подобные Дорогомилину и Лукину, поставленные (в силу разных обстоятельств) в иные условия жизни, вынуждены были не рассуждать о благе, а создавать его; и, создавая, то есть работая на земле и с народом, точно так же, как и всякий в своей области, сталкивались с проблемами,

над которыми надо было думать, чтобы преодолеть их. Одной из таких проблем, которую неохотно, с трудом (и по-разному), но все же начали уже признавать все, была проблема так называемых разорванных нравственных связей человека с землей. Павлу Лукьянову в свое время она виделась в нарушении того цикла работ, какой всегда прежде был у крестьянина; Лукину она виделась в утрате чувства хозяина, которое он не знал, как было восстановить теперь; Парфену Калинкину, председателю зеленолужского колхоза-миллионера, та же проблема виделась в обезличке земли, и он точно так же ломал голову над тем, как ответить на нее. Не умея по-научному подойти к делу, но мужицким умом своим понимая, что он как бы прикоснулся к самому корню вопроса, он еще с Сухогрудовым, когда тот возглавлял райком, пытался говорить на эту тему, потом несколько раз ставил этот вопрос перед Воскобойниковым, заменившим Сухогрудова, и думал теперь выдвинуть его перед Лукиным, на которого у многих в районе была надежда как на человека тех новых взглядов на жизнь, кто выдвигался теперь в руководство делами.

Калинкин вынашивал идею закрепления земли за отдельными механизаторскими семьями, вернее за теми крепкими (в понимании его) мужиками, которые умели бы и взять от земли и вложить в нее. «Пусть это будет называться звеньями, дело не в том,— думал он.— Дело в сути». И суть эта была так ясна Парфену, что он никак не мог взять в толк, почему его всякий раз только выслушивали и не разрешали ничего предпринимать.

— Лучший колхоз в районе, колхоз-миллионер, чего тебе еще? — говорили ему.

— Хочу, чтобы не надо было постоянно подмазывать наше деревенское колесо жизни.

— То есть как «подмазывать»?

— А так, чтобы не уговаривать и не покрикивать на людей каждый раз: «Давай-давай!» Все должно быть естественно, и «давай-давай» должно вытекать не из потребностей общей жизни, вернее не только из потребностей общей, но и из личной заинтересованности, как у себя в доме, в котором живешь: хочешь, чтобы в нем было чисто, вымоешь, и покрасишь, и венец вовремя заменишь, и тес на крыше переберешь.

— Что-то вроде фермерства?

— Фермерства не фермерства, этого я не знаю. Земля колхозная, техника колхозная, но закрепленная за семьей. И затрат меньше, и дела больше, и, главное, душа у человека будет на месте, душа — вот где собака зарыта,— говорил Калинкин, все более смелея от сознания того, что может говорить правду, то есть те свои соображения, которые давно и болезненно созревали в нем.

Хозяйство его, укрупнявшееся в несколько этапов, состояло из тринадцати деревень и располагалось на красивейших землях района, любоваться которыми можно было в любую пору года. Но для Калинкина земля эта была не просто красотой, не той супругой, на которую хорошо только посмотреть, нарядив ее, а той, с которой надо было прожить жизнь большой крестьянской семьей; и супруге этой (то есть земле), он видел, нужны были не позолоченная мишура, отдающая блеском, и не те зауженные в бюстах и талии городские наряды, в которых ни сесть, ни встать, ни притронуться ни к чему, а другие, естественные, которые, подчеркивая всю видимую красоту тела, не сковывали бы движений и не мешали работать, а были бы удобны, броски и долговечны. Он относился к земле с тем чувством, что земля эта была соучастницей в его жизни, как и живность на дворе, за которой надо ходить, задавая ей корм, прибирая за ней и заводя в избу, если морозы, чтобы обогреть ее. Он не мог сказать, когда он начал понимать это, но с каждым годом лишь сильнее укреплялся в этом своем чувстве; тем сильнее, чем нерадивее, он замечал, относились к земле другие. «Что потеряно, словом не вернешь,— говорил он.— Делом, только делом». И по этим высказываниям его, по его стремлению восстановить те самые утраченные нравственные связи человека с землей (как это звучало по-книжному) многие называли его мужиком старой закваски, видели в нем редкостного по теперешним временам хозяйственника и ценили и уважали его.

Но между тем, каким считали, что был Калинкин, и тем, каким он был на самом деле (как он знал себя), была та разница, которая бывает у людей не в силу их дурного характера или дурных целей, поставленных перед собой, но в силу тех обстоятельств, в каких приходится им работать, чтобы вести дело. Калинкин был родом из этих мест, еще до войны окончил сельскохозяй-

ственный техникум и не то чтобы любил, но умел и по-городскому опрятно одеться и быть по-городскому интеллигентным; но по председательской должности своей он видел, что ему надо было быть ближе к народу, то есть и говорить и одеваться точно так же, как все в деревне, под мужика, как он шутил над собой; он видел, что и районное начальство бывало снисходительней к нему, когда он представал перед ним этаким простоватым и тугодумным мужиком, который вроде бы и слушает и готов сделать все так, как велят, но по непонятливости и неповоротливости своей делает иначе, по-своему,— и что с него возьмешь, если он есть народ? Пожурят и простят, пожурят да и отпустят, а для хозяйства, чтобы оно крепло, и для людей, чтобы они имели то, что им надо иметь каждому в своем дворе, бывало сделано. Он видел, что, притворяясь мужиком, легче было вести дело, и он старательно подлаживался под тот ложнонародный характер, как этот характер (давно и традиционно по книгам) воспринимался многими, но каким он не был на самом деле. Брюки на Калинкине всегда выглядели сморщенными и отдутыми в коленках, рубашки он носил из ситца в горошек и нараспашку, так что всегда была видна загорелая (как и лицо, и шея, и руки) грудь. Он и волосы причесывал пятерней, и ходил вразвалку, неторопливо, и в прищуренных глазах его постоянно было то выражение мудрой озабоченности, словно надо было ему сутки, чтобы решить какое-нибудь даже пустячное, каких всегда уйма в хозяйствах, дело. Но распоряжался он всем быстро и решительно, обдумывая задолго тот вопрос, который затем должен был поставить перед районным руководством; и это-то и делало его хозяином и вызывало к нему уважение — не то, которое основывается обычно на страхе к начальству, а другое, которое складывается не сразу и будто незаметно, будто из ничего, но долго затем, даже после смерти человека, живет в народе.

Но как ни считалось хозяйство Калинкина передовым в районе, проблемы, какие были в других колхозах, были и у него, только, может быть, не так на виду, чтобы бить о них в рельс. То общее явление — уход молодежи из села и опустение деревень,— которое приобретет затем такой характер, что потребует принятия государственных мер, для Калинкина было тем же болезненным явлением, каким оно было для всех; причиной же этого

явления он как раз и считал утрату прежних нравственных связей человека с землей и был убежден, что не строительством клубов, что должно было быть приложением и разуметься само собой, не развитием художественной самодеятельности и устройством музыкальных или балетных школ и даже не приближенностью деревенских бытовых условий к городским (что тоже должно было разуметься само собой), но лишь восстановлением тех утраченных связей, через посредство которых только и шло осознание мужиком своего «я» в жизни, вернее испытывалась удовлетворенность от осознания этого своего «я», можно удержать его у земли. Потому-то, несмотря на запреты, Калинкин все же решил на свой страх и риск провести у себя в колхозе свой задуманный эксперимент. За одной из механизаторских семей, семьей Тимофея Сошникова, он еще в прошлом году с неохотного согласия парторга колхоза и некоторых членов правления закрепил около ста гектаров земли и теперь, когда урожай был выращен и шла уборка, с волнением ждал результатов, какие должен был дать этот эксперимент. «Не с пустыми руками, а с выкладками, с цифрами — попробуй тогда»,— думал он, не имея еще этих цифр и выкладок, но живо представляя весь будущий разговор с Лукиным.

XXVI

У Калинкина, как и у всякого долго на одном месте работающего председателя, был в райцентре тот свой человек, через которого всегда можно было узнать, что собиралось делать начальство. Узнав (через этого же своего человека), что Лукин, выехавший по району, должен был заехать и в зеленолужский колхоз, Калинкин еще накануне предпринял те меры, какие он предпринимал всегда, чтобы лицом, как он говорил, показать свое хозяйство.

Будто случайно, по совпадению обстоятельств в тот час и в ту минуту, как только Лукин, свернув с большака, подъехал к первым полям зеленолужского колхоза, навстречу ему из леска словно вынырнул на своем «газике» Парфен Калинкин. Пожав руку Лукину и коротко поговорив с ним тут же, на обочине убранного хлебного поля, он сводил его по стерне к тем копнам соломы, по которым видно было, что обмолот был хорошим, без по-

терь, и затем повез не к тем бригадам, которые были на пути и к которым удобнее и легче было подъехать, а к тем, где (побывав там накануне), Парфен знал, было больше порядка, организованности и было что показать секретарю райкома. От этих бригад, где все как будто понравилось Лукину, Калинкин повез его на ферму, чтобы показать знаменитую свою «елочку» — то сооружение для дойки коров, которое обошлось колхозу в сотни тысяч рублей и показывалось теперь не потому, что все на этой «елочке» было совершенно и была прибыль от нее, а потому, что пресса еще не отшумела об этом нововведении в животноводстве и престижно было показывать его. По той же «случайности», как все было в этот день, на доярках оказались новенькие, только что выданные им белые халаты, а в помещении «елочки» было так удивительно чисто, что создавалось впечатление, будто сюда и не заводились никогда коровы для дойки. Затем Лукина возили к фундаментам, которые были заложены — один под здание клуба, другой под ремонтные мастерские,— и показано было то радовавшее самого Парфена Калинкина пшеничное поле (тот закрепленный за семейным звеном Тимофея Сошникова участок земли), на которое только что и будто тоже по случайному совпадению обстоятельств были выведены комбайны отца и сына с помогавшими им женами.

Председатель и Лукин, оставив машины на дороге, вышли к полю. Хлеб здесь был уже скошен, лежал в валках, и все поле представляло собою облысенное пространство, по которому двигались комбайны, подбиравшие валки. Комбайны поднимали над собою желтоватую пыль, и облака этой пыли, отгоняемые ветром, оседали затем на жнивье и на копнах соломы, видневшихся повсюду.

Поравнявшись с председателем и Лукиным, комбайны остановились.

— Ну что, начал? — подойдя к агрегату, которым управлял Сошников-старший, прокричал Парфен, чтобы за шумом мотора слышен был его голос.— По сколько думаешь взять?

— По сорок — сорок пять, не меньше,— прокричал в ответ сверху, из кабины, Сошников-старший, повернув к председателю почерневшее от пыли и с потеками пота свое белозубое веселое лицо. Точно такое же черное и

с потеками пота выглядывало из-за его плеча лицо жены, помогавшей ему.

Возле второго комбайна, спрыгнув на землю, стоял Сошников-младший со своей молодой женой и прислушивался к разговору.

— Так по сорок или по сорок пять?

— По сорок наверняка!

— Ну молодец, давай! — И Парфен сделал тот жест рукой, по которому комбайны снова двинулись вперед, поднимая пыль и вываливая за собой копны соломы.

Поле это, по которому комбайны удалялись и на которое, кряжисто стоя на стерне, смотрел Парфен Калинкин, было для него не просто полем — тем очередным, чуть лучше или хуже, каким оно должно было представляться Лукину,— но было гордостью, детищем, было тем будущим, каким он хотел видеть все в своем хозяйстве; и от вида этого поля и валков на нем, по которым ясно было, что Сошников-старший был прав, и от самого разговора с Сошниковым, важного для Парфена более тем, что начальство слышало этот разговор, и, главное, от тех своих мыслей (что даст эксперимент), которые еще со вчерашнего дня, как только стало известно о приезде Лукина, занимали Калинкина, он испытывал чувство, когда ему хотелось говорить; и он живо и с намерением сейчас же начать нужный разговор повернулся к Лукину. «Ну, каковы у меня люди и каково вообще это дело, какое я провожу здесь?» — радостно спрашивали его глаза, в то время как он уже смотрел на Лукина. Но того ответного чувства, какое он ожидал увидеть на лице секретаря райкома, он не увидел; и потому он не стал ничего говорить Лукину. Он уловил (по этому выражению его), что начальство еще не готово, чтобы проникнуться сутью дела, и что Лукин, как, впрочем, и те предыдущие секретари, с кем Калинкин имел дело и которых пережил на своем посту, принадлежал к разряду руководителей, которые более раскрываются душой не на поле, не от зрелища комбайнов, машин и буртов зерна, что показываются им всюду и уже не воспринимаются ими, а за столом, при виде яств, рюмок и в той атмосфере бесед, где все, что будет сказано, не есть оценка или обязательство, но есть та информация, из которой — надо затем еще помудрить, чтобы выяснить, чего хочет начальство и что будет одобрено им. Калинкин почувствовал это так верно, что сейчас же взглянул на часы, затем на Лукина и опять на



часы, и так как распоряжение насчет обеда было еще утром сделано им и было теперь время обеда, он предложил Лукину вернуться в село, чтобы перекусить что-нибудь, как было скромно сказано им.

— Ко мне, если не откажете, буду рад,— уточнил он, щурясь как будто от солнца, но более по той не замечаемой уже им привычке, как он всегда смотрел на начальство, которое, как ему казалось, он видел насквозь.

— Что ж, и это надо,— сказал Лукин, хотя чувствовал, что следовало сказать другое, что относилось бы не только к этому полю, на котором он стоял сейчас с зеленолужским председателем, или к комбайнеру, с которым председатель минутою раньше говорил, а ко всему, что было показано Лукину в хозяйстве и оставило впечатление; он чувствовал, что надо было сказать те слова одобрения зеленолужскому председателю, которые он заслужил и ждал, но слов этих не было у Лукина; они заслонялись теми мыслями, далекими от партийных и государственных дел, которые то с меньшею, то опять с большею, как теперь, силою вдруг наваливались и начинали одолевать его. И мысли эти были о том сложном его положении — как быть с Галиной и как быть с семьей? — из которых он хотел и не видел, как выпутаться ему.

Выехав из Мценска в тот день, когда Галина получила известие из Москвы о смерти сына (телеграмма пришла уже после его отъезда), Лукин затем, на третий день поездки по району (и как раз накануне приезда в Зеленолужское), завернул в совхоз к жене и дочерям, чтобы повидать их. Весь подготовленный внутренне к той своей ложной роли любящего отца и мужа, какую он, обнаружив, что несложно было вести ее, разыгрывал теперь всякий раз, приезжая домой, он, поднявшись на крыльцо, увидел, что дом его на замке. Вместо обычной шумной радости, с какою дочери его выбегали к нему, цепляясь и вешаясь на руки и шею, вместо исполненного достоинства и счастья взгляда жены, каким, открывая дверь, встречала его Зина, он услышал из-за плетня голос соседки, позвавшей его, чтобы передать ему ключи от дома. На вопрос, где Зина, соседка ответила, что она с детьми уехала в Орел. «К сестре»,— сейчас же решил Лукин, знавший, что двоюродная сестра жены живет в Орле, и не любивший ее. Причины отъезда могли быть разными (могло случиться,. что сестра заболела, или что-то еще подобное), но Лукин сейчас же почувствовал, что причина была только та, которой он более всего опасался, что она откроется жене и осложнит все. «Она узнала и она уехала. Что теперь делать и как быть?» — думал он. И вопрос этот все утро, пока Парфен Калинкин возил его по хозяйству, отвлекал Лукина. «К ней, а что я скажу ей? Как все гадко, все, все»,— продолжал размышлять Лукин, садясь в машину, чтобы ехать в деревню.

Он казался мрачным и недовольным, в то время как Калинкин (со своим взглядом на то, как он понимал молчание Лукина, и с практическим подходом к делу) не только не был огорчен, но, напротив, еще более как будто был спокоен, точно зная, как ему теперь с пользою для себя обойтись с Лукиным. «То ли уж место такое этот райком, то ли подбирают таких,— думал он, удивляясь этому своему открытию, какое вывел из наблюдения за Лукиным (как он прежде выводил это из наблюдений за Сухогрудовым и Воскобойниковым). — Посмотрим, однако, посмотрим, а то ведь можем и так, как правление решит». И он весело и с прищуром поглядывал то на шофера, то на приближавшиеся избы деревни, то оборачивался и смотрел, не отстала ли «Волга» Лукина и не нужно ли подождать ее.

XXVII

Как у большинства деревенских людей, дети Калинкина, выучившись, жили в городе, и он чувствовал, что не мог с теми же требованиями, какие считал безусловными для других, подходить к ним. «Кому-то и там надо быть», — сейчас же рассудительно говорил он, как только речь заходила о его детях. И он бывал доволен тем, что то одна, то другая невестка, то дочь с мужем и детьми (и в разное время года) гостили у него в деревне.

В это лето гостила невестка Ульяна, бывшая за младшим сыном Парфена. Она приехала с двумя маленькими сыновьями и была (опять уже!) на седьмом месяце беременности, то есть в том положении, когда ей нужен был воздух, нужны были движения и нужно было (при всей этой некрасивости своей, как считалось теперь между молодыми женщинами) не быть постоянно на глазах у мужа. К невестке этой Парфен испытывал то особое расположение (по крестьянской натуре своей), что она была многодетна и что, несмотря на городское происхождение, была более (не по внешнему виду, а по характеру) деревенской, чем те, для кого нравственный дух деревенской жизни должен был быть родным.

Войдя теперь с Лукиным во двор и увидев Ульяну с детьми, игравшими возле крыльца, Парфен подошел к мальчикам и, присев перед ними на корточки, сейчас же заговорил: «Ну-ка, ну-ка, кто такие, как звать?» —

перенося на них свое расположение к невестке, которого не мог скрыть в себе.

— Ульяна, жена младшего моего,— затем не без гордости сказал он Лукину, представляя невестку.— Ходить надо, ходить,— уже невестке проговорил он, намекая на ее положение, глядя на ее живот и смущая ее перед Лукиным ее беременностью.— Ходить, ходить,— повторил он с той интонацией заботы о ней, что нельзя было обидеться на него или как-то по-дурному истолковать его слова.

«Как они должны быть все счастливы»,— подумал Лукин, смотревший на Парфена, мальчиков и невестку. Он подумал об этом с той мучительной для себя болью, что он не имел теперь этого счастья. Вместо этого счастья он имел Галину, с которой уже не мог быть самим собой, как не был самим собой и с дочерьми и женой, уехавшими теперь от него в Орел. Он опять с живостью представил все свое положение тонущего человека, когда не то чтобы некого было крикнуть на помощь, люди вокруг были, но стыдно и невозможно, как будто он был не одет, позвать их; и он только с улыбкой, отражавшей его мысли о себе, продолжал смотреть на Парфена, мальчиков и невестку. Лицо невестки (по беременности ее) было заострено и некрасиво; по-деревенски гладко были причесаны ее волосы; на голых от плеч руках ее, на шее и по лицу заметна была та проступавшая коричневатая пигментация, которая понятно было, от чего она происходила; но именно это внешнее, что делало ее как будто некрасивой (как женщины в ее положении обычно думают о себе), как раз и привлекало Лукина, производило на него впечатление и вызывало чувство, будто главный смысл жизни, какой он всегда как идеал носил в своей крестьянской душе,— главный смысл жизни был отнят и растоптан у него. Он вспомнил о Зине, когда она была беременна своим первым ребенком и была такой же некрасивой и с пятнами на коже, как и невестка, стоявшая теперь перед Лукиным, и по какому-то необъяснимому, но ясному для самого себя ходу мыслей он понял, что́ ему надо делать в его запутанном положении. Ехать к ней и просить у нее прощения. «Да, да, только одно это,— мгновенно подхватил он.— И как я мог позволить себе с Галиной? Затмение, туман, как я мог, когда у меня было это счастье». И он по-другому увидел тот пароход с людьми, цветами и музыкой (что связывалось в его

воображении с Галиной), на палубу которого так хотелось ему войти. Он был теперь на палубе, но ни цветы, ни музыка, ни громкие вокруг голоса людей не радовали его. Чему радоваться, когда отдалялась земля, когда уже видна была только узкая кромка, а впереди — лишь зыбкое и бесконечное пространство моря. Надо прыгать с палубы, пока не поздно, и плыть к берегу, к земле. «Надо ехать в Орел, к ней и детям, — мысленно сказал он себе.— Сейчас же, сегодня, в ночь, туда, где нет качки, а есть твердая земля, где все основательно и есть к чему приложить ум, руки и силу». Его потянуло теперь к Зине не потому, что он понял, что любит Зину и не любит Галину; он думал о той жизни, том спокойном и простом семейном счастье, о котором, что оно есть на земле, так живо продолжали напоминать ему невестка с мальчиками и Парфен, возле которых он стоял, глядя на них; и жизнь эту, то есть ту счастливую возможность отдаваться делу, которой теперь не было у него, он сознавал, могла дать ему только Зина. «Да, к ней, чего же еще искать и думать?»

Парфен пригласил его войти в избу, Лукин не услышал, и произошло замешательство, от которого всем стало неловко, особенно невестке, для которой остановившийся на ней взгляд Лукина имел только то значение, что Лукин смотрел на ее живот и думал о ее беременности.

— Шла бы ты с ними на речку, что ли,— вдруг строго сказал ей Парфен, как если бы он был недоволен не этим затянувшимся до неприличия взглядом Лукина на нее, а самой невесткой (и, как от дурного глаза, заслоняя ее спиной от Лукина).— Так заходи, Афанасьич, чего у порога мяться,— затем бросил он Лукину и, чтобы подать пример, первым поднялся по ступенькам и открыл дверь.

XXVIII

В доме Калинкина все было давно уже не по-крестьянски, хотя еще и не по-городскому, и этот разнобой деревенского и городского, так характерный — и в одежде и в убранстве комнат — для большинства теперешних деревенских семей, был сейчас же замечен Лукиным, едва он вслед за Парфеном вошел в избу. Но разобраться, в чем заключался разнобой, не было ни желания, ни

времени у Лукина; он только кинул взгляд на телевизор в красном углу, где прежде обычно размещались иконы, а теперь возвышалась стоявшая на телевизоре хрустальная ваза, и обратил внимание на то, как был сервирован стол: с той не забытой еще щедростью, когда на блюдах всего было столько, что хватило бы еще на десяток гостей, окажись они здесь. От грибов в масле, от малосольных огурчиков с веточками укропа, от капусты, пестревшей красными морковными жилками, от селедки, как ризой обхваченной нарезанными кружками лука, от горы отварного картофеля, еще дымившегося паром, от редьки в сметане и ломтей сала в комнате стоял тот вкусный запах еды, от которого нельзя было не подобреть душой и не улыбнуться. Тем более нельзя было не улыбнуться нарядной хозяйке, вышедшей встретить гостя и мужа, и Лукин с учтивостью, как он умел делать это, повернувшись к хозяйке, сказал ей те несколько приятных слов одобрения, которые будто сами собой, лишь от минутного будто прилива настроения явились к нему.

— В каких столовых, каких ресторанах и что можно сравнить с этой обычной, простой крестьянской едой,— уже сидя на столом и полагая, что продолжает хвалить хозяйку, сказал он, согласно кивая ей на все то, что она предлагала положить ему в тарелку.

Он выпил рюмку столичной и с охотой и много ел и был во все время обеда в том же возбужденно-веселом настроении, какое будто ни с чего поднялось в нем. Глядя на Парфена и хозяйку, он находил, что они были похожи друг на друга своей полнотой и основательностью. «Да, все у них добротно, мило, и все они счастливы»,— мысленно повторял он, думая как будто о них, но, в сущности, думая о своем решении не возвращаться больше к Галине, а ехать в Орел к жене и дочерям. Он весел был не по тому естественному чувству, возникающему от доброты и гостеприимства хозяев, как это должно было быть, а от своей проясненности, с какой он смотрел теперь на свои семейные дела. Хотя груз был на нем и давил его, но он видел, что можно было сбросить его; он поминутно как бы подходил к тому месту, где можно было его сбросить, и сбрасывал, и размахивал затем руками, чтобы убедиться, что груза нет. Но груз был, он чувствовал это, и веселая возбужденность его сейчас же оборачивалась той своей болезненной стороною, когда надо было ему доказывать себе и другим, что он раскован и весел,

в то время как все было сковано и занято в нем одной мыслью: что он после всего, что было у него с Галиной, скажет ей и как будет говорить с женой, которая обо всем знает? И ход этих рассуждений его и ход разговора (несмотря на эти рассуждения), в котором он принимал участие, отвечая Парфену и задавая вопросы ему (те общие, на которые, впрочем, не надо было тратить усилий, чтобы задать их), по какому-то тому закону, по которому, в сущности, необъяснимо в человеке все, не только вполне уживались в нем, но чем больше он говорил и думал, тем легче было ему совмещать в себе эти две линии, которые были: одна — то, что было своим, личным и потому главным, и другая — то, что было должностным, тем, что все должны были видеть, что занимает его.

Разговор большей частью вращался вокруг того, что в России выращен был в этом году небывалый урожай зерновых и что уборка и заготовка, как сообщалось о том в газетах, по радио и телевидению, шли высокими темпами. То оптимистическое настроение, какое царило в высших управленческих сферах (там связывали все с решениями прошлогоднего мартовского партийного Пленума), было и в райкомах и в колхозах; было оно и у Лукина и у Парфена Калинкина. У Лукина оно было потому, что по сводкам, поступавшим от хозяйств, было очевидно, что район не только выполнит, но может намного перевыполнить план сдачи хлеба государству (и что, главное, все это делалось, в сущности, без каких-либо особых забот со стороны самого Лукина); у Парфена же настроение это происходило от его дел в хозяйстве, особенно от того, что он чувствовал, что эксперимент его со звеном Тимофея Сошникова не просто был удачен, но давал такие показатели — и по выходу и по себестоимости продукции (что хотя и в прикидках, но было уже известно Парфену),— в которые трудно было даже поверить, настолько они отличались, разумеется в лучшую сторону, от общих показателей по колхозу. «Но что же тут удивительного?» — думал об этом своем Парфен Калинкин, в то время как Лукин говорил ему о районе. Лукину приятно было говорить, что дела повсюду шли хорошо, и он невольно, не желая как будто этого, связывал успехи района со своим приходом в райком.

— Если вы помните, еще на прошлом заседании райкома...— без напряжения, без той внутренней борьбы, как он всегда прежде обдумывал то, что надо было ска-

зать ему, повторял он теперь те прошлые (и общие) свои высказывания, по которым видно было, как они были прозорливы все.

Но Парфен, не помнивший этих высказываний и относившийся вообще ко всяким высказываниям с тем своим мужицким пониманием, что хороши они только тогда, когда не мешают делу, чем больше слушал Лукина и чем внимательнее всматривался в его молодое и возбужденное (от сознания этой своей значимости, как он думал) лицо, тем сильнее разочаровывался в нем и тем очевиднее приходил к выводу, что еще бессмысленнее, чем Сухогрудову и Воскобойникову, было говорить Лукину о своем эксперименте. «Что он смыслит? Он видит себя и упоен успехом, который, если по правде, более от дождя, чем от нашего пота,— раздраженно думал Парфен.— Только загубит все на корню, и тогда ни в обком, никуда». И по мере того как все более возбуждался Лукин, угрюмее, холоднее становился Парфен Калинкин. Наконец с тем чувством, как на поле, что он хорошо понимает начальство, он посмотрел на часы, потом на Лукина и опять на часы и спросил, вставая из-за стола:

— С активом еще хотели поговорить?

— Да.

— Парторг, наверное, уже в правлении.— И он прошел к окну, чтобы шире распахнуть створки, за которыми сейчас же открывалась вся та уходившая к горизонту даль, где двигались, убирая хлеба, комбайны.

Лукин тоже встал и подошел к окну.

Как всякий человек, сделавший одну глупость, не может остановиться, чтобы не сделать затем второй, третьей и четвертой, Лукин не мог преодолеть в себе той силы инерции, которая все это время заставляла его говорить с Парфеном в том общем плане, как начат был разговор; Лукину хотелось заглушить в себе беспокойство, происходившее от сознания неловкости своего положения, и беспокойство, он чувствовал, могло быть приглушено только разговором.

— Левитана бы на эту красоту или Васнецова, а? — весело будто (и неуместно, что он сейчас же почувствовал сам) сказал он, как только подошел к Парфену.

— Хозяина на нее,— мрачно ответил Парфен, которому хоть как-то хотелось дать понять Лукину, что время фраз прошло, что наступила пора дел и оценок (как этого и ждали от Лукина, выбирая его секретарем райкома).

— В каком смысле? — спросил Лукин так же машинально, как если бы речь шла все еще о чем-то несущественном.

— В самом прямом,— ответил Парфен, поворачиваясь к Лукину.— Я, Иван Афанасьич, довольно потрубил на своем веку в медные трубы и наслушался разной музыки. О нас думают, что, мол, живут там, на своей красоте, на земле этой, и, кроме плана и «давай-давай», ничего не видят и не понимают. А мы видим и понимаем. Ведь то, как мы ведем сейчас хозяйство, это подмазывание колес, и так вечно продолжаться не может. Мы прибавляем в урожае пока только за счет техники и понуканий, но не за счет земли. Земля обезличена, да, да,— сказал он, не давая Лукину перебить себя.— Председатель — это еще не хозяин. Я хозяин только общему делу, а у каждого гектара должны быть одни и свои постоянные руки. Я не знаю, как это выразить, но ведь и у Ленина нет, чтобы земля была обезличенной.— И он остановился, почувствовав, что перешагивает в разговоре с секретарем райкома за черту, за которую не следовало бы перешагивать ему. Район перевыполнял план, говорили только что об успехах, и поднимать застарелые больные вопросы было не то чтобы не к месту, но непонятно (Парфен заметил это по взгляду Лукина), для чего делать это.

XXIX

Лукин уже не мог продолжать того ни к чему, в сущности, не обязывающего разговора, какой он за столом вел с Парфеном, как и Парфен не мог продолжать своего, только что начатого им, и оба они — и председатель и секретарь — почувствовали себя так, будто они попали в тупик; и они смотрели друг на друга, стараясь понять, как это случилось и кто был виноват в этом. Лукин был озадачен тем, что его словно хотели поставить на место; у Парфена же было такое ощущение, будто он, зная (как это было с ним в войну), что впереди нет брода и что переправа недалеко, загнал свои подводы в реку и видел теперь всю бессмысленность хлестать лошадей. «Вот как нас, дураков, учить надо»,— думал он, тяжело наливаясь кровью от шеи к лицу. Его беспокоило не то, что он может теперь не сработаться с первым секретарем, но беспокоило дело (то есть проводившийся им эксперимент),

в которое столько уже было вложено им и которое неосторожностью и резкостью (своим неумением, как думал он) он мог погубить. «Вот так и учить нас», — продолжал про себя он, в то время как Лукин (за клубком своих спутанных мыслей) отыскивал, что было ему ответить Парфену.

Но в самый этот момент в избу вошла невестка с детьми, и появление ее было так кстати, что и Парфен и Лукин сейчас же повернулись в ее сторону. Мальчики с шумом от порога бросились к присевшему перед ними на корточки деду, и по счастливому выражению их лиц, по счастливому выражению невестки, отпустившей их и наблюдавшей за ними, и по изменившемуся и подобревшему лицу Парфена, в то время как он трепал внуков за розовые щечки их (что было, очевидно, привычно им и привычно ему), Лукин опять ощутил всю знакомую ему атмосферу семейной жизни, которой теперь не было у него; он вспомнил снова о Зине и о своем решении ехать к ней, и все, что не было связано с этим решением (с этой болезненно возбуждавшей его мыслью, что все прежнее с Зиной возможно восстановить ему), было забыто, и он, как и Парфен, невольно улыбнулся и мальчикам, и невестке, и Парфену, глядя на них.

— Вот кому жить и решать все, вот кому, вот кому,— бездумно будто и весело говорил Парфен, тогда как ясно видна была связь этих его слов с тем, о чем он недосказал Лукину.— Ну, а нам — не пора ли? — освобождаясь от внуков и поворачиваясь к Лукину, затем спросил он.

— Да, пожалуй,— ответил Лукин, чувствуя, однако, желание побыть еще среди этого чужого семейного счастья, от которого что-то будто согревалось в его душе. — Да, да,— поспешно добавил он, уловив на себе тяжелый взгляд Парфена и не в силах отвести своего взгляда от невестки, от ее светившегося улыбкой лица, от ее живота, говорившего о ее беременности.— Разрешите, я пожму вам руку,— не зная для чего, краснея и смущаясь, сказал он невестке и, притронувшись к ее руке, направился вслед за Парфеном к двери.

Лукину (в то время как он выходил из избы) казалось, что обед прошел хорошо и что все, о чем надо, было переговорено с зеленолужским председателем. Он был доволен проведенным временем, как был, казалось, доволен и Парфен — тем, что не испортилось настроение у начальства. Но то главное, что ожидало решения и

могло быть если не решено, то приближено к нему, как и при Сухогрудове и Воскобойникове, вновь было оставлено нетронутым. Ни Лукин, ни Калинкин не могли как будто упрекнуть себя в том, что главное это было не тронуто ими; так случилось, таковыми оказались обстоятельства; но в то время как никто будто не был виноват ни в чем, страдало дело, от которого во многом должно было зависеть дальнейшее благополучие или неблагополучие сотен тысяч (и не только деревенских) людей.

Между тем секретарь партийной организации колхоза Дорошин, еще накануне (и не без умысла) отосланный Парфеном в дальние бригады, чтобы посмотреть, как там идут дела, и провести нужную агитационную работу (то есть то самое, что про себя называл Парфен подмазыванием колес), оповещенный теперь посланным за ним человеком, только что приехал на машине из тех дальних бригад и сидел в правлении в своем кабинете, подбирая материалы, которые могли понадобиться ему в разговоре с районным руководством. Он сидел во главе длинного, покрытого зеленым канцелярским сукном стола, по обе стороны которого курили и разговаривали между собой несколько членов партийного бюро, которые оказались в этот день на центральной усадьбе колхоза и за которыми уже Дорошиным был послан человек, чтобы собрать их. Все они были возбуждены и веселы не столько тем, что пожаловало в колхоз важное районное начальство, сколько тем, что им было с ч е м, как они говорили, предстать перед этим важным районным начальством. Тот большой хлеб, о котором всегда говорили и думали в хозяйствах и в районе, хлеб этот был выращен, и по темпам, как шла уборка его, и прогнозам погоды, как это предсказывалось метеослужбой, что на ближайшую неделю дождей не предвиделось, было очевидно, что хлеб будет весь и без потерь убран. По мнению собравшихся, дела в колхозе были не просто хороши, но хороши так, что можно было гордиться показателями; и у всех оттого было общее настроение подъема, каким охвачены были одинаково и те, кто работал в поле, и те, кто был в высших сферах руководства страной.

— Ну-ка, потише, подобраться всем, идут,— сказал Дорошин, успевавший (за тем занятием, которым он, казалось, был поглощен весь) наблюдать за окном и первым увидевший подходивших к правлению Лукина и Парфена.

Лукин из всех многочисленных партийных дел, лежавших на нем, менее всего признавал полезным как раз это, какое он шел выполнить теперь, то есть менее всего признавал полезным подобные накоротке встречи с парторгами и членами бюро, какие приезжавшие в хозяйства руководители непременно должны были проводить. Еще по своей совхозной работе он знал, что разговор на таких встречах, возникающий как будто стихийно, носит всегда формальный характер, когда идет только обмен уже известной информацией и когда после обмена информацией произносится в заключение долгий (иногда строгий, иногда душевный) монолог, насыщенный положениями, общеизвестная суть которых так ясна, что о ней забывают тотчас же, как только начинают расходиться по домам. Встав во главе райкома, Лукин хотел изменить эту традиционную форму общения, но продумать (за текучкою дел), чем можно заменить ее, не было времени, и вместе с тем как все в нем продолжало восставать против этой (для галочки) традиционной формы, встречался, произносил монологи, как и его предшественники, и видел, что никто не понял бы его, если б он перестал делать это. Тем более он не смог ничего изменить теперь, когда более, чем партийными, что по должности было положено ему, занят был своими запутанными семейными делами.

Отводя глаза (по своему внутреннему убеждению, что должное произойти теперь есть только отвлекающая людей от дела формальность), он поочередно пожал руки сначала членам бюро, потом Дорошину и потом уселся за этим же длинным столом, за которым сидели все, и Дорошин, едва лишь Лукин взглянул на него, сейчас же начал свой доклад с цифрами и фактами, в котором неизбежно, иначе и не могло быть, повторено было то, о чем Лукин уже знал от зеленолужского председателя. Но он не перебивал, а слушал, выражая, во-первых, свое уважение к партийному вожаку колхоза и, во-вторых, уважение к делам (цифрам и фактам), о которых тот говорил. Дела действительно были хорошими, как они всегда хороши, когда есть урожай, и Дорошин старательно и с удовольствием, что было видно по нему, подавал их. Затем прослушаны были мнения членов бюро, разные в том отношении, что каждый говорил по своему участку, и единые тем, что сводились к одной высказанной парторгом оценке, и это общее приподнятое настроение всех,

какое Лукин видел в глазах и на лицах, невольно передавалось ему и заражало его. И он не только не разрушал этого общего настроения, но, напротив, чувствовал, что было в этом настроении, то есть в успехах этих людей, что-то такое, что сейчас же связывалось в сознании его с его решением ехать в Орел к Зине. Ему казалось, что там, в Орле, все должно быть теперь естественно и само собой уладиться для него, как естественно и само собой (и, главное, хорошо) шли дела у зеленолужцев и во всех других хозяйствах, где он побывал до них; он соединял свою причастность к общему делу с тем, что у него самого наметилось прояснение в его семейном деле. «Да оно и не может быть иначе»,— думал он, упрощая, как всякий в его положении, то сложное, что хотелось ему видеть простым и разрешимым. Ему казалось, что он уже стоял за порогом, за которым открывался простор для деятельности; но так как порогом этим был все же Орел и разговор с Зиной, мысли Лукина были направлены на то, чтобы поскорее завершить встречу и попрощаться с зеленолужцами.

Но он все же произнес свой монолог, какой необходимо было ему произнести (и какого ждали от него Дорошин и члены бюро); и произнес, несмотря на все отвлекавшие его мысли, так удачно, как он не произносил еще подобных речей. Он, в сущности, закрепил у всех слушавших его то их настроение подъема, которое важно, чтобы оно было у них, и, прощаясь, видел по их лицам, что все были довольны — и собой, и им, и делами в колхозе, и общими делами в стране, как эти дела были известны им из газет и повторены теперь секретарем райкома для них.

— Может, ко мне, поужинаем, чего же в ночь? —сказал Парфен, который снова увидел возможность о своем поговорить с Лукиным. — Ну так как, ко мне? — не отпуская руки Лукина, садившегося в машину, повторил он.

— С удовольствием бы, но не могу. За обед спасибо, было прекрасно. И вообще во всем так держать! — произнес он ту фразу, которую не любил, когда ее говорили ему («Что означает «так держать»? Не по-марксистски, статично»,— думал он), и которая, несмотря на это, когда он теперь сам произносил ее, представлялась наполненной большим и нужным смыслом.

XXX

До Орла ехать было чуть больше часа, и к одиннадцати вечера райкомовская «Волга» Лукина уже стояла напротив знакомого ему дома недалеко от центральной площади, в котором жила двоюродная сестра Зинаиды Настя. У нее и надеялся он застать теперь жену и дочерей.

Лукин редко бывал в доме у Насти и знал о ее жизни только то, что она, переменив около десятка мужей и нахлебавшись, как она говорила об этом, горя с ними, продолжала между тем вести тот же образ жизни, когда выйти замуж ей было все равно что сходить с кем-нибудь в кино. Она была моложе Зины, росла без матери, Зина называла ее несчастной и жалела ее. Но Лукин не любил эту свою родственницу и считал, что она была не несчастна, а просто особа распущенного поведения. «При чем тут характер,— возражал он Зине всякий раз, когда та после очередного письма от сестры заводила разговор о ней,— или бесхарактерность, как ты хочешь изобразить это? Распущенность — и все, и больше ничего». Он не любил ее еще за то, что, несмотря на эту распущенность (на неудачные замужества свои), она всегда оставалась веселой, ярко одевалась и рядом со спокойной и строгой Зинаидой выигрывала тем, что была проще, доступнее и, как это замечал Лукин, готова была соблазнить и его. Неприятно теперь чувствуя это свое отношение к ней и морщась от этого, он поднялся до второго этажа и остановился вдруг по тому неожиданному повороту мыслей, по которому он не мог не сделать этого. То, за что он всегда упрекал Настю (на что он имел право тогда), что представлялось ему распущенностью, оскорбляло его и оскорбляло, как он считал, общество (по нравственным законам которого он жил), он понял, было теперь с ним, и он должен был предстать перед женой и Настей в жалком, униженном положении, в какое он не мог поставить себя перед ними. Оправдание, какое было у него для себя,— что то, что случилось у него с Галиной, было не т е м, что всегда бывало у Насти,— оправдание это, он понимал, не могло иметь того же смысла для жены и Насти. «Ну-ну, рассказывай мне, я-то знаю, как все это делается»,— должна была подумать о нем Настя, и надо было что-то ответить ей. Но что? Унизиться перед женой, как ни трудно было для Лукина это,— было одно;

унизиться же в присутствии Насти — было, он чувствовал, невозможно. «Может быть, завтра, когда она будет на работе? — подумал он. — Да, лучше завтра». И он, повернувшись, торопливо спустился вниз и вышел на улицу.

Машины у подъезда уже не было, он отпустил ее, и он пешком направился к центру, к другу еще по комсомольской работе, у которого останавливался почти всегда, когда приезжал в Орел.

Друг этот был Зиновий Федорович Хохляков, получивший юридическое образование и второй уже срок подряд избиравшийся народным судьей. Рано полысевший (со лба, но не с макушки, и, значит, от ума, а не от чужих подушек, как он шутил над собой), с животиком, говорившим о его достатке и еще о том, что среди основных жизненных понятий его добрую половину их составляли понятия хорошо поесть и вовремя отдохнуть, с улыбкой довольства, когда он был дома, и с выражением озабоченности, как только садился в кресло судьи, он представлял собою распространенный в обществе тип людей, которые, зная свое дело и добросовестно выполняя его, позволяют себе затем, не в служебное время, философствовать на самые различные темы и давать всякому жизненному явлению свою уничтожающую оценку (снисходя со своего высока до предмета разговора), из которой, если оценки эти собрать вместе, должен был вытекать только один вывод, что всюду и во всем были не те люди и делали не то, что и как надо бы делать им. В искусстве и литературе было засилие бездарностей; в политической жизни и просвещении все заслонялось догматизмом; в промышленности и торговле, как представлялось ему, было столь же полно безликостей, как и во всех иных сферах; что же касалось сельского хозяйства, то здесь, по выражению Зиновия, не только не делалось то естественное, что должно было быть само собой, но делалось именно то противоестественное (под предлогом естественного), что шло не от ума и рассудительности мужика, а от поспешности и усердия начальства. «Может, не поучать бы его без конца? — говорил он, имея в виду деревенского человека и желая непременно сказать с в о е по этому вопросу.— Может, не дергать без конца повод, а дать ему самому нащупать дорогу?» Особенно он любил пофилософствовать на эту тему с Лукиным, с которым не то чтобы расходился во взглядах, как сам Хохля-

ков считал это, но которому завидовал, видя его перспективное положение и чувствуя бесперспективность своего.

Он завидовал не только Лукину, но многим, с кем (по комсомольской работе) начинал карьеру. Он мечтал занять один из тех кабинетов, из которых направляется жизнь; но по игре в скептицизм, уже тогда заметной в нем, был отодвинут от партийной работы, которая только и могла, как думал он, привести его к цели. Он болезненно переживал это и, несмотря на высокое и почетное, какое занимал теперь, положение свое, в глубине души считал себя обойденным и невольно (чтобы для равновесия) восполнял этот пробел тем, что возводил под собою пьедестал из отрицательных оценок и гордо и самодовольно смотрел с этого пьедестала на друзей, продвигавшихся по службе. Но высказывался он всегда осторожно, с той степенью откровения, когда нельзя было его уличить ни в чем. «Я так думаю, но если это не так, и слава богу»,— сейчас же говорил он видом своим, как только замечал, что спор начинал принимать неприятный для него оборот; и он продолжал поддерживать отношения с друзьями и с охотою как будто, как это должно было представляться Лукину, принимал его у себя. Он был скептиком-одиночкой (провинциального толка), которые, не позволяя никому дурно судить о себе, преподносят себя так, будто они только отражают то общественное мнение, о каком не принято говорить официально, но которое все знают, что оно есть и что не беспочвенно все в нем.

Зиновий в этот вечер, как прийти Лукину, сидел у телевизора и смотрел спортивную передачу. Передача велась из какого-то западногерманского города, наши проигрывали встречу, и он был недоволен, как разворачивались события на экране. Ему хотелось сказать об этом своем недовольстве и пофилософствовать, но Катиш (как он звал жену) читала книгу и с ней бессмысленно было затевать разговор; приход же Лукина в этом отношении был для него приятной неожиданностью, когда прямо как «из-под святых встал», как он сейчас же воскликнул, открыв на звонок дверь и увидев перед собой Лукина.

— С весны и ни разу! Как избрали — ни разу! Ну, думаю, теперь мимо, мимо,— затем сказал он, оглядывая Лукина, как бы узнавая его.— Ты же теперь хо-хо-хо! — Он произнес это свое «хо-хо-хо!» так, таким восторженным тоном, что невозможно было понять, что он хотел

выразить этим — ироническое ли отношение свое к повышению Лукина (после избрания секретарем райкома Лукин впервые был у него) или радость по этому поводу, — и нельзя было потому обидеться на него. — Нет, в самом деле?—повторил он. — В обком? На совещание? На актив? На конференцию? — И он выстроил перед Лукиным ряд вопросов, на которые не надо было отвечать (и какие так естественны по теперешнему образу жизни).

— Ни то, ни другое, ни третье,— все же ответил Лукин, видя, что надо что-то сказать другу (и невольно с первых же минут этих подпадая под его настроение).— По личным. На этот раз по личным.

— Разве могут быть у секретаря райкома, извини, у первого секретаря райкома личные дела?

— Могут.

— Ну так заходи, выкладывай. Выкладывай все, просвети нас событиями с передовой. Катиш, брось книгу, гость к нам, гость! — входя в комнату, оглядываясь на Лукина и выставляя ему свой высокий гладкий лысый лоб, продолжал Зиновий. Из-под густых черных бровей его светились радостным предчувствием разговора умные и восторженно-оживленные в эту минуту глаза.

XXXI

Катиш, вышедшая из боковой двери с книгою в руке, спокойным женским взглядом посмотрела на Лукина. Она не могла обрадоваться появлению его, как обрадовался этому муж, и сейчас же подумала, что остававшийся у нее чистым комплект постельного белья — наволочка, простыня и пододеяльник,— припасенный для себя, нужно будет теперь положить Лукину, это нарушало ее планы и создавало определенную житейскую трудность. Она еще подумала, что надо будет покормить гостя сейчас и покормить утром, тогда как холодильник по лености ее и потому, что и Зиновий и она не обедали в будние дни дома, был пуст, и как было объяснить это гостю? Но, несмотря на это, она улыбнулась Лукину той своей милой улыбкой, какой улыбалась всегда, встречая его, и, спросив, не хочет ли он чаю с печеньем и маслом (что только и было у нее), пошла на кухню приготовить стол. Но, проходя близко мимо Лукина, она заметила (по неопрятности одежды его), что за ним давно не было женского глаза. «Что-то он не такой»,— подумала она. Но

она тут же забыла об этом, потому что ей трудно было представить, чтобы в семье у Лукина обнаружились неприятности. «У него совсем иные цели,— как-то сказала она мужу о Лукине,— чтобы он позволил себе что-либо». И она затем любила повторять эту фразу, как только разговор заходил о нем, но всякий раз с тем разным оттенком, что она то будто восхищалась э т и м, то будто осуждала его за э т о.

— Что, брат, заездили? Уборка? Страда? — между тем, тоже заметив помятый вид Лукина, сказал Зиновий. О спортивной передаче было забыто, и он, как на огонек, спешил теперь к новому предмету разговора (о хлебе и уборке), в котором, он чувствовал, больше было возможности пофилософствовать и высказаться ему.— Ну, я думаю, ты должен быть теперь доволен,— усаживая Лукина на стул, продолжал он.— Теперь все планы, которые ты так мощно рисовал себе, ты сможешь наконец претворить в жизнь. Это великолепно. Иван, это не каждому дается, и я рад за тебя, поздравляю, но... заезжен, заезжен.— И он еще раз внимательно посмотрел на помятый костюм Лукина и на его рубашку с несвежим вокруг шеи воротником.

— Заезжен, не заезжен,— вздохнув (что для Зиновия было к его словам, но для самого Лукина к тем его мыслям, которые ни на минуту не отпускали его), сказал он,— но работы хватает.

— Я думаю.

— Хватает, Зиновий.

— Еще бы — район! Государство! Еще бы,— повторил он, довольный сравнением, удачно пришедшим ему.— Хозяин, и никто тебе не указ. Ну а как все же с твоими планами? Удается? — спросил он.

Зиновий знал о взглядах Лукина на деревенский вопрос и не то чтобы не был согласен с ним (все, что говорил Лукин о чувстве хозяина, было верно), но возражал ему из тех побуждений, что возражал всегда и всем, о чем бы ни шла речь. Он возражал не против самой постановки вопроса, что чувство хозяина во многом было теперь утрачено деревенскими людьми и что надо восстанавливать его, но он сомневался, чтобы общие слова, произносившиеся Лукиным, были применимы к делу. «Да, я понимаю тебя,— соглашался Зиновий,— но как, скажи мне, каким образом ты вложишь это свое обновленное понятие о чувстве хозяина мужику? Как?» «Делом». «Де-

лом — это вообще, а конкретно?» Конкретного не было и, по мнению Зиновия, не могло быть, так как всякая новая форма жизни не может быть выработана одним (для всех!) человеком, а создается всеми, естественно, как бы сама собой возникая из многочисленных нравственных и социальных связей, словно росток из земли, поворачивающийся бутоном к солнцу. По мнению Зиновия, Лукин хотел сразу начинать с ростка и бутона, тогда как следовало дождаться, чтобы бутон этот созрел, а пока пропалывать вокруг него и рыхлить почву, не задевая самого ростка и бутона и давая возможность естественно развиваться ему. «Э-э, брат, не с твоим, видно, умом,— с затаенной удовлетворенностью думал теперь Зиновий, стоя перед ним, сверху и снисходительно глядя на него и улыбаясь.— То-то и заезжен, что не ты колесо, а колесо тебя».

— У тебя теперь реальная власть,— снова начал он.— И урожаище, если по газетам, хо-хо!

— Есть и урожай, есть и власть.

— А чего нет?

— Времени.

— Ну, это еще полбеды.

«Да, да, все ссылаются на недостаток времени, когда нечего сказать»,— подумал он, отходя от Лукина и делая полукружье по комнате, чтобы справиться со своим лицом (справиться с тем чувством в себе, которое он хотел скрыть от Лукина). Он дважды прошелся по этому полукружью, сверкая по мере того, как выходил из-под люстры или входил под нее, лоснившейся к ночи лысиной. Он весь был возбужден, как ловец, поймавший не просто птицу, но ту, за которой давно и неудачно охотился; птица была перед ним, была у него в руках, и он наслаждался властью, с какою он мог теперь распорядиться этим пойманным им маленьким существом. Он испытывал почти то же, что и в суде, когда вел дело, с той только разницей, что там он представлял закон и все видели и должны были признавать за ним власть, а здесь представлял лишь свои скрытые от других мысли (отрицание всего и вся), о которых нельзя было даже подумать, чтобы о них узнали. Власть, которую он чувствовал сейчас над Лукиным, он чувствовал над ним всегда и всегда точно так же скрывал ее, скрывал так удачно, что простоватый и откровенный Лукин не догадывался о ней и не замечал ее, как не догадывался и не замечал

теперь, поглядывая на Зиновия и чувствуя в нем лишь ту энергию, тот всегдашний его диапазон интересов (что и во все прошлые встречи поражало его), чего не было как будто у самого Лукина.

— Я помню, как ты темпераментно говорил: «Чувство хозяина в широком...» — В это время из кухни вошла Катиш, и Зиновий, недосказав фразы, повернулся к ней.— Уже?

— Да, если хотите.

— Разумеется.

Все перешли в кухню, и разговор был продолжен уже за чаем. Зиновий спрашивал, Лукин отвечал ему.

— Ты знаешь,— не находя прямого ответа на вопрос о чувстве хозяина (что удалось сделать в этом плане?), но и не желая оставить все без ответа, начал Лукин,— была у меня сегодня одна любопытная беседа.— И он пересказал Зиновию ту часть своего разговора с Парфеном, в которой зеленолужский председатель говорил об обезличке земли.— Я, говорит он, хозяин только общему делу, но не хозяин земле, у которой, у каждого гектара ее, должны быть одни свои руки.— Лукин вспомнил, что он ничего на это не сказал Парфену, и запоздало покраснел теперь перед Зиновием.

— И как ты думаешь, он прав? — спросил Зиновий.

— Во всяком случае, что-то в этом есть.

— Что именно?

— Мы ищем общее и единое для всех чувство хозяина, когда человек должен проникнуться сознанием, что все, что вокруг него, все его и он в ответе за все, а этого единого для всех чувства, наверное, и нет. Оно, как цепь, поделено на звенья: хозяин конкретному делу, то есть тот, кто непосредственно у земли, хозяин общему делу (по колхозу), хозяин еще более общему делу (по району) и так далее, а между звеньями этими должна быть связь — та единственная, при которой все обеспечивалось бы в полной мере. Связь подобная, разумеется, есть, но совершенна ли она? Или надо еще что-то уточнять в ней и приводить в соответствие?

— Но раньше ты говорил другое, — заметил Зиновий.

— Все в развитии, все в движении.

— Движемся, движемся, а как посмотрим — все на месте.

— Ну, положим, ты не прав.

— А когда я, по-твоему, был прав? Но прав ли ты в намерении твоем, я подчеркиваю, в намерении, когда берешься думать и решать все за всех?

— Но кто-то должен же думать и решать?

— Вот в этом-то и есть вся наша беда, что кто-то, а не народ. Вырабатываем, внедряем, вырабатываем, внедряем, поучаем без конца, как жить, а те ли это усилия, какие следует прилагать нам? Да председатель тот твой, наверное, сто раз уже продумал, как все сделать, а ты ему — связь?! Ты отпусти ему руки и увидишь, как все само собой сейчас же станет на место,— сказал Зиновий то, что он всегда говорил Лукину.— Навязывание своих идей и марксизм,— добавил он,— вещи разные А мы с тобой оба носим партийные билеты.

— Марксизм, во-первых, не догма, а во-вторых,— разве то, что я говорю, противоречит марксизму?

— Элементарно.

— Не нахожу. Но давай поразмышляем,— сказал Лукин, с охотою отдаваясь этому разговору, чтобы не думать о своем.

XXXII

Они говорили увлеченно и долго, обращаясь для доказательства своих доводов то к объективным законам развития природы, как эти законы, многократно и в разные эпохи открывавшиеся до них, были понимаемы ими, то к законам развития общества, но с теми поправками на социальную потребность времени и на субъективность восприятий каждого, какие с разной степенью произвола допускались и будут всегда допускаться людьми. Законы эти, должные как будто быть одинаковыми для всех, трактовались, однако, и Зиновием и Лукиным по-разному. Марксизм, как понимал это учение Лукин, всегда рассматривал и будет рассматривать жизнь в развитии, и потому можно творчески подходить ко многим положениям его; марксизм, как понимал это же учение Зиновий (и что нужно было ему для возражений Лукину), напротив, трактовался им как сумма определенных незыблемых понятий, которые надо только заучивать и в которых нельзя ничего развивать и дополнять. «Этак столько нас умников наберется»,— говорил он, противореча Лукину и выставляя себя истинным защитником марксизма. Они спо-

рили то по этим общим вопросам, то возвращались к частностям, к деревне, к высказываниям Парфена, чтобы опять подняться до вершин философии, но весь этот разговор их имел только тот смысл, что каждый из них лишь сильнее утверждался в своем мнении. Они не могли выработать того, что объединило бы их и было в то же время правдой жизни; но если бы даже и нашли такую правду, то разговор их все равно остался бы только разговором, каких сотни (и с разным темпераментом) происходило и происходит теперь. Они спорили о том, как улучшить жизнь, в то время как эти словесные усилия их были очевидно бессмысленны и жизнь хотя и развивалась по законам, которые они обсуждали, но не по тем видимым стрежням, какие всегда на поверхности, а по глубинным океанским течениям, которые, оставаясь скрытыми от глаз, определяют суть происходящих перемен. Те перемены, какие происходили теперь во всех сферах жизни (как происходили они в сельском хозяйстве, чем был захвачен Лукин), продиктованы были именно этими глубинными потребностями, и уже в том, что перемены происходили, как раз и проявлялся тот объективный (с точки зрения марксистского учения) закон развития общества, влияя на который можно либо только замедлить, либо ускорить процесс, но нельзя остановить его.

— Позволь, позволь,— говорил Зиновий.—Зерно, стебель, зерно... в новом качестве, но не зерно — зерно. Так быть не может. Это было бы противоестественно, было бы делом рук человека и возможно ли вообще?

— Но почему же то, что есть дело рук человека, есть результат деятельности его ума, непременно объявлять противоестественным? Человек — это та же природа, и выражение его деятельности есть точно так же естественное выражение природы, — возражал Лукин (для того только уже, чтобы возразить).

— Так можно любое преступление объявить делом естественным.

— Но-но, не переводи, не о том речь.

Катиш, незаметно ушедшая из кухни в самом начале разговора, несколько раз затем (не в силах заснуть от их шумных голосов) возвращалась и говорила мужу:

— Не пора ли? Завтра же у тебя трудный день.— Она всегда бывала в курсе мужниных служебных дел.— Да и гостю дал бы отдохнуть.

— Да-да, заканчиваем,— говорил Зиновий.

Но только в третьем часу, разгоряченные и оставшиеся каждый при том своем мнении, которого они сами не могли бы теперь толком сформулировать себе, они пожелали друг другу спокойной ночи и, выключив свет и разойдясь, легли спать. Зиновий заснул сейчас же, так как закончившийся разговор был для него лишь той открытой заслонкой, через которую выпускают угар из избы; угар, накопленный за месяцы, пока он не видел Лукина, был выпущен, заботиться было уже не о чем, и из спальни неторопливо растекался по комнатам тихий и здоровый храп здорового человека. Лукин прислушивался к храпу и не мог заснуть. Сначала оттого, что ему было неловко, что он ни в чем не согласился с Зиновием и спорил с ним. «Так не может быть, чтобы я был во всем прав,— думал он, обращаясь к тем подробностям разговора, которые больше запомнились ему, но видя по этим подробностям, что согласиться с Зиновием было нельзя.— Надо было еще сказать ему то-то и то-то,— думал он, произнося эти «то-то» и «то-то», как бы он теперь сказал все Зиновию. — За мной не только теория, но за мной жизнь»,— говорил он, что было, казалось ему, главным аргументом. Но в то время как он упоминал слово «жизнь», он представлял себе не тех людей, которые работали на полях, убирая хлеб, а вспоминал о беременной невестке Парфена с ее детьми и о своем запутанном семейном положении, как это все выглядело теперь перед людьми, и тот вопрос, какой он уже сотни раз мучительно задавал себе — как все получилось? — задавал снова, с подступающей тошнотой думая об этом. Но он не находил истока, а видел только, что все в отношениях его с Галиной сводилось лишь к той физической близости с ней, к тем наслаждениям (что только и могла дать эта женщина), о которых Лукин вспоминал теперь с отвращением, как о чем-то постыдном, будто за возможность лизнуть леденцового петушка на палочке ему предлагали пройтись нагишом перед толпой; он вдруг, в полудреме чувствуя эту свою наготу, на которую смотрят все, открывал глаза, но вокруг была только темнота комнаты, было одеяло, которое он сейчас же инстинктивно натягивал выше на грудь. «Нет, ничего еще не случилось, и завтра я все улажу с Зиной,— говорил он себе, в то время как в душе его поднималось то общее отвращение и к жене и к Галине, какое он испытывал к ним уже не

раз, будто они и только они были повинны в его теперешних затруднениях.— Я связан ими, да, связан,— продолжал думать он,— и не могу сделать того настоящего дела, какое я сознаю в себе силы сделать для людей. Было столько замыслов, Зиновий прав, а что воплощено в жизнь? Ничего. Ровным счетом ничего. Я даже не в состоянии сформулировать теперь те замыслы, которые так ясны были для меня». И только он закрывал глаза, как все, что он говорил, куда-то вдруг будто проваливалось, и он видел перед собой толпу, жаждущую его наготы, и леденцового петушка на палочке, которого предлагали лизнуть ему. Он ворочался, укутываясь одеялом, которое сваливалось с него (и с дивана) на пол; пружины скрипели под его тяжестью, подушка казалась неудобной и горячей, и он, вспотевший (и от чувства пристыженности и от неудобства положения), вновь всматривался в темноту комнаты и прислушивался к храпу Зиновия. Мысли его как по кругу сосредоточивались то на Галине, то на жене, дочерях и всей той жизни с ними, в которой, как это теперь казалось Лукину, было что-то такое, чего он не понимал — ни прежде, ни теперь,— но что, он чувствовал, было главным и надо было понять ему; он думал обо всем, что имело отношение к работе, к жене, к Галине, и лишь ни разу не вспомнил о сыне Юрии, который, привезенный в эту ночь Дементием из морга, лежал в Галиной комнате в гробу причесанный, одетый, убранный, в окружении родных, которым он был не нужен при жизни, но которые приехали теперь проститься с ним. «Но где же отец?» — как будто спрашивало у всех успокоенное в гробу лицо мальчика. Отца не было. Отец ничего не знал об этом. Отец, то есть Лукин, даже отдаленно не мог предположить, чтобы что-то подобное могло случиться с сыном; он был поглощен собой и только время от времени сквозь тяжесть мыслей улавливал какое-то предчувствие, которое, однако, сейчас же соединялось с унизительной картиной наготы и толпы, будившей его.

Он заснул лишь под утро и был тут же разбужен хрипловатым (от вчерашнего разговора) голосом Зиновия:

— Вставай, Иван, кофе остынет.— Зиновий был уже побрит, одет и повязывал галстук.— Мы уходим, и я и Катиш.

XXXIII

От общей ли удовлетворенности жизнью или оттого, что угар, выпущенный накануне, давал ему теперь возможность для этого настроения, Зиновий все утро, пока завтракали, весело пересказывал анекдоты, имевшие тогда хождение и во множестве известные ему. Анекдоты были не столько смешными, сколько наполненными определенным смыслом, и были из тех коротких, в которых два встретившихся лица вели между собою примерно такой диалог. «Как живешь?» — спрашивало одно лицо. «Как в автобусе,— отвечало другое,— и выйти бы надо и место нагретое жаль отдавать другому». И, преподнеся это, Зиновий улыбался и приподнимал толстую верхнюю губу, открывая на обозрение всем свои не съеденные еще, крепкие белые зубы.

— Ты это о себе? — говорила Катиш.— Допросишься ты чего-нибудь со своим языком.

— А что тут, ну что? Хотя бы и о себе. Кому с нагретого кресла хочется уходить? — Он смотрел на жену и переводил взгляд на Лукина, как будто не сомневался, что тот поддержит его.

Но Лукину было не до анекдотов. Он слышал лишь веселый голос Зиновия и улыбался этому голосу, но думал о своем. Он думал о сценах наготы и толпы, которые всю ночь донимали его, и видел в этом зависимость, какая всегда есть у человека от общества. «Если бы я был свободен,— думал он,— я бы вернулся сейчас в район, на поля, в хозяйства, где все ясно, все заняты делом и где я тоже был бы занят делом. Но я несвободен, а должен улаживать свой семейный вопрос, и это ужасно, что человек несвободен»,— думал он. Себе он мог объяснить все. Но Зина, он знал, не поймет, и никто не поймет (никто — были для Лукина те окружавшие его по работе люди, отцы семейств, для которых разрушение семьи, как и для него прежде, было только злом, не имевшим оправдания). Ему казалось, что он как будто вынужден теперь идти к Зине не от любви к ней, а из необходимости поскорее одеться и смешаться с той самой толпой, на глазах у которой он был; и он, машинально отвечая на анекдот Зиновия, говорил, что в нагретом кресле всегда уютно, зачем же уходить из него. «Да, один, и я никому не смогу доказать, что хотел не этого, что теперь со мной, а другого — труда и жизни», — думал он.

Он старался держаться так же, как он держался всегда, бывая у Хохляковых. Но Зиновий, заметивший его беспокойство, не знавший причины его и повторивший лишь свое вчерашнее: «Заезжен, заезжен», спросил затем, когда вышли на улицу и надо было прощаться:

— Так в обком или по личным?

— В обком,— подумав, сказал Лукин, забывший о том, что он говорил Зиновию прежде.

— Ну-ну, желаю удачи. Заходи, не забывай.— И он, пожав руку, с минуту еще смотрел на Лукина, уходившего через площадь к зданию обкома.— Таким всегда щеголем приезжал, а на этот раз ты заметила? — сказал он жене.

— Неприятность какая-нибудь.

— Неприятность неприятностью, а воротничок у рубашки, ты извини меня, должен быть чистым, когда идешь к начальству,— в то время как он видел, что Лукин обернулся к нему (и в то время как сам Зиновий поднял руку, чтобы на прощанье приветливо взмахнуть ею), с усмешкой произнес он.

Спустя час с выражением непорочности на лице, как у всех судей, начинающих процесс, Зиновий, сопровождаемый народными заседателями, вошел в зал и сел в привычное с высокою спинкой и гербом кресло. Это был теперь другой человек, и выражение непорочности, по мере того как он входил в дело, было заметно уже не только на лице, но во всем: и в том, как он говорил, обращаясь к заседателям, прокурору, подсудимым или адвокату, как принимал подаваемые ему бумаги и, надевая очки, читал их, и в том, как в перерывах между заседаниями пил чай с лимоном и сахаром, приносимый ему секретаршей, и уже не пересказывал, как утром Лукину, анекдоты, а произносил только то, что было благопристойно, умно и согласно с общепринятыми оценками жизни. О нем нельзя было подумать, чтобы у него был иной образ мыслей, чем тот, какой он теперь подавал всем; и эти все, кто был вокруг него и слушал его, равно как и те, кто слушал и смотрел на него в зале, когда он восседал в своем судейском кресле, видели в нем лишь воплощение справедливости, той высшей, какой всегда ждут от судей, тогда как вся их справедливость состоит только в том, чтобы не отступать от буквы закона. Зиновий не отступал от буквы закона и отрицал в эти минуты все, что он утверждал дома; он здесь, в суде, боялся того

себя, каким он был дома, и не разрешал себе домашнего философствования. Выйти на люди с этим своим домашним философствованием у него не хватало смелости, как не хватало ее и на то, чтобы не повторять перед сослуживцами заезженных истин; но еще более не хватало смелости признать, что настоящей философии нет у него и потому вся жизнь его ото дня ко дню двигалась не по спирали, как он сам думал о том, а по кругу, замкнутому в себе, на котором с разною лишь дистанцией времени возникали остановки (подобные вчерашнему разговору с Лукиным), когда, выйдя из общего вагона жизни, можно было взглянуть на поля, строения, людей, чтобы затем, полюбовавшись ими, ехать опять в том же общем вагоне и с теми же надоевшими соседями до следующей остановки; и Зиновий, спустя час не помнивший уже о Лукине, ехал именно снова в том же вагоне, нанизывая этот очередной день на привычное для себя кольцо жизни.

Точно так же и жена его Катиш (Екатерина Павловна для слушателей), забывшая спустя час не только о Лукине, но и о муже, которым она была недовольна за его злословие, со строгим лицом учительницы пересказывала, стоя с указкой у доски и у карты, ту свою до каждого слова известную ей лекцию по политической экономии, которая для слушателей была открытием, а для нее самой тем, чем заполнялось вокруг нее время и пространство и приносило заработок; как и муж, она ехала все в том же общем вагоне жизни, привыкнув к нему и не представляя даже, что возможен какой-либо иной свет из окон, иной шум от колес, иная обивка стен и кресел в купе; она точно знала, как закончится для нее этот день, и чем начнется следующий (и все остальные), и как будет все у нее в этот вечер (и во все последующие) дома, и не только не тяготилась, но была рада этой неизменности и достатку. «Жизнь надо еще уметь прожить»,— говорила она коллегам, гордясь тем, что все было устроено и округлено в ее жизни.

Но для Лукина, спустя час ехавшего в машине из Орла в Мценск, жизнь не только не двигалась по спирали или по кругу, но стояла как будто точно на том же месте, как и день и два назад, когда он объезжал хозяйства района, был у Парфена и ночевал у Зиновия. Мучивший его семейный вопрос не только не был решен им теперь, после Орла, но, казалось, был еще более отдален от своего решения. «Она не захотела увидеть и поговорить

со мной,— думал он.— Но чего же было еще ждать? На что я надеялся?» И он вспоминал подробности, как он, поднявшись на нужный этаж и нажав кнопку звонка (и пристыженно ожидавший увидеть жену с дочерьми), увидал Настю, преградившую ему вход в комнату.

— А-а, это ты? Ее нет,— сказала она.

— Как нет?

— Она сказала, что ее нет, так и нет,— повторила Настя, для которой Лукин был не начальником, ни секретарем райкома, а был мужем ее сестры и, как все, очевидно, мужья, как она думала, совершив что-то непристойное. пришел загладить вину.— Ну не хочет она видеть тебя, не хочет.— И в глазах Насти стояла усмешка, понятная Лукину и оскорблявшая его.

— Но что же мне делать? — спросил он, краснея теперь, при воспоминании этого.

— Подожди, дай успокоиться ей, а потом, когда перемелется все, тогда и приедешь.

«Перемелется... Но что же должно перемолоться? — думал он.— Только то, что у меня снова нет ни семьи, ни дома и я еду в Мценск, чтобы вести тот же образ жизни, какой вел прежде?» И ему ужасно было это чувство, будто он, возвращаясь в Мценск, возвращался именно к Галине и ко всей той неопределенности своего положения, выносить которую было уже невмоготу ему.

Машины с зерном, которые они обгоняли и на которые Лукин не мог не смотреть, потому что они загораживали дорогу, напоминали ему, что в районе шла уборка хлебов и что он не то чтобы был причастен к этому общему народному делу, но возглавлял его. По приезде в Мценск он намечал провести бюро райкома, посвященное вопросам уборки, и должен был охарактеризовать положение дел в районе. Но ему нечего было сказать членам бюро. Он чувствовал, что не мог обобщить того, что видел в хозяйствах, и это (в дополнение к семейным сложностям) еще более угнетало его. Мысли его, перебегавшие от одного предмета размышлений к другому — от жены к Галине и от Галины к работе, составлявшей смысл его жизни,— возвращались то к разговору с Зиновием, не оставившему как будто никакого следа в душе Лукина, то к высказываниям Парфена, в которых, как это снова теперь казалось Лукину, было заключено что-то главное, над чем он сам постоянно думал; и по связи этих разрозненных событий, суть которых он пока не мог объяснить

себе, он чувствовал, что ему надо снова повидаться с Парфеном. Для чего? Ему казалось, что он должен еще что-то уточнить у Парфена, и он, положив вдруг ладонь на руку шофера, державшего руль, сказал ему:

— Сворачивай-ка в Зеленолужское.

— Мы вчера там были, Иван Афанасьич,— возразил шофер.

— Ну так что, что были? Поедем снова.— И он смущенно улыбнулся от воспоминания того, как он смотрел на беременную невестку Парфена, которую должен был снова увидеть теперь.

XXXIV

В это утро, когда Лукин приходил к Зине, она уже третий день как жила с детьми у сестры, стесняя ее. Она видела и понимала это, но была в том состоянии, когда ни о чем другом, кроме как о муже, растоптавшем все, что она сделала для него (родила ему этих девочек, таких прелестных, с косичками и бантиками, на которых сердце надрывалось теперь смотреть, что они остались без отца), она не могла думать. Вся чистота ее жизни была нарушена; нарушено было то главное, во что она верила, и ей казалось, словно по натертому ею паркетному полу, на который она сама даже в тапочках не решалась ступить, чтобы не замарать его, кто-то грубо прошел в сапогах и оставил следы грязи. Она с ужасом смотрела на эти следы грязи, и следы были — следы ее мужа. «Он, да, это он»,— с ужасом говорила она себе и не выходила из дому, боясь, что встретится с ним и что он прикоснется к ней.

— Но что же между вами произошло? — допытывалась Настя.

Зина молчала.

— Ну и глупо,— в конце концов заключила Настя, привыкшая смотреть просто (философски, как она говорила) на то, что было теперь с ее сестрой.

Весь ход рассуждений Насти (поскольку эти рассуждения не касались ее) был так прост и ясен ей, что она не могла чувствовать себя озабоченной за сестру. Что Иван мог изменить Зине, этого она не предполагала. «Но если бы даже и это, что же так мучиться?» — думала она. Ксгда ей самой в первый раз изменил муж, она восприняла все так, что слегла в больницу и разошлась

с ним. Но это было давно и было, как она теперь говорила себе, глупо. «Из всего этого вышло только то, что я испортила жизнь себе, а не ему, и Зина испортит себе». Искренне полагавшая, что она знает мужчин, как нужно обращаться с ними, но не имевшая в силу, может быть, именно этих своих знаний мужа (как тот сапожник, о котором говорят, что он без сапог, или портной, не выбравший времени сшить костюм себе), Настя со всем этим своим опытом жизни хотела помочь теперь сестре и поучить ее. Насте казалось, что все заключалось только в том, чтобы не переступить определенную черту (как она уже говорила Зине) и не довести до развода. «Он-то найдет себе, а ты? Кому нужна будешь ты со своими двумя?» — было главным аргументом ее.

— Одно дело — мои, другое дело — твой,— сказала она и посмотрела на девочек, дочерей Зины, тихо игравших в углу дивана в куклы и забывшихся за этой своей игрой.

Девочки независимо от тяжести семейной ссоры, каждую минуту чувствовавшейся их матерью, были в чистеньких, выглаженных платьицах, были аккуратно причесаны; белые банты, вплетенные в косички, и белая отделка по голубым оборкам пышных юбочек придавали их нарядам что-то будто праздничное, будто торжественное, чего не заметить было нельзя и из чего Настя, знавшая сестру, делала вывод, что, как ни глубоко было желание Зины не видеть мужа, она надеялась втайне, что он придет, и ждала его. Настя почувствовала это еще утром, когда увидела, как Зина укладывала перед зеркалом свои волосы и подбирала платье, какое надеть ей. Надето же было теперь на ней то, какое, Настя знала, муж Зины любил на ней, и на плечи был накинут (несмотря на то, что в комнате было тепло) тот ее белый, редкой работы шерстяной шарф, который, что Настя тоже знала, точно так же любил на ней видеть Иван.

— Кого ты хочешь обмануть? Ты же себя обманываешь, я вижу,— сказала она Зине.

Разговора не получалось, Зина не то чтобы не хотела, но не могла говорить с сестрой, и в это время в прихожей раздался звонок, заставивший вздрогнуть и обернуться их. Звонил Иван, и они сейчас же обе поняли это. Настя с тем выражением на лице, словно она всегда знала, что так будет, направилась было к двери, чтобы впустить Лукина, но Зина, вскочившая со стула и преградившая

ей дорогу, была так бледна и так испуганно и зло было ее лицо, в то время как она смотрела на сестру, что Настя остановилась.

— Ты что, ты что, дрожишь вся,— беря за плечи ее и пугаясь сама непонятно чего по тому только необъяснимому явлению, что чувства близких передаются друг другу, торопливо сказала она.

— Не открывай, прошу тебя,— еще более бледнея и не меняя жесткости своего выражения, проговорила Зина. — Я прошу тебя, прошу,—прошептала она и, бросившись от Насти к девочкам, сгребая их, повела в другую комнату.

Настя не впустила Лукина. Но, вернувшись после разговора с ним, почувствовала, как будто не с сестрой, а с ней самой повторялась теперь забытая ею размолвка с мужем. То утреннее настроение ее, та легкость, с какою, привыкшая к своему образу жизни, она думала о семейной ссоре сестры, весь тот успокоенный будто с годами мир ее чувств был разбужен теперь в ней. Она взглянула на дверь, за которой была Зина, не столько прислушиваясь к звукам возни, происходившей там, и всхлипываниям, доносившимся оттуда, сколько к тому поднявшемуся в себе протесту, какой не переставая все эти годы жил в ней; веселость, происходившая будто от простоты ее взгляда на жизнь, она чувствовала, была вовсе не от простоты взгляда, а была лишь той вынужденной декорацией, тем подсветом, за которым не видны были настоящие ее желания и чувства. Мысленно переставив себя на место Зины, Настя с ужасом подумала о том, что сестра не переживет этого несчастья. «Она не вынесет»,— просто и ясно сказала она себе, в то время как она смотрела уже не на ту дверь, за которой была Зина, а на ту, за которой, казалось ей, все еще стоял Лукин. «Она не вынесет, и надо помочь ей, и никто, кроме меня, не сделает этого». И она на носках, поминутно оглядываясь, словно Зина, увидев, что она делает, опять бросится и остановит ее, пошла в прихожую и открыла дверь. Но Лукина за ней не было. Она заглянула через перила, но и там никого не было. Тогда она, наклоняясь, позвала его. Но из глубины подъезда донеслось до нее только гулкое и невнятное эхо ее голоса. Она позвала еще раз, уже настойчивее, и опять послышалось в ответ только гулкое, как из колодца, эхо ее голоса. «Ушел», — подумала она (с тем чувством, словно она была виновата в этом). Но

именно этот быстрый уход Лукина как будто разбудил ее к деятельности. «Гордецы, камень на камень, да сами они никогда не помирятся!» Мысль эта с такой быстротой промелькнула в ней, что она, вернувшись в комнату, сейчас же принялась собираться, чтобы пойти за Лукиным в обком и привести его. Как ни далека была Настя от интересов той работы, на которой был муж Зины, но знала; что искать его надо было в обкоме. «Подергали друг другу нервы — и хватит, и довольно»,— думала она, с пышно взбитыми уже волосами, с яркой косынкой на шее стоя перед зеркалом. Она была уже та привычная всем Настя со своим и по-своему деятельным характером, с решимостью, какую она обычно проявляла не там и не в тот момент, когда это требовалось, со всей своей яркостью наряда и живым, энергичным (от этой внутренней готовности сделать что-то) лицом; мысли ее были устремлены к одному — найти и привести его. Это необходимо было сделать ей еще из той простой житейской потребности, что кроме того, что Зина с детьми стесняла ее, надо было еще кормить их и прибирать за ними; надо было делать все то, к чему Настя меньше всего чувствовала способной себя, и она понимала, что если теперь, пока у нее было время (были свободные от работы дни), не соединит их, то все может затянуться и это будет мучительно для всех.

Настя готова была уже к выходу, когда Зина, успокоившая ею же самою напуганных девочек, вышла к ней. Она не спросила у Насти, куда и зачем та собралась, но вопрос этот был в ее глазах, и Настя машинально и сейчас же прочитала его.

— Я быстро,— сказала она сестре, отвечая на этот ее вопрос.— Ты только не уходи никуда, дождись меня.— Она направилась было к двери, но остановилась, уловив в глазах сестры какое-то новое выражение.

«Я знаю, куда ты идешь. Ты идешь за ним, и хотя я не хочу видеть его, но я благодарна, что ты идешь за ним»,— прочитала Настя это новое выражение в глазах Зины.

«Да, и он сейчас будет у твоих ног»,— взглядом же ответила она сестре.

— Ты только не уходи никуда,— затем повторила она с какою-то будто воинственностью и, светясь вся этим делом, какое направлялась решить теперь, вернее успехом, каким, казалось ей, должно было увенчаться все, пошла из комнаты, гордо и красиво переступая ногами —

походкой, в которой она видна была вся со всем своим простодушием, стремительностью и легкостью к переменам настроения и целей жизни.

Но обновленное выражение глаз и лица Зины не означало того, о чем подумала Настя. Обновленное выражение ее говорило о том мучившем ее сомнении, какое так ли, иначе ли, но должно было прийти к ней (относительно связей ее мужа с другой женщиной). Хотя источником, из которого она узнала все, были не слухи, а письмо подруги из Мценска, подтвердившее лишь все эти слухи; хотя источнику, то есть письму этому, которое Зина, перечитав несколько раз, не порвала, а хранила как доказательство, не придать значения было нельзя (потому-то и оказалась она с детьми здесь, в Орле),— по бессознательному чувству самосохранения, по тому чувству надежды на лучшее, какое всегда живет в человеке, что бы ни случилось с ним, она, с ужасом перебирая весь ход омерзительного, как она думала, падения мужа, оставляла для себя вместе с тем ту возможность обмана, необходимого ей теперь, чтобы поверить, что то, что было с мужем, было несерьезно, было придумано и наговорено кем-то на него. Обновленным выражением ее было теперь то, что она готова была принять эту необходимую ложь, которую должен был сказать ей муж. «Ради них, ради наших детей»,— говорила она, в то время как мысленно прощала мужа. Но как только она воображала эту встречу, она вспоминала о письме, и вопрос — ложь ли все или не ложь? — вопрос этот опять вставал перед ней и начинал терзать ее. Она боялась не столько встречи с мужем, сколько того, что он признает все; она чувствовала, что не перенесет этого, и хотела другого, лжи, в которую готова была поверить, лишь бы ложь эта была решительно и с настоянием высказана ей.

«Зачем это письмо? Для чего он сделал со мной это? Хочу ли я его видеть и могу ли жить с ним после всего?» — думала она, тем больше теряясь и путаясь в своих мыслях, чем больше она думала; и она посматривала на дверь и прислушивалась, ожидая возвращения Насти.

XXXV

Шла уже вторая половина сентября, но следствие по делу Арсения не только не было завершено, но не видно было конца, когда оно завершится.

Все усложнялось тем, что Арсений, должный как будто отрицать преднамеренность убийства (как это было бы по здравому смыслу и соответствовало действительности и чего, собственно, добивалось от него следствие), в показаниях своих объяснял все таким образом, словно он преднамеренно, с полным пониманием того, что делает, совершил преступление. «Да, убил,— говорил он, особенно на первых допросах.— Но не мальчика (так он называл теперь своего приемного сына), а зло, которое подавляет людей. Я уничтожил только то, что не должно существовать, и если вы не видите этого, у меня нечего больше добавить вам». Но следствию нужны были факты, надо было выяснить психическое состояние Арсения, допросить мать убитого, то есть Галину, увезенную в Тюмень, и допросить ее брата; надо было выяснить обстоятельства жизни Юрия в Москве, побывать в школе, где он учился, и допросить тех самых «заящичных» друзей убитого, о которых никто ничего толком сказать не мог, и выяснить обстоятельства жизни его в деревне и направить по этому поводу запрос в Курчавино и Поляновку; надо было допросить Наташу, ее отца и еще десяток разного рода людей, так или наче общавшихся с Арсением и Галиной, и на все это требовались время и усилия. Кроме того, у следствия возникали еще и те трудности, которые предвидеть было нельзя. Галина сообщала, что больна и не может приехать в Москву, а протоколы допроса с нее, заполнявшиеся местным (из Тюмени) следователем, нуждались в уточнении и возвращались. Почти то же происходило и с бумагами, приходившими из Мценска, Поляновки и Курчавина, и дело Арсения обрастало перепиской. Вокруг следствия к тому же, как это и бывает всегда, разворачивалось то противоборство сторон, вытекавшее из различия их интересов и понимания ими правды, добра и справедливости, результатом которого должно было быть оказание определенного давления на ход дела. Сухогрудов-отец и Сухогрудов-сын, представлявшие потерпевшую сторону, предпринимали усилия, чтобы осудить Арсения. Наташа и Сергей Иванович, вдруг и решительно (так как другого выхода не было у него) вставший на защиту дочери и ее мужа, предпринимали, насколько это было возможно им, те противоположные Сухогрудову-отцу и Сухогрудову-сыну шаги, которые должны были привести к оправданию Наташиного мужа. Одна сторона обращалась к прокурору и сле-

дователю, стараясь (хотя это было бессмысленно) воздействовать на них; другая, то есть Наташа и ее отец,— к адвокату Кошелеву, советуясь с ним и объединяясь вокруг него. Кошелев признавал Арсения невиновным и полагал, что процесс может быть выигран; и он вникал в подробности уже не из того только первоначального соображения, что здесь было на чем поправить свою начавшую уже угасать славу известного адвоката, но дело Арсения вызывало в нем интерес уже нравственными мотивами, которые, приложенные к социальным, приоткрывали будто перед ним определенную и не исследованную еще никем область связей между реальностью и иллюзией жизни. «Надо перечитать все, что он написал»,— сказал себе Кошелев и во время очередной встречи с Наташей попросил у нее разрешения ознакомиться с рукописями Арсения.

— Это важно,— сказал он ей.— Я должен уяснить все, вы понимаете меня?

— Да, да,— поспешно согласилась Наташа, понимавшая только, что надо верить адвокату и делать, что он просит; и она, поехав с ним на квартиру Арсения, помогла отобрать все, что интересовало его.

Произошло это в пятницу, и впереди у Кошелева были те два свободных дня — суббота и воскресенье,— когда он мог, не отвлекаясь ни на что, отдаться делу. Он собирался внимательно просмотреть дневники Арсения, в разное время начинавшиеся им, черновик его известной кандидатской диссертации о древнегреческой демократии, защищенной много лет назад, и, как говорили, блестяще, главы из незавершенной докторской работы и еще работу некоего доцента Мещерякова, присланную Арсению, как это было сказано в записке, на дружеский просмотр и заключение. С вечера еще бегло полистав все эти рукописи (от нетерпения узнать, что в них), Кошелев заметил, что слова «Греция» и «демократия», повторявшиеся почти во всех абзацах, которые он прочитал, как-то непривычно и странно для него увязывались с понятиями из современной жизни. «Да, любопытно, весьма любопытно»,— вопросом склонившись над столом и над рукописью и потирая руки от предчувствия какого-то будто открытия, говорил он. О древнегреческой демократии, как он по университетским еще лекциям представлял ее, было у него свое, и определенное, мнение, заключавшееся в том, что он считал эту демократию скрытой формой дик-

татуры, формой диктатуры патрициев, то есть определенного круга имущих семей, над демосом, над теми, которых — миллионы и которые должны только послушно и в поте лица работать на демократию (на эти семьи) и защищать ее. «Подобная демократия не может быть восхваляема»,— думал он. Перенесенная в современные условия (он имел в виду американские как более зримый вариант), она есть наивысшая форма диктатуры и опасна для человечества тем, что представляет собою утонченное и улучшенное (против Библии) новейшими рассуждениями о всеобщем равенстве и праве покрывало, под которым, если приподнять его, сидят все те же патриции, та же горстка семей, желающих диктовать всем остальным свою волю. «Вот суть ее,— продолжал думать он.— Так что же он (Арсений) находит в этой демократии и на кого хочет примерить этот распознанный уже человечеством костюм?» И он чувствовал, что в том, как Арсений (что будет ясно из рукописей) ответит на это, должна проясниться связь между реальностью и иллюзией жизни (что более всего занимало теперь Николая Николаевича), от которой, как он полагал, как раз и зависит правильное или искаженное восприятие людьми окружающей действительности. «Не все то золото, что блестит»,— упрощенно уже говорил он себе, чувствуя (в дополнение ко всему), что он как будто находил не только ключ к разгадке причин поступка Арсения, но и получал материал для очередной своей брошюры, для которой ничего пока определенного не было у него. Он, в сущности, собирался убить двух зайцев, в то время как оба эти зайца были в тумане и надо было еще прояснить все.

Долго возбужденно ходил он в этот вечер по кабинету, готовя себя к завтрашней работе, и среди множества разнообразных мыслей, приходивших ему уже теперь по поводу реальности и иллюзий жизни, была та одна, смущавшая его, что он не мог дать точного определения самим этим понятиям, что же такое р е а л ь н о с т ь и что же такое и л л ю з и и жизни. «Если миллионы людей, называя диктатуру демократией, принимают этот величайший в мире обман, верят в него и живут иллюзиями его, то не есть ли этот обман, вернее возможность обмана, возможность жить иллюзиями, та же реальность жизни? — углубляясь в то, что, по существу, было просто и имело свое объяснение, спрашивал он себя.—Но ежели это так, ежели иллюзии жизни, то есть обман, есть реаль-

ность, то что же тогда сама реальность? То, видимо, чего мы не знаем, но что существует и движет обществом? Но что? Власть? Закон? Понятие справедливости?» И чем больше он погружался в эту зыбкую сферу понятий, тем очевиднее как будто становилось ему, что это только кажется, что всякое понятие имеет определенный объем и форму, тогда как во все можно вкладывать свои мысли и делать из всего свои выводы. «Но так нельзя,— сейчас же пытался возразить он себе.— Так можно прийти черт знает к чему». И он вспоминал брата Семена, как тот легко и просто, особенно в этот недавний свой приезд, судил обо всем. «Ему все ясно, и в этом отношении он счастливый человек,— думал Кошелев, перенося уже весь ход рассуждений на брата и веря искренне в то, что брату как партийному работнику, причем занимающему руководящий пост, действительно всегда и все ясно в жизни, по крайней мере должно быть ясно, как уточнял Кошелев.— Но ведь и дело у него ясное и цель одна, та, о которой не надо думать, но к которой надо только идти. У меня же — постоянный и неизменный поиск. У меня — люди (как будто Дорогомилин, как это выходило по Кошелеву, работал не с людьми, а с механизмами, настроенными на один лад), у меня — самое невероятное сплетение преднамеренностей и случайностей, и всякий раз приходится искать свой способ, чтобы распутать их!» Он возражал теперь брату потому, что надо было, чтобы разобраться в своем, непременно кому-то и в чем-то возражать; и, возражая (как это было и на поляне у стожков, где Николай Николаевич спорил с братом), он невольно приходил к мысли о той золотой середине — что нет ни правых, ни виноватых, ни абсолютной ясности, ни абсолютной неясности,— когда одно сознание, что такая середина есть, вызывало чувство удовлетворенности и успокоения у него.

Каким образом то, о чем думал Кошелев, должно было прояснить дело Арсения, понять было нельзя, да Николай Николаевич и не стремился понять это. Это должно было явиться само собой, как следствие умственной деятельности (как оно всегда и само собой являлось ему), и он лег в постель с тем чувством, что вполне готов к завтрашнему трудному дню, чтобы открыть истину и убить этою истиной (для себя!) сразу двух зайцев. Он жил иллюзией этого предстоящего открытия, не замечая за собой этого, в то время как реальность заключалась

для него в том простом, что ему надо было (за недостаточностью фактов) найти убедительные (в общечеловеческом, нравственном плане) аргументы, с какими он мог бы достойно выступить в защиту Арсения на суде.

XXXVI

Кандидатская диссертация Арсения о древнегреческой демократии, когда на следующее утро Кошелев принялся изучать ее, не вызвала у него интереса, какой он ждал, что она вызовет. В ней были изложены те же мысли, какие в той или иной степени полноты есть в каждом учебнике об этом периоде истории человечества. Сказав о классовой структуре общества того времени, Арсений затем подробно и с той определенной долей сочувствия (долей заблуждений, как было по Кошелеву и как делали и продолжают делать это почти все ученые) рассказывал о том, что он называл демократическим устройством общества, и возражения Кошелева против этой схемы были возражениями вообще, о чем можно было написать в брошюре, но чего нельзя было приложить собственно к делу Арсения. Иллюзия восприятия жизни, как это казалось Кошелеву, была налицо, но в какой связи эта иллюзия находилась с реальностью, то есть с самим делом Арсения, было не то чтобы неясно, но было очевидно, что связи этой не было. Еще менее заинтересовала Николая Николаевича рукопись Мещерякова, в которой исследовался какой-то исконный будто консерватизм русского народа, в существование которого не только нельзя было поверить, но все это представлялось Николаю Николаевичу такой глупостью, что на нее не стоило затрачивать усилий, чтобы опровергать ее. Но дневники Арсения... дневники эти были так насыщены разного рода наблюдениями за жизнью и оценками ее, что Кошелев не заметил, как он просидел за ними не отрываясь до обеда, и весь день затем не мог освободиться от впечатления, какое они произвели на него.

Его поразило признание Арсением некой роковой силы, довлеющей будто бы постоянно над людьми. Проявление этой силы настолько разнообразно, что ее будто нельзя обобщить и выделить во что-то видимое, материальное, но действие, какое она производит,— действие так сковывает людей, что вместо радости жизни, вместо дарованной природой естественной возможности прояв-

лять себя (что, собственно, и есть смысл жизни) человек принужден оглядываться на эту некую силу и делать (вразрыв со своими добрыми намерениями) поправки на нее. «Что есть эта роковая сила?» — звучал из дневниковых записей голос Арсения. Но ответа не было; было только что-то ускользающее, что можно было чувствовать и слышать, но нельзя было ухватить. «Почему мир устроен так, что невозможно оградиться от этой вседовлеющей роковой силы?» — было вторым вопросом, который по ходу записей задавался Арсением и на который точно так же, как и на первый, не было ответа. Арсению хотелось, очевидно, чего-то тепличного, к чему он чувствовал приспособленным себя; но тепличного не было, а было то, что принято называть «в полевых условиях», то есть была вся та непосредственность жизни с дождями, суховеями, морозом и солнцем, к которой надо было приспособиться, чтобы выстоять в ней. Но как раз то, что надо было приспособиться, не признавал и не принимал Арсений. Он как будто берег в себе тот драгоценный стержень, надломить который значило умереть; но, оберегая этот стержень и боясь всего, он только еще более приспосабливался и залезал душой под ту вагонную полку-нары, под которой трусливо и позорно умер его отец. «Какая случайность и какая страшная искалеченная судьба!» — восклицал Кошелев, читая во многом придуманные уже Арсением подробности смерти отца. Когда Николай Николаевич услышал об этих подробностях от Наташи (во время первой своей беседы с ней), они не показались ему столь внушительными, чтобы можно было их поставить в центр всего; но эти же подробности теперь виделись как заглавное кольцо, от которого, цепляясь друг за друга, тянулись все последующие звенья большой и сложной цепи жизни Арсения.

«Ей скучно и хочется чего-то, что развлекло бы ее, но вместо того, чтобы сказать просто и ясно, чего она хочет, она замыкается и молчит и молчанием этим своим создает ту тяжелую напряженность в доме, от которой не знаешь, куда и к кому бежать»,— читал Кошелев, что было записано в дневнике о Галине. И далее шел комментарий, который указывал на роковую силу, попытка противостоять которой приводит лишь к тому, что приходится подчиниться ей. «Но у меня другие, свои интересы!» — как крик подчеркнуто в дневнике Арсения. Вся-

кое желание настоять на своем, исходило ли оно от тестя, то есть от старика Сухогрудова, или от шурина, которого Арсений еще более не понимал и боялся, или от приемного сына Юрия, точно так же, как все, требовавшее любви и внимания к себе,— все представлялось Арсению в виде силы, которая довлела над ним и мешала ему жить. Он и неудачи свои приписывал действию этой неотвратимой и злой силы и переносил действие этой силы на взаимоотношения с друзьями и коллегами по институту и вообще на весь жизненный процесс и на государственное устройство, в котором хотя он и не разбирался, что было совершенно и что несовершенно в нем, но чувствовал, что было что исправлять и усовершенствовать. «Как ни странно, но во всем этом есть логика, есть связь,— думал Кошелев, стараясь соединить в одно всю эту систему воззрений Арсения.— Потому-то он и твердит, что убил зло. Но убил ли он зло или человека?» И, задав себе этот вопрос, Кошелев впервые усомнился в правоте того, что он так решительно брался защитить на суде. «Есть ли вообще роковая сила, или только все это ветряные мельницы? Двигало ли им желание общего блага, или он отстаивал право лишь на самый обычный, врожденный человеческий эгоизм? И что такое эгоизм и что — жизнь?»

— Вот уж действительно говорят: пути господни неисповедимы. Все могу понять. Но понять то, чего не существует?..— после того, как он долго сидел в кресле, погрузившись как будто в послеобеденную дрему, вдруг сказал он, обращая эти слова к Лоре, шившей что-то за столом на машинке. Она удивленно обернулась, перестав шить и держа руки там, где застал их голос мужа.

«Какие пути и почему неисповедимы, когда ты же знаешь, что у мамы (что для Николая Николаевича значило: у тещи) не осталось уже ни одного приличного домашнего платья? — ясно говорили глаза ее.—И ты забываешь,что Матвей студент и о нем тоже надо подумать». И Николай Николаевич, всегда понимавший жену, сейчас же понял это ее выражение.

Несмотря на свою занятость, он обычно всегда бывал в курсе домашних дел. На нем была обязанность присмотреть и купить ковер для спальни, и он регулярно после работы заезжал в известные ему ковровые магазины Москвы, прежде чем вернуться к себе в Одинцово. На нем лежала забота привозить иногда мясные и молочные

продукты и хлеб из Москвы («Чтобы только с Кутузовского»,— наказывала Лора, где хлеб всегда бывал отменным), и он безоговорочно выполнял это; он охотно брал на себя еще разного рода дела, каких всегда в доме бывает предостаточно, и мир этих домашних забот, пока теперь он смотрел на жену, мир, в котором не то чтобы все было понятно и просто, но в котором всегда был смысл, что это надо и что это для себя (о чем мы обычно забываем, что это такое, и воспринимаем как само собой разумеющееся),— мир этих забот на мгновенье как бы окружил его. «Да, о Матвее надо подумать, он студент»,— решил Николай Николаевич и даже оглянулся на дверь, как будто сын вот-вот мог войти в нее. Но Матвей не мог войти. Он вторую уже субботу подряд вместе со своим курсом работал на овощебазе, перебирал картофель. Тесть теперь, в эти послеобеденные часы, по старческой привычке своей спал наверху, у себя в комнате; мальчики ушли на пруд удить рыбу, девочки играли в классики у крыльца, во дворе, а теща пропалывала (под зиму) клубничные грядки. За окном, за серыми стволами яблонь была видна ее согнутая, в вылинявшей кофте спина и голова в цветной и сбившейся теперь набок косынке.

— Да, тем более неисповедимы,— соединяя то, что он думал о дневниках и Арсении, с этим понятным ему домашним миром и чувствуя несовместимость всего, снова проговорил он.— Ты на меня не обращай, я о своем,— видя, что Лора еще смотрит на него, сказал он ей.— Понимаешь, трудное дело, очень трудное, но отступать некуда, взялся, куда же мне теперь отступать? — И он встал и, потянувшись, пружинисто прошелся по комнате.— Семена бы, да, вот кого, он бы сейчас все рассудил,— затем снова начал он, остановившись перед женой и желая будто посмотреть на ее работу. Мысль о том, как легко было судить брату обо всем, не давала покоя Николаю Николаевичу.— Из Венгрии-то он вернулся или нет и почему не зашел к нам?

— Наверное, не вернулся,— оставляя работу и опять глядя на мужа, сказала Лора.— Почему бы не зайти, зайдет.— И в то время как она говорила это, она вспомнила, как деверь в этот свой приезд смотрел на нее. Она понимала, что означали его взгляды, и знала, что нравится ему; и она невольно теперь смутилась оттого, что подумала об этом.

— Я тоже полагаю, почему бы и не зайти,— сейчас же подхватил Николай Николаевич. «И в самом деле, почему?» — про себя повторил он. Он не заметил душевных движений Лоры, заставивших смутиться ее, и отошел к окну. Не заметил по той причине, что все в доме давно представлялось ему незыблемым. Точно так же, как изо дня в день и на том же месте стоял его письменный стол в домашнем кабинете, как расставлены были шкафы и стулья, как неизменны были цвета обоев и штор и неизменно в те же часы подавались ему завтраки, обеды и ужины, то есть как неизменным и прочным было все, что было средой его жизни, вне которой он не мог представить себя, неизменными должны были оставаться желания, чувства и мысли жены. Он привык к тому, что и сам он казался себе неизменным в этом устоявшемся для него домашнем мире, и если когда и возникали в душе его колебания, то только по тем вопросам, которые лежали за чертой этого означенного круга и были той варившейся в чужом котле кашей, которую время от времени, чтобы она не пригорела, надо было помешать ложкой.— Да, Семена бы, именно, вот кого,— опять повторил он, оставляя при себе ту вторую половину фразы, из которой можно было бы понять, что он хотел сказать этим.

Он ходил затем прогуляться к стожкам и вернулся лишь с еще более неопределенными мыслями. Те две линии в деле Арсения — внешняя, то есть фактическая, и внутренняя, то есть психологическая, занимавшие Николая Николаевича,— не только не сходились (и не усиливали друг друга, как по логике и предварительным прикидкам Кошелева должно было быть), но, напротив, образовывали как будто между собою пропасть, которую нельзя было перейти, не погрешив перед правдой. По внешней стороне дела было очевидно, что Арсений не виноват. Он действовал в целях самозащиты, и все должно было вытекать из этого. Но в психологическом, нравственном и социальном плане, в каком дело Арсения представляло наибольший для Кошелева интерес, выходило так, что поступок Арсения был подготовлен в нем обстоятельствами его жизни. «Ежели бы он не убил приемного сына, убил бы кого-нибудь другого,— думал Кошелев, приходя к этому единственно верному, как ему казалось теперь, выводу.—Убил бы непременно, потому что готов был к этому. Ему надо было освободиться от роковой

силы и уничтожить, убить ее». И Кошелев, рассуждая так, чувствовал себя в положении того человека в пустыне, который, заметив впереди воду и заспешив к ней, спешил, в сущности, к миражу и был разочарован теперь. Он говорил себе, что не следовало ему браться за Арсеньево дело, тем более не следовало высказывать преждевременных суждений о нем; но суждения были высказаны — и друзьям, и заинтересованным в деле отцу и дочери, то есть Сергею Ивановичу и Наташе, которых он, обнадежив, обманул и оказывался в трудном перед ними положении.

«Но так ли все на самом деле, как представляется мне?» — вместе с тем спрашивал он себя; и он на следующий день снова несколько раз принимался за дневники, надеясь отыскать в общих суждениях своих по Арсеньеву делу тот ложный ход, ту ошибку, какую мог допустить, обобщая и оценивая все.

Но ошибки не было. Он только опять приходил к выводу, что Арсений должен был убить кого-то, чтобы ощутить себя свободным. Это было противоестественно здравому смыслу и противоестественно нормам жизни, было тем, что не подлежало оправданию; но в то же время Кошелев чувствовал, что он как будто в чем-то понимал Арсения, в душевных порывах которого было не столько чего-то противоестественного (здравому смыслу), сколько именно естественного желания свободы, то есть того желания, какое, прислушиваясь, Кошелев обнаруживал в себе и какое мог бы обнаружить в себе всякий человек, обратившись не к поверхностным, а к глубинным своим чувствам. Это-то и смущало Николая Николаевича. Убить человека, он понимал, было противоестественно; но желание свободы — желание это представлялось вполне естественным и объяснимым, и Кошелев как бы стоял у развилки дорог, одинаково ведущих к истине. По какой было пойти ему? Чтобы не ошибиться, он решил вернуться назад, то есть попытаться встретиться и поговорить, как ни трудно будет добиться этого, с Арсением и с теми, кто хоть как-то мог прояснить дело.

XXXVII

После того как Арсений (после первых допросов в отделении) был переведен в следственный изолятор, он был помещен в камере, в которой уже находился

некий старец Христофоров, ожидавший исхода своего дела.

Христофоров сейчас же, едва только Арсения ввели в камеру, подсел к нему и спросил:

— За что тебя, сын мой? — И внимательно начал всматриваться в сухощавое, заросшее щетиной лицо Арсения.

Лицо это, как видно, понравилось ему. Понравилось не тем интеллигентным выражением, какое (несмотря на небритость щек) без труда можно было разглядеть в нем, и не тем выражением остановившейся жизни, когда все в человеке бывает обращено к той потрясшей его минуте, о которой он только и может вспоминать и думать, но он уловил — по выражению именно этого лица — ту искренность страданий Арсения, которые он знал, как они бывают сильны и болезненны в людях. Он знал также — из многолетнего своего опыта в общениях с людьми,— что искренне страдающий всегда чуток к утешению и жаждет его и что утешитель, явившийся с добрым словом, всегда обретает власть над страдальцем. Христофоров сейчас же почувствовал, что Арсений был как раз тем объектом, над которым можно было взять власть и повести его по тем запутанным лабиринтам евангельских истин, по которым прежде (по сектантской деятельности своей) Христофоров провел уже не одну сотню людей.

— Так за что же тебя, сын мой? — повторил он, прямо, открыто и сочувственно как будто продолжая смотреть на Арсения.

Он сидел так, что свет от высокого тюремного окна падал на его грудь, руки и освещал лицо с желтыми рубцами морщин. Морщины эти были не от труда, не от известного физического напряжения, как у крестьян, привыкших иметь дело с землей, снегом и солнцем и прищуренно глядящих на мир, но были того иного происхождения, по которым сейчас же бывает виден человек, не столь живший этой общей трудовой жизнью, сколь долго и усердно думавший о ней, что в ней хорошо, достойно и что недостойно и подлежит искоренению — каждым в себе и человечестве в целом. Морщины эти говорили о каком-то будто благородном затворничестве, когда, познав мир (как это ошибочно многие думают о себе, отгородившись и не зная той самой жизни, о которой считают себя призванными беспокоиться и думать), познав, в сущ-

ности, бессмысленность, ничтожность своего бытия, позволяют себе затем издали и успокоенно смотреть на все, что происходит вокруг них. Они смотрят на это все как на дорогу, по которой, отправившись в путь, человек приходит к тому же, от чего начинал,— от небытия к небытию. «Вот путь, уготованный каждому, и никому не дано остановиться на нем или свернуть с него» — затаенно как бы светилась в промытых складках его лица эта не новая, но всякий раз действующая на людей евангельская формула жизни. Формула эта, так ясно написанная на лице Христофорова, была, однако, не для него, а для других, но распознать, что она предназначалась другим, было нельзя, в чем как раз и состояло все искусство его обращаться с людьми. Руки его точно так же были испещрены морщинами, происходившими не от труда, а от праздной (до старости) жизни. Они были узки в ладонях, были розовато-пергаментного цвета и с веснушками, выползавшими из-под манжетов, и только усиливали во всем общем виде его впечатление какого-то аскетического будто благообразия.

Несмотря на то что Христофоров находился под следствием уже давно (и несмотря на то что он был стар и не мог как будто хорошо следить за собой), он не выглядел опустившимся, запущенным человеком. Благодаря передачам, которые приносили ему, он имел точно ту же возможность часто менять белье, как он делал это, живя на свободе. Поверх рубашки он надевал обычно либо коричневого тона толстовку, либо удлиненный, барского покроя пиджак с поясом и шалевым атласным воротом, простроченным в клетку, либо натягивал ручной вязки шерстяной свитер, молодивший его. Он был сейчас в толстовке, свободно облегавшей его худые, старческие, но не сгорбленные еще плечи и спину, и эта непривычная, давно вышедшая из моды одежда его точно так же производила на Арсения определенное впечатление. Арсений с недоумением, как на что-то будто из небытия пришедшее к нему, смотрел на старика Христофорова своими бесцветными и маленькими за толстыми стеклами очков глазами. «Кто он и что он хочет от меня?» — машинально, как всякий бы на его месте, спрашивал себя Арсений, стараясь понять сквозь густоту и путаницу своих мыслей, что за человек был перед ним. Он не слышал вопросов, но по благообразному виду Христофорова, по выражению его глаз видел, что тот как будто с доб-

рыми намерениями подсел к нему; и Арсений ответно чувствовал доброту и расположение к Христофорову.

Кровать Христофорова была заправлена, и рядом с кроватью на тумбочке лежало несколько старых по виду книг, среди которых выделялась в черном переплете Библия (бруклинского издания двадцатого года), которую он выговорил право держать при себе, пока расследовалось его дело. Перехватив теперь взгляд Арсения на книги и Библию и почувствовав по этому взгляду, что имеет дело с человеком образованным, неторопливо, достойно своего возраста и положения, в какое с первых же минут любил ставить себя, сказал Арсению:

— Хотите посмотреть? Я читаю книги только определенного толка.— Он встал и уже с Библией в руках вернулся к Арсению.— Тот, кто ищет утешения, всегда может найти его вот в этой книге. Это Библия,— сказал он.— Но не запоздало ли мы берем ее в руки? Мы берем ее, когда уже совершим что-то, и обращаемся к истинам, чтобы утешиться, тогда как истины эти должны освещать нам путь в темноте наших заблуждений. Я вижу, вы человек образованный, но что же с вами произошло? — задал он опять тот же вопрос, на который ему хотелось, чтобы ответил Арсений.

— Я убил зло,— сказал Арсений, подымая свои маленькие за стеклами очков глаза на Христофорова.

— Человека, значит, вот как. Тяжко твое дело, тяжко.— И он сочувственно как будто постучал пальцами по черному переплету Библии.

С минуту оба только молча смотрели друг на друга: Арсений — пораженный тем, как было узнано о его деле, Христофоров же — отыскивающий в нем признаки страха, которые подтвердили бы высказанное предположение, и как только заметил эти признаки страха, сейчас же опустил глаза (в знак того будто, что понимает и сочувствует собеседнику) и долго затем молитвенно-неподвижно сидел перед Арсением, уставившись в какую-то одну (перед собой) точку. «Как мы жестоки друг к другу и как мы не понимаем тщеты этой нашей жестокости» — было в эти минуты на молитвенно-неподвижном лице его. Он не стал расспрашивать Арсения о подробностях; ему достаточно было того, что он понял, что произошло убийство. И он по интеллигентному виду Арсения, естественно, предположил, что убийство было не с целью ограбления, а по каким-нибудь тем мотивам, как

это бывает у интеллигентов, суть которых в нравственном несовпадении взглядов. «Тем более дурак»,— подумал он об Арсении, жалея его не за то, что ожидало его — расстрел или заключение,— а за то, что совершенное им было бессмысленно и было глупо подвергать себя страданиям из-за э т о г о и ломать жизнь. «Ну и что, дадут катушку — и все, и мокрое место», — с пренебрежением сказал он себе, все еще не поднимая глаз на Арсения; и вместо сочувствия, какое собирался выказать ему, вместо той заискивающей доброты, с какою хотел было начать разговор, он, встав и пройдясь по камере, спокойно и холодно, остановившись перед Арсением, прочитал ему следующие слова из Библии:

— «Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благия давать детям вашим, тем более Отец наш Небесный даст блага просящему у Него». Будучи злы, заметьте, это обращено к нам,— пояснительно затем начал он.— Не значит ли это, что мы должны убивать зло в себе, а не в другом? То, что кажется нам злом, есть добро для носителя его. Убив в другом зло, мы убиваем не зло, а добро. Зло в нас. В каждом из нас,— уточнил он, заметив по изменившемуся выражению лица Арсения, что затронул именно главное, в чем состояла суть терзаний и сомнений его; и, почувствовав, что как будто притронулся к ране, доставлявшей собеседнику боль, с тем понятным только самому Христофорову удовольствием, как если бы дело, какое он делал, приносило ему физическое удовлетворение, он принялся не успокаивать, а растравлять эту душевную рану Арсения. Он то садился возле него на кровать и читал (подобные прочитанным уже) выдержки из Библии, то поднимался и ходил, поясняя прочитанное в том направлении, в каком, он видел, болезненнее всего было для Арсения; он как бы, найдя это занятие себе, был обрадован им и не мог остановиться. Испуганные за стеклами очков маленькие бесцветные глаза Арсения, в которые Христофоров, время от времени встречаясь с ними, вглядывался,— глаза эти только сильнее возбуждали в нем желание говорить; и говорить ему было тем более приятно, что он забывал за разговором о своем деле.

— А помните ли вы, что в своем первом послании Тимофею сказал святой апостол Павел? — спрашивал он у Арсения, никогда не державшего в руках и не читавшего этих текстов. — Он сказал: «Ибо мы ничего не при-

несли в мир; явно, что ничего не можем вынести из него». Так чего же стоят все наши волнения, все наши желания, надежды, мысли, вся наша никчемная и алчная суета? Пришли в мир и уйдем, а материя — как была, так и будет, и за что же убивать, грабить, насиловать, загонять,— он посмотрел вокруг себя на серые стены камеры и зарешеченное вверху окно,— людей в клетку?.. Да, так кого же вы убили и за что? — выговорившись, и устав, как видно, от своего монолога, и почувствовав, что нужно еще что-то дополнительное, чтобы продолжить разговор, приступил он снова с этим простым и ясным вопросом к Арсению.

XXXVIII

Но Арсений не мог ответить на этот вопрос. Ответить значило бы признать, что он убил не зло, а своего приемного сына, признать ту правду, которую страшно и невозможно было признать Арсению.

Все эти дни после ужасной для него ночи он постоянно испытывал два противоречивых чувства. Когда он думал, что уничтожена была им роковая сила («Е е больше нет, я уничтожил е е!» — как он воскликнул сейчас же после того, как ударил ломиком по голове Юрия), он не только не находил за собой вины, но, напротив, чувствовал, будто в душе поднималось что-то прекрасное, что возвышало его перед собой и перед людьми (и, главное, в глазах Наташи). Несмотря на то что он именно теперь менее всего был свободен поступать и жить, как хотел (как всякий попадающий в тюрьму человек), он испытывал это возбуждающее чувство освобожденности от чего-то, долго и мучительно сковывавшего его. Он, в сущности, впадал в тот страшный обман, когда слепому начинает казаться, что он прозрел и видит мир в объеме и цвете, тогда как мир этот — как он был, так и остается отгороженным от него непроглядной темнотой ночи; слепец по-прежнему слеп, но иллюзия света так обворожительно сильна, что не отпускает и не позволяет пошевелиться, и Арсений в те минуты, когда отвечал следователю, что «да, убил зло», был именно во власти этой обворожительной силы, как будто, познав свободу, боялся теперь пошевелиться, чтобы снова не потерять ее. Тот гудящий коридор жизни, по которому он всегда представлял идущим себя и который страшил его,— тот кори-

дор был уже будто пройден им, был позади, и новое пространство жизни, в которое он, как это рисовалось ему, вступил теперь, было пространством всеобщего добра, согласия и любви друг к другу. Арсений представлял себе то общество людей (как было по очищенной от классовых наслоений схеме древнегреческой демократии), в котором все, что согласно с желанием каждого, согласно с желанием всех и нет противоборства и стремления одного встать над другим. Нет, главное, насилия над чувствами, над тем естеством в человеке, дарованным природой, в согласии с которым он мог бы делать то и так, как хотелось и нужно было делать ему. Весь свой маленький, неуютный с детства и с детства же неустроенный мир надежд и постоянно подавляемых желаний, мир, из которого всегда так хотелось выбраться ему, Арсений как бы накладывал теперь на это бестелесное, бесформенное пространство всеобщей порядочности и доброты (как если бы только в этом и заключалась суть человеческой жизни) и невольно, как сотни тысяч других до него, обманываясь этим призрачным представлением благоденствия, находили утешение и цель в этом обмане и умирали за него, только повторял (несмотря на свою ученую степень и все те свои знания, которые могли бы подсказать ему бессмысленность подобных умственных построений) этот обман, бессознательно и судорожно хватаясь за него. Минутами ему даже казалось, что он был герой и что он приносил себя в жертву — и ради общества и ради Наташи, которую защитил, не дав ей прикоснуться ко всей той грязи (прошлой своей семейной жизни), от которой так болезненно все эти месяцы ограждал ее. И он ходил часами по камере, углубляясь в этот бестелесный, бесформенный, но прекрасный в переливе воображенных им красок мир людских отношений, и, растворяясь в этом мире и забывая свое «я», то есть то, о чем страшно было думать ему, испытывал какое-то будто душевное равновесие, помогавшее успокоиться и переносить страдания ему.

Но после этих часов успокоения, когда он, устав вышагивать по камере, ложился на кровать, память его вдруг как бы проваливалась из этого воображенного им мира человеческих отношений в действительность, о которой страшно было ему думать. Он проваливался как бы в ту угнетающую атмосферу ночи, когда он убил Юрия, и смысл совершенного, как он не мог предстать

перед Арсением в минуту убийства, представал перед ним теперь и заставлял съеживаться его. Он видел распростертое на полу тело сына и чувствовал на руках теплую и липкую кровь его; он видел круглые в ужасе глаза Наташи, как эти глаза смотрели на него, и на вопрос их: «Что же ты натворил?! Ты погубил себя, меня, нашу любовь», Арсений чувствовал, не было ответа у него. Он видел, что сделал не добро, а зло — главное, тому человеку (Наташе), для счастья которого готов был пожертвовать всем, чтобы только сохранить в чистоте и неприкосновенности ее молодую, красивую и не тронутую еще пороками человечества душу,— что совершил именно противоположное тому, что хотел, и мучался теперь, не понимая, как могло случиться это и был ли виноват он или виновато общество, не давшее ему того, что естественно было как будто получить от него; и он только опять приходил к болезненной мысли, что все в обществе несовершенно и что лучше бы родиться на столетие раньше или уж на столетие позже, но только не теперь, когда понятия о стыде, чести и совести так размыты, что невозможно почти отыскать следа, сказавшего бы, что понятия эти когда-то жили на земле. «Чего я хотел? — думал он. — Я хотел только, чтобы меня не трогали и чтобы я был счастлив, как я понимаю это». Но точно так же, как тысячи других людей, чувствуя, что им недостает чего-то, не могут объяснить, чего же на самом деле недостает им, Арсений не мог сказать себе, что́ он подразумевал под словом «счастье»; он только знал, что счастье есть, что оно возможно и что с Наташей оно было бы у него; и он с болезненной живостью вспоминал то в Наташе, что он любил в ней, и представлял ее себе в лучшие (для себя) минуты ее жизни. Он то как будто снова был с ней на вечере у Лусо, то вспоминал ее в Большом театре, как она выглядела среди других в своем темно-вишневого тона модном платье и с сережками, только что подаренными ей; он воображал себе ее лицо, светившееся какою-то будто детской еще радостью, волнуясь и не замечая (в этих воображенных картинах) той главной своей ошибки, какую совершал в жизни, принимая молодость и неопытность Наташи за чистоту и благородство ее души. «Она знала только меня, она так чиста», — думал он. Но сейчас же словно из глубины какой-то пыльной дороги выплывала фигура Тимонина, этого известного всем племянника Лусо, любившего прильнуть ко всему

чужому (как он льнул к Наташе, добиваясь чего-то от нее), и выплывала из той же пыльной глубины фигура Наташиного отца (как в свое время фигура отчима Галины), и роковая сила, гнувшая и оскорблявшая всю жизнь Арсения, будто ожив, опять начинала угнетать его. «Но ее больше нет, я уничтожил ее!» — восклицал он, весь напрягаясь, как для удара, чтобы повторить то, что уже сделал, чтобы освободиться от нее.

XXXIX

Христофоров, приступая теперь с вопросом к Арсению, ожидал (по той своей проверенной схеме обращения с людьми), что Арсений откроется перед ним и подчинится ему. Христофорову казалось (по изможденному виду Арсения), что перед ним сидит один из тех слабовольных, как он всегда думал об интеллигентах, людей, которые сильны только тогда, когда все у них и вокруг них хорошо, и становятся беспомощными, едва выпадают из привычных условий жизни; он видел в Арсении именно это, что всегда привык видеть в других, и был удивлен, заметив какое-то будто иное, злобное выражение на лице Арсения. «Как хотите, я не настаиваю, пожалуйста»,— намерился было уже сказать он, но не успел сделать этого. Арсений поднялся и словно с вдруг проснувшимся в нем бешенством двинулся на Христофорова.

— Ты что, ты что?! — пятясь и протягивая перед собою для защиты руки, торопливо заговорил Христофоров.— Да ты и в самом деле убийца, ты что, ты ответишь!

— Отвечу,— прервал его Арсений, остановившись посреди камеры.

Он был на свету. Кулаки его были сжаты. Лицо было бледно и страшно. Небритый, худой, с впалой грудью и взлохмаченными волосами (и со всем тем впечатлением решимости от обреченности и бессилия), он готов был сейчас наброситься на Христофорова и избить его.

— Господи, он сумасшедший,— крестясь, произнес Христофоров, с опаской (уже от своей койки) глядя на Арсения.— Ты, душа моя, не шуми, я не хотел обидеть тебя, ты это брось,— видя, что Арсений продолжает угрожающе стоять, сказал он.

— Я вам не душа, не смейте, не смейте! — Руки Арсения тряслись, лицо по-прежнему оставалось бледным,

и в сжатом кулаке, он чувствовал, был как будто тот самый ломик (со всей своей металлической тяжестью), которым он убил Юрия.

— Господи, да я и не смею.

— И не смейте, не смейте! — повторил Арсений.

Затем отошел и лег, заложив руки за голову, как делал это всякий раз, приходя домой и ложась на кушетку. Ему казалось, что это успокаивало его и позволяло сосредоточиться на той одной мысли, на которой он хотел остановить внимание. «Что-то сейчас было со мной?» — подумал он, стараясь найти мысль, на которой бы он мог остановиться теперь; и в то время как он с усилием вспоминал, что же минуту назад было с ним, он вновь как будто ясно ощутил, что держал в руке ломик. «Я убил им его»,— подумал Арсений и сейчас же вскочил, чтобы посмотреть, где было тело Христофорова (и посмотреть на свои руки, не в крови ли они). Но на руках не было крови и Христофоров был не на полу, а сидел на кровати и перелистывал Библию. Он тоже поднялся и хотел было что-то возразить Арсению, но воздержался, так как Арсений, осмотревшись еще раз вокруг себя, снова лег на кровать и заложил руки за голову. Он больше уже не вскакивал в этот день и не оборачивался на Христофорова; он понял, что с ним лишь повторилось то, что уже было, и он только всматривался, как от этого б ы л о, как от камня, брошенного в воду, расходились круги и захватывали пространство. Круги эти были те повторявшиеся мысли, по которым он видел себя виноватым то перед Наташей, то перед Галиной, то перед Юрием, о котором начинал думать с жалостью, что мальчик, в сущности, был лишен отца и что вместо того чтобы заменить ему отца (как это и должен был сделать Арсений), он только переносил на него свою неприязнь к Галине и усугублял дело; то все это простое, житейское и понятное каждому заменялось рассуждениями, по которым Арсений признавал себя правым, и круги, растекавшиеся по пространству (то есть по всей обозримой плоскости жизни с воспоминаниями детства, женитьбы на Галине и жизни с ней и жизни с Наташей),— как ни казалось, что они должны были, отдаляясь от центра, затухать где-то у берегов, они только яснее указывали Арсению, что был центр, и приковывали внимание к этому центру. Он искал оправдания не перед судом, а перед самим собою и страдал оттого, что не мог примирить свой поступок со своей совестью.

Как раз в эти минуты, когда его ввели в камеру, он, казалось, был близок к тому, чтобы найти примирение. Вот-вот, какое-то еще мгновение — и все было бы решено, но подсевший Христофоров разговором и чтением Библии разрушил все (то есть разрушил тот определенный ход мыслей, какой именно и старался теперь восстановить Арсений). Христофоров как будто ничего особенного не сказал Арсению. Но Арсению, когда он теперь, успокоенный и с заложенными за голову руками лежал на своей жесткой тюремной кровати, все представлялось так, будто подпилены были сваи того здания, на котором держались его убеждения; здание это должно было рухнуть и погрести под обломками все прежде дорогое Арсению. Ему всегда казалось, что зло было в других, но не в нем, и он находил тому тысячи подтверждений, главным среди которых было насилие над отцом и смерть его; он видел, что такое понимание зла, понимание довлевшей над людьми силы, было согласно с мнением многих и многих других людей, с кем он (за свою жизнь) встречался и говорил; но понимание это как бы натолкнулось теперь на иной, и более прочный, ряд истин, на Библию, которая, несмотря на то, что небожественность происхождения ее давно и вполне доказана, по-прежнему продолжает действовать на людей. Черная в белых морщинистых руках Христофорова, она оказывала это свое воздействие на Арсения и разбивала все прежние его мысли. Он не говорил себе, что что-то же должно было быть мудрого в ней, если столько поколений людей верило этой книге; он ничего не утверждал и не опровергал, глядя на пухлые, измусоленные пальцами страницы ее, но просто, как тысячи других до него, находясь под ее гипнозом, повторял теперь то, что было ему Христофоровым прочитано из нее. «Как просто и материально,— думал он, вслушиваясь как бы в смысл того, что в послании апостола Павла Тимофею было выражено такими словами: «Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем вынести из него». Для чего же тогда все это желание счастья, вся эта борьба, состоящая из минутных и ложных интересов? Ведь я ничего не принес и не унесу из этого мира?!» Его настораживало и болезненно волновало еще то обстоятельство, что по святому писанию выходило, будто неправильно было думать, что зло в других; зло в каждом, и каждый должен прежде искоренить его в себе. Это было противоположно тому, как думал

Арсе́ний, и было оттого странным и страшным ему; это не успокаивало, а только усиливало в нем сомнение и делало, по существу, невозможным примирить свой поступок с совестью. Как рыба, спешащая на нерест, наткнувшись вдруг на плотину, судорожно ищет выхода в ней, суетился мыслью Арсений, оказавшись вдруг перед стеной этих открывшихся ему новых истин, о которых он прежде не то чтобы не знал, но не придавал им того значения, какое они теперь обретали для него.

В середине дня, когда Христофорова пригласили к следователю и Арсений остался один в камере, ему захотелось подойти, взять и почитать Библию. Несмотря на то, что ему совестно было без разрешения трогать чужую вещь, он все же не выдержал и взял Библию. Он хотел только посмотреть в ней те места, которые читал ему Христофоров (и в которых как раз и был заключен смысл всего, что занимало теперь Арсения); но взгляд его, по мере того как он открывал страницы, натыкался только на какую-то будто бессмыслицу вроде: «Сим был ста лет и родил Арфаксада через два года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил пятьсот лет и родил сынов и дочерей. Арфаксад жил тридцать пять лет и родил Салу. По рождении Салы Арфаксад жил четыреста три года и родил сынов и дочерей. Сала жила тридцать лет и родила Евера» — и т. д. или вроде: «И сделал литое из меди море — от края его до края его десять локтей,— совсем круглое, вышиною в пять локтей» — и т. д., что было неинтересно и непонятно Арсению. Он так и не нашел того, что искал, и, положив Библию на то же место, откуда взял ее, снова прилег на кровать. Но вернуться к тем убеждениям, что он убил зло, он не мог, как он не мог признать и того, что зло не в других, а в себе; и он впервые (вместо общих рассуждений) просто, ясно и приземленно подумал о своем деле.

XL

Только потому, что Кошелев был членом президиума коллегии адвокатов, то есть человеком известным в юридических кругах Москвы, и потому, что сумел обосновать необходимость своей встречи с Арсением так, что нельзя было не согласиться с его доводами, он получил от прокурора нужное ему разрешение и к одиннадцати часам дня в понедельник был уже в той (для допросов) ком-

нате при следственном изоляторе, в которой бывал не раз прежде, встречаясь с подзащитными. В комнате этой не было ни шкафов, ни гардин, а стояли только посреди голых стен несколько стульев и стол у окна с жестким возле него креслом. Окно выходило во внутренний двор, и в комнате не было слышно шума и гула улицы.

Примерившись к креслу, что Николай Николаевич делал всегда — для основательности будто, как он говорил (и с оттенком теперь брезгливости, что подлокотники, спинка и сиденье у кресла были обветшалыми и потертыми),— он положил перед собой блокнот, ручку и мысленно вернулся к тем вопросам, которые намеревался задать Арсению. Вопросы эти были результатом его субботних и воскресных раздумий над делом Арсения. Николаю Николаевичу снова казалось, несмотря на противоречивость вчерашних суждений, что Арсеньево дело было не просто делом о некоем случайном убийстве, но было отражением тех новых явлений, затронувших нравственную сторону жизни общества, о которых еще никто не сказал ни устно, ни письменно и суть которых как раз и заключена в роковой силе, упоминавшейся в дневниках Арсения. «Если бы он был болен,— подумал Кошелев об Арсении (зная уже о заключении врачебной комиссии о нем),— это одно. Но он здоров, и, значит, дело тут именно в определенном явлении». Он подумал еще, что, возможно, придется просмотреть еще ряд подобных дел (чтобы наполнить материалом брошюру), но в это время открылась дверь, конвойный ввел в комнату Арсения, и Николай Николаевич живо и с любопытством посмотрел на него.

Дважды видевший Наташу и составивший себе (по молодости и свежести ее) представление о ее муже, он был теперь удивлен, увидев Арсения. То, что лицо Арсения было бледно, было со следами мучившей его, как видно, бессонницы, было для Кошелева естественным и объяснимым, но что это же лицо и ссутуленная спина Арсения производили впечатление потасканности и старости, было так странно Николаю Николаевичу, что он даже подумал, что того ли, кого надо, привели к нему.

— Иванцов? Арсений? — спросил он.

— Да.

— Ну что ж, давайте знакомиться, я ваш адвокат.— И он, смущаясь, что не узнал как будто Арсения, протянул ему руку и пригласил сесть его.

Кошелеву надо было разговорить подзащитного, что он обычно умел хорошо делать; это получалось у него потому, что он никогда не ставил перед собой цели открытия; но теперь он почувствовал затруднение, словно сила, о которой начитался в дневниках, действовала на него и сковывала его. Она исходила как будто не от Арсения. Но от кого она исходила, было непонятно, и Кошелев даже несколько раз обернулся на окно и затем на голые стены, будто они могли объяснить что-то. Но никакой силы не было, а действовало на него лишь впечатление потасканности и старости, производившееся Арсением, и как следствие этого впечатления возникало сомнение в том, что дело Арсения есть дело значительное, связанное будто бы с явлением, о котором Николай Николаевич думал, что оно составляет некую появившуюся болезнь в обществе; дело это, в сущности, как он увидел его теперь, показалось ему одной из тех обычных грязных семейных историй, каких случаются сотни и в которых главным всегда выступает нечистоплотность и распущенность сторон. «Запутался с женами и сына убил, какая тут роковая сила, какое явление! Тут грязь, обычная, пошлая, безобразная». И он поморщился оттого, что как он раньше не разглядел этого.

Пора было начинать разговор, но Николай Николаевич медлил и не начинал его. Он сперва несколько раз прошелся по комнате перед Арсением, продолжительным и внимательным взглядом окидывая его; затем постоял у окна, привлеченный конвойными солдатами, смеявшимися чему-то во дворе, сойдясь у арестантского фургона. Чему они смеялись, услышать было нельзя, да Кошелев и не прислушивался к их голосам; он продолжал морщиться оттого, что ошибся, берясь за дело Арсения, и старался мысленно вернуть себя к тому Арсению, каким представлял его себе по дневникам и рассказу Наташи. Тот Арсений интересовал Николая Николаевича, но этот? — этот был неинтересен и на него жаль было терять время. «Но, однако, мосты сожжены, надо расхлебывать». Он подошел к Арсению и сел на стул возле него.

Арсений же был теперь в том состоянии, что ни Наташа, ни сам он, если бы со стороны взглянул на себя, не узнал бы себя; не узнал бы не столько по изменившемуся внешнему виду, сколько по безразличию (и к себе и к окружающим), с каким он смотрел теперь на мир

и воспринимал его. Он не был сейчас ни тем Арсением, каким выглядел в дневниках перед Кошелевым,— умным, думающим и о себе, и о жизни и боявшимся ее,— ни тем, каким стоял перед следователем на допросах, убежденный в том, что убил зло, и тем более ни этим запутавшимся в грязной семейной истории пошляком, как думал о нем сейчас Кошелев; все это было так отдалено от Арсения, что он как сквозь дымку смотрел на прошлое, которое уже как будто не волновало и не трогало его, и с равнодушием ожидал, когда наконец будет решено его дело и он сможет принять те физические страдания, к каким чувствовал уже подготовленным себя. Так же, как солдат привыкает к своей трудной военной службе, чиновник — к своей, а барствующий — к своей праздной жизни, Арсений за эти недели пребывания в следственном изоляторе успел не только привыкнуть к условиям этой новой для него жизни, лишенной необходимых удобств, но успел привыкнуть и к своему соседу, к Христофорову, с которым, примирившись и приняв его власть над собой, вел теперь либо долгие душевные беседы, либо читал Библию под руководством и с наставлениями его. Он вполне разделял теперь мнение Христофорова, подкрепленное библейскими изречениями, что зло не в других, а что оно всегда было и есть в себе, и что не в социальных системах, не в государственных устройствах следует искать причины людских несчастий; прежде необозримый, неохватный — по широте ли, по исторической ли глубине или перспективе на будущее — мир человеческих отношений был сведен теперь в Арсении только к познанию самого себя, к подслушиванию тех затухающих уже чувств и мыслей, которые временами, будто вспыхнув, еще напоминали о прошлом. Ему казалось, что все стремление к новой (с Наташею) жизни было смешно и ничтожно в сравнении со всеми этими вечными истинами, о которых он узнал сейчас (и которые как раз и заключались в созерцании самого себя); в то время как он был подчинен воле Христофорова, как никому и никогда еще не был подчинен в жизни, ему казалось, что он был свободен и что, главное, достиг этого не силой на силу, не уничтожением зла в другом, а смиренным познанием истин. Он волновался теперь не в те минуты, когда начинал думать о своем деле, но когда видел перед собой старческие, с веснушками руки Христофорова, подающие Библию.

Но вместе с тем как Арсений был будто спокоен, приспособившись не думать, а лишь со стороны будто созерцать свои мысли; вместе с тем как прошлое представлялось ему лишь суетой, недостойной внимания; вместе с тем как он постоянно пребывал будто в каком-то сне, от которого нельзя и страшно было пробудиться ему,— его мучила та настоящая бессонница, от которой он как раз и выглядел постаревшим и все время ходил с воспаленными глазами. Этими воспаленными глазами он и смотрел сейчас на Кошелева, ожидая вопросов от него.

XLI

— Вы знаете, я буду с вами откровенен,— сказал Кошелев, начав вдруг совсем не с того, с чего думал начать разговор. Ему жаль было те два дня — субботний и воскресный, — которые он провел за чтением рукописей и дневников Арсения, и жаль было потраченных (у прокурора) усилий, когда добивался разрешения на эту встречу, и он не мог (хоть в какой-то форме) не высказать сейчас этого своего сожаления, прежде чем приступить к формальностям, которые неприлично было бы не выполнить ему теперь.— Я взялся за ваше дело потому, что оно показалось мне интересным в нравственном отношении, и хотел говорить с вами не о подробностях убийства. Я понимаю, произошла страшная случайность, тут все ясно, тут любой начинающий адвокат смог бы защитить вас. Но ваши дневники, именно дневники! — Он на мгновение остановился, глядя на Арсения. Он хотел уловить на лице его то, что подсказало бы ему, что не бесполезно говорить это, что он говорил; но он не нашел этого подтверждения и с инерцией, которую уже не мог преодолеть в себе, продолжил: — Дневники удивили и поразили меня. Я не собираюсь рыться в вашей душе (хотя цель его как раз состояла в этом), но как вы сами полагаете, есть ли какая-либо связь между тем, что вы изучали и отстаивали в вашей исторической науке, и тем, что вам хотелось видеть в жизни?

Не имевший точного понятия, как все прежде не связанные с судом и прокуратурой люди, что такое адвокат и каковы возможности его, то есть не зная, в сущности, что и в каких пределах дозволено и что не дозволено адвокату, Арсений вместе с тем сразу же почувствовал,

что в отличие от вопросов, задававшихся следователем (в отличие от казенности того, что происходило в кабинете следователя), вопрос адвоката имел иной смысл и направление. От слов Кошелева как будто повеяло обстановкой тех научных дискуссий, на которых Арсений не столько любил выступать, сколько бывать на них и мысленно соглашаться или спорить с теми или иными доводами; и как он ни был теперь безразличен будто ко всему, преподавательская деятельность его, та жизнь в институте, приносившая удовлетворение, от которой здесь, в следственном изоляторе, он был все эти недели отгорожен глухими стенами (и сознанием непоправимости своего горя),— жизнь та снова начала заманчиво волновать его. Он почувствовал, что это был не допрос и что у Кошелева были какие-то иные цели разговора. Цели эти были неизвестны Арсению, да и нужно ли было ему узнавать их; ему как бы подавали кусочек его прежней жизни, чтобы он мог ощутить себя в ней со всеми своими т е м и интересами прошлого и настоящего, интересами споров, любви, пристрастий и отрицаний, то есть со всей той человеческой деятельностью, к которой надо было прикладывать ум и знания, и он охотно готов был принять это. В глазах его, только что неподвижно-блеклых за толсты-

ми стеклами очков, вспыхнули лучики, по которым Кошелев сейчас же заметил, что что-то будто тронуло Арсения и пробудилось в нем.

— Меня поразила и кандидатская ваша, которую я прочитал,— снова заговорил Кошелев.— Разумеется, с разрешения вашей жены,— добавил он, обратив внимание, как при упоминании о Наташе все вздрогнуло и насторожилось в Арсении. «Как она? Что с ней?» — сейчас же появилось в его глазах, и искренность этого выражения и общее беспокойство его невольно передались Николаю Николаевичу. Он опять на мгновенье остановился как будто для того, чтобы подумать, как вести разговор дальше, но на самом деле он только вновь ощутил интерес к Арсению (хотя тот не произнес еще ни слова), и интерес этот не хотелось теперь терять ему.—Скажите, неужели в государственном устройстве древних греков вы в самом деле находите демократию? — в то время как надо было сказать о Наташе, сказал он, возбужденный именно этим своим интересом.— Ведь это все равно что театральную декорацию принимать за жизнь и не видеть настоящей, которая скрыта за ней. Вы привыкли к деко-

рации, а перед вами распахнули жизнь; вы видите, что жизнь — это совсем не то, что декорация, и требуете вернуть декорацию, принимаемую вами как жизнь. Так ли это или не так? — довольный тем, как он теперь формулировал свои мысли, и вызывая Арсения на возражение и спор, сказал Кошелев.

— Я не знаю, — ответил Арсений, удивленно усмехнувшись затем, как бывало с ним в институте, когда слышал какую-нибудь новую, не научную, но претендующую (тем, кто выдвигал ее) быть научной точку зрения на историю развития общества.— По-моему, здесь подмена понятий,— добавил он, полагая, что сказанное Кошелевым не могло относиться к нему.— Исторические свидетельства обычно так скудны, что не могут дать полного ответа, и потому в изложениях тех или иных событий, естественно, допускается произвол, иначе говоря, домысел. Но при чем тут декорация и жизнь? Может быть, я не готов к этому нашему разговору, но, думаю, дело не в государственных устройствах. Есть нечто другое, что более определяет жизнь людей.

— Что? Роковая сила? — Кошелев даже подался вперед к Арсению.— Откуда она и что это такое?

— Ну, я не это имел в виду,— возразил Арсений, увидев, что адвокат неправильно понял его.

Напоминание о роковой силе было неприятно Арсению. Несмотря на то, что сила эта была как будто уничтожена им (как он подумал сразу же после убийства сына), и несмотря на то, что в результате бесед с Христофоровым явилось новое понимание, что зло не в других, а в себе и, следовательно, никогда не было и не могло быть т о й (вне самого себя) злой силы, которая подавляет людей, Арсений лишь умом принял это; в душе его, однако, продолжало жить убеждение, что сила эта есть, и он неприятно почувствовал теперь, что она проявлялась в Кошелеве, хотевшем навязать какое-то свое представление о жизни, которое противно было всем теперешним взглядам Арсения. Арсений весь насторожился, чувствуя, что надо искать защиты от Кошелева, и так как лучшим средством защиты было возразить Кошелеву, он сказал:

— Дневники — это для меня в прошлом. Я придерживаюсь сейчас иного взгляда.

— На роковую силу?

— Да, и на роковую.

— Какого же? — продолжил Кошелев, увлеченный тем, что хотелось выяснить ему, и не замечая пока изменившегося состояния Арсения.

— Я не могу объяснить этого в двух словах,— сказал Арсений,— но, если хотите, в природе нет ни добра, ни зла, это придуманные понятия, а есть только действие. Насильственное или не насильственное, это уже другой вопрос.

— Выходит, разрушить дом или посадить дерево — одно и то же?

— Да, представьте,—мрачно согласился Арсений. Говорить ему не хотелось, но в то же время он чувствовал, что надо было сказать адвокату об этом новом своем понимании явлений добра и зла. Если зло не в другом, а в себе, как было по этому новому пониманию, вытекавшему из рассуждений Христофорова, а человек, что бы он ни делал, всегда делает только из соображений добра, понимая добро прежде всего как добро для себя, то желание добра есть зло, и чтобы уничтожить зло, надо подавлять это желание добра в себе (каким бы общим, для всех, ни казалось это желание). Арсений понимал это; но объяснить это Кошелеву было трудно, и потому он сказал только: — Мы высаживаем дерево, но уничтожаем траву, а разваливая дом, освобождаем место для нее. Зло и добро одновременны, и только присвоенный нами произвол дает нам право судить, что мы сделали — добро или зло. Нет таких понятий, а есть только действие, приносящее и зло и добро одновременно.

— Как же тогда отнестись, положим, к народным сказкам, в которых добро побеждает зло, или к христианству, целиком основанному на проповеди добра ближнему, я уж не говорю обо всех наших современных понятиях жизни?

— Мы говорим о разном, это бессмысленно. Я говорю о едином и естественном явлении, а вы, расчленив это явление, противопоставляете в нем одно другому. Нет понятия добра для ближнего, это обман. Желание добра ближнему всегда и прежде всего содержит желание добра себе, а это уже зло. Хотя бы вот мой пример, разве он ни о чем не говорит вам? — «Разве я желал добра себе? Но ведь и себе, и в первую очередь себе»,— беззвучно, глазами уже договорил он то, что должно было пояснить все.

Арсений впервые смотрел на свое дело так, как он старался представить его сейчас Кошелеву, и впервые, не замечая за собой этого, высказывал не то, что заранее бывало обдумано и взвешено им, а то, что приходило на ум теперь и казалось верным. Он не мог бы объяснить себе, когда и как случилось с ним это, что он безбоязненно позволял себе говорить то, что думал; но оттого, что делал это, он чувствовал приток каких-то будто новых сил в себе, которых никогда не испытывал прежде. Для него не существовало сейчас той серединной позиции, какую он всегда раньше любил занимать в спорах; мысль его была ясна ему, и он не повторял слепо христофоровских наставлений; наставления те только помогали ему выводить это абстрактное свое понятие д е й с т в и я (взамен вечно противоборствующим добру и злу, как это признавалось и признается человечеством), и так как вопроса, чем же управляется это д е й с т в и е, он не задавал себе, то невольно признавал как раз ту самую некую роковую силу, то есть какой-то тот не открытый еще естественный закон природы, который так хотелось открыть и понять Кошелеву.

«Так вот оно в чем дело»,— подумал Кошелев, уловив это главное (и важное для себя), что было еще как будто скрыто от самого Арсения, и с новым удивлением посмотрел на него.

— Значит, ни добра, ни зла, а только действие?

— Да,— подтвердил Арсений.

— Но что-то же должно руководить этим действием, или, точнее, чем-то должны руководствоваться люди в своих поступках?

— Только не желанием добра, как бы ни было оно объяснено общими целями.

— А чем?

— Не знаю. Не знаю,— повторил Арсений. И он затем произнес ту фразу из послания апостола Павла: «Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем вынести из него», которая более из всего прочитанного Христофоровым из Библии поразила его.

После этой фразы Арсению казалось, что продолжать разговор было уже бессмысленно.

XLII

Но они еще говорили около получаса, касаясь уже не философских проблем, а существа дела.

— Отчего я разошелся с Галиной? Да я теперь и не знаю,— говорил Арсений, отвечая на очередной вопрос Николая Николаевича. Ему и в самом деле казалось, что он не знал сейчас, из-за чего он разошелся с Галиной. Прежде ясное, видевшееся в деталях, словно ускользало, и на передний план выдвигались какие-то те мелочи, о которых неприлично и неприятно было упоминать Арсению.— Вы говорите, Юрий?.. Я, наверное, никогда не смогу простить себе этого. Но кто же знал, кто знал? — повторял он, невольно открываясь перед Кошелевым в своих отцовских чувствах. Когда же Николай Николаевич рассказал ему о Наташе (в пределах, как это было дозволено ему), Арсений с еще большей как будто искренностью, чем о сыне, сказал о ней: — Мне жаль ее. Никого мне так не жаль, как ее.— И долго затем не поднимал глаз на адвоката.

— Оправдают? Может быть,— с усмешкой проговорил он, когда Кошелев, прощаясь, напомнил ему об этом.— Оправдают, не оправдают, а того уже не вернуть, что было. (Арсений имел в виду свои отношения с Наташей.) Было, выронил — и нету его. — И словно для убедительности он протянул раскрытые (с растопыренными пальцами) ладони, чтобы показать, что в них не было того, что он только что держал в них.—Нет, выпало, разбилось.— И еще более ссутуленно, чем входил в комнату, вышел из нее.

Для Арсения этот разговор имел лишь то последствие, что с еще большей настойчивостью заставил его искать утешения в мысленном созерцании жизни. Ничего не желать, не видеть (из того н а с т о я щ е г о, что было с ним) было легче, чем думать о Наташе, Галине или Юрии, который, не успев оглядеться и узнать что-либо в жизни, ушел из нее; легче было, ничего не желая для себя, постоянно сознавать, что никому не приносишь этим зла, и к услугам Арсения (для поддержания в нем этих мыслей) был Христофоров со своим белым, старчески-морщинистым лицом и морщинистыми, в веснушках руками, которыми он открывал и подавал Библию. Арсению доставляло теперь удовлетворение думать, что нет ни добра, ни зла, а есть только действие, приносящее

добро или зло, и что надо только не совершать этого действия, вернее подавлять в себе всякое желание чего-либо. И хотя это было не совсем по Библии и Христофоров покачивал головой, слушая, как Арсений (спустя уже несколько дней после разговора с Кошелевым) излагал ему это, но конечной целью всего было — смирение, и Христофоров понял это.

— Добро-то, конечно, есть, только мы не можем постичь его, потому что — не для себя же, а для ближнего,— попробовал было вначале возразить он.

— Как же есть, когда все двуедино? Противостояние заложено во всяком деле. Родился человек, казалось бы, родилась жизнь, а в ней уже заложена смерть. Да и нет восхода, после которого не было бы заката.

— Так ведь сказано: не желай себе, а желай ближнему.—И Христофоров своим давно поставленным голосом принимался читать из Библии то, что не столько подходило к теме разговора (или даже бывало противоположно ей), сколько всегда воздействовало той своей скрытой силой, от которой человечество, освобождаясь не одно столетие, не смогло еще до конца освободиться теперь.

Серые стены камеры, кровать, тумбочка, арестантские завтраки, обеды и ужины и весь тот распорядок с утренними и послеобеденными прогулками (и допросами, на которые Арсения теперь почти уже не вызывали, так как следствием уточнялись побочные обстоятельства, без которых нельзя было завершить дело и передать его в суд),— весь этот распорядок с подъемами и отбоем, когда включался и когда выключался свет, с передачами от Наташи, сменой белья и банною процедурой был теперь для Арсения жизнью, какой он жил изо дня в день, привыкая к ней; и если не тяготился ею, то только потому, что точно так же, как он, ни о чем будто не думая, лишь созерцал свои мысли, созерцал эту свою жизнь, в которой было у него это с в о е удовлетворение, что он созерцал ее. Но он по-прежнему, едва сомкнув с вечера глаза, сейчас же просыпался среди ночи и до утра уже не мог спать; и во время этой бессонницы его иногда охватывал ужас того, что происходило с ним. «Неужели это все?» — спрашивал он себя. «Да, все, а чего же ты хотел еще?»— отвечал ему какой-то тот, второй человек, сидевший в нем, который знал и понимал все. Арсения то начинало

знобить, и он с головой укрывался одеялом, то бросало в жар, и он скидывал с себя все и лежал, застывая, расстегнув на худой впалой груди рубашку. Окно же (с согласия Христофорова) оставлялось на ночь открытым, и в первых числах октября, когда по утрам земля схватывалась уже морозцем, Арсения, простуженного, с тяжелым плевритом, перевели в госпиталь, где предстояло ему пролежать почти до самого того дня, когда в суде должно было начаться слушание его дела.

Свидания с ним по-прежнему были запрещены, и Кошелев за все это время тоже ни разу не пришел к нему. Установив, с кем Арсений сидел в камере, и узнав о Христофорове, что тот морил голодом доверявшихся ему людей, присваивая их добро себе, что на совести этого старца был уже не один десяток загубленных им и что привлекался он теперь повторно по этому делу, Кошелев решил, что рассуждения Арсения о добре и зле и подмена им этих понятий понятием некоего д е й с т в и я есть не что иное, как следствие сектантского влияния; и согласно этому влиянию все в Арсении вдруг стало ясным Николаю Николаевичу. Не сумев разобраться в нравственных и социальных сложностях, в каких заключалось Арсеньево дело, то есть не докопавшись до корней и не разглядев кроны, а увидев только засохший плод на ветке, он взялся судить обо всем дереве, что оно мертво и не стоит внимания. «Осудят — так что в нем исправлять, а если оправдают — какой толк из него? Ни работник, ни жилец с этими своими мыслями»,— было приговором Кошелева. Отказаться же от Арсеньева дела он не мог, так как никто из коллег не понял бы его, и чтобы поддержать видимость заинтересованности, он сходил к прокурору и выразил ему протест, что подзащитный подвергается определенной обработке в камере.

— Но чего же вы хотите? — было в ответ сказано ему.— Библию мы изымем, но эти святоши — это же болезнь (что надо было понимать широко и потому не предъявлять претензий к частностям). Это же — как холера, от которой не всегда знаешь, кому и какую вакцину привить.

— Но все же? — возразил Кошелев.

— Разумеется, что-то предпримем,— сказал прокурор, но когда распоряжение его дошло до руководства следственного изолятора, Арсений уже был в госпитальной палате и нуждался в иной, врачебной помощи.

Для Кошелева же вся его прежняя будничная жизнь с ее служебными и домашними заботами и теми часами отдыха, когда он позволял себе по субботам и воскресеньям прогуляться к стожкам, с бесконечными заседаниями, приемами, протокольными и не протокольными обедами, на которых выкладывались все самые последние так называемые юридические новости Москвы, — жизнь эта точно так же, как она протекала до того, как он заинтересовался Арсеньевым делом, протекала и теперь, когда интерес к делу иссяк и оставалось только произнести защитительную речь на суде. Оправдают или не оправдают Арсения — это уже не занимало Николая Николаевича. Он не вспоминал и о брате Семене, который все еще был в Венгрии (и которому всегда и все было ясно в жизни). Ясности этой не требовалось Кошелеву, так как он, не открыв никакого нового явления в обществе, не испытывал теперь и тех прежних сомнений, прав ли в чем-то или не прав; присев в один из дней к письменному столу и положив перед собой стопу чистой белой бумаги, он принялся, в сущности, делать то, что он делал всегда,— излагать на ней то общеизвестное, что должно было быть поучительным и обязательным для других и было необязательным и ненужным для себя (но что, Кошелев знал, будет принято, напечатано, оплачено); он принялся за то свое обычное дело, без которого не то чтобы не могло обойтись общество, но не мог обойтись сам Кошелев со своим требовавшим расходов семейством; и он, не оглядываясь, сколько и чего было пройдено им по дороге и сколько и что еще предстояло пройти, натягивал свои ничего, в сущности, не везущие постромки и спокойно, весело, философски, как он, смеясь, говорил о себе, смотрел на свое дело.

XLIII

Из всех многочисленных впечатлений минувшей войны одно, и важное, осталось почему-то (непонятно, в силу каких причин) не описанным ни литераторами, ни полководцами. Кроме того, что шли бои и проявлялся героизм, равного которому не было еще в истории ни одного народа; кроме того, что в Ставке, в армейских и фронтовых штабах разрабатывались и блестяще затем проводились военные операции, дерзость и продуманность которых до сих пор продолжают волновать воображение;

кроме того, что молниеносно, казалось, прорывались самые мощные, считавшиеся неприступными оборонительные сооружения врага и в подразделениях и частях чувствовалось всеми то общее настроение, какое всегда сопутствует наступающим войскам (и какое было усилено тогда сознанием близкой победы),— люди, участвовавшие во всем этом деле, кроме того, что рыли окопы, стреляли, захватывали города и высоты и снова окапывались и стреляли, люди эти, думавшие о жизни, невольно (и не только в минуты затиший) приглядывались к тому житейскому, что окружало их на этой новой, на которой они никогда прежде не бывали, земле. Земля эта была не своя, была чужая, но впечатление, какое она производила на солдат, было то общее впечатление ухоженности всего — и полей и строений,— за которой угадывался определенный уровень европейской жизни. Чем дальше солдаты продвигались на запад, удаляясь от своих деревень и приближаясь к центру Европы, гем четче видна была эта ухоженность всего и тем очевиднее был этот угадывавшийся всеми уровень европейской жизни. «Хоть и немцы, колбасники,— говорилось между солдатами (что как раз и было отражением этого общего впечатления),— а пожить есть вкус. Все, черти, умеют, что рука, что глаз, любо-дорого посмотреть!» Поражало солдат не только то, что все было из камня и кирпича, было покрыто добротною черепицей и было на века, как говорилось вокруг; поражали даже не дороги, которые были проложены везде и были основательными, и не песчаные возле каждого дома дорожки или гаражи и цветники, но поражало другое — что все приспосабливалось для дела, даже ручеек, как было в Австрии: стоит на нем выкрашенная будочка на замке и дает ток, и током этим освещается и фермерский дом, и работают от него насос, качающий в чаны воду, и всякие другие моторы — в столярной ли, в слесарной ли мастерских или в коровнике,— облегчающие крестьянский труд. «Да, хоть и колбасники, а посмотреть есть что, есть, есть»,— возникало, жило и увезено было затем, после войны, это неприметное, приглушенное лишь на время чувством победы солдатское впечатление.

Впечатление это, привезенное миллионами людей, если бы оно было применено к делу, стало бы заметным явлением в народной жизни. Но оно не было применено к делу. О нем лишь вспоминали — по избам ли во время

застолий, в иные ли какие минуты душевного отдохновения, когда между вчерашними солдатами, теперь вернувшимися к земле мужиками, заходил разговор о минувшей войне. «Что-что, а уж землю свою сумели обихо-дить»,— так ли, по-другому ли, но теперь с грустной задумчивостью произносились эти слова. Русскому человеку жаль было, что за множеством разных других дел (за тысячами бед, принесенных войной, которые надо было исправлять) он не находил ни возможностей, ни сил точно так же обиходить огромные пространства своей земли. И оттого, что не находил этих возможностей и сил, угасало и выветривалось из памяти, растворяясь в суетных житейских мелочах, это важное впечатление войны. О нем забывали, его уносили на погосты вместе с умиравшими ветеранами, и жизнь, та жизнь русских деревень с жердевыми оградами, с печами по избам и покосившимися баньками на задах, с разъезженными по весне и по осени колеями проселочных дорог,— как она, сообразуясь со своими определенными и устоявшимися понятиями, шла всегда прежде, шла она и теперь медленно и неохотно, как если бы ухоженность и удобства действительно были противопоказаны ей. Миллионы людей, вернувшиеся с войны,— как будто они не хотели себе добра, находя оправдание (как, впрочем, и теперь мы любим сказать это) в том, что у нас, дескать, не то, что за рубежом, у нас — п р о с т о р ы, и что мыслимое ли дело обиходить их! «Что нам в пример? Нам ничто не в пример, как умеем, так и живем». И это «как умеем, так и живем», столь удобное для оправдания лености, если и не произносилось каждым, то многими принималось как некая национальная черта и мешало делу. «Что нам до немцев, эко нашли у кого учиться»,—любил сказать Сухогрудов (в тот деятельный для себя период жизни, когда возглавлял райком). И так же, как он, как незнакомые ему Сергей Иванович с шурином Павлом, как тысячи других по деревням и городам, забыл постепенно об этом впечатлении войны и Семен Дорогомилин. Он как будто катился по тому же желобу, по которому катились все, и не успевал (за обилием обкомовских дел) оглянуться и посмотреть, что и откуда можно полезного взять для жизни, и не решался в силу уже традиций (словно что-то осудительное есть в этом) вернуться к памяти прошлого.

Но жизнь, может быть, тем и удивительна, что не знаешь, в какую минуту и какой стороной она обернется для

тебя. То, что жене Дорогомилина Ольге представлялось неприемлемым, представлялось как понижение, когда мужа ее, видного обкомовского работника, перевели в какое-то там, как она выразилась, Песчаногорье руководить строительством какого-то там (что особенно оскорбляло ее слух) птицекомбината, и что самим Дорогомилиным было принято вначале с неохотой и во многом огорчило его,— теперь, когда он, посланный с делегацией от СССР в Венгрию изучить опыт работы подобных птицекомбинатов, увидел, как все было поставлено на знаменитых птицекомплексах Агард и Баболна, увидел, как экономично и выгодно было производство бройлерных кур (и, главное, увидел масштабы, как можно было наладить подобное производство у себя), он был не только доволен происшедшей переменой в своей жизни, но испытывал то чувство, словно все, что было до назначения, то есть когда он разъезжал по районам, проводя совещания и вдохновляя людей на труд (и что было, несомненно, нужным и важным делом), представлялось чем-то не главным, в то время как э т о, что делал и к чему готовил себя теперь, было настоящим, что должно быть у каждого человека. Почти с первых же часов, как только поезд Москва — Будапешт после таможенных досмотров и формальностей пересек границу Венгерской Народной Республики и за окном вагона открылась чужая земля, чужие города, деревни с и н ы м укладом жизни и со своими, и н ы м и и давними традициями труда,— невольно и будто лишь в ряду с другими воспоминаниями о войне, хотя Дорогомилин шел с боями не через Венгрию, а через Польшу и Германию, вспомнил он и о том своем солдатском впечатлении у х о ж е н н о с т и з е м л и, и впечатление то, возбуждавшее тогда определенные мысли и подтверждавшееся теперь видами из окна (и еще более затем подтвердившееся на птицекомплексах Агард и Баболна), наталкивало на те же определенные размышления и теперь.

— Да что же вы хотите, сколько земли у них и народу и сколько у нас! У нас одна Москва больше, чем вся Венгрия,— сейчас же послышалось это привычное уже мнение, которым мы готовы оправдать все, что можно и чего нельзя оправдать им.

— Дело, видимо, не в количестве гектаров и не в численности населения,— попытался возразить кто-то.

— А в чем?

— В традициях.

— Выходит, что ж, русский человек нетрудолюбив, что ли?

— Отчего же нетрудолюбив? Трудолюбив, да уж больно любит по-своему пуп надрывать. А что же надрывать, когда есть иные, и более эффективные, методы производства. Работать надо не только руками, но головой, головой!

— А по-моему, так и у нас хороших традиций хоть отбавляй, только мы почему-то все больше поднимаем Аввакумово неприятие или обломовскую леность готовы возвести в идеал, так чего же мы хотим от народа?

— Ну, положим, народ есть народ и навязать ему чего-либо нельзя, он всегда сделает то, на что он способен и что он хочет. А просторы и разные иные условия нашей жизни тоже сбрасывать со счетов нельзя.

Говорили так, говорили несколько иначе (и в купе и в проходе вагона), в то время как поезд Москва — Будапешт пересекал просторы Венгрии, в то время как все новые и новые подтверждения тому — станции, поселки, города, квадраты ухоженных полей и виноградников — возникали и, проплывая, исчезали за окном. Говорили об этом и в Будапеште, пока жили в гостинице, и вспоминали затем в Баболне, когда прибыли туда, и из всех этих разговоров (между членами делегации) и воспоминаний Дорогомилин выводил для себя лишь одно: что есть проблема и что пора не словами, не рассуждениями, а делом решать ее; и он, взволнованный и озабоченный, старался как можно больше запомнить из того, что, казалось ему, важно было перенять у другого народа.

XLIV

Чтобы вполне знать традиции и уклад жизни того или иного народа, недостаточно только пожить жизнью этого народа (месяц ли, год ли, дольше ли — не имеет значения), а надо родиться на этой земле. Все люди нерусского происхождения, особенно те, что смотрят на нас из-за рубежа, всегда говорят о некой загадочности русской души, тогда как для всякого русского человека нет никакой загадочности ни в самом себе, ни в своем народе. Все, что было в истории, и все, что происходит с нашим народом теперь, есть только естественное выражение характера, склада ума и суровости природных условий, в которых устраивалась, протекала и протекает

наша жизнь. Точно так же и у других народов проявление их характеров есть следствие многовековых и естественных условий их жизни, и потому для венгра нет загадочности его венгерской души, какою душа эта должна представляться нам. Дорогомилин не то чтобы думал над этими вопросами загадочности души, но чувствовал, живя среди чужих ему людей (как ни были они открыты и дружелюбно настроены к нему и ко всем советским людям), что постичь их жизнь, вернее постичь многое из того, что он видел (и что было, в сущности, привычным, естественным для венгров и не замечалось ими), он не мог; и оттого невольно это м н о г о е становилось загадочным для него. Он видел, что система руководства хозяйством, как и руководства страной — и в партийном и в государственном отношении — была как будто такой же, как у нас: те же обкомы, горкомы, райкомы и та же выборная от верха до низа власть на местах; по тому же будто принципу подчинения и скоординированности работали сельскохозяйственные и промышленные предприятия и даже многие ведущие специалисты были с дипломами наших высших учебных заведений, то есть со знаниями, полученными у нас; он видел, что многое и многое было схоже с тем, как было у нас, но в то же время по какому-то будто особенному прилежанию к делу и, главное, по результатам всего было различие, которое как раз и казалось Дорогомилину странною и непостижимою загадкой. «Может быть, и в самом деле от народа зависит? — приходило на ум ему это болезненное, против чего сейчас же восставала в нем вся историческая гордость его.— Нет, не от народа,— отвечал он.— Но от чего же тогда?» И он только с еще большей внимательностью начинал присматриваться к тому, что было вокруг.

Он жил в доме Яноша Сабо в отведенной ему отдельной комнате и вполне мог наблюдать за жизнью простой, состоявшей лишь из трех человек венгерской семьи. Яношу только что исполнилось тридцать пять, он был красив и строен, как может быть строен мужчина в его возрасте, и был (как инженер-эксплуатационник) на хорошем счету у руководства птицекомплекса Агард. Учился он в Москве и охотно и довольно еще хорошо говорил по-русски. Дорогомилина он называл не иначе как по отчеству, не выговаривая всего слова «Игнатьевич», а произнося просто «Гнатич», что было удобно и, видимо,

по понятиям его, уважительно для русского человека, и Дорогомилин ответно называл его «Янош, дорогой», непременно добавляя это «дорогой», расспрашивал ли когда о чем или, разговорившись, когда семья Яноша собиралась за столом, рассказывал о себе. В гостеприимстве Яноша, в том, как он умел улыбаться и слушать, было, казалось Дорогомилину, что-то такое, что, видимо, роднит всех простых людей на земле. «В любой семье и у нас с таким же радушием приняли бы его»,— думал он, не находя в общем укладе жизни Яноша чего-либо особенного, что поразило или удивило бы его, кроме разве тех явных признаков различия, которые заключались иногда в одежде, иногда в приготовлении блюд, в привычке спать не на перинах, как в деревнях и городах было принято раньше у нас, а под перинами, укрываясь ими как одеялом. Дорогомилину казалось, что в Яноше было что-то такое — крепкое, основательное,— что было в брате Николае, как он всегда видел и понимал брата (и понимал себя), а в жене Яноша Маргит — что-то от жены Николая Лоры с ее спокойствием, домовитостью и любовью (как Дорогомилин думал о ней, особенно в этот последний свой приезд к брату); и он ловил себя иногда на том же чувстве к Маргит, на каком ловил себя по отношению к Лоре. Чаще всего это случалось с ним в минуты, когда он видел Маргит в ее национальном наряде. Суть ее национального наряда состояла как будто лишь в том, чтобы как можно больше надеть на себя гофрированных, в крупную складку юбок, как это со стороны представлялось Дорогомилину. Но в то время как он смотрел на юбки, полнившие ее, он видел не эти ее юбки и не полноту, которой так страшатся нынешние женщины, боясь стать немодными и моря себя голодом для того, но, глядя на Маргит, он еще острее будто начинал понимать то главное предназначение женщины (как он понимал это предназначение в Лоре), суть которого есть материнство, и он вспоминал о своей Ольге с ее вишневой, под старину гостиной и завсегдатаями в ней и постоянной тягой ее к Западу, вернее к тому ложному, как это очевидно было Семену теперь, что мы воображаем себе европейской жизнью, в то время как настоящая, не ложная европейская жизнь — вот она, такая же простая, основательная и ясная, как она не в ложном, а в настоящем виде есть всюду и в русских семьях. «То, что настоящее, везде настоящее»,— говорил себе Дорогомилин,

чем дольше жил у Яноша и чем больше сравнивал его семейную жизнь со своей (и с семейной жизнью брата). Он с завистью смотрел на Маргит, как та по утрам, как и во всякой нашей русской семье, собирала и отправляла в школу свою девятилетнюю, похожую на отца и, очевидно, счастливую этим Илонку. Илонка была любознательна, как все дети, и Дорогомилин с охотою учил ее произносить русские слова. «Все как у нас: и воскресные застолья, и вечерние сидения у телевизоров, и семейные выходы в кинотеатр,— перечислял Дорогомилин, добавляя к ним и поездки в Секешфехервар (областной центр), на озеро Балатон и на местное озеро Вэлэнции, где устраивались гулянья и пикники.— Все как у нас, и нет ничего особенного ни в воспитании и общении подростков, ни в общении взрослых,— думал он.— Но отчего же тогда это особое будто прилежание к труду? Что заключено в этом?» Но как он ни всматривался, не мог ответить себе на этот вопрос.

Его поражали не просто дисциплина и культура труда (что могло быть одновременно и традицией и поддерживаться экономическим стимулом), но поразительно было, что культура эта, как общая культура жизни, чувствовалась во всем, с чем бы он ни соприкасался. Работавших на каждом участке птицекомплекса было ровно столько, что им некогда было по полдня проводить за перекурами, тогда как и не было перегруженности, чтобы люди изможденными приходили домой. Корпуса (и служебный и производственные) были поставлены так, что невозможно было более удобно расставить их. Точно так же было и с кормами для птиц, и с механизмами, и с отбором молодняка для воспроизводства, и еще и еще в разных мелочах, каких достаточно в хозяйстве. Поразителен был этот продуманный, ненавязчивый и необременительный, но точный рационализм, с которым Дорогомилин, казалось ему, сталкивался не только на работе, но везде: в столовой ли, где если подавалось блюдо, то всего в нем было столько, что съедалось все и не выбрасывались затем груды отходов, если подавался хлеб, то булочка (всякий раз мягкая) была того определенного размера, что как будто с точностью было вымерено, сколько на завтрак, обед и ужин требовалось человеку хлеба — и ни грамма больше, ни грамма меньше, а если подавались сливки к чаю или кофе, то в той разовой (маленькой) упаковке, что просто невозможно было не

удивляться этому выверенному рационализму. «Что это? Хорошо? Плохо? И может ли привиться у нас?» — думал Дорогомилин, видя в этом рационализме то огромное дисциплинирующее начало, какого нам при нашей так называемой широте души, происходящей будто бы от широты наших просторов, а в сущности от безалаберщины, и при безграничности будто бы природных богатств (которые мы всегда умели и умеем пускать сквозь пальцы) не хватало. «Да, есть чему поучиться, есть, есть»,— приходил к этой мысли Дорогомилин.

Для венгров жизнь их изобиловала своими проблемами, и не все было в ней так соотнесено одно с другим, как представлялось Дорогомилину. Но он видел ее такой (как наездами видел жизнь брата, восхищаясь ею) и до полуночи засиживался, делая записи своих наблюдений и представляя, как все преобразилось бы, если бы это дисциплинирующее начало труда было перенесено к нам.

XLV

Вернулся Дорогомилин из Венгрии в конце сентября полный вдохновляющих впечатлений, идей и планов переустройства по тому открывшемуся образцу рационализма, который не то чтобы не был известен у нас прежде (в понятие европейской жизни всегда входило понятие рационализма), но, привозимый разными умными людьми в Россию, рационализм этот либо не принимался вовсе, либо, насаждаемый насильственно, образовывал те формы уродства, от которых только еще сильнее возникало у всякого русского человека желание противостоять этому чужому, что навязывалось ему. Дорогомилин и сам не раз испытывал это чувство неприятия, когда видел, что в привычный уклад народной жизни (хорош ли, плох ли этот уклад — вопрос другой) вдруг начинало вклиниваться то размывающее, что приходило от Запада и не совмещалось с нашими представлениями труда и нравственности. «Мы что же, немцы какие? У нас свой рационализм и свой подход ко всему, дай только развернуться и не бей по рукам, не держи, не связывай, как это веками делали с нами, а мы уж найдем, как обиходить все на своей земле». Так думали и продолжают думать русские люди — от чувства национальной гордости (как и всякий народ может думать о себе), и Дорогомилин не только знал, но и разделял это мнение; он вполне представлял,

как трудно перешагнуть этот барьер в себе, не говоря уж о народе (да и нужно ли перешагивать, а если перешагивать, то через что и до какой черты?), но впечатление его от поездки в Венгрию было так сильно в нем, а желание переустройства, то есть добра всем, так искренно, что и гордость в себе и все иные барьеры (в народе) были забыты, словно их и не существовало вовсе, и он был озабочен только одним — поскорее передать всем и привнести в общую жизнь э т о, чем он был переполнен теперь.

«Да, нам надо больше, больше ездить, смотреть, видеть и перенимать»,— выходя на перрон Киевского вокзала Москвы, думал Дорогомилин, в то время как на лице его, еще более загоревшем, чем месяц назад, когда он выезжал из Пензы, ясно было видно то выражение душевной обновленности, как бывает на поле после дождя, когда каждый стебелек полон радости жизни. Сутуловатый, долговязый, худой, как он выглядел всегда перед теми, кто знал его, с перекинутым через руку плащом и с чемоданом с подарками — и для Кошелевых, и для Ольги, о которой он не думал теперь так мрачно, как в день отъезда, и даже для Мити с Анною, которых надеялся повидать в Москве, как обещал, чтобы помочь Мите,— он неторопливо двинулся вслед за членами делегации, с которыми приехал, к выходу, весело и счастливо поглядывая по сторонам. Толпа людей, та самая толпа, по которой (как это принято считать многими), как она одета, сейчас же узнается уровень жизни народа и государства,— толпа эта, двигавшаяся по перрону и на привокзальной площади, была точно такой же, какой она по внешнему виду была в Будапеште. Так же суетно и непонятно зачем одни спешили направо, другие налево, устремляясь как два потока навстречу друг другу, бурля и растекаясь по троллейбусным и автобусным остановкам, к метро и стоянкам такси. Утро было ясное, солнечное, и день ожидался сухим, теплым, одним из тех редких для этой поры (по московской погоде) дней, когда кажется, что лето только еще достигло середины и ничто не напоминает об осени. Солнечно и тепло было так же, как солнечно и тепло было в Будапеште, женщины шли в платьях, мужчины в рубашках и костюмах, от асфальта и серых вокзальных стен отдавало теплом, как это и бывает в летние дни, и Дорогомилин невольно чувствовал тот какой-то связующий мостик, который в душе его

давно уже был перекинут между Москвой и Будапештом, между тем огромным народом, который представлял он, Дорогомилин, и тем, представителем которого был Янош со своей семьей, и эта очевидная погодная будто схожесть и схожесть толпы, одинаково одетой и одинаково суетной, как видел ее Дорогомилин,— все было для него лишь подтверждением того, что люди, обычные простые люди везде одинаковы и что то, что возможно в Венгрии (то есть рационализм как дисциплинирующее начало и как источник определенного достатка и уровня жизни), возможно и здесь, и что надо только понять, в чем суть этого европейского рационализма, как понял и ощутил все сам Дорогомилин; и он тем счастливее смотрел вокруг себя, чем сильнее сознавал себя готовым служить людям.

Но вместе со всем этим единством жизни, как он радостно воспринимал все, в то время как он, ожидая такси, продолжал смотреть на толпу и стаи машин, устремлявшихся то с моста к площади, то от площади к мосту, он невольно начинал замечать и то неуловимое прежде различие, какое так ли, иначе ли, но он должен был ощутить. Людей и машин было здесь больше, чем в Будапеште, и площадь, на которой он стоял, была размашистее, шире, и гул, казалось, был беспрерывнее и мощнее. Он не видел всей Москвы, как она, раскинувшись микрорайонами на пространстве поля и леса, лежала, скованная стодесятикилометровым обручем кольцевой дороги, не видел ни центра с Кремлем, Красной площадью и прилегавшими к ним кварталами разных административных зданий, гостиниц, торговых рядов и церквушек Зарядья, сверкавших обновленным золотом куполов, ни Бульварного кольца со всей его московской стариной, ни Садового с потоком «МАЗов», «ЗИЛов», легковых, с виадуками и готическими (сталинского периода) высотными домами, вызывавшими когда-то толки и недовольство и неотделимыми теперь от общего силуэта Москвы; но весь этот огромный столичный город с его заводами, строительными площадками, театрами, музеями, научными и министерскими кабинетами, с его традициями непокорства и братства, то есть со всей той умственной и физической жизнью, какая была сосредоточена здесь,— город этот производил на Дорогомилина то впечатление, что будто от игрушечных европейских столиц, от тех малых квадратов ухоженной земли, где и руки не разве-

дешь, чтобы не наткнуться на что-либо, он попал совсем в иные масштабы жизни; и вместе с тем как он чувствовал эти иные масштабы жизни, в сознании его не то чтобы возникало сомнение, нужен или не нужен здесь европейский рационализм, но он просто приходил к мысли, что будто привез детские штанишки для взрослого человека и надо было, вынув, подавать их и стыдно и неловко было сделать это. «Здесь своя жизнь, свой ритм и свое то главное, что составляет стержень всего»,— думал он, в то время как все еще стоял в очереди, ожидая такси. В душе его происходила перемена и перемена эта отражалась на лице, на котором исчезало веселое и счастливое выражение и заменялось озабоченностью; он молча сел в машину (с тем усталым видом, который был как будто от дороги, но на самом деле от придавленности масштабами жизни) и молча и нахмуренно смотрел перед собой на Смоленскую площадь, к которой подвозил его таксист. Перед самым въездом на площадь была пробка (было зауженное место из-за какого-то ремонта дороги), через каждые два-три метра машина останавливалась, окруженная десятками других, двигавшихся с той же скоростью, и от асфальта, от выхлопных газов и работающих моторов было угарно и жарко. Это ощущение жары усиливалось еще тем, что горловина дороги была с двух сторон стеснена высотными корпусами какой-то строившейся модерновой гостиницы (с подземными переходами, о чем к слову будто сообщил таксист), а впереди над площадью, над капотами и крышами столпившихся машин, как трезубец, подпирающий небо, нависало высотное (одно из тех, сталинского периода) здание министерства, пряча за своей каменной спиной старые и мелкие арбатские переулки Москвы.

XLVI

Дорогомилина, как и других, прибывших с ним, поместили в гостинице «Россия». Им надо было еще пожить в Москве, чтобы побывать в соответствующих управлениях и главках, но этот день, день приезда, был объявлен свободным и можно было использовать его для себя.

У Дорогомилина было три возможности использовать этот день — поехать к Кошелевым или к Мите или же попробовать поискать Ольгу, которая, как он чувство-

вал, могла быть еще в Москве. «Да что же к брату, когда она может быть еще здесь»,— подумал он, в то время как выкладывал и перебирал подарки, вспоминая, какой и для кого был куплен им. У него было несколько адресов, где обычно останавливалась Ольга, приезжая в Москву, и как только он в почищенном и подутюженном (горничною на этаже) костюме вышел из гостиницы на улицу и оказался в такси, он сейчас же назвал тот первый адрес, где он полагал найти теперь Ольгу.

— На Аэропортовскую,— сказал он таксисту, удобнее усаживаясь на переднем сиденье, как он всегда любил ездить, и поправляя на себе костюм, чтобы не помять его.

Он застал Ольгу в тот момент, когда она, только что выпроводив Тимонина, с которым провела ночь, была еще в халате, неприбранная, непричесанная и допивала за кухонным столом остывшую чашечку кофе. Вся еще под впечатлением объятий с Тимониным (и с чувством тепла и слов, какие тот говорил ей), она была так удивлена появлением мужа, что в первую минуту только смотрела на него и не могла ничего сказать ему.

— Ты? — затем спросила она.— Ну и что же ты этим хочешь сказать?

— Я рад тебя видеть, Ольга. Я был в Венгрии и так соскучился,— сейчас же проговорил он, как будто не было никакой размолвки между ними.— Ты не представляешь, как я рад, что застал тебя,— снова сказал он, подойдя, обняв и целуя ее. Он взял ее на руки и, пройдя с ней в глубь комнаты, опустил на диван перед собой, всматриваясь в ее смущенное и покрасневшее от неловкости лицо. Он находил в этом подсушенном будто и заостренном лице ее то, что он красивого всегда находил в нем, и не хотел отрывать от него взгляда.— Ты не представляешь... Я знал, я чувствовал, что ты здесь,— видя, что эти слова действуют на нее, повторил он. То, что она не оттолкнула, когда он переносил ее, было для него признаком примирения, и он, торопясь закрепить это примирение, прижал ее холодные влажные ладони к своим щекам.

— Нет, Ольга, это счастье, что мы опять вместе,— выждав минуту, повторил он, возбуждаясь от близости и доступности ее.— Я столько думал о тебе.

— Но думала ли я? Ты меня спросил? — высвобождаясь от него, решительно сказала она.— Или я уже не

в счет? — И она, встав и отойдя к окну, принялась расчесывать свои длинные и редкие черные волосы, стоя спиной к мужу — вся такая же для него, какой он помнил ее (по пензенской своей квартире), когда перед сном, прежде чем лечь, она подходила к зеркалу и, подняв оголенные руки, начинала прибирать и заплетать в косу прежде рассыпанные по плечам и спине волосы. Он хорошо помнил эти ее движения, на которые смотрел теперь, и в душе его не только не было огорчения или обиды на нее, но, напротив, он готов был как будто не то чтобы простить все ей, но готов был сам повиниться перед ней, хотя и не знал, в чем состояла его вина.

Ольга продолжала стоять к нему спиной и обдумывать свое положение.

С тех пор как она видела в последний раз мужа, ей казалось, что она пережила столько, что была теперь другой, чем прежде, тогда как на самом деле не только не была другой, но все дурные привычки ее и желания, исходившие от сознания того, что она литератор и, значит, человек особенный, имеющий право претендовать на особое место в обществе, лишь сильнее здесь, в Москве, укрепились в ней. Она, в сущности, не жила эти месяцы (в том понимании полезности труда и духовного обогащения, что мы обычно подразумеваем под словом «жизнь»), но оставалась в кругу тех же своих пензенских интересов и страстей, целью которых было лишь всегда быть на виду и признанной всеми. Для чего надо было быть на виду и признанной всеми, она не говорила себе, но она постоянно думала о средствах, какими можно было достичь цели, и надеялась на Тимонина, который, однако, только обещал все и не делал ничего, как он обычно обещал всем и не делал, и Ольгу оскорбляло и мучило это. После ссоры с ним на карнауховской даче она не хотела слышать о нем, но вскоре убедилась, что без него было трудно обойтись ей, и вновь нашла способ повидаться с ним и допустила его к себе. Ей тяжело было сделать это, как будто что-то тошнотворное предлагали проглотить ей, и как она затем ни подавляла в себе ощущение тошноты, уверяя, что: «Куда он денется? Он мой, и я заставлю его сделать то, что он обещал (что в ее понимании было жениться на ней, как если бы она была уже свободна)»,— теперь, когда за спиной был муж и смотрел на нее, ей особенно неприятно было чувствовать себя обманутой Тимониным. Она даже на минуту как бы

застыла с расческой в руке — так мучительна была ей ее беспомощность. Ее оскорбленному чувству нужен был выход, и она с той логикой, как это делает большинство женщин, по которой всегда и во всем бывают правы только они, сейчас же сказала себе, что во всех ее мучениях (и в этом унижении и стыде, что допустила к себе Тимонина) был виноват муж. «Кто же еще? Разве не из-за него я здесь и разве не из-за него переношу все это?» И этого ей было вполне достаточно, чтобы не только почувствовать, но поверить в то, что она и в самом деле чиста; и оттого, что она была чиста, что во всех страданиях, каких натерпелась она, повинен был муж, который допустил все, она только с бо́льшим пренебрежением думала теперь о нем и с холодностью и спокойствием ожидала его объяснений.

— Ты был в Венгрии? — затем повернувшись к мужу, спросила она, хотя секунду назад не собиралась говорить с ним об этом. — Я не ослышалась? — добавила она, ловя глазами взгляд мужа и сосредоточиваясь вся на этой как будто вдруг открывшейся ей перспективе, что в служебной карьере мужа произошло что-то важное, чего она не знала, но чем надо было, пока не поздно, воспользоваться ей (все для тех же своих целей, о которых она, впрочем, никогда открыто не говорила мужу, боясь, что он не поймет ее). Она сейчас же уловила то для себя главное в изменившемся положении мужа, что ей всегда представлялось престижным в людях, то есть возможность (по должности) заграничных поездок, и в том своем всегдашнем выборе между Тимониным и мужем, в котором прежде всегда отдавала предпочтение Тимонину, она почувствовала теперь, что предпочтение могло быть отдано мужу; и в соответствии с этим новым ходом мыслей (чтобы не упустить, что могло принадлежать ей) на лице ее вместо холодности и отчуждения появилось то теплое выражение, с каким она обычно, когда хотела успокоить и привлечь к себе мужа, смотрела на него.

— Что же ты молчишь? — спросила она, голосом еще более давая понять, как она чиста перед ним.

— Смотрю на тебя,— ответил Дорогомилин, видя лишь это потепление на ее лице, по-своему понимая значение его и подаваясь вперед, чтобы обнять ее.— Я больше месяца был в Венгрии и столько повидал, столько интересного привез, что... вылезти нам надо из лодки, в которой сидим, вылезти, чтобы сдвинуть ее!

Для Дорогомилина с того дня, как он расстался с Ольгой, произошло столько событий, обогативших и изменивших его, что он, глядя теперь на жену (и на прошлую свою жизнь с ней), смотрел на все иным, новым и восторженным взглядом. То, как он в прошлом жил с ней, казалось ему, было нелепым и глупым заблуждением; то, как мог бы построить с ней жизнь теперь, представлялось так, будто поле, прежде обозримое только у ног, виделось с высоты со всеми своими возможностями и выгодами расположения. Пережитое им, когда он смотрел на Лору с ее детьми и на всю обстановку в доме брата, и повторенное затем это же чувство, когда наблюдал за Маргит, завидуя Яношу (завидуя, в сущности, тому, что есть обычные, нормальные семейные отношения), он переносил теперь на Ольгу, примеривая невольно взглядом, как бы ей подошло быть на месте Лоры или Маргит, и находя (с тем чувством удовлетворения, что он не ошибся в свое время, женившись на ней), что она была не хуже, но лучше как женщина и привлекательнее их. «Как же я не видел и не понимал этого раньше и не сделал того, что сделали у себя брат Николай и Янош (то есть не создал той самой семейной атмосферы в доме, в которой, как он ясно видел теперь, как раз и заключено было счастье жизни). Я обвинял ее, но как же я мог обвинять ее?» — думал он, этим своим оценивающим взглядом продолжая смотреть на нее. Он как будто не связывал то, что было его личным делом (свою жизнь с Ольгой), с тем, что обновленного было в сознании его по отношению к общественному устройству (поразивший его европейский рационализм, о котором он снова думал, что можно было с пользою применить его здесь), но все это само собою было объединено в нем и представляло цель, к которой он был устремлен теперь.

— Мы думаем, что мы живем и нет нигде и ничего лучше нас,—не разграничивая общественного и личного, а видя в единстве этот целостный идеал жизни, продолжал Дорогомилин, в то время как для Ольги не только непонятны были эти его слова, но она сейчас же почувствовала за этими словами ту знакомую ей и осуждавшуюся ею в муже беспредметную демагогию, за которой, как за стеной, всегда бывало скрыто конкретное дело. Ей хотелось услышать от мужа не это, а другое, что подтвердило бы ей ее обнадеживающие предположения; но Дорогомилину казалось, что то, что он говорил, не могло

не представляться интересным ей, и продолжал восторженно: — Ты понимаешь, я как будто заново родился после этой поездки. Круг жизни, он не ограничен нашим двором, нашей областью или нашим государством, если хочешь.

— Ты не ответил на мой вопрос,— остановила его Ольга.— Хочешь поесть? Я приготовлю кофе.

XLVII

Пока Ольга готовила кофе и переодевалась затем, чтобы выйти к столу, Дорогомилин был предоставлен себе и прохаживался по комнате с тем углубленным в себя выражением, будто мир вещей в этой незнакомой ему квартире, где он застал Ольгу (и который о многом мог бы рассказать ему),— мир этот настолько мало места занимал в общем пространстве нарисованного им идеала жизни, что не было нужды присматриваться к вещам; и по ходу развития этого идеала, как по ходу шагов, он будто слышал поступь того надвигавшегося времени (тех грядущих в наступающем десятилетии перемен), в котором он знал, что и как делать ему; и он точно так же прислушивался к шорохам за дверью, где переодевалась Ольга, чтобы обновленною появиться перед ним, и был весь в ожидании, какою увидит ее.

«Они говорят о нас, что у нас монолит и что все мы едины во мнении по любому вопросу,— вместе с тем про себя говорил он, думая уже не о Венгрии, но о Европе вообще и дискутируя с ней.— Но они только упрекают нас в том, в чем мы сильны, и не видят при этом своего смешного положения». В то время как он смотрел на дверь, из которой должна была выйти Ольга, он продолжал этот спор, где всякий ответ противоположной стороны был только предположительным ответом, в котором все могло быть легко опровержимым.

— Ну вот, можно и к столу, — сказала Ольга, с голубыми тенями под глазами и со всеми своими привычными красками на лице, выходя из своей комнаты.

Она была в том желтом кримпленовом платье, в каком она знала, что нравилась Тимонину, и в каком, она чувствовала, была хороша и должна была понравиться мужу. Платье это здесь, в Москве, было еще более укорочено ею, чем оно было укорочено в Пензе (провинция всегда отстает в моде), и ноги ее были так оголены, что

в первую минуту неприлично было смотреть на них. Но ноги эти были красивы, как было красиво все улыбавшееся теперь ее маленькое смуглое лицо в обрамлении черных, рассыпанных по плечам и спине волос, и Дорогомилин, успевший отвыкнуть от стиля своей жены и видевший по-иному идеал женщины,— Дорогомилин на мгновенье замер, глядя на нее. На него как бы повеяло прошлым, от которого он отказался как от ненужного, отягчавшего в пути груза. «Да нет, что я, все это не так»,— вместе с тем сказал он себе, в то время как смотрел на Ольгу; и в том колеблющемся состоянии — принять или не принять ее такой,— в каком в это мгновенье он находился, он не мог не склониться к тому, что должен принять ее; отвечая на ее улыбку своею мягкою и доброжелательною улыбкой, он подошел к ней и взял ее руку.

— Может быть, мы отметим как-нибудь получше эту нашу встречу? — сказал он.— Пойдем куда-нибудь в ресторан.

— Сейчас? Так?

— А что нам еще нужно?

— Ну хорошо, если ты хочешь,— согласилась Ольга.— Я только взгляну на кухню, все ли выключено.

Спустя полчаса они сидели в ресторане гостиницы «Россия» (так предложил Дорогомилин, потому что так было удобно ему), и официант в белом и черном и с черною атласною бабочкой у подбородка, подав в коричневых картонах меню, почтительно ожидал, обращенный более к даме, когда будет сделан выбор. Ольга же не столько вчитывалась в названия блюд, сколько поглядывала по сторонам. Она была впервые здесь и, видя (по элегантности одежды), что здесь были иностранцы, испытывала то чувство приобщения к чему-то будто особенному, к чему всегда хотелось быть приобщенной ей. Ей нужен был муж-дипломат и нужно было общество, в котором она могла бы, не утруждаясь заботами о делах (как и в Пензе, но только на другом уровне), вести тот же светский образ жизни, в котором если и ценилось что, то изысканность и утонченность манер, к чему она вполне чувствовала приспособленной себя.

— Ты выбрала? — худощавой, впалой грудью подавшись к жене, спросил Дорогомилин, так же бегло и невнимательно читавший меню. Он тоже был как будто иным и подлаживался под тот ложноизысканный тон,

какой предложила ему Ольга (и что диктовалось будто бы обстановкой).

— Я доверяю тебе,— сказала она. «Ты же из Венгрии» — было в ее глазах.

Выбрав в основном то, что было предложено официантом, и заказав шампанское, как этого он пожелал сам, Дорогомилин начал расспрашивать затем Ольгу, как были ее дела (разумеется, с изданием книги, ради которой, как он думал, она и была как раз в Москве), что было нового дома и как чувствовала себя Вера Николаевна.

Что было нового дома, Ольга не знала, потому что третий месяц жила в Москве. Не знала она, и как чувствовала себя мать, так как не писала ей и не получала от нее писем. Но по той инерции жизни, что сколько мать ни болела, никогда ничего не случалось с ней, как не случалось ничего и с самой Ольгой (как считала она), она была убеждена, что ни с кем не могло ничего произойти за это время, и сказала (с той иронической усмешкой, что ей приходится говорить это), что все там по-старому и что вообще может ли что-либо измениться в устоявшейся пензенской жизни?

— А я, ты же знаешь, я с утра до вечера занята,— сказала она о себе.— Идет редактура, и я должна быть здесь.— И она назвала имя того модного английского писателя, над книгой которого она работала (произнеся все с тем чувством упрека, что муж должен был знать это).

На самом же деле переведенная ею книга была уже сдана в набор, и ей не было необходимости быть в Москве. Она устраивала здесь совсем иные дела, о которых не могла сказать мужу.

Она видела, что она была хозяйкой положения, как если бы и в самом деле была чиста перед мужем; и она невольно входила в то состояние игры с ним, привычное ей, когда она чувствовала, что ни в чем не будет отказано ей. Но она колебалась предпринимать что-либо, так как ей все еще было неясно, переведен ли муж на другую должность, при которой престижно было бы быть ей, или оставлен на прежней, о которой она не хотела ничего слышать; ей неясно было это главное, что одно только интересовало ее в муже, и в то время как официант, принесший блюда, расставлял их на столе, она продумывала, как было лучше спросить у мужа о его служебных делах.

— Ты все еще в Песчаногорье? — не найдя лучшего, чем спросить вот так, прямо, сказала она.

— Кто и куда переведет меня и нужно ли? — с улыбкою ответил Дорогомилин, сказав искренне, что он думал об этом.— Я, знаешь, даже рад, что у меня конкретное дело, да и поехал ли бы я в Венгрию, не будь этого конкретного дела? — И он начал с Ольгой тот свой разговор, к которому он готовился все эти дни, пока был в Венгрии и возвращался в Москву. Он собирался высказать это обдуманное им не Ольге, а в управлении, или в обкоме, или своим помощникам, с которыми работал в Песчаногорье; но он говорил это теперь Ольге — так хотелось ему рассказать о европейском рационализме как дисциплинирующем начале труда и жизни, чего всегда не хватало и не хватает нам.— Если бы я был человеком государственным,— говорил он, в то время как Ольга внимательно как будто слушала его,— я бы разработал специальные меры по внедрению у нас этого именно европейского рационализма.

— Как я раньше не замечала, что ты такой же прожектер, как и Никитин,— прервала его Ольга, у которой было свое и всегда отличное от взглядов мужа представление о смысле жизни.— Он прогнозирует катастрофы, а ты — созидание, ну а жить, когда жить, а? — сказала она, как она никогда прежде не говорила мужу. «Разница только в том,— подумала она, сравнивая все слышанные ею в гостиных разговоры, которые (и она знала, что все знали это) были только игрой в значительность, с теми прежде непонятными и казавшимися действительно значительными, но открывшимися теперь совсем иной для нее стороной деловыми разговорами мужа,— разница только в том, что там у них (то есть в тех кругах, в которых общался муж) свои ценности и мерки всему, свои признающиеся формулировки и свое понимание значительности».— Ты собираешься из Песчаногорья догнать Европу. Но это смешно и этого никогда не будет.

— Почему? — удивленно спросил Дорогомилин.

— Европа тоже не стоит на месте, а движется, и у нас разные машины и разные скорости.

— Вот именно,— подхватил Дорогомилин,— разные. И если сравнивать, то наша прочнее. Наша, как... как танк, она прогарантит все, и ей нет износа. Нам нужно только чуть-чуть филигранности, чуть-чуть европейского рационализма.— И он снова и с тем же увлечением, но

убедительнее подбирая слова, как это казалось ему, начал пересказывать Ольге, в чем, по его мнению, заключалось преимущество европейского рационализма перед нашей так называемой широтой русской души.

Когда они вышли из ресторана, была еще только четверть второго, и Дорогомилин, у которого было свободное время, предложил Ольге поехать в Одинцово к Кошелевым.

— Ты увидишь, как у них мило все, сходим на поляны к стожкам, это такое удовольствие,— сказал он (по впечатлению от своей недавней прогулки с братом).

— Я бы поехала, но мне надо к редактору, я и так уже опаздываю,— возразила она. У нее была договоренность о встрече с Тимониным, и она не хотела нарушать этой договоренности.— Нет, я не могу, ты извини,— повторила она с той решительностью, что нельзя было отказать ей.

Дорогомилин взялся подвезти ее до издательства и, условившись с нею, что вечером зайдет за ней, уехал к брату, чтобы уже ему пересказать все свои венгерские впечатления. То, что Ольга не поехала с ним, было ему неприятно, но он понимал ее. «Раз надо, значит, надо»,— думал он, не позволяя даже предположить, чтобы что-то иное, чем работа над книгой, могло задержать ее в Москве. Но вернувшись от брата, он ни в десять вечера, ни в одиннадцать, ни в двенадцать не застал Ольги; в квартире никого не было, никто на звонок не вышел открыть дверь, и Дорогомилин, не хотевший думать о жене плохо, невольно чувствовал, что он был как будто обманут ею. «Что же с ней, у кого она может быть?» — задавал он себе вопрос, запоздало вспоминая, как это и бывает всегда, что еще днем, когда сидел с ней в ресторане, заметил, что она была чем-то встревожена и неискренна с ним. «Видимо, торопилась в издательство,— старался он успокоить себя.—Но все-таки где она может быть?» Искать ее по ночной Москве, он понимал, было бессмысленно, и он вернулся в гостиницу мрачный и озабоченный этим новым обстоятельством. Он снова испытывал то знакомое уже ему чувство незастегнутой ширинки, когда надо было отвернуться от людей, чтобы привести себя в порядок; и в то время как он мысленно старался накинуть петлю на пуговицу, он с ужасом чувствовал, что он то не находил петлю, то не мог нащупать пальцами пуговицу и вот-вот все должны были увидеть весь

ужас его положения. «Уйти, порвать, бросить, не видеть ее»,— думал он. Но он был связан тем общественным мнением (что он хороший семьянин), какое он сам в течение многих лет создавал о себе, и еще страшнее, чем порвать с Ольгой, было Дорогомилину упасть в общественном мнении. Объявить, что он обманут женой, было унизительно, взять вину на себя было равносильно уйти с должности, и он долго не в силах был заснуть, мучимый этими простыми и неразрешимыми для него сомнениями.

На другой день в судьбе Дорогомилина произошло событие, которое изменило все его жизненные планы. Ему предложили остаться в Москве и возглавить одно из вновь создававшихся управлений при союзном министерстве, и с этой неожиданной и ошеломившей его самого новостью он сразу же, как только вышел из министерства, поехал к Ольге, чтобы сообщить ей об этом. «Ну вот,— восторженно говорил он себе,— вот тебе и ж и т ь! Пожалуйста, живи, я обещал и я расстилаю у твоих ног Москву».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Как ни тяжелы были те осенние полевые работы, на которых от темна и до темна был занят в колхозе Павел, и как ни казалось ему, что работам тем не будет конца, пришел день, когда утром, проснувшись, он вдруг обнаружил, что ни ему, ни Екатерине уже не нужно было спешить на бригадный двор: уборка хлебов, вспашка зяби, сев озимых — все было завершено, а то, что еще оставалось сделать до холодов, было, как сейчас же решил про себя Павел, не больше чем подгрести сено вокруг сметанного стога. Оттого он позволил себе в это утро полежать дольше обычного и затем ходил по двору, оглядывая свое собственное хозяйство, о котором за колхозными делами некогда было подумать ему. От общественных интересов жизни он постепенно возвращался к домашним, которые теперь, в преддверии зимы, должны были занять его. Он видел, что надо было сменить стойки

ворот у коровника и перекрыть крышу сарая, где стояла машина (шифер и стойки еще с весны были припасены им и лежали под навесом), и видел еще разные в домашнем хозяйстве мелочи, ожидавшие его рук; но вместе с тем, что он видел, еще сильнее занимало его то, чего он не видел, но что неприятно оживало сейчас в его памяти. «Как же так получилось? — думал он о Юлии, перебивая все иные мысли в себе.— Приехала — и умерла». И чувство какой-то будто вины, что сестра умерла в его доме и что за суетою дел он будто не смог даже как следует похоронить ее, а все было сделано наспех, словно он избавлялся от чего-то лишнего, мешавшего ему работать и жить,— то мучительное чувство, сразу же после похорон охватившее его, вновь теперь болезненно поднималось в нем. «Не по-людски как-то, нет,— снова подумал он.— Да и Роман! Ну женился, но институт-то зачем бросать? Своего ума нет, так хоть с отцом, с матерью посоветовался бы». И Павел нехорошо и несвойственно ему усмехнулся, вспомнив о недавнем письме сына, из которого ясно было, что Роман решил остаться работать в том самом целинном совхозе в кустанайской степи, где он со студенческим отрядом помогал строить совхозный поселок. «Поговорим... да что теперь говорить, о чем?» — продолжал Павел, возражая сыну на его письмо и все так же нехорошо усмехаясь широким обветренным лицом.

Он снова посмотрел вокруг себя, как будто отыскивая, на чем бы еще остановить взгляд; но вокруг было только то раннее октябрьское утро с холодным и серым над головою небом, был двор с пожухлой травой, улицы, избы и огороды на противоположной стороне ее и черные вспаханные поля дальше, по взгорью, то есть все то, что ежедневно и в разных красках видел Павел и что не могло заинтересовать его; все это было для него лишь той привычной жизнью, в которой ко всякому делу, он знал, надо было только приложить руки; но случай с Романом требовал от него умственных усилий, и Павлу неприятнее всего было именно это, что вместо дела, какое он знал и умел выполнить, его вынуждали взяться за другое, какого, как ему казалось, он не умел делать и не знал, как подступиться к нему.

«Ни крестьянского уменья, ни учености»,— продолжал думать Павел о сыне, стараясь представить, как Роман будет начинать свою жизнь. Но все воображение Павла



не выходило дальше того, как сам он когда-то начинал в Мокше, женившись на Катерине и перейдя к ней в дом. Прежде, когда он вспоминал об этом, прикладывая все только к себе, он испытывал удовлетворение, что все так хорошо сложилось у него; ему казалось, что из всех возможных вариантов жизни, какие тогда открывались ему, он выбрал самый надежный и лучший; но теперь, когда свою жизнь он должен был приложить к сыну, он не только не испытывал удовлетворения, но чувствовал, что

Роману не под силу будет потянуть то, что вытянул в жизни сам Павел. «Да и нужно ли тянуть? Для чего же мы жили?» — проговорил он с тем ощущением опустошенности, как это бывает после больших утрат. Несмотря на то, что сам он вступал в жизнь с хилым здоровьем (после войны, после тяжелых ранений), он был сейчас вполне убежден, что и физически и духовно превосходил сына; но он, в сущности, этой своей мыслью только повторял известную ошибку, когда родители полагают, что на то, на что в свое время были способны они, не могут быть способны их дети; он всегда хотел, чтобы жизнь сыновей начиналась не с той точки, от которой он сам начинал когда-то, а с той, до которой стараниями, умом и бережливостью дошел он; он видел в этом смысл и движение всего, и потому так огорчительно было ему сознавать, что Роман не понимал этого.

Чтобы освободиться от неприятных мыслей о сыне, Павел прошел под навес к розвальням, давно и ненужно стоявшим здесь, но едва только сел на них, как у ворот послышался женский голос, окликавший его:

— Дядя Паша, дядь Паш!..

Кричала почтальонша Нюра, принесшая телеграмму, и Павел, неохотно взяв телеграмму из ее рук, с удивлением увидел, что она была от сына Романа. Роман сообщал, что он уже в Пензе (разумеется, с молодой женой), что на днях выезжает домой и чтобы отец приехал в Каменку встретить его.

— Ну вот, объявился, — проговорил Павел, не вполне представляя еще себе, как отнестись к приезду сына.

Все большое семейство Павла усаживалось за стол, в то время как он вошел в комнату. От порога, не обращая (по привычке) внимания на детей, с утра уже озорно шумевших в доме, он так посмотрел на Екатерину, что невольно заставил остановиться ее, и из выдвинутой ею на шесток кастрюли, с которой она сняла крышку, шел пар, густо наполнявший комнату запахом отваренного картофеля.

— От Романа. Едет,— проходя затем на середину комнаты и подавая жене телеграмму, сказал Павел.— Хоть и не с дипломом, но зато с женой.— И он опять усмехнулся той нехорошей, как и во дворе, усмешкой, какую никогда прежде ни дети, ни Екатерина не видели на его лице.

Привыкший воспринимать все, что происходило с ним и вокруг него, как естественное течение жизни и обычно говоривший себе, что все, что ни идет, все к лучшему, Павел впервые за всю свою жизнь в Мокше почувствовал в это утро, что было что-то будто нарушено в этом общем (и всегда восходящем для него) течении жизни и что, несмотря на доводы, какие он обычно проводил в оправдание Романа, он не мог теперь ни понять сына, ни простить ему этого поступка. «На всем готовом, учись, выходи в люди, так... с нашим ли умишком, с нашими ли мозгами?» — желчно поднималось в сознании Павла. В нем не только не было сейчас той облегченности, с какою еще месяц назад, когда было получено первое письмо от Романа, он ответил Екатерине на ее беспокойство, что «свадьба так свадьба, чего тут, справим» и что все, что потребуется для нее, «найдем, достанем», но видел себя в том положении обмана, как если бы в красиво сметанном по осени стогу сена вдруг в середине зимы, когда пришла пора вскрыть его, обнаружилось, что оно было подмоченным, попрело и не годилось для корма. Он видел, что как будто вскрыт был не стог, а жизнь с ее обнажившейся непрочной сердцевиной, и хотя Павел понимал, что из одного только поступка Романа нельзя делать общих выводов (в конце концов, недоучился один, так их у него еще вон сколько!), но в этом поступке сына точно так же, как Павел обычно угадывал главное направление жизни, он уловил то модно поощрявшееся теперь всюду стремление молодежи к ранней самостоятельности—лишь бы из дома, от родителей, от их быта!— на какое прежде, он только слышал, многие жаловались в деревне, но какое, как болезнь, он видел, проникло теперь и в его дом. Что можно было противопоставить этому, он не знал, и он смотрел на жену, читавшую телеграмму, с тем напряженным вниманием, как будто могло что-то измениться от того, как воспримет все и что скажет Екатерина.

— Так что будем делать? — спросил он, когда Екатерина, перечитав несколько раз телеграмму, как будто трудно было понять, о чем говорилось в ней, опустила перед собой руки.— Ну женился, ладно, черт с ним, но для чего институт бросать? И разве у нас своей земли мало, чтобы где-то там, в Кустанае, работу искать? Слава богу, вон ее сколько, и какая! — только имей охоту и руки.

— Не знаю, Паша, я ничего не знаю,— торопливо ответила Екатерина, опять принимаясь за то свое дело, какое она делала каждый день, чтобы накормить и отправить детей в школу. Но в душе ее шла та же работа, что и в душе Павла; она точно так же, сколько ни думала об этом, не могла принять женитьбу Романа, и лишь в отличие от Павла, который во всем осуждал сына, винила невестку, что не хватило у той ума («Коли уж выбрала», — говорила Екатерина) не ломать ни себе, ни ему (то есть Роману) будущее. — Одно скажу, — добавила она, — мы ведь сами хотели, чтобы дети наши...

— Дурака учиться послали, а не жениться. Учиться! — прервал ее Павел, не в силах сдержать раздражение, какое поднималось в нем против Романа и должно было вылиться на кого-то.— А вы чего уши порастопырили? Не вашего еще ума, а ну в чашки, в чашки и... марш! — прикрикнул он на Александра и Валентину (и на меньших: Петю и Таню), которые, забыв, что им надо в школу, смотрели на отца и мать и прислушивались к разговору.

— Да на них-то зачем? — заступилась Екатерина.

— А затем! Рано еще... знать все. — И Павел, присев рядом с детьми к столу, принялся молча и безвкусно есть то, что подала ему Екатерина; лишь в конце завтрака, не отводя взгляда от того, что он ел (и обращаясь более к себе, чем к Екатерине), он негромко проговорил: — Надо вечером съездить в Сосняки к Дорофею. Будем колоть.— Он сказал о том деле, которое не могло как будто особенно волновать его, потому что так ли, иначе ли пора было колоть кабана; но заколоть его ближе к зиме было выгоднее, и Павел, всегда с охотою бравшийся только за то, что по крестьянским соображениям его должно было принести лишь пользу и выгоду хозяйству, вынужден был теперь делать другое, что вытекало не из потребностей его деревенской жизни, а неоправданно и ненужно как будто навязывалось ему.

II

В то время как дети собирались в школу, Павел сидел за столом и смотрел на них. «Что им дом! Им улица,— думал он, невольно становясь в ряд тех рассудительных отцов, которые любят (в промежутках между

своими делами) потолковать о воспитании, полагая при этом, что у нынешней молодежи нет и не может быть иных, кроме клуба и улицы, интересов жизни.— Что в поле, что в голове — ветер. И в двадцать и в тридцать — все ветер, а как хватишься, глядь, уже и за сорок, уже и начинать некогда». Павел думал как будто о жизни вообще, но вся горечь признания его заключалась в том, что он был бессилен передать свой опыт жизни детям. По душевной простоте своей ожидавший (как и большинство семейных людей), что с годами вместе с тем, как будут подрастать дети, будет наступать облегчение, он теперь с огорчением чувствовал, что облегчения не только не наступило, но, напротив, год от года прибавлялось в доме забот. Он ежемесячно высылал деньги Борису, который поступил в Институт международных отношений и жил в Москве, и точно так же каждый месяц платил учителям в Сосняках, которые прежде учили иностранным языкам Бориса, а теперь Александра, решившего пойти в тот же институт, что и брат; кроме того, приходилось больше тратить на дочерей, которые подросли и должны были, как настаивала Екатерина, выглядеть соответствующим образом, и вот в довершение ко всему эта неожиданная женитьба Романа. По тому чувству вины, какое Павел давно уже испытывал к старшему сыну, он был готов простить ему все; но готовность простить все никак не соединялась в душе Павла с тем обстоятельством, что надо было отделять Романа и что он не видел, как при теперешних своих затруднениях он мог сделать это.

Он остался в этот день дома, чтобы сменить стойки ворот у коровника. Екатерина ушла на уборку картофеля, и Павел работал один. Пока солнце было низко и от коровника до половины двора лежала тень, он работал в рубашке, выбившейся из брюк и прилипавшей к лопаткам; но к обеду, когда тень отошла и солнце начало припекать точно так же, как оно припекало в открытом поле, он снял рубашку, оголив свои еще крепкие, загорелые и мускулистые грудь, плечи и спину, и так как никто не мешал ему и не отрывал его, дело подвигалось быстро, и он видел, что он успевал закончить все к тому часу, как появиться стаду. В то время как на него никто не смотрел, он удар за ударом проходил топором по сосновому брусу, выбирая в нем нужный паз, и белая сухая щепа, которую Павел сгребал затем по-хозяйски, раз-

леталась и падала у его ног; он с той же размеренностью движений рыл ямы для стоек, и работа, чем больше он делал ее, не то чтобы затягивала Павла, но она не давала ему возможности думать о чем-нибудь ином, кроме дела, какое он делал, и постепенно утреннее раздражение начало отпускать его. В минуты, когда он теперь присаживался отдохнуть, он все больше приходил к выводу, к какому так ли, иначе ли должен был прийти в деле сына. «Не ломать же ему жизнь,— соглашался Павел с тем положением, какое кем-то близким и давно уже как будто было высказано ему.— В конце концов, кто знает, где ему будет лучше: в науке ли намается, раз она не пошла ему, или в деревне проживет как человек». И Павлу казалось (по его привычному житейскому восприятию), что надо не осуждать сына, а приложить новые усилия и помочь ему.

В середине дня (и в середине как раз этих трудных поисков душевного примирения с сыном) подъехал бригадир Илья, и Павел не сразу смог сообразить, чего хотел от него бригадир, оставивший у ворот рессорку и подошедший к нему.

— Какая делегация, при чем я? — несколько раз переспросил Павел, пока наконец понял, что речь шла о его поездке в Москву. — Мне-то там, в Москве, что делать?

— На торжества.

— На какие торжества?

— Сказано — на торжества, значит, на торжества,— ответил Илья, не любивший многословья и не умевший говорить о том, что не вполне понятно было ему самому или не принималось им. Он только что ездил на центральную усадьбу колхоза затем, чтобы выделили ему больше машин на вывозку картофеля; но вместо того чтобы выделить ему машины, у него для чего-то забирали (он только и понял это) лучшего механизатора, и он был теперь раздражен и недоволен этим. «После покрова — вот тогда и фанфары, а то еще не успели прыгнуть, а уже и гоп!» И по этому своему отношению к московским торжествам, которые организовывались в честь сельских тружеников страны, собравших в этом году рекордный урожай хлеба, точно так же, как только что не хотел слушать парторга колхоза Калентьева, говорившего об этом, не хотел пересказывать этого Павлу.

— Отправляться когда? — спросил Павел.
— Днями, наверное.
— Не могу.
— Почему?
— Сын едет. С женой.
— Старший, что ли?
— Да.
— Ну, в общем, как хочешь, по мне так оно и лучше, если откажешься,— сказал Илья, так как то, что лежало за кругом бригадирских дел, сейчас особенно не могло занимать его.— Смотри сам.
— Нет, не могу, Илья.
— Только ты это не мне, а туда, там скажи. Мое дело передать.— И он, простившись кивком, пошел через двор к рессорке той своей валкой походкой, по которой сейчас же было видно, что он более привык ходить по пахотному полю, чем по твердой земле.

«Да, надо было пригласить его»,— подумал Павел, глядя уже на удалявшуюся рессорку. Затем опять взялся за работу, и о поездке в Москву было забыто им; ему хотелось найти душевное примирение с сыном, которого в полной мере он так и не ощутил в себе, и вечером он отправился в Сосняки к Дорофею, чтобы уговорить того прийти на воскресенье и заколоть кабана.

III

Кабан был заколот, и с понедельника в доме началась та шумная и сразу захватившая всех суета, какая возникает в семьях обычно лишь перед большим праздником или перед свадьбой. Заняты были все, и всем находилось дело. Готовилась комната для молодых, и доставалось и готовилось все, что только могло украсить приезд сына.

Екатерина (уже в самый канун приезда) варила холодец и пекла сдобы; Александр как старший из остававшихся в доме детей был послан в Сосняки за цветами и медом, а Павел, выкатив из сарая во двор «Запорожца», основательно, как он любил делать то, к чему лежала душа, принялся готовить его к дороге. Он не был особенно рад приезду сына, но и не испытывал теперь, как в день получения телеграммы, раздражения к нему; не сумевший как будто за делами как следует рассудить обо всем, Павел приехал на вокзал лишь с тем чувством,

что ему беспокойно было отчего-то увидеть сына. Но от беспокойства этого, как только увидел (в форме бойца студенческого строительного отряда, которая тогда еще лишь вводилась и была новинкой для всех) сына, спрыгнувшего со ступенек вагона на утренний, серый, холодный перрон, и увидел (в той же непривычной студенческой форме) невестку, которую Роман не то чтобы подать ей руку, но подхватил у вагонных дверей и поставил на землю,— от беспокойства этого осталось у Павла лишь удивление, как он мог плохо подумать о сыне. Он сейчас же (по общему здоровому виду Романа) почувствовал, что те условия жизни, в которых все эти месяцы находился сын, были не то чтобы плохи или хороши с точки зрения удобств быта, но были теми, в которых полезно и нужно было пожить Роману. И точно то же впечатление было от невестки, которую Павел, лишь введя ее в избу и сказав Екатерине: «Ну, мать, принимай», сумел разглядеть во всех тех подробностях, как не мог в спешке и суете сделать на вокзале.

«Да какие они муж и жена, они еще дети»,— думал затем Павел, когда после объятий и слез (тех слез счастья, которые Екатерина, не стыдясь их, вытирала со щек белым кружевным платочком, заранее заткнутым ею под манжет праздничного платья), после всех радостных восклицаний и слов о себе (тех первых слов, которыми обычно бывает сказано все) вся молодая часть лукьяновского семейства, объединившись, перешла в комнату, где не было взрослых и где все только и было наполнено их юношескими интересами жизни.

Павел не заходил к ним и лишь прислушивался к их голосам. Но не из желания узнать, о чем говорили они. Так же как приятно иногда сказать, что ты живешь у реки, хотя и сомнительно часто бывает это удобство жизни, Павлу просто приятно было сознавать, что дети его рядом, что они веселы и что он не зря жил для них; и в то время как Екатерина, надев поверх праздничного платья фартук, собирала на стол, он с тем растроганным чувством, которое не мог унять в себе, поглядывал на нее. «Ну что? — было в его глазах.— Что я говорил?» Как будто он только и утверждал всегда, что нет в жизни ничего такого, что бы не уладилось само собой. С обветренной, загорелой и сильной грудью и в той же белой рубашке, в какой встречал летом Сергея Ивановича и сестру, он производил впечатление спокойствия и достат-

ка, тогда как в порозовевшем от волнения лице Екатерины было больше настороженности, и она, то и дело останавливаясь перед дверью комнаты, где были молодые, смотрела не на Романа (и не на тех своих детей, которые всегда были у нее на глазах), а на невестку, к которой не находила пока ничего в своей душе, но должна была полюбить и принять ее.

«Нашел же что-то?» — думала она, стараясь из общего вида невестки выделить то, что сказало бы о глубине ее ума и той основательности, какую Екатерина, как и Павел, всегда привыкла чувствовать в себе; и оттого, что не могла уловить этого, а видела лишь, что невестка была так молода, так молода, что невозможно было даже приблизительно сказать, какой та будет женой и хозяйкой, лишь сильнее волновалась и украдкой уже вытирала невольно наполнявшиеся слезами глаза. Что Ася была деревенской (была не из Каменки, как о том писал Роман, а из Покровки, что под Каменкой, как было уточнено теперь), вызывало у Екатерины то двойственное чувство, по которому, с одной стороны, было совсем неплохо, что невестка человек своего круга, а с другой — именно это, что *своего круга*, было нехорошо, было как будто ущербно в чем-то. «Очень уж простенькая, такая простенькая», — судила Екатерина, каждую минуту борясь с этим двойственным чувством к невестке, и продолговатое, по-детски улыбчивое и постоянно выражавшее только счастье лицо Аси представлялось ей не то чтобы непривлекательным, но настолько обычным, что больно было поверить, как из сотен других и более красивых (как она думала) девушек в городе Роман удосужился выбрать для себя эту, на которой и глаз-то остановить не на чем. И чувство это всякий раз особенно поднималось в Екатерине, как только она перекидывала взгляд на сына, таким молодцом (в сравнении с невесткой) казавшимся ей.

— Как вырос! Красавец! — те, кто заходил в этот день к Лукьяновым, говорили о Романе (как будто им только и хотелось, чтобы угодить Екатерине).— И невестка ничего, живая,— говорили о молодой жене его (как будто всем было известно и это, как Екатерина отнеслась к ней).

— Да уж молоденькая больно,— отвечала Екатерина, краснея оттого, что не находила, как можно было еще сказать о невестке.

— Что с них — дети,— уверял Павел, повторяя лишь эту удачно найденную им формулировку, по которой во всем можно было оправдать сына.

Но вечером, когда Роман, окруженный мужиками и засыпаемый их вопросами, начал говорить о себе, мнение Павла изменилось и он увидел сына совсем с другой стороны, с какой прежде никогда не видел его.

Павлу естественно было предположить, что та обычная колхозная работа, какую Роман с детства знал по деревенской жизни, не должна была как будто особенно отличаться от той, какую пришлось выполнять сыну в кустанайской степи; но из рассказа сына выходило, что разница была, и Павел, слушая его, с удивлением думал, как на одно и то же дело можно было по-разному смотреть и воспринимать его. Из рассказа сына выходило, что одна и та же деревенская жизнь, в которой Павел сознавал себя лишь необходимой частицей в общем круговороте вещей, Роману (по совхозным впечатлениям его) представлялась узлом, соединявшим тысячи различных общественных связей, и оттого он чувствовала себя не частицей, а силой, вызывающей движение. «Может быть, оно так и есть»,— думал Павел, переводя слова сына на свой язык понятий, и то, что всегда казалось Павлу лишь простым течением жизни — споры с бригадиром, обязательства, планы, получение вымпелов и переходящих знамен,— наполнялось каким-то новым, возвышенным смыслом и создавало (к изумлению Павла) то впечатление у него, что вся эта его обыденная жизнь, как ни казалась она прежде масштабной ему, на самом деле была лишь водоемом в сравнении с тем океаном, как видел и воспринимал ее сын.

— А мы говорим о воспитании... Вот оно, общественное воспитание, вот,— не раз вслух и про себя говорил затем Павел, сидя за праздничным столом и не замечая (за общим весельем и суетой) возражений Ильи, что в с е э т о, то есть восторженное восприятие Романа, пройдет с ним и что не с э т о г о, то есть восторженного восприятия, надо бы начинать молодому человеку в жизни.

«А с чего?» — уже ночью, когда все разошлись, вдруг спросил себя Павел. По своему радостному впечатлению о сыне он не мог согласиться с Ильей; но по обычной житейской мудрости, говорившей ему, что за всякое дело, если успешно хочешь решить его, надо приниматься не

с восторженной поспешностью, а с холодным и здравым рассудком (и по которому получалось, что бригадир Илья прав), Павел чувствовал, что не все, наверное, было так благополучно с сыном, как думал он. «Серьезности нет? Придет»,— все же решил он, засыпая, но продолжая еще возражать Илье.

IV

На другой день утром (дети ушли в школу) Екатерина с невесткою рассматривали подарки, преподнесенные на вчерашнем застолье молодым, а Павел сидел за столом напротив сына и вел с ним тот первый (после всех радостных волнений встречи) серьезный разговор, который должен был приоткрыть ему жизненные намерения сына.

— Ну хорошо, а с институтом что? — после того как они уже с минуту сидели молча, спросил Павел, задав наконец этот болезненный для себя вопрос, на который, он заранее знал, сын не сможет ничего вразумительного ответить ему. «Так что на это можешь сказать?» — повторил он уже тем, как посмотрел на сына. И вместе с этим вопросом и взглядом к Павлу сейчас же как бы вернулось все то, что накануне приезда Романа так мучительно занимало его. Он вдруг увидел (из тех соображений своих, кем он хотел, чтобы стал его сын, и кем тот, недоучившись, мог стать теперь), что радоваться было нечему и что Илья вчера был прав, говоря, что не с восторженного восприятия надо начинать молодому человеку в жизни. Павел невольно старался теперь свести все именно к этому, что у Романа не было серьезности, и поглядывал на невестку, в которой тоже видел одну из причин такого поведения сына.

В комнате же, освещенной утренними лучами солнца, все напоминало еще о прошедшем застолье, и, в то время как Павел переводил взгляд от сына, в зеленоватой студенческой робе сидевшего перед ним, на невестку (и на Екатерину), на глаза ему попадались то свернутые к порогу половики, то стулья и табуретки, непривычно выставленные вдоль стен, и он непроизвольно останавливался взглядом на затоптанном ногами пространстве в центре комнаты, на котором с шумом вчера толкались и плясали гости. На этом же пространстве плясала вчера и невестка, вышедшая по настоянию всех показать себя,

и Павел хорошо помнил, как между нею, едва только она появилась в центре круга, и теми, кто смотрел на нее, сразу же установилось то никем не высказанное условие, по которому она как будто должна была сдать экзамен на возможность породниться со всеми, а все — оценить и составить о ней мнение. По общему городскому виду ее, по коротенькой юбке, оголявшей ее молодые ноги, было сомнительно, чтобы она выдержала экзамен; но после первых же движений, как начала она, и Павел и все почувствовали, что то, что им хотелось увидеть, в полной мере было в этой худенькой, одетой в студенческую форму девочке. «Наша»,— тут же было сказано про нее, и Павел, вполне разделивший это общее мнение, старался найти теперь, поглядывая на невестку, подтверждение своему вчерашнему чувству.

Но он находил пока только то, что это вчерашнее чувство его к невестке и сыну не совмещалось с тем, что он думал о них сейчас; и, глядя на невестку и видя лишь ее худую, с выпиравшими лопатками спину, недовольно говорил себе: «Плясать-то плясать, да как бы жизнь не проплясать».

— Так как же с институтом? — повторил он, от невестки уже переводя взгляд на сына.

— В каком смысле? — спросил Роман.— Если боишься, что мы с Асей бросим институт,— хотя вопрос относился только к нему, ответил он, — то напрасно. Есть заочное отделение, которое не хуже, чем очное.— И Роман сделал то удивленное выражение, словно и в самом деле странно было ему услышать от отца то, что он услышал.— Да я и писал тебе.— И, привстав и шурша своею грубоватою студенческою робой, он потянулся к закускам, со вчерашнего вечера стоявшим на столе, и между ним и отцом опять установилось то нехорошее молчание, которое для Павла было неприятным, а для Романа — не замечалось им. Все это утро (как, впрочем, и в день приезда, вчера) он держался так, будто его не только не огорчало э т о, что озадачивало теперь отца, но будто он видел во всем случившемся с ним лишь то счастливое, что одно только могло быть и было в его жизни; и он, неторопливо пережевывая молодыми и сильными челюстями подсохшие кусочки мяса, попадавшиеся в салате ему, то и дело вскидывал на отца тот невинный как будто взгляд, которым ясно говорил ему: «Ты

же видишь, все хорошо, и разве можно не радоваться этому?»

— Ну что вы, мама,— в это время ясно послышалось из той половины комнаты, где Ася с Екатериною разбирали подарки.— Чем же это плохо? — держа перед собой керамическое блюдце с чашечкой (и так же естественно, как только что назвала свекровь матерью), сказала Ася, желая убедить Екатерину, что этот недорогой кофейный сервиз, приготовленный более для украшения, чем для дела, имеет свою привлекательность и ценность.— Ром, посмотри,— позвала она, поднявшись и повернув все свое молодое, с мелкими чертами лицо к свету.

Она как будто не понимала той натянутости обстановки, какая с утра создалась в доме и чувствовалась теперь между отцом и сыном (ее мужем), и веселым видом своим и непосредственностью вносила в общие семейные отношения ту нужную теплоту, которая обезоруживала всех. Екатерина казалась растроганной ею. Обернувшийся на ее голос Павел тоже невольно улыбнулся ей. И лишь Роман, которому хотелось показать, что все в жене давно привычно ему, неторопливо и с важностью, положенной при родителях, как думал он, встал и подошел к ней.

— Ничего.— Он повертел в руках чашечку.— Гладкая.— И с безразличием вернул ее.

— Ах, ничего вы не знаете,— весело проговорила Ася.— А тебе бы только хрусталь,— заметила она мужу.

— Почему бы и не хрусталь?

— Надо еще заработать его,— возразила Ася.

— И заработаем. Все в наших руках, все будет,— уверенно сказал Роман. Но в ту самую минуту, как он произносил эти слова, он почувствовал, что отвечает не жене, а отцу на тот его вопрос, который еще не был задан им, но ясно как будто вытекал из всего общего разговора.—Не сразу, конечно. И Москва не сразу строилась,— затем добавил он, повернувшись к отцу.

Он давно уже заметил, что отец в разговоре с ним что-то недосказывает и сердится оттого, что не так понимают его. «Но теперь-то ты доволен?» — было в глазах Романа, когда он снова усаживался перед отцом на прежнее место. Но Павел, не любивший и не умевший, как ему казалось, вести разговор, в котором были бы только намеки и не было бы сути дела (и полагавший,

что Роман не желает с прямотою говорить с ним), не был удовлетворен ответом сына.

— Я не знаю,— опять начал Павел,— как можно не учась (он хотел сказать: не слушая лекций) выучиться тому, чему учат в институтских стенах.

— Почему «не учась»?

— Одно дело — как все, по-людски, по-настоящему, и совсем другое — как ты, сам собой.

— Но ты не понял меня, отец,— сказал Роман, отодвинув от себя тарелку, из которой только что ел салат, и взглянув на отца с тем недоверием, что отец будто не то чтобы не мог, но не хотел понять сына. Роман видел. что разговор возвращался к тому кругу, на котором все было переговорено вчера. Но то, о чем так легко (на радостях) было говорить вчера и что отцу и всем (в силу той же слепой радости) представлялось убедительным и не нуждалось в подтверждении, теперь требовало определенных доводов от Романа, которых, он с беспокойством чувствовал, не было у него. Все рассуждения об одинаковости заочного и очного обучения, вытекавшие для него лишь из тех жизненных обстоятельств — женитьбы,— в каких оказался он, теперь, когда отец предлагал взглянуть на все шире, согласуясь с общими интересами жизни, представлялись не то чтобы ложными, но было очевидно, что отец прав и что Роман всегда знал, что между очным и заочным обучением есть разделительная черта, которую только для успокоения он не хотел замечать прежде. «Нет, тут все сложнее.—Он пробовал еще возразить себе. — Все зависит от самого человека». Но не говорил этого отцу, понимая, что это не убедит его.

Точно так же не мог Роман убедительно ответить и на другие вопросы отца. То, что вчера было выражено чувством — степь, красота, простор! — и служило аргументом Роману, что он решил остаться в кустанайской степи (и объясняло бригадирство его, что он как будто взял под начало все это необозримое пространство), выглядело теперь лишь как восторженные слова, на которые, зная, что земля везде требует одинакового труда, Павел только мог развести руками. Было, казалось Роману, что-то ложное и в той радости, с какою он в первые минуты встречи говорил о комнате, обещанной совхозным руководством ему и Асе. В совхозе все это представлялось счастьем и было более чем обоснованным,

чтобы остаться там; но здесь, в доме отца, где все было обжитым и все готовы были потесниться для молодых, неловко было вспоминать об этом; неловко потому, что отец, и Роман знал это, сейчас же ответил бы, что и в Мокше и Сосняках можно получить участок и поставить дом. Роман чувствовал, что и на успехи его в общественной деятельности (что он избран секретарем совхозного комитета комсомола и введен в состав райкома) вполне найдутся возражения у отца.

— Он есть везде, твой комсомол,— сказал Павел (как раз именно то, что и предполагал услышать от него Роман).— Чтобы пахать, сеять, делать это наше крестьянское дело, вовсе не надо было никуда выезжать из деревни.

— Как ты все упрощаешь, отец,— с тем мучительным выражением, что он не может найти убедительных слов для отца, возразил Роман.— Все, что я говорю, можно перечеркнуть, но это совсем не означает, что я по глупости или прихоти какой-то своей перешел на заочное и остаюсь в совхозе. Сложнее все, отец, гораздо сложнее.

— Лично для меня пока ясно одно — что ты сам не знаешь, чего ищешь, а хочешь, чтобы я понял тебя.

— Напрасно ты думаешь, что я не знаю. Я знаю,— возразил Роман. Он готов был уже сказать отцу о том чувстве, каким руководствовался, принимая решение остаться в совхозе; но чувство это, чистое и благородное в душе Романа, в пересказе неминуемо должно было обернуться против него, и оттого он опять вместо главного начал о второстепенном, лишь сильнее озадачивая и огорчая отца.

V

Он рассказал о директоре совхоза, каким тот был удивительным человеком и как легко было работать с ним, и это было правдой, было тем впечатлением, какое осталось у Романа от общения с ним. Потом он рассказал о партийном секретаре, о комсомольских работниках и членах своей бригады, что и они были людьми замечательными и добрыми, и это тоже было правдой, было тем, из чего складывалась для Романа общая атмосфера жизни в совхозе. Но это не было той главной правдой, по которой он строил свою судьбу. С Романом происходило то, что происходило в те годы почти со все-

ми молодыми людьми, которым приходилось решать вопрос «кем быть?». По общему установившемуся мнению, как писалось и говорилось тогда, вопрос для каждого состоял только в том, чтобы выбрать профессию (или что еще распространеннее было: только в том, чтобы получить высшее образование, по какой бы отрасли знания ни шло оно); но как вопрос этот на самом деле вставал перед молодыми людьми и решался ими, мало что общего имело с этим упрощенным мнением.

Прежде в крестьянских семьях всегда было: сын — по отцу, дочь — по матери и никто не спрашивал себя, кем быть. Считалось, что жить можно только так, как жили деды, кормясь на земле. Но затем, когда этот прежний уклад жизни был нарушен (что в нем плохого и что хорошего — вопрос другой) и державшаяся взаперти дверь в мир, распахнувшись перед деревней, открыла всем, что есть иные возможности кормиться и утверждать себя, в дверь эту потоком хлынули люди, не всегда осознававшие, для чего и зачем делают это. Одни попадали в лучшие условия, другие в худшие и возвращались, захлопывая за собою дверь, и сейчас раздаются голоса, что с точки зрения общественной жизни (то есть выгод для общества) нельзя было так широко открывать дверь: «Мы оторвали человека от земли!» Но если взглянуть на все не только из общественных выгод, а по отношению к каждой отдельной судьбе (и с точки зрения обновления государственных институтов), то вряд ли можно согласиться с подобными утверждениями. Не всякий, разумеется, шагнувший за порог, находит удовлетворение; но происходит это оттого, что в большинстве семей (при всем огромном выборе профессий) разговоры ведутся только о двух-трех наиболее знакомых им: учитель, врач, агроном, инженер. Так рассуждали и Лукьяновы, когда Роман поступал в Пензенский педагогический институт, и продолжали, несмотря на то, что Борис уже учился на дипломата, точно так же рассуждать и теперь.

Но рассуждения Романа на этот счет были иными, были как раз теми рассуждениями, о которых он теперь особенно не мог ничего сказать отцу. Они основывались на том, что проще и точнее было бы назвать жизненной карьерой (не в том дурном понимании этого слова, когда имеется в виду определенная корысть, а в изначальном и правильном, когда подразумевается, что человек ищет

возможность полнее проявить себя, чтобы быть полезным обществу). Романа привлекала не исполнительская сторона, а возможность руководить и направлять дело. От простой ли начитанности или под влиянием лозунгов, что человек в Советской стране хозяин всему и что деятельность его не ограничивается только рамками профессии, но может лежать в любой точке на пространстве от механизатора или рабочего до руководства государством,— под влиянием именно этих лозунгов, к которым, постоянно слыша их, люди уже не прислушиваются, но к которым прислушивался и в смысл которых вникал Роман, он невольно начинал думать не малыми категориями интересов отдельных лиц, а масштабными, принимая, или отрицая, или внося свои мысленные поправки в общий ход жизни. Он сам открывал для себя эти возможности управления, стесняясь пока еще своих чувств, но уже с сожалением видя, что институт, в котором учился (педагогический), не мог дать ему того, что хотелось получить Роману от жизни. Он подумывал, чтобы перейти в другой, но, во-первых, неясно было еще, в какой именно, и, во-вторых, он опасался, что дома не поймут его. Отцу и матери хотелось только, чтобы сын их выучился чему-то; Роману же надо было выучиться не чему-то, а тому определенному, к чему он чувствовал способным себя, и в этом отношении поездка со студенческим строительным отрядом на целину многое открыла и прояснила ему.

Все прежде умозрительное (как горы издалека, когда видно только общее очертание их), что составляло для него жизнь, он как бы вдруг увидел с того приближенного расстояния, когда он мог разглядеть выступы, по которым можно было подняться на вершину. Выступами этими были выборные комсомольские и партийные должности от низа до верха, то есть то, что было как будто очевидным и доступным всем; но одно дело знать, что доступно тебе, и совсем другое — ощутить под ногой тот первый выступ, с которого можно начать восхождение. Он, приглядевшись, увидел, что восхождение зависело не от количества тех или иных знаний, какие преподавались в институтах, не от дипломов и даже не от ровной и старательной затем работы на предприятии, что было, разумеется, важно и нужно; оно зависело от другого — от визитной карточки (в биографии), как это определил для себя Роман. Нужно было совершить в мо-

лодости что-то такое сильное и смелое, что получило бы общественную значимость и освещало бы затем весь жизненный путь. Людям, совершавшим революцию, было, как он думал, легко сделать это, так как им предоставлена была такая возможность; точно так же, казалось Роману, легко было сделать это, то есть отличиться, и в гражданскую войну и в Великую Отечественную; но как было отличиться теперь, когда возможности для этого сузились настолько, что нельзя было разглядеть их? «Куда ни повернись, всюду занято и всюду спокойно и ровно»,— говорил Роман, упрекая это свое время, ценность которого как раз и заключалась в том, что люди могли спокойно работать и жить. Но ту самую визитную карточку, которая нужна была ему в биографии, как только он приехал на целину, он почувствовал (по атмосфере всеобщего подъема, царившей здесь), что можно было заслужить ее здесь; он увидел, что целинный совхоз — это было как раз то место, где можно было развернуться и проявить себя, и он с охотою, словно и в самом деле давался ему шанс в жизни, который нельзя было не использовать, принял то предложение, какое сделано было ему руководством совхоза и в райкоме комсомола.

Ему не было обещано то продвижение по выступам к вершине, какое он так живо вообразил себе. Директор совхоза, которому требовалась молодая рабочая сила, когда разговаривал с Романом, невольно, лишь из тех своих соображений, что хотелось ему заинтересовать молодого человека, нарисовал ему картину возможного в перспективе роста и продвижения, как, впрочем, из тех же соображений — заинтересовать и привлечь — развернули затем перед ним эту же картину в райкоме; но Роман настолько чувствовал в себе силы двинуться по открывавшейся ему дороге, что все воспринято было им не как заманчивое обещание, а как реальность, в которую нельзя было не поверить.

— Хорошо,— сказал он,— я согласен.— И он только выговорил себе право съездить домой и в Пензу, чтобы оформить свои и Асины институтские дела.

— Да о чем толковать, когда все решено,— сказал он теперь отцу, чтобы закончить разговор.

Он сказал так, что через минуту он уже как будто не помнил об этом разговоре; мать с Асею еще переби-

рали и рассматривали подарки, и он подошел к ним. Но в середине дня, когда он направился к реке и к лугу, по которому босиком бегал в детстве (чтобы показать его жене), когда ступил на этот луг и увидел реку и пашни по взгорью за нею и лес за пашнями, где он, давя коленками ягоды, собирал их, и увидел (уже от леса, от тех земляничных полян) свою деревню со всеми ее знакомыми силуэтами изб, огородами, бригадным двором и клубом, сейчас же вызвавшими целый ряд забытых уже как будто воспоминаний, в сознании его как бы сам собою повторился весь разговор с отцом. Роман почувствовал то, что не было сказано ему отцом, а только стояло за его словами: что нет и не может быть ничего дороже родной земли. Кустанайская степь была хороша для Романа тем, что она необозримо и ровно, как скатерть, стелилась к горизонту и вызывала чувство перспективы, чувство беспредельной возможности приложения человеческих усилий; степь эта дикостью и необжитостью своею как бы предлагала всякому смотревшему на нее попробовать заново пройти тот путь (от дикости к цивилизации), к которому в молодости каждый, как только садился за парту, начинал чувствовать приобщенным себя; но то, что лежало перед глазами Романа теперь, то есть те самые раскатистые взгорья российского Нечерноземья (как их называли теперь), на которые всегда привычно смотреть русскому человеку,— взгорья эти, луговая Мокша, деревня за нею с родительским домом в центре, хотя и не вызывали чувство перспективы и возможностей приложения усилий (все давно уже было как будто обжитым и неподвижно застылым здесь), но поднимали в душе иное, и более острое, чувство. От лесной опушки, на которой Роман стоял, в то время как Ася собирала на ней опадавшие уже осенние цветы, он смотрел на то, с чем должен был проститься, и испытывал чувство, как если бы ради каких-то своих сомнительных интересов славы или почестей он решил уйти из дому в тот момент, когда более чем когда-либо был нужен постаревшим и уставшим от жизни родителям. Он испытывал, в сущности, то, что сотни людей уже испытали до него, уходя от родных мест и не представляя себе вполне всех тех последствий, на что они обрекали срединные российские земли. Как и всем до него, Роману казалось, что он делал лишь то естественное, нужное государству дело, к которому совесть и время призывали его.

VI

Как ни прятался Павел Лукьянов от общественной жизни, избегая ее, она постоянно настигала его. Решение направить его как лучшего механизатора района на московские торжества (в газетах было уже официально сообщено, что сельскими тружениками Российской Федерации продано в этом году государству два с половиной миллиарда пудов зерна и что Казахстан тоже дал миллиард с лишним пудов),— решение это было уже утверждено, и Павлу оставалось лишь к 7 октября прибыть в Пензу, чтобы оттуда в ночь на 8-е вместе с делегацией выехать в Москву.

Поездка эта представлялась Павлу бессмысленной. Она ничего не прибавляла ему ни в его домашнем, ни в бригадном деле. Ему надо было решить вопрос с невесткой и сыном (он все еще надеялся уговорить их остаться здесь), но время, когда он мог обдумать и предпринять что-то, как раз и отнималось у него этой поездкой. «Как все некстати,— недовольно говорил он себе.— Да что же мы, Кремля не видали, что ли!» — про себя же восклицал он, замечая, что все в доме рады были тому, что он едет в Москву. Роман с Асею отдали ему свой чемодан, чтобы прилично выглядеть на людях, Екатерина постирала заново и перегладила рубашки и белье на дорогу и привела в порядок костюм, к которому прикреплены были давно не надевавшиеся фронтовые еще награды. Кроме того, решено было собрать гостинец Борису и Сергею Ивановичу, и рядом с чемоданом появился узел с теми домашними продуктами, каких, как считали Лукьяновы (по старой и доброй памяти), не могло быть в Москве.

— Вот уж сотворил господь: на работу — как на праздник, а на праздник — как на работу. Да что же ты как на похороны едешь! — наконец, уже в день отъезда, возмутилась Екатерина.

— Ну ладно, ладно,— сказал Павел, останавливая ее и оглядываясь на детей, выстроившихся в ожидании, когда отец начнет прощаться с ними.

По традиции все присели перед дорогой, и затем Павел поочередно начал обнимать и целовать всех. Екатерина, когда он обнял ее, прослезилась (от радости, как думала она); Роман с Асею были сдержанны, но все меньшие — Александр, Петр, Валентина и Таня — одно-

временно и шумно бросились к отцу и, подхваченные им, повисли на нем.

— Да что вы, костюм, боже мой, костюм! — беспокойно воскликнула Екатерина, как только увидела, что дети могли помять костюм на Павле. Глаза ее, только что влажные, сейчас же стали сухими.— Ничего, отойдет, отойдет,— говорила она затем, поправляя и одергивая костюм на муже.

У ворот на рессорке поджидал Павла бригадир Илья. Чемодан и узел тоже были уже на рессорке, и Павлу пора было выходить и ехать.

— Ты уж тут смотри, чтобы все,— в последний раз сказал он Екатерине и направился к выходу. Но в дверях остановился и обернулся, сверкнув медалями, висевшими на пиджаке; он хотел что-то сказать сыну и невестке, которые в этот день тоже уезжали (в Покровку к Асиным родителям), но лишь обреченно махнул рукой, дескать: «Да ладно уж, что теперь» — и зашагал через двор к рессорке.

Только когда ленивый и справный мерин, подстегиваемый вожжою, вытянул рессорку на середину дороги и некрупной пока еще рысцою затрусил по ней, Павел поднял голову и посмотрел на дом и ворота, возле которых стояла вся его многочисленная семья. Он помахал им рукой в ответ на те взмахи, которые делали они, и увидел, что и возле других ворот тоже стояли люди, вышедшие проводить его. Его провожала вся деревня, и что-то неловкое, смущавшее Павла, но в то же время доставлявшее удовлетворение и возвышавшее его, испытывал он, трясясь на рессорке под этими веселыми взглядами сельчан.

— Ты, что ли, устроил? — уже далеко за деревней спросил он Илью.

— Почет, Паша, его устроить нельзя. Почет, он сам по себе приходит,— ответил Илья.

— Да мне-то от этого почета...— начал было Павел.

— Не-е, шельмец, не-е, пошел! — Вместо того чтобы поддержать разговор, Илья только привычно щелкнул ременной вожжой по сытому крупу мерина.

До Сосняков они ехали молча. Ни у Павла, ни у Ильи не было желания говорить. Павла продолжали беспокоить его домашние дела, Илью — бригадные, так как большой клин картофельного поля оставался еще неубранным, а механизатора, на которого были расчеты,

забирали на торжества. «Как это все у нас,— думал Илья.— Глядим на горизонт, а под ногами не видим». Лишь под Сосняками уже, заметив точно такое же, как и у себя в бригаде, неубранное картофельное поле, мрачно сказал (не то себе, не то Павлу):

— Тоже недалеко ушли...

— Ты о чем? — спросил его Павел.

— Не-е, шельмец, не-е, пошел! — И он опять вместо ответа только звучно прищелкнул плоской ременной вожжой по крупу мерина.

В Сосняках Илья пошел выбивать те самые дополнительные грузовики для вывозки картофеля, которые он уже просил, но которые не были выделены ему. Из кабинета главного агронома, куда он вошел, сейчас же послышался его мрачный, сухой, требовательный голос. Обычно малословный, как все мокшинские мужики (как Павел и как Степан Шеин), он не давал теперь ничего возразить агроному, и было видно (по тому, как он умостился в кресле перед столом), что на этот раз не выйдет из кабинета, пока не добьется своего. Павел же, которого должно было принять колхозное руководство, пошел к секретарю парткома Калентьеву, так как председателя не было на месте. Председатель был в райцентре — по тому щепетильному вопросу, по которому он считал, что ему в этот день непременно надо было быть на виду у начальства. Взамен ушедшего на пенсию председателя райисполкома подбиралась на этот пост новая кандидатура, и сосняковскому председателю естественно было предположить (потому, что хозяйство его считалось одним из лучших в районе, и еще потому, что когда встал вопрос, кого послать в Москву на торжества, все на бюро райкома единогласно предложили направить механизатора из его колхоза),— естественно было предположить ему, что выбор мог пасть на него, и он решил посодействовать этому. Но в Сосняках, разумеется, никто ничего не знал об этом, и Калентьев, уведя Павла к себе, начал подробно говорить с ним о положении дел в хозяйстве, чтобы, если в Москве кто вздумает спросить Павла о колхозных делах, было бы что ответить ему.

— Здесь и цифры и положения,— сказал он, передавая Павлу приготовленные бумаги.— Я думаю, выступающие там уже намечены, так что тебе нечего волноваться. Ну а если вдруг, а ты и при оружии. А мы тебя,

когда вернешься, как следует встретим. Да, да, — подтвердил он с той улыбкой, как будто знал что-то еще (и хорошее), чего не знал Павел. Этим хорошим было то, что Павла представили к правительственной награде; но говорить об этом, Калентьев знал, было нельзя и не принято, и он только в шутку как бы заметил (усаживая уже Павла в машину, на которой тот должен был ехать в Пензу): — К боевым-то и трудовые пора, а? Пора, пора. — И он похлопал Павла по плечу, как будто подбадривал в чем-то.

VII

8 октября 1966 года Москва была украшена флагами и выглядела такой же нарядной, как она всегда выглядит в праздничные дни. В этот день чествовали работников сельского хозяйства за высокие показатели в труде, и к девяти часам утра к Кремлевскому Дворцу съездов уже начали стекаться участники торжества — москвичи и гости из республик и областей. Одни (от гостиницы «Россия») шли через Спасские ворота Кремля, другие через Троицкие. Перед подъездом Дворца оба эти потока соединялись, образуя грудившуюся у входных дверей толпу. Утро было ясное, теплое, все было освещено солнцем, и красный цвет поднятых на флагштоках полотнищ, падая на брусчатую мостовую и на лица и одежду людей, придавал всему какое-то будто особенно праздничное настроение.

Депутаты Верховного Совета, министры, члены правительства, те, кому положено было, въезжали в Кремль на машинах; другие, кому этого было не положено (но имевшие закрепленный транспорт), огибая с тыловой стороны здание Манежа, выходили из машин возле Кутафьей башни и, сопровождаемые взглядами зевак, коих всегда и во всяком деле бывает достаточно, сливались с общей массою шагавших по брусчатому въезду гостей. Справа и слева за двужалой зубчаткой перил, окаймлявших въезд, виден был Александровский сад (тогда еще без могилы Неизвестного солдата). Сад был в тени, из-за высокой кремлевской стены утреннее солнце не проникало в него, и на дорожках было малолюдно. Прохаживались только несколько старичков, ежедневно, как видно, гулявших здесь и ничему уже не удивлявшихся, несколько молодых женщин с колясками, и спортсмены в тренировочных костюмах бегали по аллее. Все они

были заняты каждый своим и, казалось, были безразличны к тому, что происходило вокруг.

Безразличие же их было оттого, что нынешние кремлевские торжества и в самом деле были торжествами отраслевыми. Для людей, связанных с сельским хозяйством, особенно для тех, кто знал, как много было еще нерешенных проблем в развитии деревни, внимание, оказывавшееся им теперь, было не то чтобы праздником, но было тем хорошим знаком (что дошли наконец руки и до деревни!), по которому они чувствовали, что в общественном мнении происходил поворот; и этот-то поворот (к нуждам деревни!), вернее надежда на то, что теперь все пойдет по-другому и лучше, как раз и создавал праздничное настроение. Те, кто побойчее, торопились поскорее занять лучшие места в зале, но большинство, заполнившее огромное, светлое, сверкавшее стеклом и металлом фойе, театрально ходило по кругу. От говора, казалось, все гудело каким-то веселым, разбуженным гулом, привычным для одних и непривычным для других, как было для Павла Лукьянова, чувствовавшего себя затерянным среди всего этого блеска орденов, костюмов и лиц. Жизнь, всегда состоявшая для него лишь из луга, поля и деревенской его избы со всеми ее заботами, та самая жизнь, в которой признавалось Павлом только то, что было целесообразно и нужно для дела (то есть для поддержания той самой жизни, какою он жил), как бы открылась ему теперь иной, парадной стороной, о которой он знал, что такая сторона существует, но не представлял, насколько богато, красочно и впечатлительно все в ней. Он видел, что вокруг были знатные, заслуженные люди, имена и фамилии которых он никогда не слышал, но по виду их и по манере держаться понимал, как высоко они стояли на общественной лестнице, и то конституционное, что он, механизатор из Мокши, никогда не мечтавший быть здесь, стоял рядом с ними,— это конституционное, что все равны и что всякий труд одинаково уважаем и чтим, что давно уже как будто должно восприниматься как естественное состояние жизни, волновало, удивляло и возвышало Павла в своих глазах. «Да, вот она, О к а и В о л г а народной жизни»,— думал он, стараясь держаться своей делегации и боясь отстать от нее. Костюм на нем, казавшийся дома нарядным, совсем по-иному выглядел здесь. По этому костюму (по покрою и, главное, по тому, как он сидел на

нем) сейчас же можно было сказать, не знакомясь с Павлом, что он из деревни (как, впрочем, и о многих других, впервые, как и он, бывших здесь). Об этом же, что он из деревни, говорили и загорелое лицо его, и руки с характерной (мозолистой) припухлостью ладоней, и глаза, выражавшие интерес и удивление, с каким он присматривался ко всему. Фронтовые медали его, которых было всего три, точно так же как и костюм, внушительно смотревшиеся дома, выглядели здесь незначительным, сиротливым островком среди океанного блеска орденов и медалей, которых у иных было столько, что, казалось, уже негде было больше цеплять их. Павел терялся, оглядывая этих людей, внимание его рассеивалось, но одно он ясно сознавал для себя — силу, которую он чувствовал во всех этих людях. «Да, да, вот она, Ока и Волга народной жизни»,— повторял он мысленно с той гордостью (что он тоже принадлежит к этой силе), какую по скромности и совестливости старался приуменьшить и приглушить в себе.

Но среди всех этих знатных людей, Павел чувствовал, были особенно заслуженные и знаменитые. Когда они появлялись, по фойе сейчас же словно прокатывался ветерок, как по хлебному полю, клоня и нагибая колосья, и внимание всех то приковывалось к председателю колхоза из Костромской области Прасковье Андреевне Малининой, вся грудь которой была в орденах, перед ней расступались, отвечая улыбками на ее улыбки и говоря о ней, в то время как она проходила и не могла уже слышать, что вот героическая женщина и что, в сущности, на таких, как она (что можно было понимать: на энтузиазме таких), и держится все наше сельское хозяйство; то внимание всех, не успевал Павел как следует присмотреться к Малининой, переключалось на академика, известного своей новейшей теорией улучшения плодородия почв путем химизации, то на не менее знаменитого курганского ученого-практика Терентия Мальцева, впервые начавшего применять безотвальную пахоту и ежегодно получавшего (в результате этого своего крестьянского открытия) высокие и устойчивые урожаи, то на героя-целинника Михаила Довжика, который, как легенду, нес в себе всю необозримость распаханных казахстанских степей. Для Павла, не знавшего о тех салонных спорах, отголоски которых хотя и намеками, но все же проникали в печать, где спорившие, полагая, что они вы-

ясняют истину, столетиями уже пытаются выработать те приемлемые (приемлемые для себя) формулировки народности, души народа, характера народа и т. д. и т. п., словно в том, как будут истолкованы ими эти понятия, и заключено все дело,— для Павла, которому никогда не приходило и не могло прийти в голову спросить себя, что такое народ и народность, так как он жил этою народною жизнью и такой вопрос только бы удивил и рассмешил его своею бессмысленностью, общество, которое он видел теперь (и которое было столь же неоднородным, как и всякое иное общество — просто ли деревенских людей, или строителей, или ученых), представлялось как монолит, двигающийся к одной цели. Но он, в сущности, лишь переносил на них то свое чувство, что все в жизни идет по восходящей линии, с каким сам он, обзаводясь детьми и подновляя и расширяя дом, жил все эти послевоенные годы в Мокше; потому-то и казалось ему все целостным и единым.

Павел старался запомнить как можно больше, оглядываясь по сторонам, и в то время как он смотрел на одну группу людей (тех, кто теснился возле академика и был приверженцем его теории химизации почв), и переводил взгляд на другую (на тех, что были возле Терентия Мальцева и верили в его открытие), и переводил затем на третью (тех, что были сослуживцами по министерству и держались вместе уже по этому своему служебному признаку) и затем на четвертую, пятую (и еще, еще — на все то бесчисленное множество групп, возникавших и таявших, как это и бывает всегда, когда собирается вместе большое количество людей), полагая, что это единое и целостное,— целостное это не только не было таковым, но представляло собою лишь соединение разных взглядов на развитие деревни, различных научных течений, а иногда и просто личных интересов престижа и продвижения. Но главная цель противоборства была все же одна — поднятие сельского хозяйства страны. Здесь обсуждались не ложные формулировки так называемой народности и т. д., а выдвигались и отстаивались положения, от которых зависело загубить земли или не загубить их, довольствоваться ли временными успехами или ставить дело хотя и медленно, кропотливо, но обстоятельно. Здесь поднимались вопросы, от решения которых зависело будущее народа — будет он с хлебом и мясом или нет,— и жизнь, та самая жизнь,

о которой Павел, находя ее в первые послевоенные годы тяжелой и несовершенной, начал было сочинять записку в правительство, чтобы восстановить для мужика привычный круг его крестьянских работ, и о которой думал теперь, что все в ней наладилось само собой и пришло в норму,— жизнь эта складывалась и налаживалась не сама собой, а в противоборстве именно взглядов и направлений; и противоборство это не только не было еще завершено, но, как чувствовали участники его, получало теперь новый импульс, и отголоски его Павлу еще предстояло услышать сегодня с трибуны совещания.

VIII

Вся торжественная часть открытия запомнилась Павлу тем, что он вместе со всеми долго стоя хлопал появившемуся в президиуме правительству. Издали он не мог хорошо разглядеть, кто есть кто, но то общее чувство, какое неведомо как возникает и охватывает всех при виде правительства (чувство, называемое патриотизмом), охватило и Павла, и в то время как он не говорил себе теперь, что вот она, Ока и Волга народной жизни, но все в нем было проникнуто именно сознанием этого, что то, что было в нем (то есть отношение его к труду и жизни), было во всех и объединяло всех. Он хлопал не тому, что он видел знакомые по портретам лица секретарей ЦК и членов правительства, но от той простой радости, когда он не мог остановиться и подумать над тем, что он делал. Он хлопал, когда был объявлен докладчик (им был министр сельского хозяйства) и когда затем доклад был окончен и зал опять, поднявшись, аплодировал уже докладчику, возвращавшемуся к столу президиума. «Как он сказал о хлеборобах! Наконец-то, наконец»,— слышалось вокруг, и Павел, хотя он и не понял тех отдельных положений доклада, где говорилось о научно разработанных методах ведения сельского хозяйства (ему по-мужицки казалось, что земле нужны только назем и руки), но общий смысл того, что все в деревне теперь хорошо (что совпадало с мнением Павла), но что, несмотря на то, что хорошо, надо добиваться того, чтобы было еще лучше (имелись в виду капиталовложения, выделенные для сельского хозяйства правительством), был понятен и близок Павлу. Так же просто, доверчиво, как он смотрел на все дома, видя

цель своих крестьянских усилий в том, что без них невозможно было бы поддержание жизни — поле было бы не вспахано, пшеница не взошла бы и не выросла, травы на лугах не превратились бы в сено, и скотина начала бы тощать и дохнуть,— просто, доверчиво и весело смотрел на все и здесь и воспринимал все.

— Нет, нельзя было не поехать,— говорил он одному из членов своей делегации, тоже механизатору, с которым он был помещен в одном номере гостиницы «Россия» и с которым, подружившись, сидел рядом в зале, пока читался доклад, и прохаживался теперь в перерыве по фойе.— Какие слова, какие люди!.. Живешь у себя в деревне, и мир кажется тебе велик, а мир-то этот — ему и охвата нет. Нет, нет, нельзя было не поехать,— говорил он, не умея по-другому и лучше выразить то, что он испытывал.

Вокруг него говорили о докладе. Одним он понравился больше, другим меньше. Одни хвалили доклад за то, что в нем возвышенно (и достойно, как добавляли они) говорилось о людях деревни, другие, напротив, ставили в упрек докладчику эту именно чрезмерную будто бы, как подчеркивали они, похвалу. Одни находили, что было хорошо, что в докладе было больше о достижениях, чем о недостатках (по тому принципу, что похвала — лучший стимул в работе), но другие, напротив, считали, что надо было больше анализировать недостатки, которых немало в каждом (даже передовом, добавляли они) хозяйстве, и что не только постановка задач, но что прежде всего выявление проблем поможет укрепить и двинуть дальше дело. Прислушиваясь к этим спорившим голосам, Павел с недоумением думал: «Чего не хватает этим людям, когда все совершенно, определенно и ясно?» Он не то чтобы отвергал, но он просто не в силах был понять того, что должно было разрушить в нем впечатление единства; впечатление единства было состоянием его жизни, и разрушить его равнозначно было для него потерять в пожаре дом или семью.

— Много ли деревенскому человеку надо? — продолжал он, как будто он снимал только верхушки со своих глубинных мыслей. — А ведь и надо, вот в чем все, надо!— И Павел после перерыва с тем же виманием, как он слушал докладчика, слушал теперь выступающих.

Заседание было торжественным, и в выступлениях не должно было как будто быть полемики. На трибуну под-

нимались ученые, руководители хозяйств, бригадиры, механизаторы, партийные деятели, и каждый почти начинал с того, что было сделано его бригадой, колхозом, районом или областью в целом или в развитии того или иного направления в науке земледелия. Почти в каждом выступлении хвалилось то, что, по существу, должно было быть естественным и разуметься само собой, шла ли речь об увеличении тракторного или комбайнового парка или об удобрениях, или о строительстве на селе; так ли, иначе ли, но жизнь никогда не может стоять на месте, и потребность увеличения зерна рождает потребность увеличения техники; и все же когда один из ораторов напомнил залу, что «мы забыли главного нашего союзника — погоду», и что «нынешний высокий урожай — это еще и результат влажного и солнечного лета», и что «вспахать и посеять — это еще не значит взять все от природы», зал загремел теми аплодисментами, которые трудно было понять, к чему они относились: к погоде ли, что помогла вырастить и собрать такой урожай, к тому ли, что, несмотря на привычные утверждения, что человек властен над всем и что из этого надо исходить, планируя и требуя выполнения планов, на поверку выходило, что дело-то обстояло не совсем так. Павел тоже, как и все, аплодировал этой удачно и кстати сказанной правде-шутке, как он воспринял ее. Он знал, что от погоды зависело многое, и на сенокосе ли, на уборке ли — всегда посматривал на небо; но здесь, при виде всех этих отмеченных высокими правительственными наградами людей, он испытывал лишь только то одно общее со всеми чувство, что люди эти, заполнившие зал и президиум, были силой, которой противостоять нельзя.

«Народ, держава, одно слово — держава»,— думал он, невольно как бы оглядываясь на прошлое, на всю ту трудную (и свою и народа) жизнь, которая, как всякая пройденная дорога, долга и необозрима, только пока идешь по ней, и сжата и коротка в воспоминаниях.

— А ведь он прав,— между тем шепнул ему тот самый механизатор, член пензенской делегации, с которым Павел (в перерыве) ходил по фойе.— Не выпадет дождичка — не будет и хлеба.

— Выпадет, чего ж не выпасть ему,— с уверенностью (и не вникая в суть дела) ответил Павел.

Но многое из того, чего Павел не мог уловить (со своим восприятием целостности жизни), замечали дру-

гие и переглядывались между собой. Известный академик (будто между строк, будто он не хотел этого) невольно как бы жаловался президиуму, что его теория химизации почв, то есть улучшения их путем химизации, а значит, и повышения урожайности, все еще не получала должного признания и что находились даже люди, осмеливавшиеся критиковать ее. Теория его, как считал он, была всеобъемлющей и верной, так как она противопоставляла закону убывания плодородия почв (объективному будто бы) закон восстановления и обогащения. Он говорил красиво и убедительно для тех (как для Павла), для кого авторитет ученого всегда есть авторитет непререкаемый; но даже Павел, вслушиваясь, был странно смущен и думал, обращаясь мысленно к оратору, что как это он (оратор) не понимает (со своей химизацией) того, что нельзя, оставив на поле только пшеницу, все остальное живое уничтожить на нем; это противоестественно, земля станет мертвой, а на мертвой земле ничто не родит. Но все же целостность восприятий Павла еще не была поколеблена этим выступлением. Он только удивленно посмотрел вокруг себя, когда выступление было закончено, как будто хотел сверить свое недоумение; но две последующие речи, прозвучавшие одна за другой, заставили всерьез задуматься его.

Одной была речь секретаря райкома Лукина. Когда назвали его фамилию, Павел не расслышал; он лишь точно так же, как за всеми другими, поднимавшимися на трибуну, следил за Лукиным, как тот уверенным, твердым шагом прошел через зал к трибуне. Щеголеватый, с иголочки, как говорили о нем в районе, он молодо вскинул голову, ладонью прибрав спадавшие на лоб волосы, и с первых же слов, как заговорил, завладел вниманием зала. Смысл его выступления сводился к тому, что, кроме научной основы земледелия, есть еще нравственная и что земля должна иметь не условного, а настоящего хозяина, должна быть в чьих-то одних руках, и рассказал об эксперименте, проводившемся Парфеном Калинкиным в своем хозяйстве, с которым, заехав к нему на обратном пути из Орла, Лукин познакомился в тот трудный для себя день. Эксперимент этот, доведенный Калинкиным до конца (уже с согласия и одобрения райкома), выявил возможности, о каких прежде ни в колхозе, ни в районе никто не думал, что они могут быть, и Лукин теперь приводил цифры, которые (в пере-

счете на все пахотные земли колхоза и на земли района) представлялись внушительными. Павел видел, как председательствующий, поглядывая на Лукина, то и дело что-то записывал себе, а когда Лукин закончил, кто-то из крайних, сидевших за столом президиума, торопливо подошел к нему и пожал руку. Не ожидавший, как видно, что выступление его произведет такое впечатление, Лукин был взволнован, когда покидал трибуну. Он был в центре внимания, был героем дня, и ему аплодировали. Павел даже обернулся, провожая его взглядом. Он уловил в его словах то важное — что у земли должен быть хозяин,— что всегда болезненно жило в сознании Павла. Он относился к земле по-хозяйски, но он видел, что другие относились иначе, и потому понимал Лукина.

Второй речью, взволновавшей Павла, была речь курганского ученого-практика Терентия Мальцева. На трибуне стоял семидесятилетний, моложавый, бодрый еще старик с простым и добрым русским лицом. Он как будто ничего не отрицал, ни с кем не спорил и ничего не доказывал, а говорил только о сроках сева (поздних, каких придерживался он), подчеркивая при этом, что планировать эти сроки из кабинетов, да еще и для всех районов одни, нельзя и противоестественно делу; говорил будто только о пахоте (безотвальной, какую практиковал у себя), что он предпочитает не переворачивать, а рыхлить пласт (что было в соответствии будто с неким общим законом природы); говорил лишь, что не следует сжигать солому, а лучше оставлять ее на полях как необходимую земле органику (и что в связи с этим следует подумать о прицепных к комбайнам соломодробилках); он говорил будто только о том, что давно и с пользою применял в своем хозяйстве, но Павлу казалось, что он говорил о том, что не все вычеркнутое из прошлой крестьянской практики жизни было вычеркнуто правильно и что ко многому надо бы вернуться, безбоязненно признав свою неправоту. Павлу как бы открылось, что на то самое дело, за которое он ежедневно принимался в Мокше, не спрашивая себя, как его делать, а веря, что все, что он делал, было продуманно и правильно,— на дело это были разные (и каждый по-своему убедительный) взгляды. Всегда считавший, что он плыл по одному, и ровному, течению, он как бы ощутил глубину его; и ощутил неоднородность сил, возбуждавших это течение; он никогда не представлял себе, что вокруг

его работы и жизни было столько разных мнений и споров, и когда вечером на приеме, устроенном в банкетном зале Кремлевского Дворца съездов в честь участников совещания, он оказался за одним столом с Лукиным и Мальцевым, он особенно внимательно начал прислушиваться к их разговору.

IX

Прием проходил по тому новейшему образцу, когда все не сидели, а свободно прохаживались между столами. Те, кто посмелее (и кому положено и удобно было сделать это), подходили к столу, за которым находились секретари ЦК, члены правительства, и здоровались и разговаривали с ними; те, кто не осмеливался и кому нетактично, неловко было сделать это, смотрели издали на смельчаков с той скрытой завистью (что не они, а те подходили туда), которая, сколько ни осуждай ее, всегда останется обычным и естественным человеческим чувством. Лукин, выпивший на радостях больше, чем позволял себе выпить всегда, и разгоряченный и красный, смотрел от своего стола в ту сторону, где было правительство. В такой близости к высшей власти страны он еще никогда не был, и по неловким движениям, как он вдруг принимался подкладывать в свою тарелку то, что уже лежало в ней, и восторженному выражению лица было видно, что он взволнован. Ему надо было заговорить с кем-то, чтобы унять волнение, и он поглядывал на Мальцева, стоявшего рядом и тоже считавшегося, как и сам Лукин, героем дня.

Приветствие было уже оглашено, на сцену поочередно выходили певцы, певицы, танцоры, и усиленная динамиками музыка, с одинаковой громкостью звучавшая отовсюду, сливалась с голосами людей и заглушала их. По потолку от одного конца зала к другому, словно по галечному перекату, плескаясь, лились радужные потоки света, и столы с яствами, рюмки, люди — все то окрашивалось багряным цветом восхода, даже набегал холодок, будто где-то рядом, за стенами, были луг, речка и лес со всеми запахами утра; то все начинало бледнеть, выцветать (с той же естественностью, как в жизни), и над головами устанавливалась высокая голубизна неба; то опять все переменялось и принималось опереточно мелькать в желтых, оранжевых, кумачовых пят-

нах, как будто кто-то торопился снять с гостей это минутное настроение грусти. Женщины из приезжих были в тех платьях, в которых они там, в деревнях, выглядели нарядными и модными; москвички, жены тех, кому положено было прийти с ними, понимая всю торжественность приема, были в длинных платьях, открывавших их белые, в жемчугах и золоте шеи. Дамы эти при своих почтенных мужьях держались так, как будто все, что происходило в банкетном зале, было в честь их и для них. Одна из таких дам с голыми круглыми плечами, голой, усыпанной веснушками спиной и голой шеей была за тем столом, за которым были Павел, Лукин и Мальцев, и суетою и бесцеремонностью, позволенной будто бы ей положением ее мужа, особенно обращала на себя внимание. Павел отстранялся от нее, чтобы не мешать ей размахивать руками; Лукин морщился на нее оттого, что он (только-только примирившийся со своей женой) видел в ней то вульгарное, что он видел теперь в каждой посторонней женщине; отходили, образуя вокруг нее пустоту, и другие, кому хотелось поговорить между собой без тех поверхностных, но должных казаться всем умными высказываний, без которых для определенного круга москвичей неинтересной и немыслимой показалась бы им московская жизнь.

— Теперь все и всюду заменяется машинами,— говорила эта дама.— Я слышала, уже выведен вечный сорт пшеницы.

— Верунчик, ты говоришь глупости.

— Ну как же, ну как же!

— Глупости, я уверяю тебя.

Муж ее Станислав Евгеньевич, как он отрекомендовал себя, был одним из тех занимавших высокое положение москвичей, которые, поднявшись до определенной ступени, десятилетиями затем сидят на одном и том же своем должностном стуле не потому, что умны и незаменимы, а потому, что всегда с выгодою для себя умеют использовать чужие мысли. Курганский ученый-практик ни с какой стороны не был как будто нужен Станиславу Евгеньевичу. Но по тому чувству, что он видел, что в сельском хозяйстве намечались перемены, по усилению внимания высшими органами власти к деревне и, главное, тому своему чутью, что если и произойдут перемены, то они будут подсказаны нижним звеном, такими, как Терентий Мальцев, то есть людьми деревни, он крутился

теперь возле Мальцева, прислушиваясь, расспрашивая и стараясь понять, что хочет предложить этот сибирский медведь (как Станислав Евгеньевич про себя охарактеризовал его), чтобы затем, опередив его, предложить это же самому и, получив необходимые моральные (и материальные, разумеется) дивиденды, возглавить дело. Невысокий, с круглым, трогательно выпиравшим из-за полов пиджака животиком, на котором изящно покоился коричневый галстук, с наплывами жира над воротником рубашки и пухлыми розовыми пальцами, которые нельзя было представить иначе как над письменным столом, Станислав Евгеньевич не то чтобы заискивал перед Мальцевым или, что было бы еще хуже, выказывал перед ним свое чиновное превосходство (в его квартире висели хомут и лапти для возбуждения национального крестьянского духа); он просто отдавал должное Мальцеву (как, впрочем, и Лукину и Павлу), и в глазах его поминутно мягко светилось: «Да, я понимаю, вы там, на передовой, но, в конце концов, все мы делаем одно общее дело».

— Терентий Семеныч, Терентий Семеныч,— то и дело слышался его голос, в то время как Мальцеву трудно было после волнений дня отвечать ему.— Верунчик, ты не права, ты сегодня мешаешь мне,— тут же говорил он, успевая не только обращаться к Мальцеву, но и следить за женой.— Ты видела Матвиевских? Они здесь. Хочешь к ним? — предложил он ей, чтобы иметь возможность делать свое дело.— Пойдем, сходим повидать и поздравить.— И как раз в то время, пока он ходил к Матвиевским, чтобы оставить жену возле них, между Лукиным и Мальцевым произошел тот главный разговор, услышать который более всего хотелось Станиславу Евгеньевичу.

— Вы упомянули о законе природы,— сказал Лукин, обращаясь к Мальцеву. Говорить ни о чем, то есть для того только, чтобы говорить, он не умел и потому задал тот вопрос, который после выступления курганского ученого-практика беспокоил Лукина.— Вы приложили его к земле, к плодородию?

— Он приложим ко всему,— ответил Мальцев.— Закон накопления и увеличения плодородия, а не убывания его, как нам десятки лет твердили с ученых кафедр.— И он неторопливо, как он говорил всегда, будто с трудом подбирая слова и мысли, изложил Лукину ту свою научную теорию (подкрепленную опытом своим и исто-

рическим опытом крестьянского труда на исконных русских землях), по которой выходило, что закона убывания плодородия почв нет и не могло быть в естественных условиях жизни природы, что закон этот придуман для оправдания бесхозяйственного, если не сказать больше — бездумного обращения с землей и что вместо этого так называемого закона убывания плодородия всегда действовал и действует закон природы, по которому жизнь не затухает, а развивается на Земле.— Нынешнее вмешательство человека есть нарушение этого закона. Мы приучили себя к мысли, что только глубокая пахота дает урожай, тогда как на самом деле все обстоит иначе. Там, где пахотный слой позволяет, паши на здоровье, но ведь земли центральной России никогда не имели глубокого пахотного слоя. Мужик со своею сохой брал ее только на семь—десять сантиметров, а мы, получив могучие машины, забираем на все двадцать пять—тридцать и, если хотите, столько перепортили земли, что представить трудно.

— От головотяпства, от неумения или еще от чего? — спросил Лукин.

— Не могу судить. Я только констатирую и хочу сказать, что так же, как мы диалектически подходим ко всякому делу, должны подходить и к науке земледелия. Если мы признаем, что вместо так называемого закона убывания плодородия почв, говоря иначе — бездумного, беграмотного нашего отношения к земле живет и действует закон природы, который надо изучать и применять, то мы вдвое, втрое сможем больше получать зерна, чем собираем с тех же площадей сейчас.

— По-моему, это открытие,— сказал Лукин, увлеченный теорией Мальцева.— У нас другие земли, но все равно, если вы не будете возражать, я бы охотно приехал к вам или прислал своих специалистов.

— Пожалуйста, что есть, покажем,— сказал Мальцев.

Для Лукина, убежденно искавшего пути решения деревенских проблем, теория Мальцева, то есть умение правильно подойти к земле, невольно соединялась с понятием хозяина, как Лукин трактовал это понятие теперь, после зеленолужского эксперимента, и в соединении этом видел путь, по которому должно пойти сельское хозяйство. Он не говорил себе определенно, что путь этот вполне теперь был ясен ему; он только чувствовал (как

человек, вставляющий в темноте ключ в скважину и наконец нащупавший пальцами то, что было нужно нащупать), что путь есть и что надо теперь только идти к цели. Он смотрел на Терентия Мальцева и думал о Парфене Калинкине и разговоре с ним. Тот разговор в колхозе и этот, здесь, в банкетном зале Кремлевского Дворца съездов, в иной и не располагавшей будто к деловому общению обстановке, Лукину не казались разъединенными и разными; и Мальцевым и Калинкиным утверждалась, в сущности, одна и та же мысль, что нельзя, как это было сделано раньше, отмахиваться от векового крестьянского опыта, и мысль эта, захватив Лукина, отвлекала и занимала его. Сосредоточенный весь на этой мысли, он, казалось, не слышал, как за всеми другими столами (и за тем, где были секретари ЦК и члены правительства) продолжалось веселье. Между гостями ходили официанты с подносами и разносили жареные колбаски, шашлыки, расстегаи и еще и еще что было вкусным и съедалось сейчас же, как только оказывалось в тарелках.

— Что меня беспокоит еще,— снова начал Мальцев после минутного задумчивого молчания,— так это излишняя наша увлеченность химией. Мы омертвляем химикатами землю, и перед наукой, по-моему, сейчас надо выдвигать вопрос, как нам избавиться от ядохимикатов.

— Вы о химии? О выступлении академика? — сказал Станислав Евгеньевич, только что подошедший (без жены), не слышавший всего разговора, но решивший (по этим последним услышанным словам), что речь шла о выступлении известного академика, вернее о его теории химизации почв, и что теория эта не одобрялась ни Мальцевым, ни Лукиным.— Да, я с вами согласен, с химией мы явно переборщили,— подтвердил он, как будто он продолжал разговор.

Несмотря на то, что накануне совещания, то есть вчера, когда Станислав Евгеньевич был в гостях у этого известного академика (они не просто были знакомы, но дружили семьями и представляли собою ту с в о ю Москву, в круг которой входили и профессор Лусо, и Тимонин, и Дружниковы), хвалил эту его теорию химизации и давал понять, что всячески будет поддерживать ее,— теперь, почувствовав общее настороженное отношение к ней, спешил присоединиться к этому общему мнению, выдавая его как свое давнее и глубокое убеж-

дение; но фальшь, которая звучала в его словах и которую он не в силах был скрыть в себе, фальшь эта выдавала его, и Мальцеву и Лукину неприятно было слушать Станислава Евгеньевича. Но из деликатности они не возражали ему, а только переглядывались, недоуменно (и незаметно для Станислава Евгеньевича) пожимали плечами.

— Ну вот вы, вы механизатор, я вижу по вашим рукам, вы, я думаю, согласитесь со мной,— продолжал между тем Станислав Евгеньевич, обращаясь к Павлу, которого он почему-то считал своим сообщником (видимо, потому, что тот стоял молча и только прислушивался ко всему).

— Я не знаю, я только баранку кручу,— ответил Павел, теряясь и не представляя, что было сказать этому щеголеватому и круглому начальству, обращавшемуся с вопросом к нему. «Одни живут, другие изучают жизнь и силой своего воображения пытаются направлять ее, ну а те, кто живет, мы, что ж, выходит, мы так-таки ничего и не знаем, как нам жить?» — было в сознании Павла. Но он не говорил это, о чем думал, и только с бóльшим как будто смущением, чем Мальцев и Лукин, пожимал плечами.

X

Лукин, как и Терентий Мальцев, теорией которого заинтересовались в соответствующих инстанциях, был после совещания оставлен в Москве и приглашен (теми самыми инстанциями) для разговора о зеленолужском эксперименте.

— Было бы хорошо,— выслушав, сказали ему,— если бы вы письменно изложили подробности вашего эксперимента.

Ему дали понять (несмотря на убедительность и восторженность его доводов), что дело это — зеленолужский эксперимент — непростое, что оно требует изучения и что, кроме положительных факторов, оно несет в себе еще и то сомнительное начало, которое противоречит определившимся уже нынешним взглядам на развитие деревни. Ему дали понять, что то, что можно сказать с трибуны, еще не означает, что должно быть немедленно и под аплодисменты принято жизнью, и надо еще положить все (то есть суть и результаты эксперимента) на

те весы общего генерального направления, по которым будет ясно, чего больше — положительного или отрицательного — в эксперименте. Ему дали понять, что есть единая, разработанная и утвержденная система хозяйствования и что как ни ценна инициатива, но она должна быть в тех пределах (как маятник по заданному устройству часов), в которых не нарушалась бы эта общая система. «Но что тут нарушается и что изучать?» — думал Лукин, выйдя на Старую площадь. Он не был поколеблен в своих убеждениях, хотя и не испытывал уже той самоуверенности, с какою, покидая вчера трибуну, смотрел на аплодировавший ему зал (и того чувства открытия, когда затем на приеме разговаривал с Мальцевым); ему казалось, что его не поняли; не поняли потому, что он, говоря об эксперименте, не соединил его с мальцевским законом природы (как он целостно думал об этом вчера); и он был раздражен и недоволен собой за эту оплошность.

«Да, именно, надо было соединить все»,— думал он уже в номере гостиницы, готовясь приступить к той самой записке, какую просили сочинить его. Но он только смотрел на чистые листы бумаги и не приступал, прислушиваясь к этому новому для себя чувству неуверенности, происходившему оттого, что он видел, что противостоящей ему в споре стороной выступал теперь не старик Сухогрудов, а то направление жизни, которое определено и установлено было общими усилиями людей и в котором без этих общих усилий и согласия невозможно ничего изменить и поправить. «Но от кого-то и от чего-то зависят эти общие усилия»,— говорил он себе и, как это часто бывает с людьми (по защитному свойству человеческого ума переключаться с одного предмета внимания на другой), от сложностей служебного порядка незаметно как бы для себя перешел к тем своим семейным вопросам, которые, несмотря на то, что Зина с дочерьми была уже перевезена им из Орла в Мценск, оставались еще нерешенными для него. Зина была холодна с ним, и он болезненно переживал это. Галина просила (в письмах и телеграммах, которые она присылала ему на райком) приехать за ней в Тюмень и забрать ее, и он точно так же не мог не думать о ней. Его мучила совесть и по отношению к жене и по отношению к Галине, и он не мог оценить, что было вернее сделать ему. Галину он бросал теперь в тот момент, когда у нее было горе, к которому

хотя и косвенно, но он все же чувствовал причастным себя. «Я отступил перед ее капризами, а нельзя было отступать и надо было настоять на своем»,— думал он о том давнем дне, когда он, не поехав за нею в Москву, разошелся с ней. Он был виноват перед ней, но еще основательнее, казалось ему, был виноват перед Зиной и чувствовал, что нельзя было ему допустить, чтобы она оказалась несчастной из-за него. «Она не выдержит и пропадет»,— думал он (как он всегда думал о ней), и это, что он вернулся к ней из жалости (и еще оттого, что опасался общественного мнения о себе, что было главным), заставляло его как бы постоянно и мучительно оглядываться вокруг себя.

«Мог ли я еще полгода назад предположить, что окажусь в таком глупейшем положении, как теперь?» — думал он, относя это одновременно и к семейным делам и к зеленолужскому эксперименту, в котором (как он ни был все еще убежден в правоте его) видел, что была непродуманность, происходившая не от него, Лукина, а от Парфена Калинкина, инициатора эксперимента. «Может быть, у меня нет характера, нет твердости?» — задавал он себе вопрос. Но еще прежде чем подумать, что ответить на него, чувствовал (из прежнего опыта жизни), что, когда надо, он бывал и несговорчивым, и твердым и умел проявить характер. «Разве я уступил Сухогрудову? Нет»,— мысленно говорил он, продолжая вспоминать, когда он еще так же решительно и с резкостью отстаивал свое мнение. Но тогда он был чист и ничто не стесняло его; его никто ни в чем не мог упрекнуть, даже если он ошибался, потому что он ошибался искренне. Теперь же все осложнялось тем, что в деле с экспериментом он доверился зеленолужскому председателю с его беременной невесткой, поразившей Лукина и вспоминавшейся теперь, а в деле семейном не было даже этого малого, что послужило бы оправданием. С Зиной он жил как будто хорошо и был доволен ею. Но, встретившись с Галиной, не устоял перед ней и объяснял это теперь своей слабостью, которой не мог простить себе. «Ведь она глупа,— думал он,— и я знал это. Она только создает видимость жизни, тогда как на все смотрит потребительски. И на меня»,— добавлял он, приходя (по партийной привычке своей обобщать и соединять все с общим движением жизни) к выводу, что люди обычно страдают и расплачиваются не за то, что умышленно

совершают зло, а за то, что не умеют вовремя сдержать себя, и общество со своими устоявшимися понятиями морали — общество вынуждено быть безжалостным к ним. Он, когда это теперь требовалось ему, перечеркивал свои прошлые (и правильные) понятия о жизни и заменял их новыми (и ложными), по которым он мог считать правым себя.

Из гостиничного окна, к которому он подходил, чтобы отвлечься, открывался ему вид на Кремль с мостом, площадью, выложенной брусчаткой, и выступавшим на эту площадь собором Василия Блаженного, витые луковицы которого, не просохшие еще как будто от сырости утра, играли весело в лучах высоко уже поднявшегося над Москвою солнца. Внизу, под стеной, лежала тень, но зубчатый гребень ее и башня со шпилем, уходившим в него, были освещены, и видны были за этой зубчаткой верхушки деревьев кремлевского сада, белокаменная стена колокольни, купола церквей, соборов и возвышавшееся над ними полукружье Большого Кремлевского дворца. Все это было красиво, было тем, что успокаивало как будто Лукина; но как только он вновь принимался вышагивать по номеру, трудные мысли его, отвлекавшиеся видом Кремля, сейчас же опять выдвигались из углов памяти и начинали беспокоить. Он не мог заставить себя сесть за работу и вместо этого решил, что ему надо съездить на кладбище к сыну, к той стене, в которой, как писала ему об этом в письме Галина, была замурована урна с прахом Юрия; и он, уже не думая больше ни о чем, оделся и вышел на улицу.

XI

Как бы ни менялся с годами облик Москвы, для всякого русского человека она всегда остается неизменной в том собирательном значении этого слова, что она есть голова всему и к р а с н ы й у г о л державы (в смысле красного угла избы, лучшего, почетного места). Москва в памяти Павла Лукьянова, только раз и не в лучшую пору, во время войны, побывавшего в ней (ночью по затемненному Садовому кольцу он прошагал с маршевой ротой от Казанского вокзала до Курского, отправляясь на фронт), в отличие от всех иных городов (и больших и малых, и советских и европейских, через которые затем прошел с боями) жила какою-то будто особой, неприкос-

новенной, святой жизнью. Все, что было с ним и вокруг него, связывалось в сознании его с Москвой как с правдой, без которой невозможны были бы ни Пенза, ни Мокша, ни те приречные луга, где он косил, начинавшиеся за деревней, ни поля, на которых пахал, сеял и убирал овсы и пшеницу; не бывая в Москве, он вместе с тем имел о ней свое определенное мнение как о средоточии ума и справедливости, и, попав теперь в столицу и увидев ее (в этот первый день приезда) только с той парадной стороны, как видят ее наезжающие туристы (весь путь его был от гостиницы «Россия» до Кремлевского Дворца съездов и обратно), он не то чтобы удивился величию и красоте Кремля, величию и красоте Красной площади с Мавзолеем и голубыми елями вдоль стены, но удивился тому, что представление его о столице совпало с тем, какой она на самом деле открылась ему. И хотя совпадение было не внешним, а только по чувству, что Москва — голова всему, но Павлу казалось, что во всем, на что он смотрел, он узнавал (как он в любое время года и с любого расстояния узнал бы свою деревню) дорогие ему очертания строений и куполов, которые словно бы всегда, сколько он помнил себя, жили в нем. Он только не говорил об этом своем чувстве и по-деревенски несуетливо приглядывался к размерам кремлевской стены, поражавшей его. «Да, работали, не сидели»,— думал он, меряя эту могущественную красоту затратою труда на нее. Он запомнил Москву именно с этой, парадной ее стороны, и ни студенческое общежитие затем, куда он ездил навестить Бориса, ни посольские улочки в районе площади Восстания, где жил Сергей Иванович, не могли уже разрушить в душе Павла этого первого впечатления его о Москве.

— У вас тут не учась ученым будешь,— уже после встречи с сыном и коллективного (всей пензенской делегацией) посещения ВДНХ говорил он Сергею Ивановичу, сидя с ним вечером за столом на кухне. Не любивший выпить, но возбужденный впечатлениями от Москвы, разговором с сыном и тем, каким он нашел Бориса — спокойным, целеустремленным и не испортившимся без родительского глаза,— возбужденный, главное, возможностью по-родственному поделиться с Сергеем Ивановичем этими своими восторженными впечатлениями, он пил, краснел и не чувствовал себя пьяным.— Ведь как живет, как живет,— поминутно переводя разговор на

сына, внушал он Сергею Ивановичу.— Как и дома не жил! Все тебе удобства, учись и не забивай дурью голову. (Что для Павла было — как Роман, не нашедший ничего лучшего как жениться, а для Сергея Иваныча — непонятным и странным это шуринское присловье «забить дурью голову»).

— Ну ты уж скажешь: дурью... С чего бы она, дурь эта? — возражал Сергей Иванович.

— Э-э, не говори, не говори. Ну, будем! — И он, подержав над столом рюмку, выпивал ее, вытирал рукавом губы и закусывал тем, что было поставлено на столе.

Павел не замечал, что, хваля Москву и московскую жизнь, он ставил себя перед Сергеем Ивановичем в то невыгодное положение, в каком Сергей Иванович выступал перед ним в Мокше, хваля ему его деревенскую жизнь. Они как бы поменялись теперь ролями, и уже Сергею Ивановичу приходилось морщиться, отворачиваться и возражать шурину. «Что Кремль, что соборы, что эти твои торжества? Этим ли живут люди?» — было в сознании его. Что Павлу представлялось главным, то есть красота и величие дворцов, зданий и площадей и то чувство государственной жизни, какое ему внушали они, для Сергея Ивановича было лишь фоном (как для Павла зацветшие овсы или скошенные луга в Мокше), на котором протекала его в заботах и хлопотах московская жизнь. Он слышал (по телепрограмме «Новости»), что в Кремлевском Дворце съездов будто бы открылось совещание работников сельского хозяйства, собравших небывалый в этом году урожай зерновых, но и совещание и успехи эти не добавляли, не изменяли и не могли изменить ничего в его личных делах, в которых он был заинтересован, то есть в его отношениях с дочерью, в ходе следствия над ее мужем и еще в десятке других, требовавших решения. Кирилл Старцев, взявшийся пристроить Сергея Ивановича на работу, то ли оттого, что не очень старался, то ли от другого, что говорил не с теми людьми, с кем нужно бы, все еще ничего подходящего не мог подобрать ему; Никитична, с охотою согласившаяся было (по поручению все того же Кирилла) присмотреть за Сергеем Ивановичем, почувствовав затем, что дело это было не столь прибыльным для нее, чем то, каким она занималась, обмывая покойников и прихорашивая их в гробу, все реже и неохотнее приходила те-

перь; Наташа, получив по доверенности тот самый ордер на кооперативную квартиру, которого так ждал и не дождался Арсений, была поглощена теперь переездом и устройством в новом доме, где она, обнадеженная Кошелевым, что Арсений будет оправдан, готовилась встретить мужа. От отца она уже получила то, что хотела. Он больше не нужен был ей. Она только навещала его, но жила той привычной уже для себя самостоятельной жизнью, от которой не то что трудно, но невозможно было отказаться ей, и Сергей Иванович с тоскою видел, как дочь все больше и больше отдалялась от него. Эти-то заботы и составляли для него теперь ту его (невидимую Павлу) Москву, в которой он жил и о которой (как и Павел в Мокше о своих деревенских делах) не хотел говорить Павлу. Но причины, побуждавшие к молчанию их, были разными. Если Павел не говорил из тех простых соображений, что не хотел стеснять своими заботами гостя, то у Сергея Ивановича было иное, и более глубокое, основание. Из того постоянного соперничества, по которому он знал, что шурин обогнал его в своей бесперспективной будто деревенской жизни (что сыновья у него, что дочери, да и дом, и в доме, и Екатерина со своим цветущим лицом и царственным взглядом, да и сам Павел со своим спокойствием и здоровьем),— из этого именно чувства соперничества, по которому, проигрывая шурину почти во всем, но не желая все же признать побежденным себя, он как раз и не хотел говорить о своих трудностях. На вопрос, что это была за срочная телеграмма, присланая Наташею в Мокшу, он ответил только: «Молодость, чуть запнулся, а уж кажется — в пропасть летишь». Он больше слушал, чем говорил, и чувствовал, что приход Павла был в тягость ему, как в Мокше в тягость шурину был сам Сергей Иванович со своей суетой, поездкой в Пензу, больницей и похоронами Юлии (как лишний навильник сена на возу, за которым надо было следить, чтобы не растрясти в дороге).

— Старший-то мой, Роман, сукин сын, женился, вот тебе и дурь,— продолжал между тем Павел.

— Жениться — это еще не дурь. На ком, да и что после?

— Так об чем и речь.— И Павел с минуту, опустив седую уже голову, молча смотрел перед собой на стол и тарелку с кусками недоеденной колбасы, размятыми томатами и остатками консервированной рыбы.

Вчера, когда он был на приеме, он чувствовал себя стесненно от разнообразия еды и закусок на столах; он почти ни к чему не притрагивался и только то смотрел на правительство (на тот стол, за которым было оно), то прислушивался к разговору Мальцева и Лукина, из которого понимал лишь, что существует будто бы некий общий закон природы, нарушавшийся теперь людьми, и что будто бы от этого нарушения как раз и происходят все зримые и незримые загвоздки и накладки; он был оглушен обилием начальственных лиц (главное, обилием орденов и медалей на их пиджаках), и в том привычном для него понимании его крестьянской жизни, что нет ничего выше и порядочнее ее, образовалась (после этого вчерашнего обилия еды и медалей) брешь, провал, окно, за которым дразняще виднелась ему та, иная, с иными возможностями и запросами московская жизнь.

— Нет, что ни толкуй, а Москва есть Москва,— встряхнув головой, как будто желая что-то лишнее сбросить с нее, снова начал Павел.— Я бы не смог, недоступно, а манит, червяком этаким сверлит.

— Ты о чем? — тоже захмелевший, тоже думавший о своем и теперь как будто очнувшись, спросил Сергей Иванович.— Для кого она Москва, а для кого... Э-э, о чем ты говоришь, какой червь?

— Есть, есть этот червь. Мы там от темна до темна, а тут?

— Что тут? Ну что тут? Да тебе ли, Павел, слезы лить? Здоров, как бык, такая семья, дети, машина — да тебе ли? Не завидуй, не-не, не завидуй. Давай-ка еще за тебя. За тебя, за тебя, не возражай.

XII

Они выпили еще и были уже пьяны. И в этом пьяном состоянии Сергей Иванович старался перевести разговор на деревенскую тему, на то, что в Мокше поразило его и представлялось сутью и смыслом жизни (как он мог по поверхностным впечатлениям судить обо всем); Павел же, напротив, переводил на свое, то есть старался говорить о Москве, что поразило его в ней (и о чем он точно так же из поверхностных впечатлений делал глубокие для себя выводы); разгорячившиеся, они перебивали друг друга, в то время как главное, о чем надо бы поговорить им (что для Сергея Ивановича было его от-

ношения с дочерью и устройство своей судьбы, а для Павла — все увеличивавшиеся заботы о подраставших детях, которых надо было выводить в люди),— главное это оставалось в стороне, как будто не было главным и не могло занимать их.

— Закон природы, а ведь он есть, этот чертов закон,— говорил Павел, пьяно тряся над столом вилкой.

— Есть или нет, не знаю,— отвечал Сергей Иванович.— Вот ты живешь в деревне и ты здоров духом и телом, у тебя семья, достаток, я видел и я говорю тебе: вот он и есть, этот твой закон природы.

— Согласен, но...

— Если о Москве, то не гни, не гни коромысло в ту сторону, в которую оно не гнется.

— Но ты бы посмотрел вчера!

— Видел, и не раз и не такое еще, э-э, в Потсдаме...

— Я не о том.

— А я о том, именно о том.

Сергей Иванович поднялся, распахнул окно и включил свет. Ему приятно было вспомнить не столько о Потсдаме, где стояла его часть в свое время, сколько о том деятельном для себя периоде жизни, когда он весь был в работе и знал, ради чего переносил лишения. Он почувствовал, что (хотя и в прошлом) он был выше и значительнее Павла, и сознание этого превосходства, как будто оно, кроме утешения самолюбия, еще что-то давало ему,— сознание этого бывшего превосходства словно что-то решительное и резкое пробудило в нем.

— Ты знаешь, какой парадокс,— от окна повернувшись к Павлу, сказал он.— Мы клянем войну, да, верно, но ведь в войну я был нужен, я делал дело и был человеком!

— Ты был командиром и командовал... мной.

— Не тобой, а полком, это вещи разные.

— Людьми, людьми, а теперь этих людей у тебя нет.

— Не то, Павел, не то. Нет дела. Настоящего дела.

— А ведь и выйдет в дипломаты, а? Чует душа: выйдет, выйдет, сукин сын,— через минуту уже, качая головой, опять говорил о своем Павел. Перед сыном его Борисом открывалась перспектива высшей московской жизни, так поразившей теперь Павла, и он был взволнован и не мог не думать об этом.

Они то трезвели, остужаясь под потоком сырого осеннего воздуха, вливавшегося в окно, то опять, как только

выпивали по очередной рюмке, кровь прибывала к голове и они хмелели, горячась, что-то и для чего-то доказывали друг другу, о чем на следующий день неприятно и трудно было вспомнить им. Они, не подозревая о том, оказались (с этой своею выпивкой и разговором) на том бессмысленном острове в общем океане осмысленной и целенаправленной человеческой жизни, на который не то чтобы случайно занесла их судьба, но на котором неизбежно оказывается всякий, как только отрывается от привычной для себя сферы деятельности — по собственной ли, по чужой ли воле. Павел, привыкший у себя в деревне к конкретным делам, а потому и к конкретным разговорам, относившимся только к делу, был теперь вне сферы этой своей привычной обстановки; он был возбужден, был как будто совсем другим человеком и, сознавая, хотя и смутно, это свое неестественное состояние (и, главное, не умея привести в порядок все свои московские впечатления), не мог ничего поделать с собой и говорил, говорил о том общем, о чем он не умел и не знал, что надо было сказать, и был, если бы Екатерина и дети со стороны теперь посмотрели на него, смешон и глуп в этих своих суждениях. Он чувствовал лишь, что надо было противостоять в чем-то своему московскому родственнику, и противостоял, во всем и решительно не соглашаясь с Сергеем Ивановичем.

— Ты мне брось нахваливать деревню, как этот самый тот корреспондент, который пришел, увидел, победил. И мы книжки читаем, грамотны,— говорил он.

— Что ж, над Москвой одно солнце, одна роса, а над Мокшей другие? Ты брось это, брось,— через минуту снова говорил он.

Точно то же почти, что с Павлом, происходило и с Сергеем Ивановичем. Привыкший всегда мыслить категориями общими, то есть распоряжаться судьбами других людей (как было на фронте и было после войны, пока командовал полком), он в силу новых для него обстоятельств жизни должен был перенести всю свою энергию деятельности теперь на себя; он, как и Павел, но не на день, а на годы был как бы пересажен из привычной для себя почвы в непривычную, где, кроме писания мемуаров, не было куда приложить ум и руки, и он никак не мог освоиться с этим изменившимся для него положением. Он, как глубоководная рыба, вынесенная течением на мель, суетился и барахтался на этом

мелководье, давно уже ища выхода из него, и в старании своем высказать теперь то конкретное, что так ли, по-другому ли, но вернуло бы его в привычную для него стихию жизни (то есть к полезной для общества деятельности), он был так же, как и Павел, неестествен, смешон и глуп.

— Перед тобой луг, ты скосил его и ты чувствуешь, что сделал дело,— говорил он, возражая Павлу.

— Разные, разные и роса и солнце! — решительно повторял он, не соглашаясь с этим мнением шурина.

Уже в одиннадцатом часу, к удивлению Сергея Ивановича (и Павла, не знавшего ее), пришла Никитична и прервала разговор.

Как только она вошла — в старушечьей своей юбке и со спокойствием на лице и в движениях (дверь открыл ей Сергей Иванович),— во всей коростелевской квартире будто прибавилось свету. Она как бы внесла с собою в дом частицу той *народной* жизни, в которой люди, подобные ей, умеют, несмотря ни на какие перемены, устойчиво судить обо всем. Вместе с тем как она ежедневно смотрела телевизор и слушала радио, вместе с тем как она общалась (в силу своего профессионального дела дававшего заработок ей) с самыми разными людьми и знала из разговоров с ними, что все теперь делается по-научному и что без научного подхода не было бы того, что было вокруг (что было для Никитичны сборные панельные дома, быстро, как грибы, выраставшие вокруг Москвы), она видела во всей этой менявшейся жизни лишь то, что менялась как будто только одежда, снималось одно платье и надевалось другое, но что душа человеческая, вернее те нравственные понятия, о которых так часто говорят и пишут теперь,— душа оставалась неизменной и, как и во все времена, нуждалась в добре и утешении. «Что млад, что стар — всяк ласку любит»,— говорила она, не умея лучше выразить то, что она понимала; а понимала она, что, какие бы посты люди ни занимали, всем одинаково тяжело бывает в горе и одинаково всем нужно бывает доброе слово, за которое — трудно ли произнести его! — люди бывают готовы отдать все. С этой своей меркою она прилаживалась и к Сергею Ивановичу, приходя к нему.

— Из деревни? — сейчас же спросила она, взглянув на Павла (главное, взглянув на его костюм).— Свояк?

— Да вот повидаться приехал,— как-то оправдывающе сказал Сергей Иванович.— Решили по чарочке.

— Где по одной, там и по второй и по третьей, да поди уж хватит, нагрузились.— Она налила в чайник воды, поставила на плиту и пошла постелить им постели; затем, вернувшись, с властной бесцеремонностью, с какой, она знала, только и следует обращаться с подвыпившими людьми, убрала со стола бутылки и рюмки и, сказав: «Как ровно сердце чуяло, дай, думаю, зайду, а ведь она,— она чуть придержала поднятую над столом бутылку,— что образованного, что необразованного одинаково дурит»,— сказав это, принялась накрывать к чаю стол.

Она знала, что всякий пьяный разговор есть разговор бессмысленный и что из того, что говорится во время застолий, ничего затем невозможно бывает приложить к жизни; и потому она не прислушивалась, что (уже за чаем) продолжали еще доказывать друг другу Сергей Иванович и Павел. Они решали проблемы (будто и в самом деле что-то может зависеть от того, как сказать о том или ином деле), тогда как Никитичне, которая от рождения, как ей казалось, и до этого своего преклонного возраста была в одной и той же с в о е й среде жизни, не меняя понятий о ней и не забивая себе голову ни тем, как выращивать хлеб (выращивали же его всегда и вырастят, и пока есть вокруг люди, всегда будет и хлеб!), ни тем, как добывать руду и строить машины (всегда это кем-то делалось и будет делаться!), ни разными политическими, нравственными и иными исканиями (т а м пишут, а з д е с ь как жил всяк по-своему, так и живет!),— Никитичне не надо было думать об общих вопросах жизни; она чувствовала себя пристроенной в ней и, перенося это свое восприятие пристроенности на Сергея Ивановича и на Павла, видела сейчас перед собой лишь одну цель, чтобы уложить их спать. «Утро вечера мудренее»,— думала она; и она бесхитростно, просто, как всякий убежденный в своей правоте человек, незаметно как будто для них делала все, чтобы угомонить их.

XIII

Павел и Сергей Иванович, как это часто бывает с подвыпившими людьми, всю ночь (словно они соревновались) надрывно храпели и, сами не слыша этого свое-

го храпа, не давали заснуть Никитичне. Она ходила переворачивать их со спины на бок, возвращалась и снова ходила, и утром, невыспавшаяся, была молчалива, когда на кухне кормила их. Неразговорчивыми были и Сергей Иванович и Павел. Когда они теперь со стороны и совсем иными глазами смотрели на то, что было с ними вчера, спор их уже не представлялся им значительным; общее состояние жизни, что накануне занимало их, заслонено было теперь тем конкретным, что предстояло им сделать сегодня, и Павел то и дело доставал из кармана пиджака тетрадный листок, в котором рукою Екатерины по-школьному крупно было написано, что надо было для дома купить в Москве.

— Разреши-ка мне, что ли,— попросил Сергей Иванович.— Может, помогу чем.— Но прочитывая вслух, что было в памятке (названия и размеры вещей), показывал только, что он не знал Москвы и не представлял, где и что можно купить в ней.

— Да вы поезжайте в ГУМ,— наконец посоветовала им Никитична, слушавшая их.— Там есть все, а чего нет, так и ноги обобьешь, а не сыщешь.

Сама же она не хотела браться за то дело, которое не предвещало ей выгод. Проводив Сергея Ивановича и Павла, она позвонила по телефону, набрав номер, который надо было набрать ей, и поехала затем по тому адресу, куда еще накануне (и где был покойник) через свои установленные связи была приглашена, и была довольна, что день не пропадал для нее даром и что, как было передано ей, шла она не в бедный, а в благополучный, обеспеченный дом. «Постараться... да что же не постараться, ежели надо»,— думала она и посматривала на небо, которое с ночи еще свинцово набухало обложным осенним дождем. Никитичну беспокоило не то, что неприятно будет по дождю выносить гроб и хоронить покойного (день и час похорон, она знала, изменить нельзя), но беспокоило другое — что она не прихватила, выходя из дому, ни плаща, ни зонтика для себя, и прикидывала теперь в уме, что можно было предпринять ей.

Но дождя в этот день не было, а был только тот резкий переход от тепла к холоду (от лета к зиме), тот каприз погоды, о котором синоптики говорят, что образовался такой-то и такой-то новый циклон или антициклон и изменилось давление; но для Сергея Ивановича и

Павла, которым объяснение это не давало ничего и которые, как и большинство людей, находили в такой перемене лишь то, что им лучше или хуже дышится и работается в этот день,— для Сергея Ивановича и особенно для Павла, только что (накануне) видевшего солнечной и праздничной Москву, было теперь как-то неуютно и зябко в ней. Флаги и транспаранты, развешанные в честь недавних торжеств, были уже сняты, и всюду — и на Красной площади и на прилегавших к ней улицах и площадях — проступало то будничное однообразие, которое в пасмурный день бывает всегда особенно заметно. Заметно оно было и Сергею Ивановичу и Павлу. Попав (от проспекта Маркса) в тот постоянный поток людей, который тянулся к ГУМу, и вместе с этим потоком вступив в само здание ГУМа, разделенное на линии, этажи, переходы и мостики; попав, главное, в сутолоку всех этих выбиравших, что купить им, сотен тысяч (в большинстве приезжих) людей, Павел, как, впрочем, и Сергей Иванович, столкнувшись с этим естественным будто, но неприглядным в своем внешнем проявлении миром потребительства, до такой степени растерялся, что готов был отказаться от покупок, лишь бы только выбраться из этого вавилонского, как он назвал ГУМ, столпотворения. Несмотря на то, что на улице было свежо, сыро, в ГУМе было душно от скопления покупателей, с сумками и заплечными мешками атаковавших прилавки. Павел тоже был с мешком, в который он складывал покупки, и когда все уже наконец было сделано и он вместе с Сергеем Ивановичем направился к выходу, он чувствовал себя более усталым и вспотевшим, чем на лугу или на пшеничном поле, где он с утра и до вечера водил комбайн.

«А говорят, что у нас безработных нет. Но кто же эти? Что они делают и что производят?» — думал Павел, с наивностью многих полагая, что в то время как сам он был в ГУМе, по делу, остальные не могли и не должны были иметь того же нужного им дела здесь; и он с удивлением смотрел (уже выходя из ГУМа), как залатывались выскобленные подошвами проеды в мраморных ступеньках входных лестниц. «Сколько же люду должно было пройти, чтобы прошаркать так»,— затем не раз и вслух и про себя говорил он, вспоминая эти подошвенные проеды на мраморе, так поразившие в этот день его.

Пообедали они в гостинице на этаже и затем укладывали покупки и разговаривали о тех простых житейских делах, о которых ни во время вчерашней встречи, ни сегодня, пока ходили по ГУМу, не удалось поговорить им. Уезжал Павел вечером один (вся пензенская делегация уехала еще накануне), и проводить его, кроме Сергея Ивановича, пришел Борис с другом Матвеем. В Мокше Сергей Иванович так редко видел Бориса, что не успел сложить о нем какого-либо определенного мнения. Он думал о Борисе так же, как думал о всех других детях Павла, что они умны, уважительны и послушны и что можно только радоваться, глядя на них. Но когда теперь на перроне Казанского вокзала (откуда уезжал Павел) увидел Бориса (и увидел Матвея, с отчужденным выражением вставшего в стороне), мнение Сергея Ивановича сейчас же изменилось, и он почувствовал, что будто столкнулся в Борисе с тем же странным и чуждым миром, с каким сталкивался в Наташе, не понимая его. Он не сказал о своем впечатлении Павлу и затем переживал, что поступил так; но, переживая, вместе с тем испытывал то сладостное удовлетворение (что шурина захватили эти же жернова!), которого не мог унять в себе и которое как раз и заставляло молча наблюдать, как Борис держался перед отцом и разговаривал с ним.

— Ну так я пойду, пап,— то и дело говорил Борис, оглядываясь на Матвея, на которого Павел, только раз посмотрев, не обращал внимания, но за которым незаметно будто, будто искоса (понимая его миссию, для чего он был взят Борисом) наблюдал Сергей Иванович.— У нас вечер, мы договорились,— продолжал настаивать Борис.

Он не то чтобы стеснялся отца или не хотел побыть с ним (обо всем домашнем было уже переговорено вчера), но мир интересов Бориса, ставшего студентом и жившего теперь в Москве,— мир этот, отдаленный от прежнего, деревенского, был иным и состоял не только из соблазнов свободы и возможности развлечений; мир этот для целеустремленного и цепкого к жизни Бориса состоял прежде всего из соблазна той перспективы дипломатической деятельности, к которой он готовил себя. Он расширял круг знакомств и был в том возбужденном состоянии (как это часто бывает с молодыми людьми, принимающими поверхностное и ложное за настоящее),

когда ему казалось, что он уже вошел в атмосферу той своей будущей жизни, где ценились в человеке совсем иные качества, чем в деревне; и он торопился отделить себя от деревенского прошлого, мешавшего ему вполне ощутить себя своим в этом новом для него обществе.

Павел любовался сыном и не замечал перемены в нем; единственное, что хотелось ему — подольше побыть с сыном, и он отыскивал новый и новый предлог, чтобы задержать его. Сергей Иванович же, находившийся под впечатлением своих осложненных (и невысказанных) отношений с дочерью, думал, поглядывая не столько даже на Бориса, сколько на Матвея: «Отца проводить — и уже в тягость. Что же святого у них?» С точки зрения Сергея Ивановича, суждение это должно представляться верным. Но с точки зрения Бориса и Матвея, то есть молодых людей, начинавших жизнь, оно не могло быть верным. Им непонятны и чужды были проблемы, занимавшие их отцов (предков, как московская молодежь пренебрежительно отзывалась теперь о своих родителях); они не хотели видеть и признавать то, что как эстафету старшее поколение, не сумев или не успев решить, намерено было передать им; они, как всякая молодость, жили иллюзиями распахнутых во все стороны перед ними дверей, иллюзиями доступности и возможности всего, отдаленно даже не представляя себе, что настанет время, когда с подобной же эстафетой нерешенных проблем они сами окажутся перед новым поколением, которое также не захочет их нерешенное принять от них.

— Так мы пойдем, пап,— снова проговорил Борис, оглядываясь уже не только на Матвея, но и на Сергея Ивановича, как бы прося поддержки его.

— Ладно уж, ступайте, ступайте,— наконец согласился Павел.— Вот уже и своя жизнь у них,— затем проговорил он, обращаясь как будто к Сергею Ивановичу, но в то же время, заметив обернувшееся лицо сына, ответно улыбаясь и махая рукою ему.— Круговорот природы, жизнь,— заключил он, когда Бориса и Матвея совсем уже не стало видно в толпе. Желание вывести детей в люди, то есть то, что Павлу как деревенскому человеку всегда представлялось главной целью жизни и теплом в трудные минуты согревало его — все не так будут жить, как я, а лучше! — оборачивалось теперь грустью и тревогой за сына.

По перрону между тем было объявлено об отправлении поезда, и проводница в форменном берете и со свернутым зеленым флажком в руке (из того вагона, в котором должен был ехать Павел) предупредительно сказала Павлу, что пора прощаться и заходить.

— Ну,— произнес он, обнимая Сергея Ивановича,— рад был повидаться с тобой.

Сергей Иванович в ответ обнял шурина, и Павел почувствовал на спине вместо ладони укороченный обрубок его руки.

— Так ты подумай,— сейчас же сказал он Сергею Ивановичу.— Что ты будешь один пропадать здесь, приезжай, места хватит. Как надумаешь, так и приезжай, Катя только довольна будет,— добавил он, о чем уже говорил ему, когда предлагал оставить Москву и переехать в Мокшу.

XIV

Ожидание перемен в экономической и общественной жизни и споры о них (и ложные и настоящие), продолжавшие осенью 1966 года поглощать внимание людей разных профессий, не только не занимали Дементия Сухогрудова (как, впрочем, и многих других подобных ему так называемых технократов, которые в силу новизны своего дела не были связаны с корнями и традициями народной жизни), но представлялись смешными и нелепыми, когда он слышал о них. «Хозяин? Да это и есть хозяин!» — говорил он, сознавая себя хозяином той огромной стройки, которой он руководил. Он не спрашивал себя, для чего ему надо было прокладывать газопровод, для чего надо было бурить и добывать газ и к чему все это в конце концов приведет впоследствии; он просто знал, что все это было нужно, что у строительства был жесткий график, нарушить который он не имел права, и вся деятельность его сводилась к тому, чтобы положенное число труб, механизмов и людей было доставлено в срок и в положенное место и чтобы люди там, на местах, не испытывали определенных трудностей и не срывали дело. Деятельность его была деятельностью распорядителя (организатора, как принято говорить теперь), которому надо было обо всем помнить и всюду поспеть, чтобы где советом, где добавлением техники и людей

подогнать дело. И дело это поглощало его. Ему некогда было оглянуться и подумать, что он делал, и если он сталкивался с проблемами, то проблемы эти не только не вступали в противоречие с какими-то общими и устоявшимися уже условиями хозяйствования (как это, к примеру, происходило в сельском хозяйстве), но требовали лишь инженерных поисков и решений.

Управление строительством было размещено в Тобольске, и естественно было бы, если бы Дементий, забрав жену и детей, перебрался с ними туда, где он теперь работал. Но этого не произошло; и не только потому, что не захотела Виталина. Дементий, в сущности, как требовали того обстоятельства, но, главное, в силу своего характера почти все время был в разъездах: вылетал то в Тюмень, то в Москву, где нужно было согласовать или пробить что-то, и будь Виталина с ним в Тобольске, видела бы его не чаще, чем видела теперь у себя в доме. Он, как и прежде, приезжал неожиданно, окруженный кольцом служебных забот (кольцом успехов, которые вызывали в нем только желание приумножить их), и сейчас же невольно старался приобщить к этим своим успехам жену и тещу, сам становясь как бы в центр, а женщинам предоставляя право любоваться им.

— Мы делаем то, о чем еще пять лет назад подумать было нельзя,— произносил он, позволяя себе в разговорах с ней переходить на этот возвышенный слог, чтобы произвести впечатление, тогда как с Кравчуком и Луганским, с которыми он работал, он говорил по-другому. Их не надо было удивлять и примирять с жизнью, они были единомышленниками его, были теми же, только чуть меньшего масштаба, технократами, в сознании которых точно так же уживались, не мешая друг другу, мир служебный, который был беспределен, и мир домашний, в который они, как и Дементий, входили лишь время от времени, как входят иногда в старый сарай, в котором (по памяти) могут еще находиться какие-то нужные вещи.

— Что нас губит, так это погода,— в следующий (очередной) свой приезд говорил он жене.— Так затянулось тепло, так безобразно затянулось, что просто не знаю, что делать.— И он то возбужденно ходил по комнате, то останавливался возле окна и смотрел сквозь него, то, повернувшись к Виталине, повторял то, о чем только что говорил ей.

— Людям в радость, а тебе лишь бы навыворот,— вставляла свое Анна Юрьевна. Она была недовольна зятем, что он неделями не бывал в семье, и чаще, чем прежде (и по поводу и без повода), старалась хоть чем-то уколоть его.— Людям хлеб убрать, картошку с полей свезти.— Хотя она, всю жизнь проработавшая машинисткой в исполкоме, говорила теперь лишь то, что, она слышала, говорили в очередях другие, но она вкладывала в эти слова свой смысл, который следовало понимать так: «Во всех семьях отцы как отцы, а в нашей все в бегах, все куда-то за ворота». И она торжествующе смотрела на Дементия.

— Вот и пусть у того голова болит, кто занимается хлебом, а у меня свое дело. И какое, какое! — добавлял он, как будто уже по интонации, как он произносил «какое!», должно было быть ясно, как значительно то, чем он руководил; он словно сам, взявшись за один конец газопровода, как баржу на канате, тянул его.

«А они еще чего-то хотят от меня. Да влезли бы в мою шкуру»,— возмущенно говорил он, мысленно (и одновременно) отвечая и Виталине и Анне Юрьевне. Он теперь еще сильнее был убежден, что напряженная, деятельная жизнь, какою он живет, есть крест, выпавший на долю нести ему, и что все окружающие (что для него было — все домашние) должны понимать и ценить это; он работал для того, как он думал, чтобы другие (те же домашние имелось в виду) жили в достатке, и недоумевал, как можно было, живя за счет его, быть в то же время недовольным им. «Давай поменяемся местами,— предлагал он Виталине.— На всем готовом, ха, да я бы не знаю что отдал, чтобы не думать ни о чем». Ему казалось, что он предлагал искренне, потому что ни о какой действительной замене, он знал, не могло быть и речи; отнять у него его деятельность было нельзя, и он хорошо сознавал это; но постигнуть, что такая же с в о я деятельность могла быть у кого-то еще (то есть у домашних), было выше его сил, и он лишь с удивлением повторял: «На всем готовом — что же им еще? Ну что?» Но этого е щ е, что было их духовной жизнью, как раз и не хватало им. У Анны Юрьевны круг ее забот по-прежнему ограничивался детьми и кухней (и еще этим беспокойством за дочь, что та несчастна в замужестве). У Виталины же после тех памятных переживаний, когда она осталась ночевать у крестной и муж возмущенный

и злой пришел за ней, было так пусто на душе, что ей казалось, будто она не ходит, не ест, не пьет, а лежит, обложенная ватой (как обкладывают ватой недоношенных детей), и то, что с ней будет, зависит не от нее, а от умения, воли и благородства тех, кто взялся ухаживать за ней. Она понимала, что она не могла изменить свою жизнь, но пугало ее не то, что она останется одна, а что надо будет объяснить свой поступок. Но как объяснить его, когда все знают, что муж ее занят государственными делами, то есть заботами об общем благе, а она требует этого блага для себя. Как же она будет выглядеть перед всеми? И она думала, что, может быть, он и в самом деле не виноват, а виновато что-то другое, что заставляет его быть таким.

— Вот именно,— успокаивала ее тетка Евгения, когда Виталина приходила с этим своим сомнением к ней.— Мужчина есть мужчина, вошел в силу, во вкус, за работой и себя забудет, а перебесится, отойдет — и ты тут как тут, рядом. Ты проще смотри на все, проще,— говорила она, прикладывая к заботам племянницы свою примирительную философию жизни.— У него свое, а ты свое найди, господи, да мало ли дел в доме! Когда я потеряла мужа...— И десятки раз повторенный ею рассказ, как она была оглушена, когда узнала, что муж ее («А он был офицером»,— не без гордости добавляла она, как будто он был командиром Красной Армии, а не колчаковским поручиком) был расстрелян под Красноярском,— рассказ этот с обновленными подробностями обрушивался на Виталину.

— Но у меня другое,— говорила Виталина.

— Вот именно, и я говорю,— соглашалась тетка Евгения, подавая розетку с вареньем или чашечку с блюдцем и позванивая позолоченным браслетом об эту чашечку.— Ты займись своим, и он будет доволен и ты.

И Виталина, прислушиваясь к советам крестной, незаметно для себя сначала обновила на окнах занавески, и ей понравилось это занятие, потом принялась обшивать сыновей и переустраивать все в доме и постепенно так увлеклась, что целыми днями иногда не вспоминала и не думала о Дементии.

Кроме тех часов, которые она проводила в поликлинике, принимая своих маленьких пациентов, и тех, когда ходила по вызовам, все остальное время отдавала дому,

переставляя, перебирая, перекладывая и обновляя все в нем. Ей казалось, что надо было приобрести ковры,— и она записалась в очередь на них; ей хотелось непременно такого-то и такого-то оттенка гардины — и она обходила все магазины, пока не отыскивала то, что было нужно ей; она кроила и шила, подхватив для удобства (и непривычно для себя) косынкою волосы, и была так естественна и уютна в этом своем домашнем наряде, что не только Дементий, по воскресеньям или вдруг среди недели приезжавший к ней, но и дети чувствовали происходившую в ней перемену, ласкались и льнули к ней. И как раз в это время, когда все как будто начало успокаиваться и налаживаться в доме, Дементий неожиданно (и необдуманно, как он не раз говорил себе потом) привез из Москвы Галину.

XV

Он привез ее вечером и на следующее утро улетел в Тобольск, где ожидали его дела. Прибывала техника, прибывали люди, прибывали на баржах вагончики для трассовых поселков, и Дементий, не задерживаясь в Тобольске, выехал на трассу, на время забыв о домашних делах. «Уж как-нибудь сами разберутся там»,— решил он, подумав о жене, Галине и теще. Ему казалось, что то доброе дело, какое он сделал, привезя сестру в Тюмень, нужно было только продолжить им (жене и теще), и не предполагал, чтобы могли возникнуть какие-то сложности.

Но сложности возникли, и Дементию вскоре надо было возвращаться и разбирать их. Начались же они с того, что сосед Сухогрудовых Белянинов, живший в те дни холостяком (жена его, получившая травму, оперировалась в Москве и лечилась там), идя вечером с работы и увидев Галину, то есть незнакомую, прежде никогда не бывавшую здесь красивую и в трауре женщину, остановился и заговорил с ней; и по тому принципу, что горе обычно сближает людей, спросив, кто она, откуда и почему здесь, и сказав, хотя и коротко, о своем несчастье, пригласил зайти к себе и погоревать, как он представил это, вместе. Он пригласил ее как родственницу своих давних и хороших знакомых соседей, и Анна Юрьевна видела с крыльца, как он, придерживая за талию Галину, вел ее в дом. Она сказала об этом Виталине, но та

не поверила матери. Когда же на следующий и еще на следующий день повторилось то же и когда уже не только Анна Юрьевна, но и Виталина увидела, как сначала погас в окнах соседского дома свет, в то время как Галина была там, а потом через какое-то время снова загорелся и Галина вернулась уже в первом часу ночи,— сомнений в том, что происходило там, ни у Виталины, ни у Анны Юрьевны уже не было; они были потрясены и не знали, что делать. Утром Галина выглядела грустной и озабоченной, словно все еще была угнетена горем; она не снимала траура (что, она знала, шло ей с ее белыми волосами) и в трауре же вечером уходила к соседу; когда же возвращалась от него, на круглых щеках ее и в глазах, как ни старалась она оставаться печальной, играли краски жизни.

Она не говорила, для чего ходила к соседу, а Виталина и Анна Юрьевна не смели об этом спросить ее. Но между собою, когда Галины не было, вели тот разговор, из которого более чем ясно было, как они относились к ней.

— Вот тебе и Москва и сестрица... в горе. Шлюха!— возмущенно говорила Анна Юрьевна, не без намека напоминая Виталине о родственной связи ее мужа с Галиной.— Не успела сына похоронить, а уже бежит юбку задрать, ни стыда, ни совести, тьфу! А к столу так куда там — королевой плывет.

Всю жизнь державшая себя в строгости и передавшая эту строгость дочери, Анна Юрьевна не могла спокойно смотреть на распущенность Галины. Для нее непостижимо было, как можно пойти в дом к чужому мужчине (да еще будучи в трауре!), у которого есть жена и обязанности перед ней. «Вернется — тогда что?» — спрашивая будто себя, но, в сущности, обращая этот вопрос к Галине, рассуждала Анна Юрьевна. Она знала соседку как хорошую и порядочную женщину и с ужасом думала, как та теперь вернется домой. «Да и нам с какими глазами встречаться с ней? Если бы откуда-то, кто-то, мы не знаем, пусть, их дело, а то от нас, из нашего дома!» И она, давно уже искавшая повода выразить свое недовольство жизнью (что все домашнее, то есть черновое и неблагодарное, как надо было понимать, сваленное на нее, не ценилось и не замечалось в доме),— она почувствовала теперь, что повод был, и все свое наболевшее, соединенное с оскорбительным распутством

Галины, готова была обрушить на Дементия. «Ты служи, делай, что тебе там положено, но и дом не забывай» — было главным аргументом ее. Но Дементия, кому она собиралась решительно высказать все и, побросав ему под ноги фартуки и кухонные полотенца, с поднятой головой затем уйти от него (куда и что потом будет делать, она не думала об этом; ей важен был момент, когда она будет швырять фартуки и полотенца, важно было именно это минутное удовлетворение, так красиво рисовавшееся в воображении ей),— Дементия в доме не было, а перед глазами все время были только Галина, позволявшая себе то, что невозможно было пережить Анне Юрьевне, и дочь, которая, как хозяйка должная будто пресечь это, боялась при ней вымолвить слово.

— Кто она тебе, что ты как пришибленная в доме? — говорила ей Анна Юрьевна, когда Галины не было в комнате и когда дети, игравшие во дворе, не могли ничего слышать.— Правильно говорят: что сестра, что брат — одного поля ягода.

С Галиной Анна Юрьевна была сдержанна, но с дочерью чувствовала, что можно было говорить ей все, и получалось, что недовольство жизнью, какое собиралась высказать зятю, высказывала пока что дочери, доводя ее до слез и взвинчивая ее.

— Мама, но ты не права,— пробовала возразить Виталина.— Ты как будто хочешь развести нас.

— Что вас разводить, когда вы и так словно разведенные. Да чтобы я в твои годы... Чтобы мой муж со мной так!..— выпрямляясь вся, говорила она. Она не считала себя той женщиной, которые всегда и во всем бывают правы, но всякий раз в разговоре, когда конкретное (о чем шла речь) было не в ее пользу, она переводила все на язык общих фраз, выгодных ей; но как только этот язык общих фраз становился против нее, опять возвращалась к конкретному, чтобы доказать свое.— Ему ни дети, ни ты — никто ему не нужен. Ты же сама только что бегала от него, не так разве?

— Прекрати, мама.

— А что изменится? Одна порода, святого-то все равно ничего нет.

— Мама, прекрати, прекрати!

— О господи, на что я потратила с вами жизнь! — И она замолкала и уходила, чтобы через час, вернув-

шись, снова начать разговор о зяте и его сестре Галине, обвиняя как будто только их, но на самом деле заставляя страдать Виталину с детьми.

Но внешне все в доме оставалось как будто спокойно, даже спокойнее, чем бывало всегда. Галина часами меланхолично лежала на диване в отведенной ей комнате — домашнем кабинете Дементия; у Анны Юрьевны находились дела на кухне, где она теперь пропадала целыми днями, а Виталина, не решавшаяся ничего предпринять до приезда мужа (ни звонком, ни телеграммой она пока не хотела беспокоить его), старалась как можно дольше задерживаться на работе, где легче было забыться ей; даже Сережа и Ростислав, любившие, как все дети, пошуметь и побегать по комнатам, будто переменились и притихли в ожидании чего-то, что, они чувствовали, должно было произойти в доме. Бабушка ласкала их теперь не так, как прежде, а с какой-то будто тревогой, что они уже сироты, брошенные отцом; что-то подобное, они чувствовали, было и в ласках матери, и от этого передававшегося им предчувствия их будущего сиротства они начинали капризничать, плакать и только сильнее отягощали всем жизнь в доме. Виталина по вечерам уходила к ним в детскую и до полуночи сидела у их кровати, оберегая их сон. Глаза ее то наполнялись слезами, то высыхали и бессмысленно останавливались на каком-либо предмете, какой она, глядя на него, не видела и не воспринимала. Ее опять волновали те же вопросы (положение нелюбимой жены), какие однажды уже занимали ее; она как бы шла теперь по второму кругу и чувствовала, что круг был шире, чем прежний, и что еще более неизвестно было, чем должно было закончиться все теперь. Ее мучили сомнения, что Дементий был неверен ей. Ей (с ее понятиями семейной жизни) страшно было признать это, страшно было представить, что Дементий, как и Белянинов, мог так же легко приводить к себе чужих женщин. «Он там один, и все может быть»,— думала она. Она не хотела верить этому, но в то же время у нее теперь было больше оснований думать так. «Брат и сестра — одна кровь, одного поля ягода»,— невольно подпадала она под ход мыслей матери. Затухшие было угольки прежнего недоверия к мужу она раздувала теперь в своей душе этой новой волной сомнений и мучилась и изводила себя; и в этом своем мучительном состоянии, не найдя ничего лучшего (освобо-

диться от этих мучений), отправилась к крестной, чтобы посоветоваться с ней.

— Да как она смеет?! — выслушав все о Галине, возмутилась тетка Евгения.— Как она смеет в чужом доме?! И вы все там не можете урезонить ее? — Несмотря на возражения Виталины, она решила сейчас же, не откладывая пойти сама в дом к ним и уладить все.— Я удивляюсь Анне, я удивляюсь ей: столько самомнения, а как до дела, так нет ее. Идем, идем, и никаких разговоров,— продолжала она, беря сумочку и надевая то свое кримпленовое пальто, о котором, как его сшить, еще весной советовалась с Виталиной.

XVI

То соперничество, какое всегда было между Евгенией и Анной как между сестрами, в разное время их жизни то более обострялось, то приглушалось. За Евгенией было ее (когда-то, в прошлом) богатое замужество, дававшее ей право считать себя интеллигентной, а за Анной Юрьевной — ее ответственная, как она любила подчеркивать, работа в исполкоме, дававшая ей не меньшее право на ту же интеллигентность, но только иного, не барского, а пролетарского, демократического толка; и в соответствии с этим различным пониманием интеллигентности Евгения строила обычно разговор так, что то, о чем она хотела сказать, нужно было додумывать, то есть производить определенную работу мысли, тогда как Анна Юрьевна, не заботясь, будет или не будет затронуто чье-либо самолюбие, говорила прямо, что она думала. Они были как будто либо от разных отцов, либо от разных матерей, как это можно было заключить, глядя на них. Но несмотря на это, казалось бы, явное различие и на их выдуманную ими же самими интеллигентность, рознившую будто бы их, в минуты, когда затрагивались их жизненные интересы (как было теперь), все налетное как бы спадало с них, соперничество отходило на третий план и выдвигались вперед только те родственные чувства, которые всегда и надежно связывали их. Евгения готова была помочь Анне (как и другим своим сестрам), и Анна Юрьевна ответно была готова сделать то же. С детства заложенное в них большой и дружной, в двенадцать душ, отцовской крестьянской

семьей вдруг как бы пробуждалось и начинало действовать в пожилых уже теперь сестрах.

Анна Юрьевна сейчас же поняла, для чего пришла Евгения. Сестры обнялись и, сказав друг другу те незначительные слова, какими они обычно обменивались при встречах, вошли затем в большую комнату и молча присели, оглядываясь на дверь, за которой была Галина. За дверью не было ничего слышно (Галина, видимо, еще не поднималась), хотя наступал как раз тот час вечера, когда она должна была, собравшись, идти к соседу. Виталина тоже вместе с матерью и крестной была в большой комнате и с тем же выражением ожидания и напряженности, как и они, смотрела на дверь, словно всё зло жизни, мешавшее ей быть счастливой, было заключено там, куда смотрела она. «Вот видишь, вот в чем все дело»,— сейчас же появлялось в глазах Анны Юрьевны, едва она переводила взгляд на Евгению. «Да, разумеется, я согласна, в своем мы и сами разберемся, но только еще чужого не хватало нам!» — взглядом же отвечала сестре Евгения. В глазах же Виталины хотя как будто и нельзя было прочитать ничего определенного, но в них чувствовалась та же решимость довести все до конца, какую молчаливым видом своим выказывали мать и тетка. Все три женщины (по отношению к той, четвертой, что находилась за дверью) выступали теперь как судьи, разобравшиеся уже во всем и готовые вынести приговор; и приговор этот должен был быть беспощаден в силу тех обстоятельств, что судьи, то есть Анна Юрьевна, Виталина и ее крестная, считали себя каждая по-своему правой и безгрешной перед собой. Для Евгении то, что делала теперь Галина, было так далеко в прошлом (да и было оправдано гибелью мужа), что она даже не давала себе труда вспомнить, было ли вообще с нею э т о. Если же и было, то, во всяком случае, как она сейчас же сказала бы, не так, не вызывающе-оскорбительно, а благородно, как всякая женщина наедине с собой думает о своем поступке. Для Анны Юрьевны, тоже жившей без мужа и тоже имевшей, как и Галина теперь, возможность сделать это же, но не разрешившей себе э т о г о, было особенно невыносимо сознавать, чтобы в ее доме позволялось что-либо подобное; то, что для нее было переступить черту и представлялось безнравственным и потому невозможным, она видела, было, в сущности, просто, и эта-то простота, то есть упущенная ею

самою возможность, сильнее всего задевала ее. «Пошла, вернулась и... ни в одном глазу!» — мысленно повторяла она. Почти то же, что и мать, испытывала Виталина. Всегда признававшая только одну возможную близость с мужчиной — супружескую (что было и законно и естественно) и считавшая немыслимой всякую иную, она, как и мать, была поражена тем, как это легко и просто делалось другими; и оттого, что она знала теперь, как это было легко и просто делать, но что она все равно не могла позволить себе этого, она не могла позволить этого и Галине. Ей казалось, что весь узел ее домашних проблем был сосредоточен на Галине; она видела перед собой только один этот чужеродный и раздражавший ее предмет (как булыжный камень в наборе драгоценных и полудрагоценных камней, прежде красиво и в порядке лежавших перед нею), и ей не терпелось убрать этот предмет (то есть булыжный камень) и восстановить положение.

Но в то время как Анна Юрьевна, Евгения и Виталина — все трое сидели перед дверью, ожидая свою жертву, на которую должны были наброситься, смутно, однако, представляя, как будут делать это, Галина даже отдаленно не могла предположить, что готовилось ей; заметив, что на дворе начало темнеть, она поднялась с дивана, на котором лежала, и, приятно чувствуя все свое отдохнувшее молодое тело, взяла со стола зеркальце и принялась смотреться в него. Для нее того вопроса, которым так мучились Анна Юрьевна и Виталина с крестной,— вопроса этого не существовало вообще; после похорон сына (главное же, после того, как Лукин не приехал за ней) она чувствовала себя не нужной никому. Признать за собой вины она не могла, но в том, что она страдала, она находила удовлетворение, позволявшее ей хотя и бессмысленно, но спокойно смотреть на мир вокруг себя. Ей казалось, что она была мученицей, и роль эта не то чтобы нравилась ей, но утешала ее. Как мученица, она послушно за братом прилетела в Тюмень; как мученица, она с безразличием принимала холодное к себе отношение в доме брата; как мученица, она покорно согласилась на все, когда сосед пригласил ее, и допустила к себе с одной только той мыслью, что ей все равно, что в эту минуту было с ней. Ей не хотелось сопротивляться. Она, казалось, даже не слышала, что говорил ей этот объявившийся на ее пути мужчина, когда,

подняв на руки, нес в спальню; она помнила только его дыхание и его губы на своих губах, щеках, шее и оголенных плечах. Она чувствовала, что была в каких-то властных руках, в каких она еще никогда не бывала прежде; и чувствовала, что э т о было совсем не то, что было у нее с Лукиным. Лукин теперь казался ей маленьким и бестелесным в сравнении с тем, как она чувствовала Белянинова. И чувство это, как она ни говорила себе, что ей все равно, что с ней,— чувство это снова и снова тянуло ее пойти к нему. «Жена... ну и что ж, что жена,— думала она теперь, разглядывая свое округлившееся за эти последние дни и опять похорошевшее лицо, на котором, несмотря на годы, ни в чем еще не проявлялись признаки старости.— Не я пошла, он позвал». И она, закрыв глаза, невольно представила всю свою первую близость с ним. Она, не замечая того, уже загоралась этой новой для себя возможностью устроиться в жизни; она как бы увидела дверь, в которую можно было войти, оставив за спиной тот замкнутый коридор, по которому она столько лет металась в поисках счастья; и она готовилась ринуться в эту дверь, прикидывая лишь, сколько и каких шагов нужно ей сделать до нее.

«У него дом и все в доме, что же мне еще будет надо? — поймала она себя на этой мысли и покраснела оттого, что подумала так.— А какая разница, что у него есть и чего нет»,— затем сказала она и, пристроив на письменном столе Дементия, на котором раздвинуты были все его книги и чертежи, свое зеркальце, принялась расчесывать волосы теми неторопливыми и размеренными движениями, какими женщины всегда любят прихорашивать себя; и, прихорашивая, любовалась будто особенной, золотистой теперь, при зажженном электрическом свете, красотою их. Да, она все еще была красива, и она знала это; и знала, что могла еще на многое надеяться в жизни. Главным был для нее теперь выбор оружия для достижения цели, и оружием этим, она бессознательно понимала, было ее теперешнее положение, когда она была в трауре. Оружием ее было нежелание ничего, и она видела, что именно этим она и нравилась Белянинову; и она надевала на себя теперь все траурное не с тем чувством, что помнила о сыне и печалилась по нему, но с иным — что это привлекало е г о. «Викентий, да, ничего, звучно»,— думала она, расправляя на плечах черный кружевной шарф, чувствуя сочетание этого шар-

фа со спадавшими к нему белыми волосами и представляя взгляд, каким он от середины комнаты, когда она войдет, будет смотреть на нее.

Надев свои недорогие серебряные перстни, она еще и еще раз неторопливо оглядела себя; она как будто не спешила, и лицо ее было меланхолично; но вместе с тем ее охватывало желание поторопить события, и она вся жила этим чувством близости и основательности того (и именно теперь, когда она была свободна), что она называла счастьем.

XVII

Гордая этой душевной работой, которая происходила в ней и заключалась именно в том, чтобы продолжать (при всем желании поторопить события) оставаться равнодушной ко всему, той же походкой, как она в день похорон вся в черном шла за гробом сына, она вошла в большую комнату. В комнате было светло, люстра уже горела, и Галина сейчас же увидела всех трех женщин, рядком сидевших у противоположной стены: Анна Юрьевна и Евгения — на диване, а Виталина — на стуле, приставленном к нему. Женщины ожидали ее, и Галина сразу же поняла это. Она настороженно посмотрела на них и улыбнулась той своей защитной улыбкой (когда ей нечего было сказать), какою обычно обезоруживала настроенных против себя.

— Что-нибудь случилось? — спросила она, чувствуя, что надо было все же сказать что-то.

Женщины, еще минуту назад готовые обрушиться на нее, теперь, когда она была перед ними, только молча и неловко смотрели на нее. То недовольство, какое они, не видя ее, высказывали о ней (как об отвлеченном предмете),— недовольство их было как бы приглушено в них чистым, невинным взглядом Галины. По выражению ее лица и по всему виду ее невозможно было даже предположить, чтобы что-то дурное, порочное было в ней. Волосы ее, спадавшие на плечи, были так опрятно причесаны и так естественно все другое было на ней, что при самом придирчивом отношении к ней нельзя было бы сказать о ней, что она принарядилась для кого-то. В ней все казалось простым: и кофточка с наплывными продольными складками, и в меру укороченная и с боковыми разрезами юбка, приоткрывавшая (чуть выше колен) ее красивые в темном капроне ноги, и шарф, ле-

жавший на плечах так, что вот-вот должен был упасть и не падал, зажатый оголенными и светлыми (под этим шарфом) руками, а недорогие серебряные перстни на пальцах только усиливали это общее впечатление простоты и естественности. И все это траурное не то чтобы не выглядело траурным на ней, но просто не могло восприниматься таковым; лицо ее как будто изнутри было озарено каким-то особенным светом жизни, и Евгения первой заметила и поняла причину этого света. Но вместо того чтобы еще более оскорбиться (что было бы естественно для этой минуты), она только со странным чувством тайной и запоздалой зависти оглядывала ее. «Господи, она еще так молода, так красива и так умеет подать себя»,— невольно и не столько подумала, сколько почувствовала это в Галине Евгения. Она со своим врожденным (в чем она была убеждена) пониманием красоты и интеллигентности (или, как она еще толковала это, пониманием хорошего тона, вкуса и хороших манер) уловила ту незримую черту, которая всегда есть между женщиной столичной и женщиной провинциальной. Евгения уловила эту черту не только в умении одеться (просто и со вкусом, так, что самые дорогие провинциальные наряды сейчас же выдают себя), но, главное, уловила ту нравственную свободу, когда все осудительное не только не кажется осудительным, но, напротив, представляется обычным, естественным, житейским. «Я могу пойти к н е м у и могу позволить себе э т о, и что тут плохого, что вы посмеете возразить мне?» — читала она в глазах Галины; и она не то чтобы была вполне согласна с ней, но чувствовала себя обезоруженной перед этой убежденной правотой Галины.

Виталина тоже молчала, и ход мыслей ее был почти тот же, что и у крестной. Как ни была она ослеплена ненавистью к Галине, но что-то иное, что возвышалось над этой ненавистью, руководило теперь ею; и этим возвышавшимся было признание того, что Галина умела подать себя. «Вот что нужно мужчинам, им нужен этот эффект»,— думала она, невольно сравнивая себя с Галиной и перенося все на Дементия. Она точно так же, как и крестная, уловила эту разделяющую черту, по одну сторону которой была она, Виталина, со своей провинциальной строгостью к себе и порядочностью (и своими еще более провинциальными советчицами — теткой Евгенией и матерью), а по другую — Галина и весь тот за-

манчивый (как он преподносится иногда в так называемых психологических фильмах, в которых под видом разного рода романтических страстей облагораживается самая беспардонная пошлость или негодяйство) мир кипучей столичной жизни. Она уловила в Галине то, что в обычном толковании должно было означать умение понравиться мужчинам; и хотя это в глазах Виталины было осудительно и она никогда бы не разрешила себе пользоваться таким умением, но вместе с тем она ничего не могла теперь сказать Галине. Простая и убежденная правота ее, по каким-то незримым будто связям передававшаяся Виталине, подавляла и заставляла сидеть молча. Она даже не оглядывалась ни на крестную, ни на мать, а смотрела лишь на Галину как на явление, открывшееся ей.

Анна Юрьевна же молчала потому, что молчали Евгения и Виталина. Почувствовав, что что-то будто переменилось в настроении их (как если бы только что нависавшая грозовая туча, не пролившись дождем, свалилась за горизонт), но не понимая причины этой перемены в настроении сестры и дочери, она недоуменно и торопливо переводила взгляд от них на Галину и от Галины на них. Простота в одежде Галины не могла обмануть ее. Умение держаться и умение подать себя, что принималось Евгенией как интеллигентность, вызывало у Анны Юрьевны лишь недоверие, по которому она судила о людях. В ее понимании это было притворством, и она (как она думала теперь) насквозь видела это притворство в Галине. «Только что похоронить сына! — не выходило из ее головы.— Вот пример, вот подарок семье»,— переводила она на Дементия. Считавшаяся между сестрами (и особенно Евгенией) безвольной, не умевшей постоять за себя, она между тем не только не признавала в эти минуты никакой правоты за Галиной, но еще резче (в душе) осуждала ее.

— Вы не хотите сказать мне? — между тем снова проговорила Галина, нарушая тишину и чувствуя (по этому именно молчанию женщин), что случилось что-то, что касалось ее. «Но что может еще произойти кроме того, что уже произошло? — подумала она, имея в виду смерть сына и разрыв с Лукиным.— Ах, мне все равно, что еще может дурного быть для меня». И она, пожав плечами, направилась к выходу, распрямляясь вся под взглядами Анны Юрьевны, Евгении и Виталины.

Ей не только не пришло в голову, что дурным было то, что она собиралась теперь сделать, то есть ее свидание с Беляниновым и близость с ним (почему э т о, что приносит ей радость, должно быть дурным?), но она искренне удивилась бы, узнав, что э т о, что было ее личным делом, могло стать предметом для какого-то разговора или объяснения.

Женщины проводили ее взглядом и еще минуту сидели молча, не зная, что сказать друг другу. Затем Анна Юрьевна подошла к окну и, отогнув занавеску, принялась наблюдать за крыльцом соседского дома.

— Ну вот, пожалуйста, вот полюбуйтесь,— сказала она, обернувшись к Евгении и дочери и приглашая их взглянуть на то, на что смотрела она. Из окна было хорошо видно, как высокий крупный мужчина в белой рубашке с расслабленным галстуком и подтяжками поверх этой рубашки, обняв Галину за талию (точно так же, как накануне и еще накануне), вводил ее в дом.

Когда все трое отошли от окна, всем было неловко оттого, что они подглядывали за чужой жизнью. Евгения не смотрела ни на Анну Юрьевну, ни на Виталину и опускала глаза. Анна Юрьевна тоже что-то суетливо принялась поправлять на себе. У Виталины же было такое чувство, словно она сильнее, чем Галину, ненавидела сейчас мать и крестную за это затеянное ими подглядывание. «Вечно лезет, куда не нужно, и... в мою жизнь»,— подумала она о матери. Она вышла из комнаты и весь вечер занималась с детьми, стараясь отвлечься от мыслей, которые угнетали ее. Главное для нее было не в Галине, а в том, как легко людьми делалось э т о. Она переносила все на общую жизнь (и на мужа, которого и без того подозревала в неверности), и у нее опускались руки от бессилия противостоять этому, что в воображении рисовалось ей. «А я мучилась, я-то дура»,— говорила она себе, в разбросанности чувств и мыслей не находя прежней и ясной целостности, ради которой она жила; и она, как ей казалось, не хотела теперь никого ни видеть, ни знать — ни мать, ни крестную, ни мужа, который представлялся ей теперь в роли Белянинова, в рубашке и подтяжках вводившего к себе женщин. «А я дура, я-то дура»,— продолжала она, невольно (и каждую минуту) как бы прислушиваясь к тому, что должно было делаться в соседском доме, где была Галина.

— Приди хоть чаю выпей,— звала ее мать, сидевшая с Евгенией на кухне.

Забывшие о всегдашнем своем соперничестве, сестры говорили в этот вечер о том, что им было предпринять в связи с поведением Галины; и обе они, как и Виталина, поминутно мысленным взглядом были обращены к соседскому дому. Им не надо было напрягать воображение, чтобы представить, что происходило там; и когда теперь перед глазами их не было предмета их осуждения, то есть Галины, они опять были откровенно возмущены ею.

— И он-то, он тоже хорош,— говорила Евгения, которой все же по впечатлению ее от Галины не хотелось всю вину перекладывать на нее.

— Да что он, что о нем? Разве мы с тобой могли позволить себе такое в наше время? — разомлевшая и подобревшая за чаем, отвечала ей Анна Юрьевна.

Они как будто снова ждали Галину, чтобы высказать ей все свое возмущение ею, но когда она вернулась, только проводили ее взглядом и молча и понимающе затем переглянулись..

Но так ли, иначе ли, а надо было что-то предпринимать, и Евгения на другой день, переговорив только с Анной Юрьевной (и не посоветовавшись с Виталиной), направила в Тобольск телефонограмму, чтобы Дементий срочно выезжал домой.

XVIII

Дементий прилетел сразу же, утренним рейсом, и направился не домой, а в поликлинику (телефонограмма была за подписью Виталины), где намеревался застать ее. Еще более как будто обросший и похудевший за эти дни, пока с Кравчуком и Луганским объезжал трассовые поселки, и во всем том своем таежном виде, то есть в сапогах, свитере и брезентовом плаще с утепленною подстежкой, как было удобно и привычно ему среди строителей, он гулко прошел по коридору к двери, за которой была Виталина, и, не спрашивая, можно или нельзя войти в нее, решительным толчком, как человек, имеющий позволение на все, открыл ее. «Разместились тут по кабинетам и дергают занятых людей»,— было на его лице это давно уже усвоенное им выражение, с каким обычно начальство производственное входит к на-

чальству чиновному, занятому непроизводительным трудом. Он забыл, что входил к жене, а не к чиновному начальству, и только когда увидел Виталину, всю в белом сидевшую за столом и осматривавшую мальчика, которого мать держала на коленях, выражение лица его изменилось, потеплело, он, улыбнувшись, подошел к столу и поднял с пола ложечку, выпавшую из рук Виталины, которой та прижимала язык мальчику.

— Ну здравствуй,— затем сказал он, всем своим заросшим, бородатым лицом наклоняясь к ней, целуя ее в щеку и смущая ее.

— Ты что, ты что, у меня прием,— с ужасом будто, но с той интонацией радости, что он приехал и пришел к ней, какую она не могла скрыть, проговорила Виталина.— У меня же прием! Вы извините, это мой муж,— сказала она женщине, продолжавшей держать на коленях ребенка и с удивлением и возмущением (вместе с мальчиком) смотревшей теперь на Дементия.

— Да, извините,— поддержал жену Дементий, повернувшись к женщине с мальчиком и улыбаясь им так, что на него нельзя было обидеться.— Когда освободишься? — тут же спросил он Виталину.

— До двух, как всегда, а потом на вызовы.

— На вызовы попроси, пусть подменят, а к двум я приду, жди.— И он так же неожиданно, как появился, вышел от Виталины, оставив ее в растерянно-счастливом состоянии, в каком она давно уже не чувствовала себя.

«Что с него, как мальчик, ничего не понимает»,— подумала она, не помня в эту минуту, что она думала о нем вчера; он вроде бы ничего особенного не сказал сейчас ей, ничего особенного не сделал; он и раньше, хотя и редко, так же неожиданно приходил на работу к ней; но вместе с тем в душе Виталины произошло то какое-то неуловимое движение (в то время как Дементий, наклонясь, целовал в щеку ее), по которому она не то чтобы поняла, но точно знала, что он любит ее. «Он неисправим, нет, он всегда был и останется таким»,— как будто осуждая, но, в сущности, радуясь тому, что он такой, и оправдывая и прощая его, мысленно проговорила она и с улыбкой, уже не сходившей с ее лица, принялась снова осматривать мальчика.

— Вы уж извините, натопчется по тайге и, как дикарь, ничего не понимает,— прижимая ложечкой язык

мальчику и заглядывая ему в рот, опять сказала она о муже (совсем не то, что она сейчас думала о нем).

Дементий же, прилетевший в Тюмень не только затем, чтобы узнать, что случилось с Виталиной, прямо от нее направился в областной комитет партии. У него была масса своих дел, которые надо было решить ему, воспользовавшись этим приездом, и он даже забыл спросить у Виталины, для чего она вызывала его. Она была на работе, была, как ему показалось, веселой, и этого было достаточно, чтобы уже не думать о ней. «Какие-нибудь домашние пустяки, которые сами собой и давно, наверное, решились». И пустяки эти уже не интересовали его. У него была армия людей, которыми надо было руководить, было огромное, от горизонта до горизонта пространство с опорными пунктами и передвижными поселками, то есть вся та прокладывавшаяся им по тундре и болотистому мелколесью трасса газопровода, которую он постоянно как бы держал в воображении, мысленно обозревая и чувствуя ее, как он чувствовал теперь плащ на себе с утепленной и жесткой подстежкой. В плаще было жарко. Оставив его в гардеробной, он в сапогах и свитере двинулся по устланному ковровой дорожкой обкомовскому коридору, отвечая на приветствия и приветствуя сам тех, кого считал нужным поприветствовать первым, и в то время как именно теперь на лице его должно было быть выражение: «Разместились тут по уютным кабинетам»,— выражения этого не было на его лице; под впечатлением ли встречи с Виталиной, на которую, как видно, и был израсходован запас этого обычного недовольства, или просто оттого, что шел не по вызову, а по своему желанию и потребности решить дело, Дементий живо и весело смотрел перед собой и на двери кабинетов с табличками, мимо которых проходил. Он снова был, как он сказал бы о себе, в том рабочем состоянии, в каком привычно и естественно было быть ему, и весь готовился к разговору, с каким намеревался войти к первому секретарю обкома.

Но у первого шло совещание и надо было ждать, когда оно закончится.

— А вы можете войти,— сказала секретарша, ходившая доложить о нем.— Там о Нижне-Обской ГЭС и скоро закончится. Войдите, если хотите.

— Как о Нижне-Обской? Разве вопрос этот все еще не решен? — Но секретарша не ответила ему, и он, при-

открыв дверь, тихо, крадучись, но все же обратив на себя внимание многих, вошел и сел на ближний попавшийся ему на глаза свободный стул.

Дементий хотя и не в подробностях, но был знаком с проблемой предполагавшегося строительства так называемой Нижне-Обской ГЭС и был на стороне тех (из двух борющихся групп, двух взаимоисключающих мнений), кто решительно выступал против строительства этой гидроэлектростанции. Идея перекрыть Обь между Игримом и Салехардом сама по себе представлялась заманчивой и грандиозной. Нижне-Обская ГЭС могла бы дать такое количество дешевой электроэнергии (так нужной для освоения Сибири, как говорили проектировщики), что представлялась сказочной и непостижимой цифра, когда ее называли. Но при этом огромная часть Западно-Сибирской низменности с ее болотистым мелколесьем и разведанными по этому мелколесью запасами нефти и газа должна была оказаться под водой. Под водой должен был оказаться Самотлор с его уникальными возможностями, и нефтяники и газовики решительно высказывались против перекрытия Оби. Дело было передано в правительственные инстанции, казалось, было уже решено в пользу нефтяников и газовиков. Дальнейшая разработка проекта была прекращена. Но у авторов его (и у Министерства энергетики, выступавшего за осуществление этого проекта) вдруг обнаружились новые доказательства, говорившие о пользе перекрытия Оби, и затихшие было споры о том, нужно или не нужно строить Нижне-Обскую ГЭС,— споры эти вновь, возбуждаемые, с одной стороны, интересами государственного значения и с другой — интересами личного престижа, всплыв на поверхность, захватили общественность. Дементий знал об этих спорах, но не знал о новых доказательствах, выдвигавшихся проектировщиками, и, прислушиваясь теперь к выступавшим (и к репликам этих проектировщиков, защищавших уже не столько проект, сколько честь мундира), сообразительным умом своим сейчас же понял, в чем было дело. Проектировщики предлагали здесь, в Сибири, применить опыт каспийских нефтяников и добывать нефть на затопленном Самотлоре. При этом отпала бы необходимость, как они утверждали, строить на трясинах дорогостоящие автомобильные дороги, а все грузы (и люди) доставлялись бы к местам работ на баржах и лодках. В доводах этих был свой

смысл, на который и упирали авторы проекта, тогда как для нефтяников и газовиков, непосредственно занятых освоением Самотлора, то есть тех самых непроходимых болот, где увязали даже самые мощные тягачи и вездеходы, предложение это было не только сомнительным, но представлялось неприемлемым вообще в силу именно тех причин, что искусственно усложнялись и без того сложные условия разведки и добычи нефти. К спору были подключены ученые Сибирского отделения Академии наук. Прилетевшие в Тюмень из Новосибирска и ознакомившиеся с проектом, они присутствовали теперь на совещании, и Дементий, знавший многих из них, всматривался в их лица. «Что они скажут? — думал он.— На лодках края не освоишь». И он, уцепившись за это неудачное выражение «на лодках», которое, впрочем, более всего показывало нелепость выдвигавшихся аргументов, сам готов был включиться в спор. Ни о Виталине, ни о каких прочих домашних делах, разумеется, он не мог думать в эти минуты; его захватили государственные категории, категории будущего,— и что могли значить в этом масштабном видении мира мелочные капризы жены, которой, впрочем, всегда чего-то (и почему-то) недоставало в жизни.

XIX

То, что происходило в этот день в обкоме, имело исторический интерес. То, что в те же часы и минуты происходило в доме Дементия, хотя и не имело исторического интереса, но было так же важно для Анны Юрьевны и занимало ее. Несмотря на разлад в семье, привнесенный Галиною, несмотря на недовольство дочерью, зятем и постоянное желание, бросив все, уйти из этого дома, она не только не делала этого, но, напротив, прилагала усилия к тому, чтобы сохранить благополучие. Однажды взяв на себя черновую работу в доме, она не могла не продолжать ее. На ее обязанности было припасать на зиму картофель, и она, не спрашивая ни у кого, то есть у дочери и зятя, когда и как лучше было сделать это, отправлялась на рынок и, выбрав то, что ей представлялось подходящим, привозила домой и засыпала в подпол. В ее обязанности входило насолить грибов и капусты с яблоками (по тому крестьянскому обычаю, о каком она помнила с детства), и когда наступал

срок, бралась и за это, без чего, как ей казалось, была бы в чем-то обедненной, неполной семейная жизнь. Анна Юрьевна обычно приглашала в помощницы одну из своих старых знакомых — Тимофеевну, как она называла ее, у которой был как будто какой-то свой секрет, как солить капусту с яблоками. В чем состоял этот секрет, сколько Анна Юрьевна ни смотрела, не могла понять; все делалось будто так же, как делалось всеми,— капуста крошилась и затем, как тесто, с хрустом перемешивалась на широком столе, чтобы пустить сок,— делалось будто даже небрежнее и грубее, чем нужно бы, но зимой, когда эта капуста с красными морковными жилками и запахом моченых яблок доставалась из бочки, не только вкус, но даже самый вид ее вызывал аппетит.

Как раз в это утро, как приехать Дементию (о чем Анна Юрьевна не знала), она пригласила Тимофеевну. В сенцах уже какой день стояли мешки с капустой, корзины с яблоками, морковью; вымыты и проветрены кадушка, и крышка, и грузы к ней; были наточены ножи и приготовлено все остальное, без чего нельзя начинать дело, и пожилые женщины, обменявшись на кухне за чаем теми обычными новостями о состоянии текущей жизни, как эта жизнь виделась и воспринималась ими, надели фартуки и принялись за дело. В то время как Дементий, увлеченный ходом спора, вслушивался в слова председателя Сибирского отделения Академии наук Лаврентьева, выступившего против перекрытия Оби (мнение его оказалось решающим); в то время как Виталина, счастливая приездом мужа и появлением у нее, жила той минутой, когда снова (в два часа дня) увидит его, а Евгения, мучимая сомнениями, что без согласия племянницы вызвала из Тобольска ее мужа, спешила теперь, приодевшись, к Виталине, чтобы объясниться с ней,— Анна Юрьевна и Тимофеевна, заняв самую большую комнату в доме и разложившись в ней, делали свое простое, важное для них и не замечавшееся и не ценившееся другими (надо было понимать: Дементием и Виталиной) дело. Половики были скручены и рулончиками лежали у порога, стулья отнесены в спальню, а стол накрыт широкими, сколоченными вместе дубовыми досками. С одной стороны этого стола стояла Анна Юрьевна и резала капусту, ловко ножом откидывая все нарезанное к центру, а с другой — Тимофеевна делала точно то же и теми же движениями, время от времени запуская

свои розовые морщинистые пальцы в общую кучу, чтобы, поворошив, убедиться, так ли все шло, как нужно. Тут же были корзины с яблоками, кадушка, и по всем комнатам растекался тот особенный запах осеннего огорода и сада, от которого все были возбуждены: и дети, крутившиеся возле стола и хрустевшие кочерыжками, очищавшимися для них бабушкой и Тимофеевной, и Галина, которой хотя и не предложили ничего делать, но которая от окна, где она сидела, всматривалась в Анну Юрьевну и Тимофеевну, как если бы это были Степанида и Ксения, суетою своею только и наполнявшие жизнью дом отчима в Поляновке.

Галине по-прежнему важно было то ее меланхолическое настроение, каким она, как это казалось ей, привязывала к себе Белянинова. И хотя перед работавшими пожилыми женщинами не было необходимости выдерживать это меланхолическое настроение, но вместе с тем что-то будто подсказывало ей, что она должна быть такой, что такой, меланхоличной, она была от рождения и только не знала этого, не могла найти себя, как сказали бы по-современному, но что вот теперь наконец поняла, в чем было ее призвание, и уже не хотела изменять этому призванию. Она была захвачена новой и не осознавшейся ею игрой, подсказываемой ей обстоятельствами жизни, и, как это всегда прежде бывало с ней, все прошлое перечеркивалось ею, объявлялось обманом, и она уже ничего не видела перед собой, кроме этого нового, воображенного ею для себя счастья. Она знала, что имела право на счастье, как все живущие на земле, и только не умела, как она думала, воспользоваться этим правом; раньше не умела, но теперь! — теперь она знала, что не упустит своего; и оттого, что знала, что не упустит, выводя это более не из чувств Белянинова к себе, а из своих к нему, испытывала то глубокое спокойствие, словно что-то основательное и вечное вернулось к ней. Ее меланхолическое настроение было для нее и оружием и щитом, позволявшим не растрачивать, а экономить те жизненные силы, которые нужны были ей для встречи с Белянниновым; она оберегала себя не только от физических, но даже от излишних душевных движений, и только одна мысль невольно приходила ей теперь в голову, в то время как она от своего места у окна смотрела на Анну Юрьевну и Тимофеевну: как жалки и как стары эти женщины, не видевшие, кроме кухни и

стен своего дома, ничего в жизни. Мысль эта ужасала ее; ей надо было чего-то иного, возвышенного, что, она верила, есть в жизни, и готова была лететь за этим возвышенным не помня себя (и не помня ничего из того, что мучительно и не раз уже бывало с ней прежде). В глазах ее что-то будто светилось нежное и трогательное по отношению к себе. Она, как и накануне, была во всем том траурном, что не смотрелось на ней как траур, а только подчеркивало то молодое и красивое, что еще было в ней. С рассыпанными по плечам светлыми волосами и с оголенными до локтей белыми руками, которые она держала на коленях перед собой, она, как в театре, когда бессмысленно даже подумать, чтобы включиться в действие, происходящее на сцене, смотрела на женщин. Она не слушала их; разговор их не был интересен ей; ее лишь развлекал этот маленький кусочек забытой ею тихой домашней жизни, какой она не хотела для себя, но в которой, она чувствовала, было все же что-то из того возвышенного и вечного, к чему устремлены были ее помыслы.

Она как будто не мешала женщинам, но Анна Юрьевна и Тимофеевна чувствовали себя стесненно и говорили не о том важном, о чем им хотелось поговорить сейчас (именно о Галине и ее близости с Беляниновым), но о пустяках, о которых можно было говорить, можно и не говорить, так как пустяки эти не имели того главного (перемывания косточек) смысла, чем привлекательны бывают подобного рода разговоры между женщинами или мужчинами, сошедшимися по случаю вместе.

— Раньше ведь и капустка была другой,— задерживая на весу нож и обращая все свое с крупными наплывшими морщинами лицо на подругу, говорила Тимофеевна. Она не могла скрыть удовольствия, что за работу, которую она делала, будет неплохо заплачено ей, и хотела уже теперь чем-то большим, чем только эта работа, отблагодарить Анну Юрьевну.— Принесет, бывало, мать с грядки, да что мать — я уж сама была, на моей уже памяти,— заискивающе продолжала она, зная хорошо, что тема эта о прошлом всегда была приятна Анне Юрьевне. И к тому же старушечьи руки ее отдыхали во время этого разговора.— Разрежешь вилок, а он как сахар, бел-белым, да тверд, да и хруст другой.

— Все раньше было другим, то ли уж народ обмельчал, то ли уж, как по писанию, все на убыль,— тем же

мягким, доброжелательным тоном отвечала Анна Юрьевна.— У отца двенадцать душ нас было.— И она покосилась на Галину, словно это должно было относиться к ней.— А ведь мы и знать не знали, что такое скандал в доме. Ну, шлепнул того, тому подзатыльник, а в главном всегда и все в ладу и согласии жили. Умел и приласкать и в люди, слава богу, всех вывел.

— Тебе ли, Юрьевна, на семью жаловаться,— заметила Тимофеевна.— Ишь внучата-то какие, ишь, посмотри на них, как только ты их различаешь. Ну-ка, кто из вас Сережа, кто Ростислав? — нагнувшись к ним и гладя мальчиков по головкам, начала Тимофеевна (о чем всегда и все в доме говорили им). Маленькими, бесцветными и близорукими уже глазами она по-старушечьи ласково вглядывалась в их одинаково улыбавшиеся розовощекие лица, отыскивая и в самом деле не находя того, что отличило бы близнецов друг от друга.

Ребята были только что и одинаково пострижены, и в то время как Ростислав, которому хотелось освободиться от ласк Тимофеевны, повернул головку к свету, над ухом его за редкими светлыми волосенками у самых корешков их открылась коричневая родинка, точно такая же, какая была у матери, Виталины. Родинка эта, вызывавшая у Дементия чувство особой привязанности и любви к мальчику (по привязанности и любви к Виталине), для Тимофеевны была недостатком, своего рода уродством; но высказать этого ни Ростиславу, ни Анне Юрьевне она не могла и, делая вид, что не замечает ничего, тем же своим слащаво-певучим голосом продолжала, удивленно подняв вылезшие уже свои старушечьи брови:

— Да как же вас мать-то различает, господи!

XX

Мальчики с шумом бросились от стола (от Тимофеевны) по тому только чувству, что им было весело и хотелось побегать на виду у взрослых, и, как это часто бывает с расшалившимися детьми, Ростислав, бежавший впереди, оступился и упал, больно ударившись головою о ножку дивана. Сначала он испугался и только обернулся на бабушку, но потом заплакал, и Тимофеевна и Галина кинулись успокаивать его. Тимофеевну он отталкивал, но на Галину смотрел теми внимательными,

полными детских слез глазами, в которых было не то чтобы удивление, но они светились той детской доверчивостью, какой всегда так не хватало Галине во взгляде ее сына. Она бессознательно гладила и целовала ушибленное Ростиславом место, на котором расплывался синяк, и незаметно для себя мысленно возвращалась к тем дням, когда Юрий ее был маленьким и когда она, вся дрожа над ним, отпускала его от себя побегать по травке. Все ее материнское чувство, какое она хотела (и не смогла) передать сыну, она отдавала теперь Ростиславу, кончиком своего траурного шарфа вытирая с его щек слезы и чувствуя тот прилив нежности и любви к мальчику, словно это был не Ростислав, не чужой, а ее родной сын Юрий.

— Не плачь, миленький, не плачь, не надо, все заживет, все будет хорошо,— торопливо приговаривала она, продолжая целовать синяк и не замечая, как у нее самой глаза наполнялись слезами. Она впервые за все время пребывания в Тюмени вдруг ясно вспомнила, как она хоронила Юрия. Она увидела гроб и худенькую причесанную головку сына в нем, и в ней не то чтобы сердце сжалось от боли (как это принято говорить в народе), но на мгновенье все будто остановилось для нее на той картине, когда гроб с телом Юрия, качнувшись, начал опускаться в провал крематория. Она не вскрикнула в ту минуту, а была только вся бледна и неподвижна от ужаса, что у нее насильственно отнимали сына; она, так всегда хотевшая добра Юрию и не сумевшая дать ему этого добра, тогда впервые поняла, как она была виновата перед ним, и Ростислав, доверчиво отозвавшийся на ее ласку, как раз и пробудил в ней теперь это чувство вины перед сыном. Слезы ее были не сочувствием Ростиславу, как это воспринималось им (и воспринималось Сережей и Тимофеевной, все еще стоявшей рядом), а происходили от своей растревоженной боли. Она не помнила сейчас ни о Белянинове, ни о ком-либо еще, а вся была захвачена воспоминаниями о сыне. Как и в молодости, так и теперь она никогда не умела соединять события, происходившие с ней, в одно целостное восприятие жизни. Жизнь ее состояла как бы из кубиков, сложенных вместе и не скрепленных ничем, и потому так просто, как из комнаты в комнату, было ей переходить из одного замкнутого мира переживаний в другой и осваиваться и приживаться в нем. Мир ее жизни с Луки-

ным, тот первый, когда она вышла за него, оставался в сознании ее своим замкнутым кругом, с которым ничто последующее никогда и ни в чем не соприкасалось; мир ее жизни с Арсением был замкнут и целостен по-своему; затем шел мир, когда она была разведена, свободна, был мир ее отношений с сыном, с которым она мучилась и не знала, что делать, были дни ее повторной связи с Лукиным и теперь вот это — связь с Беляниновым; в ней все жило отдельно и потому было оправдано, чисто и благородно для нее; она всякий раз, входя в новый мир, чувствовала себя не просто обновленной, но так, словно она начинала жить и никогда и никаких грехов не было за ней. Она вся была поглощена теперь этим вспыхнувшим в ней материнством и судорожно прижимала к себе мягкое и теплое тельце Ростислава. Она целовала уже не ушиб, а коричневую родинку чуть выше, казавшуюся ей чем-то особенным, как и Дементию, которому родинка эта всегда напоминала о его чувствах к Виталине.

Казалось, что в искренности Галины нельзя было усомниться, и Тимофеевна, смотревшая на нее, как ни была еще накануне подготовлена Анной Юрьевной, что и такая-то уж Галина и такая-то, не могла поверить в эти наговоры. «По злобе, видно,— решила она, по-своему понимая Галину и любуясь ею.— Коль уж не примет что душа, так все не примет». Но совсем другое, глядя на Галину, испытывала Анна Юрьевна. Она не то чтобы с ревностью, но с тем чувством, будто что-то нехорошее может пристать к внуку оттого, что Галина обнимает его, подошла к ней и, отбирая у нее Ростислава, торопливо сказала:

— Что ж чужого ласкать, за своим смотреть надо было. С чужими-то все мы хороши.— И она приложилась губами к ушибленной головке внука.

Галина не сразу поняла, что произошло. Некоторое время она еще продолжала с нежностью смотреть на мальчика, но когда Анна Юрьевна, подслеповато искавшая синяк на головке внука, во второй и в третий раз повторила, что «с чужими-то все мы хороши», и смысл этих слов, для чего они были произнесены, стал доходить до Галины, она сначала удивилась самой возможности сказать ей это, но затем, как при недозволенном ударе, замерла от той ужасной догадки, какая открылась ей. «Словно от прокаженной отстраняет от меня своего внука! Но что я сделала? За что?» Она не находила, как

можно было ответить на эти ее вопросы, и почувствовала себя оскорбленной. Надо было что-то сказать Анне Юрьевне, но слов, которые прозвучали бы достойно, у Галины не было, и только что светившееся жизнью лицо ее сделалось бледным, жестким и злым. Примириться с тем, что она была виновата в чем-то перед Анной Юрьевной, Галина не могла, она искала оправдание, и оправдание это виделось ей в том, что все здесь, в доме, не любили ее брата. «Как он слеп, боже мой, да все здесь просто ненавидят его,— подумала она, выводя это не столько из теперешнего поступка Анны Юрьевны, сколько из всего недоброжелательного отношения к ней в доме.— Ненавидят и пользуются им»,— продолжала она с той бессознательной радостью, что нашла оправдание. Ей важно было именно это, что она поняла Анну Юрьевну, и, гордая этим своим пониманием, дававшим ей право не отвечать на оскорбление, все еще с бледным лицом, но с поднятой головой вышла из комнаты.

— За что ты ее так? — спросила Тимофеевна, успевшая проникнуться к Галине определенным чувством и пожалевшая ее.

— А как я? Я никак. С чужими-то все мы хороши. Да стой ты, не вертись! — прикрикнула она на внука, фартуком размазывая по его щекам слезы и заставляя в фартук же сморкаться его.— Не столько ушибу, сколько слез, батюшки.— Она, как видно, была тоже недовольна, что так несдержанно обошлась с Галиной, и готова была невольно выместить теперь свое раздражение на внуке.— Чего хныкать, ну чего? — говорила она, за рукав и за плечо дергая его.— Сам виноват.

Отпустив Ростислава, она взяла нож и принялась молча резать капусту. Она уже не обращала внимания на плачущего внука и не поднимала глаз на Тимофеевну, не знавшую, как теперь держаться ей; недовольная собой, Анна Юрьевна была еще более недовольна всем белым светом, и мысль о том, что ей надо уходить из этого дома, пока не поздно,— мысль эта, часто теперь приходившая ей, вновь мучительно начала занимать ее. «Да гори здесь все огнем»,— думала она, в то время как руки ее (несмотря на эти высказывания) еще проворнее как будто продолжали делать то, что было нужно для благополучия и укрепления семьи. После вилков капусты на стол была высыпана корзина чистой, мытой моркови, и горка тонких красивых долек начала быстро

расти в центре стола. Анна Юрьевна только посматривала теперь на дверь, за которой скрылась Галина, но ничего не говорила о ней; что-то удерживало ее от осуждения, во что она не хотела вникать, и мрачное настроение ее, передававшееся Тимофеевне, заставляло молчать и ее. Подруги перебрасывались теперь только теми словами, которые относились к делу, и вместо праздника, каким всегда бывал для них день засолки, и у Анны Юрьевны, и у Тимофеевны, да и у малышей, притихших от этого нехорошего настроения взрослых, было такое ощущение, что что-то притаилось и должно было случиться в доме.

— Надо бы с настроением, а то делаем ровно не для себя,— заметила все же Тимофеевна.

— Так и есть — для себя разве? Для себя и кастрюли хватило бы, а то ртов нынче.— И Анна Юрьевна опять и многозначительно посмотрела на дверь, за которой была Галина.

Что Галина делала в своей комнате, было неясно. За дверью было тихо, и тишина эта еще более настораживала и раздражала Анну Юрьевну.

— Сам-то хоть часто приезжает? — спросила Тимофеевна, давно уже уловившая, что все дело было в Дементии, редко появлявшемся в доме.

— Да ему что есть семья, что нет ее.

— Что же он так-то?

— Это уж у него надо спросить. Его послушать, так все вокруг только и заняты тем, что делают блага для людей, да где благо-то это?

— Вот и я говорю,— подтвердила Тимофеевна, старавшаяся подладиться под Анну Юрьевну, в то время как на дворе уже вечерело и вот-вот должна была возвратиться с работы Виталина.

XXI

Но Виталина, к удивлению Анны Юрьевны, пришла не одна, а с Дементием.

В доме было еще не убрано, и запах капусты, моркови и яблок заполнял все уголки его.

— Так вот в чем дело, почему так долго лето стоит. Мы к зиме еще не готовились,— весело начал Дементий, подойдя к теще, поздоровавшись с ней и поцеловав в щеку ее.— И вас я сто лет не видел,— сказал он, обра-

шаясь к Тимофеевне, которая, прежде чем подать руку, долго и стеснительно вытирала ее о фартук.— А где мои мужики? — увидев уже бегущих к нему Сережу и Ростислава, добавил он. Подняв их на руки, он зашагал с ними по комнате, сильный, здоровый, в сапогах и свитере, полнившем его, и с бородой, которой он тут же принялся щекотать носы и щеки сыновей. От двери, от порога, смотрела на него счастливая Виталина.

Виталина была счастлива тем, что муж не только на этот раз не обманул ее, пообещав прийти к двум за ней, но пришел раньше и пригласил на обед, который устраивали по какому-то торжественному случаю (то ли сын у кого-то родился и была получена телеграмма, то ли еще что-то) его друзья, ученые из Новосибирска. Виталина вся еще была под впечатлением этого обеда, на котором в центре стола, как бы возвышаясь над всеми, сидел академик Лаврентьев, шестидесятишестилетний (почти двухметрового роста) мужчина с умным и тонким выражением лица. Это был ученый, известный не только тем, что являлся одним из авторов создания Сибирского отделения Академии наук СССР и возглавлял теперь это отделение, но считался энтузиастом освоения богатств Сибири, многое сделал для открытия и освоения этих богатств и был теперь человеком влиятельным, возле которого, как возле всякого влиятельного человека, группировались не только молодые энергичные силы, но и разного рода так называемые попутчики, всегда готовые пригреться возле чужой славы. Имя Лаврентьева было хорошо известно в Сибири, и Виталина, не раз слышавшая о нем от мужа, с любопытством, как если бы ей самой надо было приобщиться к миру этих сильных, умных и влиятельных людей, присматривалась к моложавому еще на вид крупнейшему ученому Сибири. Рядом с Лаврентьевым сидел молодой Некрасов, только что получивший звание академика, и по обе стороны от него и от Лаврентьева располагались разных возрастов доктора и кандидаты наук. Виталина была единственной женщиной во всей этой мужской ученой компании и потому была на виду, в центре, за ней ухаживали, ей старались угодить, вводя в смущение, какое происходит не от недостатка, а от избытка внимания. Она чувствовала себя красивой и помолодевшей в эти минуты, и душевные силы, давно уже ожидавшие, чтобы распуститься в ней (и угнетавшиеся только ревнивыми думами о

муже),— силы эти, как бы вдруг получив простор, наполняли ее. Она ловила на себе удивленные взгляды мужа, словно он заново открывал ее для себя и влюблялся в нее, и ей еще веселее становилось от этого. Она не осознавала всего, что происходило с ней, но время от времени с беспокойством начинала оглядываться, боясь, чтобы не стать смешной в этом своем счастье. Ей приятно было видеть, что муж ее был равным среди всех этих сошедшихся вместе ученых мужей, что его уважали, с почтением обращаясь к нему, и что даже Лаврентьев несколько раз удостоил его разговором и со вниманием выслушивал его. «Они все упоены, все-все, как будто у них нет ни жен, ни детей, а есть только одно общее дело, называемое народным, которому они служат»,— думала Виталина, когда, простившись уже со всеми после застолья, возвращалась с Дементием домой. Ей важно было это впечатление, что Дементий ее не был исключением, а был точно таким же, как все другие, которых так близко (и в количестве) увидела Виталина. И то, что муж ее был не исключением, отдаваясь общему, государственному делу и забывая о семье, примиряло ее с этим. С нее как бы снят был груз ревности, и оттого она была счастлива и оттого такими счастливыми (что было необъяснимо для Анны Юрьевны) глазами смотрела сейчас от порога на мужа, ходившего с сыновьями на руках по комнате. «Оторвался от дел — и рад, и счастлив»,— думала она, полагая, что она понимала теперь мужа, тогда как за выражением этой нежности к детям (и к ней, какую он проявлял за обедом) лежали совсем иные причины, чем те, о каких догадывалась она.

Дементий хотя и рад был этой короткой встрече с семьей и выражал эту радость, но главным в горизонте видимости его по-прежнему оставалось то, что было его работой, его детищем, называвшимся в официальных документах северной ниткой газопровода. Проблемы, с которыми он сталкивался при строительстве, были совсем не теми проблемами, какие вставали перед ним во время проектирования. Сварка труб при пятидесятиградусном морозе была невозможна, и надо было искать новую технологию, чтобы обеспечить надежность и быстроту работ. Антикоррозийное битумное покрытие труб было малопроизводительным и громоздким, и, точно так же как со сваркой, надо было искать и здесь новые инженерные и технологические решения. Был и еще ряд проблем

(в том числе доставка труб и оборудования к местам работ), которыми надо было постоянно заниматься, и в этом плане встреча с учеными из Новосибирска была для Дементия как нельзя кстати. В то время как Виталина за обедом была вся поглощена вниманием, оказывавшимся ей, Дементий завел разговор с Лаврентьевым о своих проблемах. И хотя ничего нового как-будто академик не открыл ему, сказав, что по части сварочных дел следовало бы обратиться в Институт Патона в Киев и пригласить оттуда специалистов, а по изоляции труб прибегнуть к услугам ученых-химиков («Полимерная лента — вот что вам нужно»,— сказал он), но этот простой совет — обратиться в научно-исследовательские институты — в устах председателя Сибирского отделения Академии наук прозвучал для Дементия как залог успеха; в сознании его сейчас же начали прокручиваться все возможные варианты этой затеи (даже поездка в Киев к Патону, которую он тут же мысленно проработал), и это предчувствие дел и успеха поднимало в нем настроение и делало нежным, снисходительным и веселым его. Он все еще был в этом хорошем расположении духа и готов был еще и еще обнимать и подбрасывать на руках сыновей; и готов был взять на руки и Виталину, которая, как он думал, всегда приносила ему счастье (по крайней мере в этот раз, вызвав его), и ему тоже казалось, что все это было в нем от любви к ним.

— Что-то я Гали не вижу, где она? — опуская наконец сыновей на пол и оглядываясь на тещу и на Тимофеевну, которая все еще со скомканным в руках фартуком стояла тут же, спросил Дементий.

Он обращался как будто ко всем сразу, хотя и смотрел на Анну Юрьевну и ожидал ответа от нее. В голосе его не было ни упрека, ни беспокойства. Виталина не то чтобы не успела рассказать ему о его сестре, но ей так жаль было разрушать минуты своего счастья, что она не решилась сделать это.

— Так где же Галя? Почему такое заговорщицкое молчание? — снова спросил он, улавливая, как он всегда умел это делать, по настроению окружающих, что было что-то неладное с его сестрой, чего стеснялись или не хотели сказать ему.

Анна Юрьевна со скрещенными на груди руками и окаменелым лицом стояла перед ним. Она решила, что настал ее час воздать зятю, и намеревалась уже выска-

зать ему все, что думала о нем, но вместе с тем (и несмотря именно на все свое желание наговорить грубостей) лишь мрачно сказала:

— Где ей быть? Здесь. А не выходит, так хвост замаран.

— Какой хвост, Лина, в чем дело? — Дементий повернулся к жене и удивленно и вопросительно посмотрел на нее.— Что у вас тут произошло? — Он вспомнил о телефонограмме и только теперь почувствовал, для чего был вызван домой.

Тимофеевна, понимавшая, что ей лучше уйти и не быть свидетельницей чужой семейной ссоры, торопливо начала прощаться со всеми. Анна Юрьевна пошла проводить ее, а Дементий все еще смотрел на Виталину, ожидая, что она скажет.

Но она словно не слышала вопроса и, нагнувшись, принялась поправлять рубашки на сыновьях.

— Ты уж лучше сам зайди к ней и расспроси,— наконец, не глядя на Дементия, проговорила она, продолжая, хотя это было уже не нужно, заниматься детьми.

XXII

С неудовольствием, что ему приходится вникать в какие-то домашние дела, в то время как своих служебных невпроворот у него, Дементий открыл дверь и вошел к Галине. Он торопливо (от двери) обежал глазами обстановку кабинета, в котором он, занимаясь проектом, провел не одну бессонную ночь, и, наткнувшись взглядом на сестру, сидевшую у окна на стуле, решительно (хотя он не знал, что скажет ей) направился к ней. Как ни трудно было ему из мира государственных забот, мира дел и успехов перейти к каким-то мелочным семейным неурядицам, которые, как он всегда полагал, должны решаться сами собой, но вид сестры в трауре сейчас же напомнил ему, что она только что похоронила сына. «Дернуло же меня взять на свою шею»,— еще с отголоском неудовольствия подумал он, подходя к ней. Но воспоминания похорон и разговора после похорон с отцом относительно Галины, воспоминания обязательств, какие Дементий взял на себя, привезя Галину сюда, и воспоминания всех тех отрывочных сведений, по которым он судил о ее жизни, вернее о неустроенности ее жизни,— воспоминания эти, разом ожившие в нем, не то чтобы

смягчили то жесткое, с чем он подходил к ней, но пробудили в его душе жалость к сестре, с какою он давно уже относился к ней.

— Галя,— сказал он, остановившись перед ней и видя, что она не поднимает лица и не смотрит на него.— Галя! — Он тронул ее за плечо, чтобы пробудить ее, но она опять не ответила и не посмотрела на него.— Да что тут у вас произошло? Какие-нибудь пустяки, но я этого не понимаю. Не понимаю и не могу понять! — И он принялся вышагивать по комнате перед сидевшей у окна Галиной.

Время от времени он поворачивался к ней и старался рассмотреть ее лицо. Он всегда находил ее красивой, и красота эта ее с новой как будто силой проступала в ней. Против того, какой он помнил ее в день похорон в Москве и оставил затем здесь, дома, когда привез в Тюмень, он видел, что произошли перемены. Перемены были не в том, что Галина поправилась, или похудела, или опять начала употреблять кремы, не молодившие, а лишь старившие ее лицо; перемены были в каком-то том просветлении, уловить которое, от чего оно, Дементий не мог и чувствовал, что ему было неловко отчего-то. Он видел, что она была не опечалена, а, напротив, возбуждена, и в то время как он, обращаясь к ней, снова и снова пытался узнать, что же произошло и чем она недовольна, она только по-отцовски плотнее сжимала губы и отворачивалась от него.

— Зачем ты меня привез сюда? — наконец сказала она, неприязненно взглянув на брата.— Ты думаешь, что ты счастлив, но ты осел, ты работаешь, а они ненавидят тебя. Все, все здесь тебя ненавидят.

— Галя, что ты говоришь?

— Я думала, хоть ты у нас счастлив, и радовалась за тебя и завидовала тебе. Но я теперь не завидую, нет-нет, избавь меня от такой жизни.

— Да что произошло? — перебил ее Дементий, которому не то чтобы не нравилось это неожиданное излияние сестры, но просто не хотелось слышать об этих подробностях своей домашней жизни, о которых он давно уже догадывался сам и от которых отгораживался, не желая признавать их, чтобы не вникать и не растрачивать на них время и силы.— Кто тебя обидел здесь, в моем доме?

— В твоем? Да твой ли он, господи?

— Галя, если ты повздорила с моей тещей, то все это выеденного яйца не стоит. Она ворчлива, да, но она добрейший и милейший человек, поверь мне, я говорю искренне,— нажимая на этом слове «искренне», сказал он. Он знал, что то, что он говорил, была неправда, что Анна Юрьевна была женщиной своевольной и любившей, чтобы подлаживались под нее; но ему так хотелось побыстрее уладить этот никому не нужный конфликт в доме (как он упрощенно думал о нем), что готов был сказать что угодно теперь сестре, чтобы успокоить ее.— А знаешь,— сказал он, останавливаясь перед ней и весело глядя на нее,— увезу-ка я тебя на стройку.— Мысль эта пришла ему неожиданно, и он, не вникая в подробности того, будет ли хорошо ей на трассе, в тайге, и чем все это может обернуться, а видя в этом лишь выход из положения (легкий, когда не надо вникать ни во что), ухватился за эту спасительную идею и, не давая уже ничего возразить Галине, начал объяснять ей, как это будет кстати и полезно ей.— Тайга — и столько дел, столько дел,— говорил он, как будто только этого — огромного количества дел — и не хватало ей.

— Я не поеду,— сказала она.

— Ну вот еще, поедем, завтра же поедем, и все, все, договорились.— Он спешил закончить разговор и не стал больше слушать сестру.— Хорошо, хорошо, не понравится — верну обратно, но я уверен, тебя клещами потом оттуда не вытащишь. Все, все, договорились.— И он в знак того, что обсуждать уже больше нечего (и с чувством удовлетворенности, что так легко закончилось все), похлопал ее слегка по плечу и вышел от нее.

«Странные люди эти женщины,— подумал он, вспомнив о том своем сравнении, что он находил сходство между Галиной и своей женой.— Сколько ни делай им добра, все чего-то хотят, а чего — и сами не знают». И, мысленно расправившись таким образом с сестрой и женой, а заодно и с тещей, которую он все более начинал, особенно в последнее время, недолюбливать, он прошел в спальню, чтобы переодеться. Виталина была уже в халате и занималась детьми — усаживала их за телевизор, по которому начиналась программа «Спокойной ночи, малыши». Анна Юрьевна заваривала на кухне чай и накрывала на стол, занимаясь тем своим привычным по дому делом (несмотря на все недовольство теперь зятем), какого она не могла не делать, и Дементий, пре-

доставленный самому себе, некоторое время сидел в кресле и перебирал в памяти события сегодняшнего дня. Он был удовлетворен тем, как этот день прошел для него, и, когда Виталина вошла в спальню, весело спросил у нее:

— Ну как, ты довольна?

— Чем?

— Каков Лаврентьев, а? Умница, одно слово — умница.

— Я довольна тобой,— сказала Виталина.— Если бы ты всегда был таким.

— А я и есть всегда такой,— ответил Дементий, сделав движение подняться и оставшись в то же время полулежать в кресле.— Нет, ты только представь, какую идею он подбросил мне! — Встать надо было Дементию потому, что между тем возвышенным, о чем он хотел говорить, и положением его в кресле было несоответствие, которое надо было устранить, и он, поднявшись, энергично, как он всегда умел делать это, начал пересказывать Виталине весь главный смысл своего разговора с известным академиком.— Да, так что у вас все-таки произошло с Галиной? — прервав себя в середине разговора, сказал он, почувствовав (по какому-то своему второму ходу мыслей), что надо было спросить жену об этом.

— Ты разве не был у нее? — Виталина недоверчиво и удивленно посмотрела на него.

— Был, но она ничего не сказала.

— И не скажет.

— Почему?

— Да потому что стыдно сказать об этом.

— О чем? — с еще большей настороженностью спросил Дементий.

— Ты же знаешь, что у Белянинова жена в Москве, в больнице.

— Ну?..

— Так она на ночь к нему ходит.

— Кто, Галя?

— Господи, неужели это так трудно понять?

— Не может быть! — воскликнул Дементий, покачав головой.— Не может быть,— повторил он уже тише, пораженный услышанным.

Ничего больше не говоря ей и не спрашивая ее ни о чем, он торопливо направился к Галине. Но в кабинете у окна, где он оставил сестру, ее не было. С выражени-

ем недоумения он вернулся в большую комнату и, увидев нахмуренно шагавшую навстречу ему тещу, вопросительно посмотрел на нее.

— Ушла уже,— поняв по этому вопросительному взгляду, что он хотел узнать у нее, сказала Анна Юрьевна.

— Куда?

— Куда ей? Туда же. Давайте ужинать,— затем недовольно сказала она.— Все уже на столе.

XXIII

Только спустя неделю после того, как к Белянинову приехала жена, Дементий, возвращавшийся из Киева от Патона, смог забрать Галину с собой на стройку. Он чувствовал, что Виталина была недовольна тем, что он брал сестру с собой, и особенно недовольна была Анна Юрьевна, сказавшая: «Мало своих хлопот, так с чужими наплачешься». Они считали, что лучше всего было бы отправить Галину в Москву, где только и место ей, как иронически заметила все та же Анна Юрьевна. Но Дементию казалось, что нельзя было не сдержать слова перед сестрой, и, несмотря на эти общие семейные возражения, сделал так, как счел нужным. Поступок его представлялся ему самому благородным, тогда как за этим благородством его было лишь то, что он по-прежнему не хотел глубже вникнуть в дело. Поездка в Киев была для него удачной, и после этого своего очередного успеха, то есть дела, которому он придавал огромное значение, и после разговоров и встреч в Москве, где он всюду находил поддержку своим начинаниям, он не мог серьезно отнестись к домашним делам; он даже подумал, что, возможно, на Галину было наговорено, что она ни в чем не виновата, а что все заключено только в том, что она не пришлась по душе ни Виталине, ни Анне Юрьевне. Он искал тот легкий вариант объяснения, по которому все были бы удовлетворены, не было бы обиженных, а главное, чтобы он как человек, занятый большим государственным делом, имел бы прочный, как он выражался, тыл и не дергался бы по пустякам.

Прилетев с Галиною в Тобольск, он в тот же день вечером отправился с ней на катере вниз по Иртышу и Оби к станции Комсомольская, где возле речных причалов скапливались подвозимые по железной дороге ос-

новные грузы для стройки и где у Дементия были теперь свои неотложные дела. Галину же он предполагал отправить еще дальше («Если уж романтика, так под завязку»,— сказал он ей), в один из трассовых поселков, определив на самую простую должность учетчицы работ.

Всю дорогу, пока летели до Тобольска и пока затем плыли на катере, Галина была неразговорчива. Она выглядела меланхоличной уже не потому, что ей надо было быть такой, но в ней и в самом деле как будто пропал всякий интерес к жизни. Она еще тщательнее следила теперь, чтобы все было траурное на ней, и в этом траурном своем одеянии, смущая команду катера и вызывая любопытство к себе, она большую часть пути тихо сидела с заветренной стороны капитанской будки, наблюдая, как журавлиным клином расходились от кормы, бурля и вспениваясь, свинцово-холодные в это время года воды Оби. В памяти ее точно таким же журавлиным клином, отталкиваясь от нее, вытягивалась ее жизнь. Та жизнь, в которой были только желания и порывы, но не было завершения ничему, и она снова чувствовала себя ненужной, затерявшейся, без надежд, без цели, готовая подчиниться всему, что предложат ей. Время от времени к ней подходил Дементий и садился возле нее. Ему тяжело было видеть сестру в несчастье, но при всей жалости к ней, как только он начинал говорить с ней, он невольно поддавался тому общему хорошему настроению, на какое было у него немало своих причин и оснований. Он был доволен жизнью. Доволен не только тем, что сумел в ней достичь чего-то; ему казалось, что э т о г о мог достичь каждый, приложи только старание и ум, и оттого именно, что мог достичь каждый, но достиг все же он, он готов был славить эти возможности, какие как будто открыты перед всеми, и простор (простор реки и берегов), по которому они плыли, не то чтобы вдохновлял его (пейзажи Сибири давно уже были привычны ему), но вызывал чувство, что он может все; но как ни велико это чувство с точки зрения поэтического восприятия мира, но только в соединении с определенной долей осторожности и разумности может быть отнесено к явлениям полезным в обществе. Он обращал внимание сестры на то, что сибирские реки — это совсем не то, что Ока или Ворскла в серединной России. Он обращал внимание ее на могучий нрав Оби и на пустынные (большей частью) берега ее. Ни тех деревень с церква-

ми, что разбросаны по русским взгорьям и всегда так живописно смотрятся с палуб речных пароходов, ни той особой веселости зеленых березняков или молодых дубрав с пасущимися возле стадами и лугов со сметанными стогами сена, ни ребятишек, играющих у реки, то есть никакой той уютной для российского человека жизни не было видно по берегам Оби; за двое суток пути встретилось всего лишь несколько стожков и несколько маленьких деревушек с приземистыми бревенчатыми избами и плетнями и огородами возле них; во все же остальное время по обеим сторонам видны были только то крутые обрывы с подступавшими почти к самым этим обрывам еловыми и кедровыми лесами, то тянущиеся до горизонта низины с болотистым редколесьем. Для Галины, впервые видевшей эти картины, они представлялись унылыми и безжизненными. Она чувствовала какое-то будто единство между тем, что было в ее душе, и этим, что открывалось по берегам сибирской реки; и потому она, слушая восторженные слова брата, не воспринимала их. Минутами ее охватывал ужас оттого, что она, оставив Москву, ехала непонятно зачем в эту глушь. Москва, в сущности, была для нее не просто местом ее жительства, но была местом, где удовлетворялись или, по крайней мере, могли быть удовлетворены ее жизненные претензии. Как о чем-то несбыточном вспоминала она теперь о театрах, концертных залах, куда водил ее Арсений, особенно в первые месяцы совместной жизни, и обо всех тех гостиных, в которых красовалась она, приходившая туда точно так же с Арсением. Но что взамен той жизни, к которой она успела привыкнуть, могла дать ей эта безлюдная, будто ощипанная (такое складывалось у нее впечатление) Сибирь? И она снова и снова непонимающе смотрела на брата, которого безлюдье, казалось, не только не пугало, но, напротив, вызывало у него чувство перспективы, желание заселить всю эту безжизненную как будто еще землю. Он видел впереди непочатый край работ и непочатый край возможностей проявить себя здесь, и эта-то перспектива как раз радовала его.

— Не знаю, что бы я делал, не будь этой прекрасной Сибири,— говорил он, любовно глядя перед собой на берега, мимо которых проплывали.— Ты помнишь наши споры с отцом? (Но даже при упоминании отчима Галина не изменила своего застывшего выражения). Помнишь,— продолжил Дементий, для которого воспомина-



ния служили лишь подтверждением его теперешних мыслей,— как он настаивал, чтобы я пошел по его линии, а я возражал? Так кто теперь прав? Как вот ты думаешь, кто прав? — Он как будто спрашивал сестру, но вопросы его были такими, что на них не надо было отвечать; в них уже заложен был тот ответ, который удовлетворял Дементия.

— Всякому человеку, чтобы проявить себя, нужен простор,— в следующий раз начинал он разговор.— Но

поле деятельности — надо еще заслужить, чтобы тебе предоставили это поле. Надо заслужить право на деятельность, а заслужить его при нынешней сплошной грамотности — надо, по-моему, быть трижды Наполеоном.— Он впервые высказал вслух то, что давно приходило ему на ум, и повернулся к сестре, чтобы увидеть, как она восприняла это (не унизительный конец мрачного корсиканского гения, но лавры его артистически-необычайного взлета до сих пор, спустя уже столько десятилетий, продолжают волновать поколения молодых людей).— Ты знаешь, мне иногда кажется, что я мог бы стать полководцем,— затем, усмехнувшись, сказал он.

Он говорил о себе и не хотел трогать жизни сестры. Разбирательство ее жизни только растравило бы в ней то (похороны Юрия), что еще болезненно, как он думал, жило в ней. Он не хотел затрагивать и ее отношений с женой и тещей, которые, он чувствовал, точно так же должны были быть болезненными для нее. «Поработает в поселке, отойдет, тогда и можно будет вернуться к этому»,— думал он. Он искал причины, чтобы не заниматься сестрой; причины эти представлялись ему обоснованными, и оттого он был спокоен и строг с ней. И лишь однажды позволил себе размягченно сказать ей:

— Галя, как мне жаль тебя, если бы ты знала. Нет, нет, ты не подумай, ты извини, я просто — так хотелось, чтобы ты была счастливой.

— Боже, о чем говоришь, где оно, это твое счастье?

— Есть, Галя, есть. Ты еще так молодо выглядишь, на тебя еще можно засмотреться.

— Утешаешь?

— Для чего? Я же брат тебе.

— Вот именно.— И Галина усмехнулась чему-то тому своему, что, она знала, было уже угасшим в ней, но о чем не знал и не догадывался еще брат, взявшийся опекать ее.

XXIV

Самым трудным для Дементия было, когда он отправлял (с попутным вертолетом) Галину из Комсомольской в трассовый поселок. Уже выйдя с нею на площадку, с которой она должна была улетать, он почувствовал, что нельзя было делать этого, то есть отправлять сестру в таежную глушь. Он почувствовал, что

он как будто за какую-то провинность ссылал ее, и это было нехорошо: он брал на себя ответственность за то, что могло случиться с ней там. «Может, оставить пока здесь, не отправлять?» — подумал он, в то время как пилот, стоявший у раскрытой дверки вертолета, всем видом своим говорил, что ему надо уже лететь и что он не может ждать больше.

— Ну, Галя,— сказал Дементий, обняв на прощание ее,— если что, дай знать, и я тут же буду у тебя.— Пора было отпускать ее, но он чувствовал, что было еще что-то недосказано им, и держал ее руку.— Да, вот еще что,— сказал он.— Я заходил в Москве в следственный отдел. Следствие еще ведется, и я, ты не думай, я не забыл ничего. Этот твой негодяй Арсений получит что заслужил, я постараюсь.— И по выражению лица его было видно, что он выполнит то, что обещал ей.

Он отпустил руку Галины и все с тем же смешанным чувством жалости и стыда, что будто ссылает ее, смотрел за тем, как пилот помог ей подняться в вертолет, как захлопнулась за ней дверца, двинулись и начали вращаться огромные лопасти, набирая обороты и взвихривая из-под колес пыль; он хотел увидеть, как сестра в иллюминатор прощально помашет ему, но потоки воздуха заставили его наклониться, запахнуться и съежиться, а когда он опять поднял голову, вертолет, описав полукруг над избами поселка, удалялся, беря курс (в пасмурном осеннем небе) по течению Оби.

Всю первую половину дня, пока дела не захватили его, Дементий оставался мрачным оттого, что был недоволен собой. Но когда затем вместе с Луганским, ведавшим всей перевалкой грузов, поступавших по железной дороге к порту, вышел к подъездным путям и причалам, заваленным трубами; когда, увидев горы этих труб и поговорив с портовиками, понял всю сложность положения (почему не отгружались эти трубы),— мрачное настроение у Дементия было уже не связано с тем, что он отослал сестру бог знает куда, к чужим людям. Дела обступили его, и он забыл о ней. От него требовалось принять меры, чтобы согласно графику трубы еще до наступления холодов были доставлены к определенным пунктам на трассу; но он впервые в своей практике столкнулся с тем обстоятельством, что самый известный, простой и всегда верно действовавший метод ускорения работ, то есть авральный, когда нагонялось людей и техники,—

метод этот был неприменим здесь. Людей было достаточно, достаточно было и портовых кранов, а не хватало барж, на которые можно было бы грузить трубы. Он впервые оказался в этом положении, когда не знал, начинать ли звонить по инстанциям, чтобы прибавили барж, которых, впрочем, везде теперь не хватало по Иртышу и Оби, или искать какое-то инженерное решение. Он ходил вместе с Луганским вдоль сложенных труб, останавливаясь и постукивая по ним, словно пытаясь что-то определить по звуку, и не находил решения.

— Так что будем делать? — наконец спросил он у Луганского.— До снега? На тягачах? По морозцу?

— Не подымем, план сорвем.

— План срывать мы не имеем права.

— Но тогда единственное — добиваться, пока не поздно, изменения графика, если уж нельзя добавить транспортных средств.

— Отступление? — удивился Дементий.— Вы предлагаете отступление? — Он теперь не говорил, что мог бы стать полководцем, а чувствовал себя таковым.

— Да, если хотите. Иногда надо уметь вовремя отступить.

— Нет,— возразил Дементий.— Я не привык отступать. Нет,— еще более решительно подтвердил он, как будто у него уже складывался план действий, как можно было выправить положение.

Но план этот надо было еще придумать, и Дементий, ни слова больше не говоря Луганскому и предоставив ему только пожимать плечами, твердой, уверенной походкой пошел в контору. Обложившись бумагами и имевшейся под рукой подсобной литературой, он принялся вычислять, как можно было увеличить грузоподъемность барж и оборачиваемость их по маршрутам. Но результаты были таковы, что нечего было думать, чтобы решить проблему за счет этой уплотненности. Надо было искать что-то другое, но другого не было, и Дементий почувствовал себя в тупике. Сказать Луганскому, что не привык отступать, было легко; но как было сдержать слово? Как было, главное, сдержать слово не перед Луганским, а перед министром, которому Дементий во время последнего разговора еще решительнее сказал, что все будет выполнено в срок? «Может быть, с народом поговорить,— подумал он.— Но что это даст?» Подперев ладонями виски, он сидел в кабинете и смотрел на бумаги.

Привыкший мыслить масштабно, он не мог сосредоточиться на том конкретном, о чем надо было думать. «Да, я понимаю, как важен северный газ для европейской части страны,— говорил он себе, представляя те промышленные предприятия и города, которые должны будут подключиться к газопроводу.— Да, я понимаю, что от того, вовремя ли мы подадим газ, будет зависеть, войдут ли эти новые производственные мощности в строй или нет, дадут ли продукцию или не дадут (и все дочернее и зависящее от них). Да, я понимаю, как важно все это, и разве я могу отступить? Нет и еще раз нет»,— говорил он, в то время как чувство тупика, в котором он был, заставляло его снова и снова морщиться и потирать виски. Он ушел из конторы уже ночью и затем еще ходил по берегу Оби (перед тем как лечь спать), вглядываясь в огни причальных фонарей и прислушиваясь к шорохам набегавшей в ночи обской волны на песчаную отмель.

Утром его разбудил говор мужиков под окнами. Они собрались что-то делать и спустились вниз, к реке; и Дементий, одевшись, из любопытства пошел посмотреть, что они собрались делать.

Мужики, сойдя вниз, принялись сталкивать в реку бревна, пригоняемые на отмель большой водой. Бревна были ничейными, их можно было брать, и колхозники из близлежащих деревень давно уже пользовались этим даровым лесом. Дементий не раз слышал об этом и, увидев издали, в чем было дело, хотел было повернуться и уйти, но одно обстоятельство заставило остановиться его. Обстоятельством этим было то самое Ньютоново яблоко, упавшее с ветки (как позднее говорил об этом Дементий), по которому великий ученый открыл миру закон притяжения Земли. Дементия заинтересовало то, что мужики были без подвод и не вытаскивали на берег, а именно сталкивали бревна в воду. Он подошел ближе и, дождавшись, когда они сядут перекурить, разговорился с ними. Первым его вопросом было — откуда они?

— Из Ново-Лазаревки,— ответил за всех широкий еще в плечах старик с белой окладистой бородой. Он был, как понял Дементий, за бригадира и заправлял делом.— А что, разве нельзя? Запрет вышел? — в свою очередь спросил он, оглянувшись за поддержкою на товарищей.— Только берега захламят да и погниют, а мы их в дело.

— Запрета нет,— сказал Дементий, думавший совсем не о том, можно или нельзя было брать бревна.— Ново-Лазаревка, Ново-Лазаревка,— несколько раз повторил он.— Так это же бог знает где в стороне от Оби, что же вы их в воду сталкиваете?

— По воде оно хоть и кружным путем,— возразил старик,— а все ближе. Мы их вяжем по четыре-пять комляков и буксируем затем по протокам на моторках к деревне, а уж возле дома взять их — плевое дело.

— Мудро,— согласился Дементий, сейчас же (с инженерной точки зрения) оценив простоту решения.— И кто же из вас додумался до этого?

— А никто,— ответил все тот же старик.— Сколько живем на веку, столько так и делаем. Можно, конечно, и зимой, но ведь примерзнут, попотей тогда над ними, да и машину председатель не всегда даст. Ну так вязать начнем? — обратился он к товарищам и, подняв отвороты резиновых сапог, первым ступил в воду.

Некоторое время Дементий как будто только смотрел на старика, любуясь, как тот дирижировал делом. «По протокам и к дому»,— вместе с тем повторял он слова старика, как бы прислушиваясь к ним. Мысли Дементия были направлены к тому, чтобы решить свою проблему, и бревна, качавшиеся на воде, показались ему трубами. «Да, запаял концы — и чем не бревно тебе? Увязывай в плот и заводи по протокам к любому месту, а уж на месте взять их — плевое дело»,— закончил он словами старика. Он в первую минуту даже не вполне осознал, что сделал открытие и что открытие это как раз и было тем нужным инженерным решением, которое он искал и не мог найти накануне. «Зачем баржи, когда можно плотами, плотами. — Он как бы торопился расширить возможности открытия.— Верно говорят, что все гениальное просто, то есть так просто, что уму непостижимо! А главное — всегда лежит рядом». Но в то время как он думал так, для мужиков, которыми обычно руководит лишь целесообразность дела, не только не было ничего гениального и непостижимого в этом, что они повторяли из года в год, но они удивились бы, если бы э т о г о, что подсказывалось необходимостью и облегчало им труд и жизнь, не было у них.

— Заводи, Никита, заводи правым и тяни в линию,— слышался Дементию голос старика, когда уже отходил от реки.

Он направился прямо в контору и велел вызвать Луганского; и в ожидании Луганского все минуты, пока вышагивал по кабинету, возбужденный предчувствием успеха, усмешка победного торжества не сходила с его лица.

XXV

Так же, как жизнь солдат, участвовавших в войне, не состояла только из подвигов (или случаев дезертирства и трусости, о чем тоже немало уже сочинено книг), жизнь людей, осваивавших Западную Сибирь, не представляла собою лишь одну сплошную цепь героических дел. Открытия, следовавшие одно за другим и удивлявшие и потрясавшие общественное мнение (и по месторождениям нефти и газа и подобное тому, какое сделал Дементий, позволившее затем сэкономить государству миллионы народных денег),— открытия эти, сенсационно подававшиеся прессой, делались в самой простой, будничной обстановке. Понимание общих задач по определенным и естественным причинам, то есть в силу насущных потребностей жизни, не то чтобы подменялось, но зачастую заслонялось теми интересами личного порядка, без которых невозможно никакое движение жизни. Личными интересами людей, предлагавших проект перекрытия Оби, было — продвинуть свой труд, чтобы он не пропал даром, а заодно и оказаться на волне успеха (что в данном случае не совпадало, а шло вразрез с государственными целями и потому было обречено). Личными интересами людей, противостоявших этому проекту, было — отстоять то свое мнение, какое вытекало для них из их опыта и потребностей жизни (что совпало с общими интересами и потому было перспективным и получило поддержку). Дементию же казалось, что у него не было никаких иных интересов, кроме служения делу. Но радость и удовлетворение, какое приносили успехи (вызывавшие желание новых успехов), и чувство перспективы и продвижения, что происходило как будто само собой, как должное,— это личное, соединенное с общей целью, как раз и делало его заметным и нужным человеком. Он был на виду у высшего начальства, был своим среди того среднего звена, какое представлял сам, и находил понимание и поддержку у рядовых, у которых точно так же: у одних личные и общественные ли-

нии совпадали, и эти люди оказывались самыми полезными и надежными, у других не совпадали или совпадали не в той мере, в какой требовалось, и возникали конфликты и неурядицы.

У строителей северной нитки газопровода общая цель была одна — в срок закончить строительство. Но цели каждого отдельного участника этих теперь уже исторических событий были разными, и надо было прилагать усилия, чтобы в трассовых поселках складывались коллективы. Нужна была та незаметная как будто, не поощрявшаяся материально, но отнимавшая массу времени и сил партийная деятельность отдельных людей, какую проводил в своем трассовом поселке Иван Игнатьевич Спиваков (и куда по предписанию Дементия летела сейчас Галина).

Поселок этот, словно в шутку названный кем-то Солнечным (в то время как он был почти у Полярного круга), состоял из передвижных вагончиков и напоминал расположившийся на отдых табор. Между вагончиками на веревках висело сохнувшее белье, из жестяных труб над крышами валил дым, слышны были голоса хозяек, спускавшихся с ведрами к реке. В центре поселка стояли так называемые общественные объекты: вагончик-магазин, вагончик-столовая и вагончик-клуб, где собирались по вечерам любители провести время в обществе. Главных жителей, то есть специалистов по сварке и укладке труб, пока не было, так как работы эти еще не начинались, и большинство населения составляли подсобники, трудившиеся на разгрузке барж. Несколько вагончиков принадлежало геологам и подрывникам, проводившим сейсморазведку в этом районе. Утром они улетали на вертолете в тундру, закладывали взрывчатку в определенных местах и рвали ее, оглашая окрестности короткими и резкими звуками и сотрясая зыбкую и не заснеженную еще землю (они как будто напоминали о приближении цивилизации), и по колебанию почвы и с помощью специальных приборов устанавливали, что таилось там, в глубине, под покровом. Сейсморазведка была новшеством, применялась впервые; по данным взрывов чертились геологические карты и определялись наличие и запасы нефти и газа, и так как результаты (судя по этим составлявшимся картам) были обнадеживающими, геологи и подрывники возвращались веселые, хотя и уставшие, и своим весельем наполняли как бы второй

жизнью все эти ютившиеся у реки дощатые утепленные домики.

У геологов и подрывников был свой старший — Сергей Леонидович Поморцев, по худобе и росту напоминавший Дементия. Его не было слышно и не было как будто видно, он словно прятался в тень, чтобы самому видеть всех; но люди, подчинявшиеся ему, так чувствовали его присутствие, что даже когда он на несколько дней улетал в Игрим или Салехард, никто не смел нарушить установленного им порядка жизни. У подсобников же, составлявших большинство в поселке, был свой старший — бригадир Мирон (от фамилии Миронов, хотя настоящее его имя было Василий). Мирон жил основательно, семьей, как он сам говорил о себе, то есть в одном вагончике с женой и свояченицей. Жена его была пристроена им в столовой, а свояченица, так как той не было еще тридцати и главным образом потому, что когда-то и где-то участвовала в художественной самодеятельности, была назначена им культурником при вагончике-клубе. Сам же Мирон, о котором говорили, что он мужчина в возрасте, был одним из тех бригадиров (тех вышедших в отставку старшин), которым не то чтобы доставляет удовольствие поставить подчиненного перед собой по стойке смирно, но представляется это необходимой для дисциплины и порядка мерой. Он полагал (по этой худшей и отживающей уже фельдфебельской традиции), что на народ надо покрикивать, чтобы он делал что надо и подчинялся начальству, и это мироновское покрикивание на людей — в большинстве случаев оно производило совсем обратное действие, чем того ожидал бригадир,— покрикивание это было предметом насмешек у жителей поселка. Но дело Мирон знал, и его нельзя было уволить. Его нельзя было уволить еще и по той причине, что он бригадирствовал уже не один десяток лет, переезжая со стройки на стройку, и, что еще важнее, знал Север и умел приспособиться к нему. «Тут тебе, брат, не Фергана и не Ферганская долина»,— нравоучительно любил сказать он, когда бывал в настроении и чувствовал расположение собеседника к себе. Каждому в поселке (и не раз!) он рассказывал, как подростком, еще до войны, он работал на строительстве Большого Ферганского канала и как все было там вручную, кетмень да носилки, но что, несмотря на это, было столько энергии и веры в людях, что нельзя было и сейчас, не

прослезившись, говорить об этом. Из всех строек, на которых Мирон работал, он любил вспоминать именно эту, первую, и воспоминания его, так как каждый прибывавший в поселок непременно должен был познакомиться с ними, тоже становились предметом насмешек.

Но интересы людей (кроме тех часов, когда все были заняты на работе) не состояли только из этих перемываний косточек Мирону. Одна группа, что была помоложе, полагая, что прежнее отношение к труду уже устарело, и что есть новое, заключавшееся в том, что можно не столько отдавать, сколько брать от государства (там кошелек большой, сведут концы с концами!), и что безответны только лошади, коим не дано говорить,— группа эта, объединявшая, в сущности, тех, кто приехал на Север, чтобы обогатиться, постоянно выдвигала какие-то требования то относительно питания, то относительно жилья, то жаловалась на скупость Мирона, который заполнял (без приписок) наряды, словно платил из своего кармана. Группа эта держалась развязно и при всяком удобном случае насмехалась над теми, кто, как ископаемые первых пятилеток, дожив до своих лет, не научились ничему в жизни. «Ископаемые» же эти были люди в возрасте, как и Мирон, и не то чтобы не хотели вступать в спор, но составляли свой кружок, в центре которого как раз и стоял Иван Игнатьевич Спиваков. Собирались эти люди либо в вагончике у Спивакова, либо у кого-нибудь еще и до полуночи иногда просиживали за неторопливыми и основательными разговорами о жизни. Жена Ивана Игнатьевича подавала чай, все не переставая курили, и под низким потолком было сине и густо от дыма. Оказавшиеся по разным жизненным обстоятельствам на Севере, они старались и здесь сохранить свою прежнюю целостность восприятий и по строгости к себе и такой же строгости к другим являли собою то сдерживающее (в жизни поселка) начало, без которого невозможна была бы никакая общая жизнь людей.

XXVI

Принято отчего-то считать, что нравственный градусник, по которому об одном коллективе говорят, что он здоровый и способен на многое, а о другом — что он больной и что надо принимать меры, чтобы оздоровить его,— что нравственный градусник этот показывает глав-

ным образом уровень идейного воспитания, насколько каждый умеет подчинять (сознательно или неосознанно) личные интересы общественным. Но у жизни, вернее у людей, есть потребности, удовлетворение которых не зависит от показаний общественного градусника; потребность эта, как упрощенно называли ее в поселке Солнечном,— женский (для мужчин) вопрос. Мужчин было много; женщин было считанное количество, и все, кроме бригадирской свояченицы, замужние. Не проходило и недели, чтобы в каком-либо семейном вагончике не возникал конфликт, и тогда начинали вылетать из вагончика чашки, ложки, табуретки, все, что попадалось под руку мужу, и провинившаяся или не провинившаяся жена убегала к соседям и отсиживалась там, пока Мирон или Спиваков, особенно умевший разобраться в этих делах так, что не оказывалось виноватых, а следовательно, и правых и надо было мириться,— пока не приходил кто-нибудь из этих отцов поселка и не улаживал дело.

— Ну зол, ну зол,— затем полушепотом говорили между собою женщины. Им надо было занять себя, и они с удовольствием обсуждали то, чему были свидетелями.

— Да я бы ему после этого... таких рогов понаставляла! — Что было уже не осуждением мужа, но осуждением той, которая слабостью своею будто бы оскорбила все женское население поселка.

Но пока дело касалось других, Мирон был спокоен. Он знал, кочуя по стройкам, что без э т о г о (без семейных сцен) нельзя, как свадьба не свадьба без пьянки и драки; свадьба должна быть свадьбой, а жизнь в поселке — жизнью, и надо быть снисходительным и проще смотреть на все. Тем более что он и сам не раз в молодости ревновал жену; бывало даже, поколачивал ее; но в то время как он теперь не беспокоился за нее, он боялся за свояченицу, увязавшуюся в этот раз за ним на Север. Он видел, что из тех холостых людей, что были в поселке, охотников жениться на его свояченице не было, но охотников сблизиться с ней было много, и он столько же почти усилий, сколько прилагал к делу, прилагал к тому, чтобы следить за свояченицей и оберегать ее.

— Ты дура. Ты разве не видишь, это же кобели одни,— с привычной для себя фельдфебельской прямотой, как он говорил со всеми, говорил и с ней.

— Фу как, хоть бы волос своих седых постыдился,— укоряла жена, краснея за него.

— Мне стыдиться? Я свою жизнь прожил так, что дай бог прожить каждому, а что кобели вокруг, так ясно — кобели, и не тут женихов искать ей.

Свояченица, которую звали Екатериной и в имени которой как будто звучало что-то царственное, когда его произносили полностью (а полностью его произносили почти все, подчеркивая этим, что она для них Екатерина поселка),— свояченица не то чтобы обижалась на Мирона, но просто не хотела ввязываться в спор с ним. Она приловчилась так, что, молча послушав родственника и успокоив его таким образом, тут же забывала о его нравоучениях и делала то, что ей надо было и хотелось делать. Она, в сущности, была бесконтрольной в своем вагончике-клубе. Веселая, улыбавшаяся всем, она переспала почти со всеми неженатыми мужиками поселка и в то же время держалась так, будто никогда и никаких грехов не было за ней. «Уеду отсюда, и никто никогда знать не будет»,— говорила она себе. Ей нужно было оправдание тому, что она делала, и оправдание это, сотни раз ложно уже служившее другим, было готово для нее. Она лучше, чем свояк ее Мирон, знала, что представляли собою мужики, домогавшиеся ее. И хотя далеко не все, приходившие к ней, делали это только для того, чтобы переспать и оставить present, но она не хотела этого видеть. «Только бы не открылось»,— всякий раз с беспокойством думала она.

Она была одна такая в поселке и пользовалась этим своим выгодным, как она считала, положением. С приездом же Галины у нее появилась соперница, и она поняла это тотчас, как только увидела ее, прошедшую в сопровождении пилота от вертолетной площадки к конторе.

На крыльце вагончика-конторы, в то время как Галина с пилотом, несшим ее чемодан, подходили к нему, стоял Мирон. Он только что вышел (на шум вертолета), чтобы посмотреть, кто прилетел, хотя по радиограмме, полученной от Луганского, знал, кто прибывал в его поселок. В сапогах, в широких брезентовых штанах и куртке поверх обычных брюк и пиджака, он стоял в той хозяйской позе, что было видно, что он доволен и собой и тем, как шли в его бригаде дела. От крыльца открывался ему весь простор бригадных работ: причал, где раз-

гружались трубы, и площадки, где складировались они (и всякое иное прибывавшее оборудование для зимних работ). Он получил указание увеличить оборачиваемость барж, иными словами — днем ли, ночью ли, но разгружать их сейчас же, как только они прибывали, и Мирон, ценнейшим качеством которого было строго выполнять указания начальства, тут же организовал круглосуточную разгрузку. Ему нетрудно было сделать это, так как те в его бригаде, кто жаждал обогатиться, выходили и вкалывали (говоря ходовым в то время словечком), а те, кто был здесь по зову сердца (как говорили о таких), вкалывали потому, что видели, что обстоятельства требовали от них этого. В общем, что касалось производственной части, Мирону не нужно было прикладывать особых усилий, все шло само собой; но что касалось женского (для мужчин) вопроса, как он складывался в поселке,— Мирон неприятно поежился теперь, глядя на Галину, в укороченной юбке и туфельках подходившую к нему по дощатому настилу.

«Не было хлопот, так купила баба порося»,— по-своему подумал он, выправляя, однако, на лице равнодушное и спокойное выражение. Он не знал Галину, но он хорошо знал, что когда начальство отправляет своего родственника в глубинку, то это значит, что родственник натворил что-то и отсылается на исправление. Тем, что натворила Галина, Мирон понимал, не положено было интересоваться ему; но, искоса и равнодушно будто вглядываясь в нее, он делал по первому своему впечатлению, то есть по туфелькам и юбке, оголявшей ноги ее, вывод: «шалава, видать» и «будет еще тут греха с ней».

— Ну, Василий Гаврилыч, принимай пополнение,— ставя чемодан на крыльцо у ног Мирона, сказал пилот, знавший его (на Севере все и всё и знают друг о друге).

— Галина Акимовна? Иванцова? — глухо спросил Мирон.

— Да.

— Сестра, что ли, нашего Дементия Акимыча? — спросил он уже для того только, чтобы подчеркнуть, что он знает, что положено знать ему, и принялся поверх голов Галины и пилота оглядывать вагончики поселка, словно был в затруднении, куда поместить вновь прибывшую.— А ты чего здесь? — заметив подошедшую свояченицу, проговорил он.— Вот ключ и отведи-ка гостью в четырнадцатый.

— В четырнадцатый? Он же для сварщиков приготовлен,— возразила свояченица, сейчас же сообразившая, в какое выгодное положение ставилась та.

— Ну, учить еще, сказано — веди, так и веди.— И Мирон, сойдя на ступеньку и наклонившись, сунул свояченице ключ в руки.— Распоряжаться тут есть кому.— Благодушное настроение его, с каким он только что оглядывал свое налаженное бригадное хозяйство (он любил порядок и всегда получал благодарности от начальства за него), было как будто испорчено тем, что свояченица посмела возразить ему, хотя причина, отчего он сердился, была в другом; была в том, что он еще более увидел (по отношению Катерины), кого он получал в поселок. Свояченица, о которой доходили до него слухи, казалась ему в сравнении с Галиной такой простенькой и обыденной, что он не мог о ней подумать дурно. «Все вздор, мало ли что на девку наговорить можно». Но строжиться на Галину, во-первых, не было у Мирона еще оснований, а во-вторых, он знал, что это не его ума дело, и потому продолжал строжиться на свояченицу. — Чемодан возьми. Я тебе говорю: взять чемодан! — прикрикнул он, заставив свояченицу вернуться за чемоданом.

«Заработать приехала? Я те тут заработаю, я те устрою жизнь»,— шагая впереди Галины со вскинутым на плечо чемоданом, думала между тем свояченица. Она чувствовала свою простоту в сравнении со столичной еще выправкой (и одеждой) Галины и боялась оглянуться на нее.

— Ну вот здесь,— остановившись перед новеньким запертым вагончиком и опуская на землю чемодан, сказала она и затем с насильственной улыбкой все же взглянула на Галину.

XXVII

Надо же было случиться, чтобы в тот день, когда Наташа в последний раз пришла на свою старую квартиру (у площади Никитских ворот), чтобы сдать ключи смотрителю ЖЭКа, она встретилась с Тимониным.

— Наташа, вы?! — Он проходил по бульвару к Дому журналистов, как он проходил этой дорогой всякий раз, когда ему хотелось провести вечер не среди друзей-писателей, а среди друзей-журналистов, где он более свободно чувствовал себя.— Как я вас давно не видел,—

добавил он, восторженно глядя на нее, делая шаг к ней, беря ее за руку и не спрашивая (ни себя, ни ее), можно, нужно, прилично или неприлично делать это. Он знал историю с ее мужем Арсением в тех подробностях, как она сочинена была и излагалась в доме профессора Лусо. Но, изрядно забыв уже за своею суетною, праздною жизнью об этой истории и помня только, что он имел какие-то планы на Наташу (в связи именно с этой историей), он старался вспомнить, что он хотел предпринять тогда. «Что-то благородное я хотел сделать, да-да, что-то благородное»,— подумал он, хотя этим благородным было только то, что он увидел определенную возможность сблизиться с ней. — Что с вашим мужем? Его осудили? Оправдали? Как вы прекрасно выглядите!

Невольно, неосознанно, лишь по привычке, давно уже укоренившейся в нем (и в обществе, в котором он постоянно вращался и где тонкостью ума признавалось сказать любезность, то есть ложь вместо правды), он как будто забрасывал наживку, на которую, он знал, невозможно было не клюнуть; и по изменившемуся выражению лица Наташи он сейчас же почувствовал, что цель близка и что у него есть шанс прекрасно провести вечер.

— Куда вы направляете свои стопы? — спросил он, как только Наташа сказала ему, что следствие по делу Арсения еще не закончено и что неизвестно пока, когда будет назначен суд.— Если хотите, идемте со мной в Дом журналистов. Это рядом, вот, у Арбатской площади,— сказал он, не отпуская руки Наташи и испытывая к ней то же чувство, какое испытывал на даче у Карнаухова, когда прохаживался по саду.

Хотя здесь не было скошенной травы, не было яблонь, берез, сосен и неба, чашею опрокинутого над всей той дачной красотой; хотя здесь не было ничего того деревенского, чему он поклонялся (на словах и на бумаге) и что одно лишь могло, казалось, вызывать желание любви и жизни (как он утверждал это для других), а были только асфальт, дома, Кинотеатр повторного фильма, напротив которого он стоял теперь с Наташей, и огороженная переносным дощатым забором площадка, на которой возводилось здание ТАСС, то есть было все то городское, что не могло как будто способствовать ни восприятию прекрасного (по тем же уверениям Тимонина, которые он произносил, разумеется не для себя, а для

других), ни пробуждению любви, как это чувство в чистоте (опять же, разумеется, не для себя, а для других) определялось им,— он не мог отпустить Наташиной руки, как не мог не смотреть восторженно на нее. Он не сравнивал ее с теми женщинами, с которыми проводил вечера, то заезжая к одной, то оставаясь у другой, то видя их всех вместе в фойе какого-нибудь театра или клуба; он просто видел молодость Наташиного лица, молодость едва только начавшей полнеть фигуры, когда все, как теперь в Наташе, бывает красиво и совершенно в женщине, и не мог отвести от нее взгляда. «Какая свежесть, какая прелесть,— про себя повторял он, с новым как будто и прежде неизвестным ему чувством испытывая желание сблизиться с ней.— Да, да, я же знал, что она одна, как же я раньше не сообразил»,— думал он, слегка краснея от откровенности этих желаний. Он стоял спиной к заходившему солнцу, и густые, темные, низко подбритые виски его придавали лицу какое-то будто особенное, романтическое выражение.

Он выглядел удачливым и беззаботным. Жизнь его за эти месяцы не только не изменилась в чем-либо, но не могла измениться, потому что общество избранных (как они сами называли себя), к которому принадлежал Тимонин, продолжало жить теми же интересами, какими оно жило всегда. Отъезд Ольги из Москвы и то, что она, не попрощавшись с ним, сделала это, не беспокоили его. Корреспонденции его с сенокоса и с жатвы, за которыми он ездил в Пензу и Мокшу (в народ, как он говорил), были уже напечатаны и забыты всеми. К тому крупному произведению, какое он давно уже собирался начать писать, он все еще не приступал, а лишь вынашивал замысел его и пересказывал пока всем те с в о и мысли, то есть те имевшие хождение среди определенного круга людей и бывшие модными высказывания о красоте и притягательности прежней крестьянской жизни, какими он собирался наполнить книгу. Он хотел быть ближе к народу, тогда как не только (в силу своего образа жизни) не понимал этого народа, глашатаем которого выдавал себя, но и не прилагал усилий к тому, чтобы понять его. Модно было поэтизировать прошлое русской деревни — и Тимонин поэтизировал и верил в то, что так именно все и было, тем более что вера эта ни к чему не обязывала его; модно было хоть как-то противостоять официальному мнению — и он противостоял в тех возмож-

ных границах, в каких противостояние не мешало ему пользоваться благами этого общества, в котором, если послушать его, были только одни пороки и не было ничего, что заслуживало бы внимания и одобрения. Он выражал недовольство той жизнью, которой он, в сущности, не знал, что было сложного и несогласованного в ней и над чем, чтобы к лучшему переменить ее, задумывались люди; но жизнь, какою жил сам, проводя время в клубах и барах, где можно было слыть непонятым и великим,— жизнь эта вполне устраивала его. Он принимал ее и наслаждался ею; и он приглашал теперь Наташу, весело и просто как будто глядя на нее, разделить с ним это его привычное удовольствие.

— Ну так как? — видя, что Наташа колеблется, и беря ее за другую руку, проговорил он. Он не хотел упускать того, что было, казалось ему, уже у него в сетях, и по интуитивному чувству ловца старался лишь не спугнуть ее теперь ненужным движением или словом.

— Я не знаю,— ответила Наташа, делая усилие, чтобы освободить руки.

Но Тимонин не выпускал их, и она, краснея, чувствовала, как в ней поднималось знакомое уже ей счастливое беспокойство. Она помнила, как танцевала с ним на вечере у Лусо, возбужденная его вниманием и благодарная ему за это; она была так счастлива тогда и так счастлив, казалось ей, был ее муж Арсений тем, что ей хорошо, что она невольно улыбнулась сейчас Тимонину. «Что же тут плохого, если на меня обращают внимание? Значит, я хороша еще, и он (то есть муж) должен быть рад этому»,— просто, ясно и объяснимо было ей э т о, что должно было теперь повториться с ней. Перед ней открывалась возможность (уже через Тимонина) вновь приобщиться к той высшей, как она полагала, жизни, которая так поразила ее в гостиной Лусо, а затем на вечере у Карнаухова и в Большом театре (все в том же блестящем обществе), и она чувствовала, что не в силах теперь отказать Тимонину.

— Так решайтесь, решайтесь,— настоятельно повторил он, как если бы не знал ничего о ее несчастье.

— Но я... я не ожидала,— попыталась было возразить Наташа, которой казалось, что она одета не так, не в том платье, в каком прилично было бы появиться ей в обществе, куда приглашал ее Тимонин.

— Да все на вас чудесно, все-все,— сейчас же и с

большей, чем в первую минуту встречи, уверенностью подтвердил Тимонин, поняв, что она хотела сказать ему. Он посмотрел на ее прическу и маленькие открытые красивые уши, которыми всегда так любовался Арсений и в которых видны были теперь все те же знакомые Тимонину сережки с красными, как капли, рубинами (подарок мужа к первому ее выходу). В сережках не было как будто ничего особенного, но они так освежали все круглое лицо Наташи, что Тимонин (как и на вечере у дяди, где впервые увидел ее) не мог уже смотреть ни на что другое, кроме как на ее лицо и сережки; ему достаточно было этой нетронутой, как он мысленно определил для себя, красоты ее, этой чистоты, какую он живо чувствовал в ней; и он мысленно разрушал уже те барьеры (как он разрушал их не раз с другими женщинами), какие только по неопытности и наивности своей, как он думал, Наташа будет возводить перед ним.— Вы хотите запереть себя в четырех стенах? Но это глупо, — сказал он, отпуская ее руки, но тут же снова беря их.— Я вижу, вас надо выручать, да-да, выручать, и я готов быть вашим слугой. Ну, решено? — И, не обращая внимания на робкое уже сопротивление Наташи, Тимонин взял ее под локоть и повел вниз по бульвару.

Несмотря на то, что ей надо было к отцу (и к подруге Любе, у которой она обещала быть сегодня), Наташа не возразила Тимонину. «Я только чуть побуду и уйду»,— сказала она себе, не осознавая еще вполне, что она делает. Но мысль о том, что она идет веселиться, в то время как Арсений в тюрьме, под следствием (и что она поступает нехорошо именно по отношению к мужу),— мысль эта напугала ее. «Может быть, остановиться, не ходить, сказать что-то»,— подумала она. Но изменить что-либо было уже нельзя, и Наташа только еще раз для успокоения сказала себе, что сразу же, как только немного побудет с Тимониным, уйдет к отцу и затем к Любе.

XXVIII

Член правления, известный журналист, дежуривший в этот день по клубу, увидев Тимонина, вместе с Наташей вошедшего в фойе, где уже толклось достаточно много народу, весело поздоровался и заговорщицки, но так, чтобы окружающие могли слышать, спросил:

— На него?..— И назвал имя одного из модных московских поэтов, перед которым нельзя было как будто не преклоняться. — Получите наслаждение, уверяю. Во всяком случае, любопытно. Весьма и весьма. Но каких это стоило усилий!

— А ты знаешь, я равнодушен,— сказал Тимонин, привычно пожав плечами. Он слышал от кого-то, что поэт этот, о котором шла речь, придерживался не того литературного направления, какого следовало бы ему придерживаться, и потому не хотел и не считал нужным идти на него.

— Но ты не один? — делая изумленное лицо, спросил член правления, дежуривший в этот день.— С тобой такое очаровательное создание. Вы как? Вы тоже равнодушны? — обратился он уже к Наташе, назвав опять имя поэта и вводя своим вниманием ее в смущение.

— Ну что вы, я с удовольствием,— торопливо ответила Наташа и повернулась к Тимонину как бы за советом, как поворачивалась за поддержкой к мужу на вечере у Лусо.

Но в это время, пока член правления, известный журналист (известный более не тем, что что-то значительное писал и печатал, а другим — что во всякое время года неизменно ходил в бассейн на Кропоткинской и держал себя в соответствующей спортивной форме), произносил свою фразу, в фойе произошло движение, и все устремились к двери, ведущей в зал. «Объявили! Объявили!» — с разных концов хлынувшей толпы раздались голоса, и Тимонин, как ни неприятно было ему идти слушать этого поэта, и Наташа, которая не успела еще присмотреться и ощутить себя в новой, непривычной для нее обстановке, и дежуривший по клубу известный журналист, которому надо было быть в фойе и следить за порядком, подхваченные толпой, очутились в зале, в проходе между стульями. Наташе не было видно сцены, и Тимонин, забыв о приличии и чувствуя себя хозяином, раздвигал стоявших перед Наташей и проталкивал ее вперед. На него оборачивались, чтобы сказать то резкое, что обычно принято говорить в таких случаях, но от раскрасневшегося Наташиного лица, на которое натыкались недовольные и раздраженные взгляды (главное, от того желания увидеть и услышать, какое было на молодом, девичьем еще как будто лице Наташи), раздражение сменялось улыбками, ее пропускали, а вместе с нею и Тимонина,

и когда из угла сцены, где сидели поэты, двинулся к микрофону тот, кого ожидали все, Наташа находилась уже в выгодном положении, ей не надо было ни нагибаться, ни тянуться на носках. Ей было видно все, и она широко раскрытыми глазами смотрела на сцену, словно что-то чрезвычайное и удивительное, что можно увидеть только раз в жизни, должно было явиться ей.

Мягко и величественно, как выходят обычно только конферансье, поэт подошел к микрофону. Он был в темно-зеленом бархатном костюме и красной рубашке с небрежно расстегнутым воротом, и по этому виду его и по тому, как он улыбался, берясь пальцами за микрофон, чтобы по росту подогнать его, чувствовалось, что он сознавал себя любимцем публики. Он чуть наклонил голову, точно так же как наклоняют ее артисты, чтобы получить аплодисменты, и не успела Наташа сообразить, что произошло, как зал загремел овацией. Наташа тоже принялась хлопать, сначала оглядываясь вокруг себя и на Тимонина, но затем незаметно подчиняясь общему настроению восторга, каким в эти минуты, казалось, был наполнен весь зал. В душе ее точно так же, как это было с ней в Большом театре на балете, на котором она была с мужем (и на котором в тот вечер присутствовал де Голль с супругой), возникало чувство, когда то, на что она смотрела и что слышала, и то, что происходило в ней самой, сливалось в одно неразделимое целое и, заставляя забыть обо всем ином, захватывало и держало ее. Тимонин ладонями обнимал ее талию, и она не чувствовала этого; кто-то полный, стоявший рядом, постоянно ворочался, сопел и обдавал ее тяжелым духом несварения и пота, но она не замечала и этого; впервые попавшая на вечер, где читали поэты, она замирала от счастья и, вглядываясь и вслушиваясь, воспринимала не столько содержание, сколько манеру исполнять стихи, жесты и выражение лица поэта. Жесты были артистическими, и руки то и дело гимнастически распахивались, готовые обнять земной шар. Но главное заключалось не в этих артистических жестах; главное было в том, что поэт придавал значение каждому произносившемуся им слову, будто стихи состояли не из строчек, строф и рифм, а из отдаленных друг от друга на версту слов, каждое из которых само по себе, по какой-то будто особой наполненности понятиями, представляло поэзию. Было ли это только прихотью поэта или модой, когда событие, которое долж-

но быть естественным, преподносится как великое достижение,— никто не задумывался над этим; после каждого прочитанного стихотворения зал хлопал, девушки восторженно подносили цветы поэту, и все это выглядело так трогательно, что у многих увлажнялись глаза, как они полны были счастливых и бессмысленных слез у Наташи.

Как только поэт закончил чтение и к микрофону подошел другой, объявленный ведущим (и менее известный), грудившиеся в проходе люди начали выходить из зала. Они выходили не потому, что стихи у этого менее известного поэта были хуже или он не так, не в этой новой манере читал их; он читал их так же, с тем же ударением на каждом слове, но в представлении толпы это было не то, было даже отдаленно будто бы не похоже на то, чему они только что аплодировали, и потому они не желали уже слушать немодного поэта. «Какие стихи! Как держался! А манера, манера!» — раздавалось теперь вокруг Наташи и Тимонина. Их теснили к выходу, и хотя Наташе хотелось еще побыть в зале и послушать других, но и она и Тимонин, поджимаемые толпой, вновь очутились в фойе.

— Ничего, ну ровным счетом ничего, а народ валом валит,— отряхиваясь как будто от тесноты, проговорил Тимонин, не обращаясь ни к Наташе, ни к кому-нибудь еще, кто был рядом, а лишь удивляясь столь бурному интересу к поэзии. Интерес этот, впрочем, к середине шестидесятых годов достиг уже той своей точки, когда желающих послушать поэтов не вмещали не только залы (как знаменитый Политехнический), но и стотысячный стадион.— И вам понравилось в этой духоте? — затем продолжил он, наклоняя к Наташе свое недовольное и сосредоточенное лицо с низко подбритыми висками. Он задавал ей вопрос не о поэте, которого он слушал хотя и со вниманием и любопытством, но о котором все же не мог думать хорошо (не мог, вернее, изменить о нем то свое, то есть взятое у других напрокат, мнение, которого он придерживался), но спрашивал ее о вечере вообще, который, как это казалось ему теперь, неудачно начался для него. Целью этого вечера было для него потолкаться по кулуарам, где говорилось все и обо всем и где, в сущности, шла незаметная для администрации и не управляемая ею своя клубная жизнь, посидеть в ресторане, где можно было представить Наташу друзьям и

угостить ее, а затем у нее дома провести те часы приятного уединения, ради которых, как он всегда говорил, готов был пожертвовать всем; но к этой конечной цели, как он инстинктивно чувствовал, надо было подготовить Наташу, и ему казалось, что незапланированные поэты могли только помешать ему.— Вы молчите? — спросил он, снова наклоняя к ней свое все еще недовольное и сосредоточенное лицо.

Наташа была возбуждена тем, что она увидела и услышала в зале, но по тому, как Тимонин спрашивал ее, по взгляду и интонации она почувствовала, что что-то было как будто нехорошее в этом восторге, какой испытывала она.

— Но читал он интересно,— все же сказала она не в силах побороть в себе этого восторга.

— Мода, только и всего, мода,— решительно возразил Тимонин,— а глубины никакой. Если вы любите поэзию, я могу познакомить вас с настоящими поэтами.— Хотя что он имел в виду под словом «настоящими», он сам толком не мог бы объяснить; но он уже говорил теперь для того, чтобы говорить, и входил в ту привычную для себя роль вещателя истин, в какой он любил представать перед женщинами.— Надо, Наташенька... Я могу вас так называть? — И, не дожидаясь согласия, продолжил: — Надо, Наташенька, во всяком деле, а в нашем литературном особенно, отталкиваться от народного понимания добра. Простите, минутку, минутку,— затем сказал он, в то время как мимо проходил крупный сутуловатый мужчина с тяжелым, нахмуренным взглядом и тяжелым подбородком. Это был Афанасий Юрьевич Куркин, искусствовед и критик, известный тем, что придерживался крайних западных взглядов в искусстве (многие даже считали, что он возглавлял это течение). Для Тимонина это был человек противоположного направления. Но несмотря на то, что это был человек противоположного направления, он был в то же время влиятельным человеком и потому не мог не интересовать Тимонина.— Личность. Неприятная, но личность,— пояснил он затем Наташе, что заставило его отвлечься и посмотреть на Куркина. — Личность! Личность! — Как будто ему доставляло удовольствие повторять эти слова.

XXIX

Тимонин пытался еще что-то пояснительное, что он любил и умел делать (как это казалось ему), говорить Наташе, но знакомые, подходившие к нему и просившие представить им Наташу, прерывали его.

Большинство слонявшихся по фойе и коридорам (и сидевших в ресторане) были завсегдатаями этого заведения и не просто были знакомы друг с другом, но, казалось, знали друг о друге больше, чем каждый знал о себе. Наташа была человеком новым, впервые появившимся здесь, и одним этим уже привлекала внимание. Но главным, что привлекательного было в ней, была ее нетронутая как будто свежесть, замеченная еще Тимониным, и наивность, с какою она слушала, отвечала и воспринимала все. Ей было лестно, что ею интересовались, что она вновь, как и на вечере у Лусо, оказывалась в центре внимания, и счастливое возбуждение, поминутно игравшее на ее лице, делало ее еще более заметной среди этой примелькавшейся уже публики, которая, разбившись на кружки, толклась и гудела своим привычным трутневым гулом. Наташа улыбалась всем, все представлялись ей опять добрыми и милыми, и лишь одно обстоятельство несколько настораживало ее: что к Тимонину подходило больше женщин, чем мужчин, и что некоторые из этих женщин как-то нехорошо, оценивающе разглядывали ее. Особенно неприятное впечатление произвела на Наташу невысокая и полная, с косою, перекинутой на грудь, молодая особа, которая с чашечкой кофе, с какой она неизменно появлялась перед всеми, подошла к Тимонину и Наташе и, попросив Наташу подержать эту свою чашечку кофе, принялась тут же перед глазами Тимонина переплетать косу.

— Благодарю вас,— с подчеркнутой почтительностью затем сказала она, беря из рук Наташи чашечку.— А тебя поздравляю.— Она посмотрела на Тимонина, на Наташу и опять на Тимонина, за которым как будто знала что-то, что было дурно и о чем не принято было говорить, но, дескать, она понимала и Наташу, почему та, несмотря на это известное всем дурное за Тимониным, была с ним.

— Со странностями,— делая тот жест, по которому должно было быть понятно это, проговорил Тимонин, когда молодая особа уже отошла от них.— Она всем тут

нам надоела,— чтобы сгладить впечатление, какое та произвела на Наташу, добавил он.— Ищет себе мужа-писателя, как будто он пятак и может валяться под ногами. Смешно, ну просто смешно.

Но Наташе не было смешно. Неискушенная и привыкшая доверять людям, она не могла понять всего, что происходило вокруг нее, но по чувству самосохранения, не притупившемуся еще в ней, уже внимательнее и осторожнее начала приглядываться ко всему. В какую-то минуту ей даже показалось, что ее втягивают в обман и что Тимонин вовсе не тот, за кого она принимает его, но общая атмосфера возбужденного веселья, лица, костюмы и платья, мелькавшие перед глазами, и спокойный, доверительный тон, каким Тимонин рассказывал ей обо всех подходивших к ним (то об одном, то о другом) «знаменитостях», делали свое дело, и Наташе, в сущности, некогда было вспомнить ни об отце, ни о подруге Любе, у которой обещала сегодня быть, ни о муже, которого, ей казалось, она все еще так любила; она лишь смутно ощущала, что было что-то нехорошее в том, что она делала, и временами была не уверена в себе и говорила не то и краснела оттого, что говорила не то.

Они с Тимониным собрались уже пойти в ресторан, когда возле шахматных столиков, где группа мужчин (не игравших) разговаривала между собой, раздался резкий возглас:

— Нет уж, спите вы сами своим обломовским сном, народ спать им не будет. Народ вам не ширма, которую можно передвигать по своему усмотрению, чтобы прикрыть свои телеса.

Человек, произнесший эти слова, был литератор с трудным, как говорили о нем, слогом. Он не примыкал ни к группе почвенников, ни к группе западников, то есть не искал выгод, какие могла бы дать ему подобная принадлежность; и потому, что он не искал выгод для себя (но какие-то цели все же должны были преследоваться им!), он был непонятен и представлялся всем неудачником, не знавшим будто бы, чего он хочет. Его не воспринимали всерьез, тогда как он говорил истину, которую могли бы признать все. Истина эта заключалась в том, что он не рядился под народ, а высказывал то, что действительно было нужно народу. Но как раз это-то и кололо всем глаза, как однажды едко заметил один критик, фразу которого затем мало кто осмеливался произ-

нести вслух (вслух произносили только с иронией, чтобы опровергнуть ее).

— Нет, нет, я еще раз вам говорю: народ — это вам не ширма! — Кружок мужчин, откуда донеслись эти слова, расступился, и все увидели выходившего оттуда худощавого и бледного молодого человека в очках и галстуке, общим интеллигентным видом своим не только не напоминавшего ни о чем деревенском (что только одно в понятии многих и могло говорить о принадлежности к народу), но, напротив, даже можно было найти что-то щегольское в нем.

— Стоцветов. Это известный Стоцветов,— пояснил Наташе Тимонин.— Всегда умеет только оскандалиться.

Тимонин сказал как будто осуждающе о Стоцветове как о человеке неинтересном и не стоящем внимания, но вместе с тем тут же оставил Наташу одну и пошел узнать подробности.

— Я сейчас,— сказал он Наташе.— Это любопытно, и я все вам расскажу потом.

Наташа отодвинулась к стене, чтобы не быть на виду. Она могла воспринимать и воспринимала только то, что было внешней стороной клубной жизни, и совершенно далека была от той, другой, какою живет определенная часть приходящих в клубы людей. Тимонин знал об этой другой жизни и жил ею; и он пошел теперь узнать о событии, о котором затем можно будет говорить с друзьями, а Наташе оставалось только со спокойным видом ждать его. Она впервые за вечер, когда никто не прерывал ее, принялась осматриваться. Может быть, потому, что большинство было занято разбирательством ссоры, куда пошел Тимонин, и никто не интересовался Наташей и не замечал ее, ей сделалось скучно, и все, только что восторженно виденное ею, начало представляться поиному, как бывает, когда после цветного изображения снова черно-белый экран. Она хотя и смутно, но чувствовала, что жизнь эта, что была вокруг нее, была чужда ей; чужда не тем, что была незнакома ей и не совпадала с привычной с детства, какою жили отец и мать и какою живут тысячи и тысячи других людей; но жизнь эта не совпадала с той возвышенной и красивой, к какой Наташа прикоснулась на вечере у Лусо (и какая все еще продолжала возбуждать ее); она чувствовала, что вокруг нее было не то общество, в каком ей хотелось быть, и с затаенной боязнью открытия (какое делала), противясь

еще этому открытию и не желая принимать его, продолжала смотреть перед собой.

В это время поэты закончили читать и из зала в фойе начали выходить люди (те, которым интересно было все на поэтическом вечере). Наташа еще более прижалась к стене и принялась торопливо отыскивать глазами Тимонина. Но пока она с напряжением смотрела в ту сторону, где должен был быть он, с другой, куда она не смотрела, неожиданно послышался знакомый ей женский голос. К ней подходила Лия Дружникова, только что вышедшая из зала и увидевшая ее.

— Наташа, вы как здесь?! Вы тоже приходили на него? — И она назвала имя того поэта, о котором за минутными своими заботами Наташа успела позабыть.— Я сто лет вас не видела,— уже поздоровавшись, продолжала она. Она точно так же, как все знакомые и родственники Лусо, знала о Наташином несчастье, то есть об Арсении, только в том раскладе, как это преподносилось в доме дяди; но она была той единственной (из родственников), кто усомнился в правдивости такого изложения, когда во всем был виноват только Арсений. «Он, по-моему, милый и порядочный человек»,— возразила она тогда своему дяде-профессору. Но дальше этого возражения не сделала ничего и только со вздохом все вспоминала о Наташе, называя ее бедняжечкой, и все собиралась чем-то помочь ей; и потому она была искренне рада теперь, увидев ее.— Ты с кем пришла? Ты одна? — видя, что возле Наташи никого не было, и переходя с нею на «ты», спросила она. — Гриша мой над работой корпит, сроки поджали, а у него еще и половины нет. Оставила его дома, а сама...— И она опять назвала имя того поэта, послушать которого она специально приехала сюда.

— Нет, я не одна,— сказала Наташа, которой, с одной стороны, было приятно увидеть Лию (по той памяти, как приятно было с нею на вечере у ее дяди, профессора Лусо), но с другой — было неловко (все по той же памяти, что тогда, у Лусо, Наташа была с мужем, но что теперь с Тимониным). Наташа почувствовала себя как бы уличенной в том, в чем она не была виновата, и стеснительно и робко отвечала Лии.

— Но с кем? Разве?..— Лия хотела сказать: освободили Арсения? — но увидев подошедшего Тимонина, главное, как тот взял Наташу под руку и наклонился к ней, поняла, в чем было дело, и удивленно воскликну-

ла: — Успел уже! Ну проворный, проворный. — И она пальчиком нежно погрозила ему.

— Ты домой? — сейчас же по-родственному спросил Тимонин, желавший избавиться от нее.

— А ты? А вы? — поправилась она, обращаясь к нему.

— А мы еще побудем здесь.— И он, выдавая себя, посмотрел в сторону ресторана.

— Зачем же в ресторан? — поймав его взгляд, возразила Лия.— Поужинаем у меня, и Гриша будет доволен.

— Но у меня столик заказан.

— Он у тебя заказан каждый день, а я достала индийские слайды. Необыкновенные. Вы любите смотреть слайды? — спросила она у Наташи.— Это так прекрасно,— не дожидаясь ответа, начала она со свойственной ей привычкою заполнять собою все вокруг.— Неописуемое богатство и ужасающая нищета, нет, это прекрасно,— повторила она, в то время как непонятно было, к чему относились ее слова «это прекрасно»: к тому ли, что прекрасно посмотреть слайды об Индии, которые достала она, или прекрасен тот контраст между богатством и нищетой, о котором говорили эти слайды.— Так на слайды и на ужин ко мне? — И она посмотрела на Наташу.

— Оставь ты нас, — вместо Наташи ответил Тимонин.

— И не думай, нет, нет.— Лия снова и уже с намеком, что она понимает намерения своего троюродного брата, погрозила пальчиком ему.— Ты можешь оставаться, а Наташу я забираю.— И она с улыбкой, с какою на вечере у Лусо увела Наташу от мужа, пригласив танцевать ее, повела ее теперь от Тимонина к выходу, не давая оглянуться и продолжая говорить об индийских слайдах.

Наташа чувствовала, что ее как будто хотели спасти от чего-то, что было дурным, но что в сознании ее никак не могло связаться с этим словом; она знала, что у нее не было в мыслях ничего дурного, и она как за поддержкой перед самым уже выходом обернулась на Тимонина. Ей хотелось подтверждения того, о чем она думала, но то, что она увидела, заставило сейчас же покраснеть и отвернуться: возле Тимонина стояла знакомая Наташе молодая особа с чашечкой кофе и он, слушая ее, смеялся чему-то с ней.

XXX

Дружников, оставшийся дома, чтобы подтянуть свои «научные хвосты», как он называл работу, то есть тему, которую, будучи сотрудником научно-исследовательского института, разрабатывал уже не один год, как он десятки раз откладывал ее прежде, отложил и в этот вечер и с удовольствием вступил в разговор с возвратившимся в Москву и зашедшим к нему старым, со студенческих лет (как и Дементий Сухогрудов) другом — Станиславом Стоцветовым, старшим братом того самого Стоцветова, который, по выражению Тимонина, всегда умеет только «оскандалиться в обществе». Станислав был, как и Дементий, как и сам Дружников, геологом, но по той причине, что еще в школе начал увлекаться английским языком, а затем сумел хорошо выучить его (и, несомненно, по протекции, как думал Дружников, которому казалось, что все значительное может делаться только по протекции), был приглашен как специалист на работу за границу. Он побывал уже в нескольких странах Юго-Восточной Азии и прилетел теперь из Индии, где провел ряд важных исследований в своей области и выступил перед молодыми делийскими учеными.

Для Дружникова, который старался поддерживать связи со всеми, кто казался ему перспективным и мог занять положение (из той простой логики, что если не заводить новых и влиятельных знакомств, то круг той «своей Москвы», в котором он вращался, мог однажды стать узким и неуютным),— для Дружникова появление Станислава Стоцветова было тем хорошим знаком, что если не забывают друзья, то и сам он чего-то еще значит в жизни. Он был рад гостю и, усадив его в кресло в гостиной, с беспокойством посетовал на то, что Лии нет дома и что, будь она дома, она не менее была бы рада Станиславу.

— Ты не представляешь, московская жизнь — скучнейшая жизнь. Каждый день одно и то же и одни и те же лица, нет, ты не представляешь, с ума можно сойти,— подлаживаясь под настроение гостя и незаметно и тонко льстя ему, говорил Дружников, барски между тем отвалясь на спинку дивана, на котором сидел, и поглядывая то на Станислава, то на своего Поля — черного ньюфаундленда от знаменитой Аскри, лежавшего у ног на ковре. Собака, словно чувствуя ласковый

взгляд хозяина, старалась выказать всю свою породистость и, положив морду на вытянутые перед собой лапы, посматривала на гостя, как будто она была соучастницей разговора, и по-собачьи умным и вдумчивым взглядом спрашивала: так что вы можете возразить?

— Я думаю, ты преувеличиваешь,— лишь после того, как Дружников закончил говорить, возразил ему Станислав (с тем естественным чувством осторожности и такта, то есть в той привычной уже для себя манере, какую он усвоил и привез из-за рубежа).— Москва всегда притягивала и будет притягивать людей своей столичной жизнью.

— Ну разумеется,— сейчас же согласился Дружников.— Я хотел только, знаешь, как по большому счету.— И он, нагнувшись и погладив пса (и поправив на нем ошейник с медалью, полученной летом на выводке в Серебряном бору), перевел затем разговор на другое, что было ближе ему и должно было, как он думал, вызвать интерес и у Станислава.— Меня всегда поражает,— многозначительно начал он,— всезнайство людей, которые, едва сочинив одну-две статейки и чуть познав муки творчества, спешат затем со своими поучениями й отрицают или утверждают то, к чему сами, в общем-то, безразличны. Меня поражает,— подчеркнуто продолжил он, стараясь как можно больше вложить значения в то, что он говорил,— обилие этого нашего всезнайства. Мы все так умны, так умны... одергивать других,— на лице его скользнула скептическая улыбка,— что иногда, знаешь, становится страшно.

— Это общая болезнь. И у нас и где только нет этого всезнайства.

— Нет, я что хочу сказать,— вспомнив, что он вчера только слышал в институте, поспешно заговорил Дружников.— Создается иногда впечатление, что каждый человек в отдельности понимает все проблемы, видит пути решения их и готов сделать все, чтобы достичь цели, но как только все мы сходимся вместе, как только дело касается группы людей, продолжается та же глупость во всем. Создается впечатление,— повторил он,— как будто кто-то специально тормозит движение и не хочет, чтобы русский народ встал на ноги.

По тонкому лицу Стоцветова, в то время как он слушал эти слова, пробежала едва уловимая тень насмешки.

— Я могу еще понять моего брата,— заметил он.— Но я вижу, все вы тут заражены.

— От скуки. От скуки тут, брат, и зарычать можно,— наклоняясь к псу и относя эти слова как будто к нему (и таким образом опять выскальзывая из затруднительного положения, в какое сам невольно поставил себя), произнес Дружников.— Всякая человеческая жизнь есть серия ошибок. Ошибки совершаются, осознаются и потом совершаются новые.

— Что ж, это естественно. Тут нужна только честность перед собой. И перед временем, — добавил Стоцветов.

— Честность, честность... Честность есть состояние жизни, как, впрочем, и ложь есть тоже состояние жизни.— Дружников опять наклонился к псу.— Если и есть у кого бескорыстие, так у этого вот существа.— И он потрепал пса за шею.

— Ты уверен? — спросил Станислав.

— Ласковое, благодарное и беспомощное, в сущности, животное.

— Но всякое состояние беспомощности тоже есть сила, если этой беспомощностью давить и попрекать других.

— В переносе на людей?

— Почему же? Можно и на государства и на народы.

— Ты затрагиваешь, по-моему, очень болезненный вопрос, вопрос нахлебничества,— невольно (и верно, как он думал) выходя на ту колею, то есть опять незаметно и тонко льстя Стоцветову, заключил Григорий Дружников.— Я не очень силен в обсуждении международных проблем, но думаю, что именно в мировом масштабе и следует сегодня говорить о нахлебничестве. Вот ты поездил по странам, посмотрел — что ты скажешь по этому поводу?

— Я думаю, ошибочно было бы сводить отношения между государствами и народами только к нахлебничеству.

— Но все же?

— Доля истины есть, но все гораздо сложнее. Принято считать, например, что Индия сама себя прокормить не может, но мало кто знает, что по плодородию земли там таковы, что на них можно прокормить все человечество. Надо только окультурить эти земли и дать им воду. — И Стоцветов рассказал о проекте обводнения северной части Индии, какой, он слышал, или только еще

собирались, или уже начали разрабатывать наши специалисты.

— Так это грандиозно,— заметил Дружников, выслушав все.

— Да, но почему бы этим нашим специалистам,— он чуть приостановился, произнеся слово «нашим»,— не разработать какой-нибудь подобный проект для себя, для своих земель? — как если бы возражал не себе, а Дружникову, заключил Стоцветов.

— В самом деле, почему?

— А потому, видимо, что нас научили хорошо смотреть вдаль и не научили смотреть себе под ноги.

— Неисправим ты, Станислав. Завидую тебе.

— Все мы завидуем друг другу: я — твоей тишине и семейному уюту...— Стоцветов на минуту задумался при этих словах,— ты — моим бесконечным перелетам и поездкам, а кто-то еще — кому-то и чему-то. Все мы завидуем друг другу, и в этом тоже, наверное, заложен какой-то свой естественный смысл, как, впрочем, смысл должен быть во всем. А ты барствуешь, барствуешь,— сказал он затем Григорию, когда тот в очередной раз наклонился, чтобы поласкать пса. — Приобщаешься к барству, как все тут у вас, я заметил. Это что, поветрие? Новая мода? У меня, знаешь, даже такое впечатление, что вся Москва как-то странно приобщается к барству.

— Да просто получше стали жить люди, вот и все.

— Получше жить и барство — понятия неравнозначные. Барство порождает лень, а лень поражает общество.

— Ну, положим, наше общество нельзя упрекнуть в лени.

— Как сказать, как сказать. В лени, может быть, и нельзя, но и в прилежании особенно похвалить не за что. Ты знаешь, я не из породы скептиков, но я из породы реалистов. Что есть, то есть, а чего нет, извини, не могу признать.

— Неисправим, неисправим,— с улыбкой повторил Дружников, знавший за Стоцветовым это пристрастие — порассуждать о правде и подтасовке ее.

XXXI

Станислав Стоцветов, как и брат его, умевший только всегда «оскандалиться в обществе», был человеком странным. Странным в том отношении, что, говоря о

себе, что он не интересуется политикой и не любит ее и история и философия не его удел, в то же время при разговорах на эту тему обнаруживал иногда такую осведомленность, что даже специалистам, волка, как говорят, съевшим на общественных науках, трудно было возразить ему. Он много читал и много знал и благодаря своему природному уму с легкостью переходил от одного предмета разговора к другому, как пловец, которому все равно, как плыть — на спине ли, кролем ли, брассом ли — и какая толща воды под ним; важно только, чтобы плыть на виду и первым, и это-то и составляло всю болезненную сторону жизни Стоцветова. Он видел, что многие, стоявшие над ним, были глупее его; видел, что именно оттого, что были глупее (но были заслуженными!), задерживалось развитие научной мысли. Но их нельзя было обойти, через них нельзя было перешагнуть, и оставалось только либо мириться с тем, как все есть, и быть на виду, либо противостоять, чтобы никогда затем не выйти в заслуженные, и он более чем когда-либо прежде находился теперь именно в том положении, когда надо было ему сделать выбор между этими двумя либо: либо признать над собою глупость, либо активно противостоять ей. Он давно уже работал над темой о естественном восстановлении энергетических ресурсов Земли (за счет процессов, происходящих в ядре). Работа наконец была завершена им, он привез рукопись и не знал, как быть с ней, принять ли то высокое соавторство, которое могло бы дать ход делу и уже не раз предлагалось ему, или пойти напролом и, втянувшись в борьбу, потерять свое привычное (с выездами за рубеж) место. По справедливости — ему хотелось и втянуться в борьбу, в которой он знал, что он выиграет, и остаться на прежней должности; но он чувствовал, что его могли не пустить плыть на ту дистанцию, на какую он хотел и имел силы, и он ходил пока по друзьям, примериваясь к той (в научных кругах) московской жизни, от которой он отстал, пока был в Индии. С этой же целью — прощупать обстановку — он сидел теперь и у Дружникова, у которого, он с разочарованием видел, менее всего можно было узнать о том, что нужно. Но несмотря на это, что он не мог узнать от Дружникова что нужно, он не уходил от него. Разговор, вышедший на излюбленную для Стоцветова тему о правде и подтасовке, захватил его. Отстаивая теперь перед Дружниковым необхо-

димость правды и вредность подтасовки ее для общего хода жизни, он, в сущности, отстаивал для себя право, вступив в борьбу, остаться на прежней должности (что он считал делом по справедливости, то есть тем, что должно лежать всегда в основе жизни) и он высказывал все свое недовольство, давно и болезненно копившееся в нем.

Но он не ходил по комнате и не размахивал руками; он не проявлял того возбуждения, какое сейчас же выдало бы его, а во все время разговора продолжал сидеть в кресле, в которое усадил его Дружников, и лишь по выражению лица его и по тому особенному как будто блеску, какой время от времени возникал в его глазах, можно было понять, что скрывалось за этим его внешним спокойствием. Лишь один раз он встал и прошелся к окну будто за тем только, чтобы размять ноги, или, вернее, для того (как можно было подумать еще), чтобы показать костюм, безукоризненно сидевший на нем. Но Стоцветов тут же снова вернулся к креслу и сел в него, как будто стесняясь то ли этого своего английского костюма, купленного им в одном из дорогих универмагов Дели, то ли своей гибкой (в сравнении с Дружниковым) фигуры. Он был строен и худ, как было модно теперь, хотя чего стоило поддерживать эту моду, то есть отказывать себе во многих вкусных и сладких блюдах, знал только он; но он всегда производил впечатление, что небрежен к еде, что внешний вид вообще не интересует его, а худоба — это от бога, как он шутил, от того устройства организма, какое как наследство он получил от родителей. Но от родителей у него были только светлые, что было редкостью, волосы, серые с голубизною глаза и обычное мужское грубоватое лицо, выразительность которого происходила не от совершенства форм (было даже что-то несовершенное, слегка перекошенное в его лице), а от широты восприятия мира и от той душевной работы, которая, отражаясь на лице, делала его умным и привлекательным. Он знал, что сколько ни говорят все себе, что «принимают по одежке, а провожают по уму», и как ни высмеивают эту устаревшую будто традицию, принимают-таки все равно по одежке,— он придавал особое значение тому, как одевался. Он носил то тонкое, из хлопчатки белье, какое можно было купить лишь за границей, и те рубашки, галстуки и костюмы, которые тоже привозил оттуда. Обычно он носил два

перстня: золотой, с крупным, как печатка, темным камнем и серебряный со знаком зодиака (козерога — месяца, в котором он родился) работы кхмерских мастеров. Перстни, не удивлявшие никого за рубежом, привлекали внимание московских друзей, и потому у Дружникова Станислав был без перстней и чувствовал себя вполне вправе говорить о барстве.

— Нет, барство — это самое страшное, что может быть для человека и человечества,— снова, когда о правде и подтасовке ее было выговорено все, сказал он Дружникову. Уже от скуки он рассматривал обстановку и убранство дружниковской квартиры. — Постелил на пол ковер — и уже, понимаешь, нужна соответствующая обувь. Повесил картину — и надо уже звать такого друга, который бы понимал толк в ней. А на покупку той самой обуви и на поиски понимающего друга нужно время, которого в обрез, и либо ты проведешь его за письменным столом и сделаешь полезное дело, либо потратишь на весь этот антураж, который, в сущности, и есть барство.

— Как будто ты сам живешь иначе и не стремишься к этому, — заметил Дружников, слушавший как баловство эти рассуждения Стоцветова.

— В том-то и дело, что и я втягиваюсь. Стараюсь избавиться и снова втягиваюсь.

— Ну вот и дождались. Это Лия, это она,— услышав, как в прихожей щелкнул замок и отворилась дверь, сказал Дружников с каким-то будто оживлением, словно то, чего он дожидался весь вечер, должно будет свершиться теперь.— Ты с кем? Ты не одна? — по возне и шуму, доносившимся из прихожей, поняв, что Лия не одна, спросил он; и в то время как он, поднявшись и перешагивая через забеспокоившегося, как и хозяин, пса, направился встретить жену, на пороге комнаты появилась сперва Наташа, потом Лия, возбужденные ездой, разговором и вечером поэзии, на котором Наташе удалось послушать только одного, а Лии — всех поэтов, и она дорогой пересказывала Наташе подробности своих впечатлений и перипетий вечера.

Веселые, с сияющими лицами, они стояли еще у порога, когда Стоцветов подошел к ним, поцеловал руку Лии как хозяйке и повернулся к Наташе, чтобы сделать то же. Он никогда прежде не видел Наташу и, целуя ей руку, заметил только, что она была так проста, что

не подходила как будто к общему интерьеру дружниковской квартиры, к тем коврам, креслам, шкафам и картинам и к тем тяжелым (под серебро) люстре и бра с матовыми и горевшими теперь миньонами, которые как раз и создавали впечатление барства или, вернее, приобщения к барству четы Дружниковых. Стоцветову показалось (несмотря на золотые с рубинами сережки в ушах Наташи, несмотря на ее прическу, открывавшую именно эти ее маленькие и красивые с сережками уши, и несмотря на модную юбку из однотонного японского кримплена и на светлую шерстяную кофточку, надетую поверх аккуратно и модно облегавшей шею водолазки), что Наташа была как будто женщиной из другого круга, которую Лия из жалости к ней, а точнее из потребности покровительства, распространенного на Западе и начавшего уже проникать в московскую жизнь, взялась опекать и выводить в люди. «Одной дуре некуда деть время и деньги,— цинично решил Стоцветов, подумав о Лии, как он обычно думал о ней,— а другой хочется приобщиться к тому, к чему приобщиться нельзя, но с чем надо родиться». Оторвав губы от Наташиной руки, он снова посмотрел на нее и при этом втором взгляде, несмотря на всю простоватость круглого Наташиного лица, почувствовал (по неуловимым как будто еще черточкам), что что-то сильное и умное скрывалось за ее робостью и смущением.

Стоцветов привык к обществу людей хитростных. Он привык к тому, что за каждым произнесенным словом (в этом обществе) и каждым взглядом, кто на кого и как посмотрел, стояли определенные интересы, симпатии или антипатии вынужденных к совместной деятельности людей; он привык, что по этим взглядам всегда безошибочно можно было определить степень влиятельности тех или иных особ, с кем он собирался иметь дело. Он привык, что и в женском обществе все основано точно так же на взаимных репликах и взглядах. Но он столкнулся теперь с тем, что Наташа была бесхитростной и не только не владела (пока еще) всеми теми приемами в обществе, в которое хотела вступить, но и не знала, что таковые есть; он понял это еще и по выражению лица Лии, перехватившей его взгляд, и неприятно в душе поморщился, словно его приглашали посмотреть, как будут на равных вводить овечку в клетку со львицами. «Из этого выйдет только то, что из нее сделают еще

одну дуру»,— подумал он о Наташе, отводя от нее глаза, чтобы скрыть свои мысли, тогда как Лия начала уже с улыбкой представлять ему ее.

XXXII

Перебросившись теми незначительными фразами с мужем и Стоцветовым, как это соответствовало приличию, Лия затем увела Наташу с собой на кухню и принялась готовить кофе (и яичницу с колбасой, чтобы, как обещала, накормить ужином ее), а мужчины, оставшиеся в комнате, опять заговорили о своем.

— Да, как твоя работа с восстановлением энергетических ресурсов Земли? — спросил Дружников, найдя, что теперь самое время было спросить Стоцветова об этом.— Ты все еще против закачки воды в отработанные скважины?

— И в отработанные и в действующие. В какие угодно, — с иронической усмешкой подтвердил Станислав.— Мы заполняем водой пространство, которое через определенный промежуток времени, скажем лет через сто или около этого, само собой заполнится нефтью. Земля живет, под толщей коры беспрерывно происходят процессы, и надо не противостоять им, а дать возможность естественно развиваться,— сказал он. Все, только что занимавшее Стоцветова, теперь не интересовало его, Он уже не помнил ни о Наташе, ни о том, что подумал о ней, а весь сосредоточился на этом главном, что составляло суть его теоретических изысканий, то есть работы, которую он считал законченной и искал, как пристроить ее. Но он не стал рассказывать Дружникову всего, что было в этой работе (из определенных профессиональных соображений, хотя и доверял ему), а ограничился лишь тем, что сказал о возможных положительных последствиях, если открытие будет признано и будут приняты по нему соответствующие меры.— Из-за наших сиюминутных интересов мы, в общем-то, лишаем человечество будущего.

— Но эти наши сиюминутные, извини, как ты назвал их, интересы — это интересы государства, интересы народа.

— Будто я забочусь о комарах,— с той же иронической усмешкой заметил Стоцветов.— Согласись, что и я тоже думаю о народе.

В это время на кухне между женщинами шел свой разговор.

— Ты знаешь, кто он? — говорила Лия, имея в виду Стоцветова.— Это известный ученый. Ты заметила, как он одет? На нем все заграничное.—Она стояла возле плиты в фартуке и по-домашнему была близка и понятна теперь Наташе. С той же легкостью, как она только что вела машину, с той же непринужденностью и легкостью, как отплясывала негритянский (с вульгарными телодвижениями) танец на вечере у Лусо, Лия делала теперь то обычное женское дело — разбивала яйца о край плиты и выливала их на сковородку, на которой шипели уже в масле подрумяненные кружки колбасы,— которое в прежнем представлении Наташи было несовместимо с ее образом.

По кухне распространялось тепло и запах еды, и что-то как будто приятное и забытое воскрешалось в памяти Наташи. Ей снова (и впервые после той страшной ночи, когда Арсений ломиком ударил по голове сына) казалось, что мир людских отношений прост и что вовсе не нужно каких-либо особых усилий, чтобы уютно чувствовать себя в нем. Она как будто поняла, что на той ступени жизни (высшей, как она думала), на которую она поднялась благодаря Арсению и на которой ей так хотелось удержаться теперь, когда с мужем было еще неопределенно все,— что на этой ступени жизни так же все человечно и просто, как и на той, на которой она была всегда, живя с отцом и матерью. Она смотрела на Лию и словно открывала для себя образец жизни; и образец этот был близок ей, так как она видела, что и она могла быть такой, как Лия. «Вот что нужно для Арсения»,— думала Наташа, все более поддаваясь впечатлению, какое производила на нее Дружникова. После Тимонина, после особы с чашечкой кофе, вызвавшей ревность, после раскаяния и радости от раскаяния, что Наташа испытала в машине, пока ехала сюда (главное, после слов, сказанных себе, что никогда, никогда больше не позволит, чтобы чужие мужчины заглядывались на нее), она чувствовала себя так, будто и в самом деле все в душе ее очистилось, и она обновленным и ясным взглядом смотрела на Лию.

Ей нравилось, что все у Лии на кухне было подобрано в тон: и гарнитур, и кафель над газовой плитой и мойкой, и краска и обои на стенах, и занавески на окнах,

и абажур над лампой, и даже двери и косяки были выкрашены в тот же красный цвет, какой, как тень будто, лежал на всем, на что смотрела Наташа. Но более всего привлекало ее внимание окно, как оно было оформлено. Занавески на нем были необычного покроя (по фотоснимкам из какого-то иностранного журнала, как потом пояснила Лия). Они состояли как бы из двух линий — внутренней, что могла раздвигаться и задвигаться, и внешней, неподвижной, представлявшей как бы арку с бархатной красной бахромой. Все это было необычно и создавало определенный эффект, хотя шилось (как было вполне очевидно это) и крепилось над окном так же просто, как шились и крепились те обычные занавески, какие всегда висели в Наташином родительском доме и какие она готовилась повесить в своей новой квартире. Но она думала теперь, что не будет вешать те привычные, какие уже заказала в мастерской, а сделает э т и, сколько бы ни стоило ей. Она обращала внимание и на то, как был поставлен буфет, подвешены полки, у какой стены располагался стол и что было на нем. Ей неудобно было (в то время как Лия говорила о Стоцветове) расспрашивать у нее, где она шила занавески и где можно купить подобный с красным пластиковым покрытием дверок кухонный гарнитур; но все внимание Наташи было направлено на то, чтобы запомнить, как было у Лии, и с таким же вкусом затем (и к удивлению Арсения) расставить все у себя. «Надо посмотреть еще, как в гостиной», — думала она, с волнением открывая для себя ту незнакомую ей прежде прелесть заниматься домашними делами.

— Да, я тебе не сказала главного,— проговорила Лия, когда яичница с колбасой была готова и оставалось только разложить ее по тарелкам.— Он дважды был женат, и обе жены его умерли от родов,— то, что более всего интересовало женщин в Стоцветове, что интересовало всегда Лию и должно было заинтересовать Наташу, сказала она, невольно в каком-то таинственном будто свете представляя теперь Станислава.— Роковое что-то,— добавила она.— Но интересный мужчина, не правда ли?

Наташа, невнимательно до этого слушавшая ее и уловившая теперь только, что «дважды женат» и что «обе жены умерли от родов», с удивлением посмотрела на Лию.

— Как от родов? — спросила она.

— Как... Я не умирала, не знаю, но так говорят,— просто будто сказала она, но все с тем же загадочным выражением, по которому, однако, можно было понять, что она намекала на что-то.— Ну, идем? — берясь за передвижной столик, на котором стояло все, спросила она. И, уже не оборачиваясь на Наташу, покатила его в гостиную.

Оттого ли, что она только что была на людях, то есть в Доме журналистов; от нежности ли к Наташе, которую спасла, как она думала, от Тимонина; от присутствия ли Стоцветова, которого всегда рада была видеть у себя, или просто оттого, что ей в этот вечер было так же хорошо, как ей хорошо было всегда,— Лия была в настроении и, выпив с мужчинами (и Наташей) вина, с аппетитом ела яичницу из старинной фарфоровой тарелки. Когда она смотрела на Наташу, смущавшуюся и поминутно красневшую отчего-то, и на Стоцветова, который тоже, казалось ей, был неестественно неловок в этот вечер, у нее явилось веселое желание соединить их. Она не знала, отчего ей пришло это желание. Уведя Наташу от Тимонина (с сознанием того, что сделала доброе дело), она решила подтолкнуть ее теперь к Стоцветову (с тем же будто чувством, что и это было тоже хорошо и нужно для чего-то). Она посадила их за столом так, что они постоянно должны были смотреть друг на друга, и в то время как Стоцветов смотрел на Наташу, первое впечатление простоватости, какое она произвела на него, заменялось в нем иным чувством, заставлявшим по-другому воспринимать ее. Простоватость ее казалась ему уже не простоватостью, а чем-то тем, из чего обычно складывается естественная красота предмета (как отшлифованный кусок гранита проигрывает иногда перед природной формой его). Стоцветова привлекала в Наташе именно эта неотшлифованность (то есть, в сущности, то, что бессознательно привлекало в ней и Арсения); ему казалось, что он как будто столкнулся с той целостностью (восприятия мира), какая давно уже растрачена в других (как в Лии и подобных ей), и он присматривался к Наташе, стараясь понять ее.

— Ох, Станислав, Станислав,— говорила Лия, замечая эти взгляды его.— Когда же ты снова женишься, а? — И она всякий раз при этом вскидывала глаза на Наташу.— Говорят, индианки необыкновенны, но уж

больно тонки. — Что тоже говорилось ею не без намека.

— При чем тут худоба, что за подход к делу! — разводя над тарелкою руки, шутливо вмешивался Григорий.— Сари через плечо, половина груди открыта...— Он был хорош тем, что, как всегда, не понимал жены, к чему та вела разговор, и чувствовал лишь по общему настроению, что можно сказать вольность, то есть глупость, которая должна рассмешить всех. Но глупость его не рассмешила никого.— А разрешат ли вообще жениться на индианке или нет? — уже серьезно спросил он, по улыбавшемуся лицу Стоцветова видя, что это если и не занимало, то, во всяком случае, могло занимать его.

— Ты что, собираешься бросить свою благоверную? — вопросом на вопрос ответил Стоцветов, делая вид, что не понимает ни Григория, ни Лию, а лишь поддерживает тот шутливый тон, какой предложили они. И он видел, как признательна была ему Наташа за то, что он щадил ее.— Хотите, я расскажу вам об Индии,— сказал он Наташе.

— Господи, у меня же слайды! — воскликнула Лия, вспомнив, для чего она пригласила Наташу (и забывая на время о той игре, которая, она чувствовала, не вполне удавалась ей).— Какое совпадение, господи, давайте смотреть слайды. Станислав, ты будешь комментировать. Гриша, отодвигай стол, неси экран,— сейчас же встав, начала распоряжаться она.

XXXIII

Показывать слайды гостям было новым, едва начавшим захватывать некоторые слои московской интеллигенции увлечением. На слайды приглашали друзей, показом слайдов заканчивались самые различные домашние застолья, и вечер считался неудавшимся, если на нем не потчевали гостей этим новшеством. Иногда это бывало интересно, иногда скучно, но всегда все досиживали до конца: во-первых, из уважения к хозяину или хозяйке и, во-вторых, из того простого соображения, что неприлично считалось противопоставить свое мнение общественному и не похвалить новшество. Григорий, как только Лия объявила о своем намерении, хотя он был хозяином, должным как будто потчевать гостей, неприятно поморщился, потому что в четвертый раз пред-

стояло ему теперь смотреть эти индийские слайды. Он с неохотою отодвигал стол. Так же с неохотою разворачивал экран на подставке и разговаривал при этом с Полем, высказывая ему недовольство, какого не смог высказать жене.

— А не пора ли нам на прогулку? — ласково говорил он псу. — Ну не виляй хвостом, не виляй, знаю, что ты понимаешь все.

— Может быть, я пойду, уже поздно, — робко попросила Наташа, выбрав минуту, когда было удобно сделать это.

— Но это же слайды! Индийские слайды! — изумилась Лия.

Все расселись в креслах перед экраном, свет был погашен, и Лия, оставшаяся за спинами сидевших, начала показывать то, что было, в сущности, никому не нужно, было всем в тягость, но чем она все же хотела угостить друзей, чтобы не обездолить их.

Первым на экране появилось изображение знаменитой на Востоке гробницы Тадж-Махал. Изображение было цветным и поражало своим великолепием. Станислав, которому было поручено комментировать и который сидел чуть сбоку и позади Наташи и хорошо видел при отраженном от экрана свете красивый овал ее головы и лица, с иронией, как ему удавалось все в этот вечер, особенно после появления женщин, рассказал, что он знал об этой жемчужине мусульманского зодчества (как он назвал гробницу). Но подробности его были не о том, как строилась гробница потомком знаменитого Бабура для своей любимой (из гарема) жены; подробности были о другом — как этот потомок знаменитого Бабура, свергнутый одним из семи своих сыновей, был заточен в покои той самой своей бывшей любимой жены и в просвет, прорубленный в стене, до конца дней видел только эту гробницу.

— Какая жестокость, — сказала Лия, при всех прежних просмотрах любовавшаяся только видом Тадж-Махала. «Надо будет пересказать ее», — подумала она о подруге, у которой брала слайды.

— Главное, по-моему, не в жестокости. Главное в любви, — возразил Стоцветов. — Любовь, как мы считаем, нематериальна, а вот пожалуйста, материальна. Застывшее великолепие. Возможно ли что-либо подобное в наше время?

— Нет, — сказал Григорий, которому тоже хотелось вступить в разговор.

— Так уж сразу и нет.

— Дело не в том, сразу или не сразу, но любви такой сейчас просто быть не может.

— А не смешиваем ли мы возможность любить с возможностью вот так монументально (и субъективно, что очень важно) запечатлеть нашу любовь?

— Но если не можем запечатлеть, то и чувства нет. Наследник Бабура — ему делать нечего было, и он малейшее душевное движение возводил до высот, а мы, современники прогресса, можем ли мы при нашей неимоверной загруженности прислушиваться к своим чувствам, тем более возносить их до каких-то высот? Нам некогда оглянуться.

— Кому некогда, а кому и некуда деть себя.

— А материально?

— И тогда не всем было доступно это. — Стоцветов кивнул на все еще не убиравшееся с экрана изображение гробницы. — Но возвести храм для любимой — долг каждого мужчины. Да, да, — подтвердил он, невольно опять обращая внимание на красивый овал Наташиной головы, хорошо видный ему.

После Тадж-Махала показывались улицы Агры — городка, расположенного возле гробницы и возле Красного форта, построенного в свое время правителями края и разграбленного затем англичанами. Улицы эти отражали тот самый контраст между нищетой и богатством, о котором Лия, не придав значения словам, сказала Наташе, что «это прекрасно». Прекрасного же ничего не было, а были только полувысохшие рикши-велосипедисты и были торговые ряды с лавками и толкавшимся возле них озабоченным людом, и Лия поспешно перешла к тому, чем ей хотелось удивить всех и что она (как и подруга, у которой впервые смотрела эти слайды) оставила на завершение. Это были скульптурки голых мужчин и женщин, украшавшие фасад и стены какого-то древнего храма. Они были в тех неприличных позах, что нельзя было без определенного чувства стыда смотреть на них, хотя они и имели очевидный культовый смысл. Смысла этого, разумеется, никто не знал, в чем он на самом деле заключался, но попытки объяснить его, сделанные было Лией и затем Стоцветовым, привели только к тому, что всем стало еще более нелов-

ко смотреть на эти совокупившиеся в неестественных позах фигурки. У Лии не хватало слов, чтобы то, что имело свое (и неприличное) название, передать в понятиях, которые пристойно было бы произнести вслух; точно так же и Стоцветову (при всем его умении вести любой разговор) не хватало этих же слов, которые он мог бы сказать при Наташе. Он только заметил в шутку как бы, что, по его наблюдениям, то есть по произведениям литературы и искусства, на которые он сослался, и по программам телевизионных передач, распространенных на Западе, человечество будто задалось целью вернуться к этому культу; и он еще со скептической улыбкой, не видной никому в темноте, мысленно проговорил для себя, что болезнь эта незаметно проникает и в наше общество таким вот безобидным будто просмотром слайдов.

— Но что любопытно, — снова начал он, — там, у храма, это никого не удивляет.

— Давайте разденемся и будем ходить голыми — и через день, два, три у нас тоже никого и ничего не будет удивлять, — восторженно вставил Дружников, что он хотел подать как шутку, но что, к изумлению его, было принято Стоцветовым всерьез и оценено им.

— Так оно, в общем-то, и будет, ты прав. Но будет ли это эстетично? Мне кажется, что и те древние, кто создавал этот культ, и наши нынешние, кто усиленно стремится воскресить его под видом искусства, за какую бы раскованность ни выдавалось это, преследовали и преследуют одну цель: чтобы народы, как в теплой луже, барахтались в блудодействе и не видели за этим своим блудодейством, как в чьих-то руках скапливаются богатство и власть. Мы изучаем подобные культы не с той стороны, с какой надо бы изучать их, — заключил он. — Одно дело — красота человеческого тела и совсем другое — эти изображения. Ну, я думаю, достаточно,—сказал он, обернувшись к Лии (не потому, что кадры начали повторяться, как это показалось ему); он видел, что разговор был доведен до той точки, когда надо было прекращать его.

— Еще минуту, тут всего несколько штук,— попросила Лия, которой как хозяйке хотелось непременно довести все до конца.

— Нет, нет, всему есть мера, — ответил Стоцветов, относя свои слова и к просьбе Лии, и к возможности ис-

кусства, насколько дозволено в нем обращаться к изображениям подобного рода, и к просмотру слайдов вообще, и, наконец, ко всему этому вечеру, проведенному им у Дружниковых без всякой, как он думал, пользы для себя (и для дела). — Посидели, поговорили — пора и честь знать. — И он, когда был включен свет, посмотрел на Наташу, тоже заторопившуюся уходить. — Вы где живете? — спросил он у нее.

Минуту назад он не думал, что пойдет провожать ее, но теперь чувствовал, что нельзя было не сделать этого.

— Господи, Станислав, как хорошо, если ты сделаешь это. Она одна, проводи, — сейчас же подхватила Лия, с новым для нее интересом (после просмотра слайдов) включаясь в не законченную ею игру соединить их. — Он прекрасный человек, — шепнула она Наташе, прощаясь с ней. — Как я рада, что повидала тебя. Как я рада, — повторила она с тем вторым смыслом, какой хотела внушить Наташе. И, словно благословляя ее на что-то, прижалась своей щекой к раскрасневшейся и горевший щеке Наташи.

XXXIV

— Ты поведешь Поля? Или ты уже прогуливал его? — как только закрыла за гостями дверь и вернулась в комнату, спросила Лия у мужа (тем будничным тоном, как она всегда спрашивала его об этом). — Ну вот и день прожит, — затем сказала она, опускаясь в кресло, словно все для нее заключалось только в том, чтобы прожить день, то есть наполнить его тем содержанием, которое было бы и в удовольствие и не в тягость, было бы той видимостью полезного дела (но не самим делом!), когда трудно бывает упрекнуть себя в чем-либо.

Кроме работы основной, где она, как научный сотрудник, появлялась в середине дня, она успевала обежать десятки мест и услышать (и передать затем) десятки сплетен — кто, что и про кого сказал и что должно было последовать в результате этого; она не могла не быть в курсе тех дел (в кругу «своей Москвы»), от которых хотя и косвенно, но зависело и ее благополучие, и с чувством, что жизнь ее наполнена деятельностью, думала сейчас, улыбаясь, о Наташе, будто в чем-то хорошем, в чем давно уже собиралась помочь ей (после несчастья с ее мужем), помогла теперь.

— По-моему, Станислав влюбился в нее, ты слышишь? — в то время как Григорий уже надевал ошейник на пса, чтобы вести гулять его, сказала ему Лия. — Как же мало надо вам, мужчинам.

— Во-первых, ты, как всегда, преувеличиваешь, а во-вторых, не так уж и мало надо нам. — Ошейник был уже надет, и Дружников привычно и весело (и уже в который раз за этот вечер) потрепал пса за шею. — Не так-то уж и мало, а? — повторил он. — Ну, я пошел, — сказал он, отключаясь от домашнего мира, в котором он был, и настраиваясь на другой, уличный, где, он знал, ожидали его в этот час друзья-собачники, как он шутливо называл их, для которых не было ничего приятнее, чем видеть своих сведенных вместе резвящихся псов.

В кедах, в спортивной одежде, в какой Григорий не позволил бы себе появиться ни в институте, ни где-либо еще на людях, он вышел из подъезда дома и вместе с Полем, натягивавшим поводок, направился в сквер, издали замечая (в сумрачном освещении) знакомые фигуры инженеров и кандидатов наук, уже спустивших с поводков своих ньюфаундлендов и колли, и радуясь и спеша к ним. Для него это было лучшим завершением дня. Ни тяготившей научной работы, ни Стоцветова с его умными рассуждениями, под которые надо было подстраиваться, ни Лии, от беспрерывной суетной деятельности которой Григорий тоже, казалось ему, уставал, — ничего этого не существовало теперь уже, а были только друзья, которым ничего не нужно было от него, кроме разве одного — чтобы он посмотрел на их псов, полюбовался медалями на их ошейниках и похвалил удивительную выхоженность их ног, и от которых точно так же ничего не нужно было Григорию, кроме того, что он мог пустить своего любимца Поля в стаю, где сейчас же видна была особенная породистость его. «От знаменитой Аскри. От Аскри Скринского»,— говорил он сам и слышал, как говорили это другие: и жизнь казалась ему прекрасной и наполненной смыслом.

Лии, продолжавшей отдыхать в кресле, оставалось лишь принять душ и лечь в постель, посидев предварительно перед туалетным столиком с кремами и мазями, и в то время как она, устало поднявшись, принялась за этот свой привычный вечерний туалет, в сознании ее происходило точно то же, что и в сознании мужа: ни На-

таша, ни Стоцветов, ни вечер поэзии в Доме журналистов, из-за которого она так суетилась, чтобы попасть, ни разные другие события, занимавшие в течение дня и казавшиеся важными, уже не волновали ее, потому что не затрагивали тех главных интересов ее жизни — работы и отношений с мужем, — к которым, чтобы держалось все на уровне, она не то чтобы не прикладывала усилий, но просто ей не нужно было прикладывать их; жизнь ее была запущена и текла в тех определенных рамках, в каких, она знала, ничего не могло случиться с ней; она знала, что (по обстоятельствам связей) Григорий не мог изменить отношения к ней и что (по этим обстоятельствам связей) у нее всегда будут работа, деньги и время, чтобы на свои удовольствия тратить его. Она спокойно смотрела на будущее и счастлива была не тем, что любила мужа и была любима им; она, в сущности, не знала любви и счастлива и довольна была сознанием того, что жизнь ее стабильна и что есть силы, которые не допустят, чтобы нарушилась эта стабильность. Она встала под душ, чтобы смыть с себя пену шампуня; волосы ее были убраны под прозрачный целлофановый берет, и теплая вода, стекавшая по этому берету на лицо, плечи и спину, вызывала то приятное ощущение жизни, когда ей хотелось сделать что-то особенно доброе, от чего было бы хорошо всем. Тело ее требовало материнства, и в минуту расслабленности (как теперь) она готова была согласиться на ребенка; но когда в спальной рубашке и халате принималась накладывать кремы на лицо перед зеркалом, уже не испытывала этого желания и вновь как бы становилась той современной (в понятии многих) женщиной, у которой голое тельце ребенка и пеленки с пятнами вызывают лишь отвращение, а не желание приложить руки. «Глупенькая-глупенькая, а хватило ума не забеременеть от Арсения, — в связи с только что пережитым самою Лией желанием иметь ребенка и новой решимостью не иметь его подумала она о Наташе. — С ее личиком, господи, с ее-то личиком...» И она улыбнулась, вспомнив взгляды Стоцветова, какие тот бросал на Наташу.

Но в то время как Лия заканчивала этот свой туалет (и день и вечер, в котором все было для нее лишь игрой, приносившей удовлетворение, а не трудом, после которого совсем иные мысли приходили бы в голову), в то время как Григорий, стоявший в окру-

жении друзей-собачников, еще менее, чем жена, думал о прожитом дне (и вообще о жизни, какою он жил и считал настоящей, но какая была, в сущности, лишь праздным препровождением времени), Наташа, вышедшая со Стоцветовым на улицу и оказавшаяся с ним одна на безлюдном в этот час тротуаре, с ужасом поняла, как она была беззащитна, и уже не смущение, а страх перед этой своей беззащитностью охватил ее. Она молча и торопливо пошла впереди Стоцветова, каждое мгновенье слыша его за собой и готовая сейчас же отстраниться, как только он протянет к ней руку. Она мысленно старалась вернуть себя к тому состоянию любви к Арсению, с которым она помнила, как легко и уверенно было ей; но она с изумлением чувствовала, что не было в ней этого прежнего состояния любви к мужу. Вместо этого состояния любви к нему (чем она жила прежде и что представлялось ей вечным) она испытывала иное, новое и удивлявшее ее чувство. Она не то чтобы еще раз у Дружниковых поняла, что она привлекательна (она знала об этом и раньше), но она увидела (по взглядам Стоцветова, обращенным на нее, и его вниманию к ней), что в жизни было столько возможностей устроить себя и что она так поторопилась с Арсением, что ей жаль было, что она несвободна. То, что еще утром ей показалось бы странным, не только не было странным теперь, но, напротив, было так просто, так просто (не только подумать, но и сделать), что странным представлялось уже другое — как можно было осудить или что-то дурное увидеть в этом. «Почему я не могу распорядиться своей жизнью? Если мне хорошо, значит, это хорошо вообще»,—с ясностью, как она никогда не думала прежде, сказала она себе, все еще, однако, настороженно прислушиваясь к шагам Стоцветова и по-прежнему готовая решительно отстраниться от него, как только он протянет к ней руку.

XXXV

Сергей Иванович со всем своим теперешним одиночеством приходил к мысли, что он как будто был обманут жизнью. Он шел будто бы к свету — и через войну и через все другие трудности, — но то, к чему пришел, потеряв жену и потеряв, в сущности, дочь, было тем страшным разочарованием, как если бы вместо ожида-

емой двери он снова наткнулся на мрачную бетонную стену. «Где, когда я ступил не на ту дорогу, по которой надо было идти?» — задавал он себе вопрос (словно, найдя и исправив ошибку, можно было исправить все в жизни). Но исправить, он понимал, было уже ничего нельзя. Нельзя было воскресить мать или воскресить Юлию, покоившуюся на мокшинском кладбище, куда он перед отъездом в Москву заходил, чтобы постоять у ее могилы; нельзя было вернуть дочь, а главное, вернуть ту домашнюю атмосферу тепла, уюта и душевного спокойствия, которую, когда все это было у него, он не замечал и от которой осталось теперь лишь воспоминание. Перед ним опять возникал образ разбитой вазы, и он оглядывался на рассыпанные вокруг него хрусталики того, что составляло его жизнь. Он видел, что у дочери были свои интересы в жизни, которых он не понимал, и что точно так же свои интересы были и у Кирилла Старцева и у Никитичны, теперь почти постоянно жившей у него, и ему не то чтобы трудно было разговаривать с ними — с дочерью, с Кириллом или Никитичной, у которой всегда были на языке только две темы: о доброте, утраченной людьми, и очередях, в которых, чтобы достать что-либо приличное, приходилось простаивать ей, — но просто он чувствовал, что то, что занимало его, было неинтересно и не нужно им, а то, что занимало их, неинтересно и не нужно ему. Но надо было продолжать жить, надо было что-то делать, и эта естественная потребность деятельности (особенно после того, как отпала нужда бывать у следователя и встречаться с Кошелевым) вновь заставила Сергея Ивановича приняться за мемуары.

Однажды утром, как это и бывает с людьми, решившимися на что-то, он, поднявшись и позавтракав, сказал себе: «Все, надо приниматься за дело»,— и направился к письменному столу, на котором как было все оставлено в начале июня, когда он уезжал к шурину в деревню, так и лежало нетронутым. Лишь Никитична, когда вытирала пыль, передвигала рукопись и папки с архивными выписками и разными другими бумагами, которыми Сергей Иванович пользовался во время работы. Первое, на что он обратил внимание, была пожелтевшая газета с опубликованной в ней его статьей «Последний водный рубеж». Это была глава из его будущей книги, в которой он рассказывал, как его батальон, полу-

чивший задание выйти к рейхстагу, под непрерывным огнем противника преодолевал последний водный рубеж — обводной берлинский канал (Тельтов-канал, как он значился на карте). Бегло глянув на эту опубликованную уже статью, он с удивлением прочитал в списке погибших фамилию лейтенанта Дорогомилина. «Да, но когда я писал, я не знал, что он жив»,— сказал он, подумав о Дорогомилине с тем чувством неловкости, как он всегда теперь думал о нем. Он вспомнил, как был в гостях у Дорогомилина в Пензе, с каким настроением ехал к нему и с каким уезжал от него; вспомнил вишневую, с зеркалами, хрустальными люстрами и бра гостиную, в которой сидели, стояли и прохаживались какие-то странные люди, странные тем, что говорили о катастрофах, грозящих будто бы человечеству и должных произойти то ли от социальных бурь и перманентных революций, то ли от чрезмерного развития науки (что утверждал аспирант Никитин); люди эти были той творческой интеллигенцией, теми тонкими художественными натурами, как сказала о них жена Дорогомилина Ольга, которым нужно общение и нужен определенный простор, то есть площадка, где они могли бы проводить свои умственные тренировки. «Очевидно, так рождаются шедевры искусства», — со скептической усмешкой заметил тогда Дорогомилин, чтобы оправдать то, что происходило в его доме. И эта скептическая усмешка, которую Сергей Иванович так ясно представил себе сейчас, лишь усилила в нем общее чувство неловкости за бывшего смелого и боевого лейтенанта. «Видимо, и в самом деле произошла какая-то перестановка в мире (в сознании людей) с тех пор, как закончилась война», — мысленно произнес он, невольно соединяя в одно целое то, что он думал теперь и о Кирилле Старцеве и о дочери, не находя в их интересах созвучия своим чувствам и мыслям.

Он внимательно прочитал статью и затем все, что было написано им (и не было опубликовано), и, подперев ладонью висок, молча сидел, уставившись в ту одну перед собой точку (на стене), когда вместо этой стены, дивана и шкафа он видел роившиеся в его сознании картины прошлого и настоящего, в которых он хотел разобраться. Он не был удовлетворен тем, что прочитал. В рукописи его, он чувствовал, отсутствовало то главное, что он теперь собирался сказать людям (в том для себя

значении, что он как будто отвечал Дорогомилину и Кириллу). Он чувствовал, что изменилась сама цель, для чего нужно было ему писать мемуары. «Никто не забыт и ничто не забыто... Нет, не эта констатация фактов требуется теперь,— думал он, не умея еще вполне словесно оформить то, что он считал главным. — Мы прибавляем только количество имен и подвигов, нагромождая их и заслоняя ими те, что уже известны, но для чего это количество? Нужно не это. Порвана духовная связь между тем и этим временем, и надо найти обрыв и соединить его, да, как связист, по-пластунски, под огнем, но найти, зачистить и соединить»,— думал он, сводя пока что лишь брови над переносицей и продолжая смотреть все в ту же одну перед собой точку. Он как бы прозревал после долгой слепоты, прозревал тем внутренним прозрением, когда прежде скрытая от него суть жизненных явлений как за распахнутой дверью представала перед ним в четком и оголенном виде.

Он вставал, принимался ходить по комнате, садился за стол и снова вставал, удивляя Никитичну, но не этой своей деятельностью, которая не была видна ей, а состоянием задумчивости и желанием чего-то, чего она не понимала, но в чем усматривала какой-то странный и настораживавший ее вывих, как про себя говорила она, какое-то будто отклонение от обычного (в ее представлении) человеческого поведения. «Приловчился бы к какому-нибудь делу, — думала она, — и все бы зажило, забылось, как у всех людей». Она вспоминала приезд Павла, понравившегося ей своими простыми деревенскими суждениями, и хотя не смела сказать Сергею Ивановичу, но думала, что если и надо было ему брать с кого пример, так с шурина, для которого жизнь (опять же по ее разумению) состояла не в поисках каких-то несуществующих истин, а в том, что все, что есть вокруг, разумно и неизбежно и что надо только уметь приспособиться, то есть уметь найти выгоду для себя; и она по-своему умными старческими глазами смотрела от кухонной двери, в которой стояла, на сосредоточенное прохаживание Сергея Ивановича. Для нее, постоянно почти видевшей его, не были так заметны перемены, происшедшие за эти летние месяцы с ним. Из крепкого и здорового еще пожилого мужчины, каким он выглядел весной, он превратился, по существу, в старика — так сгорбился, осунулся и похудел от придавившего его горя. Кирилл, при-

ходивший (хотя и редко) навестить, не узнавал Сергея Ивановича. Костюмы, прежде красиво и плотно сидевшие на нем, теперь, как на вешалке, свисали с угловатых костистых плеч, и впечатление это усиливалось еще тем, что левый рукав его был пуст. Протез, который он заказал, был настолько противен своими розовыми (под кожу) и неживыми пальцами, что он не надевал его. Но сам Сергей Иванович почти не замечал этой происшедшей с ним перемены, потому что не хватало сил, чтобы осознать все, тем более не было времени подумать об этом теперь, когда он взялся за мемуары и когда, как второе дыхание у спортсмена, открылось ему понимание мира и того назначения (в этом мире), какое, он чувствовал, отведено ему.

Воротнички рубашек были велики ему. Но когда он выбритый и причесанный (он уже не позволял себе того прежнего так называемого отдохновения, когда до полудня мог ходить в пижаме и небритым) садился за письменный стол — от напряжения ли мыслей, от желания ли убедительно изложить, что он считал теперь главным сказать людям, он чувствовал, будто что-то сдавливало его, он расстегивал пуговицу на воротнике, расслаблял галстук и то и дело незаметно для себя пальцами производил движение, словно ему было жарко и не хватало воздуха.

Но дело, и нужное и важное, которое теперь так занимало его, продвигалось трудно, он исписывал вороха бумаг и рвал и выбрасывал их затем. Он видел, что у него, по существу, получалось именно то — количественное накопление фактов, — против чего все решительно восставало в нем. Он чувствовал, что ему не хватало чего-то, как человеку, взбирающемуся на вершину, не хватает иногда последнего уступа, на который можно было бы опереться; он не находил (в окружавшей его жизни) того, что предметно сконцентрировало бы его мысли о войне и тех исторических усилиях, какие приложил народ и он сам как частица народа, чтобы победить врага.

XXXVI

— Ты знаешь, что поражает меня, — сказал он както зашедшему к нему посидеть Кириллу. — Мы забываем о войне. Мы забываем, что победили в ней и что по-

беда наша есть величайшая патриотическая страница отечественной истории.

— Почему ты полагаешь, что забываем? — удивленно спросил Кирилл, для которого, как и для большинства людей, уже то, что фраза «никто не забыт и ничто не забыто» повторялась всеми, было залогом того, что и в самом деле никто не забыт и ничто не забыто. Занятый с утра и до ночи то служебными делами (по отделу народного образования, которым он руководил), то общественными, которые он выполнял с еще большей охотой, потому что выполнять их было и престижно и, главное, не надо было отвечать ни за что, он не то чтобы не хотел вникать в те глубинные процессы, какие происходили вокруг него (и в которые, впрочем, втягивался и он, только, может быть, не с той стороны), но у него не хватало времени остановиться и осмыслить их. — Нет, Сергей, ты просто сейчас болезненно воспринимаешь все, — сказал он с тем простодушием (но скорее с бездумностью), как он позволял себе говорить теперь со всеми, кто стоял ниже его.

— Ты не понял меня, — возразил Сергей Иванович. — Разумеется, мы с тобой не забыли.

— Да и в каждой семье кто-то не вернулся, кого-то все еще ждут, а ты говоришь — забыли.

— Нет, — снова возразил Сергей Иванович. — Ты не понял меня. Память, заключенная в нас, в каждом отдельном человеке, — это одно, но монумент, в котором запечатлена была бы память народа, — это другое. Есть ли памятник Победы в Москве? Нет у нас такого памятника.

— Лучший памятник, я полагаю, это наша налаженная жизнь, — заметил Кирилл, произнеся опять то, что было правильно, было тем, против чего трудно возразить, но что не могло удовлетворить Сергея Ивановича. — Мы отдавали жизни, чтобы хорошо жить. Отлично жить, — добавил Кирилл. Он был доволен этим ответом, на который не надо было тратить усилий, чтобы придумать его. Подобный ответ, как и множество других (по стереотипу), повторяемых разными людьми и ежедневно, был всегда к его услугам.

Он, как всегда, был весел, полон жизни и, как человек сытый, не разумеющий голодного, не понимал Сергея Ивановича с его беспокойством о делах, о которых, как думал Кирилл, было кому у нас (то есть соответст-

вующим ведомствам) позаботиться; он не понимал и удивлялся, глядя на своего бывшего фронтового командира, для чего тому, не разобравшемуся еще в своих личных делах, было вмешиваться в общественные, в которых он не был компетентен, чтобы судить о них. «Устроить бы его где-нибудь на предприятии»,—то, о чем Кирилл думал всегда, мысленно повторил он, посмотрев на пустой рукав Сергея Ивановича. Он всякий раз, когда видел Сергея Ивановича, испытывал это благое намерение; но всякий раз, когда надо было приложить старание, чтобы довести дело, все заканчивалось (как и в тот день в Доме дружбы, где встретил знакомого из Комитета ветеранов войны) только разговором, не обязывающим никого и ни к чему. «Нет, я должен-таки устроить его», — решительно заключил он. И от этого нового прилива возбуждения (прилива благородных чувств, возвышавших его перед самим собой) он не то чтобы не мог спокойно сидеть в кресле перед Сергеем Ивановичем, но не мог не выразить этого своего чувства тем внешним порывом — быстрым и нервным прохаживанием по комнате, — каким он бессловесно как бы хотел сказать Сергею Ивановичу, как переживает за него.

— Брось ты эту свою писанину, я знаю, ничего дельного из нее не получится и не может получиться,— резко остановившись перед Сергеем Ивановичем, сказал он. Модная в полоску рубашка на нем, модный, лопатой закрывавший грудь галстук, коричневый костюм в полоску и остроносые туфли того же оттенка (на что нельзя было, как и на галстук, не обратить внимания) — все это, казавшееся Кириллу соответствовавшим его теперешнему положению, и служебному и общественному, для Сергея Ивановича было лишь подтверждением того, что замеченный им разрыв между поколениями был и что люди, подобные Кириллу (и Дорогомилину), настолько переменились, что им лишь кажется, что они помнят о войне и трудностях ее, тогда как живут совсем иными, своими и странными (если не сказать больше, как думал Сергей Иванович), интересами. «Но чего они хотят, что святого у них?» — спрашивал он себя, в то время как Старцев, не утруждаясь обдумыванием того, что сказать, продолжал уверять его: — Брось, что твоя писанина может дать тебе? Не такие головы брались, а что вышло из-под их пера? Все известно, обо всем уже сказано, а вот какую-нибудь настоящую бы работу

тебе — было бы дело. Я займусь этим. Я обещаю тебе.— И в эту минуту Кирилл сам верил, что был искренен, и в голове его хотя и смутно, но возникали планы устройства Сергея Ивановича.

— Однако, ты извини, мне нужно бежать, — затем говорил он. — Я еще зайду. Как тут моя Никитична?

— Спасибо. Что бы я делал без нее.

— Ну то-то, то-то. До встречи. — И он, щегольски отсвечивая своими остроносыми модными туфлями по паркету, веселый, жизнерадостный (и довольный тем, как он проявил себя у друга) уходил от Коростелева.

Кириллу казалось, что он был так загружен теперь полезной деятельностью, что многое пострадало бы в общественной жизни, не будь у него энергии и здоровья, как он добавлял в шутку, для этой деятельности. Он, как и сотни других, не замечавших (подобно ему) того, что суетою своею приносили не пользу, а лишь создавали иллюзию ее, жалел Сергея Ивановича, в то время как Сергей Иванович, не думавший о себе, что он загружен деятельностью, в которой нуждается общество, был, в сущности, занят именно тем делом, за которое как раз и важно было кому-то взяться теперь. Он инстинктивно, лишь по тому чувству, что не хватало ему (в работе над мемуарами) того последнего уступа, опершись на который можно было подняться на вершину, приходил к выводу, что в Москве нужен памятник Победы. Он не был согласен с Кириллом Старцевым, что наладившаяся жизнь—это и есть памятник. «Так, да и не совсем так,— мысленно отвечал он Кириллу.—Слава народа достойна, чтобы воплотить ее в мраморе».

— А как полагаете вы?—спрашивал он у Никитичны, у которой на этот счет не было мнения (как о своем приработке), какое она могла бы с уверенностью высказать Сергею Ивановичу. Она знала только, что людям образованным всегда виднее, что им следует и чего не следует делать.

— Да хоть бы и простому человеку: прожил жизнь— и крест ему на могилу или звезду, как по-теперешнему. Надо, как же не надо, — отвечала она именно по этому своему согласию с Сергеем Ивановичем. — Что народ пережил за войну, так одному богу известно, — добавляла она, выражая то общее мнение, о котором (по какому-то молчаливому будто согласию) менее всего в то время принято было говорить и писать.

. . . . . .

«Голос народа, да, голос народа», — повторял затем Сергей Иванович, мысленно возвращаясь к разговору с Никитичной. Он обращался с этим же и к Наташе, которая тоже, как и Никитична, поддержала его, но не из убежденности, что памятник такой нужен в Москве (она была занята своим делом, то есть делом мужа, и не могла думать о другом), а только из того чувства, что ей не хотелось огорчать отца.

— Да, но что ты можешь? — все-таки возразила она. — Ты же не правительство.

— Не правительство, но — народ! А народ — кинь только клич, как миллионы средств сейчас же будут собраны на такой памятник.

— Господи, и хочется тебе заниматься этим? — было заключением Наташи, понимавшей себя и не понимавшей отца.

Но Сергей Иванович чем больше сталкивался с равнодушием к этой своей идее, тем определеннее приходил к мысли, что надо действовать. «Вот она, разорванная связь поколений», — думал он, вспоминая уже о словах дочери, и вместо мемуаров, которые с трудом продвигались у него, он, сев однажды утром за стол, сочинил записку в Президиум Верховного Совета, в которой от имени фронтовиков, решительно взяв на себя это право, предлагал рассмотреть вопрос о строительстве памятника Победы в Москве. Он предлагал (не из того соображения, что у правительства могло не оказаться свободных средств) обратиться к народу, чтобы каждый в меру своего достатка смог принять участие в этом важном государственном деле. «Всем народом» — была фраза в его записке. «Всем народом», — повторял ее затем Сергей Иванович, когда записка была отправлена и он, повеселевший от того, что сделал (от своей решительности, которая, как в молодости, вновь будто вернулась к нему), возбужденно ходил по комнате, удивляя и настораживая уже этим Никитичну. Он опять чувствовал себя как бы вернувшимся к жизни. Несмотря на то, что в личной жизни его по-прежнему оставалось только горе: и смерть матери, и смерть Юлии, и потеря руки, и разочарование в бывших своих фронтовых друзьях Старцеве и Дорогомилине, и, наконец, замужество дочери, — несмотря на горе, о котором все в доме напоминало ему, он был именно весело возбужден от своей общественной, как назвал бы ее Кирилл, деятельности. Инте-

ресы общественные, о которых так иронически принято иногда говорить, что они не могут заменить в человеке его «я», были для Сергея Ивановича выше, чем личные; он не говорил об этом и не замечал этого, как не замечал во время войны, когда надо было поднять роту в атаку (и когда личным интересом выступала жизнь!). Он возбужден был тем, что первым, как он думал, подал мысль о создании памятника Победы в Москве, тогда как он только не знал, что сотни записок подобного рода и с разных концов страны поступали в те соответствующие инстанции, в которых должен был решаться вопрос о памятнике. Он не знал, что по заданию правительства десятки коллективов уже работали над проектом такого памятника и что трудно было сказать, кто был первым. Сергей Иванович был лишь одним из тех, кто почувствовал, что пора было предпринять что-то, чтобы увековечить подвиг народа; и он с нетерпением ожидал теперь ответа из канцелярии высшей власти.

XXXVII

Он получил ответ в тот день, когда ждал Наташу. Хотя в бумаге было лишь по-служебному сухо изложено, что предложение его принято к сведению, что возможность строительства такого памятника в Москве уже рассматривается и что решение об этом, видимо, в самое ближайшее время будет опубликовано в печати (и приписано было в конце, что его благодарят за проявленную инициативу), Сергей Иванович был вполне доволен ответом. Он прочитал его несколько раз, потом прочитал Никитичне, которая поняла только, что произошло что-то хорошее для него; потом, походив с бумагой, подписанной Георгадзе, по комнате, положил на письменный стол, чтобы видеть ее. Он испытывал чувство, словно совершил что-то, чего никто и никогда до него не совершал, и был горд и ощущал в себе новые силы для новых дел. «Ну так что ты на это скажешь? — мысленно спрашивал он у Кирилла, воображая его перед собой. — Не верил, а почитай-ка вот!» И он (мысленно же) протягивал письмо бывшему фронтовому другу. Он собирался показать письмо и Наташе и говорил фразы, какие скажет ей. Ему надо было, чтобы кто-то разделил с ним его радость, то есть победу, одержанную, в сущности, над собой, чего он, разумеется, еще не осознавал, надо было,

чтобы кто-то поддержал его в его душевном порыве, и он ждал этого от дочери.

— Знаете, у нас вечером будет Наташа, — сказал он Никитичне, войдя к ней на кухню. — Я хотел бы устроить небольшой праздник. Мы сможем приготовить что-нибудь? —присоединяя к своему настроению и Никитичну, спросил он.

— Надо, так приготовим, — согласилась Никитична, чувствовавшая себя в это утро отдохнувшей (от работы, о которой она не говорила Сергею Ивановичу) и потому тоже бывшая в настроении.

Настроение у Никитичны было еще оттого, что она, не спрашивая у Сергея Ивановича, можно ли ей жить у него или нельзя, и не советуясь с Кириллом, а по инстинктивному лишь чувству, что нужна здесь, незаметно для себя обосновалась в квартире Коростелева, в комнате, где прежде лежала его больная мать, а в свой дом в Дьякове пустила квартирантов — только что поженившихся студентов, — которые хотя и немного, но исправно платили ей. Она чувствовала, что жизнь ее (под старость) была во всех отношениях налаженной, налаженной так, как, ей казалось, не была налаженной в молодости, и она усматривала в этом руку божью за труды — что обмывала и наряжала покойников, — за которые люди обычно щедро платили ей. Она видела, что Сергей Иванович был в горе (был без жены, без руки и, в сущности, без дочери), что он был беспомощным в делах житейских, как всякий в ее понимании образованный человек, и уже не из выгод для себя, а из привязанности к нему ухаживала за ним. Она видела, что он страдал, по неделям не встречаясь с дочерью, и осуждала Наташу. Но, осуждая, вместе с тем, как только та появлялась в доме, бывала рада ей и не знала, куда посадить и как угодить. При всем сложном положении Наташи, о котором Никитична была осведомлена, Наташа так следила за собой, так тщательно одевалась и умела держать себя, что Никитичне оставалось только восхищаться ею. Наташа производила на Никитичну то действие, какое производят цветы, внесенные в комнату и поставленные в вазу. Цветы эти, отрезанные от корня, уже лишены жизни, но они еще, всасывая в себя подслащенную воду, весело тянут свои красивые головки к оконному свету и радуются жизни. «Тут свое, там свое горе», — подумала она теперь о Наташе.

— Да уж не беспокойтеся, встретим нашу голубушку, — подтвердила она Сергею Ивановичу, стараясь своим настроением поддержать его.

По тому необъяснимому совпадению, какому без конца продолжают удивляться люди, находя в нем какое-то будто проявление рока, Никитична приготовила фарш и тесто и начала стряпать пельмени, полагая (как и Юлия накануне того памятного воскресного утра, когда готовилась встретить Наташу с женихом), что вкуснее всех иных блюд будут пельмени, поданные горячими на стол. Она принялась за то, что в понимании ее было лучшим, что она умела делать, и не только не думала, но и не могла предположить, чтобы что-то нехорошее, что было еще свежо в памяти и Сергея Ивановича и Наташи, заключалось в этом ее приготовлении. Вытирая о фартук белые мучные руки, она несколько раз выходила к Сергею Ивановичу, чтобы спросить, в котором часу придет Наташа, чтобы заранее вскипятить воду, и будет ли еще кто-либо приглашен, кроме нее, и так как Сергей Иванович сам не знал, в котором часу придет Наташа, и был в нерешительности, позвать или не позвать Кирилла с женой, чтобы и они разделили его радость, — пельмени были уложены в морозилку, вода постоянно держалась горячей, а стол посреди комнаты, накрытый красной с белою каймой скатертью, был заставлен уже приборами, как умела сделать это Никитична. Сама же она была в новой кофте и в юбке, по-старушечьи широко сидевшей на ней, была вся преобразившаяся, какой Сергей Иванович никогда не видел ее. Но он не спрашивал, для чего она нарядилась; все, что происходило теперь в доме, все соответствовало его настроению, он чувствовал в душе своей обновление, и обновление, он видел, было в доме и радовало его. Он всю вторую половину дня (именно после письма и звонка от дочери) работал над рукописью. Все, казалось ему, получалось у него, он был доволен и тем, что писал, и собой, и Никитичной, и вообще обстоятельствами жизни, опять как будто лицом повернувшимися к нему, и представлял себе, как будут изданы его мемуары, как мемуары эти произведут впечатление (он уже не говорил, что связь времен безвозвратно утрачена) и как он сам будет чувствовать себя, будто им снова, как в войну, взята важная для общего хода дел высота, с которой просматриваются стратегические дали. «Поживем еще. Еще кое-что сделаем», — думал

он, мысленно то обращаясь к тому, что было его (и сотен тысяч других людей) фронтовым прошлым, то с только что будто взятой им высоты вглядываясь в пространство, на котором предстояло развернуться ему.

Но как он ни был рад своим мыслям, как ни казалось ему, что все мучившие его жизненные вопросы были теперь решены им, с приближением времени, когда должна была появиться Наташа, какое-то странное будто беспокойство начало охватывать его. То, о чем он не хотел думать (о своих отношениях с дочерью) и отодвигал, как отодвигают мешающий из-под руки предмет на столе, — предмет этот кто-то снова как бы подсовывал ему под руку. Он видел, что дочь не простила ему, что примирение с ней было внешним, что в отношениях его с ней все еще оставались струны, до которых нельзя было дотронуться, не порвав их. «Может быть, я преувеличиваю? Может быть, все не так?» — пробовал говорить он себе. Но это не утешало, а лишь возвращало его к болезненному для него вопросу. Ему хотелось не этого видимого примирения, возникшего, когда надо было совместно действовать в защиту Арсения (и начавшего остывать сейчас же, как только отпала необходимость в таких действиях), а иного, основанного на том (и со стороны Сергея Ивановича и со стороны Наташи), что принято называть родством крови, тем, что при всех обстоятельствах жизни иногда трудно, мучительно, но всегда неразрывно связывает отцов и детей. Ему хотелось восстановить ту душевную близость с дочерью, без которой жизнь его была для него пустой, и он понимал, что нельзя было общественной деятельностью заполнить эту пустоту.

XXXVIII

В то время как Наташа, пообещавшая отцу прийти к нему, была в Доме журналистов и приобщалась к иной, чем родительская, жизни, в которой она искала то, чего не было и нельзя было найти в ней, Сергей Иванович, каждую минуту ждавший ее, прислушивался к звукам, сквозь обитую дверь доносившимся из коридора к нему. Он ясно слышал теперь (чего не замечал раньше) и шум поднимавшегося лифта, и хлопанье дверей, и шаги, когда шли по коридору вернувшиеся с работы соседи. Он весь был насторожен, как был насторожен в

тот вечер, когда, выгнав Наташу с женихом из дома, увезя на машине «скорой помощи» Юлию в больницу и застав (по возвращении) умершую мать, ждал дочь, что она придет и прояснит все. Он подходил к двери, возвращался и опять садился за стол или устраивался на диване, но в той же сгорбленной позе, словно что-то тяжелое уже начинало давить его. Никитична сварила ему пельмени, к которым он не притронулся. Она по привычке, как и в день похорон Елизаветы Григорьевны, когда впервые появилась в этом доме, принялась было руководить им, но состояние души Сергея Ивановича, какое было у него тогда (и было понятно Никитичне) и какое было теперь, лишь вводило в недоумение старую женщину. Ей странным казалось, что он как будто улыбался чему-то, иронически кривя губы, и она всякий раз, входя в комнату, присматривалась к нему. «Но за что же так убиваться? — думала она.— Не пришла, так придет. Завтра придет». И точно так же, как она могла спать на стуле, когда приглашали ее посидеть у гроба с покойным, с тем же чувством сообразности и естественности всего сначала дремала на кухне в ожидании Наташи, потом ушла в комнату, которую считала своей, и как только легла, сейчас же заснула, забыв и об иронической улыбке Сергея Ивановича, пугавшей ее, и обо всем другом, что только могло приходить ей в голову.

Ей все было ясно в жизни, и потому она была спокойна и спала. Вся жизненная философия ее укладывалась в понятие «чему быть, того не миновать». Но Сергею Ивановичу казалось, что жизнь с ее правилами и признанием цели (как в свое время была воспринята им) шла не в согласии с этими правилами и целью. Только из отношения дочери к себе и несостоявшегося примирения с ней, которое он никогда так обостренно не чувствовал, как сейчас, когда она не пришла разделить с ним радость, нельзя было как будто выводить суждений о состоянии общества или о каком-то будто сместившемся понимании цели (как Сергей Иванович делал это, исходя из своих наблюдений за Дорогомилиным и Кириллом); но он был так возбужден, что не мог не проводить параллели между тем, что было его отношением с дочерью, и тем, что было общим (в его понимании) состоянием жизни. То, какою он хотел видеть дочь, когда растил и воспитывал ее, и какою хотел видеть жизнь, когда, как тысячи других, не щадя себя, шел на вражеские око-

пы, не совпадало с тем, какою была теперь его дочь и была жизнь, как он воспринимал ее, судя по Дорогомилину и Кириллу, не находя в них тех прежних фронтовых лейтенантов, подчинявшихся ему, какими они все еще жили в его сознании. Он не обращался к переменам, происходившим в деревне у Павла; те перемены не затрагивали его городской жизни и были для него как рассвет, так ли, иначе ли, раньше ли, позже ли, но непременно должный встать над землей; те перемены были для шурина (но, главное, в них все было понятно Сергею Ивановичу и было, хотя он как следует не думал об этом, согласно с его восприятием жизни), а эти, что он обнаружил сперва в Дорогомилине, затем в Кирилле (и переносил их теперь на дочь),— эти перемены были непонятны, были вокруг него и подмывали, как ему казалось, основы его жизни. Он чувствовал, что не мог объяснить — ни словом «диалектика», ни каким-либо иным известным ему философским термином — корня явления, причины, почему известное (и правильное, как думал он) движение жизни вдруг словно наталкивалось на что-то и получало искривление, и искривление это представлялось ему настолько произвольным, что он приходил к мысли, что точно так же как народными изречениями (вроде этого: чему быть, того не миновать), так и философскими терминами невозможно ничего объяснить в жизни. «Тысячелетиями ищем смысл жизни, а не ушли дальше простых народных мудростей,— думал он с тем почти детским удивлением на лице (что Никитична как раз и принимала за улыбку), будто вместо фасада, о котором всегда говорили, как он величествен и красив, перед ним открылись обыкновенные задворки.— Диалектика... да и так понятно, что все движется. Но почему туда, а не туда?..» — продолжал он, прикладывая это общее понятие к тем частностям жизни, которые он хотел объяснить. Он делал то, что было с точки зрения теории нелепым, потому что всякое учение есть только результат общих наблюдений и выводов. Но в понимании Сергея Ивановича, как в понимании всякого среднего человека, хорошо усвоившего с детства, что наука служит человеку, нелепым представлялось другое — что общие законы развития жизни, по которым он жил и которые казались ему правильными, существовали как будто отдельно, сами по себе и неприложимы были к его жизни.

«Почему она стала такой? Разве я внушал ей это? — просто и ясно задавал он себе вопрос, думая о дочери (в то время как точно такого же простого и ясного ответа не было на него).— Куда делось то, что было в Дорогомилине и в Кирилле? И было ли вообще или было только желанием и обманом? Но если только желанием и обманом, то для чего было желать? Для чего желать, если даже родственных связей недостаточно, чтобы два близких человека могли понять друг друга?» — повторял он. И по опустошенности, какую чувствовал в себе, опять и опять приходил к тому удивлявшему его теперь выводу: «А мы бьемся, мы желаем чего-то!» И ему мелкими и смешными представлялись эти людские желания, он иронически кривил губы, глядя перед собой, и странное выражение это, даже когда он задремал, сидя на диване и все еще ожидая дочь, сохранялось на его лице.

В середине ночи он встал и начал ходить по комнатам. На кухне горел свет, оставленный им же, и горел ночник у Никитичны, красноватым мягким светом освещая кровать, на которой она спала, стены и коврик над кроватью. Заглянув на кухню и постояв там, пока мучившие его с вечера мрачные мысли возвращались к нему, Сергей Иванович направился затем в комнату к Никитичне по той только привычке, что он иногда заходил ночью туда проведать больную мать; и так же как он, ясно будто помнивший, что что-то простое и главное (перед тем как задремать) было открыто им для себя, и старавшийся теперь вернуться к тому простому и главному, натыкался на иные, уже по-другому соединявшиеся мысли,— в проваленной на подушке седой голове Никитичны увидел не Никитичну, а мать, будто та была жива и лежала в этой комнате. Потерев глаза и поняв, что ошибся, Сергей Иванович хотел было выйти, но, обернувшись на пороге, опять почувствовал, будто он видит не Никитичну, а мать. Он подошел к Никитичне и наклонился над ней. «Да нет,— удивленно подумал он.— Ее давно нет, а это Никитична». Но чувство близости тех горестных событий, так сразу изменивших его жизнь, уже не отпускало его. Перед ним возникали лица Арсения и Наташи, какими они запомнились ему в день сватовства, то есть в тот самый день, с которого началось все, и с тем же неприятием этого сватовства, закончившегося криком: «Вон! Вон! И ты вон (что относилось к дочери)», готов был повторить все, что сделал тогда.

Нет, он не простил дочери, и он знал теперь это. С плотно сжатыми губами ходя по комнате и переживая заново то, что за лето и осень было уже как будто пережито им, он не раскаивался ни в чем. «Да, но пусто, ничего нет, пусто»,— остановившись, говорил он.

Лишь временами, как проступают иногда стожки сквозь утренний туман на лугу, что-то радовавшее его начинало видеться Сергею Ивановичу. «Да, что-то я хотел сделать или сделал?» — опять, остановившись, спрашивал он себя. И десятки раз проходивший мимо стола, на котором лежало полученное им письмо, и не замечавший этого письма, он вдруг снова увидел его. Торопливо взяв и пробежав его глазами, он не уловил, однако, в нем того прежнего смысла, какой поразил Сергея Ивановича утром. Для чего нужно было возводить этот памятник, если он ничего не мог изменить в его жизни, то есть в его отношениях с дочерью? И он как что-то бесполезное, ничего не говорившее, держал в руках эту бумагу и смотрел на нее.

XXXIX

2 декабря, в канун двадцатипятилетия разгрома немцев под Москвой, в Зеркальном зале ресторана «Прага» собирались гости (в основном это были старые дипломаты), приглашенные Иваном Афанасьевичем Кудасовым на торжества по случаю присвоения ему профессорского звания. Защитив еще в молодости, еще в начале своей блестящей затем дипломатической карьеры кандидатскую и следом докторскую диссертации, он теперь, перейдя на преподавательскую работу, был представлен к званию профессора и, получив его, имел, как он говорил, повод собрать друзей, с кем в трудные для страны (и для дипломатии) годы проводил ту мирную политику, какую Советское государство с первого дня существования положило в основу своих международных отношений.

Внизу, в холле, Иван Афанасьевич встречал гостей. В белой рубашке и светлом (по-европейски) костюме он стоял рядом с женой и, принимая вместе с нею цветы, подносившиеся гостями, улыбался всем той известной в дипломатических кругах и никому ни о чем не говорившей обаятельною улыбкой, какою он не мог не улыбаться, видя, как на лицах подходивших к нему (как только

эти подходившие протягивали цветы или руки для пожатия) возникали точно такие же заученно-обаятельные улыбки, по которым можно было понять лишь, как вышколены эти люди. С бобровых ушанок, дубленок, дамских шапок и шуб из дорогих мехов (словно дамы соревновались в роскоши) стряхивался у порога снежок, крупными хлопьями валивший на улице, гардеробщики в традиционных, с желтыми околышами фуражках подхватывали все это богатство и уносили за стойку с таким видом, будто цель их жизни только и состояла в том, чтобы уметь выказать услужливость. Швейцар в такой же форменной, как и у гардеробщиков, фуражке и с густыми и пышными (словно из прошлого века) бакенбардами провожал гостей к лифту, и когда двери лифта захлопывались, увозя нарядно одетых мужчин и дам в длинных вечерних платьях, в холле держался еще оставленный ими запах дорогих духов (и даже будто блеск их колье, перстней и брошей).

В зале были уже накрыты столы, и в дверном проеме, откуда должны были подаваться блюда, толпились официанты и выглядывали из-за бархатных портьер в зал. Зал был небольшой, удлиненный и не очень удобный для приемов, но благодаря зеркальным стенам производил как раз то нужное впечатление простора, какого недоставало ему. Отраженные в зеркалах, отовсюду, казалось, светили старинные люстры; казалось, что и противоположная от окон стена тоже была с окнами, портьерами, и столами с рюмками и приборами на них (в простенках), и теми же людьми — гостями, которые не то чтобы не замечали этого эффекта сдвоенности, но для которых Зеркальный зал «Праги» был всего лишь отдаленным напоминанием тех иных зеркальных и не зеркальных и неповторимых в своем великолепии и богатстве залов, где приходилось по положению бывать им. Дворцы наций, конгрессов; подреставрированные и увенчанные новыми гербами и флагами резиденции бывших европейских монархов; Женева, Лондон, Генуя, Нью-Йорк, Париж... Как для солдата бой, из которого он только что вышел и куда, помня все перипетии его, даже мысленно не хотелось бы вновь вернуться ему, была для них та их работа и жизнь, какою они все еще продолжали жить. «Да, было время, что говорить, было, было» — светилось на лицах всех этих отставных уже дипломатов, многие из которых стояли когда-то рядом с

наркомами Чичериным и Литвиновым. Но они не говорили сейчас о своей прошлой деятельности. То, что было историей для всех, было как будто историей и для них. И все же, собравшись вместе, эти живые представители тех отдаленных исторических событий — старички и старушки, не желавшие еще признать себя постаревшими и не надевшие наград только потому, что не к месту было надеть их,— испытывали чувство, будто их пригласили посмотреть на плоды своего труда. Плоды были хорошими, советские люди жили в мире. Мирно за окнами падал снег, застилая Москву и поля Подмосковья, те самые поля, на которых в памятном сорок первом в эти декабрьские дни развернулось одно из самых, может быть, важных для исхода войны сражений; мирно, приветливо светилось все в Зеркальном зале, и передвигались гости. Но было ли так уж спокойно в мире? Можно ли было собравшимся здесь, долго и успешно поработавшим на дипломатической ниве, сказать — и себе и другим,— что дом, возведенный ими, будет стоять вечно, что мир нерушим и что ничто не сможет вовлечь человечество в новую войну? Сказать этого было нельзя. Здание было; но оно не было вечным. И больше чем кто-либо понимали это гости Кудасова. Для них, отошедших от дел и со стороны следивших за тем, что происходило в мире, важны были не временные интересы борьбы, двигающие людьми; как в прошлых, так и в настоящих событиях они признавали только один интерес истории, очищенный от наслоений временного и личного, и интерес этот занимал их.

В условиях той Европы — после первой мировой войны,— в каких приходилось действовать первым советским дипломатам, то есть многим из тех, кто был сейчас в гостях у Кудасова, надо было приложить известные усилия, чтобы разглядеть за благостными речами западных политиков, что замышляли они. 10 апреля 1922 года в Генуе во дворце Сан-Джорджо открылось первое пленарное заседание представителей держав, приехавших обсудить вопросы так называемого излечения Европы, и не было, казалось, ни одного выступающего, кто не выразил бы (именно в этот первый день работы Генуэзской конференции) сочувствия народам, пострадавшим от войны, и не предложил бы того правильного пути, по которому должно пойти развитие человечества. Премьер-министр Италии Факта, избранный председательствую-

щим, привел ужасающую по тем временам цифру безработных, сказав, что в мире более трехсот миллионов человек не заняты производительным трудом. Он говорил затем, что нет среди европейских держав ни победителей, ни побежденных, что народы равны и должны жить в мире; о равенстве народов и государств говорили и Ллойд-Джордж и представители Франции и Германии. Идея всеобщего равенства, казалось, так привлекала их, что они и в самом деле готовы были поступиться своими монополистическими интересами. Но когда представитель советской делегации нарком Чичерин предложил для достижения действительного равенства и для того чтобы народы могли жить в мире, начать сокращение вооружений и вооруженных сил, со всех этих только что благостно звучавших речей словно было сорвано покрывало. «Все говорили самые хорошие слова,— докладывал позднее третьей сессии ВЦИК член делегации в Генуе Рудзутак,— но стоило лишь Чичерину заявить, что для того, чтобы сократить расходы, для того, чтобы действительно восстановить хозяйство, действительно добиться восстановления мира, нужно перейти к разоружению, сейчас же все миролюбие было забыто». И Ллойд-Джорджу, и итальянскому премьеру Факте, и представителю Франции Барту хотелось, чтобы восстановление мирового хозяйства, вернее хозяйства их стран, шло за счет советской России. Эти дипломаты Антанты полагали, что они смогут поставить на колени советскую Россию. Но советская сторона 20 апреля предъявила меморандум участникам конференции, и вот что было сказано в этом меморандуме: «Русский народ принес в жертву общесоюзным военным интересам больше жизней, чем все остальные союзники вместе, он понес огромный имущественный ущерб и в результате войны потерял крупные и важные для его государственного развития территории. И после того как остальные союзники получили по мирным договорам громадные приращения территорий, крупные контрибуции, с русского народа хотят взыскать издержки по операции, принесшей столь богатые плоды другим державам».

Зеркальный зал между тем продолжал наполняться гостями, и как раз в эти минуты в него входил поднявшийся на лифте старый, ссутуленный человек, поддер-

живаемый под руку красивой девушкой, видимо внучкой. Человек этот, участник Генуэзской конференции и свидетель триумфа Чичерина, воспринятого всеми тогда как триумф советской дипломатии,— человек этот, сам ставший уже историей, сейчас же обратил на себя внимание гостей Кудасова. «Кто пришел!» — зашептали вокруг, произнося его фамилию. Его усадили на стул, так как он не мог долго стоять, и многие затем старались держаться поближе, чтобы заговорить с ним. Но старому человеку, которого более чем сорокалетняя давность отделяла от той бурной деятельности, когда он был молодым (сорокалетним) и перспективным дипломатом, ему не то чтобы не хотелось говорить о прошлом, но трудно было вспомнить, как все было тогда. На лице его, изрезанном морщинами, лишь на мгновенье, пока он оглядывал зал, появилось то живое выражение участия, ради чего он, собственно, и пришел сюда; но через минуту — от усталости ли, от старческого ли безразличия ко всему — глаза его уже выражали только то, что он никого не узнавал и даже не понимал будто, для чего он здесь и для чего были вокруг него люди, хотевшие заговорить с ним. «Чем я могу помочь вам? Я ничем не могу вам помочь и прошу только не беспокоить меня» — было в его старческих, дремотно слипавшихся глазах, когда он, силясь вспомнить что-то и оживляясь от этой своей душевной работы, смотрел в зал перед собой.

Ни Генуэзская, ни затем Гаагская (как продолжение Генуэзской) конференции не решили самого главного для того времени вопроса — вопроса о сокращении вооружений и вооруженных сил. Его обходили, старались не замечать, как будто, сказав, что такой-то проблемы нет, проблема эта переставала существовать; нет, проблема не переставала существовать, и народам, чтобы жить в мире, нужно было разоружение. В Женеве при Лиге наций продолжала работать смешанная комиссия по вопросам разоружения. Возглавляемая представителями Англии и Франции — лордом Сесилем и де Жувенелем,— она за все шесть лет своего существования не только ни на шаг не продвинула дело разоружения, но, напротив, лишь осложнила и запутала все своими ложнопацифистскими маневрами. Лорд Сесиль, вынужден-

ный в 1927 году подать в отставку, с откровением писал своему английскому премьеру Болдуину, что «мы будем иметь на берегах Женевского озера девятую, десятую, двенадцатую сессии... совещаться в течение многих лет... пока война, к несчастью, не прервет эти работы». Но война, к несчастью, прервала не только эти работы; она унесла миллионы жизней ни в чем не повинных людей (повинных, видимо, только в том, что лорд Сесиль занимался не тем, чем надо было заниматься ему!). Лорд Сесиль ушел, и де Жувенель вынужден был подать в отставку, но закрыть вопрос о разоружении было нельзя, и возникает (все при той же Лиге наций) некая уже так называемая подготовительная (по разоружению) комиссия. С чем же приходят на эту подготовительную комиссию представители европейских держав? С искренним ли желанием мира и разоружения, как того требовали народы (и обстоятельства и здравый смысл)? Франция — да, за разоружение, как объявляет представитель этой страны; имевшая мощные сухопутные силы, она предлагает начать сокращение морских вооружений, что ослабляло Англию, имевшую сильный флот и не имевшую столь же хорошо оснащенной сухопутной армии. «Нет,— возражает представитель Англии, тоже как будто ратовавший за разоружение,— сокращение надо начинать с сухопутных войск, артиллерии и авиации», что ослабляло Францию и было неприемлемо для нее. Германия, не имевшая права по Версальскому договору держать армию, но державшая усиленный жандармский корпус, предлагала распространить действие этого унизительного для нее договора на все страны и таким образом ослабить и Англию и Францию, то есть уравняться с ними в правах на великую державу, а в случае неприятия ее плана грозилась в одностороннем порядке порвать Версальский договор, связывавший ее, и начать вооружаться (что и было сделано). Соединенные Штаты Америки, не имевшие в то время ведущих позиций среди европейских стран и как наблюдатель следившие за ходом споров, поддерживали все, что ослабляло Европу и не затрагивало интересов самих Соединенных Штатов. Они не хотели разоружаться. В общем, как писала в те дни «Правда», каждый из участников конференции помышлял «вовсе не о том, чтобы разоружить себя, но о том, чтобы разоружить другого и, таким образом, стать самому в вооруженном отношении сильнее... Торг

пошел не по вопросу о «разоружении», а по вопросам «равновесия» вооруженных сил различных держав, причем каждая из держав склонна толковать «равновесие» именно в свою пользу». Было очевидно, что вместо разоружения мир лихорадочно готовился к войне, и в этих условиях как единственно здравый смысл прозвучала декларация о всеобщем и полном разоружении, изложенная советской делегацией на первом же заседании подготовительной комиссии в Женеве. Делегацию возглавлял Литвинов (и среди гостей Кудасова были теперь те, кто участвовал в этом историческом событии). Декларация не была принята, и мир оказался ввергнутым в гигантскую по своим разрушительным масштабам вторую мировую войну.

XL

— Но что же делается теперь? Теперь повторяется то же,— говорили гости Кудасова, пока хозяин торжества был еще внизу, в холле.— Им наплевать, чем озабочено человечество.

— Разумеется, разумеется.

— Однако давайте будем справедливы,— заметил кто-то.— Не ради же увеселительной прогулки приезжал в Москву де Голль.

— Де Голлю нужна опора, чтобы возвеличить Францию.

В Европе давно уже нет великих держав. Всем дирижируют Соединенные Штаты.

— Но сознают ли это европейские народы?

— Вот именно, теперь уже не Европа Америку, а Америка открывает для себя Европу, чтобы закабалить ее.

— Не Европу,— опять возразил кто-то,— а Россию, как они все еще называют нас. Политика их прозрачна, как дистиллированная вода, они с удовольствием ринулись бы на наши просторы и, как индейцев, загнали нас в резервации.

— Слава богу, мы не с копьями и стрелами против ружей.

Старик поднял голову, чтобы сказать что-то. Все сейчас же притихли и повернулись к старику, словно он мог сказать им что-то такое, связанное с судьбами народов и государств, что должно было поразить их.

— Вы говорите о Женеве,— начал он, с трудом выговаривая слова, хотя никто не упоминал об этом городе.— Женева — это театр, куда съезжаются, чтобы разыграть очередной акт мирового спектакля. А был ли там решен хоть один экономический или политический вопрос? Сесили и де жувенели, да, да, сесили и де жувенели,— повторил он, каким-то будто ожившим и ясным взглядом окидывая всех.

Но никто из гостей не помнил о Сесиле и де Жувенеле. Пуанкаре, Факта, Болдуин, наконец, Черчилль со своей подстрекательской речью в Фултоне — вот кто определял политический курс, а лорд Сесиль и де Жувенель были лишь клерками, лишь исполнителями, которых всегда десятки и которые готовы на все, на что будет воля пославших их.

— Да, да, сесили и де жувенели,— еще отчетливее повторил старик. Он сталкивался (в годы своей деятельности) не с теми, кто вырабатывал политику, а с теми, кто проводил ее, и знал, как много зависело от этих подставных господ сесилей и де жувенелей, этих исполнителей, умевших утопить в словопрениях любое живое дело. Они все были на одно лицо (менялись только фамилии), все были скользкими, лживыми, готовыми в любых размерах пролить чужую кровь и боявшимися хоть каплю уронить своей. Старый, восьмидесятичетырехлетний дипломат знал это. И он старался связать события более чем сорокалетней давности с тем, что происходило теперь, как будто те же Сесиль и де Жувенель и в тех же креслах, но только под другими флагами, заседали во дворцах конгрессов и наций и извращали дело.

— Вы имели в виду признание лорда Сесиля Болдуину? — подавшись к старику, спросил кто-то.

— Я имел в виду то, что я сказал,— ответил он, в то время как было видно, что минуты возбуждения прошли и ему трудно было вновь вернуться к тому, о чем он только что говорил.

Несмотря на решительно взятый Советским правительством курс на разрядку напряженности в Европе и в мире, несмотря на то, что те, от кого зависело все, признавали, что разрядка возможна, что народы, уставшие от «холодной войны» и гонки вооружений, ждут и готовы принять ее,— в том среднем звене действующих дипломатов, в котором всегда бывает сразу несколько

мнений по любому вопросу, к возможности достижения разрядки относились еще по-разному. Одни, их было большинство, соглашались, что разрядка возможна, и прилагали усилия, чтобы добиться ее (и среди этих прилагавших усилия был Кудасов); другие, их было меньше, полагали, что с западными политиками договориться нельзя, потому что они не делают ничего без односторонних выгод, и мнение это, как отголосок борьбы доходившее до гостей Кудасова, разделялось некоторыми из них. Старые дипломаты продолжали говорить, когда в дверях появился Кудасов. Не ожидавший уже больше гостей, он шел с двумя генералами, которым он, обращаясь то к одному, то к другому, говорил что-то. Следом за ним шла жена с генеральшами, с которыми она тоже о чем-то оживленно беседовала. И Кудасов, и генералы, и дамы, шедшие за ними,— все были так естественно веселы, что трудно было даже предположить, чтобы политика, та самая б о л ь ш а я политика, приводящая в движение силы войны и мира,— чтобы политика эта, призванная служить людям, могла иметь хоть какое-то отношение к празднично оживленному Кудасову и к генералам и женам их. Было трудно предположить, но еще труднее согласиться с тем, что для того, чтобы быть независимым, счастливым и веселым, каким выглядел теперь Кудасов (и должны выглядеть миллионы других свободных и дорожащих своею жизнью людей), надо кому-то и где-то принимать резолюции, сочинять меморандумы, спорить, тратя силы на это. Мир един; и воля народов едина — жить в мире и дружбе, и есть правительства, которые считаются с этой волей и выполняют ее, и которые не считаются и не выполняют ее. Кудасов знал это. Еще вчера действующий дипломат, хорошо представлявший состояние дел и не успевший еще как следует отойти от них, он теперь, казалось, менее всех был озабочен этими делами. Он видел, что наступало время разрядки; видел не только по усилиям, прилагавшимся советской стороной (что особенно выразилось на переговорах с де Голлем, в которых участвовал он), но по тем происходившим в политике европейских государств переменам в сторону реалистических оценок и здравого смысла, по которым он делал как раз эти свои оптимистические выводы. Точно так же будто, как он сам стоял на перевале, оставив позади дипломатическую и перейдя к новой, преподавательской деятель-

ности, на которой предстояло развернуться ему, он полагал, находился мир, оставивший за чертой «холодную войну» и напряженность и вступивший в полосу понимания и доверия друг к другу. Во Вьетнаме еще рвались бомбы, на Ближнем Востоке вот-вот готов был разразиться новый конфликт, но по мнению Кудасова это были частности, которые не могли заслонить от него то общее (и главное), что одно только, как он считал, должно было привести народы к желанной цели.

Он шел вдоль столов, уставленных яствами, приветствуя по второму разу тех, кого встречал в холле. Одним кивал, поворачивая к ним веснушчатое и казавшееся теперь помолодевшим (от возбужденности) лицо, возле других останавливался, чтобы выразить почтение. Он будто хотел сказать всем, что и в новом своем качестве — в качестве преподавателя и профессора — оставался все тем же значительным, знающим себе и другим цену человеком, каким был рядом с де Голлем (или с другими политическими деятелями эпохи, с которыми приходилось встречаться ему). Ему казалось, что он тоже держал в своих руках судьбы мира, и он, в сущности, жалел о том времени, которое безвозвратно было теперь отдалено от него.

— Нет, вы знаете, я не жалею,— вместе с тем говорил он, отвечая на вопрос (задававшийся ему), который мучил его.— По крайней мере будет возможность заняться теорией.— Он имел в виду те свои рассуждения об ускорении жизни, которые, пока он был в Париже, представлялись верными и легко приложимыми ко всему и которые теперь, когда он был не в Париже, он видел, невозможно было без определенного изучения проблем приложить к жизни.— Годы тянут к обобщению, да,— однако продолжал он, чтобы поддержать о себе то мнение, какое было важно ему.

Впереди, куда он шел, то есть во главу стола, где он должен был сесть с женой, разместив по обе стороны от себя знакомых еще с войны известных генералов — преподавателей военных академий, которых он не мог не пригласить на свои торжества, между другими именитыми гостями видна была плотная фигура профессора Лусо. Вернее, даже не фигура, а многократно повторенная в зеркалах бритая голова его. Игорь Константинович был доволен, что находился здесь; дело Арсения не поколебало его общественного положения и уже не за-

ботило его; он улыбался, глядя на подходившего Кудасова, и протягивал руки, чтобы обнять его.

— Ну, поздравляю еще раз, поздравляю,— сказал он, после того как обнял друга-дипломата, которого всегда считал стоявшим выше себя, но который, как оказалось, только теперь получил то звание, какое Игорю Константиновичу было присвоено так давно, что он уже не помнил, сколько лет носил его, и к которому настолько привык, что, казалось, родился с ним.

«Не написать ли нам совместно учебник по современной истории?» — вслушиваясь затем в речи, произносившиеся за столом в честь Кудасова, чувствуя по этим речам, как высок был авторитет его, и по-новому всматриваясь в него, подумал Игорь Константинович и, достав носовой платок, завязал узел, чтобы не забыть этого важного, что осенило его.

XLI

После речей, тостов и пожеланий успеха, которого все понимали, уже не могло (в той степени, как он прежде был у Кудасова) быть у него; после объятий, поцелуев и пожатий рук, через что, как и в начале торжества, должен был пройти Иван Афанасьевич в конце, когда в одиннадцатом часу стали разъезжаться гости; после этого всего, что должно было как будто удовлетворить тщеславие и не удовлетворило его, а, напротив, лишь обострило чувство неприятия того положения, в каком был теперь Иван Афанасьевич (и какое заключалось в том, что сколько бы хороших мыслей ни приходило ему, их не к чему было приложить, то есть обратить в дело),— встав утром прежде, чем поднялись домашние, и выпив французского растворимого кофе, Иван Афанасьевич вышел на улицу. Это было 3 декабря, исторический для Москвы и народа день, когда в Александровском саду у кремлевской стены должно было состояться захоронение останков неизвестного солдата, погибшего в сорок первом году в боях под Москвой. Кудасов знал об этом. Знал даже подробности, как будет проходить церемония (о чем рассказали вчера генералы). Но в первые минуты, когда он оказался на улице, иные, свои, далекие от исторических событий мысли занимали его. Его как будто угнетало что-то после вчерашнего застолья. «Но что? Перспектива будущей жизни?» —

спрашивал он себя, внутренне смеясь теперь над тем обманчивым чувством перевала, как он всем говорил на вечере, будто пройдена им только половина пути; чувство это не могло сейчас удовлетворить его. Будущее, он понимал, было не в том, ч т о он пытался вообразить себе; будущее было в другом — что он становился в ряд со всеми теми отставными дипломатами, которых он пригласил и слушал вчера; и он, вспоминая вчерашнее, ужасался теперь их старости. Он мысленно останавливался взглядом то на одном, то на другом (более же всего на бывшем участнике Генуэзской конференции, пришедшем с внучкой, который произвел на Кудасова особенно тягостное впечатление своей старческой забывчивостью), то видел всех сразу, невольно сравнивая, какими они были в то время, когда он начинал с ними карьеру, и были теперь. И с утомленного (оттого что он мало и плохо спал в эту ночь) лица его не сходило выражение брезгливости, словно он был недоволен не тем, о чем думал, а снегом под ногами, не убранным с тротуаров, морозцем, заставлявшим потирать то щеки, то уши, тогда как проще было бы либо поглубже надеть шапку (папаху из черного каракуля, какую носил, подчиняясь моде), либо поднять (из того же черного каракуля) воротник пальто; и был еще недоволен тем, что в эти часы, когда он любил прогуливаться, было больше народа на улице, чем обычно.

Несколько раз Кудасов с удивлением останавливался, чтобы понять, куда и зачем спешили все эти люди, обгонявшие его. «Да, сегодня же захоронение останков неизвестного солдата»,— вспомнил он, и событие это, не затронувшее его ни вчера, ни неделю назад, когда впервые услышал о нем (по французскому образцу, только и сказал себе),— событие это теперь, при виде массы народа, спешившей посмотреть на захоронение, начало волновать его. Подхваченный потоком, чем ближе он подвигался к площади Белорусского вокзала, где должна была начаться церемония, тем сильнее, он чувствовал, было оживление среди людей, тем плотнее, гуще было народу; и он непроизвольно, как это всегда бывает, начал проникаться тем общим настроением толпы, значение и смысл которого, понимая, даже не пытался объяснить себе. О своем он уже не думал, а лишь сильнее, как и все вокруг, с кем он шел, вбирал в себя это необъяснимое, захватывавшее его чувство чего-то значи-

тельного, о чем в просторечии говорят всем народом и что не в абстрактном понятии этих слов, а в наглядном, материальном проявлении было перед ним. «Как же я забыл»,— думал он, продолжая брезгливо морщиться уже оттого, что позволил себе не придать значения тому, что было важно для народа.

До начала церемонии оставалось еще около часа, но и улица Горького и прилегавшие к Белорусскому вокзалу (и Ленинградское шоссе до кольцевой дороги) — все было заполнено людьми. Казалось, вся Москва высыпала посмотреть, как будут (с воинскими почестями) провозить останки бойца, отдавшего жизнь за оборону столицы, и любопытство это было иным, чем то, какое владело москвичами, когда они встречали де Голля. Это было сознание сопричастности с тем историческим делом, которое, несмотря на двадцатипятилетнюю давность, жило в народе. На лицах всех светилось это выражение сопричастности, как будто не было прошлого, не было настоящего, а было только одно целое, что называется жизнь. У Кудасова, оказавшегося среди всех этих заиндевелых шапок, воротников и спин, среди толпы, то начинавшей напирать, словно что-то уже появилось на дороге, то сдерживаемой кордоном краснощеких солдат с карабинами и подающейся назад, было вначале только одно странное чувство — что он уже однажды видел это. «Но где? Когда?» — думал он, в то время как в памяти возникало что-то связанное с вокзалом, что он, разгребая наслоения всех последующих событий в себе, старался вспомнить. Он был на Казанском вокзале в октябре сорок первого, в тот самый день, когда панический слух, что Москва будет сдана, достиг предела и когда те, у кого не хватило мужества пойти в ополчение, ринулись на вокзалы — с чемоданами, узлами, давя и топча друг друга,— чтобы спасти свои жизни. Кудасов, уезжавший по делам службы в Тегеран и затем в Алжир, был именно в этот день на Казанском вокзале. Он шел к поезду по тесному сквозь толпу коридору, солдаты сдерживали народ, и было что-то неповторимо ужасное в паническом крике людей, прорывавшихся сквозь солдатскую шеренгу. Он втягивал голову в плечи, чтобы не видеть и не слышать ничего, и по этому на миг охватившему его сейчас воспоминанию невольно съежился, будто кто-то хотел схватить за плечи его. Но ни криков, ни

коридора сквозь толпу не было; была только одна сплошная масса народа, старавшегося увидеть что-то, что было за передними рядами, на площади, и куда невольно, подогреваемый этим общим интересом, старался протиснуться Кудасов. На площади уже был военный оркестр, стояли солдаты в парадной форме из роты почетного караула и герои боев за Москву, уходившие в сорок первом с этой же площади оборонять столицу. Кудасов протискивался, чтобы увидеть именно этих защитников Москвы, которые — кто в шинелях, сохраненных с войны, кто в гражданском (их было больше) — уже выстраивались в колонну перед трибуной, увидеть броневик и орудийный лафет, на котором повезут прах неизвестного солдата к кремлевской стене, и знаменитых маршалов — Жукова, Рокоссовского, Конева, Еременко, Баграмяна,— которые вот-вот должны были появиться на площади.

Когда Кудасов с выбившимся из-под пальто шарфом и с раскрасневшимся лицом протиснулся наконец к тому месту, откуда можно было видеть все, со стороны улицы Горького втягивалась на площадь вереница военных машин с венками и лентами.

«От ЦК КПСС»,
«От Совета Министров СССР»,
«От Президиума Верховного Совета СССР»,
«От исполкома Моссовета»,
«От трудящихся Можайского района»,
«От воинов гвардейской Таманской дивизии» — было на лентах.

Но со стороны Ленинградского шоссе еще не появлялась колонна.

На сорок первом километре этого шоссе, под Зеленоградом, еще только доставали из братской могилы останки того, кому предназначались венки, и чувство тех, кто стоял у раскрытой могилы (как будто раскрыта была общая рана войны) и с осторожностью поднимал серые оголенные кости, становившиеся с этой минуты святынею народной славы,— чувство этих немногих, бывших у могилы, незримо передавалось народу, запрудившему площадь и улицы. Кудасов, всегда полагавший, что он понимал страдания и славу народа и жил ими, испытывал теперь новое и сильное чувство любви к тому, что он называл — народ; и он неосознанно радовался этому новому чувству, как будто и в самом деле

не тогда, а теперь, именно теперь жил страданиями и славой народа и понимал их.

Колонны все еще не было, и чем дольше длилось ожидание, тем заметнее было между людьми это ощущение общей раскрытой раны войны. Но никто пока не снимал шапок, и не было слез и склоненных голов; в ожидании главного события, как и бывает обычно, люди еще развлекались теми мелкими житейскими сценками, которые происходили то в одном, то в другом месте. То внимание всех привлекал выбежавший на неположенное пространство мальчик, которого под смех и улыбки солдат и шутливое подбадривание толпы ловила и не могла поймать бросившаяся за ним мать; то все вдруг оборачивались на шум и возню, возникшую где-то в задних рядах, и затем опять смотрели на пытавшегося перебежать улицу неудачника, которого блюстители порядка, остановив, просили вернуться на место. Но среди этих сопутствующих главному мелочей, всегда возникающих при скоплении народа, Кудасова особенно привлекло одно обстоятельство. К однорукому полковнику, стоявшему в первом ряду колонны защитников Москвы, подбежала прорвавшаяся сквозь цепь солдат молодая женщина и принялась завязывать на его шее шарф и прятать концы под шинель, чтобы не было видно их, и вся огромная стена народа притихла, наблюдая это. Что-то, как в прелюдии к тому главному, чего ожидали все, было в этой простой женской заботливости.

— Ишь ты, ишь как, — ласково сказал кто-то позади Кудасова, на кого он сейчас же оглянулся.

Полковник без руки был Сергей Иванович Коростелев, а молодая женщина, укутывавшая его шарфом, была его дочь Наташа, на которую смотрели сейчас тысячи людских глаз.

XLII

Проведя ночь в душевном расстройстве и не сказав ничего Наташе о своих мыслях о ней, когда она на другой день пришла, Сергей Иванович вскоре после этого заболел гриппом, около двух недель пролежал в постели, был слаб и не выходил из дома, когда неожиданно получил через военкомат приглашение на захоронение останков неизвестного солдата у кремлевской стены, в котором принимал участие теперь. Он обрадовался при-

глашению больше, чем радовался ответу Георгадзе на свой запрос, и на слова Наташи, что она не пустит его, что он может получить воспаление легких (так говорил врач, опасавшийся осложнений после гриппа), решительно заявил, что он еще в строю и что, следовательно, должен быть там, где приказано быть ему.

— Это же моя жизнь, — сказал он Наташе, не выпуская из рук приглашения и глядя на дочь так, будто и в самом деле принимал какое-то историческое решение. — Я ждал этого дня.

— Но тебе нельзя.

— Кто сказал? Кто и что может сказать обо мне? Ты знаешь, через что я прошел? Смерти? Нет. Пули, осколки? Нет. Танки, давящие людей? Нет. Есть другое измерение всему. — И он, разволновавшись, пересказал Наташе все те новые мысли о войне (и об усилиях народа в ней), какие он теперь намеревался вложить в свои мемуары. — А ты говоришь, нельзя, — заключил он, садясь подле нее. — Нет, я не могу в такой день оставаться дома, не вправе, и только еще сильнее заболею, — добавил Сергей Иванович, выразив то, что он действительно чувствовал в эти минуты. К нему как будто вернулись годы, когда он был молодым, сильным и когда от его распоряжений зависели судьбы людей (судьба общего дела, как он старался подчеркнуть теперь). Он растроганно смотрел на Наташу и не только не думал, что должен что-то простить ей, но ему и в голову не приходило, чтобы можно было что-то иметь против нее. В том, что она была с ним, как и в приглашении, которое он все еще держал в руках, он находил для себя то важное, что вновь делало его жизнь осмысленной и нужной; с него как будто сразу снимались два мучивших его вопроса: вопрос о памятнике (что было теперь решением правительства, то есть тем, что подтверждало Сергею Ивановичу, как верно он понимал жизнь) и вопрос его отношений с дочерью, который сам собою, будто без усилий, безуспешно принимавшихся им раньше, пришел к завершению.

Он видел, что Наташа переменилась к нему во время его болезни, когда приходила подменить Никитичну, оставалась на ночь и принималась наводить в доме тот порядок (как было при Юлии, ее матери), который более, чем все выписывавшиеся Сергею Ивановичу лекарства, благотворно действовал на него. Он не спрашивал

у нее, как было с Арсением, но по этой именно перемене ее полагал, что все шло к благополучному завершению, как и предсказывал Кошелев. Он радовался за дочь, что она успокоилась и подобрела, искренне веря, что все это именно от его болезни и предстоявшего оправдания Арсения. Но то, что происходило с Наташей в действительности, имело совсем иные причины. Познакомившись у Дружниковых со Станиславом Стоцветовым, она затем (в его доме) была представлена его брату Александру, тому самому умевшему всегда только «оскандалиться в обществе» (как охарактеризовал его Тимонин), которого видела в Доме журналистов, не поняв тогда ни его раздражительности, ни его слов относительно народа и осудив (вместе с Тимониным) его, но через которого теперь была введена в тот круг новых знакомых, в то общество, как было приятнее говорить ей, в котором было как будто и все то, что было у Лусо, Карнауховых и Дружниковых, и было еще что-то целенаправленное, относящееся к общей жизни людей, чего Наташа пока еще не понимала, но чувствовала, что целенаправленность эта не расходилась с ее прежними, воспринятыми от родителей взглядами на жизнь. Наташа ухаживала за отцом и заставляла себя думать об Арсении, чтобы заглушить это новое чувство. «Нет, я не могу допустить, чтобы он был еще более несчастен», — говорила она себе, веря в то, о чем говорила, и через минуту ловя себя на том, что думает не о муже.

Накануне того дня, когда должно было происходить захоронение останков неизвестного солдата, все в доме Коростелевых были заняты сборами Сергея Ивановича. И Наташе и Никитичне хотелось, чтобы он (он имел право на ношение военной формы) во всем парадном появился на площади, и за суетою этих сборов некогда было им подумать о своем. Сергей Иванович был доволен дочерью. Наташа была довольна тем, что у нее было о ком позаботиться (больной отец), и она с удовольствием отдавалась этим заботам. Никитична же, всегда говорившая, что нельзя, чтобы между родными не было согласия, со счастливым выражением смотрела то на Сергея Ивановича, то на Наташу и несколько раз тем движением, которое она хотела скрыть от них, крестила их и благодарила его (то есть бога, в которого она не верила), что он совершил это чудо, дав душевное успокоение отцу и дочери. «Мыслимое ли дело так-то жить,—

рассудительно говорила она, вспоминая мучения Сергея Ивановича. — Спохватишься, да поздно будет. — Она переводила взгляд на Наташу. — Все готова будешь отдать, да некому. За добро добром отплачивается, а за бездушие — мукой».

— Господи, исколешься вся, — следя за стараниями Наташи, перешивавшей пуговицы на кителе отца, сказала она. — Давай-ка уж мне, мне-то привычней. — И, отстранив Наташу и подслеповато склонившись над пуговицей и бортом кителя, который был теперь у нее в руках (и еще более неловко, чем только что Наташа), принялась за дело.

Она не могла оставаться без работы, когда все вокруг были заняты. Перешив пуговицы на кителе и затем на шинели (по теперешней, особенно после болезни, худобе Сергея Ивановича), точно так же Никитична не допустила Наташу и к утюгу и, прыская изо рта водой на марлю, колдовала сперва над кителем, потом над брюками и шинелью, о которой Сергей Иванович сказал:

— Да разве ее гладят?

— А как же, все гладят, — возразила Никитична. — Перед народом будешь, тысяча глаз, как же не гладят, все гладят, — подтвердила она, стараясь придать этим своим словам то второе значение, какого она не умела по-иному выразить и какое испытывала, глядя на него и Наташу.

Утром 3 декабря все еще более были заняты сборами и, не выходя из дому, а лишь по настроению, какое было у Сергея Ивановича и передавалось им, были так возбуждены, словно событие (для чего они наряжали его) должно было изменить что-то в судьбе Наташи и судьбах Никитичны и Сергея Ивановича. Каким образом могло произойти это, было неясно. Неясно было и то, что могло измениться. Но чувство, что произойдет что-то, было; было сознание какого-то будто обновления, наступившего уже для них, и Наташа своим непривычно шумным голосом особенно подтверждала это.

— Ну орденов-то, орденов! — восклицала Никитична, всплескивая руками, в то время как Сергей Иванович со всеми своими боевыми наградами, прикрепленными к кителю, помолодевший даже будто (несмотря на болезненный вид лица и пот, постоянно проступавший то на лбу, то над верхней губой), стоял посреди комнаты, оглядываемый Наташей, обходившей его со всех сторон,

— Может, не надо? Все равно под шинелью не видно. — Он пытался возразить не потому, что хотел снять ордена и медали; ордена и медали эти, полученные им в боях, он чувствовал, теплили грудь, но то подсознательное, что после похорон Юлии, совсем еще будто недавних, и похорон матери, Елизаветы Григорьевны, с кем он делил радость, рано еще было надевать их,— подсознательное это (о чем он даже не думал сейчас) как раз и вызвало в нем неловкость, как будто и в самом деле было что-то нескромное или нехорошее в том, что он делал.

— Нет, без орденов нельзя, — убеждала его Наташа. — Ты же сам говорил, что в этом твоя жизнь. — И, не желая больше слушать его, принималась опять поправлять на груди его неровно прикрепленные (ею же) медали.

Суета сборов так закружила и Наташу и Никитичну, что, когда все вышли из дому, оказалось, что шерстяной шарф, приготовленный для Сергея Ивановича на стуле в прихожей, так и остался лежать там. Но обнаружилось это не сразу. Лишь когда подходили уже к площади Белорусского вокзала, Наташа вдруг заметила, что у отца раскрыта грудь.

— Как же так! — изумилась она, укоризненно взглянув на Никитичну.— Да и сам-то ты ну как дитя малое,— с тем присвоенным правом на старшинство и опеку, как она привыкла обращаться с отцом во время его болезни, сказала Наташа. Ей доставляло радость заботиться о нем, и она, выговаривая теперь отцу за его беспомощность, не только, в сущности, не сердилась на него, но была даже благодарна, что он предоставлял ей возможность проявить себя. — Может быть, мой, — предложила она, снимая с себя шарф. — Хотя нет, я лучше сбегаю и принесу, — сказала она (по тому непроизвольному чувству из двух возможных вариантов сделать добро выбирала тот, что был труднее).

Когда с шарфом в руках Наташа вернулась на площадь, народу было так много, что она долго не могла понять, где ей искать отца. Ей подсказали, что бывшие защитники Москвы собираются в центре площади, у трибуны, и она начала пробиваться туда. Она действовала так решительно, что прорвалась не только сквозь толпу, но и сквозь солдат, хотевших остановить ее, и с притворно нахмуренным и счастливым выражением встала перед отцом.

— Ну вот, наконец. Дитя, господи, дитя, — проговорила она, повторив затем несколько раз это будто понравившееся ей слово «дитя», в котором соединены были для нее, как нити, сходящиеся в узле, все делавшие ее счастливой чувства к отцу. То неясно ожидавшееся ею обновление, что оно произойдет с ней, отцом и Никитичной, — обновление это было в ее теперешнем взволнованном состоянии и готовности, если надо, снова пожертвовать собой, в быстро и ловко работавших пальцах и в том нежном взгляде, каким она (как она смотрела на Арсения, когда собиралась за него замуж) смотрела на отца. Ей не важно было, что тысячи глаз наблюдали за ней; все не касавшееся ее было за чертой ее восприятия, и она прислушивалась только к тому, что происходило в ней и делало ее уверенной и счастливой. — Как я только согласилась пустить тебя, не ворочайся, не трогай, не поправляй, — твердила она, притворно (и радостно) строжась.

XLIII

Мысли Кудасова о минувшей войне и мысли Сергея Ивановича, пока ожидалась колонна с останками неизвестного солдата, были разными. Наблюдавший за войною из Алжира и не имевший (в силу своей дипломатической миссии) возможности быть на передовой, Кудасов думал о трудностях той поры, исходя не из физических страданий, о которых он только читал и знал, что они были, потому что нет войны без увечий и смертей, но исходя из душевных страданий, что испытал он сам, издалека наблюдая войну, и эти-то душевные страдания и представлялись ему теперь болевым (оголенным) стержнем войны. Он не мог, как ни сильно было его воображение, в правдивых подробностях представить то, чего он не видел; да он и не пытался сделать это, понимая несостоятельность подобных ложных картин, и величие народа (величие этой минуты, приближение которой он чувствовал) виделось ему в величии духа, то есть в том наивысшем, чем наделен человек. Но мысли Сергея Ивановича, перебиваемые настоящими картинами войны — видом крови, трупов, как на всяком поле после сражения,—не были так ясны ему, как Кудасову. Он то охватывал всю войну, то видел только тот волжский лед, по которому во время контрнаступления на

ших войск под Москвой повел роту в атаку и по которому затем везли его, раненного, в медсанбат, и не столько душевное, сколько физическое ощущение боли, когда в медсанбате зондировали рану ему, делало его теперь сопричастным со всем тем общим—и трудностями и славой,— что пережил народ. Воспоминания о тех днях связывались у него еще с письмом Юлии, полученным им как раз в канун контрнаступления, в котором та сообщила, что родилась Наташа, и он невольно поворачивался теперь в ту сторону, куда отошла дочь и где он с трудом (среди толпы) отыскивал ее. «Береги себя и Наташу», — написал он тогда жене. «Береги...» — с грустью повторил он сейчас. Но это личное, заставлявшее страдать его, тут же перестало занимать Сергея Ивановича, как только после шороха, прокатившегося по толпе: «Везут, едут», на площади появилась колонна машин, на одной из которых, украшенной красными и черными траурными полотнищами, был виден гроб с останками неизвестного солдата. С этой минуты Сергей Иванович смотрел только на гроб, который с осторожностью, передававшейся толпе, будто все были причастны к этой работе, переносили из кузова машины, борта которой были раскрыты, на орудийный лафет. Траурная музыка военного оркестра поднималась над площадью, вбираемая голубизною морозного неба и сердцами людей, без шапок и со склоненными головами стоявших вокруг, и в Сергее Ивановиче, как в сотнях других участников и не участников войны (как и в Кудасове, мысли которого тоже словно остановились на том, найденном им стержне войны, который он почти физически ощущал теперь), — в Сергее Ивановиче будто оборвалось то, что было о н с а м; он сознавал себя то частью музыки, сжимавшей сердце ему, то частью тех речей, произносившихся с трибуны, содержание которых заключалось для него не в словах, а в каком-то будто заложенном в звучании их смысле, то частью славы, какою будто веяло от маршалов, во всем парадном проходивших к трибуне, то частью тех воинских почестей, какие отдавались теперь останкам неизвестного солдата. Кем и сколько было произнесено речей, он не помнил, как не помнил, сколько времени длилась эта предварявшая главное церемония на площади у Белорусского вокзала; он только вдруг почувствовал, что уже не стоит, а идет за орудийным лафетом и гробом, укрытым венками, что по обе

стороны лафета и гроба солдаты из роты почетного караула и что впереди и позади по всей улице Горького — стена людей, многие из которых плакали.

На Манежной площади, куда спустилась торжественно-траурная процессия, было еще больше народа. Как хлеба в безветрии, стояло это нешелохнувшееся поле людей, когда машины с венками, предварявшие шествие, начали одна за другой подъезжать к решетке Александровского сада и к Историческому музею; и словно подчиняясь этой общей тишине, торжественно, траурно и спокойно опускались знамена красными волнами над площадью. Казалось, что и музыка звучала теперь приглушеннее, в то время как траурная процессия, вытянувшись, замерла перед трибуной, на которую уже поднялись партийные руководители, члены правительства. Ими владело то же чувство, что и народом, и только теле- и кинорепортеры с присущей им торопливостью (чтобы сохранить для истории этот день), с какою они снимают и ведут репортажи отовсюду, куда посылают их (и с какою, погибая, запечатлевали на пленках детали войны), делали свое привычное дело, перетаскивая и нацеливая камеры, суетясь и видя для себя важность наступающей минуты только в том, чтобы не опоздать и не упустить что-либо.

В сознании Сергея Ивановича между тем, как это случилось с ним и на площади Белорусского вокзала, вновь наступил будто провал. Он смотрел перед собой, но видел только орудийный лафет и гроб с венками. Со стороны Александровского сада из толпы несколько раз приветственно помахал ему рукой Борис Лукьянов, узнавший его.

— Дядя мой, ты его видел, помнишь, когда отца провожали... Вон, вон он стоит,— говорил затем Борис Матвею Кошелеву, бывшему рядом с ним.

Делал приветственные знаки Сергею Ивановичу и Кирилл Старцев, в ондатровой шапке стоявший недалеко от трибуны, и, будто прибавляя это к полученному им праву стоять возле трибуны, говорил всем:

— Рейхстаг вместе брали. Вон, вон, полковник без руки.

Музыка стихла. С трибуны зазвучали речи. Потом (та самая минута, с которой опять способность воспринимать все как будто вернулась к Сергею Ивановичу) гроб с останками неизвестного солдата, поднятый на

плечи тех, кому выпала честь нести его, медленно поплыл к воротам Александровского сада и кремлевской стене. Ударили залпы пушек, и гроб опустили в могилу. Кто-то бросил на крышку гроба первую горсть земли. Потом еще, еще, пока вся могила не заполнилась ею. За спинами засыпавших не было видно, как они делали это. Но когда они расступились, над только что будто зиявшей раной было натянуто огромное красное покрывало. Покрывало сняли, и все увидели белую мраморную плиту, по которой золотыми буквами было выведено: «Здесь будет сооружен памятник — могила неизвестного солдата и зажжен вечный огонь славы». Оркестр заиграл гимн, и все стоявшие на площади как будто замерли — и от торжественных звуков гимна, и, главное, от величия этой минуты, какую переживала страна. Рана, нанесенная народу войной, вечным рубцом оставалась жить на теле его. В глазах людей стояли слезы. Под пережитым подводилась черта, и всем казалось (по силе испытанных ими чувств), что такого уже не может повториться, что человеческий разум одержит наконец верх над безумием.

К могиле понесли венки, и над белой плитой с надписью, закрывая ее, и над всей могилой выросла гора цветов. У подножия ее установили еще одну мраморную плиту. По ней надпись:

«ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН.

1941 павшим за Родину 1945».

Для Сергея Ивановича, уже далеко за полдень вернувшегося домой, все это увиденное и пережитое было как во сне: и минуты захоронения, и торжественные минуты парада, когда перед свежею еще могилой, перед горою венков и трибуной, на которой стояли руководители партии, члены правительства, прославленные полководцы Великой Отечественной войны, проходили маршем слушатели военных академий, моряки, пограничники, суворовцы. Метавшийся в поисках того, что он потерял и что надо было найти ему (как он говорил об этом шурину в деревне), он чувствовал, что он знал теперь, что ему делать в жизни; знал не в том конкретном значении этого слова, но в ином — что впереди был свет и что он уже не потеряет из виду этот свет и будет идти

и идти к нему, сколько бы трудностей ни пришлось вновь испытать ему. То, что понимал сейчас Сергей Иванович, он понимал душой; и он, расстегивая заледеневшими пальцами правой (и единственной у него) руки шинель, впервые за все последние месяцы улыбался той спокойной улыбкой, которую, казалось, невозможно было стереть с его болезненно-бледного лица.

— Наташа где? — спросил он у Никитичны, пришедшей раньше его и хлопотавшей на кухне.

— Сказала, только забежит к себе и придет.

— А-а, ну хорошо, хорошо, — ответил Сергей Иванович, продолжая улыбаться, тогда как в эти самые минуты Наташа, доставшая из почтового ящика открытку, извещавшую ее о том, что суд над Арсением назначен на середину декабря, стояла в своей новой квартире у окна, держа открытку в руках и не зная, радоваться или огорчаться ей. Она, как и Сергей Иванович, была счастлива в этот день; но известие о суде, которого она еще недавно так ждала, — известие это не входило в круг ее теперешнего счастья, а только разбивало его, и ей было грустно и не хотелось идти к отцу.

Конец третьей книги

СВОЯ ДОРОГА

«Ни разу ни один из моих персонажей не закрывает окна, не моет рук, не натягивает пальто, не произносит при знакомстве традиционной формулы», — утверждал Марсель Пруст. Не будем спорить с французским классиком, согласимся только, что когда герои книг только тем и занимаются, что моют руки, закрывают или открывают окна, смотрят друг на друга или вдаль, обмениваются едва ли не каждый раз только традиционными формулами, когда автор стремится во что бы то ни стало воссоздать на страницах книги некое жизнеподобие, не вдаваясь в движения души героев, представить нам лишь внешнюю оболочку Жизни, а не ее существо — тогда его книга имеет всю видимость книги, но непонятно одно — зачем она написана? Что нам хотели сказать? Что иногда идет дождь, а иногда снег, а иногда светит солнце? Что люди бывают грустные, усталые, веселые, работящие, ленивые, честные, подлые, злые, маленькие, большие, умные, глупые? Но ведь когда мы имеем перед собой лишь подобие Жизни, а не ее существо — все это никоим образом не проходит через наше сердце, не задевает его. Как говорил Флобер: «Первейший долг романиста: открывать новое». Это мало кому удается, но это единственное из главных условий, без которого нет и не может быть живых персонажей, живых, а не картонных, что совсем не одно и то же. Я привел этот пассаж не из праздного злословья, а потому, что нынче выбрасывается ежедневно на книжный рынок такое обилие книг и так возрос общий уровень гладкописания, что порой и неясно читателю, кто идет своей дорогой, а кто имитирует творчество, не в силах вдохнуть в свое детище ни поэзию живой души, ни философию живой мысли.

В последние десятилетия было много споров о жизнеспособности романа. Хотя эти споры вроде бы ничем не кончились, они были очень полезны. Полезны прежде всего тем, что многие большие художники (от Михаила Шолохова до Франсуа Мориака) высказались в пользу романа, как неумирающей формы, высеченной из времени. Еще раз было авторитетно подтверждено самыми различными и самыми крупными художниками нашего века, что роман — самая плодотворная форма отражения действительности, что главное в нем — притягательное чувство жизни, что он помогает человеку противостоять судьбе, пробуждает милосердие и надежды, призывает людей к сплочению, служит делу поддержания жизни, а лучшие из романов несут в себе свет, способный осветить путь не одному поколению человечества.

Все душевные и физические силы всегда обреченного на поражение, но всегда надеющегося на чудо романиста направлены на то, чтобы высечь свое творение из цельного куска времени, как из глыбы гранита. В каком смысле я говорю о неминуемом поражении? Только в том, что изобразить реальную жизнь во всей полноте ее связей невозможно даже теоретически, как бы ни был гениален писатель и как бы полифонично ни было его произведение, а ведь именно к этому восходит сверхзадача всякого подлинного мастера. Но тут ничего не поделаешь, так уж устроен человек, что притязания его всегда непомерно велики и, может быть, в этом залог вечного движения вперед к недостигнутому или недостижимому, но все-таки — вперед!

Нет сомнений, что именно это максимальное напряжение воли и духа владело многими из тех художников, чьими усилиями был создан материк, который мы называем сегодня — советский роман. Он, этот роман, реально существует, живет в духовном сознании как советских, так и зарубежных читателей, и вряд ли нужно перечислять имена создателей того богатства, которым мы владеем. Отдельного разговора заслуживает роман, посвященный современности, — создать его по-особому сложно, но и потребность в нем наивысшая. Среди тех многих и разных современных прозаиков, чье творчество дает простор для наблюдений и размышлений о современном романе, — советский писатель Анатолий Ананьев.

Как романист Анатолий Ананьев дебютировал почти двадцать лет назад и уже прочно вошел в сознание не только русских читателей, его романы увидели свет на французском, немецком, испанском, украинском, чешском, польском, литовском, сербском, хорватском, болгарском, венгерском и некоторых других языках мира.

Вокруг романов Анатолия Ананьева не было шумных дискуссий, хотя и нельзя сказать, что они обойдены вниманием критики. Не секрет, что порой дискуссии рождаются, когда одна сторона говорит: «Дождь!», а другая: «Нет. Ветер!». Тогда как на самом деле на дворе идет дождь с ветром и обе стороны не лгут, хотя и не говорят всей правды, но если сразу признать объективную реальность — не получится некоторых дискуссий. В романах Анатолия Ананьева, продолжая начатое сравнение, есть и дождь, и ветер, и солнце, и затишье перед бурей, и сама буря, и героизм, и будничность, и монотонность, и яркость красок, словом, всего здесь намешано, и для дискуссий это очень неудобно. Да еще к тому же трудно определить: пишет Анатолий Ананьев «деревенскую прозу» (вырос в деревне, по специальности агроном), или «городскую прозу» (давно ведь горожанин, тем более за плечами богатый опыт фельетониста-газетчика), или, наконец, пишет он «военную прозу» (тут уж, как говорится, ему сам бог велел — семнадцатилетним младшим лейтенантом-артиллеристом принял он свой первый бой на Курской дуге, ранен, контужен, награжден, дошел почти до самого Берлина. Плюс к этому и отец, и дед его были солдатами). Увы, ни того, ни другого, ни третьего Ананьев не пишет, и вместе с тем — и то, и другое, и третье, так что волей-неволей приходится признать, что он пишет просто прозу, русскую прозу, которая в лучших своих проявлениях всегда была чужда внутривидовой тенденциозности. Она, эта проза, хотя и неудобна для расфасовывания духовной пищи, но необходима читателям, склонным к самостоятельной работе мысли, честно стремящимся к познанию бесценного для каждого человека его собственного «я», читателям, не заленившимся душой, не успокоившимся в том смысле, о котором Лев Николаевич Толстой говорил, что спокойствие — это душевная подлость.

«Я думал, как сложна человеческая жизнь, сколько в ней зла и сколько добра, приносящих страдания и радость людям, и какою нужно обладать силою, чтобы вот так, как Евгений Иванович, не растерять с годами лучшие чувства, какие, впрочем, есть в каждом из нас, иногда разбуженные, иногда неразбуженные, иногда придавленные судьбой. «Взял и приехал, — рассуждал я, еще и еще возвращаясь мыслью к Евгению Ивановичу,— и все как будто просто. Да со злом ли в себе он боролся? Нет. Он не давал успокоиться своей душе». Я невольно примерял свою жизнь к жизни Евгения Ивановича и с грустью думал, что сам я ничего, в

сущности, не сделал из того, что мог бы сделать хорошего в жизни людям»,— размышляет герой романа «Версты любви» Алексей Петрович Пономарев, расставаясь с случайно встретившимся ему в командировке Евгением Ивановичем Федосовым, человеком по первому впечатлению странным, а на самом деле (к этому выводу приходит после серьезных раздумий и сам Алексей Петрович) — по-настоящему живым, чувствующим чужую боль почти как свою и, по мере своих возможностей, пытающимся эту чужую боль облегчить.

На мой взгляд, одной из главных удач этого многосложного и очень искреннего романа Анатолия Ананьева явилось то, что он сумел показать Федосова не сверхдобродетельным святошей и не, если можно так сказать, еще одной вариацией на тему «князь Мышкин», а в общем-то довольно обыкновенной личностью, просветленной любовью, черпающей именно в любви свою силу, именно ею поднятой на достойную человека высоту; и с этой высоты, довольно «просто» решающей казалось бы неразрешимые житейские задачи.

Жизнь и скитания Федосова, его откровенный рассказ-размышление заставили Алексея Петровича Пономарева взглянуть на себя как бы со стороны, с большей степенью беспристрастности. Есть в судьбе каждого человека ключевое событие, от которого во многом зависит и его дальнейшая жизнь, и формирование его характера. Как правило, такие события случаются с нами в детстве или юности, гораздо реже в зрелые годы. Если это случается в зрелые годы, то чаще всего происходит резкий слом характера, переход из одной крайности в другую. В романе «Версты любви» взят вариант, наиболее типичный для судьбы человека. Например, таким ключевым событием для судьбы Федосова была его встреча с Ксенией. Накануне девятнадцатилетний лейтенант Федосов провел самый удачный в своей фронтовой жизни бой с фашистскими самоходками за село Гольцы. Встреча с замечательной, чистой Ксенией принесла ему несчастливую любовь, которая осветила его дальнейшие скитания, сделала их верстами любви. В свои девятнадцать лет более молодой по году рождения Алексей Пономарев, будучи агрономом в селе Долгушино, сошелся в поединке с матерым мироедом Степаном Филимоновичем Моштаковым и его семейкой, прибравшей к рукам не только Долгушино, но и многое другое в районе. Пономарев потерпел поражение, Моштаковы обвели его вокруг пальца, одурачили перед всеми, фактически выкинули из занятой ими грядки, как сорную траву, вырвав с корнем. «Зло живет в людях, и оно страшно тем, что зачастую добро оказывается бессильным перед ним. Вы скажете, что все это не так, что наказаны же и Моштаковы, и Андрей Николаевич. Верно, наказаны, но прежде был ими наказан я, и, знаете, иногда отрубают голову, а иногда, и это невидимо для других, отрубают душу, и ты уже опустошен на всю жизнь» — так определит потом итог этого давнего своего поединка со злом Алексей Петрович Пономарев, благополучный работник столичного главка, инспектирующий по долгу службы колхозы, благополучный семьянин, вроде бы благополучный гражданин, во всяком случае нигде за ним не проглядывает никаких явных грешков. Вроде бы его не за что и осудить, но он сам себе судья, ибо осознает, что, видимо, жил не так, как мог бы жить, не в полную силу нравственной и гражданской активности, которая была ему по плечу. Собственно, этими размышлениями Пономарева, которые я приводил выше, и заканчивается роман. Почти заканчивается. И мог

бы вполне закончиться, но Анатолий Ананьев, со свойственной ему резкостью и, я бы сказал, творческим бесстрашием, делает еще один, новый сюжетный ход: открыв дверь в свое купе, уезжающий из Калинковичей Пономарев вдруг видит своего заклятого врага — бывшего начальника районного земельного отдела, зятя старика Моштакова, Андрея Николаевича, того самого, что кидал в него на ночной реке поленьями, чтобы «попужать». Таким образом писатель как бы дает возможность своему герою отыграться, и мы верим, что теперь Пономарев непременно победит.

Борьбе за торжество правды не только в душе отдельного человека, но и в обществе посвящена жизнь героя романа «Межа» Николая Богатенкова. Как и Алексей Пономарев, Николай Богатенков тоже сталкивается с мироедом, но его столкновение с Минаевым носит несколько другой оттенок, нежели столкновение Пономарева и Моштакова. Здесь нет той определенности, здесь все гораздо запутаннее, тоньше, сложнее, значимее. Минаев умен, знает, чем жив человек и что ему надо, он вроде бы тоже борется за торжество правды не только в душе отдельного человека, но и в обществе, но при этом почему-то хранит у себя под избой еще со времен гражданской войны боеприпасы и оружие, на всякий случай... ждет своего часа. Не дождался и не дождется, но Николай Богатенков пострадал от взрыва минаевских боеприпасов, и в этом смысле они не пропали даром. Ничто на этом свете не пропадает — ни хорошее, ни плохое — все отзовется рано или поздно. Можно сказать, что эта мысль одна из главных во всех романах Анатолия Ананьева.

Не менее напряженной духовной жизнью, чем Алексей Пономарев и Евгений Иванович Федосов («Версты любви»), чем Николай Богатенков и Егор Ковалев («Межа»), живут и герои романа «Танки идут ромбом» подполковник Табола, капитан Пашенцев, лейтенант Володин. Конечно, по сравнению с героями «Межи» или «Верст любви» их общественное положение и предназначение более определенно: у них у всех один явный враг, враг смертельный, и перед ними стоит одна задача — уничтожить его физически. Русской литературе повезло на писателей-артиллеристов: не говоря уже о Льве Николаевиче Толстом, достаточно вспомнить писателей наших дней — Юрия Бондарева, Григория Бакланова, Василия Быкова. Анатолий Ананьев со своим первым романом «Танки идут ромбом» с ходу вписался в этот ряд писателей, создавших правдивые, талантливые книги о Великой Отечественной войне. С выходом в свет романа сразу же стало ясно, что пришел прозаик со своим миром, своим голосом, своей болью и своим пониманием предназначения литературы.

В романах «Танки идут ромбом», «Межа», «Версты любви» много общего. В них есть та структурная однородность, которая всегда отличает работы подлинно оригинального мастера, есть круг заветных мыслей, образов, идей, которые, собственно, и создают магнитное поле не какой-то безличной, а именно ананьевской прозы. Главной чертой этой прозы мне представляется ее духовность, умение писателя видеть за поступками и словами своих героев движения их души, кстати сказать, не всегда согласующиеся с этими поступками и словами в прямой зависимости А. Ананьев — писатель активной гражданской позиции, он верит в воспитательную миссию литературы, и чувство ответственности определяет его лицо.

Анатолия Ананьева порой упрекают в «излишней драматиза-

ции» его романов. Что можно ответить на этот упрек? Да, в романах Анатолия Ананьева много людей умирает. Некоторые люди в его романах получают увечья, не так часто, как это случается в жизни, но все-таки получают. Что же делать? Не знаю. Так же, как и не знаю, почему смерть того или иного героя — «беллетристический нажим». А если уж говорить о жизни и литературе в сравнительном сопоставлении, то придется признать, что законы управляемости отдельной человеческой судьбы имеют мало общего с логикой развития судеб литературных героев. И Анатолий Ананьев очень хорошо это знает, чувствует, и именно это знание, кажется, пугает критиков. Конечно, трус майор Грива из романа «Танки идут ромбом», торжествующий якобы свою победу в бою, мог бы не подходить к подбитому немецкому танку и не похлопывать его панибратски по холодной броне и по короткому стволу пулемета, который, казалось, был ему теперь не страшен, и тогда бы он остался жив. Ксения из романа «Версты любви» могла бы и не прыгать с крыши и тогда бы не получила увечья. Могли бы и не палить свинью на соседнем дворе, и тогда не загорелась бы минаевская изба и не пострадал так тяжело Николай Богатенков из романа «Межа». Не будь в романах Ананьева подобных случайностей, они были бы более гладкими, ровными, в них было бы больше той литературной степенности, о которой часто пекутся критики и которая почему-то считается признаком хорошего тона. Но тогда, не будь всего этого, в романах Ананьева не было бы и того присутствия тайны жизни и смерти, которое есть сейчас и которое, на мой взгляд, бесценно. Это тем более важно, что А. Ананьев пишет не внешние приметы событий, а духовную жизнь своих героев. Именно это стремление к постижению духовной жизни наших современников делает романы Ананьева остросовременными, остросоциальными по своей сути.

«В характере людей так ли, иначе ли, но всегда отражается характер времени, в какое они живут» — эта простая и верная, как формула, мысль Анатолия Ананьева, высказанная им в романе «Годы без войны», во многом определяет авторский взгляд на жизнь. Именно в этой взаимосвязанности общего и частного видится мне основа того принципа многомерного изображения действительности, который дорог писателю не только потому, что определяет его стиль, но и потому, что он, этот принцип, продиктован его мировоззрением. В новом романе Анатолий Ананьев безусловно продолжает целый ряд тех духовных силовых линий, что занимали его в романах «Танки идут ромбом», «Версты любви», «Межа».

Особенно интересно в этом смысле начало второй книги романа «Годы без войны» — подробное описание событий весны и лета 1966 года. Почему писатель выбрал именно этот, столь короткий отрезок времени, случаен ли его выбор? Нет, не случаен. Выбор сделан не только сознательно, но, я бы даже сказал, подчеркнуто сознательно. Вот что пишет об этом времени сам автор: «Несмотря на дела частные, какие всегда происходили и будут происходить в отдельных семьях (у Галины ли с Лукиным, у Наташи и Арсения, у Дементия, Виталины, Дорогомилина, старого Сухогрудова, или профессора Лусо и тех, кто так ли, иначе ли связан с их домами и деятельностью), есть общенародная, государственная жизнь, где все частное растворено и подчинено одной общей цели. Цель эта — всеобщее благополучие, и движение к ней лежит через цепь событий, к которым привлекается внимание всех людей. Для москвичей вес-

ной этого года событием таким было прибытие с официальным визитом в Советский Союз президента Французской Республики генерала Шарля де Голля». Развивая далее свою мысль, писатель отвлекается от времени действия романа, становится на позиции сегодняшнего дня и уже с этих, новых высот оценивает описываемое им событие во всей его объективной исторической полноте. Он пишет о том, что в те дни визита в Москву генерала де Голля мало кто предполагал, что именно с этой встречи на высшем уровне начался по инициативе Советского правительства период новой политики дружеских контактов и связей между государствами, политики, которая через десять лет привела мир к подписанию в Хельсинки Заключительного акта по безопасности и сотрудничеству в Европе. Таким образом, свободно перемещаясь из одного временного слоя в другой, Анатолий Ананьев дает нам как бы в едином сплаве прошлое, настоящее и будущее не только своих героев, но и общества, в котором они живут. В этой связи нельзя не заметить, что роман «Годы без войны», не будучи романом политическим в прямом значении этого термина, настолько масштабен по общему охвату жизни, что содержит в себе мощную концентрацию основных примет нашей эпохи. В романе действуют люди вроде бы обыкновенные, непричастные к решению задач государственного масштаба (пожалуй, кроме дипломата Кудасова — персонажа второстепенного как в романе, так и в политической жизни), но личное, индивидуальное, глубоко интимное в их жизни воедино переплетается с общегосударственным. При этом не всегда переплетается идиллически. Автор смело идет на заостренное, парадоксальное несовпадение двух, если можно так сказать, амплитуд — тех, что связаны с происходящим вне и внутри человеческой души.

Живой интерес романиста вызывает интеллектуальная жизнь общества. Обращаясь к героям, чьи профессиональные интересы соприкасаются достаточно близко (научные работники, литераторы, дипломаты), Анатолий Ананьев щедро насыщает страницы романа размышлениями о прошлом и будущем России, о сути национальной гордости и национального самосознания, о путях развития современной цивилизации. Круг персонажей, которых объединяет фигура маститого профессора историка Лусо,— широк, но при этом очень неоднороден. Есть среди них и такие, чьи устремления автор едко называет «гуманитарно-патриотическими» и чью деятельность нельзя квалифицировать иначе как иллюзию деятельности, профанацию ее. Романист вкладывает немало сарказма в живописание доморощенных пророков типа аспиранта Никитина, весь духовный багаж и вся шумная слава которых основаны на более чем зыбком фундаменте — на слухах о существовании у них «острой» рукописи, якобы отвергнутой издательствами.

Еще незаконченный роман «Годы без войны» продолжает втягивать под свои своды все новых и новых героев. Развивая намеченные ранее сюжетные линии, Анатолий Ананьев вводит мотивы и коллизии, которые, характеризуя атмосферу и реалии середины шестидесятых годов, непосредственно перекликаются с днем сегодняшним.

Каждый писатель мечтает о своей Большой книге, многие никогда так и не доходят до нее. Думается, что «Годы без войны» для Анатолия Ананьева явятся именно такой работой.

В своем известном эссе «Романист и его персонажи» уже упомянутый выше Франсуа Мориак заметил: «Многое нужно простить писателю за тот риск, на который он постоянно идет. Потому что

писать романы совсем не безопасно. Романист каждый миг ставит на карту свою личность, свое «я». Как рентгенолог подвергает опасности свое тело, так писатель рискует самой целостностью своей личности». Мне кажется, что это суждение применимо только к настоящим романистам, таким, как Анатолий Ананьев,— в его произведениях очень сильна нота личной боли, утраты и борьбы. Видимо, поэтому в нашей критике часто писалось, что романы Ананьева носят автобиографический характер. Думаю, что это неверно. Конечно же, и «Танки идут ромбом», и «Межа», и «Версты любви» опираются на опыт его собственной жизни и произошли в результате сплава впечатлений от пережитого писателем, его мыслей, его фантазии при поддержке не только одного его таланта, но и всего объема уже добытой прежде поэзии и философии, культурного и художественного опыта. И вместе с тем, как остроумно заметил один американский писатель: настоящий роман не более автобиографичен, чем «Приключения Гулливера».

Говоря о самостоятельности того или иного современного художника, мне кажется, надо прежде всего выяснить его зависимость от прославленных мастеров, его способность к преемственности, надо прежде всего ответить на вопрос, какие уроки взял он у классики, в каком русле идет? Но при этом ни в коем случае нельзя сравнивать нового писателя с его любимым классиком, нельзя накладывать его жизнь и его пристрастия на опыт великого мастера — в таком сравнивании всегда есть натяжка и такое сравнивание всегда вызывает раздражение и приносит вред прежде всего писателю, которого сравнивают с классиком, потому что получается невольное противопоставление. Ничуть не лучше, когда нового художника записывают в какую-нибудь школу: «школу Толстого», «школу Чехова», «Школу Бунина», «школу Горького» или, вот совсем свежий пример, «вологодскую школу». Любому всерьез работающему в литературе художнику ясно, что так называемые школы придуманы критиками для удобства раскладывания по полочкам, ибо школы могут существовать только для копиистов, а всякий самобытный художник учится у всего мира и все равно работает по-своему, все равно видит своими глазами, а не через светофильтры — в этом сущность новизны каждого настоящего таланта, залог свежести его взгляда на окружающую жизнь, а значит, и оправданности, и необходимости его существования в ряду других художников, среди которых возвышаются и гиганты-классики. Я думаю, что Пушкин, Лев Толстой, Чехов существуют для нас как звезды, по которым должно ориентироваться в пути, но даже очень хорошие копии их великих творческих достижений бессмысленны, да и невозможны, потому что задача каждого нового писателя — отразить свое время. А время, как известно, не стоит на месте, и каждое следующее мгновение, словно вода в реке — «последняя из той, что утечет, и первая из той, что прибудет...»

«Лев Толстой оказал на меня неизмеримо большее влияние, чем все художники мира»,— это признание Анатолия Ананьева, прозвучавшее в его эссе по поводу стопятидесятилетия со дня рождения великого гения русской и мировой литературы, еще раз подтверждает справедливость мысли о естественной преемственности, свойственной всякому новому настоящему писателю, о том, что у каждого мастера, как правило, есть своя путеводная звезда. Бытует мнение, что художники творят в большей степени по наитию, что они неспособны анализировать литературный процесс, что они пло-

хие мыслители, критики и литературоведы. Я думаю, что это в корне неправильно; насколько мне известно, самые яркие, точные, живые теоретические мысли о литературе высказали сами мастера, а не их оценщики, оценщики, как правило, заняты лишь аранжировкой, которая, впрочем, довольно часто выдается за собственную песню. В этой связи будет уместно заметить, что в своем эссе о Толстом тот же Анатолий Ананьев высказывает целый ряд довольно неожиданных мыслей, хотя и противоречащих школьным канонам, но убедительно свидетельствующих не только о свежести взгляда современного прозаика на творчество великого писателя, но и о глубоком, кровно заинтересованном знании этого творчества. Знаменательно, что, говоря об уроках классики, Анатолий Ананьев перекидывает мостик к современному литературному процессу. «Для нашей критики,— пишет он,— более привычно разбирать образы главных героев тех или иных произведений. Мы часто восхищаемся, и, должно быть, справедливо, когда читаем о герое, который обладает сильным характером и своими поступками и делами вызывает наше сочувствие... Я думаю, что, изображая жизнь в таком плане, мы делаем в литературе шаг назад. Наша русская классика и крупнейший ее представитель Лев Николаевич Толстой, на мой взгляд, не только придавали огромное значение общему фону народной жизни, но зачастую, и может быть именно в силу своего большого таланта, художественной интуиции выдвигали эту жизнь на передний план».

Мне кажется, что это высказывание Анатолия Ананьева не случайно, а явилось на свет в результате его серьезных раздумий над нашим сегодняшним литературным процессом. Нельзя не заметить, что в этих словах довольно явственно проступает также уверенность писателя, что сам он в своей работе не идет по пути героизации главных персонажей произведения за счет безликости общего фона, или, говоря другими словами, говоря более жестко,— за счет безликости, а стало быть, полной бездуховности окружающей их среды. Да, так оно и есть — сам Анатолий Ананьев действительно не идет по такому пути. В его романах общий фон народной жизни представлен очень широко — его книги населены множеством интересных, запоминающихся персонажей, хотя порой им бывает отведена всего лишь одна страничка текста, иногда всего лишь абзац, но они живут в общем контексте романа, они полноценны. И дело тут не только в том, что писатель отличается завидным умением изображать многофигурные композиции в живом движении, что он хорошо знает различные слои нашего общества, что ему присуще стремление к полифоничности в передаче жизненных реалий во всей неисчислимой их многосвязности. Нет, дело совсем не в этом, не только в силе и свойствах дарования. Дело прежде всего в том, что Анатолий Ананьев глубоко и, я бы сказал, свято верит в изначальную духовность народа, в его ум, совесть, неуничтожимое стремление к правде и красоте. Нигде не декларируя свою любовь к русскому народу, он любит — и это главное. Отсюда в его книгах и боль, и радость, и надежда, и желание пробудить милосердие, сплотить, поверить в будущее, отсюда та притягательная сила жизни, то стремление идти своей дорогой, без которых нет настоящего романа,— этой, как уже говорилось выше, неумирающей и самой плодотворной формы отражения действительности.

Вацлав МИХАЛЬСКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ВТОРАЯ

Часть вторая 3

КНИГА ТРЕТЬЯ

Часть первая 183

Часть вторая 373

СВОЯ ДОРОГА. *Послесловие* В. Михальского 552

Анатолий Андреевич АНАНЬЕВ

ГОДЫ БЕЗ ВОЙНЫ

Том 2

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1982, 560 стр. с илл.

Оформление «Библиотеки» **Ю. Алексеевой**

Редактор **Е. Бережная**

Художественный редактор **И. Суслов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **Л. Сухоставская**

А 06104. Сдано в набор 13.01 82. Подписано в печать 29.04.82.
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 1. Гарнитура латинская.
Печать высокая. Печ. л. 17,5. Усл. печ. л. 29,40. Уч.-изд. л. 31,30.
Тираж 240.000 экз. Заказ 1124.

Цена 2 руб. 20 коп.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в типографии № 2
издательства «Радянська Україна», Киев, Анри Барбюса, 51/2.
Отпечатано на Киевской книжной фабрике.
252054, Киев, ул. Воровского, 24.

